

**М.И. Нейштадт**

# **ТРОПА МОЕЙ ЖИЗНИ**

Харьков  
Права людини  
2010

УДК 94(477.64)«19/20»(092)  
ББК 63.3(4Укр-4Зап)6-8  
Н 45

**Спонсоры проекта**

И.А. Залесский  
Ю.Л. Левитин  
Л.Б. Литинский

**Литературный редактор, корректор**  
Г.В. Семенов

*В оформлении обложки использована архивная фотография г. Запорожья*

Нейштадт М.И.

Н 45 Тропа моей жизни. — Харьков: Права людини, 2010. — 300 с.  
ISBN 978-966-8919-94-7

Марк Израилевич Нейштадт (1923 — 2008) уроженец Запорожья, где он и прожил почти всю жизнь, временами необычную, а местами и трагичную, даже для людей его поколения. Ему, еврею, удалось выжить на фронте в самом начале войны, в плену, куда он тоже попал не как все, а затем несколько лет на работах в Германии, что само по себе уже можно назвать чудом. Но книга не только об этом. Она о городе, который он любил, о школе и школьных друзьях, и вообще о жизни людей его поколения, на долю которых много чего выпало. Надеемся, что книга найдет своих читателей, особенно среди людей, которым интересно, как жили их деды и прадеды. Рукопись печатается с небольшими сокращениями.

УДК 94(477.64)«19/20»(092)  
ББК 63.3(4Укр-4Зап)6-8

*Литературно-художественное издание*

**М.И. Нейштадт**  
**ТРОПА МОЕЙ ЖИЗНИ**

Литературный редактор, корректор  
Технический редактор

Г.В. Семенов  
Л.А. Рябокони

Формат 60х84/8.  
Бумага офсетная. Гарнитура Кудряшов. Печать офсетная.  
Усл. п. л. 34,87.

ISBN 978-966-8919-94-7

© Нейштадт М.И., 2010  
© Права людини, оформление, 2010

## Об авторе

В качестве вступления к книге хочу лишь вкратце ознакомить читателя с ее содержанием. Будучи одним из внуков автора, которым, собственно, и посвящены эти воспоминания, попробую уместить все события с 1923 по 1965 гг. на одной странице.

Родился мой дед в небольшом уездном городке Запорожье в 1923 г., до 1921 г. именовавшимся Александровском. Отец его был служащим и работал в те годы то ли агентом по снабжению, то ли товароведом в Военторге. Он был родом из г. Александровска, и вся его многочисленная родня жила тут, на Украине, за исключением старшего брата, который еще до революции был сослан в Сибирь и не подавал оттуда вестей. Мама приехала в Александровск из Литвы. В 1919 году родила дочь, а через три с половиной года — сына, т.е. моего дедушку Марка.

Подробно описаны школьные годы от поступления в первый класс 4-й ФЗС (фабрично-заводской семилетки) до выпускного бала. Друзья-товарищи с уймой житейских эпизодов, от забавных до откровенно пугающих. И все эти давно минувшие события ложатся на с детства знакомые названия улиц и районов. Город и его обитатели предстают перед нами такими, какими они были в 30-х годах минувшего века.

Поступление в институт и беззаботная студенческая жизнь со всеми загулами и прогулами, а также учеба в оставшееся время. Но вот и закончен первый курс.

А далее — Война! Повестка... артиллерийская школа ...бои... плен... угон на работу в Германию... освобождение... все события проносятся «на одном дыхании», не позволяя читателю даже на миг «вынырнуть» из тех страшных исторических событий. Но жизнь продолжается даже на войне. Здесь есть место дружбе и предательству, героизму и трусости, любви и ненависти.

Возвращение домой. Смешанные чувства радости и страха перед неизвестностью. И снова нормальная «гражданская» жизнь. Особо хочется выделить описание сватовства. Подготовка и сами «переговоры» не могут не вызывать улыбки. А вскоре была и свадьба, и, со временем, на свет появились две продолжательницы рода. Одной из них я и обязан своим рождением.

По окончании института направление на работу в Сибирь. Затем возвращение в Запорожье и создание практически с нуля треста «Запорожнерудпром» со всеми вытекающими из этого хлопотами. Однако всегда находилось и место, и время для встреч со школьными друзьями. Пусть раз в пять лет, но собрать всех живых и вспомнить ушедших было внутренней потребностью: «Бывшие соученики вдруг почувствовали, что все эти годы им не хватало друг друга, что у них много общего, что каждый из них только школьному товарищу может сказать самое сокровенное, накопившееся в душе, что только соученик может понять или посочувствовать и тем согреть душу».

В завершение приведу еще одну цитату из книги: «Я и жена воспитали своих детей и внуков так, чтобы они чтили память о школе и понесли, как эстафету, школьные традиции своих предков дальше.

Вы слышите, дорогие мои ровесники и внуки?»

*Внук Ян*

*Внукам моим посвящаю эти воспоминания.*

Мы все уйдем, людей бессмертных нет,  
И это всем известно и не ново.  
И мы живем, чтобы оставить след:  
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

*Расул Гамзатов*

## **Предисловие**

Потребность писать у меня появилась давно — около сорока лет назад, еще в ту пору, когда отгремели последние залпы орудий, и я вернулся домой из Германии.

Меня долго преследовала идея описать виденное: события пережитых лет, хороших и добрых или злых людей, проявления их характеров и действий в экстремальных условиях — открытом бою, на оккупированной гитлеровцами территории и в логове фашизма.

Потом обстоятельства изменились, все сложилось так, что задуманное пришлось придержать до будущих времен.

В 1965 году, после первой послевоенной встречи с бывшими школьными товарищами, меня вновь захлестнули воспоминания. Я целый месяц ходил, как во сне, перебирая в памяти день за днем школьные годы и грозные годы войны, унесшие столько товарищей, близких и дорогих мне людей.

Снова рука потянулась к перу, и снова я отложил лист бумаги на будущее, следуя золотому правилу одного из великих: «Если можешь не писать — не пиши!»

...Прошло еще около двадцати лет!!!

Как-то, просматривая свою библиотеку, уже будучи на пенсии, я наткнулся на следующие строки Шота Руставели, показавшиеся мне весьма интересными и верными:

«Что ты спрятал, то — потеря,  
Что ты отдал, то — твое!»

Поразмыслив над этими словами, я пришел к выводу: сейчас или никогда!

Имея за плечами 60-летний опыт и четырех внуков, я не вправе этот жизненный опыт прятать, ибо тогда он будет потерян для потомков. Нужно его передать.

Передо мной снова появился лист бумаги.

Теперь уже всерьез и надолго.

Года три-четыре назад известный артист Ролан Быков по радио читал юмористический рассказ. Автора я не запомнил, но суть сводилась к тому, что в детстве время течет медленно, и каждый день для ребенка — это целая эпоха, а с годами течение времени до того убыстряется, что едва успеваешь сказать «доброе утро», как темнеет и уже надо говорить «спокойной ночи». Дни сменяют один другой, как листья календаря на ветру: осень — весну, зима — лето.

Слушал я и думал, что все это верно:

«...годы летят...  
Наши годы, как птицы, летят,  
И некогда нам  
Оглянуться назад».<sup>1</sup>

Так было, пока я работал, пока не пошел на пенсию, или, как говорят, на заслуженный отдых, и пока не сел за стол с ручкой и листом бумаги. Я начал писать. И не столько для себя, сколько для подрастающих внуков.

Я никогда не вел дневник: ни в детстве, ни в юношеские годы. Не стал вести его и тогда, когда приобрел несколько общих тетрадей, куда записывал свои собственные стихотворения и отрывки из произведений известных и неизвестных поэтов, афоризмы, высказывания великих философов и незнакомые слова.

Тетради сгорели вместе с домом во время Великой Отечественной войны. Мне же пришлось преодолеть множество препятствий на жизненном пути. Часто они были труднопреодолимыми.

Однажды мой путь превратился в едва заметную тропинку, которая ежеминутно могла обрваться... Потом снова пошла дорога с твердым покрытием. На ней я встретил спутницу. Дальше мы пошли вместе и идем бок о бок по жизни уже свыше тридцати лет.

...Поведу своих внуков, для которых предназначается это повествование, по своему жизненному пути, насколько позволит мне моя память.

Может быть, какие-то события сместятся во времени, какие-то события забыты, тем не менее, я постараюсь быть последовательным и предельно искренним, передать все так, как я запомнил и воспринял во времени и пространстве.

Надеюсь, что в этом мне помогут моя жена, бывшие соученики и их анкеты, письма, архивные и прочие документы.

Я очень надеюсь также, что эти воспоминания будут интересны моим внукам и помогут избежать ошибок, которые, вольно или невольно, допускал их дед на жизненном пути.

<sup>1</sup> Е. Долматовский «А годы летят».

## Глава 1. Начало

### 1. Мой город и дом

Родился я в небольшом уездном городке Запорожье в 1923 г., до 1921 г. именовавшимся Александровском.

С одной стороны границей города была река Днепр с притоком Мокрая Московка, пристанью и многочисленными складами.

Пристань была конечным пунктом для пароходов, барж и буксирных катеров. Дальше, вверх по течению, реку раскромсали пороги, которые сделали Днепр живописным, но не доходным.

С двух других сторон город ограничивали железные дороги: одна шла с севера на юг с Южным вокзалом, другая с запада на восток с Екатерининским. С четвертой стороны окраиной города, можно сказать, и его границей была Филипповская церковь и внушительное, на целый квартал сооружение с толстыми кирпичными стенами, колючей проволокой по верху и круглыми башнями по углам, – городская тюрьма. Она была роскошью для городка с населением 60 – 62 тысячи человек, где 2-х – 3-хэтажные дома встречались весьма редко. В основном в ту пору дома были одноэтажные и отличались от деревенских лишь тем, что имели черепичные крыши и входили в черту города. Остальные строения, которые находились за указанными выше границами, считались слободками и хуторами, а люди, жившие там, именовались, соответственно, не горожанами, а слободчанами: вознесенцами, карантинцами или калантыровцами и еще невесть какими прозвищами.

У мальчишек-горожан встречи со сверстниками, живущими за чертой города, заканчивались обычно потасовками с переменным успехом для той и другой стороны. Бывало и так, что драка начиналась между малышами, а заканчивалась взрослыми парнями.

Квартира, которую снимали мои родители по ул. Жуковского у домовладельцев Бухариных, занимала половину одноэтажного дома с выходом во двор. В другой половине, с выходом на улицу, жил сосед-извозчик с женой и двумя детьми. Сами Бухарины, – сестра, два брата с женами и детьми, – жили в другом, чуть больше нашего, кирпичном доме.

Во дворе было два сарая, погреб со ступенчатым входом, небольшой фруктовый сад и другие подсобные сооружения.

Наша квартира состояла из трех комнат, переходящих последовательно одна в другую: спальня в зал, он в кухню; затем дверь вела в коридор с выложенным квадратным кирпичом полом, с выходами во двор и кладовую. Самой большой комнатой в квартире была кухня с огромной русской печью.

Частенько зимними вечерами забирались мы с сестрой на лежанку на верху печи и слушали нянины или мамины сказки. На дворе темень, холод, а тут тепло и немного страшно от потрескивания дров в печи и завывания ветра в трубе.

Два дома и все прилегающие к ним строения Бухарины огородили высоким забором. Между «моим» домом и соседним двухэтажным – небольшой простенок метров шести шириной. Он служил надежным пристанищем и укрытием для детворы. Это место так и именовали: «за домом».

Напротив, через дорогу от наших домов, расположился Большой базар.

В городе был еще и Малый базар, но он казался нам расположенным ужасно далеко, чуть ли не на краю света.

### 2. Первые шаги

Мама рассказывала, что мне не было еще года, когда я начал произносить слова. Как-то зимой она поставила меня на подоконник, и, указывая на отца, занятого во дворе расчисткой снега от дома до сарая, сказала:

– Смотри, сынок, па-па, па-па...

В это время отец открыл сарай, из которого, кудахча, выскочила на сугроб курица. Я удивленно оглянулся на мать, стукнул кулачком в стекло и отчетливо произнес:

– На-сед-ка! На-сед-ка!

Это было мое первое самостоятельное слово, позаимствованное, правда, из лексикона няни — уроженки Тамбовской губернии. Потом пошли все остальные слова, которые произносят все нормальные дети: «папа», «мама», «деда», «баба» и т.д.

Летом того же года хозяйская корова лягнула мою старшую пятилетнюю сестренку, которая пыталась накормить ее травой. Орущую навзрыд от боли и испуга девчущку подхватили на руки, уложили в кровать и стали ставить на животик компрессы. А она сквозь рыдания без конца повторяла:

— Ничего... мой братик под-рас-тет... и убьет эту... ко-ро-ву!

Мне не удалось осуществить справедливое возмездие, так как корова откинула копыта прежде, чем я твердо стал на ноги.

Первой моей игрушкой был беленький козлик, сделанный искусным мастером из папье-маше и овчины, с бородкой, позолоченными рожками и копытцами. Если оттягивали голову козлика за рожки, он, как живой, издавал звуки:

— Ме-е! Ме-е!

Я очень любил эту игрушку.

Когда сестра пошла в первый класс, к ней в гости начали приходить подружки; чаще других ее навещала подружка по детскому садику и школе Неха Айзикова. Иногда она приводила с собой двоюродную сестричку Шурочку, на год младше меня.

В играх наши старшие сестры изображали маму и папу, козленок и я были сыночками, а Шурочка дочкой.

...Разве мог я тогда предположить, что пройдет чуть больше двух десятков лет, и эта худенькая, кудрявая, кареглазая девочка на тоненьких длинных ножках станет моим большим другом и верным спутником жизни?

Шло время, козленка игрушечного сменил живой козленок, которого отцу продали на базаре как «козочку». Мама потом, смеясь над папой, просила, чтобы он хоть раз угостил нас «козьим молоком». Козленок быстро освоился в доме и начал свою разрушительную деятельность с того, что разбил на подоконнике все горшки с цветами. Когда же он вскочил на стол, опрокинул и разбил графин с водой, стянул и стал жевать скатерть, мамино терпение лопнуло, и козленка продали. Эту потерю мы с сестрой долго оплакивали, до тех пор, пока родители не заменили козленка щенком.

Щенок был беленьким в коричневых пятнах, породы легавых. Мы назвали его Альмой. Я был счастлив от обладания таким умным песиком, который не был на нас в обиде за то, что дали ему женское имя. Он легко поддавался дрессировке: давал лапу и приносил предметы, которые я забрасывал далеко в траву. Со временем из щенка должна была вырасти прекрасная породистая собака. Однажды я игрался с Альмой, ползая по полу и подставляя щенку лицо. Благодарная собака лизала меня, лизала, а потом в порыве преданности и собачьей нежности прокусила ухо.

Мама испугалась за своего сыночка, кроме того, ей сказали, что у меня из-за собаки могут появиться глисты. В результате... щенка кому-то отдали, несмотря на мои отчаянные протесты.

Вскоре вместо Альмы в нашем дворе появилась Жучка, настоящая дворняга, с которой я долго-долго дружил. Поместили ее не в доме, а в собачьей конуре между сараями. Жучка была отличным преданным сторожем и никогда не брала пищу из чужих рук. Как ни странно, она, как и Альма, несмотря на имя, тоже была мужского пола.

Как в тумане, вспоминаются летние поездки с родителями в села: Сосновку, Беленькое, Знаменку.

Село Сосновка запомнилось своим вкусным кефиром и пасекой, где меня искушали пчелы. А еще тем, как я заблудился в сосновом лесу, разыскивая село Дохновку, куда ушла по каким-то делам мама.

Село Беленькое вспоминаю каждый раз, когда слышу комариное жужжание. Там я, пятилетний пацан, как-то увязался за стадом гусей и гнал их до тех пор, пока вожак, шипя, не ухватил меня за штаны. Не знаю, чем бы закончилась эта драка, если бы подоспевший отец не прогнал гуся тростью.

Позже мама повесила над моей кроватью аппликацию, на которой был изображен кудрявый малыш в коротких штанишках, стоящий на одной ножке. Другую он поджал, спасаясь от наседающего гуся. Указывая на коврик, мама с улыбкой говорила:

— Это в память о твоём «подвиге».

В Знаменку я попал, когда мне было шесть лет. Помню большой фруктовый сад и лежащую с книгой в гамаке, в тени деревьев, сестру. Хорошо помню хозяина Алексея Федоровича и его

двух сыновей, Макара и Петра, и особенно тот эпизод, когда они рыли колодец и обливали меня первой появившейся в нем водой. Никогда не забуду радости, охватившей меня, когда хозяйская кобыла родила жеребенка. Помню, как новорожденный поднялся на дрожащие тоненькие ножки и большой головой с белой звездочкой на лбу стал тыкаться в живот матери в поисках молока.

Через неделю жеребенок, которому дали кличку Орлик, уже резво прыгал по двору. Через две недели я попытался оседлать его, но безуспешно. Орлик брыкался и отскакивал в сторону, глядя на меня озорными глазенками.

В села мы ездили почти каждый год, с самого дня моего рождения. Поэтому я себя по праву считаю сельским жителем в такой же мере, как и городским. До сих пор воспоминания о селе вызывают у меня различные близкие сердцу приятные эмоции, в том числе: запахи коровьего помета и парного молока при вечернем прогоне череды вдоль села; звуки напевных и мелодичных, берущих за душу и несущихся в звездную высь украинских песен.

### 3. Родители

Отец мой был служащим. Работал в те годы то ли агентом по снабжению, то ли товароведом в Военторге. Дома он бывал редко. В основном разъезжал по разным городам в поисках и закупке необходимых его ведомству товаров. Несладко ему приходилось в командировках, если учесть, что время было тяжелое, голодное. После гражданской войны и разрухи государство только-только начинало восстанавливать свое хозяйство.

Во время поездок спал отец где попало, ел что попало, сам грузил товар, сам перегружал и сопровождал его от станции до станции по железной дороге. Невзгоды эти переносил терпеливо, на судьбу не жаловался, спиртного не употреблял и не курил.

Мама рассказывала, что напился отец один раз от радости, когда родился сын, да так, что его еле привели в чувство. С тех пор спиртного в рот не брал, каждую сэкономленную в командировках копейку приносил домой, в семью, и отдавал маме, так как хозяйство и дом лежали на ее плечах.

Папа был родом из г. Александровска, и вся его многочисленная родня жила тут, на Украине, за исключением старшего брата, который еще до революции был сослан в Сибирь и не подавал оттуда вестей.

Маме было куда тяжелее. В Александровск она приехала из Литвы к старшей сестре, которая была уже замужем и ко времени приезда мамы имела четверых детей. Хлопот у нее и без мамы хватало, так что единственный выход был обзавестись своей семьей.

В молодости, судя по рассказам близких родственников и фотографиям, мама была очень красива: чернобровая белолицая шатенка с большими синими глазами и гордой осанкой, никого не оставлявшая равнодушным. По приезду в Александровск она не засиделась в девичьих и вскоре вышла замуж. В 1919 году родила дочь, а через три с половиной года — сына, т.е. меня.

Освоилась мама со своей новой ролью домашней хозяйки быстро. А вот с русским языком у нее дело пошло хуже. Может быть, из-за польского или литовского, которыми мама владела в совершенстве, ее подводило произношение. Частенько в словах она путала «Ч» и «Ц», «Ш» и «С». Папа иногда в шутку говорил:

— Анечка, ну-ка скажи: «Грыць на суше сушил очерет».

Мама знала за собой эту слабость и обычно не обижалась, а откликалась милой застенчивой улыбкой.

Я и сейчас с трудом представляю, как мама на относительно мизерную зарплату отца умудрялась кормить и одевать четырех членов семьи. Она старалась, чтобы в квартире всегда был порядок, чтобы муж и дети были аккуратно одеты и сыты.

Сестра была тихой, серьезной и опрятной девочкой, подолгу носила свои платья и не доставляла много хлопот родителям. Я же, наоборот, не знал ни минуты покоя. Маме часто приходилось по ночам ликвидировать следы моих дневных походов: латать и штопать порванную одежду. Особые хлопоты я доставлял, приходя домой с изуродованными ботинками. Летом-то я ходил преимущественно босой или в парусиновых тапочках на резиновой подошве, а вот осенью... Моя систематическая игра в футбол, следствием которой была бесконечная починка обуви, приводила маму в отчаяние. Она меня никогда не наказывала, но по ее грустному взгляду и тяжкому вздоху я понимал, что сотворил что-то пакостное. Я каялся, меня прощали, но вскоре я забывал о содеянном, и все повторялось снова.

#### 4. Первые радости и первая любовь

Как я уже писал, отец часто ездил по командировкам и был больше вдали от семьи, чем дома. Поэтому к каждому его возвращению мы готовились, как к празднику, тем более что нас всех ожидали подарки.

Почему-то отец из Москвы возвращался почти всегда ночью, когда дети уже спали. Не был исключением и этот приезд. Я долго ждал и под конец уснул. Однако от шума на кухне вскоре проснулся и в ночной рубашке бросился к отцу.

Он подхватил меня на руки, а у его ног стоял новенький, сверкающий трехколесный велосипед со звонком.

Когда под утро я выбился из сил и меня уложили в кровать, велосипед пришлось поставить рядом. Так, одной рукой держась за руль, я, наконец, уснул.

За два дома от нашего размещалась пожарная часть. Поэтому, естественно, пределом моих детских мечтаний было стать пожарным и носить такую же красивую форму. И вдруг отец привез мне блестящую каску и позолоченный топорик — мечту, которая лишь снилась.

Я мотался на велосипеде в этих доспехах по улице и соседним дворам, звонил в звонок и воображал, что я настоящий пожарный. А следом за мной неслась босоногая пожарная дружина. Мы крушили на своем пути все, что горело или тлело.

Не миновала горькая участь и многочисленных хозяек, которые зажигали огонь между кирпичами и ставили на них выварки с бельем, или, того хуже, медные тазы с вареньем. Последствия были ужасны, как для разъяренных женщин, у которых испачкали белье или испортили варенье, так и для «мужественных» пожарных.

Кончилась эта пожарная эпопея тем, что после многочисленных жалоб и «пожеланий» ближайших соседок моим родителям пришлось подарить каску и топорик кому-то из дальних родственников, у которых были дети моего возраста, но более спокойного нрава.

К шести годам я впервые влюбился в девочку. Ее звали Леля.

Жила она с мамой, папой и младшим братиком Юлесиком в соседнем двухэтажном доме. Отец Лели был военным, командиром. Это меня особенно радовало, так как военные для нас, мальчишек, были пределом воображения, недостижимой высотой, перед которыми мы все без исключения преклонялись.

Леля Костерева была славненькая смугляночка с черными, искрящимися глазами. Меня она выделяла среди других мальчишек и никогда не оставляла без внимания. Мы с Лелей часто играли вдвоем: то у них, то у нас дома.

Когда мы оставались наедине, особенно «за домом», то целовались с упоением. Целоваться друг с другом нам доставляло удовольствие, от которого мы никогда не отказывались и пользовались для этого любым удобным случаем. Даже взрослые дразнили нас «женихом и невестой», не говоря о сверстниках, которые добавляли еще то ли для рифмы, то ли для большей обиды «тили-тили-тесто».

Всеми игрушками и подарками я делился с Лелей. Катал на велосипеде и учил кататься с терпением и вежливостью истинного джентльмена. Для Лели не было «нет»...

Однажды, прибыв из очередной командировки, отец привез мне почти настоящее ружье со штыком и запасом патронов (пробок, начиненных серой).

Спал я в эту ночь в обнимку с ружьем. Едва забрезжил рассвет, я вскочил с постели и побежал в чем спал (благо было лето) к Леле показывать подарок. Заскочив в подъезд, где жили Костеревы, я понял, что еще очень рано. Было, очевидно, не более пяти часов утра. Я немного подождал... Признаков пробуждения в доме не чувствовалось. Меня начало расpirать от желания немедленно похвалиться оружием. Не придумав ничего лучшего, я стал посреди подъезда, взвел курок и как шарахнул!!!

В этом подъезде со сводчатым высоким потолком была прекрасная акустика. Эффект от выстрела получился потрясающий. Он превзошел все мои ожидания.

Не успел я прийти в себя и ретироваться, как изо всех дверей начали выскакивать сонные перепуганные жильцы, кто в чем, на ходу поправляя свой туалет. Очевидно, они решили, что дом валится от взрыва или землетрясения. Когда же поняли, что катастрофы нет, и увидели растерянного мальчишку с дымящимся ружьем в руке, то дружно ринулись ко мне. Ружье тут же вырвали из рук, надрали уши на глазах у Лели и с повинной отпустили домой.

Такого позора я не мог вынести. Собрал все свое мужество, чтобы не разреветься, с истерзанной душой и телом, я убежал «за дом», где дал волю слезам.



Через некоторое время, когда я уже успокоился и обдумывал, как быть дальше и как отомстить обидчикам, моя верная подруга разыскала меня, принесла целехонькое ружье и тем самым в который раз доказала свою преданность.

Нашей любви-дружбе не суждено было продолжиться. К осени 1930 года, когда я и Леля готовились пойти в первый класс, ее отец получил назначение в Ленинград, и они уехали.

Горевал я недолго, но воспоминания о первом детском увлечении остались на всю жизнь, как светлое пятнышко.

## 5. Базар и улица

В 30-е годы Большой базар представлял собой огромную немощеную площадь с несколькими открытыми лотками посередине и крытыми лавками по краям, в которых мясники раздвигали для крестьян привезенные на продажу туши, а резники резали и ошпывали кур и гусей. Отходы выбрасывали тут же в стоящие снаружи ящики, у которых постоянно сновали большущие крысы и бездомные собаки.

На эту площадь к 5 – 6 часам утра съезжалось множество подвод, бричек и арб, запряженных лошадьми, волами или верблюдами. Последние доставляли нам своим присутствием и царственной осанкой несказанное удовольствие.

Особенно я зауважал верблюдов, когда один из них оплевал зеленой склизкой жижей одного из дразнивших животное мальчишек. Пацан этот был ябедой, дразнилой и плаксой, поэтому я был очень признателен верблюду за справедливое возмездие. Надо было видеть торжественное шествие мальчишек, сопровождавших ревущего пацана к его сердобольной мамаше, чтобы по достоинству оценить этот спектакль. По лукавым физиономиям участников процессии было видно, что они идут рядом с потерпевшим не из-за сочувствия, а из-за предстоящего при встрече сыночка с мамашей зрелища, которое обидно пропустить.

К 7-ми часам утра площадь уже гудела от выкриков продавцов, нахваливавших свой товар и зазывающих покупателей, возгласов торгующихся потребителей товара и досужих разговоров особого сорта разношерстной публики, шатающейся в поисках легкой наживы от перепродажи купленных по дешевке продуктов или барахла. Тут можно было встретить одетых в пестрые лохмотья беспризорников, которые сновали в это время между подводами, лавками и лотками, «добывая» пропитание у зазевавшихся баб-торговок. Часто раздавался душераздирающий крик:

— Держи вора!.. Держи его!

Но люди к этим выкрикам привыкли и относились сдержанно, как к одному из непременно необходимых атрибутов рынка.

Базар... базар... С ним связано мое золотое детство. Он — мой второй дом, двор, театр и спортивная арена. Я, как хозяин по своим владениям, ходил по нему с ватагой пацанов каждое утро смотреть на лошадей, волов, верблюдов и прочих, более мелкий, животный мир. Наблюдал, как люди торгуются, пытаюсь с одной стороны выгодно продать, а с другой — не менее выгодно купить необходимое. Видел, как беспризорники воруют у баб разложенные для продажи продукты, а потом около нашего двора делятся между собой ворованным.

У меня были среди воришек, или «уркаганов», как их именовали у нас в Запорожье, хорошие знакомые, поэтому в нашем дворе никогда ничего не пропадало. Наоборот, эта братва после полудня, бывало, соберется на крыльце у закрытого парадного подъезда дома Бухариных для дележки своего утреннего «заработка», и, если я в это время поблизости, то приглашает меня на «довольствие», а также послушать очередной незатейливый рассказ из разудалой воровской жизни.

На базаре водопровода, а тем более автоматов с газированной водой, не было. Поэтому в жаркую пору года мальчишки, прихватив дома ведро или чайник и стянутый на овощной базе в леднике кусок льда, ходили по базару с криком:

— Кому воды холодной с лёдом?!

Я тоже не пренебрегал, втайне от родителей, этим видом частной торговли.

Вода продавалась по цене полкопейки за кружку. За копейку разрешалось пить «от пуза», то есть сколько влезет в утробу жаждущего клиента. Заработанные таким путем деньги шли на семечки, бублики и конфеты с картинками военных на обертке. Обертки мы не выбрасывали, а собирали для игры в фанты.

Нравились мне всяческие базарные аттракционы.

Сюда, на базарную площадь, приезжали балаганы с артистами, зверинец и карусель, которую вручную под шарманку крутили добровольцы из публики, желающие бесплатно прокатиться за труд.

Но больше всего я любил зрелище, которое устраивал фокусник-китаец, изредка появлявшийся на базаре с огромным медведем. Китайца почему-то называли «ходя». Он извлекал из кармана длинную веревку с грузом на конце и, когда за ним увязывалось достаточное, по его понятиям, количество платежеспособных зрителей, крутил ее вокруг себя и кричал:

— Шире круг... шире круг!

Любители развлечений и острых ощущений расступались и образовывали круг по радиусу веревки, в центре которого стоял улыбающийся «ходя» со своим Михаилом Потапычем. Фокусник развязывал мешок, извлекал из него необходимые атрибуты, и... представление начиналось.

Человек глотал шпагу, пускал изо рта огонь, вытаскивал из карманов удивленных зрителей мышей, разноцветные ленты и т. п., а зверь ему неустанно ассистировал. Но самое интересное нас ожидало в конце представления: борьба человека со зверем.

«Ходя» снимал с себя рубаху, показывая всем свое голое по пояс тело, испещренное царапинами и шрамами от когтей медведя. Борцы сходились посреди искусственной арены, и начиналась борьба. Человек кряхтел, медведь рычал: каждый старался победить противника. Обычно побеждал медведь, несмотря на всяческие ухищрения человека. Затем Михаил Потапыч издавал торжествующий рев победителя, брал в передние лапы фуражку хозяина, становился на задние и шагал по кругу под бурные аплодисменты восторженной публики, собирая свои честно заработанные медяки.

К двум часам дня базарная площадь пустела, и тогда она переходила в наше распоряжение, то есть к пацанам от 5 до 10 лет из прилегавших к базару улиц и переулков. Начинались игры в разбойников, футбольные баталии и не менее чем футбол, популярная игра — «цурка». Теперь эта игра забыта, а была она очень распространенной и увлекательной: начиналась ранней весной и заканчивалась поздней осенью. Участники всех без исключения игр подбирались по возрастному цензу. При подборе же команд для игры в футбол, кроме того, еще требовались хорошие физические данные, так как эта игра коллективная, и каждый капитан противоборствующей группы не хотел иметь в своей команде «слабаков» или «филонов». Даже у «малышних», игравшей тряпичным мячом, от участников требовалась полная самоотдача, и притворство не проходило. Такого «артиста» сразу же обнаруживали, он получал по шее и с позором выпроваживался из команды. Это наказание обжалованию не подлежало, и один раз провинившемуся в команду к сверстникам путь был закрыт. В подборе команд и партнеров для игры царил «закон джунглей», но зато, даже проиграв, капитан и игроки не могли упрекнуть друг друга в том, что кто-либо жалел силы. Считали, что на этот раз не повезло, и с нетерпением ждали реванша.

Особенно тщательно подбирался состав команды, если предстояло играть улице на улице или сборным нескольких улиц с поселковыми командами. Такие «сборные» подбирались из игроков, которые отличались выносливостью, волевыми и бойцовскими качествами в прямом и переносном смысле слова.

Игры между «сборными» обычно заканчивались драками, поэтому, кроме владения мячом и перечисленными выше качествами, надо было еще хорошо владеть кулаками, чтобы не уступить поле боя противнику.

Я очень любил футбол. Играл и в защите, и в нападении, или, как тогда говорили, бывал и беком, и хавбеком, и форвардом. В сборную сверстников по улице попадал всегда, иногда мне доверяли быть капитаном и набирать команду. Дрался я тоже неплохо, и часто ходил украшенный синяками, но при товарищах никогда не плакал, даже когда попадало от старших мальчишек. Если уж было невмоготу, то убегал «за дом» и там, под сочувствующим взглядом любимой дворняги Жучки, выплакивал свое неутешное горе.

За то, что я не был ябедой, неплохо играл и умел драться, меня часто брали в свои команды пацаны старшего возраста, чем я очень гордился и изо всех сил старался оправдать это высокое доверие.

...А какая прелесть — запускать змея на базарной площади.

Делали его из газеты, которую раскрашивали красками: чем ярче, тем интереснее. Для арматуры брали камыш, дранку или солому, которые крепились к газете мучным клеем. Выступающие концы арматуры перевязывались нитками. На хвост шли тряпки, которые попадались под руку в любой квартире. Пути у змея делались из суровой нитки. Не всякий пацан мог их сделать, — нужно было иметь навыки и знать определенные правила...

Но вот все готово к пуску. Один человек берет катушку ниток и делает разгон, а второй бежит следом на расстоянии 10-ти шагов со змеем и в необходимый момент выпускает его из рук. Хвостатое раскрашенное чудовище взмывает в воздух, только успевай разматывать нитки. Змей набирает высоту, гудит встроенный в него пропеллер. Теперь можно подвязать следующую катушку ниток — не тоньше №10, иначе оборвется. Так, постепенно увеличивая высоту, доводить ее до такой степени, пока змей не превратится в точку. Ты держишь в руках свое детище и любишься его полетом, а младшие пацаны лет четырех-пяти бегают вокруг и умоляют меня:

— Мар, а Мар, дай поддержать змея!

Иногда я снисходил до такой милости. Или отмахнусь от назойливых просителей, привяжу нить к какому-нибудь прочному неподвижному предмету и начинаю «посылать письма», то есть надевать на нить бумажные колечки, которые под действием ветра движутся вверх к змею.

Так продолжалось до тех пор, пока нить не обрывалась, и змея не уносило ветром, или от «писем» змей тяжелел и постепенно опускался на землю в чужих дворах.

Увлекательное это дело — запускать змея: он парит в вышине, гудит, виляет хвостом и манит тебя в небесные просторы, и ты мысленно тоже там — в небесах.

## 6. Творческий зуд

Детство — это что ни день, то открытие. Это громадный отрезок времени, в котором, пока солнце пройдет по небосклону от горизонта до горизонта свой путь, можно Бог знает что узнать и сотворить.

Я всегда был до предела загружен «работой»: голова была набита творческими замыслами. Поест за столом времени не хватало. Я перекусывал на ходу куском черного хлеба с маслом и луком или забегал на маслобойку по соседству, выпрашивая у знакомых рабочих макуху, съедал кое-как эту пищу и продолжал действовать дальше по принципу «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».

Мама удивлялась: почему у ее ребенка нет аппетита, плохо ест, даже от гоголь-моголя отказывается. А я фактически всегда был сыт от простой, грубой, но калорийной пищи, которую поглощал в достаточном количестве вне дома. Ее с лихвой хватало на восполнение израсходованной энергии.

Как много надо успеть за один день: летом — поиграть в жмурки, ловитки, цурки, футбол, сделать и запустить змея; зимой — покататься на коньках, лыжах, поиграть в снежки и построить снежную бабу или крепость; кроме того, если мать пошлет, сбегать в лавку за хлебом, солью или на базар за какой-нибудь мелочью.

Когда мне пошел седьмой год, во мне вдруг заговорил зодчий. Строительная площадка была выбрана, конечно, «за домом». Искать материал труда не составляло: кирпич лежал на хозяйском подворье и в соседних дворах; песок, глину и конский навоз на базарной площади можно было взять в неограниченном количестве. Оставался сущий пустяк — все строительные материалы перенести «за дом» и воплотить задуманное в реальное сооружение. Я собирал из сверстников бригаду, в которую входили обычно партнеры по футболу, и наша работа закипала. Нашему энтузиазму мог бы позавидовать любой строительный трест, так как работа у нас кипела быстро и качественно, без бригадного подряда, простоев и перекуров.

Строился дом или наше тайное убежище фундаментально, с подвальным помещением, застекленными окнами, печью, тамбуром и дверью. В результате получалось небольшое, но крепкое сооружение. Только досадно было, что любоваться им приходилось недолго: наш хозяин, обнаружив исчезновение кирпича, прибежал, разъяренный, «за дом» и обрушивался на наше сооружение с такой ураганной силой, с таким натиском, что наше кирпичное детище не выдерживало и разрушалось, а мы улепетывали что есть духу.

Проходило некоторое время, и мы, как муравьи, выползали из своих убежищ и снова принимались за строительство.

Да, дед Вася Бухарин, сам того не подозревая, был для меня, строителя, врагом №1. По остальным вопросам трений и конфликтов у нас не возникало. Зато их было сверх меры между мной и бабой Катей Бухариной, и все из-за множества запретов с ее стороны: не лазить по деревьям фруктового сада, не лазить и не швырять камни на черепичные крыши, не ходить по погребу и еще множество «НЕ».

Ругали брат и сестра Бухарины меня часто, реже жаловались родителям.

Теперь, когда мне за 60, я понимаю, что взбучку вполне заслуживал, и что эти ворчливые старики были, по существу, добрыми людьми и по-своему даже любили меня. Да и были ли

они в ту пору такими уж старыми? Деду Васе было не более 45-ти, бабе Кате около 50-ти, деду Тимофею — лет 38 — 40. А я причинял им столько неприятностей, да к тому же, после очередного нагоняя, дразнил деда Васю Кощеем Бессмертным, а бабу Катю Бабой-Ягой. Дед Тима и прочие Бухарины меня не задевали, поэтому отношения у нас сложились вполне сносные и покоились на нейтральной основе.

С двором, улицей и базаром связано очень много приятных воспоминаний.

Конечно, было всякое: и горе, и радости. Но все плохое со временем выветрилось из памяти, и осталось только хорошее.

Когда я пошел в школу и приобрел много новых друзей, с которыми объединили на всю жизнь общие интересы и судьбы, я долго еще не прекращал связи с бесшабашными ровесниками по улице. Особенно эти связи укреплялись во время летних каникул, когда я был предоставлен сам себе и любимой улице.

С мальчишками я ходил к горизонту искать, куда прячется солнце. Этого места мы так и не нашли, но как это было интересно — искать! Мы даже заблудились, а когда стемнело, случайно набрали на дяденьку милиционера, который отвел нас домой.

По уличным «законам» все было построено на принципе выживаемости. Так, я несколько раз без спросу ходил с мальчишками купаться на Ореховскую бухту. Я не умел плавать, но, когда все кинулись в воду переплывать залив, бросился тоже. Захлебываясь и пуская пузыри, судорожно шлепая по воде руками, я переплыл залив. Дрожа всем телом, кашляя, еле живой вылез на противоположный берег и упал на песок.

Так я научился плавать. После несколько раз тонул, снова лез в воду, снова тонул и выплывал, что называется, сухим из воды. А один мальчик — Володя Костюк — тогда утонул. Это была первая, и, к сожалению, не последняя наша потеря.

Упорно бороться до конца и непременно выплыть, — одна из первых премудростей, усвоенных еще в детстве, — сослужила в годы Великой Отечественной войны неоценимую службу.

## **7. Я — не вундеркинд**

Почти все родители видят в своих детях вундеркиндов. Мои не были исключением.

Едва мне минуло четыре года, как родители, обнаружив у меня поразительный слух, оставили дочь на попечение тети и повезли своего необыкновенного сыночка в Бердянск к дедушке и бабушке. Дорога туда была долгой и утомительной. Расстояние в 250 км мы преодолевали по железной дороге около суток с пересадкой на станции Пологи. Помню, как среди ночи меня разбудили и, сонного, поспешно потащили по шпалам в другой состав. Впереди шел отец с двумя чемоданами через плечо и корзинами в руках. За ним, едва поспевая, шла мама, держа меня одной рукой, а другой придерживая сумку. Споткнувшись в темноте о шпалы, мама упала, разбила ногу и порвала чулок. Вместе с ней полетел и я, расквасил нос и рассек подбородок. Нельзя было терять время, и меня, ревущего, в крови, втащили в вагон. Поезд тронулся...

Кто-то дал воду умыться и остановил кровь, кто-то стал успокаивать, кто-то стыдить. Всхлипывая и превозмогая боль, под мерный стук колес я уснул.

Утром мы, наконец, прибыли в Бердянск и на фаэтоне благополучно добрались до жилища деда. Двор и дом по всему периметру были увиты густой зеленой лозой с гроздьями поспевающего винограда. Внутри двора, огороженные низким решетчатым забором, росли яркие цветы — предмет бабушкиной гордости, а с забора свисали похожие внешне на огромные груши тыквы — куги. Высушенные куги связывали по две между собой веревкой. Вербку надевали на шею и пропускали под руки к лопаткам вместе с кугами. Это было прекрасное приспособление для плавания, заменявшее пробковый пояс. На память о поездке в Бердянск у меня остался шрам на подбородке. А когда кровь к утру засохла, на месте раны образовалась корка величиной с вишню. Таким, с заплаканными глазами и припухшим носом, я предстал перед дедом и бабушкой.

Разбитый подбородок меня не украшал, но в одном мне все-таки повезло: не нужно было мыть лицо целиком. Мне разрешалось лишь промывать лоб, глаза, рот и уши, и то осторожно, чтобы, не дай Бог, не намочить рану.

Дед был талантливым человеком: прекрасно резал по дереву, сам делал мебель и всякие безделушки, играл на скрипке, пел, чинил всему городу часы, мог выполнить любую ювелирную работу и считался хорошим механиком. Он был народным умельцем-самоучкой, что называется, мастером — золотые руки. Образования не имел никакого, всему научился сам и считал, что

детям оно тоже ни к чему. Да и средств для семьи из одиннадцати душ едва хватало на жизнь, не то, что на учебу.

Мой отец рассказывал, что, когда учился в начальных классах (больше начального образования никто из братьев и сестер не получил), учебников ему не покупали. Если требовалась какая-нибудь книга, и он обращался к бабушке за деньгами для этих целей, она спокойно отвечала:

— Полезай на горище, возьми. Там много книг лежит.

Для нее, неграмотной, наличие нескольких книг в доме казалось собранием всех знаний, которое накопило человечество.

Когда по вечерам дед Моисей начинал играть на скрипке, все вокруг замирало. Из-под смычка деда лились такие звуки, которые заставляли сердце слушателя то сжиматься, то учащенно биться. Никто не оставался равнодушным к его игре. Много слушателей собиралось под окнами дома, когда дед Моисей был в ударе и музицировал.

Надо сказать, что, кроме того, что дед играл превосходно, скрипка у него была замечательная, знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. Как она к нему попала, не знаю, но помню разговоры в семейном кругу, что деду за нее давали колоссальные деньги. Он всем отказывал. И эту волшебную скрипку, на которую даже смотреть было больно (так она сияла), дедушка завещал мне — первому внуку и продолжателю фамилии.

Не помню, проверял ли кто-нибудь из профессионалов мой слух и музыкальные способности, но на семейном совете было единогласно решено, что мне нужно учиться игре на скрипке и что из меня выйдет знаменитый музыкант.

Скрипка была почти такой же величины, как я, поэтому по приезде в Запорожье ее уложили в футляр, укутали чехлом и торжественно уложили в шкаф. До поры до времени меня по возрасту амнистировали от музицирования. Когда же мне исполнилось семь лет, родители вспомнили о моих «музыкальных способностях» и начали подыскивать достойного учителя для своего «вундеркинда». В городе тогда было два изысканных частных учителя по классу скрипки: Манов и Клур. Позже появился еще Диденко.

Выбор был небольшой, но, поскольку Клур жил ближе к нашему дому, остановились на нем. Меня эта процедура не касалась. По рекомендации учителя мне купили маленькую скрипку-четвертушку, папку для нот с тисненым портретом Бетховена и задолго до начала учебного года в школе повели к учителю.

Жил Клур в пассаже, на противоположной стороне от нашего дома, то есть наши дома разделяла громадная Базарная площадь. Вместе с женой и грудным ребенком он размещался в квартире, состоявшей из одной большой комнаты и кухни, где было тесно, неопрятно и неудобно. Там в беспорядке стояли стол, двуспальная кровать, рояль, шкаф, детская коляска, стулья и прочая мебель и вещи. У окна, на крохотной свободной площади, Клур установил пюпитр для нот. Туда к окну, с трудом протиснувшись между кроватью и роялем, учитель провел меня на первое занятие. Он объяснил мне, как называются, звучат и пишутся ноты. Потом дал мне в руки скрипку, рассказал, из каких частей она состоит, как каждая называется, как правильно держать инструмент и как плавно водить смычком по струнам. На этом первый урок окончился. Я должен был дома стать напротив трюмо, повторять и оттачивать все показанные учителем приемы по два-три часа в день. Когда я пришел к Клуру в следующий раз, то понял, почему меня после часа, проведенного на первом уроке, слегка поташнивало и кружилась голова. Ларчик открывался просто: едва я переступил порог, как в нос ударил запах от сушившихся на кухне пеленок, который наполнил всю квартиру и напоминал запах газа для проявления чертежной синьки. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, кто является истинными виновниками беспорядка, царящего в квартире моего Паганини. Ими были жена и дочь бедняги-учителя. И действительно: жена Клура была моложе его лет на 10 — 12 и играла на фортепиано в каком-то оркестре с утра до ночи. По этой причине мой учитель часто оставался с малышкой один и едва поспевал ухаживать за ребенком и заниматься с учениками. Все он делал на бегу: от коляски на кухню, с кухни к ученику, потом, с плачущим ребенком на руках, снова бежал на кухню развешивать пеленки, стирать и гладить которые было некогда. В этой душегубке мое постижение высокого искусства продолжалось все лето. Кое-чему я даже научился: правильно держал скрипку, правильно и плавно выводил смычком гаммы во всех октавах, играл «Сурок» и еще две-три несложные мелодии. И все равно, каждый раз приходя к учителю, я должен был начинать с повторения гамм.

Мне нравилась красивая, мелодичная музыка в исполнении симфонического оркестра. Иногда я любил и сам играть на слух, импровизируя на вольные темы. Но нудное, монотонное

звучание нот «до-ре-ми-фа-соль-ля-си» на уроках и дома меня угнетало и начинало действовать, как зубная боль. Я нудно водил вверх и вниз смычок, а между тем в открытое окно, как эликсир жизни, врываются звуки модного танго или фокстрота.

Однажды моя душа не выдержала, и, когда в очередной раз учитель побежал на кухню развешивать пеленки, я от гамм лихо переключился на фокстрот «Сумерки», потом на танго «Утомленное солнце». Увлечшись, я не заметил, как сзади подошел учитель. Он выхватил у меня смычок и с остервенением начал стегать меня по рукам. На мне он вымещал всю свою досаду, которая накопилась в его душе от неустроенности, от полной повседневных забот сложной жизни. Через мгновение Клур опомнился, но было поздно: я уложил скрипку и смычок в футляр, ноты в папку, и, стиснув зубы, не попрощавшись, молча покинул надоевшую мне до смерти квартиру.

Так было даже лучше. Я шел домой, вдыхая полной грудью свежий воздух, и, несмотря на боль в руках, наслаждался так неожиданно пришедшим освобождением.

Дома, несмотря на объяснения, меня встретили без особого восторга. Никто не разделил со мной радости свободы, разве что Жучка, бросившаяся лизать мои руки и ноги. Но ходить на уроки к Клору меня больше не заставляли.

Позже при 4-й школе было организовано музыкальное училище. По классу скрипки в нем преподавал Диденко. Я сдавал экзамены сюда по всем правилам и был принят. Вместе со мной ходил в училище мой школьный товарищ Борис Литинский. Он посещал его до тех пор, пока училище не ликвидировали. Борис даже успешно выступал на школьных вечерах с концертом для скрипки и фортепиано. А я походил в училище с полгода, потом тяжело заболел дифтерией и провалялся с месяц в постели. Когда пришел снова в школу, то выяснилось, что я очень отстал по математике и другим предметам. Тут уж не до музыки...

Учеба на скрипке прекратилась и уже не возобновлялась. Из меня не то что знаменитый, а даже простой музыкант не вышел. Но мое безуспешное музицирование научило все-таки понимать музыку, отличать прекрасное от халтуры и тому, что стать хорошим музыкантом можно только при повседневном упорном труде, даже если есть способности и талант.

И еще: с тех давних пор, когда я слышу где-либо выводимые старательным юнцом гаммы, меня начинает преследовать зубная боль и запах мочи...

А мое наследство, — скрипка Страдивари, — спокойно пролежало в футляре до самой войны. Потом, во время эвакуации, когда отец получил повестку из райвоенкомата о мобилизации, и мать должна была остаться одна в незнакомом чужом городе на Урале, эту знаменитую скрипку не то продали, не то выменяли на продукты.

## 8. Шкодливый гость

Не знаю, за какие провинности, может быть, чтобы меньше болтался на улице, а, скорее всего, чтобы подготовить к поступлению в школу, меня отдали в частный пансион к фребеличке. До меня сюда ходила сестричка. Теперь настала моя очередь.

От недолгого посещения этого частного заведения у меня не сохранилось в памяти никаких воспоминаний. Там я познакомился с тремя шустрыми пацанами: Сорновым, Гончаровым и Бобровским. Дружба с лопухим, усыпанным веснушками шустряком Давидом Бобровским, он же Дуся, поддерживалась потом все десять школьных лет, несмотря на то, что Дуся поступил в 8-ю школу, а я в 4-ю, которые всегда между собой соперничали. Не мешало нашей дружбе и расстояние: Бобровские жили в коммунальной квартире двухэтажного дома на главной улице города, в четырех кварталах от нас. Они занимали одну комнату из двух. Во второй жили очень полная соседка, бывшая жена милиционера, с не менее толстой молодой дочерью. Соседей отделяла друг от друга большая, запертая наглухо двухстворчатая дверь.

Отец Дуси работал на заводе, мать — медицинской сестрой. Мальчик был у родителей один. Чтобы сыну не было скучно, родители приобрели для него маленькую собачку японской породы, которую звали Сузи. Однако, хоть собака и друг человека, Дуся предпочел иметь другом человека. Им стал я. Зачастил я к Бобровским в гости и на правах друга пропадал там целыми днями, пока родители Дуси не приходили с работы. Нам никто не мешал делать все, что бы ни пришло в голову. Квартира была предоставлена в полное распоряжение сына и собачки, не считая меня и соседей. Ел я обычно там же, в гостях, уничтожая с «хозяином» то, что было предназначено, возможно, для всех членов семьи.

Зато мы в течение пяти-шести часов наигрывались вдосталь. Наши игры, правда, не отличались оригинальностью. Мы играли в то же, что и мальчишки нашего возраста на улице: катали

обруч от бочки вокруг стола, по коридору и на кухне; гоняли в комнате мяч, изготовленный из чулка Дусиной мамы; играли в фантики на картинки из-под конфет и «понарошку» на деньги, которые оставляли родители ребенку на хлеб, молоко и другие продукты.

Неизменным участником этих забав была Сузи, сопровождавшая громким, восторженным лаем эту возню.

А вот соседками стук и грохот от игр не всегда воспринимался с пониманием. Иногда мать или дочь врывались в нашу комнату, мгновенно заполняя своими телесами все свободное пространство, и давай внушать, что мы ненормальные, что они позовут для усмирения милицию или пожарных. Вслед уходящим соседкам мы показывали кукиши или языки, за неимением иных веских аргументов, но играли уже более спокойно.

Однажды, после очередной шумной игры и нашествия соседок для усмирения «разбойников», мы решили отомстить толстухам. Для мести мы придумали следующее: вырезали из газеты два почти круглых силуэта, один побольше, другой поменьше, которые изображали мать и дочь. Эти вырезки в качестве мишеней мы прикрепили к двухстворчатой двери. Потом из поломанных перьев и ручек изготовили что-то наподобие стрел и начали их метать по команде «огонь» в «мишени».

Мы так увлеклись гражданской казнью соседок, что не заметили, когда на пороге появилась Дусина мама Тамара Абрамовна. Она продолжительное время стояла с раскрытым ртом и наблюдала за нашей варварской затеей, не в силах произнести ни слова от возмущения. Потом она сорвала «мишени», и нашим глазам предстала неприглядная картина: двери были буквально изрешечены царапинами и дырочками от вонзившихся в них стрел.

Бедная Тамара Абрамовна только и смогла спросить у меня: «Не жаждали ли тебя родители?» Когда же я с невинным лицом бодро ответил «нет», она схватилась за голову, выбежала на кухню и там, уткнувшись в угол лицом, тихо заплакала.

Кажется, после этого до меня, наконец, дошло, что мы сделали что-то гадкое и что пора уносить ноги подобру-поздорову. Еще я понял, что запахло расправой, которая временно откладывается до прихода отца Давида с работы, и что мне надо выручать попавшего в беду товарища.

Бегом я пустился домой и рассказал о содеянном маме. Она меня, конечно же, как следует, пожурила, но между тем достала банку белил и напутствовала:

— На, отнеси Бобровским, горе ты мое.

Подхватив банку, я побежал к Дуське. А над другом уже вот-вот готова была разразиться гроза: его отец уже расстегивал ремень, чтобы начать экзекуцию. Увидев меня на пороге с банкой, он промолвил:

— О, и ты появился! Что, тоже хочешь получить или выкуп принес?

— Нет, это моя мама белила передала. Мы с Дусей сами двери закрасим... Они станут как новые, вот увидите...

Очевидно, мой наивный ответ разрядил обстановку. Дусин отец посмотрел на меня, потом сказал, обращаясь к жене:

— Слышишь, Тамар, они сами все исправят, а ты волновалась.

Он взял банку с белилами, поставил на табурет. Потом добавил, обращаясь ко мне:

— А теперь марш домой, уже поздно!

И... расхохотался.

На следующий день, когда я пришел к Бобровскому, дверь уже была выкрашена и подсыхала. Следов от нашей «работы» почти не было видно.

Едва я пересек порог квартиры, Дуся робко попросил меня пойти с ним вместе гулять на улицу. По всему было видно, что он выполнял волю родителей, которые вынуждены были принять хоть какие-то меры безопасности для сохранения крыши над головой. И правильно они делали, так как мало ли что могло прийти в наши разбойничьи умы, тем более что различного рода шалостей в арсенале у шкодливого гостя было хоть отбавляй.

Когда мы пошли в школу, я начал реже посещать Дусю. И чем старше мы становились, тем становились длиннее промежутки между моими «гостеваниями». Но дружбу мы все-таки сохранили и поддерживали, особенно во время каникул. Это с Бобровскими я ездил в уборочную страду в село Веселое, куда Дусина мама была направлена в качестве медработника. Это она меня неоднократно спасала, когда я болел дифтеритом, скарлатиной и прочими болячками. Это с Давидом я был все лето в пионерлагере завода «Запорожсталь» по путевкам, которые раздобыл его отец.

Я встретил Давида через двенадцать лет после войны в Киеве. Передо мной предстал седой мужчина с протезом вместо правой руки, инвалид Великой Отечественной войны, прораб

одного из строительных трестов столицы Украины, — Давид Абрамович Бобровский, в котором с трудом угадывались черты лопоухого шустряка Дуськи.

## Глава 2. Школьные годы (часть первая)

### 1. Первые дни

Прощай, свободная стихия!  
Меня ведут в школу!

Я коротко подстрижен, тщательно вымыт, одет во все чистенькое, за спиной поблескивает новенький ранец.

Я теперь не простой уличный мальчишка, а ученик первого класса 4-й ФЗС (фабрично-заводской семилетки). Это одновременно и радует, и тревожит.

Мама торжественно ввела свое чадо за руку во двор школы. Здесь стояли, робко прижимаясь к своим родителям, еще около сотни таких же, как я, незнакомых мальчишек и девчонок.

Вокруг резвились дети чуть постарше. Время от времени кто-нибудь из них, оторвавшись от своей компании, подбегал и бросал с презрением в нашу сторону — «первячки-червячки», и, поспешно оглянувшись, отходил, чтобы его ненароком не приняли за первоклашку.

Наконец, из здания вышли четыре учительницы первых классов, начали зачитывать по спискам своих учеников и ставить их попарно за собой. Потом строем повели это робкое стадо к зданию и по классам. Бросив прощальный взгляд на маму, я двинулся в помещение, как на эшафот.

Первых классов было четыре. Обозначались они почему-то латинскими буквами: А, В, С, D.

Войдя в свой класс, мы кое-как расселись за партами. Старенькая учительница, которую звали Варварой Семеновной, еще раз зачитала список, мы откликались, кто как хотел: «да», «я», «здесь» и т.д. Потом учительница спросила, кто умеет читать и считать. Нужно было поднять руку. Я поднял, так как научился этой премудрости у сестры. Варвара Семеновна попросила меня встать, сосчитать до 10-ти, сложить 2 и 3, прочесть предложение в букваре. Наверное, с грехом пополам я выполнил просьбу учительницы, так как она сказала «хорошо, мальчик», и усадила на место. Таким же образом она опросила всех, кто поднял руку.

Не помню, какие перипетии происходили в последующие дни, но в результате вышло так, что я остался в классе «А» на все десять лет, а из четырех классов впоследствии сделали два: «А» и «В».

Мама только в первый день привела меня и увела из школы. В дальнейшем я ходил с сестрой или даже сам, несмотря на то, что школа находилась от дома за пять кварталов, на углу улиц Тургенева и Гоголя.

На второй день я вел себя уже более или менее самостоятельно. Когда прозвенел звонок, бросился в класс, где был вчера, и уселся на одну из парт у входа. Парты стояли в четыре ряда, по пять в ряду. За места развернулась шумиха. Наконец, после перепалки между учениками, старавшимися занять места мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, шум прекратился. Учительница, сидевшая за столом и в пылу горячих споров не замеченная нами, сказала тихо, но внятно:

— Дети, я сама расскажу вас за парты. А теперь слушайте внимательно: чья фамилия будет названа, должен встать и сказать: «Я». Понятно?

Обратившись весь во внимание, я стал прислушиваться и запоминать фамилии и лица учеников. Со мной за одной партой оказался Литинский, впереди Педан, сзади Орлов, а на самой последней парте в ряду возвышались два длинных пацана — Масальский и Тарасенко.

Я начисто забыл, чему еще в этот день нас научила Варвара Семеновна, но последующие события этого дня хорошо отложились в памяти, как будто это было вчера, а не 55 лет назад.

Уроки у сестры еще продолжались, я не стал ждать и направился домой. Выйдя и пройдя несколько шагов от ворот школы, я заметил двигавшегося в том же направлении соседа по парте — Литинского. Я догнал его, пошли рядом. Выяснили, кто где живет. Оказалось, что идти нам одной и той же дорогой, что зовут моего попутчика Борис. Дальше пошли молча, буца коробок спичек, так как исчерпали общую тему для разговора.

Вдруг Литинский преградил мне путь и прервал затянувшееся молчание:

— Слушай, давай стукнемся?



— Зачем? — удивился я.

— Так просто. Для знакомства надо, — заверил меня Борис.

— Если это полагается, то давай, — ответил я и внимательно оглядел попутчика. Мой одноклассник был на год старше, на полголовы выше и физически более развит. Настроение мое после детального осмотра противника ухудшилось. Но деваться некуда, сражение должно было состояться, и, чтобы оттянуть хоть немного времени, я спросил:

— Как будем драться?

— На кулаки, — последовал ответ.

— Где?

— На «сербодворе». Это по пути, пошли...

Борис свернул с улицы Гоголя на Свердлова, затем повернул в свой двор, пересек его, вышли мы к «сербодвору» на какую-то площадку, отведенную для мусора, который поступал сюда с нескольких дворов. Отсюда, как с узловой станции, можно было попасть на четыре улицы: Жуковского, Гоголя, Ильича и Свердлова.

— Здесь будем драться! — сказал мой сосед по парте, а теперь противник, и бросил в сторону свою сумку. Что делать? Я неторопливо стал снимать новенький ранец, оглядываясь по сторонам, втайне надеясь на неожиданное освобождение и одновременно прикидывая, куда мне посильнее ударить. Приняв решение бить «кумполем» под «дыхало», а кулаком по «сопатке» и первым, а там будь что будет, я снова глянул на соперника. Он стоял в боксерской стойке, сжав кулаки и иронически скривив губы, как бы приглашая меня к схватке и заранее предвкушая победу.

«Погибать, так с музыкой», — мелькнуло в голове, и я вихрем налетел на противника. Мне удалось стукнуть его головой под «дыхало» и кулаком в подбородок.

Быстрота и неожиданность, с которой были выполнены эти удары, на некоторое мгновение обескуражили Борьку, и он отступил. Затем я получил увесистый удар в челюсть, от которого отлетел, как перышко, метра на два, и сел на задницу. Мотнув головой, я вскочил на ноги и, размахивая кулаками, как мельница крыльями, бросился на противника. Некоторые удары достигали цели, но большого вреда не причиняли, так как мой противник был опытнее и искусно маневрировал, впустую сил не тратил и лишь изредка наносил мне чувствительные удары. Когда я порядком выдохся и ослабил захват, тут же получил кулаком под глаз. Искры посыпались, как бенгальские огни. Я почувствовал жгучую боль и понял, что глаз опухает. Борис тоже заметил, что навесил мне фонарь, отскочил в сторону, вынул из кармана пятак и крикнул громко:

— Хватит! Прекратим! На, приложи к глазу пятак.

Я разгорячился, мне было обидно, что не посадил противнику ни одного синяка, но бой пришлось прекратить. Когда же Борис сказал:

— А ты молодец, хорошо дерешься! — мой запал совершенно иссяк, а тщеславие было полностью удовлетворено. Затем недавний противник, а после схватки друг, изъявил желание проводить меня. Мы пошли вместе через дворы к моему дому, нахваливая бойцовские качества друг друга.

Теперь, когда наши отношения были выяснены, общих тем для разговора было более чем достаточно.

На следующий день, идя тем же путем в школу, я зашел за Борькой. С тех пор каждый день мы начали ходить в школу и обратно вместе. Потом к нам присоединился Женя Гаскин.

## 2. Первые друзья

До сих пор остается для меня загадкой: почему я, уличный и, по сути, закаленный крепкий мальчишка, попав в школу, начал часто простужаться и болеть всеми возможными и невозможными болезнями. Продолжалось это почти до 5-го класса и, конечно, сказалось на успеваемости. Дошло даже до того, что директор школы — Любовь Марковна Файзишевская, женщина своеобразная и сердобольная, заботившаяся в первую очередь о престиже школы, как-то сказала, между прочим, маме:

— Ваш ребенок — хороший мальчик, но слабенький. Давайте оставим его на второй год.

Из меня выжать слезу было почти невозможно, но тут, когда зашел разговор с мамой о переводе, я не выдержал. Я и слышать не хотел об уходе из ставшего мне родным класса и никогда не жалел потом, что не послушал совета директора.

Шло время, я перестал болеть, догнал по успеваемости соучеников, а после 8-го класса попал в разряд преуспевающих «хорошистов».

После 3-го, 4-го и особенно после 5-го класса все мальчишки быстрыми темпами, как грибы, начинают тянуться вверх — к солнышку. Я же медленно преодолевал барьер высоты, несмотря на то, что мерялся каждый день и ставил отметины на исчерченной по этой причине чернилами двери. Очевидно, сила притяжения Земли и фактор наследственности действовали больше, чем сила притяжения Солнца.

Это было в первом классе, в конце первой четверти. Придя после болезни в школу и усевшись за свою парту, я стал невольным свидетелем следующей картины: по классу важно расхаживал упитанный розовощекий пацан, размахивая инкрустированной, изготовленной из кизила, тростью, какую носили в то время люди солидного возраста. Сзади, шага за два от толстячка, следовала группа мальчишек и девочек и вопила:

— Дядя Гаскин! Дя-дя Гас-кин!

«Герой», поравнявшись с моей партией, ткнул в мою сторону тростью и удивленно воскликнул, обращаясь к сопровождавшим лицам:

— Ха, смотрите, — новенький!

— Старенький, — парировал я, — это ты новенький.

Когда свита «дяди Гаскина» подтвердила сказанное мной, он, удовлетворенный полученными показаниями свидетелей, подал мне руку и предложил:

— Давай знакомиться. Я — Евгений, Женья.

— А я Марк, можешь называть Мара.

Прозвенел звонок. Вошла Варвара Семеновна, и урок начался. Гаскин сел на четвертую парту с Мишей Орловым в среднем ряду. Меня учительница пересадила в тот же ряд, только на вторую парту вместе с Вовой Барсуковым. Борис Литинский после множества перемещений остался сидеть на своем первоначальном месте, но уже без меня.

Когда после уроков пошли домой, оказалось, что Гаскин живет на одной улице наискось от Литинского и что они давно друг друга знают, раньше меня.

Теперь по утрам я заходил к Борису, туда же приходил Женья, и мы втроем направлялись в школу. Однако чаще все происходило несколько иначе, и об этом нельзя не упомянуть.

Дело в том, что Борька был весьма щепетилен по отношению к своему внешнему виду, особенно следил за брюками и ботинками. Но больше всего на свете он любил поспать, и утром разбудить его было не так-то просто.

Брюки перед сном Борька клал на кровать между двух досок и выглаживал их за ночь своим телом лучше всякого утюга. Латаные-перелатаные ботинки он драил до одурения набором щеток и суконок, не жалея ни ваксы, ни времени, пока обувь не приобретала зеркальный блеск. Это впоследствии стало поводом для всякого рода колкостей в его адрес.

Я уговаривал Бориса перенести чистку обуви на вечер, но он упорно продолжал наводить лоск только по утрам.

К моему приходу Борькина мать, уже выбившаяся из сил от попыток поднять сына с кровати, умоляла:

— Лемехида! Вставай! Смотри, уже Марочка пришел, а ты спишь!

Борька, в конце концов, вскакивал, одевался, умывался, на ходу ел, потом... не спеша (что больше всего возмущало) чистил ботинки. Закончив эту нудную процедуру, он снова переходил на бешеный темп, хватал сумку с книгами и бегом направлялся в школу. Я вынужден был бежать следом, так как при нормальной ходьбе мы уже не поспевали к началу урока.

Женька иногда тоже принимал участие в бегах, в большинстве же случаев уходил, не дожидаясь. Очевидно, «солидность» не позволяла ему ожидать и бегать. А мне эти ежедневные бега были по душе. Зимой, правда, по глубокому снегу или гололеду бегать не хотелось. В таких случаях, встречаясь с Женькой у постели сонного Борьки, мы, не церемонясь, бросали:

— Пока, Лемехида! — и, не мешкая, направлялись вдвоем в школу.

Позже, после звонка, задыхаясь от бешеного бега, у двери класса появлялся наш незадачливый товарищ. Он просил у учителя разрешения войти, ссылаясь на очень плохую погоду, которая его подвела.

Наблюдая эту сценку, Женька и я многозначительно переглядывались и корчили рожи, полные сострадания. В ответ на эти издевательства Борька мог только крутить фи́ги в кармане, что он и делал, стоя у двери с виноватой физиономией кающегося грешника.

Борис рос в большой семье. Из четырех детей он был самым младшим — мизинчиком. Его в семье любили, но не баловали. Да и жили Литинские очень скромно, так как работал в то

время один отец, а кормить и одевать приходилось семь человек. Мне нравилось бывать в этой дружной семье, особенно когда я заставлял старших братьев Солю и Леню.

У Женьки все было гораздо легче. Он рос один в семье среди четырех взрослых. Родители его были врачами. Отец, кроме основной работы, имел частную практику. Жили Гаскины в казенном доме. У Женьки было все, чем только можно было обеспечить единственного и любимого ребенка.

Его мать, строгая женщина, небезосновательно боялась, чтобы из Женьки не вырос эгоист, себялюбец, и прилагала немало усилий для избежания этого.

Вместе с тем, для Жени была выделена отдельная комната (чего никто из нас не имел), где стояли два книжных шкафа, заполненных увлекательными книгами, полки, заставленные всевозможными игрушками и играми, письменный стол, диван и пианино. Остальное пространство покрывал ковер. Втроем мы часами играли в этой комнате. Устраивали на ковре бои в плоски, бряцали на пианино, подбирая знакомые мелодии, рисовали цветными фарберовскими карандашами или читали вслух прекрасно иллюстрированные издания Майн Рида, Жюль Верна, Александра Дюма или Фенимора Купера. У Женьки в характере, несмотря на тщетные усилия матери и бабушки, все же выработалась черта, которую ни я, ни Борька никогда не прощали. Он во всем хотел превосходить нас, и часто, делая что-то гораздо хуже, упрямо твердил:

— Все равно у меня лучше, чем у вас!

После таких явно несправедливых заявлений мы обычно ссорились и уходили. Иногда бабушка, желая подзадорить Женьку, заходила в детскую, садилась на диван, давала книгу мне или Борису и просила:

— Почитайте что-нибудь, пожалуйста, нашему недорослю.

Мы из солидарности с товарищем отказывались читать, хотя мы оба в первом классе читали почти свободно, а Женька по складам. Когда причин для отказа не находили, приходилось читать сидя рядом с бабушкой, что не доставляло особого удовольствия ни грамотеям, ни хоззяину. Обычно после Женька долго куксился и старался нас в чем-то как-то подкузнить.

И все же, несмотря ни на что (если не задевать его болезненное самолюбие), Женька был очень откровенным и правдивым мальчишкой, бескорыстно делился всем, что имел, особенно игрушками, которые тогда высоко ценились. Тем более что игрушки у него были замечательные.

Позже, не помню, в каком это было классе, Женька по предложению бабушки подарил мне прекрасную библиотеку из книг, которые долго лежали на чердаке в ожидании хозяина. Там были приложения к журналу «Нива», в том числе Марк Твен, Джек Лондон, Джеймс Кервуд и другие. В этом книжном складе я обнаружил прекрасное издание «Истории государства Российского» Карамзина, несколько выпусков альманаха «Полярная звезда» и множество других бесценных вещей.

Помнится, часто я просиживал на чердаке, роясь в книгах, несмотря на призывы Женьки спуститься. Нагрузив в очередной раз мешок, я уносил книги домой.

Летом Женька с родителями ежегодно уезжали в Крым или на Кавказ к морю. Для меня и Борьки, привыкших свои каникулы проводить на улице, эти «континенты» звучали загадочно, манили своей недосыгаемостью, казались сказочной мечтой «голубого детства».

К концу лета Женька приезжал с выгоревшими волосами и лоснящимся телом шоколадного цвета.

Остаток каникул мы проводили вместе. Женькин отец забирал нас втроем на Днепр, в Осводе брал напрокат лодку, и мы катались на реке, по очереди сажаясь за весла или за руль. Когда надоедало кататься, то под присмотром отца купались в бассейнах, прыгали в воду с тумб и трамплина. Здесь, на воде, Борька превосходил нас по всем статьям. Он прыгал с трехметрового трамплина в бассейн для взрослых, мы же вдвоем плавали обычно в среднем бассейне, а если прыгали во взрослый, то только с борта или тумбы, и, вынырнув, тут же вылезали. Женька, правда, и тут хвастал, что плавает лучше меня. Я не возражал, так как это было правдой, зато прыжки у меня получались лучше, а Женька все-таки спорил, пока мне не надоедало его глупое самоутверждение.

Так втроем неразлучно, в дружбе и в ссоре, мы проводили время, расставаясь лишь ненадолго в летнюю пору, когда Женька уезжал к морю, я — в деревню, а Борька — в пионерский лагерь.

### 3. Мы – «великие деятели»

Это было начало 30-х годов. Я ходил тогда еще в октябрютах в третий класс и готовился стать пионером. Ко всем общественным нагрузкам я относился очень серьезно, задания учительницы и водителя выполнял с необыкновенным рвением. Думаю, таким ретивым был не только я, а и все мои сверстники. Да и вся страна была тогда наполнена кипучей созидательной деятельностью. Стоило только водителю объявить, что к такому-то числу необходимо собрать столько-то металлолома, как мы начинали великий «шмон». Потрошились сараи, кладовые, закоулки и переулки, где только мог залежаться металл. Не обходилось и без курьезов. Вадим Черняк, например, захватил у родителей еще хороший утюг, а я стащил дома большую сковороду и показавшуюся мне негодной кровать, стоявшую у Бухариных за сараем.

Весь металлолом свозился на школьный двор в отдельное для каждого класса место, и, конечно, неприятно было возвращать потерпевшим уже учтенную в сданный лом вещь.

Со взятой напрокат у Гаскиных тележкой наше звено – Борька, Женька и я – рыскало по всему городу. Наша двухколесная тачка давала нам огромное преимущество перед остальными ребятами. Для тяжелого негабаритного груза, который невозможно и неудобно было переносить, требовались колеса. «Старатели» обращались к нашему звену за помощью, и мы в качестве извозчиков доставляли груз на место. За доставку груза наше «бюро добрых услуг» брало мзду натурой в килограммах за тонно-километр пути. Споров и торговли по этим вопросам не возникало, так как весь лом засчитывался в пользу класса. Но наше звено благодаря тачке ходило в передовиках. Особенно много металла мы вывезли от Ушаковых, которые жили во дворе инфекционной больницы, примыкавшей к территориям авиационного завода и железнодорожного вокзала.

Как-то по городу был объявлен антирелигиозный день. Все школьники в этот день должны были принести и сжечь все имеющиеся дома религиозные книги. В Сталинском районе местом сожжения был назначен двор собора.

Надо сказать, что в Запорожье собор – самое грандиозное сооружение города – это пятиглавая церковь с сияющими позолотой куполами, макушки которых венчали кресты. Церковь размещалась в центре города на главной улице, которая в честь нее так и называлась Соборная. Со всех четырех сторон церковь была огорожена металлической узорчатой оградой. Внутри двора по периметру располагались могилы известных священников, бывших служителей этого богоугодного заведения.

Когда в соборе правили службу, весь город оглашался переливчатым звоном больших и малых колоколов. И вот настал этот, что называется, судный день. Под грохот барабанов и завывание горнов к собору со всех сторон двигались факельные шествия школьников города со связками религиозных книг. Посреди церковного двора запылал огромный костер, куда подходили школьники и поочередно швыряли книги. Это были прекрасно художественно выполненные издания Библии, Евангелия, Корана, Талмуда и прочие священные писания, представляющие собой огромный духовный капитал, веками создававшийся человечеством и так молниеносно обесцененный нашим невежеством.

Но то было время героических свершений, когда лозунг «отречемся от старого мира» воспринимался в самом буквальном смысле.

Костер прожорливо трещал, с жадностью поглощая все новые и новые порции мировой литературы. В воздух взлетали языки пламени, неся на себе пепел горячей бумаги. Мы стояли вокруг костра, заполнив церковный двор плотной неподвижной массой. А из-за забора на наши головы со всех сторон неслись проклятия пожилых людей, которые осеняли себя крестным знаменем и угрожали нам божьей карой.

В том же году кресты и колокола сняли. Собор попытались разобрать, чтобы из его кирпичей построить, как нам говорили, Дворец пионеров. Но кладка оказалась прочной: кирпичи ломались, не желая отделяться один от другого. Собор, в конечном счете, взорвали. От величественного архитектурного сооружения до наших дней дожило только вспомогательное помещение, в котором сейчас размещается 63-е почтовое отделение.

День 10 октября 1932 года с нетерпением ждали не только запорожцы, а, пожалуй, вся страна.

В этот торжественный день пуска гидроэлектростанции днепростроевцы в открытом письме к трудящимся Советского Союза писали: «Пройдут годы, и великая Советская страна наша построит еще более грандиозные станции на Волге, а потом и на Ангаре, но навсегда в памяти

трудового народа останется великая и прекрасная поэма строительства самой крупной пока в мире гидростанции на Днепре».

На открытие Днепрогэса приехали члены правительства: Калинин, Орджоникидзе, Чубарь, Косиор и Скрипник. Кроме того, прибыли делегации со всех концов нашей необъятной Родины и зарубежные гости. Понятно, что для нас, запорожских мальчишек, это тоже было выдающимся событием, мимо которого невозможно было пройти стороной.

В 1928 — 29 гг. родители возили на автобусе меня и сестру на экскурсию показать, как строится Днепрогэс. В глубоких котлованах, на дне которых укладывался бетон под будущую плотину и шлюзы, я видел копошащихся, как муравьи, людей. А наверху вращались, перемещая и подавая груз, мощные деррикраны и сновали туда-сюда паровозы, именовавшиеся «кукушками» из-за укороченного тендера. Мы посетили тогда и чудо техники — так называемую фабрику-кухню, а попросту столовую, где автоматически мылась посуда, закрепленная в громадном колесе-контейнере.

Теперь, когда я стал учеником 3-го класса, проблем для участия в открытии Днепрогэса не существовало. Как ни печален был мой поступок, но я его совершил и оправдывался перед своей совестью, что иначе не попал бы на торжество. Втайне от родителей я договорился с приятелями по уличным играм и путешествиям о проведении этого мероприятия.

Рано утром 10 октября, под предлогом посещения кинотеатра им. Ленина, мы направились к Днепрогэсу. Чтобы не заблудиться и не привлечь внимание милиции, ватагой в полторы дюжины мальчишек мы вышли на трамвайную колею и пошли пешком по шпалам. Трамвай еще не пустили, так что путь был безопасен. Единственным, на наш взгляд, серьезным препятствием на пути, которого мы в этот день хотели избежать, была возможная и нежелательная встреча с вознесенскими пацанами. На всякий случай мы решили принять меры самозащиты. С этой целью мы в районе Малого базара набили пазухи гранитным щебнем, предназначенным для баллаستировки трамвайного пути. Идти с оттопыренными рубашками стало тяжелее, зато моральный дух ватаги значительно поднялся, и кое-кто из путешественников даже затянул походную песню:

По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед...

Когда мы дошли до того места, где теперь течет «Красная вода», нас засекли лазутчики «вражеского лагеря». Мы прибавили шаг, надеясь избежать сражения. Но не тут-то было: в районе нынешней улицы Гагарина нас встретил противник, вооруженный палками и самопалами.

С гиком и свистом эта орда бросилась с Вознесенской насыпи на нас. Мы ожидали атаки и поэтому не растерялись: развернулись цепочкой и встретили нападающих камнями. Нападавших было не более десятка, кроме того, противник не ожидал встретить такое мощное сопротивление. С позором он побежал за подмогой. Мы же расшвыряли остаток боеприпасов в ретирующих обратно на гору вояк, а сами, не теряя времени, тоже бегом направились к Днепрогэсу. Бежали налегке до самой узловой станции (ныне район универмага «Украина»). Там остановились, немного передохнули, снова набрали камней, и пошли дальше. Потерь и повреждений, не считая небольших ушибов, с нашей стороны не было.

Вскоре справа параллельно трамвайному пути пошла мощеная дорога. По ней, обгоняя нас, ехали автобусы, грузовики и пролетки. На них сидели празднично одетые люди с флагами и транспарантами типа «Пятилетку — в 4 года!», «Даешь Днепрогэс!», «Наш паровоз, вперед лети!» и т.п.

Мы изрядно устали от длительной ходьбы с препятствиями, но идти вместе с тем стало веселей, так как двигались мы уже не одни. Наша маленькая команда постепенно обрастала, как катящийся с горы снежный ком, все большим количеством попутных пешеходов. Когда подошли к 6-му поселку, двигаться стало совсем трудно, так как пришлось пробираться между людьми, заполнившими все обозримое пространство. С трудом преодолевая препятствия, где под ногами у взрослых, где под машинами, мы, наконец, приблизились к трибуне. Чтобы хоть что-то видеть, мы залезли на деревья, где тоже было не так-то просто устроиться из-за ограниченности свободных мест на ветвях. Я сидел на своем суку и смотрел во все глаза на трибуну в надежде побольше увидеть и услышать. А за трибуной моему взору открылась величественная панорама дугообразной плотины, откуда доносился мощный гул низвергаемого водопада.

...Не знаю, так это или нет, но мне казалось, что по бородке я узнал Калинина, по маленькому росту — широкоплечего Косиора, еще увидел и узнал секретаря горкома партии — отца Савки Лейбензона из 3-го «Б». Остальных людей, стоявших на трибуне, я не смог различить. Голосов ораторов я почти не слышал, и мало что дошло до меня из того, что они говорили. Зато хорошо запомнил громовые звуки сводного духового оркестра, игравшего после каждого

выступления оратора туш. Потом играли «Интернационал», «Все выше и выше» и другие революционные песни и марши.

Добрался я домой, как и все мои товарищи, попутным транспортом. Ведь, кроме того, что нас мог ожидать на Вознесенке теперь более опытный противник, всем ужасно хотелось есть. На обратную ходьбу не хватало ни сил (в случае драки), ни желания.

22 апреля 1933 года меня приняли в пионеры. Происходил прием в торжественной обстановке. На стадионе собрались октябрята всех школ района. С ними пришли старшие школьники и пионервожатые.

Кандидаты в пионеры заранее купили себе пионерские галстуки и зажимы, на которых были изображены красная звездочка и костер. Эти пионерские знаки отличия мы отдали старшеклассникам. Выстроившись в две шеренги, впереди октябрята, сзади пионеры, мы стали хором повторять слова клятвы, которую произносил в рупор секретарь райкома комсомола: — Я, юный пионер...

Затем под звуки пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих», старшие школьники надели нам пионерские галстуки.

С тех пор с галстуком я не расставался: ухаживал за ним, как когда-то за самой любимой игрушкой. С вечера гладил и вешал на спинку стула поверх одежды. Позже приобрел второй в запас, на случай, если первый испачкается.

Я мог забыть надеть майку, носки, не вложить в портфель необходимую книгу или тетрадь, но галстук не забывал надеть никогда. Галстук стал неизменной частью туалета и моей гордостью, так, как впоследствии комсомольский билет и значок. В старших классах, когда я стал уже комсомольцем, мои два галстука пошли на изготовление модных тогда плавок.

Каждая школа в то время имела по несколько шефов. В нашей 4-й школе ими были: авиационный завод №29 им. Баранова, пожарная команда по ул. Грязнова и политкаторжане.

Вспоминается, с каким удовольствием ходили мы на экскурсии к шефам.

Наша учительница Мария Васильевна Корсунская (она сменила во втором классе старенькую, ушедшую на пенсию, Варвару Семеновну) и старший пионервожатый Николай Степанович обычно водили нас к шефам после второго урока, что само по себе уже было праздником. Несмотря на то, что нам было по 10-11 лет, и мы носили пионерские галстуки, Николай Степанович требовал, чтобы во время экскурсии мы ходили парами, как в первом классе. Это несколько омрачало праздник. Я давно забыл фамилию этого старшего пионервожатого, но хорошо запомнил, как он говорил на смешанном русско-украинском языке, заглатывая букву «Р», доставлявшую ему немало хлопот. Свой постоянный вопрос «Ребятунки, шо вы робите?» он произносил так, что ставил себя и нас в неловкое положение.

...На заводе по цехам нас водили мастера, которые рассказывали и показывали, как делаются авиационные двигатели. Мне очень понравился цех цветного литья, где плавил и разливали по формам жидкий алюминий. Я даже взял себе на память какую-то деталь из этого серебристого металла.

Еще посетили мы пожарную команду. Я был знаком со службой пожарных с раннего детства, потому что такая же пожарная команда находилась через двор от моего дома. Естественно, на экскурсии я вел себя как опытный товарищ, уже имевший дело с пожарными и пожаротушением, что было почти правдой.

Пожарные демонстрировали перед нами свое искусство; за несколько секунд по тревоге они одевались, спускались по вертикальному столбу в гараж (некоторые даже вниз головой) и рассаживались по гудящим машинам. Девочки, глядя на такие трюки, даже визжали от восторга. Я же становился перед удивленными ребятами в позу знатока и скептически заявлял:

— Подумаешь, наши пожарные все это делают быстрее и лучше.

Хотя, если сказать правду, я не был на 100% уверен в этом.

А как интересно было в гостях у политкаторжан! Бывшие узники царского режима жили в доме, где на главной улице сейчас установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь жил И.Т. Леппик». В нашей школе училось много детей политкаторжан, в том числе дети Леппика. Со мной в классе тоже учились дети бывших узников: Наташа Иванова, Нина Скрипник, Марат Сталин. В подвальном помещении своего дома политкаторжане создали очень интересный музей. Там были собраны подлинные документы и экспонаты времен гражданской войны и революции: листовки, прокламации, личное оружие и одежда бойцов Красной Армии, боевые ордена и т.д. По музею нас водил сам Иоганнес Теннович Леппик, рассказывая о себе и своих товарищах, о Ленине, о революции, Гражданской войне и борьбе за установление Советской власти в г. Запорожье.

Еще до поступления в школу у меня начали проявляться кое-какие способности к рисованию. Фантазии в составлении композиций не хватало, и я ограничивался изображением человечков, домашних животных и различных предметов. Когда пошел в школу, уже мог хорошо рисовать, особенно срисовывать. В классе нашем хорошо рисовали Вова Барсуков, Валик Ушаков, Боря Литинский, правда, последний художник специализировался в основном на индейцах. Под влиянием какой-то из прочитанных книг я предложил Вове Барсукову, с которым сидел за одной партой, выпустить газету. Мы вырвали из середины тетради двойной лист, на котором написали:

— Клякса №1

Сатирический орган 2-й парты, 2-го ряда 3-го «А» класса 4-й ФЗС.

Потом нарисовали несколько дружеских карикатур и шаржей на соучеников, сопроводив их соответствующими надписями, тут же поместили свое сочинение «Приключения мальчика Кляксы». Поскольку это сочинение, по нашим предположениям очень длинное, богатое иллюстрациями, должно было все-таки отражать жизнь класса, мы снабдили его грифом «продолжение следует» и пустили по партам на суд общественности. Эта газета имела успех. Кое-кто из читателей даже потребовал от нас рассказать, что было дальше, или немедленно выпустить «Кляксу №2». Мы пообещали со следующей газетой не задерживаться, однако нашей фантазии хватило на 3 или 4 номера, не больше, после чего «Клякса» прекратила свое существование, а ретивые читатели, да и сами авторы, так и не узнали, чем закончились «приключения».

Между прочим, наше литературно-художественное творчество на этом не завершилось. С легкой руки учительницы Марии Васильевны Корсунской вскоре меня и Вову выбрали в состав редколлегии классной стенгазеты. Это происходило на пионерском собрании, где распределялись нагрузки. Так что отказаться от такого ответственного поручения мы никак не могли. Названия у газеты нашего класса с годами менялись: «Колючка», «Ежик», «Пионер», но мы всегда делали ее старательно, с огоньком. Поэтому каждый новый номер собирал вокруг себя ребят, которые рьяно обсуждали содержание свежего номера газеты.

Участие в стенной печати и ответственность за своевременный выход ее в свет заставили меня не только старательно иллюстрировать каждый номер, но и научили писать стихи.

Иногда коллективный просмотр газеты кончался обидой «пострадавшего» на якобы незаслуженную критику и ссорой с авторами стихов и рисунков. Но что поделаешь. Мы себя считали, по крайней мере, непогрешимыми борцами за пионерское дело, справедливыми критиками. Это было тогда. Теперь мне думается, что мы часто бывали не правы. Очевидно, быть объективными нам мешал наш детский максимализм.

Избрание меня на пионерском собрании в редакционную коллегию классной стенной газеты имело роковое последствие. С тех давних пор выпуск стенгазеты в качестве рядового члена, зама и главного редактора для меня стал постоянной заботой и общественной нагрузкой в школе, институте и на работе.

#### **4. Алексей Фердинандович Фешотт**

Я думаю, что спорт не только в моей жизни школьного периода, но и у большинства моих одноклассников и других учеников нашей школы занимал особое место. И все это благодаря моему учителю физкультуры — Алексею Фердинандовичу Фешотту.

Это был аккуратный, всегда подтянутый, выше среднего роста, бритоголовый человек с приятным тембром голоса, правильной речью и прекрасной дикцией. Своей стройной, спортивной фигурой он олицетворял физическую культуру.

Он пришел в 4-ю школу, когда я был в 3-м или 4-м классе. Деловой и энергичный, он увлек всех малышей спортом и превратил в добровольных помощников по строительству спортивного комплекса в школе. Под спортзал была отведена одна из самых больших комнат, располагавшаяся на первом этаже. Туда завезли необходимый спортивный инвентарь. Среди двора вкопали столбы для игр в волейбол, баскетбол, гандбол и футбол.

Фешотт был инициатором создания в наших классах партерных групп. Старостой нашей группы стал по праву Боря Литинский, а в 8-м, тогда старшем, классе — Сергей Трофимчук. В партерной группе мы занимались акробатикой и построением всевозможных пирамид. Вначале мы их рисовали на бумаге и коллективно обсуждали с Фешоттом, затем, распределив роли по исполнителям, приступали к тренировкам. Во время тренировок словопреения прекращались.

Вся полнота власти переходила в нашей группе к Борьке Литинскому, а он ею пользовался с упоением. Иногда мой друг даже превышал свои полномочия. Мы обижались, но во имя спорта терпеливо сносили незаконное ущемление прав человека.

Для поддержания энтузиазма Алексей Фердинандович предложил нашей партерной группе выступить на ближайшем школьном вечере. Это выступление сопровождалось бурными аплодисментами учителей и школьников.

Потом я несколько дней ходил, надувая щеки и выпячивая грудь: мне казалось, что на меня все обращают внимание и даже завидуют.

\* \* \*

Заканчивался 1933 год. Страна готовилась к XVIII съезду ВКП (б). В начале января 1934 года должна была состояться городская партконференция. Нашей школе поручили приветствовать ее делегатов. Готовили речевки и выступление партерной группы, которую Фешотт создал из нашего и восьмого классов. Пирамиды отобрали самые лучшие из уже опробованных. А одну после мучительных раздумий, споров, поисков и проб, создали заново, с учетом ее назначения — для делегатов.

В период подготовки волновались все, но больше всех остальных, конечно, директор — Любовь Марковна. Она развернула бурную деятельность: без конца ходила по классам освобождать членов партерной группы от уроков для тренировок и напоминать, что наше выступление не за горами. Она забегала взвинченная в зал, смотрела на наши построения, делала совсем не уместные замечания, которые Алексей Фердинандович воспринимал, к счастью, как и подобает человеку, обладающему достаточным чувством юмора. Позже Любовь Марковна все-таки поняла, что не имеет спортивных навыков, и занялась только участниками речевок, передав спорт полностью в руки самих спортсменов и Алексея Фердинандовича.

Фешотт не докучал нам излишней опекой. Он проверял готовность пирамид и четкость построения на следующий номер, а отработку отдельных элементов поручил старостам. Благодаря этому Борькины акции в подготовительный период невероятно возросли. Несколько раз, пользуясь своим положением, он от имени директора школы забирал нас с уроков, и мы, предварительного договорившись, шли вместо тренировок в кино или к Муське Колтунову, который жил за три двора от школы, бездельничать.

Утром 5 января 1934 года мы собрались в школе на генеральную репетицию. Вечером в парадной пионерской форме со знаменами под звуки барабанов и горнов направились многочисленной колонной к театру им. Заньковецкой, где происходила городская конференция.

В театре, с развернутыми знаменами под барабанную дробь мы прошли между рядами вставших с мест и аплодировавших в такт маршу делегатов, на сцену.

Там мы выстроились, начались речевки. Делегатов конференции приветствовали, не знаю, кем написанными, стихами, но мы их старательно выучили и выкрикивали наизусть. Жаль только, что содержания их моя память не удержала. К тому же я стоял и мысленно повторял последовательность всех движений, которые должен проделать при построении пирамид...

Наконец, наступила очередь партерной группы показать все, на что она способна. Пирамида... построение... снова пирамида... снова построение... На сцене все происходило, как в огромном калейдоскопе, в котором мы, как стеклышки, меняли места и позы. Я, самый маленький и легкий в партерной группе, все время находился на верху. Меня поднимали то один, то двое, то трое, которых тоже кто-то поддерживал. Я обязан был стоять то прямо, то в стойке, то в предносе. Венчала наше выступление самая высокая, в четыре этажа, пирамида. Это монументальное сооружение завершалось макетом книги «Ленин — Сталин», на которой стоял я в пионерском галстуке, одна рука у пояса, а другая с горном у губ. Высота пирамиды была около пяти метров. Я не испытывал никогда во время тренировки ни головокружения от высоты, ни страха от последующего прыжка, так как меня всегда ловко подхватывали надежные руки старшеклассников — Сергея Трофимчука и Игоря Благовещенского... Но от наступившей в зале гробовой тишины я вдруг, казалось, услышал биение собственного сердца, чуть не потерял от напряжения равновесие и не слетел в оркестровую яму... Стоявшие внизу между рядами пионеры проскандировали приветствие делегатам конференции... еще 1 — 2 минуты... и зал разразился громом аплодисментов.

Не знаю, как другие, но я буквально на ватных ногах под «Марш энтузиастов» зашагал со сцены.

После с этой программой нас приглашали выступать шефы: завода №29 им. Баранова, политкаторжане и пожарные. Мы выступали везде безотказно, с большими корректировками пирамид в зависимости от высоты помещения.



Директор школы Любовь Марковна не преминула использовать нашу популярность. Она добилась от городских властей и шефов средств на перестройку и расширение школы. 4-я (теперь СШ) увеличивалась по длине и высоте. Были организованы отдельные кабинеты для физики и химии. На втором этаже построен прекрасный актовый зал с небольшой сценой и балконом. В этом зале проводились утренники, вечера, занятия по пению. Туда же по настоянию нашего спортивного бога Алексея Фердинандовича Фешотта был перенесен весь спортивный инвентарь и установлены шведская стенка, съемные турники, кольца и снаряды. Теперь занятия по физкультуре проводились в светлом, просторном зале, который стал для нас настоящим дворцом спорта.

## **5. Мои спартакиады**

К пятому классу спорт вошел в мою плоть и кровь до такой степени, что на время потеснил остальные школьные предметы. Кроме уроков физкультуры, на которые ребята нашего класса шли, как на праздник, часть фанатов, в которую входил и я, занималась спортом все свободное время: на переменах и после уроков, тут же в своем классе старательно крутили колеса, делали стойки на руках, сначала опираясь ногами о стенку, а потом и без опоры.

Борька мог, например, расхаживать на руках по классу очень долго, особенно если это происходило в присутствии девочек. Дома он тоже не терял времени зря: в соседнем дворе прыгал с лестницы, хватаясь за ветку, как за перекладину, руками и потом раскачивался на ней вверх или вниз головой на согнутых в коленях ногах. Он, очевидно, воображал себя цирковым гимнастом, выступающим на трапециях.

Однажды Борька решил исполнить «смертельный номер». Он поднялся по лестнице сразу на две ступени выше, чем обычно. Прыгнул, и... пальцы его рук скользнули по ветке, и наш герой плашмя растянулся на земле. В бессознательном состоянии Борю принесли домой. Кровь шла у него из горла и носа. Вызвали врача... Долго потом, обложенный ледяными и горячими компрессами, он отлеживался неподвижно на кровати, пока не поправился.

Мои занятия физкультурой сопровождались меньшим риском. По утрам я до иступления отжимался руками от пола, делал зарядку, всевозможные приседания с гириями и без. Натренировался до того, что мог выполнить стойку без отталкивания, на парте и на полу из положения лежа. У всех ребят, которые занимались партерной гимнастикой и увлекались спортом, появились зримые достижения: увеличились бицепсы, и мы без конца давали друг дружке их щупать.

Подстегивая нашу увлеченность, Фешотт как-то сказал, что в Доме физкультуры (он размещался по ул. Чекистов в здании бывшей синагоги) организованы занятия для юношей по различным видам спорта и в недалеком будущем мы сможем туда записаться. Пошли, посмотрели. Я бы записался с удовольствием во все секции сразу, но, поскольку был мал и едва достиг 12-летнего возраста, пришлось набраться терпения, ждать и наблюдать, как занимаются другие подростки. В секции записывали только с 14-ти лет. Алексей Фердинандович вел там гимнастику, борьбу и фехтование. Участь временных наблюдателей постигла почти всех моих товарищей по классу. Но с тех пор мы стали неперенными и самыми активными посетителями Дома физкультуры. В теплое время года добавлялся стадион.

Мы знали имена, фамилии и клички всех спортсменов города, познакомились с их тренерами. Могли часами обсуждать: кто, что, когда сделал или сказал из знаменитых спортсменов. В общем, мы «заболели» спортом, стали его знатоками, а зимой, как и прежде, оставаясь после уроков в школе, занимали свободный класс, сдвигали в одну сторону парты и начинали совершенствоваться в партерной гимнастике, борьбе и боксе. Нередко задерживались допоздна так, что школьная уборщица тетя Маруся гнала нас мокрой тряпкой вон из класса, приговаривая при этом:

— А ну, антихристы, геть из класса! Вам дня мало? Небось, родители вас уже с милицией ищут!

Для организации соревнований по борьбе мы вместо матов обычно клали пальто, снимали обувь и по углам ставили стулья. Основной судья ходил по «матам» тоже босиком со свистком в зубах, боковые судьи рассаживались на стульях, а болельщики и свободные пары борцов садились на составленные у одной из стен парты. Моими противниками-партнерами по борьбе в легчайшей весовой категории были: Вадим Черняк, Абрам Мордухович и Юра Ребенко — «Спичка». Мы пыхтели, самоотверженно боролись, но предпочтение кому-либо из нас отдать было трудно. Года через два Вадим все-таки записался в секцию борцов при Доме физкультуры

и тогда стал среди легчайшей категории явным лидером. Надолго врезалось в память, как однажды боролись Мишка Орлов и Гришка Майзлин. Они были примерно одного веса, считались среди нас «средневи́ками», только Мишка был худой и длинный, а Гришка — среднего роста, коренастый, плотный пацан.

Разучивался в этот раз прием, называемый в классической борьбе «суплекс». Нужно было захватить противника за обе руки и, падая на мост самому, перебросить его через голову. Ребята боролись в поте лица, не жалея сил. Вдруг Мишка, улучив момент, провел этот коварный прием. Поскольку борьба шла уже на краю расплзшихся «матов», Гришка при падении угодил головой в угол парты. Бедняга перевернулся на спину, простонал, закрыл глаза, вытянулся и умолк.

Сначала все растерялись, нас охватил шок. Потом мы соскочили с парт и начали по очереди делать искусственное дыхание пострадавшему. Несколько человек бросились в туалет, набрали кто в рот, а кто в ладоши воду и стали брызгать в лицо распростертому на полу герою.

...Наконец Гришка промычал что-то невнятное, по бледному, мокрому лицу его пробежала судорога, он захлопал веками и открыл глаза.

Когда Гришка окончательно пришел в себя после «клинической смерти», все участники борьбы вместе с судьями и болельщиками провели его домой.

После этого случая занятия в классе по борьбе были временно прекращены.

Куда легче было заниматься спортом весной, летом или осенью на свежем воздухе. Любая свободная площадка — уже стадион. На переменах мы играли в волейбол или чехарду, после уроков — футбол на школьном дворе или во дворе у Колтуновых. Кроме того, я с Борькой и Женькой ходили на стадион «Динамо», где было четыре корта, учиться играть в теннис.

\* \* \*

Во время летних каникул, в разгар моих спортивных увлечений, кто-то из старших мальчишек по улице предложил сходить на стадион ПРЗ посмотреть футбол. Для меня этот стадион был дальней далью, так как находился он «аж за тюрьмой».

Но на этом стадионе играла команда «Локомотив» — гордость запорожского футбола. В тот памятный день «Локомотив» играл против одесской команды «Пищевик» и победил ее со счетом 3:1. Болельщики ликовали, особенно такие, как я — пацаны, попавшие на стадион через дырку в заборе. У каждого из них был свой футбольный бог. После каждого матча ватага мальчишек сопровождала обычно своих любимцев — Прядку, Ушкалова, Блюма, Хмирова, Котика и других футболистов от стадиона ПРЗ до клуба Дробязко, куда они шли переодеваться. Если в это время удавалось поднести или подержать бутсы любимого футболиста, то счастливчику завидовала вся улица, а разговоров об этом было на неделю.

В Запорожье к тому времени организовалось три заводских футбольных клуба: завода ПРЗ — «Локомотив», завода им. Баранова — «Крылья Советов» и завода «Запорожсталь» — «Металлург». Команды состояли в основном из игроков, работавших на заводах, честь которых они защищали. Должности и специальности у футболистов были разные, но объединяло их в прочный коллектив одно — беззаветная любовь и преданность футболу.

На поле они все были равны: начальник и рабочий, главный инженер завода и слесарь. Тренировались после работы и во время тарифного отпуска. На встречи со своими командами зачастую ездили за свой счет. Пропущенное время отработывали, не предъявляя никому претензий. И не дай Бог кому-либо из игроков допустить во время игры ошибку или промазать. Такому бедолаге на следующий день на заводе лучше не появляться: ему не дадут прохода, засмеют, затюкают. «Виновный» держит ответ перед своим коллективом. Это было негласное правило для каждого футболиста и каждого коллектива, поэтому играли ребята с величайшей самоотдачей.

После первого посещения футбольного матча (не официального, а зайцем) я стал серьезно заниматься футболом, «заболел» им. Через год при заводе им. Баранова была организована юношеская спортивная секция по подготовке футбольных кадров.

Пошли записываться в секцию всей уличной командой. Тренером там работал крайний правый команды «Крылья Советов» Дмитрий Остапец.

После первых тренировок и отбора многих отчислили. К счастью, я остался. Играл в полузащите, или, как тогда называли, был хавбеком. Со временем начал играть за подростковую команду «Крылья Советов», и, очевидно, показал неплохие результаты, так как впоследствии, когда встал вопрос «учеба или футбол» и я решил уйти из команды, Остапец долго уговаривал меня не покидать спорт и футбол.

Игра в спортивном обществе «Крылья Советов» давала своим членам некоторое преимущество: нам выдали за мизерную плату членские билеты, по которым можно было в любое время бесплатно ходить на стадион и брать на лодочной станции весельную лодку для катания. Но об этом ниже пойдет особый разговор. А пока...

Пока я снова вернусь к рассказу о физкультуре и учителе, который привил любовь к спорту.

## **6. Утро красит нежным светом...**

В непосредственной связи с уроками физкультуры были ежегодные праздничные демонстрации, тщательно подготавливаемые учителем Алексеем Фердинандовичем Фешоттом.

Не припомню сейчас точно, какой был тогда праздник, в честь чего. Возможно, отмечалась одна из годовщин пуска Днепрогэса, так как демонстрация проводилась в Новой части города, на 6-м поселке. Обычно же все праздничные демонстрации проводились по районам, которых в то время было два в городе: Ленинский и Сталинский.

...Праздничная колонна 4-й ПСШ на 6-м поселке изображала САМОЛЕТ.

Четверо дюжих десятиклассников — Благовещенский, Трофимчук, Рывтин и Конотоп — на плечах несли деревянные носилки с кабиной самолета. Крылья, фюзеляж и хвостовое оперение его составляли школьники в спортивной форме. От кабины влево и вправо, поддерживаемые руками, растянулись в виде крыльев полотнища с надписями: на одном — «СССР», на другом — «АНТ-25». Я сидел в кабине самолета в кожаном шлеме и очках, а на руках у меня красовались кожаные перчатки с широкими отворотами. Я изображал и чувствовал себя пилотом, особенно когда бросал из кабины в многочисленную публику листовки...

Как ясно и ярко вспоминается одна из первомайских демонстраций и тщательная подготовка к ней.

Любовь Марковна и Алексей Фердинандович тогда своей выдумкой и настойчивостью удивили и перещеголяли остальные школы. Демонстрация проводилась, как обычно, в старой части города — в Сталинском районе. Наша школа решила идти словом «Сталин», олицетворяя тем самым имя вождя и района.

Каждый класс изображал определенную букву. Идти от класса в букве мог не каждый, нужно было завоевать это право хорошей учебой и дисциплиной. Моя сестра была в 10-м классе, который изображал букву «С», мой седьмой класс — букву «Л».

Тренироваться начали с марта месяца и ходили вплоть до 30-го апреля вокруг городского сада, по два часа ежедневно, построенные по буквам. Мы учились выдерживать интервал между буквами. Через каждые 15 минут по команде мы останавливались и приседали, кладя руки на плечи впереди стоящего. В таком положении пребывали до двух минут, затем по команде Фешотта приподнимались и опять шли дальше по кругу. За два месяца непрерывной муштры мы отработали все движения до автоматизма. Наш строй был безукоризненным. При остановках и приседаниях четко вырисовывалась каждая буква и слово в целом.

Это утро 1 мая 1937 года было каким-то особенным. Солнце только взошло, на небе не было ни облачка. Весенний воздух будоражил и бодрил упругое тело. Из огромных, похожих на граммофонные трубы репродукторов, развешанных по городу, неслись звуки популярной песни:

Утро красит нежным цветом  
Стены древнего Кремля...

Вскакиваем с сестрой одновременно, как по команде. Около кроватей нас ждут начищенные зубным порошком «прорезинки», белые носки и выглаженная форма: у меня — белые брюки и рубашка, красный галстук и такой же берет; у сестры — синяя юбка, белая блузка, красный галстук и синий берет. Мы быстро оделись и поспешили в школу. Когда все участники демонстрации собрались в формах на школьном дворе, нас охватило всеобщее ликование, так как мы почувствовали себя единым большим коллективом.

Очевидно, этот праздничный настрой передался и директору школы, и учителям, потому что на всех без исключения лицах сияли счастливые улыбки.

На середину двора уверенным шагом, с рупором в руках, в белой форме вышел Алексей Фердинандович. Громким, четким голосом он объявил построение. В считанные секунды участники парада заняли свои места в строю.

Впереди колонны юноша и девушка с эмблемой школы и знаменосец с большим бархатным знаменем. За ними — директор школы, завуч и группа учителей. Дальше — колонна велосипеди-

стов с алыми полотнищами, прикрепленными к рулю, и обвитыми красными лентами колесами. Среди велосипедистов от нашего класса было три представителя: Миша Левин, Женя Гаскин и Муся Колтунов. Еще дальше стал духовой оркестр, руководимый отцом одного из учеников — Сладеком. И, наконец, выстроенное по буквам слово, —

СТАЛИН.

Замыкали колонну школьники с цветами, флагами, воздушными шарами и транспарантами. Оркестр грянул марш, и мы двинулись по улице Гоголя до улицы Ильича, потом свернули на главную улицу — Карла Либкнехта, подтянулись и пошли по ней развернутым строем, четко печатая шаг. В середине каждого квартала колонна на минуту приостанавливалась, и те, кто шел словом «СТАЛИН», приседали. Это производило эффект. По обе стороны улицы, где на тротуарах стояла разношерстная, празднично одетая публика, раздавались удивленные голоса:

— Смотрите, написано «Сталин»!

Зрелище действительно было необыкновенное: на мостовой вдруг четко вырисовывались белые буквы с красными и синими полосами посередине. Колонну награждали аплодисментами. К нашим ногам летели букеты сирени. Мы поднимались и двигались дальше, к трибуне. С тротуара доносились догадки и споры зрителей относительно того, где идет какая буква, что нас очень занимало. Нашу букву, например, называли по-разному. Взрослые говорили:

— Это идет, кажется, буква «Эль»?

Стоящие рядом с ними дети подтверждали:

— Да! Это идет «Лы»! А там дальше — «Ны»!

Мы шли не оборачиваясь, с серьезными лицами, вернее, такими торжественными минами, как будто нас ничего не касалось. Своим независимым видом, устремленными вперед отрешенными взглядами мы старались показать, что наши чувства выше эмоций праздной публики.

Около трибуны колонна последний раз остановилась на 1 — 2 минуты. Мы снова продемонстрировали упражнения. В ответ на приветственный лозунг, обращенный с трибуны, где стояли руководители города, дружно проскандировали:

— Слава Родине!

— Слава Ленину!

— Слава Сталину!

И промаршировали дальше по главной улице. Уже можно было сворачивать на боковую улицу и расходиться, но мы продолжали идти и идти: ни у кого не хватило смелости первому разрушить этот красивый, монолитный строй. Этот праздничный день и Первомайский парад запомнился, как одно из выдающихся событий нашей бурной школьной жизни.

## **7. Если хочешь быть здоров — закаляйся!**

Летом того же 1937 года в Москве проводились всесоюзные соревнования школьников по спортивной гимнастике. Наш класс внимательно следил за соревнованиями, так как гимнастикой мы увлекались не менее чем борьбой и футболом.

В том же году чемпионкой СССР среди девушек по гимнастике стала Женя Абрамович. Ее фотография была помещена в журнале «Огонек», газете «Пионерская правда» и разных спортивных хрониках. Со снимков смотрела коротко постриженная под мальчика, улыбающаяся озорная девчонка.

Каково же было наше удивление, когда осенью, придя в школу, мы у себя в 8-м «А» столкнулись с этой девочкой. Только в жизни Женя была гораздо интереснее, чем на всех вместе взятых фотографиях. Черные с поволокой глаза и маленький носик на смуглом лице, ладная спортивная фигурка и милая улыбка, делавшая ее очаровательной. Нам завидовали ученики старших классов нашей и других школ из-за того, что Женя училась с нами. Однако побывала она в «А» классе всего несколько дней и перешла в параллельный 8-Б. Ее старший брат, тоже отличный гимнаст, поступил в 10-й. Как-то на одном из спортивных вечеров, устроенном Фешоттом в школе, Женя с братом выступали с показательной программой на гимнастических снарядах. Запомнилось, как брат вынес ее на сцену, коричневую от загара, в белом трико, высоко подняв над головой, как Спартак свою любимую. Изогнув свою стройную фигурку и запрокинув голову, Женя одну руку вытянула вперед, а другой, поднятой вверх, сжимала алую развевающуюся, как знамя, косынку. Присутствие Жени рядом с нами в течение трех лет сделало свое доброе дело: многие мальчишки стали ярыми поклонниками спортивной гимнастики. Особенно преуспели в этом виде спорта в нашем классе Муська Колтунов и Борька Литинский. У меня тоже неплохо получались упражнения на перекладине, кольцах и коне.

Занятия гимнастикой не мешали увлекаться и другими видами спорта. Вова Педан, например, старательно занимался боксом, а Миша Орлов, Абрам Мордухович и Женя Гаскин совершенствовались в волейболе. Я уже упоминал, что мы были частыми посетителями Дома физкультуры. Старались не пропустить ни одного сколько-нибудь значительного соревнования по гимнастике, борьбе, штанге, боксу и волейболу. Соревнования же между сборными школ — тем более. Особый интерес представляла игра в волейбол между 4-й и 8-й школами, всегда носившая принципиальный характер. Ребята той и другой школы здорово играли, поэтому финал проходил в основном между сборными этих школ.

Однажды в самый разгар встречи один из болельщиков 8-й школы чем-то обидел болельщика 4-й. Между ними завязался спор, который вот-вот готов был перерасти в драку. Спорящие вышли на улицу. Так как один из них учился в нашем классе, мы, несмотря на накал соревнования между двумя всегдашними лидерами-соперниками, вынуждены были покинуть зал. Тот же маневр осуществили представители противной стороны. После минутных пререканий спорящие скрестили шпаги. Драка между двумя скоро переросла в массовое побоище между школами. Бок о бок со мной и Борькой сражался Вовка Педан. Он вел бой со знанием дела и по всем правилам. Слегка пригнувшись и пританцовывая, он бил без промаха, с выпадами и отходами, не получая ни одного ответного удара, тем более, что сзади и сбоку мы его прикрывали.

Противник отступил. Наша школа тем самым доказала свою правоту по принципу «Сильный всегда прав». Помню, потом я долго пытался выяснить, по какой причине завязался спор и драка, но толком этого никто объяснить не смог.

В спортивный зал в потрепанном после драки виде заходить было неловко. Зализав кое-как повреждения, мы разошлись по домам. По дороге я и Боря Литинский решили, что нам необходимо заняться боксом, так как в только что прошедшем сражении обнаружились наши слабые стороны. В то же время у Вовы Педана этот бой прошел безукоризненно.

На следующий день Борька пошел на разведку в машиностроительный институт, где учился его старший брат, и где была организована секция бокса. Разведка прошла успешно. Мы записались в секцию, которой руководил один из студентов — Игорь Бандалетов. Так вдвоем с Борькой мы стали заниматься боксом, который я не покидал, будучи уже студентом 1-го курса института. Мне нравился бокс. Он воспитывал выносливость и быстроту реакции и отучил меня от ненужных драк, выяснения отношений на кулаках. Наоборот, хорошо освоив приемы, я старался не ввязываться, а если без этого было не обойтись, то больше уклоняться от ударов, чем наносить встречные. Так, по крайней мере, наставлял в процессе учебы Игорь Бандалетов.

Зато с Борькой, когда я приходил к Литинским в гости, мы дрались до истощения. Он меня, бывало, так измочалит, что, еле дыша, я обтирался мокрым полотенцем, чтобы как-то прийти в себя и помассировать ушибы. За такие уроки я не обижался на друга, а наоборот, был ему благодарен, так как потом, боксируя с равными по весу противниками, легко переносил удары. Борька от этих тренировок тоже, по-моему, не был внакладе.

\* \* \*

То ли мне кажется, то ли в действительности (и это подтверждают мои сверстники), но зимы в те 30-е годы на запорожской земле редко были суровыми, но зато всегда снежными. Бывало, встанешь рано утром, откроешь наружную дверь, ведущую во двор, а перед тобой белая стена высотой до метра. Для того чтобы добраться до сарая за дровами и углем или до водопроводной колонки, находившейся у калитки в начале двора, нужно брать лопату и расчищать снег. Для сообщения с внешним миром весь двор и улица испещрялись коридорами, которые стояли до той поры, пока не растает снег или не разметут их пешеходы и запряженные в сани лошади. А каких снежных баб лепили мы в эту пору!..

В каждом дворе и на каждой улице они стояли с морковками вместо носа и угольками вместо глаз, на голове старое ведро или порванная корзина, в руке метла.

Снежные бабы, снежные горки, а то и снежные крепости, — эти неперенные атрибуты зимнего пейзажа попадались на каждом шагу.

В такую-то зиму, в дни, когда снег толстым одеялом укрывает землю, нет ничего лучше, как прокатиться на лыжах. У меня были небольшие лыжи, на которых я гонял по улицам и не пропускал ни одной горки из тех, что попадались на пути. А то с Борькой и Женькой втроем предпринимали длительные лыжные прогулки. Борька надевал гоночные узкие длинные лыжи одного из старших братьев и шел, разумеется, впереди. Женька шел вторым. У него тоже были отличные лыжи, владельцу которых можно было только позавидовать. Я на своих маленьких дешевеньких лыжах едва поспевал за друзьями, замыкая экспедицию. Постепенно я привык к

такого рода походам, отработал быстрый шаг, почти бег, и впоследствии не отставал. Скользил по снегу наравне с товарищами, иногда обходя Женьку, хоть он и болезненно реагировал на такого рода маневры.

В какую-то из зим я пристрастился к прыжкам на лыжах с трамплина, даже не подозревая, что мои коротышки для этой цели никак не пригодны.

Две хорошие снежные горки находились выше ул. Жуковского. Их образовали высокие насыпи для мостов, проходивших над железной дорогой. Кроме того, отличная горка была около речушки Московки. Там лыжники съезжали с насыпи прямо на замерзшую речку. В стороне, на льду, очищенном от снега, пацаны разных возрастов катались на коньках.

На всех перечисленных снежных горках в конце спуска мальчишки соорудили трамплины по полтора-два метра высотой.

Прыжки с трамплина настолько мне нравились, что я в угоду им забросил походы, и каждый день всю зиму ходил прыгать. В прыжках с трамплина здорово поднаторел и, в конце концов, среди пацанов уступал только ученику старшего класса нашей школы Вадиму Полякову. У него, правда, были лыжи пошире и подлиннее моих, со специальными креплениями. В общем, у него, как у Женьки, была экипировка настоящего лыжника. Я не очень завидовал таким ребятам (такого чувства у меня, кажется, в ту пору вообще не было), а если и да, то совсем немного. Однако вскоре я убедился, что значит иметь на лыжах жесткие заводские крепления.

Как-то в конце зимы пошел я на лыжах в гости к соученику. Он жил на берегу Московки, где был устроен отличный трамплин, и для меня этот факт был определяющим. Снег на горке и на речке хорошо укатали, так что лыжи прекрасно скользили, и бежать, и прыгать можно было как нельзя лучше. Не помню, сколько раз я успел прыгнуть, каждый раз поднимаясь вверх и ожидая своей очереди. Но во время одного из прыжков (он стал последним) лыжи слетели с ноги, я приземлился на покрытый снегом лед, который тотчас же подо мной провалился. Я упал на снег, не повредив увязшую в ледяной каше ногу. Но вода успела проникнуть во все поры, изрядно промочив штаны и ноги. Благо, рядом жил товарищ — Абрам Мордухович. К нему я и потопал сушиться на негнущихся ногах, в замерзающей одежде, оставляя выразительные следы на снегу. Вот что значит жесткие крепления! И все-таки, несмотря на временные неудачи, я не бросил лыжи. Однажды, чисто случайно, я стал участником лыжных соревнований между школами района.

Я приехал в тот день в школу на лыжах по каким-то делам. Во дворе встретил встревоженного Фешотта. Окинув меня взглядом с ног до головы и, как я понял, не имея другого выхода, он сказал, что через полчаса должны начаться соревнования, что в команде не хватает двух спортсменов и что я должен выручить школу и этих двух ребят заменить. Я предложил смотаться за Борькой, так как он бежал на лыжах лучше меня, но Алексей Фердинандович отклонил мое предложение. Он, очевидно, боялся, как бы его последняя надежда в моем лице не смылась. От каждой школы бежало по пять лыжников. Мне повесили на спину номер и занесли в списки, тем самым расставив все точки над «и».

Из участников, представлявших нашу школу, запомнил Вадима Полякова и Жорку Молчанова, которые бежали впереди меня. Трасса была несложная. Она пролегла по дороге вокруг городского сада. Протяженность этого четырехугольника составляла примерно один километр. Обогнуть его нужно было 10 раз.

Судьи взяли свои секундомеры в руки, вывели соревнующихся на стартовую площадку и по очереди, засекая время, стали выпускать на трассу. Я волновался, поглядывая с надеждой по сторонам: не явится ли виновник моего невольного участия в беге. Напрасно... Стартовый судья хлопнул меня по плечу, крикнул «Пошел!», я набрал полные легкие воздуха и заскользил, стараясь не отстать от впереди идущего лыжника, десятиклассника из 3-й школы.

Борька, как и следовало ожидать, прибыл на соревнования минут через 15 — 20 после старта. Ему ничего не оставалось, как занять место среди болельщиков. Не знаю содержания его беседы с Фешоттом, но Борька быстро сориентировался и побежал параллельно со мной. К тому времени я преодолел уже 4-й круг, почти вплотную подошел к лыжнику из 3-й школы, но изрядно выдохся, и поддержка друга была как нельзя кстати. Присутствие Борьки рядом окрыляло. У меня появилось второе дыхание, привычный темп, и оставшийся путь я пробежал лучше, чем вначале.

В результате, к всеобщему удивлению, и моему особенно, я пришел к финишу третьим. Чего не бывает в спорте!

Когда я узнал, что занял призовое место, и Фешотт поздравил меня, то от нахлынувших эмоций едва не потерял сознание.

На коньках я тоже катался, но результаты были куда скромнее. Начинал учиться искусству катания на «колодках», их сменили сначала «снегурки», а потом «норвеги». С ребятами бегал кататься и на стадион, и на Московку, цеплялся длинным крючком за грузовики (благо их было в ту пору мало), чтобы проехать на буксире по улице вверх, а потом с ветерком самому прокатиться вниз. Это считалось большим шиком. Ну, как было удержаться, чтобы не продемонстрировать свое лихачество перед девчонками!

На коньках я научился вычерчивать на льду цифры 3, 5 и 8. На этом мои достижения в конькобежном спорте исчерпались.

\* \* \*

Ранней весной мы переключались на летние виды спорта. Если погода благоприятствовала, после Первомайской демонстрации мы ходили на лодках на середину Днепра. Вода в реке, только-только очистившаяся ото льда, была еще студеной. Несмотря на ярко светившее солнце, грудь смельчака, оказавшегося в воде, сковывало, как обручем. Едва вынырнув, такой прыгун пробкой влетал в лодку и подставлял еще не тронутое загаром тело лучам солнца. Я тоже, часто с мыслью «будь что будет», бросался в ледяную воду.

Возникающие после такого купания ощущения, вероятно, можно сравнить с контрастным душем или сауной с сухим паром и бассейном, наполненным ледяной водой.

Зато ближе к лету, когда становилось тепло, даже экзамены не могли остановить энтузиастов Солнца, Воздуха и Воды. Наискось и ниже пристани, на пологом берегу о. Хортица, где чуть ниже сливались два русла Днепра, находился неизвестно кем открытый и названный так «Школьный пляж». Мы его начали осваивать, когда были в 5-м классе. Тогда нас перевозил через Днепр на огромной 5-метровой лодке загорелый, с фигурой Геркулеса, в широкополом соломенном брыле лодочник — Жан. Он брал за перевоз дешевле других и мог захватить всех одновременно. Иногда перевозил в долг и даже бесплатно. Двумя годами позже, в 7-ом и более старших классах, ребята почти все вступили в разные спортивные общества и лодки брали на прокат по членским билетам. Мы подросли и услугами частного предпринимателя Жана перестали пользоваться. На Школьном пляже у нас было «свое» место с небольшим мысом, чуть круто выступавшим к воде на углублении.

Под руководством и благодаря неустанным стараниям Вовы Педана в этом месте мы построили трамплин, с которого прыгали в воду ласточкой, сальто и еще Бог знает каким манером. Кстати, многим, в том числе и мне, плавками служили пионерские галстуки, сшитые широкими концами вместе. Узкие длинные концы обоих галстуков связывались на бедрах. Получалось по тем временам модно, дешево и сердито. Наш трамплин на Школьном пляже в честь главного архитектора и строителя был назван «Мостик Педана». Все без исключения знали, куда нужно ехать, если говорилось, что в таком-то часу назначается встреча у «Мостика Педана». Для нас «Мостик Педана» звучал так же, как для человека, знакомого с физикой, звучало «Мостик Уитстона». От «Мостика» начинались наши пиратские набеги на плывущие к пристани, доверху нагруженные баржи. Отсюда организовывались массовые заезды вверх по Днепру до моста Преображенского. Там, у моста, мы бросали весла, связывали лодки между собой нос к корме, чтобы образовалось кольцо, и пускали их по течению. Внутри этого плавающего бассейна начиналась игра в ловитки. Нырять можно было хоть до дна, лишь бы не выплывать за пределы кольца. Однажды в наше лодочное кольцо попал утопленник. В азарте ловивший хлопнул его по скользкой, холодной спине, приняв его за одного из игравших товарищей. Когда же сообразил, кого «поймал», то издал такой пронзительный вопль, что все, даже находившиеся глубоко под водой, мигом заскочили в лодки и хором начали звать спасателей, несших на берегу вахту. Те, наконец, подъехали к нам на моторке, бесцеремонно зацепили наш улов багром и отбуксировали его к берегу.

В тот день кататься больше не хотелось. Мы сдали лодки и разошлись по домам. Потом целую неделю мне неприятно было заходить в воду.

Это было в начале сентября. Я, Борька и Женька решили поохотиться за арбузами. Мы причалили к «Мостику Педана» на килевой лодке. На ее носу сложили одежду и прижали обувь, а сами разместились поудобнее на песочке и стали вести наблюдение за движущимся вниз и вверх под Днепру водным транспортом.

Наконец, у излучины реки появился буксирный катер, идущий к пристани. Он тянул за собой две низко сидящие в воде, груженные арбузами баржи. Борька вскочил на нос лодки, Женька уселся на весла, а я на корму — к рулю. Три отчаянных пирата устремились за долгожданной добычей. Мы пришвартовались к левому борту второй от буксира баржи,

поближе к корме. Немного подтянувшись, я привстал на носки и ухватился обеими руками за баржу, чтобы лодку не относило течением, а Борька и Женька стали сбрасывать в нее арбузы. Работа кипела: по реке медленно поплыла зеленая дорожка. Увлеченные таким невинным безнаказанным воровством, мы не сразу заметили, как вдруг, точно из-под земли, из-за арбузной горы выросла фигура разъяренного сторожа. Ругаясь отборным матом, он швырнул в Борьку арбуз, за которым полетели, как пушечные ядра, еще несколько. Уклоняясь от внезапно накрывшего нашу экспедицию артобстрела, мы так раскачали лодку, что стоявшие Борька и Женька, не удержав равновесия, свалились в воду. Сторож не унимался. Теперь он перенес весь огонь на меня, поскольку я еще удерживался в лодке. По счастью, нас относило течение, и только один арбуз угодил мне в плечо. Это случилось по той причине, что я обнаружил отсутствие одежды в носовой части лодки и перестал на мгновение лавировать. Сообразив, что она полетела в воду вместе с ребятами, я плюхнулся за борт спасать пожитки. Под водой, медленно переворачиваясь, опускались на дно мои прорезинки, Борькины кеды, Женькины сандалии. Чуть дальше, почти на поверхности, плыли моя и Борькина майки. Ухватив из обуви что поглубже, я поднялся на поверхность, захватил побольше воздуха и прокричал всплывшим товарищам, чтобы спасали тонущее барахло. Бросив в лодку спасенное, я снова нырнул на глубину. Вот когда пригодились наши игры в ловитки! И все же при поисках мы, очевидно, не рассчитали, что течение реки здесь достигало 4,5 – 5 км/час, поэтому предметы оседали на дно не в том месте, где упали, а далеко друг от друга и от лодки, в зависимости от их веса и конфигурации. В результате я оказался без носков, Борька без кеда, а Женька без сандалии. Наскоро собрав плывущие по Днепру арбузы, мы после неудачной охоты возвратились на берег. Своей добычей мы поделились с «сопляжниками», которые потом вместе с нами, во имя дружбы и солидарности, босыми шли домой.

К концу сентября, когда погода начинала портиться и чаще дул ветер, мы устраивали своеобразные парусные регаты. В качестве паруса использовали захваченные дома старые простыни или мешки. Так, до глубокой осени, мы бороздили уже остывающие воды Славутича, стремясь попасть на большую волну, образуемую буксирными катерами и последними в сезоне пассажирскими пароходами.

## **8. Во власти Орфея**

Не помню точно, сколько лет мне тогда было и в какой класс я ходил. Скорее всего, этот период можно отнести к 1935 – 1936 гг. Тогда вдруг пошла мода на патефоны, которые пришли на смену громоздким граммофонам, не имевшим особого успеха у широкой публики. Выгодно отличаясь от граммофонов по качеству звучания, доступности цены, патефоны начали появляться в семьях со средним достатком. Занял он почетное место и в нашей квартире.

Теперь я уже не стоял перед ним, как когда-то в раннем детстве у тети перед громадной трубой граммофона, вглядываясь в жерло и ожидая, что вот-вот оттуда выйдут дяденьки и тетеньки, которые поют. Мне доверяли крутить ручку, ставить иголку, пластинку и включать музыку. Я мог по несколько раз подряд внимательно выслушивать одну и ту же пластинку. Их у нас было не особенно много, поэтому те, что стояли стопкой на полке, я выучил наизусть. Так, например, я знал слово в слово «Скажите, девушки, подружке вашей» в исполнении Лемешева или арию герцога из «Риголетто» в исполнении Козловского. Больше всего почему-то мне нравились народные напевы, романсы, некоторые арии из опер и классическая музыка в исполнении симфонического оркестра. Любовь к такого рода музыке осталась на всю жизнь. Современный рок моя нервная система не воспринимает. Правда, наши родители, очевидно, так же, как я рок, не воспринимали джаз. А я, бывая у Мордуховичей, не без удовольствия слушал целый набор пластинок с записями Утесова: «У самовара я и моя Маша», «Пароход», «Прекрасная маркиза», «Борода», «Пожарный» и т.д. Это было что-то вроде разрядки после классики. У нас в семье отец и старшая сестра покупали наборы пластинок с записями опер, симфоний, монологов и рассказов. Дома я мог услышать Шаляпина, Собинова, Нежданову, Обухову, Качалова, Яхонтова, Москвина и других известных артистов. Я им старался подражать и петь своим ломающимся голосом от начала и до конца «Евгения Онегина», «Пиковую даму», «Демона», арии Суфеля и Садко. К сестре часто приходили соученики слушать наши пластинки, приносили свои записи. Особенно хорошие вещи были у одного из ее соучеников – Ники Глюкмана. Во время такого прослушивания я забывюсь, бывало, в угол и там замираю от волшебных звуков симфонического оркестра, исполняющего Чайковского, Римского-Корсакова,



Бородина, Глинку, Гуно, Грига, Рахманинова, Верди и т.д. Эта чарующая музыка действовала на меня, как гипноз. Я мог без движения слушать ее часами, несмотря на то, что не отличался усидчивостью.

Как я уже писал, любовь к серьезной музыке осталась на всю жизнь. Это не мешает иногда с удовольствием слушать легкую мелодичную песенку или другие произведения такого жанра. Но безвкусные шлягеры своим кривлянием и звуковым грохотом вызывают головную боль и досаду. Когда я слышу такую, с позволения сказать, модную музыку, я с болью думаю о деградации музыкального жанра. Одно лишь успокаивает, что модные шлягеры, как бабочки-однодневки, быстро уходят в небытие, а хорошие вещи, особенно классическая музыка, остаются и не теряют с годами своей первозданной прелести.

После реконструкции, когда школа приобрела прекрасный по тому времени актовый зал, дирекция начала устраивать платные вечера-концерты, на которые приглашались мастера художественного слова, певцы, музыканты, приезжавшие по договоренности с филармонией в Запорожье из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и Одессы.

Здесь, в актовом зале школы, вечером 5 декабря 1936 г. нас собрали у стоявшего посреди сцены приемника для того, чтобы мы могли услышать речь вождя — И.В. Сталина — на открывшемся в этот день чрезвычайном VIII съезде Советов. Здесь, в этом зале, в январе 1937 г. состоялся грандиозный бал-маскарад, посвященный 100-летию со дня гибели Пушкина. Но о нем надо сказать особо, что я и постараюсь позже сделать. В этом зале перед нами выступал орденоси́нец-пограничник в звании лейтенанта. Он служил на Дальневосточной границе, а к нам в школу попал по настоятельной просьбе директрисы. Ордена в то время были редкостью. Мы впервые увидели перед собой живого героя, у которого на груди сиял, прикрепленный самым Михаилом Ивановичем Калининым, орден Красной Звезды. Пограничник спокойно, без особого пафоса, рассказал нам о повседневных делах и заботах заставы, о героях, которые задерживают нарушителей, и почти ничего не сказал о своем собственном подвиге. Он скромно, как о чем-то обыденном, лишь упомянул, что наградили его за задержание группы вооруженных диверсантов. Мы, мальчишки, смотрели на героя во все глаза, особенно на орден, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова.

Я с удовольствием посещал все платные и бесплатные школьные вечера. Иногда был и непосредственным участником концертов.

Шел 1937 год. Я стал учеником 7-го класса, а сестра, закончив на «отлично» школу, в конце августа уехала в Москву, где поступила в 1-й медицинский институт. По всей вероятности, отъезд сестры на учебу в столицу крепко подорвал экономику нашей семьи. Для того чтобы как-то сбалансировать бюджет, мама решила держать квартирантов. Ими стала семья артистов Новиковых. Это была удивительная пара. Он, Петр Петрович Новиков, — человек лет 50-ти, чуть выше среднего роста, смуглый, с правильными чертами, возможно, даже красивого в молодости, а сейчас уже сморщенного лица. Петр Петрович был коренным ленинградцем, в прошлом балетмейстер. Он много и с увлечением рассказывал о знаменитых артистах театрального Петербурга, с которыми был лично знаком в молодости. Но лучшие годы, увы, остались позади. Не знаю уж, каким образом, но только теперь он работал в Запорожской филармонии и часто вспоминал о былом.

Она, — Ольга Ильинична Новикова, — миловидная маленькая женщина с отличной фигурой, бывшая балерина Мариинского театра, в пачке и пуантах похожая на статуэтку. Лет на 20 — 25 моложе супруга, Ольга Ильинична продолжала выступать в филармонии с сольными номерами. Возможно, он когда-то был ее партнером. Детей эта пара не имела. Ребенка им заменяла беленькая болонка, которую Ольга Ильинична именовала, как и мужа, Петрушей. Временами мне казалось, что болонка похожа внешне и по характеру на свою маленькую хозяйку.

К Новиковым в гости часто приходили товарищи по искусству, приезжавшие в Запорожье. У них было много таких хороших знакомых, особенно в Ленинграде и Москве. Мама иногда даже передавала с артистами посылочки для сестры в столицу. В такие вечера, когда у Новиковых собирались гости, все (в том числе я и мама) переходили в среднюю комнату, именуемую залом, рассаживались за большим, покрытым скатертью раздвижным столом и включали ночной светильник, излучавший бледно-фиолетовое сияние. Мама ставила посреди стола самовар, доставала из кладовой варенье, и тут за чаем, в интимной и вместе с тем неприужденной обстановке начинался импровизированный концерт, нечто вроде «капустника». И тут я становился свидетелем прекрасного представления, какого не увидишь и не услышишь ни в одном театре. Память сохранила фамилии только двух мастеров художественного слова, Звездича и Петрова, и одного заслуженного артиста Набатова, остальных не помню. Да и мно-

го их приходило в нашу квартиру по ул. Жуковского. Но вдохновенные голоса этих людей и произведения, которые они исполняли, до сих пор звучат в моей голове.

Так как у нас в доме не было никаких музыкальных инструментов, кроме патефона и замечательной дедушкиной скрипки (моего наследства), которая хранилась за семью замками, гости приносили инструменты с собой. По аккомпанемент гитары, мандолины, флейты или скрипки звучали старинные романсы, арии и дуэты из опер и оперетт в исполнении басов, баритонов, теноров, меццо и колоратурных сопрано. А какие чудесные рассказы, стихи и поэмы звучали в исполнении мастеров художественного слова! Я слушал отрывки из Гоголя и Толстого, Тургенева и Чехова, Короленко и Горького, стихи и поэмы Пушкина и Лермонтова, Некрасова, Блока, Маяковского, Багрицкого и бесконечное множество музыкальных произведений.

По грамзаписи я многое из исполнявшегося уже знал и слышал в репертуаре известных народных артистов, поэтому невольно сравнивал с тем, что слышал сейчас дома. Эти сравнения не всегда были в пользу артистов с высокими званиями. Объяснялось это, как мне кажется, прежде всего тем, что непринужденность обстановки и благожелательность вдохновляли артистов и доставляли несказанное наслаждение как слушателям, так и самим исполнителям. После каждого такого вечера, заканчивавшегося за полночь, я еще долго лежал с открытыми глазами в кровати без сна, прокручивая мысленно снова и снова увиденное и услышанное за несколько изумительных подаренных мне судьбой часов.

Сам не сознавая того, под влиянием и от непосредственного соприкосновения с искусством я постепенно становился романтиком. Да и книги, которые десятками я поглощал в тот период («Три мушкетера», «Айвенго», «Пятнадцатилетний капитан», «Всадник без головы», «Черный охотник» и т.д.) способствовали формированию такого романтического настроения. Я завел общие тетради для стихов. На обложку одной из них наклеил портрет Пушкина, нарисованный акварелью Вовой Барсуковым. Оставалось только писать. Действительно, вскоре в тетради появились сатирические четверостишия, которые предназначались для классной газеты и бывали помещены в ней вместе с рисунками. Потом пошли стихи и поэмы, посвященные проблемам окружавшего меня мира. Было там и о челюскинцах, и о папанинцах, и о полетах Чкалова, и в подражание Безыменскому (автору поэмы о Днепрострое), я написал большую поэму о строительстве Донского канала. В ней была смесь всего, что мог увидеть, услышать и прочитать подросток.

Как и все романтические натуры 15-летнего возраста, я, конечно, тоже встретил однажды свою Дульсинею, по которой начал украдкой вздыхать и посвящать ей стихи. Моя пассия была младше меня на год, из младшего на год класса, — Ниночка Подымова, русоволосая, с двумя толстыми косичками девочка, личико которой цвета спелого яблока украшали на щеках две ямочки и третья на подбородке. Вся она светилась чистотой и невинностью. Мне она казалась верхом совершенства. Ниночка играла на пианино и неплохо разбиралась в литературе. Мы вместе посещали литературный кружок, на котором меня больше занимала она, а не теория и стиль письма «от Ромула до наших дней». Когда я слышал ее голосок и видел ее, у меня замирало сердце.

Ниночка снилась мне по ночам в образе сказочной принцессы, которую я спасал от злодеев. И, не смея никому признаться, тем более Нине, в своих чувствах, даже в стихах, посвященных своей возлюбленной, я называл ее только «Н» или «Р».

Так продолжалось долго... — до тех пор, пока не возникла на моем горизонте новая Дульсинея, затмившая первую. И пошло: опять тайные вздохи, опять стихи, и, увы... замирание сердца и легкое головокружение от соприкосновения с предметом обожания. По всем признакам, на меня уже начинали оказывать воздействие факторы полового созревания, от которых не застрахован ни один подросток.

То была пора, когда мои поэтические опусы достигли своего апогея. Общие тетради, которые я тщательно прятал от постороннего взора, пополнялись новыми произведениями, напоминавшими страдания молодого Вертера, Гамлета, Ленского, Хозе, Дубровского и кого хотите. Они, эти тетради, начали быстро заполняться и увеличиваться в своем количестве. Наверняка нечто подобное происходило и с моими сверстниками. Начитавшись Майн Рида, Вальтера Скотта, Джеймса Кервуда и особенно Александра Дюма, многие из них, вообразив себя мушкетерами или рыцарями, записывались в группы по фехтованию при Доме физкультуры. Я же, наряду с литературой и искусством, продолжал заниматься футболом, гимнастикой и все больше склонялся к боксу. Хотя бокс — не рыцарское занятие, но отстоять честь дамы сердца и свою собственную при помощи кулаков было делом куда более надежным и перспективным, чем устаревшим к тому времени методом — шпагой или рапирой.

Далее... далее пошла какая-то эпидемия джаза.

Как грибы после дождя, начали появляться большие и маленькие коллективы музыкантов под различными названиями: джаз-банд, тео-джаз, джаз-гол, джаз-ансамбль и т.д. Суть их всех сводилась к одному и тому же: это были «веселые ребята», которые играли, пели и танцевали, увлекая публику легкой музыкой и песней, не особенно заботясь о смысле и глубине содержания исполняемого произведения.

Учитывая, что наш класс всегда активно воспринимал происходящие вокруг события, не вызывает никакого удивления тот факт, что бацлла джазовой эпидемии заразила поголовно весь класс.

У нас родилась идея создать свой джаз-оркестр. Организацию по созданию и последующее руководство джазом взял на себя Борис Литинский. Подбор кандидатур в состав оркестра производился очень тщательно. Учитывались только истинные музыкальные способности и артистический талант претендента. Связи и знакомство не признавались, поэтому на «блат» никто не рассчитывал, не в пример теперешним методам приема абитуриентов в институт.

Комиссию по приему возглавлял Борька. Он строго прослушивал всех кандидатов сам, никому не передоверяя. Особенно долго подбирали «ударника», на место которого претендовали пять-шесть человек. Нам нужен был только один человек, но веселого нрава, симпатичный, с отличным слухом, ритмичный, дисциплинированный парень, который задавал бы тон всему джазу. Ведь «ударник» в джазе — это его камертон, это все или почти все!

Например, один из претендентов, не прошедший по конкурсу, — Исайка Раввич, — много лет спустя рассказывал, как несколько месяцев готовился предстать перед строгой комиссией. Из ведер, кастрюль и крышек он сотворил дома подобие музыкальных ударных инструментов и каждый день устраивал такое «соло», что мать ходила с перевязанной головой, ватой в ушах и аспирином в кармане передника.

И все же ему не повезло.

В «ударники» прошел, по большинству голосов и высокому мнению руководителя, сильнейший. Таким счастливецом оказался, а вернее, стал Гриша Майзлиин, который отвечал всем вышеперечисленным требованиям. На первой скрипке играл сам руководитель Борис Литинский, на пианино Лева Фукс, на домбре — Шура Григорович, пел симпатичный парень из младшего класса Леонид Урицкий. Других ребят из джаза: трубу, флейту, саксофон, аккордеон, — не помню. Для этого вновь созданного творческого коллектива я стал писать стихи. Борька, очевидно, чтобы поощрить поэта и вместе с джазом выводить его на сцену, дал мне возможность играть на второй или третьей скрипке (это-то с моим музыкальным образованием). А в основном я играл на кастаньетах. Такая роль в джаз-оркестре, — поэта и музыканта, — не знаю, как остальных, а меня вполне устраивала.

К первому концерту коллектив джаза готовился особенно тщательно. Я написал вступление в стихах, которые в темповой мелодекламации должен был читать Борис Литинский. Музыку к словам-вступлению мы позаимствовали у известного композитора И.О. Дунаевского, написанную им к кинофильму «Волга-Волга». Вступление начиналось так:

— Разрешите, милый зритель,  
Милый зритель, милый зритель,  
Вам представиться сейчас.  
Джаза я руководитель,  
А вот в полном сборе джаз...

Далее шло представление всех участников, которые по мере упоминания их имен приподнимались с места и в темпе продолжали играть мелодию на своем инструменте. У нас был большой репертуар, даже читали стихи и танцевали в сопровождении джаза. А в конце исполнялась песенка, которую я написал на модную мелодию, звучавшую почти изо всех окон города, — танго «Утомленное солнце». Для понимания содержания созданной мною песни непосвященным необходимо дать некоторые пояснения. Суть вот в чем.

До войны все старые школы, в том числе и 4-я, пользовались печным отоплением с топками в классах и коридорах. Поскольку репетиции джаза проходили по вечерам в октябре месяце в почти нетопленном помещении, мы мерзли, едва владели пальцами, которые с трудом брали необходимую ноту. В общем, держались на энтузиазме. Особенно доставалось Лене, которая сидела за роялем. Тем, кто стоял, было все же легче, так как они могли переступать с ноги на ногу и двигаться, а Леночка страдала и никому не жаловалась. Жарко было только одному человеку в джазе — ударнику Грише Майзлину, по лицу которого струился пот от избытка

темперамента. Мне лично кажется, что и на Северном полюсе, раздетым, но с ударными, он бы не замерз, и так же пот капал бы с его лица, превращаясь на лету в град. Когда мы пожаловались на холод, нам туманно объяснили, что плохо топят из-за нехватки топлива, которое приходится экономить.

Так родились слова к песне, которые, в общем-то, я успел забыть. Их напомнила мне одна из учениц школы, поклонница джазовой музыки — моя жена. Незатейливая песенка о наших творческих страданиях в неотапливаемом помещении заканчивалась такими словами:

— Мы дирекцию просим,  
Чтоб дрова раздобыли,  
Чтобы в школе топили, —  
Согрели нас!

После концерта, сопровождавшегося овациями школьников, эту песенку начали распевать все учащиеся. Любовь Марковна, недолго думая, послала джаз-оркестр выступить с этой программой перед шефами. Когда последние услышали такую жалобную песенку, то моментально отреагировали: школьный подвал наполнился до отказа дровами и углем. А мы еще раз убедились в незаурядности таланта нашей директрисы: из любых сложных ситуаций находить самые неожиданные выходы с пользой для школы, которой Любовь Марковна была беззаветно предана.

\* \* \*

Каждый раз, глядя на фотографию наших двух классов, — 5-й выпуск 4-й ПСШ имени Горького 1940-го года, — с трепетом и теплотой я вспоминаю учителей и соучеников. О каждом из них хочется сказать что-то хорошее, потому что с этими людьми связаны 10 самых счастливых и беззаботных лет жизни.

Милые, хорошие мои человеки!!!

Многих из вас уже давно нет в живых: одних поглотил ураган войны, пронесшийся со страшной силой над нашей Родиной; другие ушли из жизни после, но тоже остались в памяти молодыми; третьи, кого минула печальная участь, постарели и теперь по возрасту обогнали своих бывших школьных учителей. Иногда мне кажется странным, что мы провели вместе всего десять лет, одну седьмую человеческой жизни, а нас продолжает до сих пор притягивать друг к другу как магнитом.

Что это?

Эту тягу можно сравнить разве что только с притягательной силой встреч ветеранов-фронтовиков. Мы встречаемся каждые пять лет, начиная с 1965 года. При каждой такой встрече кого-то недосчитываемся. Это очень печально, но такова философия бытия, от этого факта никуда не спрячешься. Подходит 45-й год со времени окончания школы, от оставшихся в живых соучеников со всех концов Союза летят письма с вопросом:

Когда приезжать на очередной юбилей нашего выпуска?

Я уверен, что эта 4-я по счету встреча состоится! Я уверен, что оставшиеся в живых соберутся на свои 5-ю и 6-ю послевоенные пятилетки, чтобы с радостью увидеть живых однокашников и помянуть ушедших, которые все были нам дороги вместе и каждый чем-то своим, особенным.

Родные мои!

Я вас всех очень люблю. Вы моя молодость, мое неповторимое беззаботное время. Я беру на себя непосильную ношу: написать о каждом, каким я его узнал и запомнил на всю оставшуюся жизнь, — учителя и ученике.

Итак, я возвращаюсь к вам, — мертвые и живые друзья мои.

## **Глава 3. Школьные годы (часть вторая)**

### **1. Варвара Дмитриевна Барабаш**

Варвара Дмитриевна приняла нас от Марии Васильевны Корсунской, когда мы перешли в 5-й класс, то есть становились подростками, как теперь принято говорить, самого трудновоспитуемого возраста. Варвара Дмитриевна носила короткую стрижку, волосы красила в черный, вороньего крыла цвет. Когда она стала классным руководителем нашего 5-А, ей было лет 50 или около того. Как и многие учительницы ее поколения, Варвара Дмитриевна не имела своей

семьи, жила с сестрой, и мы, ученики, заменяли ей собственных детей, а школа была основным домом.

Нрава Варвара Дмитриевна была строгого, требовательная и вспыльчивая, но отходчивая и добрая. Кроме классного руководства она читала у нас математику и иногда настолько входила в раж, ругая провинившегося во всю силу легких, что не слышала саму себя. Если это был стоявший у доски ученик, то от такого крика он совсем тупел, молча воспринимал ругань, и, как истукан, только хлопал глазами. Ее это еще больше возмущало.

На второй парте, слева от учительского стола, сидел лопоухий пацан — Муська Колтунов или просто «Муха». На уроках он всегда исподтишка шалил и смешил весь класс своими проделками. Муха это делал мастерски, как артист, сам оставаясь при этом невозмутимым пай-мальчиком. Учителя, особенно женщины, не знавшие истинной цены Мухиной макиавеллевской сути, ловились на эту удочку, умилялись, видя его преданный взгляд и физиономию застенчивого мальчугана, остававшегося совершенно спокойным даже тогда, когда весь класс чуть ли не катался по полу от хохмы, им же только что выданной. Наказывали обычно не истинного виновника, а другого.

Бывало, дойдя до исступления, Варвара Дмитриевна, или, как мы ее в таких случаях величали, Варвара, не находя больше слов для выражения, в экстазе поворачивалась почему-то всегда влево и переходила на междометия: «Тьфу-у!»

Я, сидящий не так уж далеко от места действия, никогда не замечал, чтобы у Варвары при этом изо рта летели брызги. А Муська Колтунов при этом страдальчески кривил рожу, быстро вынимал из кармана носовой платок, демонстративно расправлял его, встряхивал и медленно и аккуратно начинал обтирать лоб, щеки, грудь, шею и руки. Варвару Дмитриевну это мгновенно отрезвляло, а нас такой поворот веселил до слез. Только что взбешенная, как пантера, Варвара виновато улыбалась, вздыхала, и, как ни в чем не бывало, продолжала урок до самого звонка, иногда даже забыв задать на дом задание. Такие сценки, когда Варвара Дмитриевна «плевалась», а Муха тщательно вытирался платком, повторялись довольно часто, и заканчивались они, как правило, тихо, мирно, при полном взаимопонимании сторон: воцарялся абсолютный штиль после пронесшегося над классом мгновение назад смерча.

Когда мы стали учениками 6-го класса и у девочек начали появляться намеки на груди, а у мальчишек — меняться голоса, Варвара Дмитриевна решила поговорить с нами о половом воспитании.

Наверное, об этом самое время было поговорить с подростками, достигшими 12 — 13-летнего возраста, потому что за лето нас как будто подменили. Девчонки вдруг начали сторониться ребят и шептаться по углам друг с дружкой по секрету. Мальчишки тоже стали странными: одни перестали дергать девчонок за косички, при случайном столкновении с ними испытывали смешанное чувство робости и волнения, а другие, наоборот, стали грубыми и агрессивными по отношению к «слабому полу». Словом, мы с известным трудом преодолевали переходный период полового созревания.

Варвара Дмитриевна, никогда не имевшая ни мужа, ни собственных детей, и, мне думается, никакого практического опыта в сексуальных вопросах тоже не имевшая, собирая нас, основывалась только на своих сугубо теоретических познаниях и случайных наблюдениях и выводах. Она во время уроков оставила только девочек, торжественно выпроводив мальчишек вон из класса, и долго с ними беседовала о чем-то, нам неведомом. Ребята к этому инциденту отнеслись без возражений и любопытства, даже наоборот, были рады смотаться во двор к Колтуновым, чтобы поиграть в футбол. На другой день наш классный руководитель оставила для беседы *tête-à-tête* только мальчиков, выпроводив девчонок.

Девочки оказались более любопытными, чем мы. Они устроили в коридоре у двери, за которой проходила беседа, своеобразную пирамиду. На самый верх этого искусственного сооружения водрузили маленькую, пронырливую Любочку Баш. Так как дверь вверху была застекленной, задача Башонка состояла в том, чтобы вести наблюдение за ходом протекающей в классе беседы и сообщать сведения вниз, фундаменту пирамиды, состоявшему из Бэбы Рихтер, Доры Шток, Нины Скрипник и других упитанных девочек. Эти наивные сплетницы не учли, что дверь открывается вовнутрь. Сгорая от любопытства, стараясь одновременно поддерживать пирамиду и лично подслушать сквозь щель, о чем идет речь в классе, они невольно нажимали друг на друга и на дверь до тех пор, пока створки не распахнулись, и все любопытные кумушки не влетели кувырком в класс, а Башонок подкатилась с верхотуры прямо к столу растерявшейся и рассердившейся Варвары Дмитриевны.

Я не помню содержания проходившей тогда беседы, которую с нами проводила не имевшая никакого, как я уже упоминал, практического опыта классная дама, но конец беседы, прерванный внезапным появлением у порога девичьей «малакучи» с выкатившейся вперед Любочкой, нашим воем и торжественным выпроваживанием плачущих кающихся Магдалин запомнил очень хорошо.

Варвара Дмитриевна никак не могла успокоиться. Она ходила между партами и без конца плевалась:

— Тьфу! Тьфу! Я же только вчера с вами беседовала!

Она не могла даже на мгновение себе представить, что ее беседа не впиталась в сердца легкомысленных девиц.

Для улучшения успеваемости и углубления знаний по своему предмету Варвара Дмитриевна решила прикреплять слабых учеников к сильным. Так я стал заниматься по алгебре и геометрии с Хоней Канторовичем из нашего и Лидой Веселовской из параллельного класса. Хона приходил ко мне домой, мы вместе регулярно готовили уроки, и результаты вскоре не замедлили сказаться. Хона начал самостоятельно решать задачи, доказывать теоремы и стал успевать по математике. С Лидочкой было куда труднее. Эта веселая, пухленькая, как сдобная булочка, хохотушка оправдывала свою фамилию. Несмотря на то, что она жила недалеко от меня, Лидочка не пожелала ходить ко мне домой, она пожелала заниматься у нее. Я согласился. Однако когда я садился за стол и с серьезным лицом «учителя» раскрывал учебники и тетрадки для занятий, ротик Лидочки начинало сводить от зевоты. Увы, с этим ничего нельзя было поделать. Бывало, я входил в роль «учителя» и, ничего не замечая вокруг, увлекался объяснением очередной задачи, и вдруг меня отрезвляла неожиданная просьба Лидочки:

— Расскажи-ка ты лучше какой-нибудь интересный роман.

Особенно ее интересовало «про любовь». Если эти отвлекающие маневры не помогали, толстушка шла на последнюю уловку: садилась ко мне поближе, чтобы наши плечи и ноги соприкасались. Нагибаясь над столом таким образом, чтобы внушительная грудь ее ложилась на мою руку, Лидочка очень внимательно принималась меня слушать, старательно и невинно заглядывая в глаза. Я не смел пошевелить рукой и с замирающим сердцем, облизывая пересохшие губы, продолжал, заикаясь, кое-как объяснять теоремы, мечтая о скорейшем окончании занятия. Таких попыток я не смог выдержать и через полгода отказался от продолжения спиритических занятий с Лидочкой, к великой досаде Варвары Дмитриевны.

В нашем классе учились два мальчика с совершенно противоположными характерами: маленький, подвижный, задиристый Монька Карпель, и тихий, худенький, высокий, застенчивый Рудик Рискин. Зная хорошо и того, и другого, трудно себе представить, что у этой пары могла возникнуть драка. Но она разыгралась прямо в классе, едва лишь прозвенел звонок. Монька оказался проворнее, выкрутился из рук ухватившего его Рудика и ударил противника что есть силы в живот. У Рудика перехватило дыхание, он раскрыл, как рыба, выброшенная на сушу, рот и упал замертво между партами. У Моньки расширились зрачки. Испугавшись содеянного, он убежал и спрятался в клозете, который находился в конце двора...

Прозвенел звонок. Мы кое-как подняли и усадили Рудика за парту. Кто-то побежал за врачом в медпункт. Монька не появлялся. На следующей перемене вездесущий Муха разыскал и сообщил нам «явочную квартиру» беглеца. Затем стал снова от клозета к классу и обратно, между Монькой и Рудиком, и каждый раз сообщал беглецу последние новости, одна страшнее другой:

— У Рудика появилось на животе черное пятнышко!

— Пятнышко разрослось в пятно на весь живот. Рудик у все хуже!

— Положение критическое! Рудика понесли к Фане Владимировне Островской в медпункт!

— Положение безнадежное! Доктор не гарантирует, что спасет Рудика!!!

«Жуткие» сообщения, одно страшнее другого, так подействовали на растерявшегося Моньку, что он дрожащим голосом попросил Муху принести портфель и, не заходя в класс, сбежал из школы.

Шел 1936 год.

Газеты и радио в эти дни пестрели сообщениями о событиях, происходящих в Испании. С горящими глазами люди читали статьи Михаила Кольцова с места событий. Мы восторгались подвигами советских добровольцев, вступивших в интернациональные бригады для помощи республиканцам в их справедливой борьбе против франкистов.

«No Pasaran!» — несло всюду в ответ на происки зарождающегося и все более наглеющего фашизма.

В Одессу почти ежедневно приходили из Испании корабли с детьми, женщинами и стариками, бежавшими от диктаторского режима Франко. Обратно в Испанию эти корабли уходили с добровольцами. Мы — подростки — все происходившее тогда в мире воспринимали по-своему. Война с фашизмом нашей детской фантазией рисовалась романтическим приключением с обязательной победой добра над злом и торжеством героев, которыми мы себя воображали. Если учесть все вышесказанное, то нет ничего удивительного, что после серии сообщений, которыми Муська Колтунов подогрел воспаленный мозг Моньки, у последнего созрел план побега в Испанию, чтобы там, на поле сражения, разом решить все проблемы: стать героем-республиканцем и заслужить прощение за нечаянное «убийство» Рудика.

Два дня мы ничего не знали о Моньке Карпеле и сочли его отсутствие на уроках простой трусостью. Когда же на третий день в класс влетела взбодораженная Варвара Дмитриевна с не менее взволнованной директрисой, и наша уважаемая Любовь Марковна начала по очереди у каждого снимать допрос: «Где Карпель?», мы поняли, что дело обстоит хуже, чем мы предполагали.

...Через неделю беглеца в сопровождении милиционера привезли из Одессы в Запорожье и сдали под расписку родителям.

Моньку обнаружили в трюме корабля, отплывавшего в Испанию. Как ему удалось добраться по железной дороге до Одессы и там проскользнуть мимо таможенников в трюм отходящего корабля, для меня так и осталось загадкой. Наш герой по прибытию вернулся в класс только после того, как ему сообщили, что Рудик Riskин жив-здоров, и что у него никаких последствий от удара не осталось.

С тех пор Варвара Дмитриевна к мальчикам стала относиться более осторожно и внимательно, а Любовь Марковна во избежание рецидивов уговорила родителей Карпеля перевести сына в 8-ю школу, которая располагалась якобы ближе к месту жительства бедного Моньки.

Об этом вероломном поступке директрисы мы узнали гораздо позже, а пока ждали от «героя» рассказа о его увлекательном путешествии. Однако Монька молчал, и приключений мы так и не услышали...

Милая, неуравновешенная Варвара Дмитриевна довела нас до конца учебного года в седьмом классе. Просидела от начала и до последнего дня на всех экзаменах. Потом сказала каждому свое «родительское» напутственное слово и отпустила с Богом на летние каникулы до осени восьмого класса.

В том, что Варвара Дмитриевна любила нас, как родных детей, я убедился еще раз, когда, вернувшись после Великой Отечественной войны домой живым и здоровым, через неделю свалился в постель с брюшным тифом. Меня сначала лечили от малярии. Потом, наконец, разобрались и, едва живого, поместили в инфекционную больницу, где медсестрой работала родная сестра Варвары Дмитриевны. Моя теперь уже бывшая учительница, узнав, что я вернулся живой с войны и лежу в тифу, бегала в больницу навещать меня, сама беспокоилась и сестре своей из-за меня не давала покоя. Возможно, благодаря ее стараниям я кое-как излечился от тифа и снова встал на ноги.

Варвара Дмитриевна... Варвара Дмитриевна... Я навестил ее один раз после болезни и второй после окончания института, перед отъездом по назначению в Сибирь. Она целовала меня, гладила, давала наставления и плакала, чувствуя, что это наше последнее свидание.

Больше я ее не видел.

## **2. Раиса Захаровна Петрова**

Я обещал рассказать о Пушкинском бал-маскараде. Однако он был невыносим без Раисы Захаровны Петровой — нашей незабвенной учительницы русского языка и литературы.

Не берусь судить, каким должен быть преподаватель этих предметов, но Раиса Захаровна для нас была эталоном такого учителя. Бывшая актриса МХАТа, подруга Маяковского, она, едва открывая дверь в класс, вносила с собой образ той героини, о которой нам предстояло еще услышать.

«Раиса», как и Варвара Дмитриевна, была одинока, поэтому всю себя без остатка отдавала школе. Мы это чувствовали, любили ее тоже, но, как дети у любящей матери, не всегда вели себя на уроках должным образом. Раиса Захаровна, в отличие от Варвары Дмитриевны, никогда не повышала голоса, тем более не кричала на нас. Но стоило ей взглянуть через пенсне на расшалившегося ученика, как озорник тут же прекращал баловство и надолго замолкал.

Манера входить в класс и вносить свой портфель у Раисы Захаровны была тоже совершенно особенная. Многие ученики не без успеха подражали этому царственному вхождению. Большой, переполненный нашими тетрадками портфель Раисы почти никогда не закрывался на замок, поэтому она несла его, зажав под мышкой правой рукой, слегка размахивая свободной левой. От постоянной носки в таком неудобном положении тяжелого портфеля она приобрела привычку ходить, приподняв правое плечо. Прежде, чем Раиса Захаровна торжественно-вдохновенной походкой вплывала в класс, появлялся знакомый портфель. При виде его мы моментально поднимались и стоя приветствовали любимую учительницу. Она укладывала на стол портфель, поверх пенсне рассеянным взглядом окидывала присутствующих, кивала головой, чтобы мы сели. Потом справлялась у старосты, кого из учеников сегодня нет на уроке, отмечала в журнале и начинала священнодействие.

Бывало, одновременно с появившимся в открытой двери портфелем тут же раздавался знакомый голос Раисы со словами Катерины, Анны Карениной, Татьяны Лариной, а то и Коробочки. Этот знакомый голос звучал с порога, иногда за ним. Мы еще не видели той, кому он принадлежал, а в воздухе уже витал образ героини: то трагической, то лирической, то комической.

А как интересно проходили уроки, когда мы изучали Маяковского! Мне кажется, в нашем классе, а может быть, и в школе, все стали благодаря Раисе Захаровне горячими поклонниками его таланта.

Я с большим удовольствием заучивал наизусть стихи и поэмы «талантливейшего поэта нашей эпохи», даже те, которые не входили в программу. Пытался писать стихи в стиле Маяковского, но когда столкнулся с его обращением к столичным поэтам:

— Уважаемые,  
поэты  
московские,  
Советую вам, любя:  
Не делайте  
под Маяковского,  
А делайте под себя!

— перестал подражать, начал искать собственный стиль стихосложения, сообразуясь с содержанием.

Раиса Захаровна показывала нам на уроке книжку «Пощечина общественному вкусу», изданную Объединением футуристов в 1914 году. На пожелтевшем холщовом переплете ее красовалась дарственная надпись: «Уважаемому другу, милой Раисе. В. Маяковский».

Но не только перед Маяковским я преклонялся. Я вообще любил литературу и в особенности русскую. Мне нравилось писать сочинения на любые темы, которые нам задавали в школе. Но больше всего хотелось писать на вольные.

К тому времени я прочел уже изрядное количество книг русских, украинских и зарубежных поэтов и прозаиков, классиков и современных писателей. Я поглощал их без разбора, во время частых болезней и в ущерб изучению других предметов. Даже несмотря на то, что ребята по очереди приносили уроки, которые задавали на дом, я в первую очередь читал что попадало под руки, а потом уж выполнял домашние задания. Мне нравились уроки литературы в школе еще и потому, что Раиса Захаровна на них разрешала каждому ученику высказать свое личное мнение о героях, авторе и его произведении в целом. Часто эти мнения были довольно противоречивы, возникали горячие споры, в которых принимал участие почти весь класс. Если дискуссия долго не прекращалась, перерастала в галдеж, Раиса Захаровна поднималась с места и одним, но довольно выразительным жестом заставляла нас тотчас умолкнуть. В наступившей тишине она подводила итог спора, давала характеристики героям, подкрепляя слова цитатами из произведения и такими логическими выводами, которые не требовали дальнейшего пересмотра.

Теперь, имея за плечами большой опыт, я, возможно бы, и не согласился с некоторыми выводами своей учительницы, и, если бы она возражала, то поспорил и постарался бы доказать свою правоту. Но тогда, тогда были иные времена, иные взгляды и понятия. Очевидно, и на нашу любимую Раису это оказывало соответствующее влияние. Что касается русского языка, то здесь дело обстояло куда сложнее, и не только у меня. Диктанты доставляли мне большие хлопоты, так как учить грамматику было лень. Вполне естественно, что, плохо зная правила, я допускал в диктантах ошибки. Даже в любимых мною сочинениях, чтобы избежать грамматических ошибок, я старался подбирать только хорошо известные мне слова и писать покороче. За краткие, по полтора листа, сочинения я получал сниженную на бал оценку. В примечании,



сделанном рукой Раисы Захаровны, указывалась причина: «Хотя краткость — сестра таланта, но образ раскрыт не полностью. Р. Петрова».

В нашем классе грамотно, почти всегда без ошибок, писали: Галя Перглер, Миша Левин, Люся Савицкая, Валик Ушаков и еще два-три человека, не более. Остальные старались во время диктантов любыми способами узнать у грамотеев, как пишется то или иное слово и где какой поставить знак препинания. С синтаксисом у меня, правда, было немного легче, а с морфологией, кажется, до сих пор дружба не налажена. Что грешить, Раиса Захаровна диктовала всегда медленно, с расстановкой, очень четко произнося каждое слово. И все равно мы умудрялись допускать ошибки, и во время диктантов каждый старался пристроиться как только мог.

Например, Женя Гендзели — милейший толстяк по кличке «Слон», не успевал по языку и в диктантах допускал массу ошибок. Сидел он рядом с Мишей Левиным. Друзья разработали свой, простой до гениальности, условный код на знаки препинания. Во время диктантов Женька садился за парту перед Мишей, а тот передавал сигналы толчком ноги, упиравшейся в зад Слона: слабый толчок — запятая, два коротких толчка — двоеточие, три коротких — многоточие и т.д.

При передаче восклицательного знака Женька подскакивал, молча почесывая место, на котором нормальные люди сидят. Я думаю, что после диктантов с множеством риторических предложений Слон уносил на своем «приемнике» изрядное количество синяков, тем не менее, друзья код не меняли. После очередной контрольной, раздавая проверенные диктанты, Раиса Захаровна, бывало, говорила, глядя поверх пенсне на Слона:

— Гендзели, у Вас прекрасно обстоит дело с синтаксисом, а вот над морфологией надо еще серьезно потрудиться.

Женька, выслушивая эти слова, так невинно смотрел на учительницу, такими преданными по-щенячьи глазами, умилялся, кивком головы подтверждая слова Раисы Захаровны, что можно было подумать, будто в классе перед вами сидит не Слон, а Ангел.

Для углубления наших знаний по литературе Раиса Захаровна организовала в школе драматический и литературный кружки. В драматический я не записался, так как хоть и смутно, но все же догадывался, что артистическими способностями не обладаю. Зато в литературный сразу же пошел и записался с удовольствием. В этом кружке мы изучали, в основном, внепрограммные произведения современной советской литературы, писали рефераты и делали доклады по теории литературы и о жизни и деятельности известных писателей мировой литературы, читали и разбирали свои собственные сочинения. Кроме того, мы издавали газету «Литкружковец», куда помещали свои творения и в которой я принимал активное участие. Во время прослушивания произведений своих коллег литкружковцы не стеснялись критиковать друг друга, не оставляя иной раз камня на камне от «литературного труда» автора. Наша учительница, по пустякам не вмешиваясь в наши споры, которые даже иногда подогревала, в особо критические минуты приходила автору на помощь.

Оставаясь в душе по-прежнему актрисой, Раиса Захаровна с особенной любовью относилась к драматическому кружку, уделяя ему много внимания. В школе были талантливые ребята, с настоящим актерским дарованием. Они вполне могли бы выступать на сцене городского театра им. Заньковецкой рядом с профессионалами. Особенно ярким артистическим талантом блистали Федя Подольный, Абрам Тилимзагер и Лариса Устименко. Разыгрываемые на сцене актового зала пьесы с режиссурой Раисы Захаровны и участием этой троицы всегда имели громадный успех. Федя Подольный играл своих героев так вдохновенно и искренне, что, глядя на него, я забывал, где нахожусь и что передо мной ученик старшего 10-го класса.

Школьные драмкружковцы часто пользовались костюмами театра им. Заньковецкой. Иногда на школьные спектакли приходили актеры из этого театра, и это было большой радостью. Особенно желанным гостем кружковцев всегда был народный артист УССР Яременко, который помогал Раисе Захаровне в постановке и выборе пьес.

Никогда не забыть мне Пушкинской «Русалки», которую под руководством Раисы Захаровны поставили школьные артисты на сцене театра им. Заньковецкой. Абрам Тилимзагер играл мельника, Лариса Устименко — его дочь, а Федя Подольный — князя. До сих пор, как будто это было вчера, помню прекрасно сыгранную трагическую сцену встречи лишенного разума мельника, опустившегося после гибели дочери, с князем. «Русалка» имела большой успех у зрителей. Ее ставили несколько раз, в том числе дважды на сцене театра Заньковецкой и в клубе «Металлист».

Потом школа проводила своих первых выпускников-десятиклассников. Покинули ее стены будущие знаменитые артисты, педагоги, врачи, рабочие, спортсмены и генералы.

Наступил 1937 год.

Полный драматизма и вместе с тем великих свершений, темный и светлый для нашей Родины. Страна готовилась отметить в январе 100-летие со дня гибели гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Готовилась и школа во главе с Раисой Захаровной. Хотелось отметить эту дату так, чтобы, отдавая дань великому поэту, учащиеся еще лучше узнали его и надолго запомнили Пушкинское столетие.

Решено было устроить бал-маскарад по мотивам произведений поэта, да так, чтобы сам Пушкин был среди своих героев, представлял их зрителям и был бы участником маскарада.

Раиса Захаровна заранее договорилась с каждым классом, начиная с 10-го и кончая 7-м, кто какое произведение Пушкина будет представлять на костюмированном балу. Нашему 7-А было поручено разыграть сценки по мотивам поэмы-сказки «Руслан и Людмила», 7-Б — не помню, десятый, в котором училась сестра, представлял «Евгения Онегина». Мне досталась незавидная роль раба из свиты Черномора, которого поручили изображать Хоне Канторовичу. Поскольку Хона не достал не то что колдовскую, но даже обычную бороду, то роль сама по себе отпала вместе с бородой и многочисленной свитой Черномора. В результате я выступил на этом прекрасном балу в качестве активного зрителя. От нашего класса в масках и костюмах были: Русалка — Галя Перглер, Людмила — Люся Савицкая, Руслан — Женя Гендзели, Ратмир — Шура Мозенсон, Кот ученый — Женя Гаскин и т.д. Еще кто кого изображал, уже не помню. Моя сестра была Натальей Гончаровой — женой поэта. В роли Пушкина выступал ученик 9-го класса Валька Кажан. Костюм сестре делали по известному портрету Натальи Николаевны, где она изображена в декольтированном платье, с высокой прической и свисающими до плеч локонами, с диадемой посреди ровного пробора и страусовыми перьями, элегантно украсившими ее прелестную головку. Помнится, как тщательно наряжала сестру учительница русского языка и литературы младших классов Наталья Дмитриевна Балицкая — женщина строгих нравов и высокой культуры, и, по всей вероятности, знатного происхождения. Она почему-то благоволила к моей сестре, поскольку для ее украшения не пожалела свои фамильные драгоценности. Наталья Дмитриевна собственноручно украсила сестру диадемой, колье, браслетами, кольцами, страусовыми перьями и роскошным старинным веером. Под звуки торжественного марша главная пара — Александр Сергеевич Пушкин и его супруга Наталья Николаевна, — взявшись нежно за руки, медленно и грациозно вошли в зал. За ними, выдерживая интервал, последовали персонажи произведений поэта: Онегин и Татьяна, Ленский и Ольга, Руслан и Людмила, Мельник и Русалка, Алеко и Земфира, кудесник и Шамаханская царица, Ученый кот и прочие герои.

В центре зала возвышалась нарядная елка. На сцене стояли маленькие елочки, покрытые серебристым «дождиком» и снежинками из ваты. Чета Пушкиных со своей многочисленной свитой дважды прошлась по залу вокруг елки перед зрителями, сидящими на стульях, расположенных вдоль стен рядами. Любовь Марковна и Раиса Захаровна представили участников маскарада нашим гостям: шефам и Народным артистам СССР Яременко, Любарт и Доценко. После этой церемонии Пушкин усадил свою супругу в кресло посреди сцены, а остальных героев разместил по бокам слева и справа от нее. Затем стал позади Натальи Николаевны, опершись на спинку кресла рукою, и громким голосом торжественно прочел свои пророческие строки из «Памятника»:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный...

Вслед за поэтом выступили герои его произведений с разыгрыванием отдельных сцен и чтением отрывков из драм, монологами и диалогами. В промежутках между этими выступлениями духовой оркестр играл старинные вальсы и другие бальные танцы.

Танцевать умели многие. Этому нас обучали на специальных платных курсах бальных танцев, открывшихся при школе. Я на них не ходил (дорого стоило), лишь иногда, любопытства ради, заглядывал в актовый зал после уроков на проходившие там репетиции танцоров. Показывая разучиваемое движение, учитель танцев клал руку на тонкую талию своей жены-партнерши и на ломаном русском языке произносил, вальсируя:

— Бистро... бистро... медленно... медленно...

Танцевала эта пара замечательно. Безусловно, их уроки как нельзя кстати пригодились на пушкинском балу.

Кавалеры приглашали дам, маски кружились в танце, стараясь не растерять друг друга, чтобы не нарушать композицию. Иногда, правда, можно было видеть и отступления, так как к танцам подключались зрители, которые отбивали у персонажей героинь и героев. Однако

такие поступки не вызывали ревности и гнева, и до дуэлей дело не дошло: у всех было приподнятое настроение.

Была полна народу зала,  
Музыка уж греметь устала,  
Толпа мазуркой занята,  
Кругом и шум, и теснота;  
Летают ножки милых дам;  
По их пленительным следам  
Летают пламенные взоры...

В зале царил пушкинский дух.

Никогда ранее и потом мы не чувствовали поэта так близко и трепетно.

Под занавес этот прекрасный торжественный вечер поэзии украсился еще больше, когда в прощальном вальсе-фантазии Глинки закружились всего две пары: Пушкин со своей Натали и наш строгий учитель математики Григорий Евсеевич Коган с Раисой Захаровной Петровой.

### **3. Григорий Евсеевич Коган**

Об этом учителе в школе слагались легенды. Они передавались от старшего поколения учеников к младшему вместе с прозвищем «Герш» из уст в уста, как фольклор. Все сводилось к тому, что Герш суров и беспощаден, что заработать у него хорошую оценку почти невозможно, а получить «кол» — раз плюнуть. Учитель математики старших классов, Григорий Евсеевич Коган, — смуглый, всегда подтянутый, серьезный, — ходил твердой широкой походкой уверенного в себе человека, размахивая зажатым между большим и указательным пальцами классным журналом. Ко всем без исключения ученикам он обращался на Вы независимо от возраста. К пацанам младших классов, при первых звуках звонка пульей вылетающим в коридор на перемену и слишком бурно начинающим превращать накопившуюся потенциальную энергию в кинетическую, он обращал строгий вопрос:

— Что Вы делаете, что?

Это действовало магически. Пацаны моментально затихали и, сдерживая дыхание, зачарованным взглядом пожирали и провожали удалявшегося учителя. Местоимение «Вы» сразу приподнимало малышей на уровень взрослых, которым не пристало шалить. И можно было быть уверенным, что получившие от Когана замечание озорники остальную часть перемены, возможно даже до конца уроков, будут вести себя чинно и благородно, то есть до тех пор, пока на их высшую нервную систему не подействует более сильный, чем Герш, внешний раздражитель.

Каждый из перешедших в 8-й класс, с которого в математике начинал царствовать Григорий Евсеевич, уже успевал наслушаться легенд о нем или испытать на себе местоимение «Вы» вместе с вопросительной формулировкой «Что Вы делаете?» Поэтому, когда Коган первый раз переступил порог нашего класса, мы моментально вскочили с мест для приветствия, тихо уселись за парты и, затаив дыхание, стали ждать, — что будет дальше? Дальше не произошло ничего особенного. Григорий Евсеевич спокойно сделал переключку, постаравшись с первого раза запомнить фамилии всех учеников. Ему это удалось настолько, что больше он никогда нас не путал и называл только по фамилии.

Многие учителя обращались к ученикам по имени и на «ты», Коган — всегда на «Вы» и только по фамилии. Такая форма обращения заставляла ученика уважать себя, чувствовать себя личностью, в учителе видеть старшего товарища, но никогда не нарушать дистанцию между нами.

Известие о том, что Коган назначен к нам в 8-А классным руководителем, было встречено нами, скажем прямо, не очень восторженно. Конечно, с одной стороны, иметь такого классного руководителя давало выигрыш в авторитете и популярность, но с другой... с другой — мы сделали вывод, что нашей «вольнице» пришел конец, и загрустили.

На большой перемене по сложившейся традиции мы разбились на две равные группы и стали играть в чехарду.

Я не замечал, чтобы сейчас играли в чехарду, тем более в школе. А тогда она была одной из любимейших наших игр и котирировалась почти наравне с футболом, тем более что мы постоянно совершенствовали игру.

В качестве основного «быка», на который опирался мост из согнувшихся, державшихся друг за друга ребят, мы использовали большой тополь. Он и сейчас красуется на том же месте, этот

ветеран и безмолвный свидетель наших забав, у старого корпуса школы — своего ровесника.

При игре в чехарду одна группа становилась в виде живого моста, а другая на нее запрыгивала. Если при счете «десять» «мост» не разваливался, группы менялись местами.

Между игравшими часто возникали споры. Каково же было наше удивление, когда в первый день своего назначения и знакомства наш классный руководитель изъявил желание быть третейским судьей в затеянной нами чехарде.

Григорий Евсеевич оказался замечательным и справедливым судьей. Его судейством мы остались очень довольны, и в дальнейшем всегда приглашали его на игру. Коган присмотрелся к игре, исследовал ее, и, с учетом законов физики и сопромата, стал давать отличные советы, которые мы с благодарностью приняли на вооружение.

Так наш классный руководитель стал не только судьей, но и тренером чехардиной команды 8-А класса.

Если в чехарде Коган был судьей и тренером, то при игре в волейбол вне стен школы он становился активным участником. Герш неплохо играл. Бывало, во время игры он входил в азарт не меньше, чем его ученики, хвалил напарника, отбросившего на удар мяч или удачно поставившего блок, а потом на уроке за невыполненную задачу или незнание теоремы ставил безо всякого снисхождения своему хваленному напарнику «два». При этом он не читал никаких нотаций и не делал упреков, как поступают некоторые преподаватели. Понесшие наказание ученики не роптали, переносили его молча и оценивали как должное и справедливое. Потом они из кожи вон лезли, чтобы исправить оценку и в следующий раз не попасть впросак. Герш всегда шел навстречу таким добровольцам, просившимся к доске, чтобы «высушить» подмоченную репутацию.

Григорий Евсеевич всегда удивлял точностью, красотой формулировок и аккуратностью чертежей при объяснении теорем. Особенно мы были поражены, когда однажды он взял мел, одним разворотом руки начертил на доске абсолютно правильную окружность, поставил в центре точку и начал доказывать теорему о взаимосвязи радиуса и длины окружности.

Мы потом послали ходоков за циркулем и проверили правильность вычерченной Коганом окружности. Погрешностей обнаружить не удалось. Этого оказалось достаточно, чтобы весь класс занялся совершенствованием своих способностей в начертании окружности так, как Герш. Старались в поте лица, исписали много мела, чернил и бумаги, научились неплохо чертить окружность, но такого совершенства, как у Григория Евсеевича, не достигли.

Интересно и своеобразно проводились контрольные работы по математике.

Григорий Евсеевич обычно заранее говорил, сколько будет примеров и задач на пройденный материал, и советовал дома порешать задачи и примеры «от сих до сих» номеров, выбирая наиболее сложные. Таких получалось до ста примеров и не менее пятидесяти задач. Отсидев два-три вечера над их решением, ученик, по сути, самостоятельно еще раз изучал пройденный за четверть материал.

В день контрольной Григорий Евсеевич заходил в класс за 5 минут до звонка на урок, вертикальной линией делил доску на две половины, писал на каждой два равноценных варианта заданий и обозначал их римскими цифрами I, II или словами «лев.», «прав.». Затем подходил к каждой из парт и, разрезая воздух указательным пальцем вытянутой правой руки, делил сидящих за партами учеников по заданным вариантам:

— Левый! Правый! Левый! Правый!

— Первый! Второй! Первый! Второй!

И так в каждом ряду по два варианта.

В течение контрольной Коган ходил между рядами, иногда становился сзади, прислонившись к стене. Списывание исключалось. Надеяться можно было только на свои знания, шпаргалки у Герша не проходили.

Не помню сейчас, кто, но кто-то из ребят однажды попытался списывать, и тотчас же без лишних слов был выдворен из класса. Для этого достаточно было Гершу сделать выразительный жест рукой с вытянутым указательным пальцем на ученика и на дверь.

Вообще у Когана на уроках не допускалось баловство и бездельничанье.

Учился со мною Фима Карзон. Это был нервный слабый мальчик, сильно заикавшийся; вместо «Л» он выговаривал «В», за что его прозвали «Вошка». Когда Фиму вызывали к доске или даже отвечать с места, он вздрагивал, начинал волноваться, что не сможет внятно ответить (даже если хорошо знал материал) и от этого заикался все больше. Как цепная реакция, заикание вызывало еще большее волнение. А то, в свою очередь, еще большее заикание и т. д.

Часто учителя, вместо того, чтобы быть снисходительными к Карзону, не задумываясь снижали ему оценки из-за проклятого заикания и считали его безнадежно отставшим учеником. А Фимка был таким же, как и все остальные мальчишки его возраста: в меру подвижен и не в меру изобретателен на шалости.

Не помню сейчас, что тогда совершил за своей третьей партой «Вошка», но вдруг Григорий Евсеевич нахмурился, поднял медленно правую руку и, направив указательный палец сначала на Фимку, а затем на дверь, строго изрек:

— Карзон, из класса!

Этого знакомого жеста, тем более фразы, было достаточно, чтобы любой другой нарушитель спокойствия без лишних слов покинул поле боя. А наш Вошка сделал попытку оправдаться. Может быть, он не был виноват и пострадал из-за впереди сидящего Мухи, но объяснить толком этого не смог. Он вскочил с места, весь затрясся, и, придерживаясь за парту и сильно заикаясь, произнес следующее:

— Г-г-г-ри-го-рий... Ев-в-в-се-е-е-вич! Н-н-ну т-т-так! Ещ-щ-ще... р-раз... и-и.. я... б-б-боль... ше... не... б-б-бу-бу-ду!

Такая тирада, конечно же, вызвала у нас, не знающих сострадания мальчишек, бурю смеха. Коган же был мудрым человеком. Он погасил возникшую было на лице улыбку и по-прежнему строго и назидательно сказал:

— Садитесь, Карзон. Но учтите, что еще раз баловаться в классе я вам не позволю!

Это была первая и последняя амнистия, которой удостоился ученик на уроке математики.

Еще у Когана мне нравился сам процесс объяснения новых задач и теорем.

Это были уроки творчества, в которых, как и на литературе у Раисы Захаровны, принимал участие весь класс. Но на математике, кроме того, еще требовалось найти наиболее красивый способ решения и постараться затратить на него минимум времени. Коган иногда устраивал своеобразные конкурсы на самое оригинальное решение задачи. Победителю, решившему быстрее и оригинальнее остальных, была гарантирована пятерка в журнале, которая выставлялась тотчас же по окончании блицконкурса. В нашем классе было много хороших математиков, в том числе отличники учебы: Галя Перглер, Миша Левин, Аркадий Найшулер и Люся Савицкая. Но в конкурсах на быстрейшее и красивейшее решение пальма первенства принадлежала вертячему, длинношеему, худенькому, невысокому отроку — Абраше Мордуховичу. Он был, как говорится, математик от Бога. Завоеванных таким образом за четверть пятерок по математике ему хватало, чтобы общей оценкой без вызова к доске было «пять».

Мы подозревали, что, пользуясь таким методом, Абраша не всегда готовил уроки. Возможно, и Коган об этом догадывался, но вундеркинду прощалось все.

Многие ученики при опросах постоянно путали формулировки: разность квадратов с квадратом разности, разность кубов с кубом разности двух чисел и т.д. Формулы этих выражений встречались сплошь и рядом в длинных-предлинных дробных алгебраических примерах с множеством фигурных, квадратных и простых скобок. Путем целого ряда преобразований, подстановок и сокращений пример, в конце концов, приобретал стройный и очень простой вид.

Бывало, указывая на заключенное в скобки буквенное выражение такого примера, Григорий Евсеевич спрашивал, называя по фамилии кого-либо из учеников:

— Что это вам напоминает?

Ученик, глядя на доску, старался быстро отрапортовать:

— Разность квадратов?

Если это было неверно, учитель тут же с иронией поправлял:

— Или?

Запутавшийся ученик торопился поскорее уточнить:

— Квадрат разности?

И коль опять допускалась ошибка, то следовал совет:

— А если подумать?

После чего бедолага произносил, наконец, запоздалый, но правильный ответ:

— Квадрат суммы двух чисел!

Эта муштра повторялась почти на каждом уроке алгебры до тех пор, пока не осталось ни одного ученика, который бы путал формулы и не разбирался бы в предмете.

Как я уже говорил, при решении задач Григорий Евсеевич выбирал самые оригинальные и короткие способы. Этого же он требовал от нас. Таким нехитрым приемом он «добровольно» заставлял нас мыслить самостоятельно и держал наши мозги все время в напряжении.

Если кто-нибудь решал задачу слишком длинно, Герш непременно замечал:

— Так решать, конечно, можно. Но зачем идти из 4-й школы на вокзал Запорожье-2 через вокзал Запорожье-1?

Чтобы избежать такого вопроса по отношению к себе, я дома при решении задач пробовал разные варианты, прежде чем записать решение в тетради. Наверняка так поступал не я один.

Прошло много лет, утекло много воды, но на полках моей памяти математика за среднюю школу улеглась так аккуратно, что, если сейчас разбудить меня среди ночи и спросить какую-нибудь формулу или теорему, я незамедлительно и безошибочно отвечу.

В 8-м классе мы, ребята, вдруг с удивлением и восторгом начали замечать, что угловатые наши одноклассники стали превращаться в симпатичных стройных девушек. Очевидно, такие же изменения девчонки заметили и в нашем лагере. Учеников и учениц потянуло друг к другу. Сидеть за одной партой с девочкой стало даже престижно и вызывало зависть, а не презрение со стороны остальных ребят. Теперь каникулы, именины и праздники мы старались проводить вместе с девочками.

От старшеклассников мы узнали, что бывали случаи, когда на свои «интимные» вечера они приглашали Григория Евсеевича. Решили и мы однажды проделать такой эксперимент, хотя к нему мы прибегли после случившегося между классом и директором инцидента. Но об этом речь пойдет отдельно.

Не помню, у кого на квартире мы тогда собирались, не то у Любы Баш, не то у Бэбы Рихтер, но именно там, где отсутствовали родители. Из взрослых с нами был только Григорий Евсеевич. Когда он зашел, мы почувствовали себя несколько скованно. Коган это заметил и, как только сели за стол, он заявил:

— Давайте договоримся так: в школе я — ваш учитель, а здесь за столом — ваш товарищ.

Для подкрепления сказанного он угостил нас двумя остроумными анекдотами, которые были оценены по достоинству, вызвали смех и аплодисменты. Потом Муська Колтунов тоже рассказал несколько анекдотов. Мухины шедевры вызвали бурю смеха и окончательно сломали ледок настороженности, это нас как-то сблизило с нашим наставником. Когда же завели патефон, и Коган по очереди стал приглашать и танцевать со всеми девочками, то окончательно покорила сердца, сначала дамские, а следом за ними не в меру ревнивых кавалеров. Однако потом кое-кто из девиц напрасно надеялся, что танец с самим Коганом на частной квартире поможет улучшить оценку по математике. Не тут-то было: на успеваемость оказывали влияние только знания, и зависимость эта была прямо пропорциональной.

После первой вечеринки, проведенной вместе, Коган стал непременным и почетным членом коллектива нашего 8-А на любых мероприятиях.

Нам очень нравилось быть свидетелями сцен, разыгрываемых Григорием Евсеевичем и Раисой Захаровной на школьных вечерах, где каждый из них старался доказать преимущество своего предмета. Мы любили одинаково их обоих, и, несмотря на то, что они были классными руководителями параллельных классов, А и Б, предпочиталась острота и находчивость с любой из сторон. Раиса Захаровна, надо отдать ей должное, в этих спорах блистала остроумием и вызывала восторги и смех окружающих; Григорий Евсеевич тоже не оставался в долгу, но, как и подобает благородному рыцарю, в конце концов уступал женщине «лавровый венец» победы...

Прошло несколько десятилетий. Наступил 35-й год со времени окончания школы. Мы, ученики 5-го выпуска 4-й школы, в третий раз собрались со всех концов страны в г. Запорожье, чтобы отметить по традиции свою очередную школьную юбилейную пятилетку.

И, конечно же, непременным членом нашего коллектива, значительно поредевшего после Великой Отечественной войны и стольких лет жизни, был наш горячо любимый Учитель Григорий Евсеевич.

На второй день встречи, которую провели на лоне природы в «Соловьиной роще» (базе отдыха моего объединения), за банкетным столом Григорий Евсеевич поднял бокал и провозгласил тост за нас — своих учеников, так свято оберегающих старые школьные традиции, не забывающих друг друга и своего старого Учителя. Затем Коган пригласил нас всех на свой юбилей, связанный с его 75-летием и Золотой свадьбой.

Мы хорошо знали своего бывшего классного руководителя, и, несмотря на то, что все были навеселе, к произнесенному приглашению отнеслись весьма серьезно. Вскоре для проведения юбилея был избран оргкомитет из представителей всех выпусков школы. От нашего 5-го в него вошли: Миша Левин, Люба Баш и я. Когда оргкомитет уточнил детали, ученикам всех шести довоенных выпусков были направлены письма следующего содержания:

«Май 1975 г.

Дорогой выпускник 4-й ПСШ!

К тебе обращаются твои одноклассники, волею судьбы ставшие членами Оргкомитета по проведению Юбилейного праздника, посвященного 75-летию со дня рождения всеми нами уважаемого Учителя — Григория Евсеевича Когана. Если ты не забыл еще свою школу, если нет-нет, да и вспоминаешь о ней и при этом сердце начинает биться учащенно в твоей груди, если ты хочешь еще раз перенестись на некоторое время в свою юность, то Оргкомитет предлагает тебе прибыть в г. Запорожье на чествование нашего юбиляра, который одновременно отмечает со своей супругой «Золотую свадьбу»... и т.д.

В конце мая, после того, как мы успели уже разослать письма-приглашения, супруга Григория Евсеевича перенесла инсульт, и Оргкомитет потерял уверенность в том, состоятся ли вообще праздничные торжества или их придется отменить.

Когда у Анны Моисеевны дела немножко улучшились, мы с разрешения четы Коган направили на радостях дополнительные письма в октябре по тем же адресам, что и в первый раз:

«Октябрь 1975 г.

Дорогой соученик!

Оргкомитет ставит тебя в известность, что юбилейные торжества Григория Евсеевича и его супруги состоятся!

Как было намечено, это произойдет 6 декабря с.г. Место и время торжественного вечера сообщит тебе сам Юбilarь. Если же случится так, что он не успеет этого сделать, то по приезду в г. Запорожье звони в «Справочное бюро Оргкомитета», от которого получишь точные сведения.

Мы предлагаем (и, естественно, просим):

От имени соучеников своего выпуска приготовить приветственный адрес Юбilarю.

От тех же лиц — неограниченное количество хохм, всегда любимых Юбilarом.

Вспомнить, записать и рассказать на юбилейном вечере смешные, а можно и «трагические», эпизоды из школьных лет.

Если ты пишешь стихи, рисуешь, лепишь, вышиваешь, вяжешь и т.д., приготовь и привези свой личный самодельный подарок.

От имени бывших школьников, проживающих в настоящее время в одном городе с тобой, преподнеси Юбilarю сувенир, символизирующий твой город.

При невозможности прибыть на торжества по каким-либо уважительным причинам не оставь Юбilarя без внимания: пришли поздравительные телеграммы (краткие и длинные, в стихах и прозе, но обязательно теплые), и так далее...

Примечание: с 9-го ноября по 4-е декабря с.г. с 8.00 до 14.00, а 5-го и 6-го круглосуточно, работает «Справочное бюро» Оргкомитета, дающее справки по любым интересующим тебя вопросам по телефонам:

64-68-81, 64-52-76 и 64-00-34.

С уважением, Оргкомитет.

В ноябре Григорий Евсеевич направил пригласительные открытки всем откликнувшимся на письма Оргкомитета ученикам, в которых сообщалось, что торжественный вечер состоится в кафе «Маричка» 6 декабря 1975 г. в 18.00.

В этот вечер 6 декабря собралось из 6-ти довоенных выпусков и 7-го «недоношенного» (окончивших в 1941 г. 9 классов) 82 бывших школьника. Вместе с мужьями и женами их прибыло 108 человек. Это собралась 4-я школа в миниатюре. Галдеж стоял у входа в кафе и в вестибюле, как на перемене в школе. Некоторые из собравшихся не виделись 20 — 40 лет, старались узнать, не узнавали или с радостью узнавали друг друга. То и дело раздавались возгласы:

— Это ты?!

— Не может быть!

— Ой, неужели?

Оргкомитет вел статистический учет, поэтому знал с точностью до 99,9%, что на Юбилей будет присутствовать 150 человек, из которых столько-то мужчин, столько-то женщин. Учли, сколько ожидается приезжих, сколько из них нуждается в гостинице и другие, казалось бы, незначительные данные. Все было взято на заметку Оргкомитетом, так что застать нас врасплох было невозможно.

Столы в зале расставили в виде буквы «П». В середине перекладки буквы поставили два кресла для юбиляров, а по бокам стулья для членов их семьи и родственников. На боковых столах были установлены таблички с цифрами, обозначающими номер выпуска и дату оконча-

ния школы. К внутренней стороне перекладины буквы «П», напротив юбиляров, мы поставили столик с подарками, которые перекрыли на время белой скатертью.

Перед входом в зал висел транспарант:

— «Переступая через порог, оставь за дверью несколько десятков лет!»

На стенах, колоннах, занавесах и столах, в зале и вестибюле были развешаны, расклеены и разложены дружеские шаржи, афоризмы и высказывания, так или иначе касавшиеся некоторых сторон жизни юбиляров:

«Веди себя, как школьник на перемене, но не забывай, что ты на Золотой свадьбе у своего учителя!»

«Пей, пока не спутаешь квадрат разности с разностью квадратов!»

«Если хочешь сегодня получить «5» у Григория Евсеевича, вспомни, чему тебя обучали в школе на уроках литературы и пения»

— и т. д., и т. п.

Когда легковые машины подвезли к кафе «золотую пару» и членов их семьи, бывшие школьники, не сговариваясь, образовали перед входом в кафе и в вестибюле живой коридор.

Оркестр грянул свадебный марш Мендельсона. Григорий Евсеевич с Анной Моисеевной вошел в искусственный коридор. За ними последовали старший и младший сыновья со своими женами и детьми. К ногам «золотых молодоженов» полетели со всех сторон цветы, образуя ковер, по которому они торжественно прошли к столу.

Потом распорядители из Оргкомитета усадили всех приглашенных на заранее установленные места.

Когда шум утих, я включил магнитофон, и...

...Здесь надо сказать, что магнитофон этот был в числе подарков, предназначенных юбилярам. На заседании Оргкомитета было решено вручить его самым последним вместе с записью проводимого торжества. Поскольку идея эта принадлежала моей Шурочке, выпускнице 6-го выпуска нашей школы, то магнитофон был передан мне, и все предварительные записи и интервью пришлось делать мне вместе с членами моей семьи.

...Итак, прозвучали усиленные динамиками позывные радиостанции им. Коминтерна — «Широка страна моя родная», и голос диктора (его роль пришлось исполнять мне) провозгласил:

— Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза! Мы ведем свой репортаж, — говорил я, стараясь подражать Левитану, — из орденоносного г. Запорожья, города металлургов, машиностроителей, ученых, студентов и школьников! Сегодня, 6 декабря 1975 года, в г. Запорожье большой праздник! В ваших календарях этот день пока не отмечен красной цифрой, но мы надеемся, что в дальнейшем он будет ежегодно вспоминаться вами и отмечаться как замечательная дата. Сегодня школьники 4-й средней школы им. Горького, выпускники 30-х и 40-х годов, собрались здесь, в родном городе на берегу Днепра, для того, чтобы отпраздновать золотую свадьбу Григория Евсеевича и Анны Моисеевны Коган и 75-летие своего любимого учителя.

Далее пошли записи интервью, взятые мною и старшей дочерью Мариной у бывших выпускников школы якобы у трапа самолета, на железнодорожном вокзале, в речпорту и автовокзале. Все эти записи, конечно же, я делал при встрече с приезжающими у себя на квартире, а потом накладывал фон (шумовой эффект) при помощи пылесоса, изображавшего самолет, взбалтывания воды в ванне, изображавшей реку и т.д. Помогала мне в записи и создании шумовых эффектов младшая дочь Лена, а позывные играла на пианино моя жена. Так родилась запись, ставшая началом всей фонограммы торжества.

Далее с приветственной речью от имени Оргкомитета выступил Андрей Портянский, выпускник 4-го выпуска 1939 года. Юрист по образованию, по профессии адвокат, с безукоризненной дикцией, прекрасно поставленным голосом, он заставил всех присутствовавших, в том числе и юбиляров, прослезиться. В конце речи Портянский и Шурочка сдернули покрывало со стола с подарками. Стол засверкал золотом...

У юбиляров и их гостей от неожиданности и изумления раскрылись рты.

Когда же мы приподняли над головами для всеобщего обозрения панно с портретами молодых юбиляров, переплетенными золотыми кольцами и увенчанными лавровым венком цифрами «50», то у сидящих за столами, да и у именинников, рты раскрылись еще шире. Юбиляры были изумлены больше остальных. Они никак не могли понять, каким образом их фотографии 50-летней давности, в несколько раз увеличенные, попали на панно. Это был секрет оргкомитета и одного из сыновей юбиляров, втайне от родителей любезно предоставившего нам еще осенью на пару дней их фото...



Желающих выступить с заздравными речами было хоть отбавляй. Однако у Оргкомитета был заранее разработан сценарий, по которому в первую очередь слово предоставлялось запланированным ораторам, а не стихийным. Действуя по такому принципу, я дал возможность сначала зачитать приветственные адреса каждому выпуску, начиная с первого и кончая «недорослями».

В промежутках между выступлениями играла музыка, все танцевали, ели, пили и не могли наговориться между собой. Бывшие ученики поэтому говорили... говорили... и еще раз говорили...

Кажется, скучающих и равнодушных в этот вечер не было. Даже не имевший никакого отношения к нашей школе и юбилярам обслуживающий персонал кафе тоже старался нам подыгрывать и прямо-таки светился добрыми улыбками.

Учитывая, что Герш был нашим классным руководителем, захотелось хоть как-то напомнить об этом юбиляру.

Чехарды в кафе не организуешь, да и возраст не тот. И вот Борис Литинский быстро собрал партерную группу, как в былое сорокалетней давности время. Он построил бывших «мальчиков» нашего класса: Мишу Левина, Исаю Раввича, Рудика Рискина, Валика Ушакова, Фридриха Шафрана и меня, и под аккомпанемент аккордеона и аплодисменты присутствующих в такт маршу мы вышли на середину зала. При счете:

— Делай раз... делай два... делай три..., — «атлеты» начали выполнять пародии на пирамиды. Хохотали все до слез, и мы, исполнители, в том числе.

Было действительно смешно наблюдать, как солидные, не меньше центнера весом Фридрих и Исайка с животами и фигурами бегемотов, задирали ноги, которые подхватывал и держал худой, как жердь, Валик Ушаков. Мишка и Рудик, опершись на толстяков, застыли в полусогнутом состоянии, а я с Борькой стали по бокам на одно колено, предварительно бросив на пол носовые платки, и, приложив ладони ребром к бровям, изображали «впередсмотрящих».

За нами выступали сначала плановые, а потом и незапланированные «школьники» с серьезными и «хохмическими» номерами.

Между песнями, танцами и выступлениями фотографировались: на общей фотографии с юбилярами и отдельно по выпускам. Эти фото Оргкомитет вручил всем присутствующим на следующий день.

Я тоже в тот вечер выступил с сольным номером — прочел стихотворение, написанное накануне по случаю проходящего торжества:

— Время летит, не задерживаясь на стартах,  
Но никогда не забыть нам тех,  
Кто нас учил и с кем в школе за партами  
Мир познавали десять лет.  
И если сегодня, дружбою связаны,  
Собрались всех выпусков представители,  
То этим мы нашей школе обязаны  
И нашему дорогому Учителю!  
У истоков жизни, перебирая даты,  
С гордостью буду вспоминать о том,  
Что вместе с вами я тоже когда-то  
Был школы четвертой учеником!

...Через месяц я зашел навестить Григория Евсеевича и Анну Моисеевну.

Одна из комнат их квартиры была заставлена подарками, которые преподнесли юбилярам, а они сами и еще две пары родственников сидели у магнитофона и уже в который раз прослушивали записи и переживали вновь недавно прошедшее торжество. По признанию юбиляров, из всех ценных подарков самым дорогим для них оказался магнитофон с кассетами, на которых были записаны выступления учеников всех выпусков, замечательно теплые телеграммы и письма в стихах и прозе, голоса сыновей и внуков, и вообще все, что происходило на праздничном вечере.

В конце записи звучало:

— На этом радиогазета «Юбилейная» свою программу заканчивает. Передачу подготовили и вели:

Ответственный редактор Марк Нейштадт, выпускник 5-го выпуска 4-й школы 1940 года;

Музыкальное оформление Александры Нейштадт, выпускницы 4-й школы 1941 года;

Шумовое оформление Елены Нейштадт, младшей дочери выпускников;

Вела передачу диктор радиогазеты Марина Нейштадт, старшая дочь выпускников;

Звукооператор Виктор Котлицкий, сын выпускницы 3-го выпуска 4-й школы 1938 года.

После того, как я вместе с Коганами прослушал запись, я загорелся идеей увековечить память о юбиларе и школе, купил себе такой же магнитофон и переписал все заново на двух кассетах. Потом пришлось эти записи размножить и по настоянию бывших учеников разослать в Москву, Минск, Львов и другие города Советского Союза, чтобы те, кому не удалось принять участие в праздновании юбилея, услышали голоса его участников и своего строгого, но любимого учителя.

...Со времени этого, прогремевшего на весь город, необычного юбилея прошло уже около 10 лет. Многих из присутствовавших на нем, бывших учеников, за это время мы потеряли. Нет в живых и подруги Григория Евсеевича — Анны Моисеевны.

Как странно: человека уже давно нет, а голос его продолжает звучать в записи, как будто он живет, стоит с тобою рядом.

Мы с женой нет-нет, да и включаем магнитофон и слушаем, слушаем голоса дорогих нам людей, снова возвращаемся в то счастливое время, вернувшее нас, пусть на несколько часов, к незабываемой школе №4 им. Горького...

Григорию Евсеевичу пошел 85-й год...

Для нас — уже людей пенсионного возраста, он и сейчас остается примером неисчерпаемой бодрости духа и энергии...

...Выходите утром, часиков этак в 8, на набережную Днепра, и вы увидите быстро шагающего в спортивной форме пожилого седого человека. Он бодро и прямо держится, несмотря на преклонный возраст. Присмотритесь... Вы без труда узнаете в этом спортсмене своего неугомонного, неугомимого, вечно молодого Учителя.

#### **4. Одноклассники**

##### **Юра Ребенко**

В первых классах — худенький, маленький, застенчивый, под машинку стриженный мальчик.

Он ничем не выделялся среди остальных учеников, разве только тем, что был молчуном и терпеливым «великим стойком».

На Муську Колтунова, справедливости ради, полагалось бы наложить контрибуцию в пользу Юрки в виде пожизненной выплаты последнему денежной компенсации «за вредность». Ведь Юрка, как-никак, заслужил это, потому что 10 лет просидел-промучился за одной партой с назойливым Мухой. А на такой подвиг, пожалуй, вряд ли решился бы кто-нибудь еще из одноклассников. Юрка же был стойком, он терпел и не жаловался никому.

Юрке почему-то дали прозвище Спичка. Оно за ним закрепилось, тем более что он сам на него охотно откликался — Спичка да Спичка. И правда, он был худеньким, как спичка, но вспыльчивым — никогда.

К 7-му классу Спичка стал вытягиваться в стройного подростка и обогнал, к всеобщему удивлению, в росте многих сверстников. В учебе у него тоже наметились определенные успехи, чем не замедлил воспользоваться его предприимчивый сосед по парте. Муха прекратил насмешки над Спичкой, начал ему покровительствовать и потихоньку списывать у соседа домашние задания и некоторые контрольные работы.

С точки зрения Муськи Колтунова, у Спички был один существенный недостаток: он не умел врать. Для Мухи соврать было делом простым, что называется, раз плюнуть, а для Юрки — ни с чем не сравнимым мучением. От одного сознания, что предстоит кому-то сказать неправду, Юрка заведомо становился красным, как рак, и все равно, порой себе во вред, говорил только правду, даже горькую, но правду.

Из-за того, что Юрка держался почти всегда в стороне от буйных игр и спортивных увлечений одноклассников, был тихим и застенчивым мальчиком, на уроках ему часто влетало от Муськи и других, более смелых, а вернее, нахальных, ребят.

Одно время мы увлекались стрельбой с помощью тоненькой резинки, прикрепленной к указательному и среднему пальцам правой руки. Зарядом для такой рогатки служила скрученная плотной трубочкой, смоченная слюной, согнутая пополам бумажка. Сделанные таким образом «снаряды», как осы, летали по классу, беспощадно жалея очередную жертву. Иногда «снаряд» попадал в доску. Тогда жертвой становился незадачливый стрелок, которого удаляли из класса в пустынный коридор для размышления над своим поступком, или, что было гораздо хуже, направляли в канцелярию пред ясные очи завуча или директрисы — для объяснения.

Спичке и Мухе часто влетало по шее «снарядами»: уж очень удобно они сидели на второй парте. Но Юрка был особенно подходящей мишенью, так как ходил со стриженной под машинку головой.

Однажды Борька Литинский, сидевший на две парты позади Юрки Ребенко, решил попробовать на последнем свои снайперские способности. Шел урок истории. Алексей Кузьмич Жигалов с увлечением рассказывал нам о Пунических войнах и гибели Карфагена, водя указкой по карте в местах, где в III — II веках до нашей эры происходили эти исторические события. В это время Борька, смочив слюной предварительно скрученную бумажку и заложив ее в резинку между пальцами, хладнокровно прицелился в стриженую голову Спички, и...

Надо же было такому случиться, что все время внимательно слушавшего и не шевелившегося Юрку в этот момент чем-то отвлек Муха. Едва Спичка отклонил голову в сторону Мухи, как мимо его уха просвистел снаряд и смачно шмякнул в висевшую на стене карту рядом с указкой Жигалова.

Класс замер...

Алексей Кузьмич медленно повернул голову от карты к классу. Глядя на его изменившееся лицо, засмеявшиеся было ученики мигом притихли, поняв, что не миновать беды.

Чтобы не вызывать лишнего разбирательства и гнева учителя, Борька встал с места и понес свою повинную голову вместе с рогаткой на плаху.

Жигалов порвал резинку, а Бориса выдворил из класса, не применив больших мер наказания, так как оценил чистосердечное признание и то, что виновный знал и любил древнюю историю, хотя и сам неоднократно попадал в истории.

Юре Ребенко исполнилось 18, когда мы заканчивали 10 классов, поэтому его в числе ребят 1922 года рождения осенью 1940 года забрали служить в Красную Армию.

Я с ним встретился уже после Великой Отечественной войны в г. Запорожье, куда он приехал к матери из Москвы на каникулы. Ольга Николаевна тогда жила одна, преподавала в школе, как и до войны, черчение и рисование.

Летом 1947 года мы почти каждый день проводили с Юрой и стали неразлучными друзьями. В то лето я, наконец, понял и смог по достоинству оценить прекрасные человеческие качества своего школьного товарища: скромность, честность, преданность, чувство долга и удивительно неброское обаяние, которое не лежит на поверхности, а познается и раскрывается постепенно, и чем дальше, тем больше.

Во время войны Юра был ранен в правую руку разрывной пулей. Рана зажила, но рука не сгибалась, сильно высохла, а кисть напоминала скелет, обтянутый кожей. Можно позавидовать воле и настойчивости товарища, с какими он упорно, непрерывно сжимал резиновое кольцо, потом резиновый мячик пальцами поврежденной руки, и делал силовые упражнения. Занятия на протяжении нескольких лет дали положительные результаты: рука стала почти нормально двигаться, кисть обросла мышцами, Юру сначала перевели на инвалидность 3-й группы, а потом и вовсе ее сняли.

Из Москвы Юра приехал студентом 4-го курса института Нефти и газа им. Губкина.

Когда я впервые после 7-летнего перерыва встретил его, то никак не мог поверить, что это не кто иной, как Юрка Ребенко — Спичка, когда-то худенький и застенчивый мальчик. Передо мной стоял здоровенный мужчина, как говорится, «верзила». Но он улыбался такой милой, до боли знакомой, застенчивой улыбкой, что это сразу обезоруживало. Расставив руки для дружеских объятий, здоровяк басом изрек:

— Это я, я! Иди сюда, обниму! Рад, что, наконец, тебя разыскал!

После этой встречи мы не теряли связи, пока не закончили институты и не разъехались по назначениям: я — в Красноярск, а он — в Донецкую область.

Неизгладимым осталось впечатление от встречи с Юрой в Москве, когда я приехал туда зимой с 1947 на 1948 г. на трехмесячную практику, которую отрабатывал на автозаводе им. Сталина (нынешнем ЗИЛе). Но об этом пойдет разговор особый — впереди.

Будучи в Сибири, куда отбыл после института по назначению, я получил от Юры два или три письма, на которые ответил. Потом мы встретились летом 1950 года, когда я приехал в отпуск в Запорожье, а он провел уже свой и через пару дней уехал к себе в Донецкую область, поселок Нью-Йорк, на завод нефтяного оборудования. Лето 1951 года по пути из Красноярска в Запорожье, куда ехала жена в декретный отпуск, Шуручка в Москве повстречала Юру. В столицу он прибыл по вызову — получить новое назначение. Когда я от Шуры узнал об этом, то стал ждать весточку с новым адресом. Однако Юра молчал. Не стал и я его разыскивать — все было недосуг.

Перед очередной юбилейной встречей соучеников, намечавшейся на 6 — 7 июня 1970 г., когда я с женой и детьми уже переехал и окончательно обосновался в Запорожье, я решил через адресные столы разыскать нескольких соучеников и соучениц, которые, по рассказам товарищей, остались после войны в живых. Взялся я одновременно за поиски исчезнувшего с моего горизонта Юрки. Я написал запросы в адресные столы нескольких городов, где предположительно мог находиться Юра. Ответы приходили отрицательные. И вот, наконец, 28 апреля 1970 г. в почтовом ящике я обнаружил письмо, где на месте адреса отправителя стояла фамилия Ребенко. На одном дыхании я взбежал на свой 5-й этаж с письмом в руках. Лишь в квартире, еще раз глянув на конверт, я заметил, что адрес написан не Юриной рукой. С первых строк я понял, что меня ждут печальные вести.

«Милый Мара, здравствуйте, — было в письме. — Пишет Вам мама Юры Ребенко. Я получила Ваше письмо, посланное Поселковому совету, где Вы просите сообщить о Юре. Ваша память о Юре меня очень тронула. Я знаю, что Ваше письмо доставило бы ему большую радость, и он, конечно, приехал бы повидать всех своих товарищей по школе. Но он не придет... Его уже нет на свете. 1 марта 1970 года мы его здесь похоронили». Далее шло подробное описание работы, болезни и последних дней нашего товарища. Бедный Юрка, наш дорогой незабвенный Спичка, он умер в расцвете творческих сил от острого лейкоза, проболев чуть больше месяца.

Я долго не мог прийти в себя после такого трагического известия. Несколько раз садился за письмо к матери товарища и откладывал бумагу в сторону. Я писал со слезами на глазах и рвал письма. Разве можно было письмом облегчить горе матери?

Позже, когда после встречи соучеников я, наконец, собрался с силами, чтобы написать Ольге Николаевне, ее уже не было в живых.

#### Исай Раввич

Этот мальчик появился в нашем классе после серии очередных конфликтов на КВЖД.

Среднего роста, полненький, с несколько одутловатым лицом и чуть припухшими узкими глазами, парень приехал из Харбина. Когда Варвара Дмитриевна ввела его в класс и сказала: «Прошу любить и жаловать, это наш новый ученик Исай Раввич», мы приняли его за китайца. Мальчик, виновато улыбаясь, робко пошел между рядами и сел на свободное место за партой, рядом с хорошенькой Любочкой Баш. Он был одет в коротенькие штанишки, которые теперь называют шортами, клетчатую рубашку, из которой успел вырасти, и напоминал своим нескладным видом плюшевого медвежонка, каких выставляют обычно в витринах.

Очевидно, на образование детей в русской школе Харбина, где до приезда в Запорожье учился Исай, обращали очень мало внимания, так как мальчик сразу же попал в разряд слабых учеников. Заметив его слабую подготовку, Варвара Дмитриевна прикрепила Ися к Любочке Баш, и эта пара начала ходить постоянно вместе. Теперь робкий Исайка, хотя и был на буксире у Любочки, рядом с ней чувствовал себя ее телохранителем.

Вскоре Исай подружился с одноклассниками: Изей Бергом и Мишей Левиным. На Мишку он молился, как на бога, так как тот был отличником, а это по тогдашним меркам Ися было верхом совершенства.

Нас всегда смешило, как до Исайки с трудом и большим опозданием доходят различные объяснения и особенно поговорки и анекдоты.

Он был очень добрым и медлительным тугодумом, у которого, в противоположность таким шустрякам, как Абрам Мордухович, срабатывало не раннее, а позднее «зажигание». Даже смысл анекдотов, которые нам преподносил пачками с великим мастерством Муха, доходил до Исайки с большим опозданием. Бывало, после очередного анекдота, когда все уже успевали отсмеяться, вдруг в наступившей сосредоточенной тишине раздавался гомерический хохот Ися... Все недоуменно переглядывались, в том числе и рассказчик, не понимая, чем вызван смех. А Исай продолжал хохотать, хватаясь за бока и вспоминая эпизоды ранее рассказанного и уже наполовину забытого остальными слушателями анекдота.

Такое позднее восприятие вызывало всегда новую бурю смеха и само служило поводом для поговорок, сравнений и анекдотов.

Дом, где жил Исай, располагался на углу улиц Тургенева и Карла Либкнехта. Сараи их двора упирались в летний зал кинотеатра им. КИМ. Этот факт давал большие преимущества Исайке Раввичу перед остальными одноклассниками.

Пользуясь добротой и гостеприимством хозяина, мы часто ходили большими компаниями вместе с девушками смотреть бесплатно фильмы с крыши сараев. Поскольку крыша была по-

крыта жестью, наше хождение и размещение на ней вызывало такой скрежет и грохот, что не давало покоя жителям двора и контролерам кинотеатра.

Вглядываясь в то прошлое своим сегодняшним трезвым взглядом, лишенным детской романтики, я могу понять взрослых жильцов двора и их состояние. Конечно же, наши нашествия мешали людям отдыхать после трудового дня. Ведь летом сеансы в открытом кинотеатре, как правило, начинались не ранее 21 часа и заканчивались к 23 часам.

В своей «литерной ложе» на крыше наша компания размещалась обычно так: первый ряд — лежа, второй — сидя на скамейке или табуретках, принесенных Исаем, а третий — стоя. Второй ряд, как и подобает джентльменам, мы обычно отдавали нашим дамам, занимая первый и третий в порядке живой очереди.

Таким образом, мы по несколько раз смотрели понравившиеся фильмы. Благо выходило на экран тогда их немного, и демонстрировались они на протяжении месяца в одном и том же кинотеатре, пока не посмотрят его все жители города. Я, например, пользовался любым предлогом, чтобы посмотреть фильм «Большой вальс» американского производства с участием актрисы Милицы Корбюс (исполнительницы роли Карлы Доннер), в которую все мальчишки, в том числе и я, были безумно влюблены.

Наше активное посещение «кинотеатра на крыше», напоминавшее порой нашествие татар на Киевскую Русь, в конце концов, вывело жильцов из равновесия. Они не стали долго терпеть это иго, и по очереди (обычно в самый разгар событий на экране) обрушивали на увлеченных зрителей потоки воды из шланга, подключенного к водопроводу для поливки цветов. На крыше поднимался визг и грохот, смех и суета. Как горох, мы скатывались с крыши на землю и разбегались со двора, проклиная на чем свет стоит возмутителей спокойствия, губителей и разрушителей очаровательных мгновений, которыми мы были обязаны искусству кино. На следующий вечер повторялось точно то же, что и в предыдущий.

Для того чтобы залезть на крышу, мы использовали ящики и бочку, стоявшие в углу сарая. И вот однажды, чтобы окончательно отучить нас от лазания на крышу, какой-то из наиболее настырных жильцов, когда стемнело, и мы были поглощены созерцанием фильма, перекатил бочку к середине сарая, наполнил ее нечистотами, после чего начал окатывать нас водой из шланга. Реакция последовала обычная: визг, суета, грохот и прыжки с крыши. И вдруг в темноте последовал неожиданный всплеск, фыркание, чертыхание и злорадный хохот поливавшего нас паразита! Минутой позже, когда переусердствовавший активист-доброволец, наконец, удовлетворился содеянным и ретировался, мы разглядели Гришку Майзлима, с трудом выбиравшегося из бочки с дерьмом, куда угодил по пояс, прыгая в темноте с крыши.

Теперь нам пришлось взять шланг и устроить «купель» Гришке, или, как мы его называли, «Кезе», с ног до головы, обливая его водой и стоя на приличном расстоянии. Близко подойти к нему было невозможно из-за исходившего от бедолаги «благовония». Бедный Кезя поплелся домой, оставляя следы, которые пахли особыми «духами», а мы в отдалении сопровождали его сострадательными взглядами. Удивительно, но мы не волновались за Гришку: нас больше беспокоило, что этот инцидент может повлиять на здоровье его не в меру полной мамы, которая даже при малейшей провинности ребенка хваталась за сердце. А тут! При появлении милого дитяти в таком виде! Мы рассчитывали не меньше, чем на инфаркт...

Крайние меры жильцов не принесли ожидаемых результатов. Мы продолжали регулярно посещать Исайкино «кино на крыше» вплоть до окончания школы. Любовь к волшебному искусству кино переборола упорное сопротивление жителей двора.

#### Политрук моего класса

Всегда, во все годы, начиная с самого детства, я преклонялся перед смелыми, бескорыстными и честными людьми. Если к этим качествам добавлялись личная скромность, чувство долга, неукротимая воля и самопожертвование ради общего дела, то такой человек становился для меня образцом, с которого я старался брать пример, которому стремился подражать, по первому зову которого готов был пойти в огонь и в воду.

В школьные годы я столкнулся, вернее, провел десять лет в одном классе, бок о бок с двумя ребятами, которые обладали некоторыми из этих качеств. Это были Борис Литинский и Михаил Левин. С Борькой мы жили рядом, он был моим товарищем, другом-заводилой и спортивным лидером, к мастерству и достижениям которого я стремился. Мишка был олицетворением лидера другого порядка. Такого можно назвать комиссаром или политруком.

По нашим тогдашним меркам, если Борька был необузданным «Чапаевым», то Мишка, бесспорно, — сдержанным, организованным Фурмановым.

Моя и Мишкина матери лежали в одном роддоме, когда я появился на свет на четыре дня раньше Михаила, но этот парень всегда казался мне старше и опытнее, чем я.

С первого класса он прочно завоевал репутацию отличника и был им по праву все десять лет. Вспоминается, как я, бывало, приходил к Мишке узнать, как решается какая-нибудь задача, а он в это время гонял по улице или играл с соседскими мальчишками в разбойников. Так бывало неоднократно, поэтому я решил, что Миша никогда не делает дома уроки, а «валяет дурака». Единственное я никак не мог уяснить: откуда у него в тетрадях берутся аккуратно записанные и выполненные домашние задания? Но когда моя мама настойчиво призывала меня делать уроки, я уверенно отвечал:

— Твой хваленый отличник Мишенька тоже гуляет, еще больше, чем я, и никто его за это не ругает.

А секрет состоял в том, что Миша был необычайно организованным парнем. Он сначала выполнял домашние задания, что при его способностях было нетрудно, а потом гулял, как все остальные пацаны. В классе на уроках он тоже не отвлекался, а сосредоточенно слушал учителя. Это облегчало и ускоряло выполнение домашних заданий. Короче говоря, Мишка не был вундеркиндом, к нему знания не приходили сами по себе, без учебы. Зато у него было все как положено: делу время, потехе — час, а у меня — наоборот.

Только после 6-го класса я, наконец, понял, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда.

Мишкины деловые качества, успехи в учебе, серьезность и одновременно мальчишество, позволявшее не отрываться от остальных ребят и не кичиться своим превосходством, сразу же выдвинули его в число лидеров.

Миша никогда не задумывался над вопросом лидерства и тем более не стремился делать карьеру. Мы, его соученики, сами выбрали Мишку сначала старостой класса, потом группкомсоргом, под конец учебы — комсоргом школы.

Я всегда любил Мишку, с удовольствием выполнял его общественные поручения и никогда не завидовал его успехам, потому что он их по праву заслуживал: никогда не отлынивал от нагрузок и не подводил своих товарищей. Чувство долга у него было развито необычайно. С Мишкой не задумываясь можно было идти в любую разведку, а этого качества так недостает многим.

Будучи заводилой, Мишка многое брал на себя, всегда был в гуще школьных событий. В то же время он не гнушался исполнять в играх одноклассников любую, самую незначительную роль. Он уступал охотно место в футболе, гандболе или волейболе ребятам, игравшим лучше, довольствуясь скромной ролью болельщика. И это мне тоже очень нравилось в Михаиле.

Наши игры и шалости не всегда заканчивались благополучно. Были поломанные парты, столы, разбитые стекла. Бывали и драки. За такие дела приходилось отвечать. Мишке, как одному из заводил, влетало от наставников в первую очередь. Иногда попадало даже за такие проделки, к которым он имел лишь косвенное отношение или был совсем не причастен к случившемуся «ЧП».

Мишка молча сносил несправедливые нарекания директора Любовь Марковны или классной дамы Варвары Дмитриевны, но на ребят не жаловался и никого никогда не выдавал и не подводил.

Он мог стерпеть все, кроме несправедливости. Вспоминается в связи с этим такой случай.

Как-то зимой на школьном дворе мы играли в снежки с классом «Б». Эта игра переросла вскоре в настоящее сражение. На большой перемене наш класс вслед за Борькой и Мишкой вырвался из снежной крепости, перешел в атаку и погнал противника за ворота школы. Савка Лейбензон, заводила мальчишек из класса «Б», видя, что их поражение неизбежно, начал вкладывать в снежки камни. Бросая такие снаряды в наступающих, он поочередно стал выводить из строя ребят нашего класса. Мы несли невосполнимые потери в людских ресурсах.

Мишка Левин быстро сообразил, в чем дело, и тут же уличил Савку в нечестности. Бой был приостановлен. Спор между классами, поскольку была затронута честь одного из лидеров, решили закончить после уроков дуэлью на кулаках, как в древние времена, между самыми сильными парами из враждующих лагерей. От нашего класса выставили Мишку Левина и Борьку Литинского, а от «Б» класса — Савку Лейбензона и Витьку Попова.

После уроков на предстоящий бой богатырей за углом школы собрались представители воюющих классов и образовали большой круг. На середину его, побросав в снег портфели, ранцы и пальто, вышли Борька с Витькой и Мишка с Савкой.

Бойцы только начали сходитьсь для нанесения ударов, как бой был прерван. Привлеченные возбужденными подзадориваниями болельщиков, прохожие не дали разгореться бою-драке, разъединили «петушков» и повели их к директору.

Любовь Марковна, выпятив грудь и уперев руки в боки, повела наступление почему-то на Мишку Левина, обвинив его во всех тяжких грехах и сделав из него главного зачинщика драки. Михаил не отрицал своей вины, но ему до боли было обидно, что истинного виновника — Савку Лейбензона, совершившего нечестный поступок, директриса ни словом не упрекнула. А тот вдобавок ко всему еще нагло улыбался, глядя, как распекают и обвиняют его школьного товарища.

Не сомневаюсь, что все было именно так в канцелярии, куда нас не пустили. Эту сцену я воспроизвел по докладу Борьки Литинского. Вероятно, так и было потому, что отец Савки был секретарем Горкома КП(б)У, Мишкин — простым служащим.

Мишка терпел-терпел, а потом эту мысль, в конце концов, и высказал прямо в глаза чресчур разошедшейся «поборнице справедливости».

Из-за своей постоянной борьбы за честность и справедливость Мишка часто страдал, но принципам своим не изменял никогда.

Так было и на комсомольском собрании, где нас хотели, было, «проработать», потому что мы во время зимних каникул устраивали «танцульки». Только об этом инциденте речь еще впереди.

Мои долголетние наблюдения за своими школьными товарищами, с которыми я провел с 1-го по 10-й класс и теперь встречаюсь через каждые пять лет, позволяют сделать вывод, что те черты, которые были заложены и сформировались в характере каждого из нас свыше 50-ти лет назад, не исчезли, а, наоборот, стали более выпуклыми, отчетливыми и заметными.

У одних это излишняя молчаливость и скромность, у других, наоборот, болтливость и хвастовство, и т.д.

А один из моих бывших соучеников (не хочу называть его имени и фамилии) не мог раньше и теперь не может жить без того, чтобы не соврать. Мы, да и он сам, знаем эту болезнь товарища, и, тем не менее, он продолжает и по сей день врать, да так, что иногда и сам верит в свое вранье. Каким он был, таким он и остался, простим ему эту слабость. Если бы он прекратил врать, то это был бы уже не он, а кто-то другой.

Каждый из нас, бывших соучеников, знает хорошие и плохие стороны характера другого и не боится высказать вслух все, что думает, своему бывшему однокласснику, и одернуть его, когда тот «завихряется». Это теперь, по прошествии стольких лет. Но надо сказать, что гласность и абсолютная демократия были всегда присущи нашим взаимоотношениям. Мы и раньше прощали друг другу только незначительные слабости, и свято оберегали свой школьный союз. Может быть, поэтому к нашему классу всегда тянулись и льнули многие младшие школьники. До сих пор они стараются попасть на юбилейные встречи моих соучеников.

...В Мишином характере что-то, конечно, изменилось за эти полвека. И все же мой друг и ровесник и поныне остается для меня, и, надеюсь, остальных одноклассников эталоном скромности, честности и самоотверженности.

В разговоре с кем-нибудь из бывших учеников 3-й, 4-й, 5-й, 6-й или 8-й довоенных школ, теперь уже пожилых людей, при уточнении года окончания учебы или каких-то школьных событий можно услышать:

— С кем вы учились?

В таких случаях любой мой бывший одноклассник непременно без промедления ответит:

— С Мишей Левиным, Галей Перглер, Борисом Литинским...

Больше пояснений не понадобится. Задавшему этот вопрос станет ясно, в каком году вы начинали и окончили школу, в каком классе учились — «А» или «Б» и т. д.

А ведь чтобы фамилия служила своего рода паспортом класса, надо быть его лидером, надо заслужить это.

Таких людей, как наш Миша Левин, жизнь всегда, так или иначе, выдвигает на передовые рубежи. Такими я представляю себе комиссаров Гражданской войны и настоящих политруков минувшей Отечественной. Эти люди такие же, как и все остальные, и вместе с тем гораздо чище, тверже духом, целеустремленнее и лучше нас. Но это относится к настоящим коммунистам, а не к карьеристам.

Для меня не имеет никакого значения, что наш Мишка не стал секретарем Обкома или директором какого-либо крупного предприятия, а работает ведущим конструктором в КБ завода «Запорожсталь». Это не важно. Важно то, что он всегда был и остается честным коммунистом, которому можно верить, который никогда не подведет, который достоин подражания.

Мы, бывшие соученики по школе, собираемся каждый пять лет, начиная с 1965 года.

Я часто задумываюсь: что же, собственно, нас так сильно влечет друг к другу? Что за сила?

Почему я за год до очередного юбилея не нахожу себе покоя, с благоговением готовлюсь и предвкушаю радость встречи?

Возможно, правильный ответ на эти вопросы дадут лишь мои внуки, когда прочтут посвященные им воспоминания.

### Шурка Ершов

Почти одновременно с Исайкой Раввичем или несколько раньше в классе появился Шурка Ершов. Этот был полной противоположностью Исае. Быстроглазый, очень подвижный мальчишка, он моментально перезнакомился со всеми мальчишками и девочками, стал всеобщим другом и любимцем, как говорится, своим в доску парнем. Через день его пребывания в классе нам стало казаться, что Шурка учился с нами всегда.

Шурка Ершов среди мужского, а Бэба Рихтер среди женского населения нашего класса стали своего рода нравственными идеологами и просветителями. Эта пара знала все обо всем, что касалось взрослых: почему люди женятся, как они размножаются и т.д. Для них не было белых пятен в вопросах половых отношений между мужчиной и женщиной. Рассказы Шурки и Бэбки оказывали на нас гораздо большее влияние, чем лекции, которые для нас устраивала Варвара на оргчасах, пытаюсь толковать, что мы уже в таком возрасте, когда надо следить за собой, соблюдать гигиену пола и прочее на тему «О половом воспитании подростков».

Шурка быстро отбил у Борьки Литинского кокетливую Лелю Черний, которая, не выдержав стремительного натиска, сдалась на милость победителя и стала удаляться с ним и целоваться где только возможно, лишь бы подальше от посторонних глаз. Подражая им, Любочка Баш и Женька Гендзели тоже решили целоваться за компанию с этой парой. Но когда секрет знают четверо, то он становится достоянием пятого, шестого и т. д., пока о нем не узнают все.

Между прочим, Борька недолго страдал от измены Лели и переключил свои притязания на Надю Белоусову, ученицу старшего класса, — очень миловидную, скромную девочку. Когда он поделился со мной, я одобрил и его поступок по отношению к Леле, и его выбор, так как Надя была действительно очаровательным созданием, чем-то напоминавшим мне и внешне, и по характеру Татьяну Ларину. «Эта не изменит», — уверял я друга, хотя глубоко в душе не был уверен, знает ли Надя, что у нее с Борькой «любовь».

Шурка Ершов жил в «Белом доме». Это был лучший дом в старой части города. Принадлежал он к новым постройкам первой пятилетки. Поскольку таких домов в центре больше не было, то за этим утвердилось еще одно название — «Новый дом». Этот дом и сейчас стоит на углу улицы Тургенева и проспекта Ленина, около театра, только от времени он приобрел серый цвет и вид. Пора бы выкрасить его и подновить. Но до войны дом был предметом вожделения многих жителей города и его окрестностей. В нем жили крупные городские чиновники: родители Шурки и «Башонка» из нашего класса, а из параллельного — семья Савки Лейбензона, отец которого был первым секретарем Запорожского Горкома КП(б)У.

У Шурки Ершова была своя отдельная комната, хорошая библиотека. В ней было много книг, но особое место занимала одна, переведенная с японского языка на русский, — «Теория борьбы Джиу-джитсу». В книге описывались приемы, которые подкреплялись рисунками. В частности, там писалось, что, тренируя длительно мышцы ребер ладоней, можно набить плотные мозоли и достичь такого совершенства, что впоследствии будешь легко перебивать кирпич и даже позвоночник быку. После ознакомления с такой информацией все мальчишки, как один, начали набивать себе на руках мозоли. Дома и в школе во время выполнения домашних заданий и еды, на переменах и даже во время ходьбы наши руки умудрялись неустанно барабанить ребрами ладоней по всем попадавшимся под руку предметам.

Кирпичи, насколько я помню, перебивать мы так и не научились. Зато дров наломали много: это были поврежденные парты, столы, стулья и табуретки.

Однажды, когда я пришел в гости к Шурке, входную дверь открыл мне кто-то из ребят. Будь я повнимательнее, то, безусловно, заметил бы, что готовится какой-то подвох. И точно, не успел я переступить порог Шуркиной комнаты, как почувствовал, что оторвался от пола и лечу под письменный стол, стоявший напротив двери.

Придя в себя после неожиданного полета, я еще с минуту пролежал, потом стал подниматься, почесывая ушибленное плечо и голову. В обиде на такой «радушный» прием хозяина я хотел



развернуться и уйти, но на меня глядели невинные, горящие восторгом и сочувствием глаза Шурки. Он так участливо отряхивал и расспрашивал, не повредил ли мне чего-нибудь, что я мигом забыл свои намерения. Я ответил, что все в порядке, а Шурка сообщил, что разучивал прием «бросок через голову» и теперь пробует его на всех проходящих товарищах. Далее он добавил, что я еще должен быть ему благодарен за то, что он во время броска отпустил мои руки, иначе я мог врезаться головой в пол, как показано на рисунке. Когда я посмотрел в книге рисунок, изображавший способ броска и описание последствий, то понял, что очень счастливо отделался.

Этот резвый мальчик, Шурка Ершов, доучился с нами до 8-го класса, после чего уехал в Москву, блеснув, как звездочка, оставив о себе светлую память, много друзей и поклонниц в школе.

Став первоклассным летчиком-истребителем, он во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Шура продолжал службу в авиации, теперь в качестве летчика-испытателя. При испытании первых сверхзвуковых самолетов этот замечательный парень погиб.

В память об Александре Ершове и еще нескольких летчиках-испытателях сверхзвуковых самолетов был создан фильм «Им покоряется небо».

#### Аркадий Найшулер

Мне очень нравился еще один мальчик, начавший учиться в одной школе со мной с 5-го класса. Называли его «Кава». Эта кличка закрепилась за ним с легкой руки его родителей, а точнее, его самого, давшего себе это прозвище в ту пору, когда он учился разговаривать.

Этот невысокого роста, коренастый, но не толстый, краснощекий, черноглазый мальчик отличался замечательными способностями, ясным мышлением и какой-то непонятной привлекательностью. Кавочка отлично учился, был хорошим товарищем, сыном и братом. У Кавы часто болел отец, и он вместе с младшим братом всегда и во всем помогал матери. Братья были очень дружны между собой, и оба прекрасно успевали в школе. Это были поистине вундеркинды.

Моя и Кавина фамилии стояли в классном журнале по алфавиту рядышком: его на строку выше, моя пониже. Поскольку Кава учился на «5», отличных оценок у него было так много, что иногда его пятерки попадали на строку ниже — против моей фамилии. Когда я однажды обнаружил эту ошибку и сказал Каве, последний снисходительно улыбнулся: «Не горюй, я себе еще заработаю». Такого самопожертвования я, признаться, не ожидал, но возражать сильно тоже не стал. По нашему молчаливому согласию я таким же путем получил еще несколько «5». Я очень был благодарен своему товарищу, но в то же время совесть, заговорившая во мне, своевременно подсказала, что пора самому браться за ум.

Аркадий хорошо разбирался в физике, читал различные технические издания, книги и журналы. В одном из журналов, кажется, в «Технике молодежи», он прочел статью о том, как сделать самому броневику, управляемый по радио.

Идея понравилась Кавочке, и он поделился и привлек к ее осуществлению своего приятеля Шуру Мозенсона, жившего поблизости. Работа закипела. Броневику было почти готово, когда пришлось все приостановить из-за отсутствия тонкого эмалевого провода для катушек сопротивления и антенны. Друзья оббегали все имеющиеся в городе магазины, толкучий рынок и товарищей, но провода нигде не было. Обращались они по данному вопросу и ко мне. Тщетно...

Не помню, кому первому в голову пришла эта идея, и кто ее подсказал, но Кава с Шуркой ею моментально воспользовались. Два юных конструктора написали письмо лично секретарю ЦК КП(б)У Павлу Петровичу Постышеву с просьбой о помощи. Обратились ребята к «ППП» потому, что Павел Петрович любил детей, всегда помогал им, ввел Новогодние елки и пионерские форпосты, а, будучи в Запорожье, посетил Дворец пионеров и на память сфотографировался вместе с ребятами в пионерском галстуке.

Для нас обращение Кавки и Шурки к старшему товарищу было вполне закономерным поступком. Но это для нас — пионеров, а не для наших старших руководителей. Но об этом пойдет речь ниже.

Ответ на письмо наивных пионеров не задержался. Он вскоре пришел, но не в адрес просителей, а почему-то в школу.

Не помню, на каком уроке тогда мы сидели, но было очень тихо. И вдруг, как гром среди ясного дня, в класс с грохотом ворвалась Любовь Марковна, неся в высоко поднятой руке, как знамя, раскрытый лист бумаги. Еще с порога раздался ее пронзительный крик:

— Кто написал это письмо?

Класс молчал в недоумении. Тогда она продолжила с пафосом:

— Письмо самому Павлу Петровичу Постышеву!

Опять никто не нарушил молчания, так как очень мало ребят было посвящено в «тайну» подпольных конструкторов. Но по покрасневшим ушам Кавочки и поерзыванию Шурки Мозенсона можно было догадаться, что они понимают, о чем идет речь. Любовь Марковна с минуту помолчала, после чего торжественно произнесла:

— Найшулер и Мозенсон, подойдите сюда к столу, пусть на вас посмотрит весь класс!

Когда эта пара вышла из-за парт в проход, Кавочка, уже совсем пунцовый, запинаясь, попросил объяснения:

— Любовь Марковна, поясните, какое преступление мы совершили?

Директрису такой вопрос окончательно вывел из равновесия:

— Как? Вы даже не понимаете, что натворили? А отрывать по пустякам государственного деятеля? Это, по-вашему, не преступление?

До звонка и всю перемену Любовь Марковна ходила вдоль доски, где у стола стояли навытяжку «преступники», и читала нам лекцию о войне в Абиссинии, международном положении и т.д., бесполезно стараясь увязать свои примеры с тем фактом, что к Правительству по вопросу провода для броневику и другим пустякам нельзя обращаться.

Наконец, прозвенел звонок на следующий урок, и директриса освободила нас от своего присутствия, решив, очевидно, что до нас дошли ее увещевания, и что больше никто из нас писать подобные письма и жалобы не только в Правительство, но и ей не будет. Долго потом мы ломали головы: каким образом письмо попало в школу?

А ларчик открывался просто.

Павел Петрович написал ребятам ответ на их письмо следующего содержания:

«Дорогие ребята!

Очень хорошо, что вы строите модель броневику, управляемого по радио. Однако я не владею скобяным магазином, поэтому не могу прислать вам провод. Надеюсь, что товарищи из Горкома партии вам помогут. П. П. Постышев».

Этот ответ, письмо Кавки и Шурки с запиской Постышева об оказании помощи ребятам пришло в Запорожский Горком. В Горкоме КП(б)У, не найдя ничего лучшего, переправили письмо директору школы.

Так, без злого умысла, П.П.П. оказался виновным в буре, обрушившейся на светлые головки двух пионеров, в которых блеснула и тут же была погашена неумелыми действиями взрослых искра творчества.

#### Никто не забыт

Не всегда, однако, так печально заканчивались творческие дерзания отроков.

Повезло в этом отношении Изе Бергу.

Ведь не даром его в классе прозвали Ица-рационализатор. Этот подвижный, любознательный, пронырливый мальчишка с лицом, покрытым сплошь веснушками, был похож на обезьянку. Он не отличался особыми успехами в учебе, но мозг и руки его были постоянно заняты творчеством. Зачастую он изобретал то, что было уже известно человечеству, — как говорится, изобретал велосипед. Но зато предмет его стараний был делом творческих поисков и огромного труда Ицыных рук и мозга. В основном все детали он изготавливал сам и за материалом для очередного изобретения мог оббегать весь город. Если в его отсутствие приходили товарищи, то из-за закрытой двери доносился басок его младшей сестренки, которая, выдерживая паузы между словами, торжественно сообщала:

— Изи... нету... дома!..

Получив такой категорический ответ, можно было спокойно уходить, так как, кроме этих слов, все равно ничего не добьешься.

Изин отец работал фотографом, и, вертясь около отца, Изи в совершенстве усвоил искусство фотографирования с ретушью и без, с подсветкой и комбинированные и т.д. Его умению делать портреты могли бы позавидовать некоторые профессионалы.

Между делом Ица изготовил часы, в которые вмонтировал две катушки и увеличительное стекло. Наподобие пленки в фотоаппарате, в часах поворачивалась катушка и двигалась лента бумаги с написанной на ней шпаргалкой. Этими часами-шпаргалкой Ица-рационализатор пользовался до самых выпускных экзаменов в школе.

Мне думается, что времени, затраченного на изготовление часов и переписывание мельчайшим почерком шпаргалок на ленты, с лихвой хватило бы на обычную подготовку к экзаменам. Однако в этом случае пропал бы смысл творчества, спортивной борьбы.

Что поделаешь, такой был у него интересный характер: ни шага без выдумки, — иначе не интересно жить.

После 10-ти классов Изю вместе с другими ребятами 1922 года рождения призвали в армию. Неутомимый рационализатор, он и там умудрился продолжить свою деятельность. Его родители получили от командования части, где служил Изя, благодарственное письмо вместе с вырезками из армейской газеты, где писалось о красноармейце Израиле Берге, внесшем какое-то ценное усовершенствование в артиллерийское вооружение.

Родители с гордостью показывали нам эти письма. Это было в конце 1940 года...

Аркадий Найшулер и Изя Берг, два талантливейших мальчика, погибли в первые же дни войны, так как служили на границе.

#### Вова Педан

Погиб и честный, правдивый и готовый жертвовать собой за товарища Вова Педан.

Этот отчаянный парень принадлежал к такой категории людей, с которыми, как говорят фронтовики, можно ходить в разведку.

Владимир тоже служил на границе — в Перемышле.

Я так и не узнал, как встретил свой смертный час мой школьный товарищ. Как он погиб, осталось для меня тайной. Говорили, что он попал в плен, и, когда колонну измученных, голодных военнопленных гнали через село, немец из охраны убил Вову выстрелом в голову за то, что тот выбежал из строя за хлебом, брошенным одной женщиной.

Я же почему-то представляю себе Вову в последние минуты жизни закрывающим своей грудью от пули командира или бросающегося на амбразуру противника ради спасения товарищей по оружию...

...Погибли мои одноклассники *Ефим Керзон* и *Пина Писаревский*.

Эти двое по своей природе, в том числе и в школе, были очень незащитными и к тому же до крайности честными и совестливыми мальчиками. Мне даже трудно представить их себе в военной форме бойца Красной Армии — защитника. А ведь им, 19-летним, тоже пришлось служить на границе.

Думается, что они стали легкой добычей гитлеровских головорезов. Не знаю, успели ли Фима и Пина произвести хоть по выстрелу в прущего напролом врага, прежде чем обагрили своей кровью родную землю.

В пламени Великой Отечественной войны сгорел один из двух моих самых близких школьных товарищей — *Женя Гаскин*.

Он тоже служил на Западе, — в приграничном городке Бирче. С рокового рассвета 22 июня 1941 года он вступил в бой с фашистами.

Тяжело раненый Евгений попал в госпиталь, где встретился со своей мамой, капитаном медицинской службы. Когда подлечил раны, снова пошел на фронт. Мать проводила сына, надеясь на скорую встречу, потому что шел уже 1943 год, и в войне наступил перелом. Наша армия громила врага на всех фронтах. На горизонте уже забрезжила заря Победы.

Однако неумолимая война продолжала поглощать миллионы жизней.

Мать не увидела больше своего сына, а я — своего доброго, временами строптивого, но очень искреннего, хорошего и близкого друга.

Кто-то из однополчан Жени впоследствии рассказал, как он погиб.

Осенью 1943 года Женю, раненного в грудь и лежащего на поле без сознания, подобрала медсестра, перевязала и подтащила к скирде сена, с тем, чтобы потом вместе с остальными ранеными перевезти на подводе в медсанбат. В скирду попал снаряд, она загорелась, и там сгорели все те бойцы, которые не могли двигаться. Среди них и Евгений Гаскин.

С семнадцатью отважными чекистами-разведчиками, сброшенными на парашютах под Запорожьем в плавни и преданными своими же земляками, в неравном бою в апреле 1942 года погиб мой сосед по парте, замечательный художник Владимир Барсуков.

Так и остались они в моей памяти, вечно юными, 19-летними:

Барсуков Вова

Берг Изя

Гаскин Женя

Керзон Фима

Найшулер Аркадий  
Педан Вова  
Писаревский Пина.

Во время войны погибли от рук оккупантов родные Аркадия Найшулера и Фимы Керзона. В 1941 г., больных и измученных, их выгнали из домов эсэсовцы и расстреляли вместе с остальными евреями города.

Сейчас не осталось ни одного человека из дружных семей Гаскиных, Барсуковых, Керзонов, Найшулеров, Педанов и Писаревских...

\* \* \*

Второй год пошел, как я на пенсии.

Гуляю с внуками по старой части города, знакоблю их с достопримечательностями нашего края, его обелисками и памятниками, а сам гляжу и вспоминаю город своего детства, отрочества и юности.

Рядом с моим теперешним жилищем по улице Гоголя есть дом, в котором жил Вова Педан. Сколько же раз я там бывал? — много!

В сквере, на том месте, где стоит памятник Ф.Э. Дзержинскому, был до войны одноэтажный домик, в котором жил Пина Писаревский.

Дальше, вниз по улице Леппика, около Дубовой рощи был Казенный переулок. Сейчас там высятся девятиэтажные дома. А до войны в одном из глинобитных домиков на этом месте жил Фима Керзон.

Вверху тихой улицы Свердлова стоит дом, где провел свое безоблачное детство Женя Гаскин и куда мы с Борисом Литинским почти ежедневно заходили.

На перекрестке улиц Чекистов и Дзержинского, напротив Краеведческого музея, сохранилось двухэтажное здание из красного кирпича. В этом доме, в глубине двора на втором этаже жил наш неугомонный рационализатор Изя Берг.

На том месте, где расположено здание кинотеатра «Комсомолец», был небольшой уютный дворик с двумя-тремя домами, а точнее, домиками. В одном из них жили два славных парня, один постарше, другой помладше, два брата — Аркадий и Леонид Найшулеры. Оба они погибли от рук кровавых фашистских захватчиков: Аркадий на фронте, Леонид расстрелян оккупантами.

За кинотеатром «Комсомолец», на Транспортной площади (площадь Чекистов) в сквере установлен памятник 17-ти отважным чекистам-разведчикам. Среди них в перечне имен погибших высечено имя моего друга Владимира Барсукова.

В городе выросли новые дома, возникли новые улицы и кварталы, частично сменились названия старых сохранившихся улиц и школ, выросло два поколения новых людей. У этих поколений иная жизнь, иные запросы и заботы. Им не до тех ребят, которые жили здесь раньше, давным-давно, задолго до их появления. Мое поколение для них — историческое прошлое...

А я иду, вспоминаю свое беспечное, безоблачное детство и юность, держа за пухленькие ручки внуков, у которых вся жизнь еще впереди.

Будущее не возникает само по себе, — оно возникает из прошлого и настоящего.

Люди! Не забывайте уроков прошлого!

Храните мир на Земле ради светлого будущего — идущей с вами за руку молодой поросли грядущих поколений!

Наверное, это закономерно: оставшиеся в живых цепко держат в памяти ушедших. Мы свято храним в памяти погибших во время и после войны своих товарищей по школе. И каждый раз, собираясь на традиционный сбор, называем их имена...

## 5. Одноклассницы

Галина Перглер

Эта стройная девушка была красой и гордостью нашего класса, и, пожалуй, всей школы. За десять лет, проведенных с Галочкой в школе, я не помню, чтобы она получила оценку за знания ниже «отлично». Даже Вася, ставя классу под линейку всеобщий «кол», перескакивал через фамилию Перглер.

У нас в классе были патентованные отличники, но ее знания и ответы отличались всегда более глубоким содержанием и смыслом. Одним словом, были лучше, чем все остальные. Если

бы существовала оценка превосходной степени, то ответы Галины можно было бы оценить по самому высокому критерию.

Галочка была симпатичной, смуглой, черноглазой, не по годам серьезной девочкой, когда переступила порог школы. И стала красивой, со строгими чертами одухотворенного лица де-вушкой, когда закончила десятый класс.

Она носила длинные толстые косы, падавшие на ее небольшую высокую грудь. Эту де-вушку со сросшимися на переносице бровями можно было принять с одинаковым успехом за грузинку, турчанку, испанку или другую красавицу южного типа.

Рассказывают, что когда Галина по окончании десятилетки поехала в Москву и гуляла перед МИФЛИ, куда собиралась сдавать документы для поступления, ее стал преследовать какой-то человек, потом подошел к Галине и представился. Незнакомец оказался известным художником. Он умолял Галю согласиться позировать для своей картины, которую начал писать и не мог найти необходимого женского образа...

Прадед Галины со стороны отца, чех по национальности, во времена Австро-Венгерской империи, куда входила и Чехословакия, служил у барона фон Перглера. За усердие прадед от бездетного барона унаследовал по завещанию фамилию, титул и ни одного шиллинга на жизнь. Ставши именитым наследником, он отказался от титула, продал имение и с семьей выехал в далекую Россию. Отец Гали, Антон Иосифович, родился уже на новом месте — в России, которая стала для него родиной. Здесь он получил образование и стал строителем. Обосновался в г. Запорожье.

Галиных родителей я хорошо помню: худощавого, смуглого, среднего роста отца и красивую брюнетку с заплетенной в узел на затылке косой — мать. Еще была в их семье младшая дочь — Женя.

Мне всегда казалось, думаю, это так и было, что Галя знает гораздо больше нас, окружавших ее сверстников, и что с нами ей не особенно интересно. Среди соучеников, очевидно, не было ни одного человека ее интеллектуального уровня, с которым ей можно было бы поделиться сокровенными мыслями. Я чувствовал, может быть, подсознательно, что ее переполняют какие-то думы, и читал эту невысказанность в ее прекрасных глазах, но Галочка никогда никому из нас этого не говорила, и тем более, не пускала в свою душу.

Не было ни одной дисциплины в учебной программе, которую бы она не изучала и к которой бы относилась наплевательски. Но особенно любила Галина русскую литературу. А какими замечательными способностями она обладала! Как прекрасно читала письмо Татьяны из «Онегина», монолог Катерины из «Грозы» или Анны Карениной из одноименного романа, и еще много... много...

Раиса Захаровна, наша незабвенная учительница, иногда совместно с Галей разыгрывала целые сцены по произведениям Пушкина, Тургенева, Толстого, Островского и т.д., причем ученица выступала в роли героини, а учительница от автора.

Это было, наверное, в восьмом классе, когда мы изучали произведения М.Ю. Лермонтова. Раиса Захаровна вызвала Галочку к доске и попросила прочитать стихотворение «На смерть поэта».

Как водится в таких случаях, когда одного ученика вызывают к доске, раздается вздох облегчения, и все остальные начинают заниматься своими, на миг прерванными делами: кто-то спешит поделиться с соседом или соседкой очередной новостью, кто-то продолжает играть в крестики-нолики или в морской бой, а Муська Колтунов, повернувшись спиной к доске, пытается рассмешить весь класс очередной «хохмой»...

И вдруг... в это тихое гудение ворвался торжественный и громкий Галин голос, сопровождаемый выразительным жестом, направленным в сторону Мухи:

— А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов...

При этом фраза «надменные потомки» была так ярко выделена, что застигнутый врасплох Муха замер с раскрытым ртом и отвисшей челюстью. У шалуна моментально пропала охота продолжать дурачиться. Все остальные тоже умолкли, подавленные волшебной силой стихотворения, которое только сейчас, в эти минуты, в исполнении нашей соученицы, дошло до нашего сознания в словах горечи, боли и крика поэта и стало понятным и близким до конца:

Но есть и Божий суд, наперсники разврата,

Есть грозный суд: он ждет;

Он недоступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Далее, в абсолютной тишине, как аккорд, прозвучали заключительные строки:

— И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Класс молчал, потрясенный, молчала и Раиса Захаровна. Так продолжалось несколько секунд, может быть, минуту... Галочка уже села за парту, и только потом наступила разрядка: мы не выдержали и зааплодировали. Громче всех, не жалея сил, хлопал в ладоши Муська Колтунов. Этот «паршивец» даже не подозревал, что стал источником вдохновения, отправным пунктом, от которого отталкивалась, по системе Станиславского, Галина Перглер. Актриса в душе, она в эти мгновения представляла себе Муху в образе одного из «надменных потомков»...

Галочку часто посылали на конкурсы, олимпиады, слеты, совещания и прочие мероприятия, где она защищала честь школы или представляла от имени школы. Наша директриса, да и все мы, посылая ее, были уверены, что Галина Перглер не подведет.

Однажды, когда она была еще пионеркой 5-го класса, Галочку послали в г. Днепропетровск на областной слет пионеров. Ехали на открытой машине. Вернувшись со слета, девочка тяжело заболела ангиной, что вызвало ревматизм и дало осложнения на сердце. С той поры Галя часто стала жаловаться на боли в суставах, особенно в коленях. Иногда, особенно при неустойчивой погоде, Галя начала пропускать занятия в школе. И при всем при этом не было ни одного случая, чтобы она пришла после болезни, не выполнив домашнего задания или не зная материал, который изучали в классе в ее отсутствие. Меня это обстоятельство всегда удивляло, так как почти все ученики, и я в том числе, пропуск по болезни считали вполне уважительной причиной, позволяющей не выполнить домашнее задание. Я такие пропуски использовал, например, чтобы прочитать что-нибудь из беллетристики или просто ничего в эти дни не делая: мечтал, писал стихи и «плевал в потолок».

Помню, Галя только пришла после длительной болезни, и в тот же день кто-то из преподавателей вызвал ее к доске. Потом, заглянув в журнал и поняв, что допустил ошибку, этот учитель извинился и предложил ученице сесть на место. Однако Галя не села, а серьезно и настойчиво возразила:

— Нет, почему же? Спрашивайте, я буду отвечать.

Она прекрасно справилась с поставленным вопросом.

Мы очень любили нашу Галочку, но никто никогда не решался по отношению к ней переступить порог чисто товарищеской, установившейся на взаимном доверии дружбы, потому что чувствовал и ни на минуту не забывал ее моральное, нравственное и эстетическое превосходство.

Десять классов Галя закончила с отличием и поступила в Московский институт философии и литературы. Болезнь, однако, которую она перенесла еще в 5-м классе, давала о себе знать. Галя стала часто пропускать лекции, не в силах подняться с постели. Первый курс она закончила, когда уже шла Великая Отечественная война.

Сдав на «отлично» сессию, Галя выехала в Ставропольский край, куда эвакуировались ее родители. В 1942 г., когда к хутору, где находились Перглеры, приблизилась линия фронта, они с больной, уже с трудом передвигавшейся Галей, попытались бежать от немцев. Для эвакуации больной дочери нужен был какой-нибудь транспорт, а его на хуторе не было. Галочка умоляла родителей бросить ее, спастись самим и спасти младшую сестренку Женю. Однако родные, после нескольких безуспешных попыток уйти от оккупантов вместе с Галей, вынуждены были вернуться на хутор и уповать на Бога и случай.

До 1943 г., в течение нескольких месяцев, семья Перглеров жила на оккупированной врагом территории, считая каждый прожитый день подарком судьбы.

Зимой 1943 г. пришло, наконец, долгожданное освобождение.

Через год Перглеры смогли вернуться в Запорожье. Галочка все так же лежала, не поднимаясь. Несколько месяцев оккупации окончательно подорвали ее здоровье.

В 1946 году я навестил Галю; она лежала дома в постели. Мы беседовали, много смеялись, радовались жизни, вспоминали свое беззаботное детство и так трагически оборвавшуюся юность...

В 1947 году Галя внезапно скончалась.

Узнав об этом, я прибежал в больницу, где она лежала в последние дни. Был февраль. Дул холодный ветер. Шел снег. Галя лежала в открытом гробу, исхудавшая, но такая же красивая. Ветер шевелил ее длинные черные волосы, а снежинки кружились и падали, и уже не таяли на ее прекрасном в безмолвной строгости лице. Я смотрел на Галю и не мог оторвать взгляда. Ком подкатил к горлу.

Передо мной недвижимой на смертном одре лежала девушка, которая была для всех нас, своих бывших соучеников, близким, родным и очень талантливым человеком. Не знаю, как бы сложилась ее дальнейшая судьба, если бы так внезапно не оборвалась ее молодая жизнь. Одно несомненно: наша Галочка могла бы стать гордостью не только школы...

#### Татьяна Фрумгарц

Еще одной из ярких звездочек на небосклоне нашего класса была Танечка Фрумгарц.

Маленькая, очень подвижная, с живыми, всегда игравшими веселыми зайчиками, карими глазками под тоненькими, в ниточку, черными бровками, Танечка, как и Галя, была всеобщей любимицей.

Я смотрю на фотографию нашего 5-го выпуска: в овальной рамке портрет этой милой девушки, с которой мне суждено было проучиться десять лет в одном классе 4-й ПСШ им. Горького и еще год в одной группе на 1-м курсе института.

В Татьяне уживались два противоположных по характеру человека. Она была прекрасным товарищем, одинаково дружила как с мальчишками, так и с девчонками: веселая и задиристая хохотушка в компании на отдыхе. Если ее кто-нибудь из мальчишек уж очень задевал, она могла тут же в ответ стукнуть обидчика портфелем по спине, да так, что виновник согнется от боли:

— Впредь не лезь!

Зато во время занятий или при выполнении домашних заданий Таня преображалась, становилась очень серьезной и деловой.

Те, кто видел Таню впервые, мог принять ее или за легкомысленную девицу, или за очень серьезную, строгую особу. Все зависело от того, когда Татьяна попадалась на глаза любопытному наблюдателю: во время отдыха или во время занятий. Только мы, соученики, хорошо знавшие и любившие свою Танечку, могли по достоинству и всесторонне ее оценить.

К общественным поручениям и заданиям Таня относилась с большой ответственностью. Она была очень обязательным человеком и не мыслила, как можно прийти в школу, не выполнив поручение или урок. Просто списывать, только для того, чтобы отчитаться перед учителем, она не хотела и не могла. Если Таня чего-нибудь не знала или у нее не получалось, то просила, чтобы ей объяснили, и тогда самостоятельно выполняла задание. Объяснять Танюше тоже было не так-то просто: она дотошно переспрашивала все по порядку, пока не убеждалась, что должно быть только так, а не иначе. Мы не обижались, потому что знали: если у Таньки не получалась задача, то она, перед тем, как обращаться, уже перепробовала не менее ста вариантов и теперь пытается и хочет убедиться, что твой, сто первый, вариант — верный.

У себя списывать так — запросто — Таня тоже не давала, а старалась объяснить, чтобы списывавший мог самостоятельно выполнить задание, или, по крайней мере, понял то, что скатал.

Свободное время Танюша, по-моему, больше проводила с мальчишками, чем с девчонками: на санках или у «мостика Педана» на Днепре летом. Она даже пыталась с нами играть в футбол, и неплохо бы играла в дальнейшем, если бы кто-то из взрослых не напомнил ей, что футбол вовсе не женская игра. Танечка покраснела, отошла в сторону и ногой к мячу больше не притрагивалась, несмотря на соблазн.

Отчетливо вспоминаю, как мы отмечали ее шестнадцатилетие.

Был тихий, морозный зимний вечер. Медленно кружились в воздухе крупные снежинки, покрывая землю толстым слоем пушистого белого одеяла. Во дворе у Тани образовались большие сугробы, и от калитки до двери ее дома мы шли по расчищенному снежному коридору. Танечка, как радушная хозяйка, раскрасневшаяся и нарядная, встречала своих гостей у порога, слегка смущаясь, принимала подарки и забирала одежду.

По-моему, в ту пору ей нравился Миша Орлов, и его она больше всех ждала. Я сделал для себя тогда этот вывод, потому что когда мальчишка гурьбой ввалились в квартиру, Танечка с горящими глазками бросилась навстречу. Не обнаружив среди вошедших своего героя, ее глазки мгновенно померкли и наполнились печалью. Через минуту, когда Мишка появился, они загорелись снова с еще большей силой.

Если б я знал, что появление этого рыцаря вызовет такую гамму чувств и эмоций на Танином личике, то впереди остальных ребят непременно втолкнул бы его пред ясные очи милой хозяйки, и только потом уже, во избежание аварии, вытолкал бы в зад к сортиру, куда этот Дон Жуан, утопая по колено в снегу, прежде всего устремился.

В доме было светло от горящих во всех комнатах ламп, и несло жаром от натопленной печи, около которой, наверное, целый день хлопотали, приготавливая вкусные вещи. В гостиной звучала музыка; у патефона командовала Ира Цеханская, выбирая и устанавливая пластинки по

своему вкусу. Важные «кавалеры», толкаясь друг о друга, робко вошли и уселись на стулья. Каждый из них старался вести себя непринужденно, скрывая смущение от того, что был здесь впервые и что в комнату часто входили, накрывая на стол, родители, и вместе с ними забегал 12–13-летний мальчишка — младший братик Тани. Наши девочки вели себя увереннее, потому что бывали здесь раньше. Они помогали хозяевам расставлять яства, развлекались и отвлекали нас, мужчин, и задирали братика.

Когда попросили всех к столу, когда расселись по местам, кто с кем хотел, и было выпито по рюмочке вина за здоровье именинницы, скованность прошла. Начался обычный галдеж, как на уроке, с той лишь разницей, что никто не поднимал руки в ожидании предоставления слова, а старался высказаться, так как это понадобилось всем одновременно.

Смелость «кавалеров» увеличивалась с каждой выпитой рюмкой, поэтому доза алкоголя предусмотрительными родителями была ограничена до трех-четырех рюмок на брата.

Выйдя из-за стола, молодые люди начали приглашать своих дам на танцы. Я танцевал обычно с Ирой, Любой или Таней. Других девочек приглашать стеснялся, так как они были выше меня ростом. И здесь, на именинах, не помогли даже три выпитые рюмки вина: все равно не хватало смелости. Когда я осмотрелся и увидел, что моих постоянных напарниц по танцам разобрали, то с горя выпил еще одну рюмку и, прислонившись спиной к стене, стал ждать своей очереди. Тепло, исходившее от стены, за которой находилась печь, и пары вина, ударившие в голову, сделали свое дело: я почувствовал головокружение и на негнущихся ногах, мимо танцующих пар, зашагал к выходу. Выбравшись из дома, я сделал несколько шагов по направлению к туалету, потом мои ноги подкосились, и я повалился неподалеку от порога в пушистую снежную постель. Не знаю, сколько времени я так пролежал, но головокружение прекратилось, я поднялся на ноги и огляделся. Одиноким фонарь, висевший на столбе посреди двора, тускло освещал мою убогую, покрытую снегом фигурку. Я судорожно принялся приводить себя в порядок, пока меня не хватились в доме или не вышел следующий «алкоголик», подражая моему заразительному примеру... В дом я вошел совершенно трезвый, чистый, но замерзший. Пары по-прежнему кружились, стоял такой же шум, как и прежде. Кто-то спросил, почему я такой холодный, но, не дождавшись ответа, удалился. Было похоже, что в общем веселье никто не обратил внимания на то, что я выходил из дома. И я понял, что отсутствовал не более пяти минут. Подали сладкое, я с удовольствием накинудся на горячий чай с вареньем и на вкусные пироги. Танечка, видя мое усердие, подливала чай и подкладывала свои изделия одно вкуснее другого. После сладкого пошли снова танцы, игры, анекдоты и коллективные песни. А когда уложили в постель братика, закрутили «бутылочку»...

...Через два года Танюша на «отлично» окончила школу и поступила вместе с Мишей Орловым в Харьковский авиационный или транспортный институт, а потом они вместе перевелись к нам в ЗМИ им. Чубаря.

В августе 1941 года Таня вместе с родителями эвакуировалась в г. Омск. Там она тяжело заболела и умерла.

Так преждевременно погасла еще одна яркая звездочка в галактике 5-го выпуска 4-й школы.

Милая Танюша, она всего на год пережила своих товарищей-одноклассников, погибших в первые месяцы Великой Отечественной войны. Сохраним о ней светлую память.

#### Дора Шток<sup>1</sup>

Так сложилось, что особы слабого пола в нашем «А» классе составляли 1/3 от общего количества учащихся. Это положение давало им право чувствовать себя привилегированной кастой по всем статьям. В параллельном классе было наоборот: там, в «Б», преобладал женский пол.

Много хороших, красивых и просто смазливых девочек побывало у нас в классе за десять лет совместного обучения. Одни приходили, другие уходили, не оставив о себе воспоминаний. Некоторые, наоборот, побыв немного, оставили о себе память на всю жизнь. Среди них мне запомнились Нина Скрипник, Наташа Иванова, Бэба Рихтер, Люба Шаповалова, Ляля Черний и Дора Шток.

Дорочка, Дора-помидора, и, наконец, Доротея, была незаурядной личностью. Она проучилась с нами с 1-го до 5-го класса, потом уехала в Харьков с родителями. И все же она так к нам привыкла, что не выдержала долгой разлуки и приехала в Запорожье погостить, когда мы были уже в 8-м классе.

<sup>1</sup> Дора Шток (Дора Штурман) литературовед, историк литературы, автор цикла книг и статей (1978–1996) по историческому и систематическому документальному исследованию демократического и тоталитарного строя.



Я хорошо запомнил и могу описать ее портрет образца 1938 года для опознания даже не криминалисту.

Дора была крупной девочкой. В первых классах носила она коротенькую юбочку, большой бант и челочку на широком лобике. Училась Дорочка хорошо, и Мария Васильевна, одна из первых наших учительниц, наряду с Галей Перглер часто ставила в пример именно ее.

Доротея у слабого пола была одним из лидеров, поэтому девчонки группировались вокруг нее, как цыплята вокруг клуши, поверяли ей свои тайны, а она умела хранить молчание и дать полезный совет своим подругам.

К девяти годам у Дорочки-помидорочки начали проявляться литературные способности. Она стала писать стихи, и кое-что, выходявшее из-под ее пера, давала почитать...

Вдруг это спокойствие и полное благополучие Доротеи было нарушено совершенно непредвиденными обстоятельствами. Уж не знаю, кто так решил, но Дору задумали перевести в параллельный класс. Горю не было предела. Бедная девочка металась, не находя себе места. Наконец, нашла выход. Поскольку из класса «Б» в наш «А» вместо Доры должны были перевести Лену Акимову — такую же точно по комплекции и развитию девочку, то эти две жертвы встретились, и, недолго думая, в знак протеста против несправедливого решения, договорились отравиться.

Так как более сильнодействующего яда, чем чернила, в школе не было, то самоубийцы выпили все чернила из своих чернильниц-невыливаек.

После того эпизода два дня ни та, ни другая девочки в школе не появлялись, так как им пришлось промывать желудки, и не столько желудки, сколько испачканные чернилами рты. Потом эти «героини» пришли, уселись тихонько каждая в своем любимом классе, и их уже никто никогда не терроризировал.

По окончании 5-го класса Дора, как я уже упоминал, переехала в Харьков, куда загодя отбыли родители. Мы большой группой соучеников провожали ее на вокзале. Девочки плакали. Доротея, несмотря на железный характер, тоже. Успокаивая подружек, она обещала им приехать в гости.

Слово, данное нам в тот вечер, Дора сдержала.

В 1938 г., во время зимних каникул, она приехала в Запорожье. Мы вместе с ней прекрасно провели этот короткий зимний отпуск. Уезжая после встречи, Дора в поезде написала стихи, которые посвятила своим школьным друзьям:

Ветер летит с Днепра,  
Плещет зелеными волнами.  
Песня моя быстра,  
Мчится, как птица вольная.  
Силой сдержать нельзя  
Звонкой, в тумане тающей...  
Песню отдав друзьям,  
В жизнь со мною вступающим.  
Дружба глубже морей,  
Радостней солнца летнего.  
Другу расскажешь все:  
Тайное и заветное.  
Путь, как бы ни был суров,  
Дружба наполнит мужеством,  
И горячей любовь,  
Если с любимым сдружишься.  
Если ж разлуки час  
К нам прилетит, непрошенный,  
Дружба не бросит нас,  
Знаю, мои хорошие!  
Знаю, мои друзья,  
Дружбе не быть разорванной!  
Песня быстра моя  
Мчится, как птица вольная.  
Силой сдержать нельзя  
Звонкой, в тумане тающей...  
Песня моя — друзьям,  
В жизнь со мною вступающим.

Позже эти стихи были напечатаны в «Пионерской правде». Это была последняя весточка от Доры. Потом о ее судьбе политзаключенной я узнал из рассказа Бориса Литинского. Наша Доротея испила полную чашу горя.

В 1970-м году мы пригласили нашу Дорочку на традиционную встречу со своими бывшими одноклассниками, однако из-за болезни она не смогла приехать. В своем послании Оргкомитету Дора писала, что класс наш и 4-ю школу любит до сих пор, несмотря на то, что с 5-го класса училась и окончила другую школу в г. Харькове.

А ведь и мы ее тоже не забыли.

#### Люся Савицкая

Из девочек, проучившихся со мной все десять лет в школе, выделялась и Люся Савицкая.

Славненькая, круглолицая, с большими карими глазами и тонкой осиной талией, тогдашняя Люся напоминала свою тезку Людмилу Гурченко в ее незабываемом дебюте в фильме «Карнавальная ночь».

Люся врезалась и останется в моей памяти своим максимализмом, который был сродни комсомольцам 20-х годов, считавшим, что любовь и революция несовместимы. В подражание взрослым, а может быть, она была такой по своему характеру и убеждениям, Люся, кроме учебы и комсомольской работы, не признавала ничего более. Будучи группкомсоргом, она изводила нас, рядовых комсомольцев, постоянными собраниями, бесконечными обсуждениями и критикой неуспевающих учеников-комсомольцев. Некоторые учителя, зная Люсин характер и рвение, пользовались этими качествами ученицы с целью привлечения внимания учеников к своему предмету. Не обращаясь за помощью к классному руководителю, они просили Савицкую воздействовать на такого-то или такую-то ученика или ученицу. А этот Робеспьер в юбке рада была стараться и использовала свой авторитет группкомсорга, члена комитета комсомола и занудный характер, из-за которого одноклассники в сердцах прозвали ее Совой.

Несмотря на то, что Люся была славненькой, даже красивой девушкой, в силу своего характера она никогда не могла, а возможно, и не стремилась, сблизиться с остальными учениками класса, поддерживать общие внешкольные интересы и отношения. Одноклассники ее сторонились. Никто из них не пытался с ней встречаться, хотя внешне Людмила многим очень нравилась.

Когда она была в 8-м классе, в нее влюбился юноша из 10-го, наш вожатый. Не представляю, о чем они беседовали, когда этот ухажер провожал Люсю из школы домой. Наверное, разговор не выходил у них за рамки повседневной комсомольской работы. Не знаю, была ли эта любовь взаимной. Мне кажется, что Люся поддерживала эти встречи, чтобы досадить своим ровесникам. А парень любил ее всем сердцем. Он погиб на фронте, очевидно, так и не поцеловав свою любимую девушку.

Своим характером максималистки Сова много неприятностей доставила одноклассникам и, прежде всего, самой себе. Об одном из таких инцидентов, возникших между Совой и классом, я расскажу в свое время. А пока... До самого окончания школы класс жил своей жизнью, а Люся своей, обособленной.

...Мы встретились с Люсей снова через 30 лет. Передо мной стояла усталая пожилая женщина, весом не меньше центнера, в которой с трудом можно было узнать прежнюю красивую максималистку с осиной талией, — Люсю Савицкую.

Эта женщина рассказала мне о своей нелегкой трудовой жизни во время и после войны. Призналась, что часто вспоминала школу, свой класс. За эти годы она многое переосмыслила, поняла и о многом пожалела.

Но что поделаешь? Прошлого не возвратишь.

Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку: на входящего во второй раз текут уже новые воды. Таков закон бытия.

#### Лена Фукс-Соколовская

Эта бесконечно добрая, с прекрасным уживчивым характером девочка ничем особенным не выделялась и не старалась выделиться среди своих подружек. Наоборот, она часто в ущерб своим собственным интересам старалась удовлетворить их притязания. С мальчиками в школе она не встречалась, и мальчишки до 7-го класса Леночку почти не замечали. Зато потом, когда Лена стала солисткой школьного джаза, без нее не обходился ни один школьный вечер и наши внешкольные сборы. Несколько раз мы проводили их у Леночки на квартире, и все были очень довольны приемом «маленькой хозяйки большого дома», который был оказан своим сверстникам.

С Леной я провел вместе незабываемые 10 школьных лет и один год в институте. Нас связывают общие друзья, воспоминания детства и юности и особенно школа.

Тихая, спокойная девушка Лена оказалась мужественным человеком. Она прошла через горнило Великой Отечественной войны: с начала 1942 года Лена стала ее непосредственным участником в качестве связиста батальона связи 28-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта.

Миша Левин рассказывал мне, что во время войны весной 1944 года, когда Красная Армия заканчивала освобождение территории СССР от неприятеля, он, будучи уже в чине лейтенанта, случайно встретился с Леной в эфире. Они узнали друг друга и договорились о встрече на Земле, а не в эфирном пространстве. Но фронт в ту пору продвигался так стремительно, что эту встречу пришлось отложить до весны 1947 года, когда прошло уже два года после отгремевших последних залпов Победы. Уже были зачехлены орудия, и старший лейтенант Михаил Левин демобилизовался, а связистка Леночка законсервировала свою аппаратуру и надела снова гражданскую одежду.

К счастью, война не ожесточила нашу Лену. Повзрослевшей, женственной, по-прежнему доброй и отзывчивой встретил я ее вместе с мужем — подполковником Соколовским — в 1947 году. Потом мы встречались на традиционном сборе в 1965 году и в Харькове в 1975. С тех пор связь не прекращается.

## **6. Преподаватели**

### **Василий Еремеевич Павелко**

Высокий, худощавый, с падающим на небольшой покатый лоб чубом, Василий Еремеевич преподавал в школе физику. Его прямую как жердь фигуру бывшего гвардейца подчеркивали и дополняли высокие сапоги со скрипом, начищенные до блеска гуталином.

Василий Еремеевич был строгим, очень нервным и вспыльчивым человеком. Однако мы знали, что за внешней строгостью и неприступностью скрывается добрая душа любящего детей учителя.

Вася не обладал талантом педагога. Часто тема, которую он старался объяснить нам, не доходила до слушателей, тем более что слушатели в это время рассеянным взглядом скользили по застекленным шкафам с приборами и по портретам ученых, развешанным по стенам физкабинета.

Если на вопрос учителя «Понятно?» ученики хором отвечали «Нет», Василий Еремеевич все объяснял сначала. Когда же вторично следовал ответ «Не понятно!», раздосадованный Вася вскипал, грозно ходил по кабинету перед притихшими учениками не менее пяти минут, чтобы успокоить нервы, и затем все начинал объяснять заново.

Но больше всего его возмущало, если мы не выполняли домашнее задание, особенно не решали задачи, которые не выходили из-за плохо усвоенного материала. В таких случаях Василий Еремеевич брал линейку, карандаш и в классном журнале проводил по вертикали пунктирную линию, что означало цифру «1» напротив каждой фамилии. Грозный «кол», прочерченный твердой рукой учителя через весь лист журнала сверху донизу, доставался всем, даже тем, кто на этот раз чисто случайно выполнил задание.

Такой «метод воспитания» сначала пугал нас, а потом мы привыкли и почти не реагировали на коллективную единицу, так как знали, что вспышка скоро пройдет и Вася, движимый угрызениями совести, все равно спросит, и, если будет в хорошем настроении, то даже подскажет ответ и поставит вместо «кола» приличную оценку. Со временем мы также усвоили, что в момент гнева нужно молчать, чтобы не нарваться на неприятности и не стать «громоотводом».

Как-то Аркадий Найшулер, забыв это негласное «золотое правило», после очередного не совсем усвоенного учениками объяснения и к тому же неудавшегося опыта, когда учитель был уже в гневе и достаточно заведен, внес поправку:

— Василий Еремеевич, вы клеммы перепутали. Чтобы машина работала, надо переставить концы.

В ответ последовало грозное:

— Найшулер! Вон из класса!

Кавочка почему-то замешкался. Тогда Вася двинулся широкими шагами в сторону провинившегося. Кавочка, увидев устрашающие маневры учителя, покраснел как рак и бросился к двери, а сзади, в двух шагах от бегущего, скрипели сапоги разгневанного учителя...

Закрыв дверь за изгнанником, Вася молча вернулся к столу, постоял и через пару минут, когда буря в его груди улеглась, переключил клеммы, как советовал Кава. Опыт прошел на этот раз удачно. Василий Еремеевич улыбнулся и приказал:

— Позовите Найшулера!

Несколько человек бросилось выполнять команду, однако виновника переполоха и след простыл.

Василий Еремеевич по понятным причинам очень ревностно относился к машинам, приборам и моделям, находившимся в физкабинете, и не разрешал без своего непосредственного надзора ими пользоваться. Вообще он старался в своем кабинете поддерживать чистоту и порядок. Перед входом в Васиных апартаменты полагалось тщательно вытирать обувь.

И вот однажды случилось неслыханное: от двери к проходу между столами тянулись чьи-то следы. Можно было понять ужас и гнев, охватившие Василия Еремеевича, когда он увидел, что следы принадлежат Валику Ушакову, и что этот отрок преспокойно в галошах усаживается за стол. Едва сдерживая гнев, Вася процедил:

— Ушаков, выйдите из кабинета и поставьте за дверь галоши!

Такое необычное начало урока вызвало всеобщий смех. И тут Михаил Левин влез с наивным предупреждением:

— Василий Еремеевич, их же там украдут!

Рассерженный и без того не на шутку учитель гаркнул:

— Левин! Выйдите за дверь сторожить галоши!

Пожимая плечами, с чувством невинно пострадавшего человека Мишка покинул кабинет вместе с Валькой Ушаковым и его злополучными галошами.

...Своего учителя физики я встретил в первых числах августа 1941 года, через год после окончания школы, когда наш отдельный артиллерийский взвод противотанковых орудий направлялся на передовую. В каком-то селе на пути к г. Марганец во время длительной стоянки я оседлал огромную лошадь-битюга, ходившую в артиллерийской упряжке, и поехал на водопой. Каково же было мое удивление, когда я увидел шагавших посреди деревенской улицы навстречу мне с лопатами на плечах Василия Еремеевича Павелко и Петра Андреевича Сарбея, преподавателя зоологии по кличке «Войсемьдесят войсемь».

Увидев всадника в военной форме и опознав в нем меня, Вася остановился, широко расставив ноги, толкнул Петра Андреевича локтем под ребра и радостно воскликнул:

— Ба! Мара! Да еще на лошади!

Несмотря на летнюю жару, Василий Еремеевич был в своих неизменных сапогах, украинской косоворотке навыпуск и соломенной шляпе с огромными полями. Почти так же, только в сандалиях, был облачен Петр Андреевич. Они внешне походили на незадачливых рыбаков, решивших запастись червями для рыбалки.

Я слез с лошади, мы свернули в проулок и пошли вместе к ставку на водопой. Дорогой Вася рассказывал, что они уже около двух недель как мобилизованы для рытья противотанковых рвов и окопов. Таким образом, задача у нас была одна и та же: у них — задержать, а у нас — уничтожить вражеские танки.

Когда я напоил и помыл лошадь, Вася повел меня в свой «табор», и, несмотря на протест, решил накормить меня украинским борщом и кашей собственного производства. Я, хоть и отказывался, но был изрядно голоден, а когда почувствовал запах борща, рот наполнился слюной, и я перестал сопротивляться. Борщ оказался отменным. Я уплетал его за обе щеки, а довольный Вася сидел рядом и, хитро подмигивая и ухмыляясь, подливал в котелок и приговаривал:

— Ешь, ешь, не стесняйся! Когда тебе еще придется такое попробовать?

Он был прав: через пару дней мы столкнулись с противником, и о Васиных борще и каше и вообще о горячей пище у меня остались только приятные воспоминания.

А Василий Еремеевич?

Мне рассказывали уже в 1946 году, что он добровольцем ушел сражаться с наступающими на город немецко-фашистскими захватчиками.

Он погиб с винтовкой в руках под Запорожьем, наш строгий и нервный, но добрый и отходчивый Вася, — Василий Еремеевич Павелко.

Вечная ему память.

**Алексей Кузьмич Жигалов**

Учитель истории был у нас тощий, как Кощей, с иезуитской улыбочкой и редко проклеивающимися волосами на бледных веках лисьей мордочки.

Алексей Кузьмич, внешне личность заурядная и малопривлекательная, любил свой предмет, хорошо его знал и излагал интересно.

Для закрепления пройденного материала Жигалов водил нас в музей и кинотеатры на просмотры исторических фильмов, которые сам же комментировал во время демонстрации. Я до сих пор помню в ту пору еще «немые» кинофильмы: «Спартак», «Антоний и Клеопатра», «Волк на троне», «Крылья холопа» и другие, на которые нас водил и рекомендовал нам посмотреть учитель истории. Безусловно, такие методы позволяли нам лучше усвоить уроки и ознакомиться с обычаями и нравами тех исторических времен.

Но, кажется, интереснее всего прочего Алексей Кузьмич читал лекции о королевах английских и королях французских, царях и царицах российских. Особое наслаждение ему, а это передавалось нам, доставляло смакование придворных интриг и интимной жизни исторических деятелей и грешников, правителей тех времен. На таких уроках наш Алексей Кузьмич преобразился в гениального актера и вдохновенного повествователя. Перед тем, как начать очередной опус подобного рода, он доверительно обращался к классу:

— Вы люди взрослые, — я могу быть откровенным?

И предлагал сдвинуть парты поближе к его столу, чтобы создать дружественную, интимную обстановку для тихой беседы. Затем начинал вкрадчивым, слегка гнусавым голосом повествование о любовных похождениях мадам Помпадур, Людовиках и т. д.

Перед очередным его уроком мы заранее сдвигали парты, как заговорщики, садились за них по три-четыре человека и образовывали полукруг около учительского стола.

Алексей Кузьмич заходил в класс с лукавой кривой улыбочкой на лице и тихо спрашивал:

— Так на чем мы прошлый раз остановились?

В ответ неслись возгласы нетерпеливых слушателей:

— На Екатерине II и братьях Орловых!

Или:

— На Распутине и царице Александре!

Припомнив еще кое-какие подробности, Жигалов продолжал рассказ. Мы с воодушевлением слушали, затаив дыхание, раскрыв рты и стараясь не пропустить ни одного слова.

Неплохой психолог, он знал, чем нас — подростков переходного возраста — можно без особого труда заставить слушать. Сдабривая подобного рода специями свои лекции, он, как опытный повар, приготавливал полезную для ума калорийную пищу, которую мы с аппетитом поглощали.

Со временем лишнее отсеялось, а полезное и необходимое осталось.

...Запомнилась женитьба Алексея Кузьмича, свидетелем которой мне довелось быть.

Это событие произошло, когда я ходил в 7-й или 8-й класс. Жигалов тогда временно занимал домик, расположенный на школьном дворе. Раньше в этом помещении было школьное музучилище, работали авиамодельный, художественный и другие кружки.

После очередной первомайской демонстрации нам не хотелось расходиться по домам, и мы гурьбой пошли в школу в своих праздничных белых костюмах погонять футбольный мяч.

В самый разгар баталии дверь во флигеле отворилась, и перед нашими удивленными, погретыми азартом лицами, на нетвердых ногах предстал Жигалов. Слегка пошатываясь, он улыбался нам во весь рот глуповатой ухмылкой и старался удержать равновесие. Наконец, ему это удалось, он принял позу римского императора и, указывая с порога величественным жестом в раскрытую дверь, Кузьмич произнес речь:

— Дорогие мои ребята!.. У меня сегодня свадьба. Я счастлив... Я женюсь... Пр-ро-шу вас разделить... со мной... это событие... и последовать ко мне... и моей.... Нонне... в гости!

Бросив мяч, мы собрались кучкой, и после короткого совещания часть из нас решила принять приглашение Жигалова.

Когда робким стадом мы ввалились в дом, то увидели за праздничным столом бледную бесцветную, лет на двадцать моложе жениха, одетую в белое платье невесту и еще одну или две пары незнакомых людей. Нас кое-как усадили за стол на длинной скамье, потому что с мебелью у молодых было туго. Алексей Кузьмич торжественно представил невесту, потом заговорил, как на уроке истории перед тем, как начать повесть о распутстве царедворцев:

— Вы люди взрослые, и... я так думаю... умеете пить?

Мы переглянулись, и, чтобы не уронить своего достоинства в глазах учителя, его невесты и гостей, нестройным хором подтвердили:

— Конечно! Конечно!

Жених, не мешкая, разлил нам по неизвестно как и откуда появившимся рюмкам водку, произнес заздравный тост за товарища Сталина, 1 Мая и свою невесту, залпом опрокинул стопку, сел и принялся закусывать. Незнакомые нам гости последовали примеру хозяина.

А мы продолжали держать торжественно в руках рюмки, не решаясь их ни опустошить, ни поставить нетронутыми на стол. Жигалов пододвинул поближе к нам еду и, налив себе еще, подзадорил:

— Ну, будьте взрослыми!

Затаив дыхание, я выпил рюмку, — первую в жизни рюмку, наполненную настоящей водкой. Во рту запекло. На глазах появились слезы. Ни вдохнуть, ни выдохнуть было невозможно. Так продолжалось несколько секунд, в течение которых я успел окинуть взглядом своих товарищей по трапезе. У всех был перепуганный глуповатый вид. Мы, недолго думая, налегли на закуску, и от пищи, только что наполнявшей стол, ничего не осталось. Алексей Кузьмич хоть и был на подпитии, но усек, какая мы компания за бутылкой, и больше наливать нам, своим почетным гостям, не стал.

Мы еще немного посидели и начали собираться домой. Заметив, что некоторые из нас «окосели», невеста участливо поинтересовалась, сможем ли мы дойти домой, и торопливо проводила «гостей» на свежий воздух.

Так я побывал первый раз в жизни на настоящей свадьбе, и не у кого-нибудь, а у своего учителя истории, и впервые познакомился с «зеленым змием». Этот первомайский праздник стал для меня «историческим» в прямом и переносном смысле. Вот так.

#### **Елена Николаевна Кочеткова**

Много славных учителей вело нас от класса к классу в мир знаний. Не считаясь с личным временем, они делали все, чтобы мы могли вступить в самостоятельную жизнь культурными, всесторонне развитыми людьми.

У каждого из нас отложилось в памяти то или иное событие из школьной жизни, — и комическое, и трагическое (порой и такое бывало), но обо всех своих педагогах, с которыми мне довелось встретиться на первой стадии жизненного пути, у меня остались самые добрые воспоминания.

Были среди них опытные, пожилые преподаватели, были и молодые — только окончившие институт, на четыре-пять лет старше нас, начинавшие свою трудовую жизнь на поприще учителя. Мы были далеко не идеальными учениками, поэтому начинающим преподавателям с нами было несладко. Так, в первый же день появления в химкабинете маленькая миловидная Елена Николаевна Кочеткова, начинающий преподаватель химии, разбавила соляную кислоту своими горькими слезами, до которых ее довели наши чрезмерно усердствовавшие штатные «алхимики» Шурка «Ус» и его приятель Шурка «Безус».

#### **Тамара Алексеевна Дьяченко**

Эту молодую симпатичную женщину, читавшую анатомию и физиологию человека, часто заставляли краснеть своими неуместными вопросами слишком «много» знавшие по теории медицины Женья Гаскин и Фридрих Шафран. Муська Колтунов, видя, что такие вопросы смущают молодую учительницу, старался подлить масла в огонь. Невинно глядя на Тамару Алексеевну, он спрашивал:

— А вы нам расскажете подробно, как появляются дети?

Однажды Тамара Алексеевна вызвала к доске Валю Турчину и попросила ее рассказать о почках и их функции в организме человека. Валя взяла указку и начала водить ею по прикрепленной к доске цветной анатомической таблице в поисках почек. Неугомонный Муха принялся помогать Вале. Он остановил кивком головы движение указки именно тогда, когда она своим острием уперлась в мужской половой орган. Не подозревая подвоха, довольная девочка сказала:

— А вот это почки...

Тамара Алексеевна глянула на указку, на таблицу, на Валю, опять на указку и опять на Валю, и, смущаясь и краснея, попыталась сделать вид, что ничего не произошло, и от этого еще больше смутилась.

Весь класс от едва сдерживаемого смеха наклонил головы или прилег на парты. Только один ученик — Муська Колтунов — преданно смотрел на Тамару Алексеевну и шевелил ушами. Это у него получалось здорово, так как он специально постоянно тренировал ушные мышцы. Своим шевелением ушей он мог смутить кого угодно, тем более, молодую преподавательницу.

Сгорая от смущения, милая Томочка только и смогла вымолвить:

— Ах, Колтунов, оставьте...

И выбежала из класса.

### Эдуард Эдуардович Заулер

У преподавателя немецкого языка такие «номера» не проходили. Эдуард Эдуардович Заулер в первую же встречу с нами изложил свой порядок преподавания, который сводился к следующему:

1. Ты (то есть весь класс) должен сидеть тихо, и слушать, что мы (то есть он — учитель) будем говорить.

2. Каждый отвечает сам за себя.

3. Если тебе сосед мешает работать, то подними руку и предупреди нас.

4. Если хочешь баловаться, садись за парту «осликов» на последний ряд.

Его система предполагала, что по пункту «3» ученики будут сдерживать своих соседей или доносить на них. В таких случаях виновному ставилась «птичка» в журнале. Три «птички» снижали оценку на балл. Однако так как никто не хотел быть ябедой, «птички» в основном зарабатывали пострадавшие.

Эдуард Эдуардович в таких случаях говорил:

— Ну что ж, наверное, тебе приятно, когда тебя отвлекают, иначе поднял бы руку.

Больше всех остальных «птички» доставались Юрке Ребенко, так как его постоянно отвлекал сосед по парте Муська Колтунов, а бедный Спичка терпел, но руки не поднимал.

Заулер прекрасно понимал Юркину порядочность, в душе, может быть, даже жалел Спичку, но от своего железного правила не отступал.

По пункту «4» была учреждена специальная парта для «осликов», за которую Эдуард Эдуардович усаживал безнадежных шалунов. Она стояла у стенки в самом углу класса. На парте «осликов» разрешалось баловаться. На изгоев никто не должен был обращать внимания. Заулер их почти не вызывал, зато в журнале у «отверженных» стояло твердое «2».

Эдуард Эдуардович Заулер был типичным арийцем, каких в то время рисовали на карикатурах: крупный, полный, со светло-голубыми, водянистыми, чуть выпуклыми глазами и маленьким, пропахшим табаком ртом на рыхлом лице. Себя он величал на «Вы», а класс в целом, тем более каждого ученика в отдельности, на «ты».

В немецкой школе Эдуард Эдуардович преподавал физику и математику, а у нас в 4-й — немецкий язык. Как-то, когда мы изучали спряжение сильных и слабых глаголов, он спросил:

— Кто скажет нам, что обозначает глагол *Loben*?

Руку поднял Вошка и ответил:

— Н-н-ну... так *Loben* — это л-л-л-любить!

Эдуард Эдуардович посмотрел на выскочку поверх очков, почесал пальцами на щеках щетину и произнес:

— Тебе еще рано любить, Керзон. Любить будешь потом, а пока садись. *Loben* — это «хвалить», а «любить» — *Lieben*!

Начиная с 1939 года Эдуарда Эдуардовича Заулера стали частенько приглашать в здание, находившееся по соседству со школой — областное НКВД. Иногда он отсутствовал один-два месяца. Потом снова появлялся. Его пытались подменять временными преподавателями немецкого языка, но только от этих «временных» толка никакого не было. Только то, чему учил нас Заулер, прочно засело в памяти.

Прошло всего два года, и мне довелось воспользоваться знаниями, которые со всей своей немецкой педантичностью и пунктуальностью настойчиво вдалбливал в мою легкомысленную голову Эдуард Эдуардович Заулер.

### Любовь Осиповна Перро

Это была старенькая, с белой, как лунь, головой, учительница ботаники.

Я не запомнил ни один из ее уроков, да простит она меня, грешного, кроме названия «семейство крестоцветных» и в чем состоит различие между пестиками и тычинками. Зато хорошо помню, что это она первая научила меня, как запомнить цветовой спектр по порядку расположения цветов. Для этого надо было выучить ничего не значащее слово «КОЖГСФ» или высказывание «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Здесь первые буквы слов обозначают цветовую гамму: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый.

Крупницы знаний, посеянные доброй рукой старенькой учительницы, пополнили мой багаж. Хотя и дали незначительные всходы.

Многих выучила за долгие годы преподавания Любовь Осиповна. Наверное, кто-нибудь из ее учеников посвятил себя садоводству, агрономии или другому виду земледелия на колхозной ниве.

### Мария Львовна Вайнгарт

Учительница пения по необходимости. Когда умер ее муж, прекрасный врач-терапевт, Мария Львовна пошла работать в нашу школу музруком, так как надо было как-то содержать семью из трех человек: ее самой, сына — на два года старше, и дочери — на два года младше меня.

Мария Львовна научила нас первым пионерским песням:

«Взвейтесь кострами,  
синие ночи,  
Мы — пионеры,  
дети рабочих...»

И еще:

«Здравствуй, милая картошка,  
тошка, тошка,  
Пионера идеал, ал, ал».

Потом мы пели песню о «Встречном»:

«Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река...»

И, наконец, замечательную песню о Родине:

«Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек...»

Когда звучала эта песня по радио в исполнении Георгия Абрамова в сопровождении хора и оркестра, я воспринимал ее не только на слух, но и всем сердцем. Я любил петь. С удовольствием разучивал на уроках пения песни. Дома, например, готовя уроки, исполнял десятки арий в разных октавах (ведь магнитофонных записей тогда не существовало), а Мария Львовна мне почему-то больше четверки по пению не ставила. Так и осталась у меня в аттестате эта злополучная оценка «хорошо». Впоследствии я понял: чтобы иметь «пять» по пению, нужно обладать лучшим, чем у меня, голосом и слухом, хотя некоторые из наших «отличников» вообще не имели ни того, ни другого. Лучше б уж их совсем не аттестовали по этому предмету, чем сталкивать юную душу школьника с несправедливостью взрослых людей.

Когда на одной из юбилейных встреч бывших одноклассников и оставшихся в живых учителей мы хором запели песню:

— Давно, друзья веселые,

Простились вы со школою..., — стоявшая рядом Мария Львовна заметила не без гордости:

— Кажется, я не напрасно учила вас пению. Ты здорово поешь, Мара!

Тогда я напомнил Марии Львовне с улыбкой:

— А ведь у меня в аттестате по пению «четыре».

Она смутилась и, прослезившись, сказала:

— Если б можно было исправить ту злополучную оценку, я бы за одну эту песню поставила тебе, Марочка, пятерку с плюсом!

### Ганна Антоновна Носик

Высокая, стройная, с хорошей фигурой, строгая учительница преподавала у нас украинский язык и литературу. В молодости она наверняка была красивой женщиной, потому что даже в преклонном возрасте была довольно интересной. Ее образ у меня в воображении почему-то ассоциируется с образом Софии Ротару. Слушая эту певицу, тем более по ТВ, я каждый раз вспоминаю нашу «Ганзю» — Ганну Антоновну Носик. Очевидно, между бывшей моей учительницей и современной певицей есть какое-то сходство, которое меня смущает.

Глубокие карие глаза «Ганзи» пристально следили за поведением учащихся и пресекали малейшее проявление недисциплинированности. Ее даже побаивались. Однако у Анны Антоновны не было любимчиков. Во всяком случае, мы этого не замечали: ее личные симпатии или антипатии на оценки не оказывали никакого влияния.

Однажды, когда мы изучали творчество известного украинского поэта Павла Григорьевича Тычины, смысл стихов которого не всегда доходил, кто-то из учеников в сердцах продекларировал:

— Ой, узяв би кирпичину  
Та й убив Павла Тичину!

Класс ответил дружным смехом. Вместе с нами, что особенно удивило, смеялась и Ганзя. Выпад со стороны ученика против известного украинского поэта не повлиял на оценки по языку и литературе у этого остролова.



Благодаря усилиям Анны Антоновны я научился свободно читать украинские произведения на языке авторов. В моей библиотеке наряду с русскими книгами хранятся произведения Шевченко, Котляревского, Леси Украинки, Мыкитенко и прочих авторов, которые я с удовольствием перечитываю. Я не представляю себе, как, живя на Украине, можно не знать языка республики. Свободно поддерживая беседу на украинском языке, я с благодарностью вспоминаю свою строгую учительницу.

Между прочим, уже после войны, будучи в командировке и остановившись в гостинице «Киев», я обратился к соседу по номеру с просьбой дать мне что-нибудь почитать. Он вручил мне сборник стихов и сонетов в переводе Павла Тычины. От такой любезности соседа мне стало не по себе, но дело шло к ночи, спать совершенно не хотелось, и, за неимением снотворного и другой литературы, я принялся за Тычину.

Надо сказать, что за пару вечеров я прочел переводы и еще несколько дней ходил под впечатлением от прочитанного. С тех пор я в корне изменил свое мнение о творчестве П.Г. Тычины, одного из образованнейших людей своего времени.

#### **Георгий Георгиевич Пашковский, или история из географии**

Этот учитель сменил на поприще преподавания географии *Раису Марковну Фишельсон* — старенькую, старательную учительницу французского языка и географии.

Непонятная для нас, странная старая женщина с причудливыми манерами воспитанницы пансиона благородных девиц, она выглядела иногда очень смешно на пролетарском фоне наших примитивных понятий об изысканном хорошем тоне, о воспитании и поведении. Забавный случай произошел как-то на ее уроке в нашем 5-А классе. Раиса Марковна попросила дежурного Бориса Литинского принести карты Европы и мира. Пока Борька ходил в канцелярию за картами, Раиса Марковна стала нам рассказывать о своем путешествии во Францию, в которую была влюблена безмерно. Закатив глаза, Раиса Марковна самозабвенно вела свое повествование, мысленно перенесясь в ту сказочную страну, очевидно, на время забыв о географии...

Напомнили ей об этом внезапно и с грохотом отворившаяся дверь и появившийся на пороге Борька. Этот отрок в одной руке держал скрученную «Европу», а другой придерживал часть карты мира, большая часть которой волочилась по полу. Увидев такую картину, Раиса Марковна побледнела, схватилась руками за голову, и, задыхаясь, едва смогла произнести следующее:

— Батюшки-светы, это же варварство! Вероломство! Вандализм!

В ее глазах в это время читался такой неподдельный ужас, что ее можно было сравнить разве что с лицом и глазами сына Ивана Грозного в предсмертный час, изображенного на картине гениального Репина.

А мы смеялись. Смеялись действительно как молодые варвары...

Больше в наш класс эта учительница не приходила.

На смену Раисе Марковне пришел Георгий Георгиевич Пашковский — милый, лысый старичок с седыми пышными усами и черными бровями. Он напоминал статского советника царских времен. Не хватало только «Анны» на шее. Ему сразу же дали кличку «Географ Географович», которую Муха применял, обращаясь непосредственно к Пашковскому. Однако делал он это так искусно, что учитель не замечал подвоха.

Мы с удовольствием слушали увлекательные рассказы Георгия Георгиевича о странах и континентах. Причем, говоря об Австралии, Америке или других странах мира, он приводил отрывки из книг и маршруты путешествий героев Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и других писателей, романами которых мы в это время увлекались.

Тогда телевизоров не было, поэтому красочные описания учителя заменяли нам «Клуб кинопутешествий» по современному ТВ.

#### **Николай Дмитриевич и Тина Андреевна Рудаковы**

Эта удивительная пара преподавала у нас черчение и рисование.

Он — тучный, в очках, со стриженной под ежик головой, едва дотягивался из-за большого живота до доски. Чтобы начертить очередную фигуру в аксонометрии, диметрии и проекцию этой фигуры на плоскости, ему приходилось становиться боком.

Учитывая такую непомерную полноту, его называли в школе «Морж два прима».

Николай Дмитриевич хорошо знал и прекрасно объяснял свой предмет, так что потом, уже будучи в институте, я свободно ориентировался в начертательной геометрии и любых чертежах, которые мне попадались под руку.

Уже будучи инженером на производстве, я легко, безо всякого инструмента, чертил рабочим-ремонтникам карандашом на бумаге или мелком на листе железа какой-либо узел в аксонометрии с разрезами, если доходчивее нужно было объяснить сопряжение деталей. При этом я с благодарностью вспоминаю своего учителя черчения — «Моржа два прима».

Она — его жена — строгая женщина со следами былой красоты на покрытом мелкими морщинами лице — преподавала рисование.

Тина Андреевна продолжала молодиться, старательно пользуясь косметикой. Издали ей можно было дать лет сорок, хотя было ей тогда гораздо больше, в чем легко можно было убедиться, если подойти поближе. Тина Андреевна научила меня сносно рисовать с натуры, правильно смотреть на картины и отличать истинную живопись и искусство от халтуры.

#### **Иван Яковлевич Патолах**

Молодой мужчина лет тридцати-тридцати двух, с красивыми жгучими черными цыганскими глазами и такого же цвета чубом, читал у нас современную историю.

Читал хорошо, и, несмотря на молодость, убедительно подкреплял сказанное примерами из жизни прошлой и современной. Такими я себе представляю комиссаров Гражданской и Великой Отечественной войны — молодых, красивых, убежденных в своей правоте людей. Не одна женщина, очевидно, вздыхала по этому красавцу, а он был серьезен и равнодушен к своим поклонницам.

Иван Яковлевич ушел на фронт в первые же дни Великой Отечественной войны и пал смертью храбрых на полях сражений, защищая Советскую власть, коммунистическую мораль и идеологию, в которую безгранично верил сам и прививал эту веру своим ученикам.

#### **Николай Андреевич Гломозда**

Читал геологию и минералогию.

Он много рассказывал о романтической профессии геолога. Я слушал его иногда с интересом, иногда не особенно внимательно, играя между делом в морской бой с соседом.

Откуда я мог знать в то время, что через полтора десятка лет буду работать бок о бок с горняками и геологами, и мне придется самостоятельно подробно изучать геологию, заниматься ремонтом горного оборудования, а потом и технологией добычи и переработки полезных ископаемых.

Вот уж поистине ирония судьбы! Однако — чего не бывает в жизни?

\* \* \*

Возможно, с годами я забыл и не упомянул кого-то из школьных учителей. В таком случае, пусть простят меня мои милые, хорошие педагоги, как когда-то прощали в школьные годы.

Естественно, какие-то предметы я любил больше: и слушал повнимательнее, и готовил поприлежнее, какие-то — меньше, и на уроках отвлекался. И все же... Если я чего-нибудь да стою и что-то сделал хорошее и полезное в жизни, то в этом по праву и их заслуга — моих учителей и наставников.

Светлая им память, мертвым и живым!

### **7. Верхние ступеньки**

1938-й год был знаменателен для нас тем, что мы стали учениками 8-го класса, то есть перешагнули через ступени неполного среднего образования, взойшли на Олимп и попали в элиту старшеклассников. Теперь не только Коган, но и некоторые другие преподаватели стали к нам обращаться на «вы», и даже казалось странным, если кто-то, кроме Эдуарда Эдуардовича Заулера, говорил нам «ты».

После зимних каникул началась подготовка пионеров к приему в комсомол. Тех пионеров, которые родились в 1923 году, разбили на две группы: первую принимали зимой, а вторую должны были принимать весной — к маю месяцу.

В нашем классе уже были комсомольцы, которых приняли в Союз молодежи в конце 1937 года по достижении 15 лет. Среди них Галя Перглер, Люся Савицкая, Валик Ушаков, Борис Литинский и другие ученики, родившиеся в 1922 году.

Я попал во вторую группу и стал усиленно готовиться. Условия для поступления в комсомол были поставлены следующие:

1. Нужно было хорошо учиться, — и я ликвидировал, правда, с большим трудом, все тройки по предметам.

2. Нужно было активно участвовать в жизни школьного коллектива. За этим тоже дело не стало: я членствовал в редколлегии школьной газеты и занимался почти во всех существовавших тогда при школе кружках.

3. Нужно было знать и хорошо разбираться в международном положении, — и я стал ежедневно читать газеты и изучать все, что творилось в мире, глядя на географическую карту. Теперь я смог бы выступить с докладом на любую политическую тему перед любой аудиторией. Я даже выучил наизусть слова из напечатанных в то время в газете стихов С.Я. Маршака о немецких, японских и итальянских агрессорах:

...кровью распоротой Вены  
Клыки свои волк обагрил...  
...На Дальнем Востоке акула  
Охотой была занята.  
Злодейка акула дерзнула  
Напасть на соседа Кита.  
«Сожру половину Кита-я  
И буду, наверно, сыта я...»

4. Нужно было знать Устав ВЛКСМ, — и я выучил назубок устав комсомола и даже устав ВКП(б), что было, как я потом убедился, явным перебором.

Зимой вступили в комсомол Миша Левин, Люба Баш, Аркадий Найшулер, Женя Гаскин, Юра Ребенко и другие, а весной в конце апреля приняли в Коммунистический союз молодежи и меня.

Не знаю, как и с каким настроением сейчас молодежь вступает в ряды ВЛКСМ, но тогда, для моего поколения, стать членом комсомола было предметом гордости, ответственности и беззаветной преданности делу построения коммунистического общества. Может быть, души наши были слишком чисты и наивны, но девушка или молодой человек с честью и достоинством носили на груди маленький значок — символ своего Союза.

Сейчас, конечно, я не помню, какие вопросы тогда мне задавали, но все было так торжественно и значительно, что когда я сел на место, мне показалось, что я за эти восемь — десять минут отчета перед комитетом комсомола и собранием сделался гораздо старше и серьезнее, чем был до того.

Теперь я становился членом молодежной организации — звеном единой цепи, имя которой ВЛКСМ.

В эти незабываемые минуты мне даже показалось, что я начал понимать Сову и что она стала мне ближе, родней и милее, — наша принципиальная максималистка Люся Савицкая.

Когда же мне выдали в райкоме комсомола комсомольский билет, радости и гордости моей не было предела. Я носил свой билет, как Маяковский паспорт, — «дубликатом бесценного груза».

Став комсомольцем, я уже не мог себе позволить учиться спустя рукава. Наверное, со всеми моими одноклассниками происходило подобного рода перевоплощение, так как в эту пору многие соученики, в том числе и я, начали пользоваться услугами «читалки» городской библиотеки для выписки критических статей и составления конспектов по литературе, истории и другим предметам; проводить дома опыты по физике, химии и астрономии.

Школьная жизнь и внешкольные занятия приобрели целенаправленность. Каждый из нас старался как можно больше прочесть и узнать по изучаемому предмету, чтобы поделиться прочитанным со сверстниками.

Никаких догм и аксиом для нас в этот период не существовало, — все подвергалось анализу и критике, в том числе выводы великих ученых с мировыми именами, живших в нашу и до нашей эры. Все подлежало сомнению... Все, кроме творившихся вокруг нас мракобесия и беззакония, приобретающих изо дня в день все более и более чудовищные размеры...

Как же слепы мы были!

Впрочем, не больше, чем весь народ...

Директор школы, классный руководитель и многие учителя не могли нарадоваться на наш класс. Кто-то из них даже признался, что идет к нам на урок, как на праздник.

...Так незаметно и быстро, в повседневных хлопотах, подошли экзамены.

Борька, Женька и я обычно играли вместе, иногда выполняли вместе домашние задания, но к экзаменам готовились всегда порознь, потому что у каждого был свой метод подготовки.

В этот период у нас возникало даже своеобразное соревнование, похожее скорее на спортивные гонки, чем на углубленное повторение пройденного: кто больше успеет выучить или решить в единицу времени и за день в целом.

Во время экзаменов незаменимым источником информации для учеников становилась так называемая «Школьная аллея».

Этот своеобразный ЦНТИ занимал одну из частей сквера, расположенного посередине главной улицы города и простиравшегося вдоль нее от театра им. Заньковецкой и до площади им. Пушкина.

Школьная аллея по длине ограничивалась двумя поперечными улицами: Тургенева и Леппика.

На Школьной аллее, как и на всем протяжении сквера, были высажены вдоль низенькой чугунной ограды деревья и кустарники, а также расставлены многочисленные скамейки. Днем на них в сквере отдыхали обычно в тени деревьев уставшие пожилые прохожие и старики с малышами. Вечером Школьная аллея наполнялась шумом юных голосов: это приходили поделиться своими дневными впечатлениями и заботами старше школьники.

Остальная часть сквера на всем своем протяжении тоже не пустовала, а лишь меняла действующих лиц. Освободившиеся там скамейки занимали влюбленные парочки и, в отличие от громких юных голосов, разносившихся между улицами Тургенева и Леппика, там царил дух Афродиты: полумрак, шепот, поцелуи и едва-едва уловимые вздохи.

На Школьной аллее каждая школа имела свой участок, и каждый класс, начиная с восьмого, — свою скамейку. Эта «аллея» была владением пяти школ Сталинского района города: 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 8-й. Другие школы на нее не претендовали, а эти пять всегда дружили между собой и соперничали, борясь за первенство в районе.

Когда приходила пора экзаменов, наступало перемирие и абсолютное взаимопонимание между школами и учениками, как в Древней Греции на период Олимпийских игр.

Школьная аллея в это время становилась Олимпией, откуда зажженный факел разносил огонь знаний и новостей по всем школам и классам района. Уходя с нашей «аллеи», мы знали о предстоящих экзаменах все: темы сочинений по русской и украинской литературе и сколько их будет; сколько и каких задач и примеров дадут по математике; количество и содержание устных вопросов по физике, химии, другим предметам, — ведь тогда их не раздавали ученикам, как теперь.

Подготовка к экзаменам у меня проходила по-разному: письменным — дома; устным — частично дома, частично на Днепре, а вечером — итоговый сбор на Школьной аллее; наконец, ночью — снова подготовка. Сон на время подготовки формально отменялся, а фактически мы спали днем на пляже у мостика Педана, а ночью там, где готовились, так как сон все-таки лучшее средство закрепления пройденного материала и отдыха для молодого организма.

...Наконец, экзамены позади.

Впереди — знойное лето, пионерлагерь, купание, катание на лодках, загораение на Днепре... и еще одна ступенька вверх — 9-й класс.

Что день и год грядущий мне готовит?

Вместе со своим товарищем из 8-й школы в это лето я поехал на о. Хортица в пионерский лагерь завода «Запорожсталь».

Мы попали в 1-й отряд, где были ребята и девушки одного возраста с нами и постарше. До этого я не отдыхал никогда в пионерлагерях, поэтому к мероприятию, затеянному родителями друга Дуси (Давида) отнесся со скепсисом. Однако по прошествии нескольких дней пребывание в лагере очень понравилось, и расставаться с новыми знакомыми уже не хотелось.

Пионерский лагерь размещался в сосновом бору на берегу Днепра. В каждом отряде было по два деревянных корпуса: для ребят и для девочек.

Мы с Дусей, да и многие ребята из отряда, хоть и были уже комсомольцами, в лагере носили пионерские галстуки и подчинялись всем правилам пионерии: утром просыпались на линейку и т.д. — целый день по расписанию и сигналам трубы, вплоть до отбоя.

Такой режим нам, великовозрастным «пионерам», показался слишком строгим и утомительным.

Мы долго ломали голову над проблемой: как, не нарушая общего распорядка, выкроить время для развлечений и свободного общения без надзора администрации? И нашли выход!

В конце концов, мы организовали кружок «рыболовов-любителей». Члены кружка имели право вставать на рассвете и идти самостоятельно без вожатого и воспитателя на рыбалку. В

этот кружок записалось одинаковое количество мальчишек и девчонок, чтобы не было обиженных и «третьих лиц». Рыболовы обычно вставали в три часа ночи, прихватывали одеяла, шли к крутому берегу Днепра, раскладывали свои постели на нагретые за день и не успевшие остыть скалы и совместно на свежем воздухе продолжали досматривать сны до пяти-шести часов. Потом начинали ловить рыбу, если хватало времени, чтобы поспеть на утреннюю линейку. По договоренности с руководством лагеря весь наш улов сдавался на кухню.

Не знаю, намного ли убавилось количество рыбы в Днепре от усердия рыболовного кружка, но наши «рыболовы» и «золотые рыбки» совместными занятиями в кружке остались очень довольны.

Весело, в играх и рыболовных увлечениях, промчалось лето. Погасли пионерские костры, спустились флаги на мачтах. Наступила пора расставания.

Эпизод, когда на открытых машинах ЗИС-5 нас везли из пионерского лагеря по мосту через Днепр в город, был заснят на киноленту и тут же нами забыт, потому что всех заботила одна печаль — предстоящая разлука с новыми друзьями-однокашниками...

В конце августа ко мне домой пришли ребята из класса с сообщением, что вечером необходимо явиться нарядно одетым в актовом зале школы на бал, посвященный началу учебного года, и что этот бал будут снимать киношники.

Когда я пришел в указанное время в школу, в актовом зале уже полно было нарядно одетых учеников. Вся сцена была занята юпитерами. Их яркий свет слепил глаза. У стены со стороны входа тоже стояли юпитеры и киноустановка, около которой сустились режиссер, кинооператор и их помощники. Преодолевая шум, они посредством рупора обращались к присутствовавшим, объясняя, как себя вести, когда играть оркестру, в какую сторону двигаться танцующим парам, в какую — наблюдающим, что танцевать и т.д.

Прошло какое-то время, я был в кино с Кавочкой Найшулером. Перед началом фильма демонстрировался киножурнал под названием «Запорожцы», в котором я, к своему удивлению, увидел эпизод возвращения пионеров на ЗИС-5 из летнего лагеря. Среди пассажиров я узнал своих новых товарищей по рыбалке и пионерлагерю завода «Запорожсталь». Потом показали бал в школе перед началом учебного года. В медленном вальсе кружились пары. Под конец, от общей группы танцующих отделилась одна пара, в которой нетрудно было узнать ученицу 10-го класса Ольгу Нафталину — красивую девушку, с не менее интересным юношей — Жорой Дмитриченко из 6-й школы, с которым она встречалась. Взявшись за руки, они вышли на балкон, с которого смотрели на засыпающий город. Вдали, в ночной темноте, перед их взором зажигались сначала по одному в окнах, а потом ярким созвездием, как тысячи солнц, огни Днепрогэса. Так заканчивался этот документальный фильм, в котором возвращение пионеров из лагеря и школьный бал были лишь эпизодами.

Себя в этих двух эпизодах, несмотря на то, что был их активным участником, я так и не разглядел, как ни старался. Очевидно, меня из-за плохой фотогеничности вырезали. Зато вклеили «Огни Днепрогэса», которые, конечно же, украсили фильм, но которых никак нельзя было увидеть с балкона нашей школы.

Однако чего нельзя сделать в жизни, то можно осуществить в кино. Ведь недаром когда-то оно называлось «иллюзион»!

## **8. В воздухе пахнет грозой**

В последних числах сентября 1938 года в Мюнхене состоялось совещание руководителей английского и французского правительств (Чемберлена и Даладье) с Гитлером и Муссолини. На этом сговоре была решена судьба Чехословакии. Две самые мощные западные капиталистические державы преследовали одну цель: толкнуть Германию на войну против СССР любой ценой, даже за счет продажи Австрии, Чехословакии и других государств.

В марте 1939 г., после полной оккупации Чехословакии фашистской Германией, обстановка в мире еще больше обострилась. Весь советский народ, чувствуя создавшуюся напряженность, начал готовиться к защите своей Родины от посягательств коварного врага. Повсюду проводились собрания и митинги, на которых разъяснялось, что необходимо делать. На комсомольском собрании в школе было принято следующее решение:

1. Разъяснять международную обстановку во всех звеньях пионерской и комсомольской организаций, довести ее до сознания и понимания каждого учащегося.

2. Юношей и девушек привлечь к активной сдаче норм на значки БГТО и «Ворошиловский стрелок».

В нашем классе по этому решению лекцию о международном положении читал ставший к тому времени комсоргом школы Михаил Левин.

Мне хорошо запомнилась эта лекция.

Мишка приводил примеры промышленного потенциала СССР, Англии, Франции и Чехословакии по сравнению с фашистским «треугольником» — Германией, Италией и Японией. Цифры убедительно показывали, что, если бы правительства Чемберлена и Даладье не пошли на сговор с Гитлером и не предали Чехословакию, то союз демократических государств вместе с СССР не допустил бы распространения фашизма в Европе.

Помнится, как горячо выступали комсомольцы на этом собрании. Мы свято верили, что рабочий класс Германии и поработанных ею стран, в конце концов, поднимется против фашизма.

Я активно включился в выполнение решения комсомольского собрания. В международном положении я разбирался хорошо, потому что ежедневно следил за газетами, не упуская ни одного сообщения ни в печати, ни по радио. По этой причине я с охотой принял поручение комитета комсомола и выступил с лекцией перед пионерами 5-х классов.

Нормы на значок БГТО я сдавал без особых трудностей, так как спортом увлекался, как и все наши ребята. Труднее было со сдачей на значок «Ворошиловский стрелок». У меня в этом был явный пробел: я не знал ни одного стрелкового оружия, ни техники стрельбы. Мои познания в данном вопросе ограничивались рогаткой и самопалом. Под чутким руководством бывалого старшины в отставке, школьного военрука Яремчука я начал усиленно изучать винтовку, пистолет и ходить в тир на тренировки. Стрельба по мишеням понравилась, я зачастил в тир, тем более что они находились недалеко: в Машиностроительном институте — закрытый, и на стадионе «Динамо» (на том месте, где сейчас выстроены новые корпуса Пединститута) — открытый.

Несколько наших ребят, в том числе Шурка «Ус» и Шурка «Безус» (Мозенсон и Григорович), записались и стали посещать аэроклуб, поддерживая лозунг «Стране нужно энное количество летчиков».

В 1939 году уже все мои ровесники получили паспорта. И я доставал из «широких штанин» документ, удостоверяющий, что я — Гражданин Советского Союза.

Кроме того, как и всех девятиклассников, меня взяли на учет в военкомат. Я был особенно горд, когда мне сказали, что я записан в Морфлот подводником. Таких счастливых среди наших двух 9-х классов было всего три или четыре человека. Я еще чаще начал посещать спортплощадки и тир, совершенствовать свое мастерство в гимнастике и стрельбе. Выбывал до 42 — 43-х очков из 50, за что заслужил похвалу от Яремчука.

В тревожной предгрозовой международной обстановке протекали наши последние годы учебы в школе. Эта обстановка в известной степени помогала сплотить нас в единый прочный коллектив. Чувство локтя, которое возникло в те годы в школе, до сих пор не покидает меня и моих одноклассников. Свидетельство тому — наши постоянные, чередующиеся каждые пять лет сборы, на которые слетаются по первому зову в г. Запорожье все разбросанные по многим городам Советского Союза мои бывшие соученики.

Само собой разумеется, что мы — шестнадцатилетние юноши и девушки — не могли быть постоянно в напряжении, в состоянии мобилизационной готовности. Несмотря ни на что, мы были молоды. Мы напоминали еще не перебродившее вино. Кровь бурлила в наших жилах от избытка энергии. Даже в армии после команды «смирно» через некоторое время звучит «вольно»; в спорте после каждого силового упражнения спортсмен расслабляется. Таким образом, нам, молодым, тем более требовались разрядки. Они наступали, правда, не всегда проходили благополучно, заканчивались иногда даже плачевно. Но это нас не смущало и не останавливало. О некоторых из таких «разрядок» я постараюсь рассказать в свое время, а пока пойдем дальше.

\* \* \*

В апреле 1939 года некогда большая и сравнительно благополучная семья Гаскиных, от которой осталось три человека — отец, мать и Женя, — переехала на новое место в дом-коттедж, расположенный на углу улиц Горького и Франко. В этом домике они заняли три комнаты и небольшой дворик. Помогали Гаскиным переезжать Борька и я, как старые друзья, Мишка Орлов и Вовка Педан на правах новых друзей и теперь недалеких соседей. Мы помогли погрузить вещи на подводы, разгрузить и расставить их на новом месте. По окончании работы Женины родители расплатились с извозчиками, усадили нас за стол, и мы тихо справили новоселье, а также помянули дедушку с бабушкой, к которым я был очень привязан.

На душе было скверно. Казалось, что стариков мы оставили там — на старой квартире, среди тех стен, и не взяли с собой.

Родители, Женя, Боря и я молча сидели и думали, очевидно, об одном и том же. Мы как будто потеряли что-то всем нам очень дорогое и близкое. Это что-то был старый хороший дом на тихой улице Свердлова, в котором каждый уголок был до боли знаком и напоминал о счастливо прожитом и, увы, безвозвратно ушедшем детстве...

Недолго прожил на новой квартире доктор Гаскин. Вскоре он внезапно скончался от инфаркта. Наш товарищ остался один с матерью. Это громадное горе сразу сделало Женю намного старше и серьезнее, оно повысило его ответственность за дом, семью и мать. Он, теперь единственный мужчина в доме, стал для матери не только сыном, но и самым близким человеком и другом.

\* \* \*

Наступила пора экзаменов, и все печали и заботы отодвинулись в сторону. Начались лихорадочная подготовка и вечерние «моционалы» на Школьную аллею. Теперь Женя приходил туда вместе с Мишей Орловым и Вовой Педаном, и готовились к экзаменам они вместе. А мы с Борисом, как и прежде, только гуляли и приходили на аллею вместе, а готовились по-рознь...

По окончании экзаменов на последние летние каникулы почти никто не уезжал из города. Все предпочли остаться дома, чтобы быть вместе. Это лето было особенно веселым.

Захватив девчонок из класса, мы на лодках переезжали на Школьный пляж, где играли в ловитки, купались, катались и прыгали с мостика Педана. А то ложились вместе на песок и зачитывались популярными в то время книгами украинского писателя Юрия Смолича «Дуже добре» и «Десятиклассники». В героях этих двух романов мы узнавали себя, поэтому читать сообща было особенно интересно. В наших вылазках на Днепр даже Люся Савицкая иногда принимала деятельное участие.

В это лето мы расставались только на время сна для того, чтобы завтра утром встретиться вновь. Нас неудержимо влекло друг к другу. Влекла молодость, свобода, равенство и братство.

Может быть, это было еще и потому, что многим из сверстников предстояло на следующее лето надеть солдатские гимнастерки, сапоги и пилотки, и с винтовками за плечами шагать с песней «По долинам и по взгорьям» в поту и пыли по суворовскому принципу — «Тяжело в ученье, легко в бою».

Возможно, что это было одной из причин, по которой хотелось все успеть в это беспокойное лето.

\* \* \*

1 сентября 1939 года нарядные, радостные, возбужденные и веселые, с букетами цветов школьники заполнили еще пахнущие краской и ждущие с нетерпением своих хозяев классы. Покровительственными и немного завистливыми взглядами мы провожали идущих на свой первый урок, прижимающихся, как цыплята к клуше, к своей учительнице первоклашек. У них впереди было еще целых 10 лет, а нам остался всего лишь один учебный год — последняя школьная ступенька.

Этот праздничный день, так хорошо начавшийся, омрачился сообщением: немецко-фашистские войска вторглись в Польшу.

Началась Вторая мировая война.

Под ударом гитлеровских головорезов буржуазно-помещичье польское государство в течение двух недель фактически развалилось.

Для спасения от захвата немецкими войсками западных областей Украины и Белоруссии 17 сентября 1939 года части Советской Армии перешли западную границу. Начался освободительный поход советских вооруженных сил, в результате которого области, захваченные польскими панями в 1920 г., воссоединились с Украинской и Белорусской ССР.

На другой день, 18 сентября, мы вынесли во двор парты и составили их, только недавно отремонтированные и выкрашенные; снесли в один кабинет географические карты, глобусы, химреактивы, колбы, модели, оборудование и другие наглядные пособия и законсервировали их на неизвестный срок. Наша школа освобождалась под госпиталь, а мы переходили учиться в другое здание — в школу имени Пушкина.

Эта просторная, сравнительно недавно выстроенная школа располагалась примерно в том месте, где сейчас стоит здание редакции газеты «Индустриальное Запорожье». Перед школой

была большая площадь. В настоящее время трамвайная и троллейбусная остановки в этом районе так и называются — «Площадь Пушкина». Раньше, перед войной, весь город пересекала только трамвайная линия, и остановка на противоположном от школы конце площади называлась «Школа им. Пушкина».

Мне, чтобы добраться до школы им. Пушкина, нужно было идти пешком вниз по улице Анголенко до улицы Горького четыре квартала, потом ехать на трамвае еще не менее шести остановок. Таким образом, дорога в школу занимала, как минимум, тридцать пять — сорок минут, столько же или чуть больше — обратно. Зато сколько можно было интересного увидеть по пути, услышать и вдоволь наговориться с сидящими по дороге товарищами, а иной раз прокатиться на подножке, просто так — для форса.

Мы — старшеклассники — учились во второй смене: приходили из школы в шесть — семь часов вечера, когда уже темнело (ведь был октябрь на дворе). Я приходил домой обычно к 8 или в начале девятого. Домашние задания в такое время делать, конечно, уже не хотелось. Зато Женьке Гаскину теперь до школы им. Пушкина было рукой подать: преодолеть полквартала пешком и всего одну остановку на трамвае.

\* \* \*

Как-то вечером, выйдя гурьбой из школы, мы оккупировали две подножки прицепного вагона трамвая. Рядом, на задней площадке переднего вагона, ехал милиционер. Стараясь друг перед другом показать свою удаль, ребята не в меру расшалились и не обращали внимания на милиционера, который грозил им с передней площадки и жестом показывал, чтобы все пошли в вагон. Наоборот, кто-то даже попытался передразнивать блюстителя порядка. Так мы, резвясь, ехали дальше, по одному, по двое покидая вагон. Подошла моя очередь. Не доезжая до остановки Анголенко, я соскочил с подножки на ходу трамвая. Обнаружив развязавшийся на ботинке шнурок, я нагнулся и стал его завязывать. Потом подобрал портфель и выпрямился... О ужас! Передо мной стоял ехавший с нами в соседнем вагоне милиционер. Он терпеливо дождался, пока я окончил свою работу, потом козырнул с ехидной улыбкой, подал мой читательский билет городской библиотеки, возможно, выпавший из кармана, когда я занимался ботинком. Я машинально поблагодарил его: «Спасибо...», а он взял меня чуть повыше локтя, и, испытывая полное удовлетворение от моей растерянности, сказал:

— Ну, завязал? А теперь пошли в участок.

Милицейский участок находился недалеко: на повороте с улицы Горького на Октябрьскую.

Я плелся туда рядом с торжественно шагавшим блюстителем порядка, моля Бога, чтобы не встретить никого из знакомых, чертыхаясь и проклиная свой развязавшийся шнурок и глупую затею с катанием на подножке трамвая.

Оказалось, что милиционер, задержавший меня, только прибыл на дежурство. Времени у него было более чем достаточно. Приняв у своего коллеги смену, он запер дверь и решил основательно мною заняться, так как других дел, по всей видимости, в этот вечер не было. Мент разложил перед собою лист бумаги, разгладил, медленно окунул ручку в чернильницу, и, почесав затылок, вывел: «Протокол». После этого начал по всем правилам вести допрос:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Домашний адрес? Место работы или учебы?

По дороге в участок, когда я спросил у милиционера фамилию, чтобы иметь возможность на него пожаловаться за незаконное задержание, он ответил:

— Пушкин.

Посчитав такой ответ за подначку, я в отместку на вопрос для протокола сообщил следующие данные:

— Лермонтов Михаил Юрьевич, 1923-й, улица Гоголя, учусь в школе Вашего имени...

Мой визави тщательно записал показания, дописал еще что-то, промокнул и протянул мне бумагу:

— Теперь, уважаемый Михаил Юрьевич, подпишитесь вот здесь.

В протоколе, который мне подсунил блюститель порядка, я прочел свои подлинные имя, фамилию и отчество. Остальные данные были записаны с моих слов. Я забыл о своем читательском билете, побывавшем в руках у милиционера, поэтому мои данные в протоколе в первое мгновение меня ошарашили. Потом я смекнул, что мой визави записал правильно, допустив лишь одну ошибку в фамилии, только то, что запомнил из читательского билета.

Дальше в протоколе, после анкетных данных, было написано черт те что. Больше всего меня возмутило, что этот флегматичный верзила лет двадцати пять, на две головы выше меня



ростом, написал, будто я при задержании дважды ударил его кулаком в грудь. Прочитав, я отложил в сторону бумагу и сказал:

— Во-первых, я такое не подпишу — мало фантазии. Во-вторых, в эту версию никто не поверит.

Он опять ехидно улыбнулся:

— Попробуй, докажи, что это было не так. Ничего, посидишь здесь, все подпишешь.

Я начал беситься, выходить из себя от бессилия, а он спокойно покуривал, развалившись в кресле у стола за барьером.

Время было уже позднее, часов десять вечера. Родители меня, конечно, давно ждали из школы, и, наверное, разыскивали по телефону у товарищей. А я сидел здесь, в участке, не так уж далеко от дома, и не знал, когда этот тип соизволит меня отпустить. Сдерживаясь насколько возможно, я попросил разрешения позвонить домой, чтобы сообщить родителям свои координаты и успокоить их. Но блюститель порядка, дабы окончательно вывести меня из равновесия и тем самым добить, положил руку на аппарат и изрек:

— Не положено!

Во мне все кипело и бушевало. Я ненавидел этого Пушкина в милицейской форме всеми фибрами души. С языка готовы были сорваться какие угодно оскорбления в его адрес.

В то же время я понимал, что он меня бесконечно держать не будет, что надо как-то с ним поладить, и что суета и нервозность — плохие советчики в таком деле.

Подумав так, я, прежде всего, постарался успокоиться. Потом, немного поразмыслив, пришел к выводу, что, поскольку в протоколе неверно записаны мои координаты, милиционер меня не разыщет и в школу не сообщит. Кроме того, если даже найдут и вызовут, то в протокольные записи, особенно в то, что я чуть ли не избил верзилу-милиционера, никто не поверил. Сопоставление меня с моим Пушкиным могло вызвать только смех.

Так, рассуждая про себя, я окончательно успокоился и без эмоций спросил своего учителя:

— Если я подпишу протокол, вы меня отпустите домой?

Видно, ему тоже надоело со мной возиться, и он согласно кивнул головой. На ходиках, висевших на стене, стрелки показывали 22 ч. 45 минут. Я постарался как можно спокойнее и безразличнее произнести: «Давайте протокол», подмахнул его и через открытую милиционером дверь вылетел на свободу. Вслед неслись его предостерегающие слова:

— Больше мне не попадайся, Лермонтов!

Тут наши интересы совпадали: я тоже не хотел больше попадать в лапы милиции.

На этом инцидент был исчерпан. В школу никто на меня докладную не написал и в милицию по данному вопросу не вызывал. Очевидно, Пушкин тут же порвал свой нелепый протокол и забыл о нем, как только выпроводил меня за дверь.

Этот тип на всю жизнь отбил у меня охоту пререкаться с милицией, цепляться и ездить на подножке трамвая. Это было тем легче осуществить, что вскоре мы вернулись в здание своей родной школы, и для меня отпала необходимость ежедневно пользоваться транспортом.

Я стал нормальным пешеходом.

В ноябре 1939 года началась война с Финляндией. В боях с белофиннами приняли участие наши старшие товарищи из второго и третьего выпусков 4-й школы, служившие в это время в рядах РККА. От них в адрес школы приходили письма с фронта, которые нам зачитывала директор Любовь Марковна. Письма были полны патриотизма и веры в скорую победу над белофиннами.

В печати сообщалось, что Англия и Франция спровоцировали эту войну и сами лихорадочно готовятся к нападению на СССР. Удар британских и французских вооруженных сил планировался с севера и с юга — со стороны Турции, Сирии и Ирака.

Несмотря на обещания западных держав поддержать белофиннов, советско-финская война закончилась в марте 1940 г. поражением Финляндии. В результате был заключен мирный договор, обеспечивший безопасность наших северо-западных границ и особенно Ленинграда.

В этой недолгой, но тяжелой войне из тех, кого я знал, погибли мой двоюродный брат — Изя Локшин — под Выборгом и сосед по дому Дмитрий Тарасенко. Контуженным и глухим вернулся с финского фронта бывший ученик 3-го выпуска нашей школы — Борис Фукс, так и оставшийся на всю жизнь инвалидом.

Наступил декабрь.

Зима в этот год была суровой, морозной. Приближался Новый год и конец 2-й четверти. Участились вызовы к доске и контрольные работы по математике и обоим литературам.

В этот день я готовился к контрольной по стереометрии особенно тщательно, потому что была она последней. Несколько задач из пройденного материала у меня не сошлись с ответом, а до контрольной оставалось всего полдня. Зная, что у Женьки Гаскина готовятся Мишка Орлов, Вовка Педан и великий математик Абрамчик Мордухович, я по телефону предупредил их, что приеду.

Так как Женькин дом находился на квартал дальше от трамвайной остановки Грязнова, то едущие к нему пацаны с целью экономии времени предпочитали прыгать на ходу с трамвая на перекрестке улицы Горького и Франко. Угроза попасть под автотранспорт исключалась, так как автомобиль до войны был редкостью. Поэтому надо было соблюдать основное правило безопасности: прыгать с задней площадки прицепного вагона и в направлении движения трамвая. Помня это «золотое правило», я сел в прицепной вагон, выбрал удобный момент, когда трамвай не набрал еще полной скорости, сошел на заднюю подножку и... прыгнул.

К моему несчастью, «идеальная» площадка, которую я выбрал для приземления, меня крепко подвела: под ровным покровом снега оказался лед. Как и следовало ожидать, я поскользнулся, упал на заднее место и локоть и в таком полулежачем положении проехал несколько метров, пока сила трения скольжения тела по льду не уравновесилась с силой инерции моей массы, помноженной на ускорение, сообщенное трамваем.

Результат приземления, а точнее, приледнения, оказался плачевным: с разбитым локтем и лопнувшими по шву штанами, кое-как отряхнувшись, подсобрав разлетевшиеся в разные стороны портфель и шапку, припадая то на одну, то на другую ногу, я поплелся к Гаскиным. Там надо мной, конечно, изрядно посмеялись, но брюки зашили, а локоть смазали йодом и наложили пластырь.

В тот день я еле досидел до контрольной, решил задачи, сдал работу и отправился домой, так как, кроме локтя, очень болело заднее место, а сидеть на нем предстояло еще четыре урока. Эту пытку я все равно бы не выдержал.

Так я отучился не только цепляться, но и прыгать на ходу с подножек трамваев.

## 9. Заключительный аккорд

Вот и кончились первые две четверти десятого класса. Наступили зимние каникулы.

Можно было съездить в Москву к сестре и двоюродному брату или в другой какой-нибудь город поближе, чтобы не было слишком дорого, а заодно проветрить мозги для последнего удара на фронте учебы. Но, как я уже заметил выше, не хотелось расставаться со школьными друзьями, даже на зимние каникулы длиной всего в десять дней.

Мы решили проводить их вместе, хоть в это время была эпидемия гриппа, и школьный врач Фаня Владимировна Островская нас без конца предупреждала, чтобы «в кучки больше одного человека не собирались».

И все же сначала отдельными группами, а потом, соединившись в большой коллектив, состоявший в основном из ребят и девушек нашего класса и частично 9-А, мы начали совместно проводить что-то наподобие вечеров самодеятельности. Собирались каждый вечер то у одного, то у другого участника на квартире. А то в каком-нибудь из классов школы, который любезно предоставляла в наше распоряжение тетя Маруся под честное комсомольское слово, что мы не будем сорить и перед уходом расставим по местам парты.

Гвоздем каждой вечерней программы были танцы под патефон. А королем танцев был, безусловно, Муська Колтунов. Он закончил курсы бальных танцев, организованные при школе, поэтому и элегантно осанкой, и своими хитроумными па выделялся среди остальных ребят. Девочки были счастливы, если он брал их в партнерши, с удовольствием танцевали с Муськой. Однако он всем им предпочитал Женю Абрамович.

Неплохо танцевали также Борька Литинский и Гришка Майзлин, отдававший танцу столько энергии, что ему приходилось без конца прикладывать платок к мокрым от пота щекам, лбу и вискам. Но эти двое, Борька и Гришка, были не «королями», а только «приближенными ко двору», в ранге «министров», танцорами.

Не могу без улыбки вспомнить, как Борька Литинский являлся на эти вечера с маленькой сапожной щеткой и бархоткой в кармане. Каждый раз, перед тем, как пригласить даму на

очередной танец, он тщательно драил до блеска свои залатанные ботинки. Очевидно, своим партнершам по танцам он хотел пустить не пыль, а блеск в глаза. И все же смешно было глядеть, как наш «денди» в перерывах между танцами, когда переворачивали пластинки или заводили патефон, исчезал, чтобы использовать время для чистки обуви. Чистка была его хобби.

Когда играли танго «Утомленное солнце», «В парке Чаир» или фокстроты «Сумерки», «Рио-рита» — танцевали все без исключения, но когда звучали вальс «Челита» или вальс-бостон «Ваша записка» или «Ветер», инициатива переходила к этим вышеупомянутым лидерам и их счастливым дамам.

Остальные в это время тихо беседовали и слушали запомнившиеся навек незатейливые слова и мелодии в исполнении Утесова, Шульженко, Козина, Рождественской, Виноградова и т.д.

Если собирались на чьей-нибудь квартире, то, кроме танцев, затевали песни, игру в лото, фанты, названия городов, карты и даже крутили «бутылочку», что по меркам того времени считалось несколько «аморальной» игрой, хотя дальше невинных поцелуев у нас никогда не заходило. В азартные игры играть мы себе не позволяли.

Для игры в бутылочку рассаживались в кружок, как «знатоки» во время игры «Что? Где? Когда?». Крутили бутылочку в центре круга так же, как знатоки рулетку, с той только разницей, что у нас была не стрелка, а горлышко бутылки, указывавшее на человека, которому предстояло поцеловать того, на кого указало донышко. Чтобы пара, которую объединила бутылочка, не стеснялась окружающих, она удалялась на минуту в соседнюю комнату, где производился ритуал поцелуя. При нежелании целоваться в виде компенсации можно было исполнить каждому в отдельности или совместно какой-нибудь стишок, песенку или танец, но обязательно веселого, юмористического характера. Однако случаи отказа от поцелуя были весьма редким явлением: ведь в то время молодежь не целовалась, как теперь, на каждом шагу по поводу и без повода, наедине и прилюдно. Поэтому представившийся случай поцеловаться с девушкой старались не упускать.

Через минуту соединенная на время бутылочкой пара выходила из отдельной комнаты, раскрасневшаяся, как уличенные в первой краже преступники. И все же после нескольких глубоких вздохов эти двое снова садились в кружок, чтобы продолжать понравившуюся «волнительную» игру.

Нам было весело вместе и грустно порознь, поэтому мы днем стайками ходили на каток или в кино. Иногда посещали спортивные залы Дома физкультуры или Машиностроительного института в качестве участников или болельщиков на проходивших там соревнованиях между школами города по разным видам спорта.

Это было днем, а вечером мы снова собирались у кого-нибудь и снова, снова и снова танцевали, пели, целовались и играли.

Так, с томительной грустью, мы провожали каждый уходящий день каникул. Но всему есть начало и конец: кончились каникулы, и началась 3-я четверть учебного года. Мы снова втянулись в серьезную учебу. Остались позади наши совместно проведенные вечера и веселые зимние десять дней отдыха. Надо было бороться за лучшую успеваемость. Теперь каждая оценка влияла на аттестат.

В общем, оценки, которые выставляет преподаватель в журнал и дневник учащегося, лишь относительно отражают действительные знания даже патентованных отличников.

Разве можно сравнить, например, ответ на один и тот же вопрос по литературе Гали Перглер и Люси Савицкой? Общим учителем ставил «пять». Но после Гали Люсин ответ выглядел весьма бледно. Люся на Галином фоне заслуживала «четыре», а Галя на Люсином не менее «шести». То же самое можно сказать, сравнивая ответы по математике Миши Левина и Миши Орлова, или по физике — Кавочки Найшулера и Нюсика Гальперина.

Учитывая сказанное, обычному ученику, чтобы получить «отлично», нужно было знать все и даже еще больше, чтобы исповедь его не выглядела у доски бледной тенью на ярком фоне предыдущего оратора, тем более отличника. Отсюда становится ясным, почему я сразу после каникул (да и не только я) втянулся с головой в учебу.

Чем дальше, тем все меньше и меньше становилось у нас свободного времени. Каждая минута была на счету. Поэтому странным и подозрительным показалось объявление, вывешенное в такую горячую пору, о комсомольском собрании, назначенном на конец февраля, с повесткой: «О поведении некоторых комсомольцев во время зимних каникул».

Собрание проводилось в актовом зале. За столом президиума, кроме комсорга школы Миши Левина и его заместителя, — члены комитета комсомола, директор школы Любовь Марковна,

старшая пионервожатая Рита и комсорг воинской части, которая шефствовала в то время над нами.

Миша открыл собрание, и первое слово предоставил пионервожатой Рите. Та встала и тоном государственного обвинителя или прокурора начала обвинять в аморальном поведении комсомольцев нашего класса и 9-А, принимавших участие в совместно проводимых оргиях. Обвинила в том, что мы или не понимаем, или недостаточно понимаем международную обстановку и подаем плохой пример остальным комсомольцам и пионерам, разлагаем коллектив. Вслед за пионервожатой попросил слова комсорг воинской части и тоже начал обвинять нас в содеянном, повторив почти слово в слово то, что сказала Рита.

Возмущало то, что эти оба, с позволения сказать, «государственных обвинителя» и «борника нравственности» ни разу не были и близко на наших, как они выразились, сборищах, ничего не видели сами, а действовали с чужой подачи. Свои выступления они построили на домыслах «Совы», которая тоже ни на одном из вечеров не была и, очевидно, просто обиделась, что ее не пригласили.

Особенно тяжкие обвинения легли на плечи Мишки Левина, который «вместо того, чтобы запретить эти кутежи, принимал в них самое активное участие».

Мы долго терпели беспочвенно лившуюся на нас грязь. Наконец, Мишка не выдержал, вскочил и с возмущением и горечью заявил, выходя из-за стола президиума:

— Хватит говорить о том, чего не видели и не знаете! Если вы не верите нам — комсомольцам, и не доверяете мне — комсоргу, а поверили каким-то сплетням и домыслам, то я вынужден сложить свои полномочия и передать дела своему заместителю по комсомольской работе!

Заместителем комсорга школы был отличный парень из 10-Б — Дудик Заец. Услышав Мишкины последние слова, он поднялся во всю свою длину и с расстановкой и чувством досады проговорил:

— Пора прекратить эти пустые, непроверенные и необоснованные обвинения! Это первое. Второе: я не могу и не буду принимать никаких дел! Я знаю и верю тем комсомольцам, которых здесь пытаются очернить.

Эти два душевных порыва послужили сигналом для остальных комсомольцев. Начали выступать учащиеся 9-х и 10-х классов, принимавшие и не принимавшие участие в зимних вечерах. Добровольных защитников появилось с избытком.

Почти все были уверены, что это собрание — затея Люси Савицкой, но никто не упоминал ее имени, а только возмущались оскорбительному тону и некомпетентности обвинителей. Но еще больше возмутило молодежь мнение горе-воспитателей, что комсомольцы не имеют права на развлечения: только учеба и общественные нагрузки должны занимать мысли истинных членов Ленинского союза молодежи.

Любовь Марковна на протяжении всего собрания молчала. Она, безусловно, поняла, что все предъявленные обвинения ничем не обоснованы, что это «дело» выеденного яйца не стоит, и что гнев возмущенных комсомольцев вот-вот обрушится на ее голову. Поэтому, как опытный стратег и член партии с солидным стажем, она постаралась прекратить прения и выступить с заключительным словом.

Из ее витиеватой речи мы поняли: она была неверно проинформирована, иначе не допустила бы проводить собрание в такую горячую пору. Тем не менее, она считает танцульки и тем более игры в бутылочку безнравственными и недостойными занятиями для комсомольцев в такое напряженное для страны время. Любовь Марковна выразила уверенность, что благодаря собранию все сделали для себя определенные выводы.

Сова кусала губы от досады, что все так мирно обошлось. Это собрание для многих комсомольцев послужило причиной для того, чтобы не просто бойкотировать, а не замечать, игнорировать Сову, как будто она перестала существовать.

Для Совы затеянное ею комсомольское собрание-судилище тоже не прошло бесследно. Но об этом я уже писал выше.

\* \* \*

Там, где до войны проживала семья Найшулеров, в районе кинотеатра «Комсомолец» и памятника героям-чекистам, в доме, выходящем фасадом на главную улицу, жил еще один из моих соучеников — Фридрих Шафран. Его отец был глазным врачом, мать тоже медицинским работником. Еще в этой семье была очень славенькая девочка — младшая сестричка Фридриха Юлечка, ровесница братишки Аркадия Найшулера. Фридрих учился в нашем классе с

перерывами в пару лет. Он с родителями уезжал в Днепропетровск. Потом снова вернулся в Запорожье и школу заканчивал вместе со мной.

У Шафранов была хорошая просторная квартира, никаких соседей, с отдельной комнатой для сына.

Эта квартира, обладавшая такими преимуществами, во время наших зимних каникулярных сборов, конечно же, не оставалась без внимания. Мы неоднократно собирались там у гостеприимных хозяев, зная, что нас всегда ждет радушный прием.

Так уже получилось, что квартира Шафранов стала центром нашей подготовки к экзаменам в старших классах. Но особенно она утвердилась в этом предназначении в период подготовки к выпускным экзаменам для ребят и девушек, живших в районе Большого базара.

Вообще у нас было несколько известных мне центров подготовки, где собирались определенные группы ребят; это квартиры Фридриха Шафрана, Жени Гаскина, Любочки Баш, Валика Ушакова и Галочки Ермак. Были в нашем классе и одиночки, но всех нас в любом случае объединял, направлял и корректировал один и тот же штаб — Школьная аллея.

Насколько это точно, спорить не буду, но мне помнится, что в 10-м классе нам предстояло сдавать не менее двенадцати экзаменов: по русскому языку и литературе — два (письменный и устный); по украинскому языку и литературе — два (письменный и устный); по математике — четыре (два письменных и два устных), и еще четыре устных — по физике, химии, иностранному языку и истории.

У Шафранов дни экзаменов и подготовки к ним были в прямом и переносном смысле днями открытых дверей: в любое время суток можно было войти в квартиру и в комнате Фридриха застать за столом или у подоконника кого-нибудь из одноклассников с учебником в руках, бубнящего себе под нос предмет, который предстояло сдавать, или строчащего очередную шпаргалку. Эта картина никого не смущала, даже если сам хозяин отсутствовал.

Устные предметы я обычно готовил дома, письменные (сочинения и математику) предварительно дома, а окончательно в «центре групповой подготовки». Вечером, после небольшого отдыха, я шел на Школьную аллею, куда обычно к 8 часам собирались многие школьники для уточнения тем сочинений, хода сдачи устных экзаменов, вопросов, ответов и других подробностей:

— Кто из учителей к чему придирается?

— У кого можно пользоваться шпаргалкой?

— Кто присутствует в качестве ассистента на каком предмете и кто из них в трудную минуту может выручить?

После таких вечерних оперативок мы расходились каждый в свой «центр подготовки» и там уже решали не получившиеся днем задачи, писали шпаргалки или учили и выясняли непонятные вопросы. Это было замечательное коллективное творчество. Жаль только, что к тому времени уже была отменена бригадная форма сдачи экзаменов. При нашем методе подготовки она бы себя оправдала вполне, так как мы шли на экзамены примерно с одинаковыми знаниями, и с целью экономии времени учителям можно было спрашивать любого из нас, а оценку выставлять всем сразу — по ответу одного.

\* \* \*

Отчетливо помню, как я готовил шпаргалки перед сочинением по русской литературе.

На Школьной аллее нам сообщили названия четырех тем, поэтому мы готовили шпаргалки на все четыре — вдруг какая-то из них попадется. Мне особенно понравилась одна из них: «Образ В.И. Ленина в творчестве В. Маяковского». Ее я готовил тщательнее других.

По русской литературе я мог бы написать сочинение (и это без хвастовства) на любую из названных на «аллее» тем без особой подготовки. Но все же добросовестно готовил у Фридриха почти всю ночь напролет гармошки-шпаргалки, так как боялся, что допущу грамматические ошибки.

Все шло нормально до трех часов ночи. Потом раскрыли окна, проветрили комнату, выпили кофе и снова сели за работу. И все равно, несмотря на твердое решение сидеть до рассвета, каждый украдкой или вслух позевывал, потому что, как назло, хотелось невероятно спать. Даже принятый «допинг» и благие намерения не помогали.

Кое-как дотянув до четырех утра, когда едва забрезжил рассвет, мы пристроились кто где смог и уснули сном праведников, как спартанцы перед грядущей битвой. Наше сонное царство нарушила мама Фридриха, обеспокоенная абсолютной тишиной, установившейся в обычно

шумной комнате. С трудом растормошив и накормив голодных, невыспавшихся «деток», она выпроводила нас со словами «ни пуха, ни пера» на экзамены.

Наша милая Школьная аллея не подвела и в этот раз: сочинения были на темы, названия которых совпали с агентурными данными, полученными накануне. Я с удовольствием писал «Образ В.И. Ленина в творчестве В. Маяковского». Начиналось сочинение строками из стихотворения «Владимир Ильич», написанного еще в 1920 году:

Я знаю —  
не герои  
низвергают революций лаву.  
Сказка о героях —  
интеллигентская чушь!  
Но кто ж  
удержится,  
чтобы славу  
Нашему не воспеть Ильичу?

В то же время Маяковский боялся, чтобы «строчек тыщи...»,

Чтобы шествия  
и мавзолей  
Поколений  
установленный статут  
Не залили б  
приторным елеем  
Ленинскую  
простоту.

Это была цитата из поэмы «Владимир Ильич Ленин», написанной в 1924 году. Из этой поэмы я приводил много отрывков, так как знал ее наизусть всю, а тем более имел шпаргалку. Потом я использовал стихотворение 1929 года «Разговор с товарищем Лениным». В общем, раскрывал образ Ильича и отношение к нему поэта во всю ширь по этапам. Заканчивалось мое сочинение цитатой из стихотворения 1930 года «Ленинцы», в котором Маяковский говорит о бессмертии ленинских идей и призывает к выполнению его заветов:

...мыслей,  
слов  
и дел Ильича.

Когда я писал черновик, то делал это для проформы, так как чистовик все равно предполагал списывание со шпаргалки. Спешить не стоило, времени было много, и я часто оглядывался по сторонам, на писавших со мной одноклассников.

Я с удовольствием наблюдал, как Ица-рационализатор время от времени подкручивал свои чудо-часы со встроенной в них шпаргалкой; как сосредоточенно безо всяких дополнительных средств и источников пишет Галя Перглер; как ерзает за партой Муха Колтунов, не давая своими вопросами спокойно писать рядом сидящему Юрке Рыбенко; как, то и дело шмыгая носиком, бледным, как из стеарина, с пунцовыми от напряжения щеками шпаргалит Нюсик Гальперин; как, делая безразличный независимый вид, а на самом деле пользуясь чужой шпаргалкой, размашисто пишет сочинение Борька Литинский.

За это сочинение я получил «отлично». Цитат в нем было очень много, поэтому я не рискнул писать без шпаргалки: с одной стороны — чтобы не исказить текст, а с другой — чтобы не наделать ошибок по языку.

Раиса Захаровна, а возможно, кое-кто из ассистентов усомнились, что я знаю столько стихов наизусть, и поэтому на устном экзамене, чтобы рассеять сомнения, учительница попросила прочесть что-нибудь из Маяковского. Я с удовольствием прочел монтаж, составленный мною из отрывков поэмы о Ленине, чтобы убедить экзаменаторов, что цитаты в сочинении я не скатал. Потом прочел любимую мною поэму «Во весь голос». Я снова схлопотал «отлично». Но все равно в аттестате была выставлена оценка по русскому языку «хорошо», что я считал и считаю вполне справедливой оценкой моих знаний. Русский язык — мой родной язык, но что поделаешь, если я до сих пор допускаю при письме в нем ошибки. И не только я. Что это? Личный недостаток или недостаток общеобразовательной программы? Очевидно, эти два фактора вместе...

\* \* \*

В дни экзаменов, после напряженной работы по подготовке, мы позволяли себе расслабление в виде походов на пляж или в кинотеатры. Так я попал после очередного экзамена вместе с

Кавой Найшулером в кинотеатр им. Дзержинского (там сейчас расположено кафе «Снежинка») на кинофильм «Волга-Волга». Между прочим, эту комедию я вынужден был смотреть повторно на крыше у Исайки Раввича, так как Кавочка не дал мне полностью насладиться фильмом в первый раз.

Только здесь, сидя в кинотеатре, я обнаружил, какой темперамент у моего соученика Кавочки. Даже не то, что обнаружил, а прочувствовал его своими ребрами, по которым Кавка молотил что есть силы локтем, то и дело оглядываясь на мою реакцию, показывая на экран свободной рукой, хохоча во всю глотку и подпрыгивая от удовольствия. Я, было, подумал даже, что он таким образом сводит со мной за что-то счеты. Но нам делить вроде было нечего, а мой друг так искренне восторгался, что, глядя на его сияющую мордашу, я сразу отбросил эти нехорошие мысли. Но с тех пор на просмотр кинокомедий я с ним ходить не решался.

\* \* \*

Для сочинения на украинском языке я тоже заранее готовил шпаргалку по теме «Образ С.М. Кирова в поэме М. Бажана», так как верил в правдивость сведений, полученных на Школьной аллейке. За это сочинение я тоже получил «відмінно», хотя лег спать у Фридриха куда раньше, чем перед сочинением по русской литературе. Объясняется это просто: я твердо уверовал в непогрешимость Школьной аллейки и готовил только одну тему, а не три, как перед русской литературой.

Зато по математике «шпоры» исключались. Здесь можно было надеяться только на знания и память. Учитывая это, мы добросовестно готовились у Фридриха днем и ночью, не покладая головы и рук. Перерешали почти весь учебник. В одну из таких бурных ночей, когда я на пару часов уснул, то и тогда мне приснилось, что я лежу в числителе под корнем квадратным. Вот до чего довела напряженная учеба «бедного ребенка».

Как ни был Григорий Евсеевич строг, для особ слабого пола на выпускных экзаменах он допускал поблажки. Этим пользовались некоторые из наших девчонок: они носили шпаргалки на своих ляжках, повыше колен настолько, чтобы эти записи могла прикрыть юбка. Думается, что умудренный опытом учитель математики знал об этом, но снисходительно прощал такие невинные и наивные уловки слабому полу.

Когда мы писали контрольную работу по стереометрии, Галочка Ермак, сидя за партой, часто поглядывала на свои ножки и задирала юбочку выше колен, где были записаны все основные тригонометрические формулы. Юрка Райцын, будучи ее соседом по парте, сначала отворачивался, смущаясь и стыдясь таких манипуляций миловидной девушки. Но потом, когда у него не стала получаться задача из-за забытой, как на грех, формулы, он отбросил свою нерешительность и, как утопающий за соломинку, ухватился за Галочкину юбку. Несмотря на молчаливые протесты девушки, пытавшейся оторвать Юркину руку от юбки, тот, пыхтя, продолжал ее задирать, пока не узрел то, что было ему так необходимо.

Эта мышинная возня не ускользнула от глаз Григория Евсеевича Когана. Он, стоя, как обычно, у стенки в конце класса, спросил:

— Райцын! Что вы делаете, что?

Юрка побледнел настолько, насколько позволяла его краснота, отпустил юбку соседки и, заикаясь, пролепетал:

— Н-ничего, я... я доставал из кармана платочек.

При этих словах он демонстративно высморкался в рукав.

Безусловно, своевременный окрик преподавателя спас Галочку Ермак от дальнейшего стриптиза, так как впереди, кроме задачи, предстояло решить еще два примера, а Юрка, раз начав пользоваться такой хорошей и удобной шпаргалкой, вряд ли бы остановился, пока не изучил бы все формулы снизу доверху.

Остальные экзамены прошли без особых эксцессов и приключений. Подготовку к ним я вел уже с меньшим напряжением, частично дома, частично с ребятами на пляже, вечером в «центре групповой подготовки» у Фридриха. Во всяком случае, спал я теперь на своей кровати дома.

Так был сдан последний экзамен по иностранному языку. Но принимал его у нас не Эдуард Эдуардович, а кто-то другой. Заулер, как часто с ним бывало в последнее время, принудительно отсутствовал.

Потом мне выдали аттестат, свидетельствующий о том, что его владелец, родившийся в 1923 году, обучался в 4-й полной средней школе, где окончил полный курс обучения в 1940 году и обнаружил при «отличном» поведении следующие знания...

Далее шло перечисление предметов и оценок, моя фотография, подписи директора, завуча, секретаря и гербовая печать.

Надо сказать, меня удивило, когда в аттестате я обнаружил, что по пению, физкультуре и военному делу выставлены оценки «хорошо», в то время как я любил эти предметы, увлекался и получал удовольствие от занятия этими дисциплинами, особенно физкультурой (спортивной гимнастикой, по которой имел разряд). Это был явный перебор.

На мой вопрос, заданный Любовью Марковне по этому поводу, директор не нашла ничего лучшего, как сказать:

— Пусть тебя это не волнует. Ты ведь все равно не отличник, а ударник.

Я не выдержал такой циничности и, в первый раз за десять лет пребывания в школе, позволил себе бестактность:

— Не пойму, какой смысл был одним снижать, а кому-то завышать оценки? Вы увидите, все равно в институт я сдам на «отлично»!

Я не претендовал, конечно, на «отличника», тем более что в классе было достаточно ребят, учившихся не хуже, а даже лучше меня и тоже оставшихся в хорошистах. Мне просто до боли было обидно, что по трем или четырем предметам мне занизили оценки, в то время как некоторым ученикам (пусть это останется на их совести) оценки явно завысили, чтобы сделать их отличниками.

Так я столкнулся с одной из первых несправедливостей, которую долго не мог забыть.

Через пару дней мы пошли фотографироваться к Финкельштейну на выпускную фотографию-виньетку. Это фотографирование не обошлось без казусов. Фотограф настоятельно просил, чтобы каждый молодой человек был в пиджаке и при галстуке. Поскольку в те годы костюмы были даже не у всех взрослых, а галстуки носили вообще редко, то небольшая прихожая фотографа тут же была превращена в костюмерную.

Мой новенький коверкотовый пиджак побывал на плечах не менее трех ребят, а галстук — на шее у десяти или двенадцати человек.

Так, делясь по-братски между собой верхней одеждой, все тридцать молодых людей, изображенных на виньетке впоследствии, обошлись не более чем десятью пиджаками и пятью-шестью галстуками. В этом можно легко убедиться, если внимательно посмотреть на наше выпускное фото на фоне школы.

\* \* \*

Шла лихорадочная подготовка к выпускному балу. Готовились мы, готовились наши классные руководители Григорий Евсеевич и Раиса Захаровна. Готовился джаз и наиболее активные члены родительского комитета.

Я перед большим трюмо без конца примерял свой первый в жизни коверкотовый костюм (приятного цвета кофе с молоком в редкую бежевую полоску), который мне пошили родители по случаю окончания школы.

В 10-м классе я, как многие наши ребята, начала пробовать курить, так как считал, что от молодого человека моего возраста должно пахнуть мужчиной: если не вином, то хотя бы табаком. Я был искренне уверен, что на женщин это производит соответствующее впечатление. Попробуй, найди фильм, в котором герой, любимец публики и особенно женщин, не тянул бы с таким шиком папиросу и не пускал бы непринужденно кольца дыма изо рта и ноздрей к голубым небесам.

Однажды отец застал меня за таким учебно-тренировочным занятием в дворовом туалете. Поняв по запаху, что я для курения использую (не говоря уж о самом факте курения) всякую дрянь вроде «бычков» и махорки, выпотрошенных и закрученных в газету, он сказал мне:

— Хочешь курить? Кури! Хотя я лично не курю и тебе не советую. Если ты иначе не можешь, то скажи — я тебе вместо этой гадости буду покупать приличные папиросы.

Отпираться и заявлять, что я не курю, было бессмысленно, так как я был пойман на месте преступления с поличными, и, кроме того, изо всех щелей деревянного туалета валил дым, как будто там коптили поросенка. Поэтому я сказал, что в классе почти все ребята уже курят и что я тоже понемногу потягиваю.

В тот же вечер отец принес и положил на стол передо мной несколько пачек папирос «Сальве». Это было несказанное богатство. После очередной примерки костюма с папиросой в зубах я решил, что покорю девиц не только нашего класса, но города и его окрестностей.

В пору, когда подходили к концу экзамены, снова возникли конфликтные ситуации на наших северо- и юго-западных границах.



Заранее трудно было предсказать, чем они закончатся, поэтому в школе после завершения экзаменов снова был развернут тыловой госпиталь. По этой причине наш выпускной бал пришлось провести не в актовом зале школы, как обычно, а в здании большой новой столовой, которая размещалась недалеко от школы на углу улиц Тургенева и Артема.

Наши шефы и родители из актива постарались: столы ломились от яств — холодных и горячих закусок, фруктов и мороженого. Кроме того, сверх чая и лимонада, в углу стояли два полных дубовых бочонка, один с вином, другой с пивом. Желающие напиться могли запросто это сделать. Но ни у кого такого желания не возникало.

Сначала наши родители присутствовали на балу. Потом они поняли, что их дети уже достаточно взрослые и что за десять лет они заметно подросли и кое-чему научились, так что их вполне можно оставить одних, и, наконец, разошлись.

Теплый вечер сменила душная летняя ночь. Пить вино не хотелось. Оно стояло почти без надобности, к досаде одного из шефов, привезшего оба бочонка. Он то и дело замерял в таре количество содержащейся жидкости и ужасно беспокоился, что ее уровень слабо снижается и что дефицитный продукт может ненароком скиснуть. А мы налегали больше на мороженое и лимонад, а также на пиво. Кроме того, зная, что пошли последние часы, которые мы проводим вместе и которые нас объединяют еще между собой, что потом наши пути разойдутся, и разлетимся мы в разные стороны, мы не пили, а старались танцевать со всеми девочками подряд, беседовать со всеми учителями, любимыми и не очень, но ставшими сейчас дорогими.

Если бы можно было обнять всех сразу, я не преминул бы это сделать. Но, как сказал в свое время Козьма Прутков, нельзя объять необъятное.

Чтобы как-то выразить нахлынувшие на нас чувства, мы по очереди качали наших родных учителей-мужчин: Григория Евсеевича, Василия Еремеевича, вернувшегося к тому времени и к нашей общей радости Эдуарда Эдуардовича. Женщин-учительниц мы просто нежно брали за руки, выводили на середину зала и танцевали по очереди с каждой хоть несколько тактов под аккомпанемент замечательного баяниста Бориса Сладека, окончившего за год до нас школу общеобразовательную и музыкальную.

В промежутках между танцами выступал наш джаз, трепач и заводила Шурка «Ус» читал рассказы А.П. Чехова, а многие, в том числе и я, просто пели любимые песни.

Не стеснясь директора школы и преподавателей, мы доставали из карманов пачки папирос, с фасоном сжимали концы мундштуков и степенно прикуривали, стараясь позатейливее выпускать дым. Борька Литинский в подражание гриновским героям важно набивал трубку табаком «Золотое руно» и эффектно ее раскуривал.

...На рассвете разошлись, чтобы к 10 часам снова встретиться на Школьном пляже.

Мы выехали туда на лодках вместе с нашим классным руководителем, прихватив оставшиеся после бала холодные закуски и содержимое бочонков, чтобы оно не скисло и наши шефы, не дай Бог, не огорчились по этому поводу...

Через несколько дней мы, теперь уже бывшие школьники, по приглашению Юрки Райцына собрались у него дома небольшим дружным коллективом ребят класса «А». Это был настоящий мальчишник, так как девочек на сей раз не было. Из женщин присутствовали только Юркины мама и сестричка Зойка, но и ту братец вскоре выдворил.

Что послужило поводом для этого праздника, я не помню: возможно, окончание школы, а возможно, и любимый семьей Райцыных кабан Степка. Дело в том, что незадолго до нашей пирушки кабан Степка был зарезан, и к столу была подана свинина во всевозможных вариантах колбас, а также жареная, вареная, пареная и приправленная различными специями.

На этот пир мы притащили много вариантов горячительных напитков. Здесь без посторонних глаз мы много и здорово выпили, еще здоровее нажрались и погуляли. Но самое главное и существенное, что было на этом мальчишнике, — это клятва, которую мы торжественно провозгласили, высоко подняв бокалы:

— Никогда не забывать друг друга! Куда бы ни забросила нас судьба, через каждые пять лет встречаться со своими школьными товарищами по 5-му выпуску 4-й ПСШ им. Горького.

Этот тост был заключительным аккордом, прозвучавшим в знак того, что мы окончательно вышли из тихой гавани, именуемой школой, подняли паруса и пустились теперь уже в самостоятельное плавание.

Вскоре подали документы и начали разъезжаться: в Москву — Галя Перглер, Миша Левин, Люся Савицкая, Муся Колтунов; в Харьков — Миша Орлов, Таня Фрумгарц, Люба Баш; в Днепропетровск — Фридрих Шафран и Исай Раввич; в Запорожье остались и подали документы в машиностроительный институт Валя Турчина, Нюсик Гальперин, Рудик Рискин, Лена Фукс, Абрам Мордухович и я.

Готовились к отбытию по призыву в Красную Армию ребята наши 1922 года рождения.

В июле я начал подготовку к вступительным экзаменам в институт. Не могу сказать, чтобы очень усиленно занимался — еще свежи были в памяти вопросы, над которыми пришлось корпеть перед выпускными экзаменами. Предстояло сдавать следующие предметы:

1. Русский язык и литературу — сочинение.
2. Математику — письменный и устный экзамены.
3. Физику — устный.
4. Химию — устный.
5. Иностранный язык — устный.

Конкурс был небольшой. На технологический факультет по холодной обработке металлов, куда я решил поступать, — 2,6 человека на место. На литейное производство конкурса не было.

И все же. Учитывая, что я пообещал Любовь Марковне сдать экзамены в институт на «отлично» и то, что у меня во дворе были болельщики, которые следили за моими успехами на ниве учебы, я составил себе план подготовки на каждый день и старался его выполнять, независимо от того, насколько я был загружен другими делами: ходил в гости к Дуське Бобровскому или загорал целый день на Школьном пляже с Борькой, Женькой и другими призывниками.

Подошли экзамены.

Когда я направлялся в институт, каждый раз меня напутствовали мои болельщики: дочь хозяина дома Лида Бухарина и ее муж Дмитрий — симпатичный парень, капитан артиллерийских войск.

Шесть раз Лида и Митя крестили меня и вдогонку кричали мне:

— Ни пуха, ни пера!

И шесть раз они встречали меня у калитки с неизменным вопросом:

— Ну, что?

И каждый раз, когда вместо ответа я растопыривал им пятерню, они радовались, как дети, и, мне кажется, даже сильнее, чем я сам. По крайней мере, эти двое были больше осведомлены, чем мои родители: что сдаю, когда я сдаю и на какой факультет поступаю. Ради этой пары следовало стараться.

Итак, все экзамены я сдал на «отлично» и был занесен в списки студентов первого курса Запорожского машиностроительного института.

Родственник Бухариных, доцент ЗМИ и зав. кафедрой химии, некто Белаш, передавал им, что обо мне даже шел разговор на ученом совете института, где меня называли в числе сильного пополнения, пришедшего в текущем году. На это пополнение возлагались большие надежды. Как эти надежды оправдались, я расскажу позже, а пока попрошу меня простить, так как я сразу же после последнего вступительного экзамена устремился в школу к директору. Одновременно со словами: «Вот Вам, смотрите!» я подал зачетную книжку.

Любовь Марковна посмотрела в зачетку, на меня и хитро, обезоруживающе улыбнувшись, сказала:

— Молодец, я знала, что ты не подведешь нашу школу!

Что я мог сказать ей в ответ?

Конечно, я ждал другой реакции и приема, надеялся на раскаяние директрисы, поэтому, крайне огорченный, тихо взял зачетку и ушел, так и не поняв, помнит ли она наш спор и мое обещание.

Скорее всего, Любовь Марковна тогда моей вспышке не придавала никакого значения, и, наверное, давным-давно о ней забыла...

А я на что-то надеялся.

В октябре, когда уже началась учеба во всех абсолютно вузах страны, и в городе остались только те, кто пошел работать, поступил в ЗМИ или Пединститут, нашим призывникам пришли повестки.

Я пошел на вокзал Запорожье-1 провожать Бориса Литинского, Вову Педана, Пину Писаревского, Валика Ушакова и других ребят из нашей и прочих городских школ, хорошо зна-

комых по Школьной аллейке и Школьному пляжу, отбывавших на службу в ряды доблестной Красной Армии.

На лицах этих 18-летних ребят, многих из которых еще не коснулось лезвие бритвы, сияли улыбки, несмотря на то, что они стояли и сидели в товарных вагонах, так называемых «теплушках», или «телятниках», а постелью им служила солома.

Оркестр грянул марш, заскрипели колеса, поезд медленно тронулся. Девушки бросали вслед цветы, а остающиеся ребята бежали за удалявшимся вагоном и кричали:

— До скорой встречи!

Никто из нас не знал тогда, что большинство из этих юных восемнадцатилетних парней мы видим в последний раз...

Никто из нас не знал тогда и даже не мог догадаться, что пройдет всего несколько месяцев, и мы — провожающие, тоже наденем солдатские шинели, чтобы защитить свою Родину от ненавистного врага.

Была осень 1940 года.

Я стоял на опустевшей платформе и думал:

«Ведь было: в школу мы ходили,  
Играли яростно в футбол,  
На танцах протирали пол  
И девочек своих любили.  
...Но быстротечно дни промчались,  
Как будто майский первый гром,  
И от весны мне на потом  
Воспоминанья лишь остались...»

## **Глава 4. Накануне**

### **1. ЗМИ. Первые впечатления**

Странными во всех отношениях показались мне с первых же дней занятия в институте. Классы стали называться аудиториями, уроки — лекциями, учителя — лекторами, педсовет — учебным советом, экзамены — сессией. Появились новые слова: факультет, деканат, ректорат, коллоквиум и т.д.

Я старательно переписал вывешенное около деканата расписание лекций с указанием номера аудитории, и начались мои «хождения по мукам». Теперь время перемен использовалось в основном не для отдыха, а для поисков очередной аудитории. Благо, институт в то время имел только два корпуса. Но самое главное, что меня особенно удивляло и к чему я не мог привыкнуть, это то, что никто меня не вызывал к доске, никто не спрашивал ни о чем и ничего не задавали на дом. Лектор, бывало, приходит, отчитывает свои две пары и уходит. Так в течение дня меняется две-три аудитории, три-четыре лектора, и до тебя нет никому никакого дела.

На первых порах я принес с собой в институт аккуратно подписанные общие тетради с тщательно разлинованными полями и прочие канцпринадлежности. Но вскоре новый порядок настолько выбил меня из привычной колеи, что я перестал готовиться к лекциям и конспектировать. Слушал их больше для вида, чем для запоминания, наверняка зная, что возмездие придет нескоро.

Если лекции проходили в актовом зале, куда собирали весь курс или факультет, я особенно большое внимание уделял изучению самих лекторов, а не излагаемым ими предметам.

О, это была интереснейшая галерея удивительно не схожих по характеру и внешнему виду людей, в основном мужского пола.

Только в физлаборатории, химлаборатории и особенно в чертежном зале я ощущал себя в привычной обстановке, как рыба в воде.

В чертежном зале были расставлены кульманы, а впереди на возвышении на столе разложены детали и узлы, которые необходимо было чертить в трех проекциях, разрезе, диметрии или аксонометрии.

По коридору, образованному кульманами, ходил с палочкой, прихрамывая и волоча правую ногу, дед *Поплавский*, которого мы прозвали по имени автора начертательной геометрии Польшау. Он придирчиво заглядывал в каждый чертеж и проверял, кто на что способен.

Польшау никогда мне не делал замечаний, был я у него отличником, за что мысленно благодарил своего школьного учителя Николая Дмитриевича Рудакова — милого «Моржа два прима».

Стоило только деду Поплавскому во время занятий по черчению за чем-нибудь удалиться из кабинета, как моментально рабочая атмосфера на нашем студенческом барометре падала до нуля и воцарялся хаос, напоминавший репетицию джаза Утесова в кинофильме «Веселые ребята».

Яков Хайкин и Боб Ямпольский хватали свои духовые инструменты — кларнет и валторну, и, построившись друг за другом, начинали вышагивать между кульманами, выдувая в такт звуки какого-нибудь, преимущественно похоронного, марша. Эти двое, мои бывшие соученики из параллельного класса по школе, играли в студенческом духовом оркестре и готовились стать настоящими лабухами, чтобы можно было подрабатывать в свободное от занятий время на похоронах. Никто на них не обижался и не обращал внимания. Каждый студент тянул свою собственную мелодию, пританцовывая в ритм, стараясь изо всех сил, чтобы его голос звучал громче и выделялся среди всех остальных.

У двери обычно выставлялся дежурный, который подавал сигнал тревоги, как только в коридоре раздавались шаркающие шаги Польшау или появлялся непрошенный гость, потревоженный нашей разминкой. В настоящее время такие разминки узаконены, только несколько облагорожены и пропагандируются под названием «ритмическая гимнастика» или «аэробика».

Из запомнившегося мне профессорско-преподавательского состава того времени, кроме Поплавского, сейчас могу назвать еще семь-восемь человек, чьи наиболее колоритные фигуры удержала память.

*Исаков* — ректор института. Высокий, чуть сутулый, лобастый человек, лицом и фигурой напоминавший Николая Островского. Он был строгим, но добрым, носил одежду цвета хаки и орден Красного знамени, полученный во время Гражданской войны, на груди.

*Гурвич* — бритоголовый, с пронизывающим подозрительным взглядом небольших, поросых, с бесцветными ресницами глаз. Он был очень строг и немногословен. Занимал должность проректора, читал на втором курсе «сопротивление материалов» и внушал трепет всем студентам с первого по пятый курс, а особенно разгильдяям второго курса. Студент, сдавший у Гурвича сопромат с первого захода, считался «вундеркиндом» и мог жениться.

*Рыженко* — черноволосый, среднего роста, всегда в неизменном темно-синем костюме, человек. На ломаном русско-украинском языке он читал у нас курс начертательной геометрии и сам же вел практические занятия. Я не всегда сдавал ему задачи с первого предъявления, зато начерталку запомнил. До настоящего времени она не выветрилась из памяти, и, кажется, я ее неплохо знаю.

*Пятигорский* — крупный, лысый, добрейший толстяк из «пиквикского клуба». Хорошо помню его монотонный извиняющийся голос и застенчивую улыбку, и смутно припоминаю содержание его лекций по литейному делу, которые я слушал в течение полного учебного года в доброе мирное довоенное время.

*Козловский* — лысеющий, с весьма аккуратно зализанной на пробор прической под названием «внутренний заем», педантичный, с иголки одетый преподаватель математики. Он нудно читал свой предмет, одной рукой выписывал каллиграфическим почерком формулы на доске, а другой придерживал влажную тряпочку, о которую периодически вытирал руку, сжимавшую мелок. По окончании лекции Козловский заворачивал мелок и тряпицу в бумагу и уносил их с собой в портфеле домой.

*Говоров* — один из самых любимых и способных преподавателей института. Он был братом будущего маршала Говорова. В институте читал «детали машин» и был, как говорится, преподавателем от Бога. С этим серьезным, любившим студентов человеком я часто встречался в коридорах института и в тире.

Близко узнать и оценить Николая Александровича мне довелось только после войны, когда я продолжил обучение в институте и стал посещать его лекции. Помню, перед войной я присутствовал на партсобрании, где принимали Говорова в ряды ВКП(б). Высокий, стройный, серьезный и всегда строгий и невозмутимый человек, как ученик, смущаясь и глядя на носки своих ботинок, медленно, с остановками, хриплым голосом он рассказывал свою биографию. О том, как вместе с братом Леонидом был призван и ушел на империалистическую войну 1914 года. Как после Октябрьской революции брат перешел на сторону большевиков и сражался в рядах Красной Армии, а он остался в Белой и воевал против родного брата, пока не понял и не осознал свои заблуждения.

Я никогда — ни до, ни после этого — не видел таким одновременно и смущенным, и торжественным этого человека, бывшего кадрового офицера Белой армии, имевшего ясную голову ученого, твердую руку и меткость глаз отличного стрелка.

*Ильяшенко* — читал в институте основной предмет по моей специальности, «Технология машиностроения». Этот преподаватель фигурировал в институте под кличкой «Батя», которая приклеилась к нему так прочно, что с годами не стиралась, передаваясь студентами, как эстафета, от поколения к поколению. После войны эта кличка употреблялась даже в обиходе профессорско-преподавательского состава, так как звучала гораздо ярче и короче, чем фамилия Ильяшенко. Добрый по натуре человек, отец студенческой братии, Батя внешне походил на гоголевского Тараса Бульбу или Караса из оперы Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем», которую прекрасно исполнял в свое время Народный артист СССР Паторжинский. Сходство с последним особенно бросалось в глаза, когда на студенческих вечерах звучал превосходный бас Бати в сольных номерах и дуэтах с Одаркою.

И, наконец, — *Леонов*. Это был особенный человек, оригинал, на котором нельзя не останавливаться. Преподавал он физику, иногда подменял Козловского и читал математику. Своей плотной фигурой борца, да и одеждой, он походил на моряка Артема из довоенного фильма «Мы из Кронштадта».

У Леонова была массивная голова с широким и высоким лбом, голубыми глазами, небольшим, изящным носом и ртом. Говорил он совершенно не соответствовавшим внешности голосом — неожиданно глуховатым и гнусавым. Леонов имел привычку читать лекции в движении между рядами, изредка подходя к вертящейся доске и записывая свою пространную речь и короткую математическую формулу. Так продолжалось это чередование ходьбы и коротких записей, пока две стороны доски не заполнялись до предела. Мы, зачарованные, внимали «кумиру» ЗМИ, старательно записывали все в тетради, стараясь не пропустить ни слова, ни буквы. А он, выдержав определенную паузу, когда последний студент выпрямлялся и приготавливался к новой дозе эликсира науки, говорил:

— Все, что вы только что записали — чушь и абсурд, зачеркните!

После этого Леонов доказывал ошибочность только что изложенной теории и приступал к построению новой, подкрепляя ее уже другими длинными формулами и формулировками. Деваться было некуда, и, чертыхаясь, мы писали все заново, не зная, куда на сей раз заведет нас в своих доказательствах этот увлеченный «злой гений».

Леонов удивлял нас еще и тем, что часто приходил на лекции небрежно одетый, слегка «под газом». Это, правда, ни в коей мере не мешало, а наоборот, вдохновляло его физико-математический ум на изумительные импровизации.

У Леонова были неотразимая логика и прекрасная память. Если бы этот человек не пил, то, наверное, принес бы неоценимую пользу науке, а он даже не был кандидатом наук.

Как-то в одну из суббот вечером, после занятий, мы собрались с ребятами съездить на танцы на 6-й поселок. Перед поездкой для храбрости решили принять допинг в виде спиртного. Взяли в гастрономе, что на углу улиц Чекистов и Карла Либкнехта, бутылку водки и зашли тут же в подворотню. Только стали разливать, как туда же буквально вскочил Леонов и быстро, еще не освоившись с темнотой после света, привычным ударом ладошки о доньшко выбил пробку и с жадностью приник к горлышку бутылки. Жидкость забулькала. Он один моментально опорожнил тару такой емкости, какую мы робко разливали на пятерых. Не заметив нас, он тут же удалился.

О чудачествах и гениальности Леонова распространялись в студенческой среде многочисленные слухи. Доходили они и до абитуриентов, поэтому естественным было мое волнение, когда я впервые столкнулся с Леоновым на вступительных экзаменах по математике.

Во время письменной работы мне попала задача, для решения которой необходимо было использовать формулу геометрической прогрессии. В волнении я забыл ее и, недолго думая, стал выводить тут же на черновике. Я увлекся и не заметил, как ходивший вдоль рядов Леонов приостановился около и наблюдал мою математическую возню. Когда я вывел формулу, поставил ее в задачу и получил необходимый ответ, Леонов спросил, почему я не решал другим, более простым способом. Я ответил, что так короче, красивей и оригинальней. Тогда он поинтересовался, у кого я изучал математику в школе. Когда узнал, что у Когана, кивнул головой, взял мою работу, сам отнес, положил на стол, а меня отпустил со словами «Вы свободны!» За эту работу я получил «отлично».

Устную математику я сдавал Леонову в первой пятерке абитуриентов. Он пригласил нас к своему столу, предложил вытянуть билеты и вышел из аудитории, усадив для обдумывания

вопросов и плотно прикрыв за собою дверь. Прошло пять, десять... двадцать минут... Леонов не появлялся. Кто не знал ответа на вопросы в билете, осмелел, взял учебники и добросовестно все перекатал и выучил. Примерно через час Леонов, наконец, появился, и по его глазам и раскрасневшемуся лицу было видно, что наш грозный судья «на взводе». Потирая ладони, он изрек:

— Кто готов? Прошу.

Я подошел к столу и начал читать первый вопрос. Леонов небрежно махнул рукой, забрал и отложил в сторону билет и стал спрашивать совершенно не то, что у меня было записано. Он задал всего два вопроса, один по алгебре, второй по стереометрии, и, поставив «отлично», отпустил, не дослушав до конца.

Его метод приема устных экзаменов поначалу смутил меня и внес немало переполоха в ряды абитуриентов. Зато Леонов сразу понял, кто чего стоит в области математики. К моему удивлению, в институте он читал не математику, а физику и излагал ее просто здорово, всегда подкрепляя теоретические рассуждения математическими доказательствами. Этого «гения» не сбивал с толку принятый «допинг», а наоборот, доводил его лекции до виртуозности и артистизма.

После войны, поступив снова в ЗМИ, я узнал, что Леонов живет в Барнауле, работает в эвакуировавшемся туда Запорожском институте, женился на своей бывшей студентке — Зинаиде Кадисовой. А еще мне сказали, что он бросил пить, защитил кандидатскую диссертацию и готовит докторскую. Что ж, женитьба пошла на пользу ему и науке.

Ай да Зина! Ай да молодец! Сумела перевоспитать человека.

А ведь она тоже из бывших учеников 4-й СШ. Знай наших!!!

## **2. Дела общественные. Time is money**

Слова песни «Я люблю тебя, жизнь» как нельзя лучше отражают состояние моей деятельности и настроения того времени, особенно эти:

...Мне известна давно  
Бескорыстная дружба мужская.  
В звоне каждого дня  
Как я счастлив, что нет мне покоя...<sup>1</sup>

С каждым днем в институте я приобретал новых знакомых, друзей и массу общественных нагрузок. Благодаря моим соученикам по школе и теперешним сокурсникам я, не успев как следует познакомиться с новым порядком и распорядком, попал в редколлегию институтской газеты «Студент-машиностроитель», которой руководил студент 4-го курса, Сталинский стипендиат Наум Бараш. Он был неплохим редактором. Газета имела своих собкоров на каждом факультете, курсе и группе.

В состав главной редакции входили по одному-два представителя от каждого курса. Я удостоился чести быть представителем от первого курса. Периодически мне приходилось бывать ответственным за выпуск, а это далеко не простое дело. Благо, что материала всегда было много, газета получалась большая, выпускалась часто, хорошо иллюстрировалась и отражала все события студенческой жизни, которые происходили в институте и общежитии и вне этих стен.

Кроме газеты, я продолжал тренировки по боксу, которыми руководил один из студентов старших курсов — Игорь Бандалетов. В этот кружок я ходил с Борисом Литинским еще будучи школьником.

Потом я записался в стрелковый кружок. В тире института я увидел, как здорово стреляет из пистолета Говоров. Захотелось научиться стрелять так же. Однако мне удалось научиться прилично стрелять только из малокалиберной винтовки, а из пистолета мои результаты были весьма скромными. Стрелять из пистолета оказалось не так-то просто, и до Говорова я не дотянулся.

При институте организовали джаз-оркестр. Руководил им студент третьего курса Илья Богуславец. И надо же было такому случиться, чтобы меня по решению Комитета комсомола и настоянию его секретаря Фрузы (забыл фамилию) назначили в этот джаз в качестве конферансье.

Я удивился такому назначению. Оказалось, Фруза слушала наш школьный джаз, была от него в восторге и меня, как единственного представителя и поэта из школьного джаза, предложила использовать в институтском джаз-ансамбле на вакантной должности — конферансье.

---

<sup>1</sup> К. Ваншенкин.

Не проявляя особого восторга от такого высоко доверия, я, тем не менее, занялся подготовкой к исполнению своей новой общественной нагрузки.

Моя бурная деятельность в стенах института требовала массу времени, и на занятия науками, ради которых, собственно, я и поступал в институт, его не хватало. Хорошо еще, что никто не вызывал и не спрашивал. Пока я был беспечен и весел: от сессии до сессии...

И пока за прошлые заслуги, что сдал на «отлично» вступительные экзамены, я получал повышенную стипендию. То, что меня ждало в недалеком будущем после зимней сессии, как-то не тревожило. Тревожила только нехватка времени.

Из-за недостатка времени члены редколлегии, ответственные за выпуск, с собкорами и художниками, собирались на сцене актового зала и там, за занавесом, под монотонный голос лектора и гул студентов-слушателей, расписывали и разрисовывали свою стенную печать. Иногда усердные члены редколлегии забывали, где они находятся, и громко дебатировали, несмотря на то, что рядом за занавесью, в двух шагах от них, читал свою лекцию преподаватель. Сборы за занавесом почти всегда позволяла себе редколлегия у добрейшего толстяка Пятигорского. В такие часы работа кипела вовсю, без сдерживания страстей и эмоций, даже если в актовом зале перед лектором сидела горстка студентов, составлявшая численность меньшую, чем работники пера и бумаги на сцене.

\* \* \*

Неожиданно, как великая радость, разрешающая и решающая проблему со временем, вышло Постановление о свободном посещении лекций. Теперь на законном основании я обязан был посещать в институте только 1/3 лекций, остальные 2/3 учебного времени тратить по своему усмотрению. Однако студенты народ ушлый: положи палец в рот — руку откусят. Иными словами, разреши не посещать часть лекций — вообще перестанут ходить в институт, и аудитории будут пустовать. Во избежание таких казусов мы составили свой внутренний график, по которому обязались по очереди посещать лекции, чтобы аудитории не пустовали.

Наконец, появилось время, которое можно было использовать на общественные нагрузки, занятия в кружках и учебу. Постановление, конечно же, имело в виду последнее, а я — первое и второе.

Но не тут-то было.

Над учебой и общественными нагрузками возымело преобладающее действие нечто третье. Time is money (время — деньги) — гласит английская пословица. Взяв ее на вооружение, я занялся халтурными заработками. Как-никак, мне шел восемнадцатый год, у меня появились расходы, и, стало быть, потребность в карманных деньгах (стипендию я полностью отдавал маме).

Используя время, которое появилось в связи со свободным посещением лекций, я со своими сокурсниками, как Остап Бендер и Ко, начал тратить время, которое мы имели, для заработка денег, которых мы не имели. Мы подвизались в КБ и техотделах заводов «Коммунар» и ПРЗ им. Войкова для разработки чертежей оснастки и приспособлений. Разгружали баржи с арбузами и другой штучный груз на пристани и железнодорожных станциях Запорожье-1 и Запорожье-2.

Заработанные деньги честно делил между нами наш опытный бригадир — дюжий парень, студент-первокурсник Николай Вязовский. Он обычно вел и переговоры между «заказчиком» и «подрядчиком» о «времени и деньгах». Вязовскому мы полностью доверяли, так как сами в коммерческих делах не имели никакого практического опыта. Николай же к тому времени успел послужить на флоте, был отцом семейства, к тому же он был честным малым и доверие наше вполне оправдывал. В знак благодарности и уважения мы отчисляли бригадиру по 2% своего заработка. Такой порядок нас, «вассалов», и бригадира вполне устраивал. «Левые» деньги я честно отдавал маме, а часть из них откладывал на субботние вечера, когда по традиции посещал с друзьями ресторан и клуб ДАЗа на 6-м поселке. В нашей небольшой компании часто бывали девушки из института: Валя Турчина, Таня Кириленко, Наташа Егорова и другие, с которыми мы весело проводили свободное время в заводских клубах и на танцплощадках города и институтов.

Был один из таких субботних вечеров. В актовом зале института давал платный сеанс гипноза знаменитый гипнотизер Вольфганг Мессинг. Я сидел в третьем ряду вместе со своим товарищем по курсу Борисом Снапиро и его другом и одноклассником из 5-й школы Петей Тетевосьяном. Петя часто посещал наш институт, так как ничем не занимался, ожидая вызова из авиационного училища.

Зал был переполнен. На два ряда позади нас сидела с группой студентов замечательная, высокая, стройная, красивая девушка — Таня Свешникова. Таня выделялась среди своих подруг, и Петя сразу обратил на нее внимание, и, как говорится, влюбился с первого взгляда.

Они подходили друг другу. Петя Тетевосьян был тоже красивым, смуглым, черноглазым парнем с волевым лицом и атлетической фигурой первоклассного спортсмена.

— Познакомьте меня с этой девушкой! — обратился Петя ко мне и к Борису одновременно. Мы ответили, что обязательно познакомим, но сейчас это делать неудобно, потому что с минуты на минуту должен начаться сеанс, и вставать с места и идти в задние ряды для знакомства негоже вдвойне. Однако упрямый и нетерпеливый Петр загорелся желанием немедленно осуществить свои намерения.

— Ладно, черт с вами, я сам с ней познакомлюсь, без ваших услуг! — в сердцах прошипел он и приподнялся, чтобы идти к заднему ряду, где сидела Татьяна. В это время раздвинулся занавес и на сцену вышел Мессинг. Петя вынужден был присесть и временно смириться.

Мессинг сказал, что будет проводить сеанс массового гипноза, и что из присутствующих в зале людей любой может ему подвергнуться. Для этого необходимо два условия: не отрываясь смотреть на находящийся в правой руке блестящий предмет и не отвлекаться, внимая словам гипнотизера. Он представил свою помощницу, интересную молодую ассистентку в длинном белом платье, в обязанности которой входило приводить на сцену из зала зрителей, подвергнувшихся воздействию гипноза.

Итак, Мессинг начал священнодействовать, а его помощница — выводить по одному на сцену загипнотизированных зрителей. Когда Петя увидел, что Танечку повели на сцену, то шепнул нам:

— Ребята, считайте, что я тоже попал под воздействие гипноза.

Он закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла, как в парикмахерской. Мы пригласили ассистентку, и она, не подозревая подвоха, вывела нашего друга на сцену.

Когда там набралось человек десять-пятнадцать, Мессинг перевел свой пронизывающий взгляд с зала на этих подопытных кроликов. От его взора, просвечивавшего человека насквозь, вряд ли можно было укрыться. Гипнотизер сразу же заметил, что Петя притворяется, потихоньку отеснил его в угол, о чем-то пошептался, и как ни в чем не бывало, продолжил сеанс. Во время этого незаметного для непосвященных лиц диалога, за которым я и Борис с тревогой наблюдали с третьего ряда, лицо Мессинга было очень сердитым, а Петино выражало мольбу и покорность. Очевидно, гипнотизер хотел его выдворить со сцены, а Петя просил не выгонять, а свести с Таней и обещал, что все указания будет выполнять безоговорочно.

Вольфганг Мессинг был отменным гипнотизером. На наших глазах он заставлял плакать и смеяться, танцевать и прыгать, заходить «в воду по колено» и сдавать экзамены загипнотизированных студентов.

Зал хохотал от души, потому что каждый из подопытных выполнял указания по-своему, сообразно с выработавшимися с годами привычками и рефлексам. Петя старался исполнять все команды без промедления, иногда даже переигрывал. Мессинг не упускал его из виду, готовый при малейшей оплошности тут же вышвырнуть настырного ухажера.

Ассистентка принесла три стула. Гипнотизер положил Таню на них, провел вдоль тела руку и вынул средний стул. Девушка осталась лежать неподвижно, опираясь на край одного стула головой и другого пятками. Маэстро для большей наглядности даже нажал коленом на ее живот. Танюша не пошевелилась и продолжала лежать, как доска. А Петя стоял на сцене бледный, как полотно, не смея при этом обнаружить свои переживания, чтобы не быть изгнанным. Мы с Борисом, когда гипнотизер стал на живот девушки обоими коленями, не выдержали и закричали что есть силы:

— Хватит издеваться!

Под конец Мессинг велел Пете обнять Татьяну и танцевать вальс. В таком виде он их разбудил и познакомил. Смущаясь, Танечка об руку с Петей сошла в зал.

Это знакомство вскоре переросло во встречи, любовь и свадьбу, на которой я и Борис Снапино были свидетелями со стороны жениха.

### **3. Праздничный концерт**

Приближались Октябрьские торжества.

В институте готовился грандиозный концерт, который я должен был вести в качестве конферансье. Кроме джаза, в программу были включены студенты и преподаватели с сольными



номерами: чтецы, певцы, танцоры и музыканты. К примеру, Батя должен был со студенткой 4-го курса исполнить дуэт Караса и Одарки, а потом еще и арию Варяжского гостя из оперы «Садко» под аккомпанемент своей супруги Фани Владимировны — маленькой, хрупкой женщины, полной противоположности массивному, осанистому Бате.

Основные тезисы конференса и вся программа были предварительно рассмотрены и утверждены комитетом комсомола и его неутомимым секретарем Фрузой за два дня до концерта. Фруза пожелала мне успехов на новом поприще и выразила уверенность, что ее протече не подведет ее же.

В день концерта я очень волновался: все-таки это был мой дебют на институтской сцене. Я еще не всех знал, и чувствовал себя далеко не так, как в школе, не как рыба в воде, а скорее, как рыба, выброшенная на лед: знобит и воздуха не хватает.

Студенты-приятели из джаза, видя мое состояние, перед началом сами «бахнули» по маленькой и мне поднесли стопку для успокоения нервной системы, так как элениум тогда фармацевтическая промышленность еще не выпускала. Да, джазистам было хорошо: во-первых, им предстояло выступать только во втором отделении, и хмель из их голов к тому времени должен был выветриться; во-вторых, им все же надо работать руками и губами, а не языком, которому обязательно после спиртного свойственно заплетаться. И все-таки я немного успокоился. Подозреваю, что подействовала не столько водка, сколько психотерапия. Мысленно перекрестившись и обратив душу и взор к Богу (то есть в потолок), я открыл праздничный концерт.

Мало-помалу я обрел, как говорится, оперативную форму, и дело пошло как по маслу.

Поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и гостей с наступающим праздником и, коротко коснувшись нашей программы в целом, я в юмористическом духе рассказал о песне вообще, о голосовых связках певца в частности, о различии между соло и нотой «соль», дуэтом и хором и уже серьезно объявил выступление сборного студенческо-преподавательского хора с какой-то торжественной кантатой под аккомпанемент оркестра. Там играли наши корифеи, — Яков Хайкин и Боб Ямпольский. Хор выступал, а я присел за кулисами, просматривая очередность номеров, фамилии выступающих, наброски своего конференса, запланированные хохмы и обдумывая, какие еще сюрпризы можно выдать экспромтом по ходу конференса, как лучше прокомментировать подмеченную суету в зале.

Вдруг мой относительный покой нарушило восклицание:

— Здравствуй, Марик! Я его повсюду ищу, а он здесь. Рад тебя видеть!

Это был Абрам Тилимзагер, о котором я как-то уже упоминал, прекрасный артист-любитель, бывший ученик 4-й СШ, окончивший ее вместе с моей сестрой еще в 1937 году. Он предстал передо мной в форме моряка-подводника Тихоокеанского флота, приехавшего домой в отпуск — на побывку. В институт Абрам забрел случайно, после безуспешного поиска знакомых в школе. Оттуда его направили в ЗМИ, где учились его бывшие однокашники. В школе, кроме нескольких учителей и директора, он никого не знал, хотя ученики от 8 до 10 класса его узнавали и смотрели, как на звезду первой величины.

После минутного обмена приветствиями и рукопожатиями Абрам приступил к делу: предложил свои услуги в качестве чтеца. Я знал его, знал, как он хорошо играет на сцене и прекрасно читает стихи, но смущало два обстоятельства: во-первых, Тилимзагер не значился в утвержденной программе, копия которой лежала у комсомольского лидера в кармане; во-вторых, «заслуженный артист» был под градусом, и этот серьезный фактор нельзя было не учитывать. Эти доводы промелькнули у меня в голове, хотя и сам конференсье был не безгрешен.

Я категорически отказал бравому моряку, вышел за занавес, объявил очередной номер, что-то при этом «схохмил» и вернулся за кулисы. Оглянувшись, я не увидел Абрама, вытер пот со лба и вздохнул с облегчением: кажется, пронесло.

Мой оптимизм оказался преждевременным. Тилимзагер был из тех парней, которые так запросто не сдаются. Он приволок из зала несколько просителей-радетелей, студентов старших курсов, своих бывших соучеников по школе, поклонников искусства вообще и его таланта в частности, среди которых был и главный редактор. Все они навалились на меня с неимоверной силой. Абрам, чувствуя поддержку, пристал ко мне как банный лист, как Ноздрев к Чичикову, требуя что-нибудь у него купить, хоть старую шарманку. Поняв, что не откручусь и что случая, как у Чичикова, не подвернется, я с тяжким вздохом спросил, что он собирается читать. Абрам на радостях назвал несколько авторов и их произведения. Остановились на отрывке из поэмы Маяковского «Хорошо». Я подумал: «Хорошо» — это хорошо, так как совпадает с темой и будет замечательно звучать в качестве эпилога к первому отделению, которое подходило к концу... Будь что будет. Я выпустил на сцену незапланированного артиста.

Маяковского он прочел безукоризненно. Тилимзагера вызывали на бис. Я смотрел сквозь щель в занавесе: аплодировали все, в том числе улыбалась и аплодировала наша неумолимая Фруза. Выждав пару минут, я направился объявлять антракт, однако упоенный успехом «артист», отстранив меня, снова вышел на сцену, поклонился, поднял руку и в воцарившейся тишине сам объявил и стал читать какой-то неизвестный рассказ незнакомого автора о гражданской войне. Я растерялся.

Предпринимать что-либо было уже поздно, пришлось смириться, напрячься и слушать, куда выведет эта непредвиденная кривая.

В середине рассказа чтец сбился, потом поправился, но снова сбился, и, наконец, закончил словами:

— И брат брату вонзил кинжал у сердце!

Такой потрясающий конец рассказа вызвал гомерический хохот в зале, свист, топот и бурные аплодисменты.

Срывающимся голосом я крикнул «Занавес» и выскочил к рампе, едва не свалившись со сцены.

Зал неистовствовал.

Впереди сидела Фруза с перекошенным лицом и раскрытым на коленях листом утвержденной программы. А откуда-то из глубины зала, сквозь топот, аплодисменты и смех, продолжал доноситься пронзительный свист. Недолго думая, я поднял руку, кое-как утихомирил публику и что есть силы бросил в зал реплику:

— Слышал, как свистит соловей, приходилось слышать свист паровозов, а свист осла только сейчас услышал!

Моя хохма понравилась. На нее зал ответил дружным смехом, аплодисментами и посрамлением нарушителя порядка. Мне показалось, что впечатление от предыдущего номера сглажено, и я объявил антракт.

В перерыве, разыскав исчезнувшего в неизвестном направлении «актера» и выругав его от всего сердца за самодеятельность, я вернулся за кулисы. Там меня, в свою очередь, от души отчитала неумная Фруза и предупредила, что я еще буду отвечать перед комитетом комсомола.

Возникшую в антракте перепалку и нервозность сняло второе отделение концертной программы, которое было целиком отведено нашему студенческому джаз-оркестру. Особенно понравилась песня «Парень кудрявый» в исполнении солистки нашего джаза, студентки 3-го курса Ольги Василеги. Эта стройная, высокая девушка с голубыми глазами и светлыми, как лен, волосами обладала чудесным сопрано. Когда она пела «Парень кудрявый, статный и бравый...», то поворачивалась к руководителю джаз-оркестра Илье Богуславцу, — лысому, мешковатому, почти на голову ниже ее студенту, полной противоположности того героя, о котором шла речь в песне. Хороший голос Ольги, слова, мелодия и манера исполнения вызывали добрые улыбки на лицах и искреннюю благодарность публики. Много интересных песен и мелодий исполнил джаз в тот вечер. Десятки острот и незлобивых реплик отпустил я, как конферансье, в адрес присутствовавших в порядке импровизации и из домашних заготовок. Неоднократно в ответ на шутку меня награждали аплодисментами. Однако все это не спасло меня от привкуса дегтя, ложку которого я с помощью Абрама Тилимзагера сунул в бочонок меда. Не спасло и от нагоняя, который я получил на очередном заседании комитета комсомола за «халатность» и свою доброту. При этом самым обидным было то, что «покровители» артиста тоже обвинили меня в самодеятельности и своеволии.

#### **4. Одно из приключений кандидата в майоры Пронины**

На жизненном пути бывает иногда, что встречаются такие крутые повороты, которые в корне меняют всю дальнейшую судьбу человека.

В сказке куда легче.

Идет или едет на коне путник свою судьбу искать, и вдруг, перед тем, как дороге разойтись на три стороны, стоит камень, на котором написано, что путника ждет впереди: пойдешь налево — найдешь то-то и то-то, пойдешь прямо — найдешь другое, пойдешь направо — найдешь третье... В общем, выбирай судьбу-дорогу и иди по ней не сворачивая.

А в жизни гораздо труднее выбирать дорогу, так как чаще всего не знаешь, куда эта дорога, в конце концов, приведет.

Один из таких узловых моментов, когда нужно было решать, куда идти, по какой дороге, как быть дальше, встал передо мной на первом курсе института, буквально через два-три месяца

после начала учебного года. Нужно было на что-то решаться, тем более что назревала расплата за пассивность в учебе — зимняя сессия.

Началось все с того, что на одну из лекций по военному делу в аудиторию вошли два незнакомых человека: один постарше, другой помоложе. Они уселись сзади за свободный стол.

Наш военрук начал читать свою лекцию не с фосгена или дифосгена, на которых остановился прошлый раз, а с того, какое громадное значение в военном деле имеет зрительная память и изображение увиденного по памяти на бумаге. Он подчеркнул, что для разведчика всегда одним из главных условий была хорошая зрительная память. Затем, выдержав паузу, продолжил:

— Сейчас для проверки вашей зрительной памяти мы проведем небольшой эксперимент в два этапа.

Первый этап. Военрук предложил каждому из сидящих в аудитории ребят изобразить на листе бумаги входные двери института и стены физлаборатории со всеми таблицами и прочим, что на них навешано, наклеено и прибито. В качестве судей он пригласил к своему столу сидевших сзади двух незнакомцев.

Примерно через десять минут военрук попросил нас на листках с выполненным заданием написать свою фамилию и номер группы, собрал их и отдал судьям. Судьи минут пять-шесть просматривали наши листы, сличали с оригиналами, что-то перечеркивали, записывали в свои блокноты и красным карандашом подчеркивали в журнале. Потом дали список лучших работ военруку. Тот зачитал восемь фамилий, в том числе и мою. Затем попросил названных товарищей подойти к столу и повернуться к сидящим в аудитории лицом.

— Эти студенты, — указал он на восьмерых стоящих у стола, — отобраны нами для прохождения второго этапа по проверке зрительной памяти.

Второй этап. Нам велели внимательно посмотреть на сидящих, обстановку и предметы, окружающие студентов в аудитории. Так в абсолютной тишине нас продержали с вылезающими от напряжения из орбит глазами, старающимися все впитать в себя, минуты три... и выдворили за дверь.

Через некоторое время начали по одному вызывать и задавать один и тот же вопрос:

— Назовите, какие изменения произошли в аудитории за время вашего отсутствия.

Подопытные рассказывали: кто куда пересел, кто изменил прическу, снял пиджак или галстук, какой снят плакат, в каком окне открыта форточка и т. д. Так по очереди опросили всех восьмерых отобранных для второго этапа студентов. Судьи опять что-то тщательно записывали себе в блокноты и отмечали в журнале...

Не помню сейчас точно фамилии парня, который стал победителем этой необычной викторины. Кажется, это был Николай Касаткин, который заметил даже незначительно изменившуюся прическу на голове у девушки.

Тем не менее, я вошел в число студентов с отличной зрительной памятью.

Прозвенел звонок, мы разошлись. На том дело и кончилось. Прошло несколько дней после описанных событий, в общем, незначительных, и за повседневными хлопотами и бурной общественной деятельностью я совершенно забыл о них, как вдруг получаю... повестку из военкомата!

Явился.

Там я встретил еще человек пятнадцать из нашего и человек шесть из педагогического институтов. Это были студенты, прибывшие, как и я, по повесткам. Никто из нас не знал, по какому поводу мы вызваны, да особого интереса мы и не проявляли, потому что в военкомат нас вызывали довольно часто: то на медкомиссию для очередной проверки здоровья и определения ВУСа, то для бронирования, то для распространения повесток призывникам и т. д.

В назначенное время нас пригласили в кабинет облвоенкома. Он напомнил, что мы — лица призывного возраста. В армию до сей поры не взяты только потому, что поступили и учимся в вузе. Но если потребует обстановка, то любого из нас могут призвать и, очевидно, вскоре это сделают.

Потом облвоенком дал слово председателю Одесского секретного училища и попросил, чтобы содержание нашей беседы не записывалось и не разглашалось, в чем мы должны расписаться перед уходом из этого кабинета.

Представитель ОСУ в форме майора НКВД оказался одним из «судий», присутствовавших на лекции по военному делу, когда наш военрук «компостировал мозги» с определением лучшей зрительной памяти. Тут же сидел и второй «судия» в форме лейтенанта. Глядя на них, я кое о чем начал догадываться.

Майор коротко рассказал о международной обстановке. Напомнил, что мы — единственная страна социализма, находящаяся в капиталистическом окружении, что враги наши постоянно засылают к нам своих агентов, шпионов и диверсантов для подрывной деятельности. Наши пограничники многих обезвреживают на границе, но все-таки часть шпионов просачивается на территорию СССР. Вербуют и у нас в Союзе шпионов из ненадежных элементов, готовых за деньги продать свою Родину. С такими необходимо и приходится бороться нашей контрразведке. Кроме того, нам необходимо знать, что делается в стане врага, для того, чтобы своевременно его обезвредить. Это входит уже в задачу нашей, советской, разведки. Таких людей, таких патриотов-разведчиков готовит ОСУ — Одесское секретное училище. Заканчивая, он выразил уверенность, что мы — люди образованные, владеющие иностранными языками, обладающие хорошей зрительной памятью, неплохо успевающие в учебе, подходим для службы в советской разведке и добровольно запишемся в ОСУ.

После майора выступил лейтенант — выпускник ОСУ. Этот был гораздо младше предыдущего товарища, и, если майор держался с достоинством и говорил спокойным приглушенным баритоном, то лейтенант горячился, и из него так и выпирали юношеский романтизм с примесью некоторого бахвальства и авантюризма.

Он спросил, читали ли мы «Приключения из жизни майора Пронина» (в то время указанная повесть печаталась в нескольких номерах журнала «Огонек» и пользовалась большой популярностью). Получив утвердительный ответ, он сказал:

— Таких людей, как майор Пронин, выпускает ОСУ!

Далее из рассказа лейтенанта мы поняли, что, кроме общеобразовательных дисциплин, необходимо изучать и знать, как родной, один из иностранных языков, назубок знать топографию и радиотехнику, владеть прекрасно любым видом радиоаппаратуры, стрелкового оружия и приемами джиу-джитсу.

Разговорившись, лейтенант решил поразить наше воображение рассказом о том, как проводятся у них курсовые и дипломные работы. Майор попытался прервать словоохотливого лейтенанта, но тот разговорился, и, видимо, не собирался скоро остановиться. В этом болтуне я никак не мог себе представить выпускника ОСУ.

Так вот, лейтенант нам поведал, что задание состоит в том, что дипломнику, будущему разведчику или контрразведчику, поручается узнать и по определенному шифру передать в училище секретные данные по какому-либо объекту: заводу, учреждению, железнодорожному узлу, порту и т.д. Поскольку на таких объектах работала, как правило, государственная контрразведка, не осведомленная заранее о дипломниках и «мнимых шпионах», то последствия нередко были плачевными для одной из сторон. Или студент проваливался, ждал, пока его вытянут из рук органов, и получал «неуд», или передавал данные, получал «отл.», а контрразведчик и администрация в лучшем случае «летели» со своих постов.

А ведь это только училище — цветочки... а ягодки?

Такова была обратная сторона медали романтических приключений майора Пронина.

Когда я расписывался за «неразглашение», мне вручили бланки анкет на восьми листах в пяти экземплярах и попросили в ближайшие три дня вернуть их заполненными и заверенными необходимыми подписями. За мою благонадежность и правдивость должны были поручиться два члена ВКП(б) и четыре члена ВЛКСМ.

Необходимое количество подписей я собрал. В числе поручителей мои анкеты подписали моя бывшая директриса школы Любовь Марковна Файнишевская и ругавшая меня за халатность комсорг института Фруза. И, тем не менее, я колебался, не знал, что делать, и поделиться ни с кем не имел права, кроме своих «товарищей по несчастью».

После долгих размышлений и взвешиваний всех «за и против» я решил не сдавать анкеты и не поступать в ОСУ, а продолжать учиться в ЗМИ. Вскоре я получил повестку в военкомат, куда надлежало явиться с документами (имелись в виду анкеты). Явились я и еще четверо студентов из моей группы, неудачные кандидаты в майоры Пронины.

Когда мы сказали, что решили не поступать в ОСУ, начальник спецотдела военкомата обвинил нас в дезертирстве и уклонении от выполнения своего воинского долга. О том, что нам говорили при первой встрече, что поступление в училище — дело сугубо личное и добровольное, речь уже не шла.

Через пару дней нас начали вызывать в спецчасть военкомата по одному. В конце концов, из нашей пятерки двое уехали в Одессу, а трое остались продолжать учебу в ЗМИ.

Остался и я, хотя нервы мне продолжали мотать-трепать настойчиво и очень долго.

О дальнейшей судьбе тех двоих «разведчиков» я ничего не знаю, так как больше их не встречал, а фамилии забыл начисто.

...Странно, согласись я тогда, на исходе 1940 года, поехать в Одессу, и писал бы я совсем другие воспоминания, а может быть, вовсе не писал бы, а лежал тихо в далекой чужой стране.

Одно я знаю точно: это был бы совсем другой, в корне отличающийся от моего нынешнего, жизненный путь.

## 5. Безнадежная «надежда» ЗМИ

Перед новогодним праздником я получил первое письмо из Перемышля. Привычным размашистым почерком Борька Литинский живописал свои армейские будни, сдабривая письмо лозунгами и цитатами из высказываний классиков марксизма-ленинизма и знаменитых полководцев всех времен и народов от Ромула до наших дней.

Из письма товарища я понял, что солдатская жизнь хотя и нелегкая, но ему она по плечу и даже нравится. Марш-броски по двадцать пять — тридцать километров в полном обмундировании ему под силу. А вот Пине Писаревскому, всегда державшемуся (даже в десятом классе) за мамину юбку, очень тяжело привыкнуть к армейским порядкам. За свою нерасторопность Пина все время служит объектом издевательств старшины и насмешек некоторых солдат. Сейчас, думая о Пине в солдатской форме, я вспоминаю стихотворение Владимира Семенова «Доцент»:

Он был беспомощно-смешон в строю:  
Как поварской колпак, сидит пилотка,  
Похожая на длинную змею,  
В пыли дорожной тянется обмотка.  
И кто-то, придавив ее ногой,  
Кричит сердито: — Снова спишь, ворона!

В конце своего солдатского письма Борис передавал привет мне и всем одноклассникам от Вовы Педана, Валика Ушакова, Давида Заеца, Пины Писаревского и других школьных товарищей.

Еще я понял, прочитав письмо Бориса, что друзья не подведут нас, что они прилежно учатся воевать и всегда готовы отразить нападение любого врага, который осмелится посягнуть на нашу священную Родину. Причем выполняют свой долг наши ребята «малой кровью, могучим ударом»...

Я ответил Борьке и остальным от имени всех учащихся со мной в ЗМИ бывших школьников, рассказал о наших повседневных студенческих буднях и попросил прислать фотографии его и товарищей — наших храбрых воинов Красной Армии.

Незаметно подкрался Новый год — 1941-й.

Я встретил его в кругу новых друзей и знакомых, с которыми свела судьба в институте. Мы поднимали пенящиеся бокалы и провозглашали тосты за счастливое будущее, за мир на земле, за инженеров-машиностроителей, за своих товарищей, которые охраняют покой нашей Родины на западной границе. Дружно исполнили студенческий гимн «Гаудеамус» и веселую песенку:

Студент бывает весел  
От сессии до сессии,  
А сессия всего два раза в год...

...Наступил 1941-й год.

Процедура с Одесским СУ и моей карьерой «разведчика» продолжалась до середины января нового года, то есть дотянулась до зимней сессии.

Периодические вызовы в военкомат, вольное посещение лекций, левые работы в бригаде Николая Вязовского, общественная деятельность и спорт выбили меня окончательно из колеи: я вообще забросил учебу и теперь стал надеяться только на авось.

Кое-как выполнив лабораторные работы по физике, химии, задачи по начерталке и чертежи, сдав зачеты, я выбрался на финишную прямую — последнюю стометровку, по которой мне предстояло пробежать, преодолевая барьеры, именуемые экзаменами.

Я не тешил себя надеждой, что хорошо сдам предстоящие четыре экзамена и сохраню за собой стипендию, так как мои знания по предметам остались на уровне десятилетки. А то, что мне ежедневно пытались преподнести на лекциях, прошло мимо. Вернее, я проплыл мимо, ничего не почерпнув из глубины знаний, разве только кое-что на поверхности наук, за те немногочисленные часы, которые я обязан был сидеть в аудиториях согласно нами же составленному графику. С таким зыбким фундаментом я подошел к зимней сессии.

Послав все прочие дела к чертям, я усиленно начал готовиться к каждому экзамену. Но разве можно усвоить за два-три дня то, что читалось полгода? Ходила по институту легенда, что студенту достаточно суток, в течение которых он может освоить китайский...

Сдача экзаменов по высшей математике для меня проходила, как тяжелые роды. Педантичный Козловский, несмотря на мои ухищрения, утопил бы меня на первом же вопросе, если б не Леонов, который, будучи в комиссии, вытянул меня из математической трясины буквально за уши. Он тянул меня, как у Корнея Чуковского тянули бегемота из болота, несмотря на то, что для Леонова это тоже была «нелегкая работа». Возможно, Леонов хорошо меня запомнил по вступительным экзаменам и надеялся, что из меня все-таки будет толк. Козловский, в конце концов, поставил «три», но при этом заметил:

— Мы на вас очень надеялись, а вы...

По физике и химии я получил «четыре», однако, к моему стыду и огорчению, преподаватели почти слово в слово повторили то же, что сказал Козловский. Последний экзамен я сдал на «три» и окончательно лишил себя надежды на стипендию, а профессорско-преподавательский состав института — надежды на отличного студента-стипендиата.

Вспомнив знаменитое изречение великого комбинатора в эпилоге «Золотого тельца» — «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется перекалываться в управдомы», — я решил после каникул попробовать свои силы на студенческой драматической сцене.

...Зимняя сессия осталась позади.

Мне было глубоко безразлично, с какими оценками я закончил первое полугодие, и то, что не оправдал прогноз и надежды ученого совета. После сессии я был буквально как выжатый лимон, и мне хотелось только одного — расслабиться и развеселиться.

На период зимних каникул в Запорожье съехались студенты, девчата и ребята, бывшие соученики по школе. Перевелись в ЗМИ, не выдержав скитальческих условий студенческого общежития, Люба Баш, Таня Фрумгарц и Миша Орлов, проучившиеся 1-й семестр в г. Харькове. Прибыло пополнение студентов-запорожцев из других городов и технических вузов, бывших учеников нашей и других школ города. И пошло...

Мы встречались ежедневно. Новостей из студенческой жизни было предостаточно, особенно у тех ребят, которые жили в общежитии. По вечерам на чьей-нибудь квартире мы собирались, как и прежде, устраивали танцы, а однажды забрели в театр своим бывшим, наполовину поредевшим классом.

Достались нам билеты в первый ряд балкона. Мы заполнили полряда до прохода. На другой половине ряда у прохода разместились только Муська Колтунов с Женей Абрамович.

Муха сел с краю задолго до звонка.

Прозвенел звонок. Публика начала спешно занимать места. Естественно, у кого был первый ряд балкона, не могли пройти на свое место, не потревожив Муську Колтунова. А этот хлюст, чтобы не вставать, брал двумя руками свою правую ногу выше колена, с трудом отрывал ее от пола, и, корча рожу, поворачивал ее в проход. Потом приставлял к правой ноге левую и после этого поворачивался всем корпусом, давая пройти растерявшемуся и извиняющемуся за то, что потревожил «инвалида», зрителю. Эта процедура с перемещением «негнувшейся» ноги туда и обратно повторялась до тех пор, пока в первом левом ряду балкона не осталось никого, кроме Мухи и Жени.

Так весело и почти безмятежно, беззаботно, в кругу своих школьных товарищей я провел зимние каникулы, которые промчались как один, надолго запомнившийся день.

...Смущало единственное — это то, что я был лишен стипендии. Но и тут выход нашелся: Коля Вязовский подыскал для своей бригады почти постоянные заработки, которые компенсировали стипендию, оставляя навар для «субботников». Таким образом, родители не заметили, как обычно, что у их сына дела на ниве просвещения идут далеко не блестяще.

Выходило так, что я не оправдал надежд не только ЗМИ, но и своих родителей.

А если разобраться, то я стал нормальным студентом того времени, даже не совсем, так как «хвостов» у меня, слава Богу, не было.

## **6. На студенческой сцене**

Я уже писал, что не стал делать трагедии из сложившейся ситуации, и после зимних каникул, едва переступив порог института, записался в драматический кружок. Вот такая получилась комедия.

Даже сейчас, по прошествии стольких лет, не пойму, что меня побудило ступить на стезю именно артиста студенческого самодеятельного театра. Очевидно, все-таки, к этому подтолкнуло знакомство и дружба с первокурсником из параллельной группы Абрамом Фриманом. Это был высокий, широкоплечий, интересный юноша с крупными чертами лица, прекрасно разбиравшийся в литературе, живописи и театральном искусстве. В ЗМИ он поступил совершенно случайно, чтобы не терять год после неудачной попытки поступления в МИФЛИ. Его настоящим призванием были театр и литература.

На почве любви к литературе мы сошлись: два человека, противоположных внешне и сходных по внутреннему духовному содержанию.

Благодаря неутомимой энергии и инициативе Абрама Фримана в институте был организован драматический кружок. Для руководства им пригласили Заслуженную артистку УССР из театра им. Заньковецкой, милую молодую женщину, энтузиастку своего дела — Надежду Доценко.

Наш кружок состоял из студентов второго и первого курсов.

Еще в школе у меня появилось желание играть на сцене, как Федя Подольный или Абрам Тилимзагер, но, трезво оценив свои способности, я смело отверг эти притязания. А в институте не смог отказаться от соблазна выступать на подмостках. Артист, конечно, из меня не получился, но воспоминания от посещения драмкружка, кружковцев, увлекательных репетиций и игры остались самые светлые и добрые.

На занятиях драмкружка Надежда Доценко читала нам рассказы о театре, знакомила с театрами Шекспира и Мольера, с жизнью и деятельностью выдающихся актеров, со Станиславским и его системой. Там, на кружке, мы долго думали и спорили над репертуаром своего театрального коллектива.

В конце концов остановились на пьесе испанского драматурга XVII в. Лопе де Вега «Собака на сене» и его коллеге — итальянском драматурге XVIII в. Карло Гольдони и его комедии «Слуга двух господ». Обсудили каждое действующее лицо. Потом распределили роли. На роль графини Дианы де Бельфлор была утверждена студентка второго курса Валечка Бихтеева, ее секретаря и управляющего Теодоро — Абрам Фриман; графом Федерико был Валька Ключев, а графом Лодовико — Амка Сериков. Я получил роль разбойника Фурье.

Наша Диана — Валечка Бихтеева — была прекрасной девушкой. В ней сфокусировалось все, что необходимо было иметь актрисе: отличная фигура, открытое красивое лицо, безукоризненная дикция, девичья чистота и целомудрие в сочетании с личным человеческим обаянием.

Не уступал ей в своих мужских качествах и достоинствах Абрам Фриман. Вообще эта пара стала центром нашей артистической солнечной системы, вокруг которой на разных орбитах вращались мы — планеты, лишь отражавшие свет наших «звезд».

С каждой репетицией Валя и Абрам играли все лучше и лучше, увлекательнее и правдивее, и ни у кого из наблюдавших за их игрой не вызвали сомнений искренность чувств Дианы к Теодоро и наоборот. Когда Теодоро произносил:

— Я уезжаю в дальний путь,  
Но сердце с Вами остается... —

мы поражались голосу, интонации, одухотворенности и той гамме чувств, которые звучали в этих двух строчках, полных нежности и трепетного признания.

Вскоре мы поняли, что движет столь натуральной игрой Дианы и Теодоро: на наших глазах рождалась и с каждым днем росла и крепла большая любовь.

Надежда Доценко, наш главный режиссер и художественный руководитель, строила свое руководство на демократических принципах. Она не зажимала критики даже в свой адрес, поддерживала инициативу и импровизацию кружковцев, не допуская лишь искажения смысла и содержания реплик. Так, Абрам Фриман использовал для Теодоро известную песенку «Певница за сценой». За минуту до выхода он начинал и, появляясь перед Дианой, смущенно заканчивал:

— Ветер листья чуть колышет,  
Серебрится диск луны.  
Ночью нас никто не слышит,  
Все мы страстно влюблены...

Эта песня прекрасно вписывалась в пьесу.

Я, выступая в роли одного из наемных убийц, с которыми отвергнутые женихи Дианы ведут в харчевне тайные переговоры об убийстве Теодоро, по собственной инициативе использовал очень мелодичную песенку композитора Тихона Хренникова:

— С треском лопаются почки:  
Трах, бах, трам, бам!  
Пляшут пьяные у бочки —  
Эх, весело было там!

Эта незатейливая песенка и пляска трех разбойников с пьяной удалью вокруг стола с пивными кружками в руках тоже здорово вписалась в ход событий, и незначительная, казалось бы, роль запомнилась и украсила пьесу. Нам аплодировали и даже вызывали на бис.

«Собака на сене» была встречена зрителем восторженно. Мы играли ее в своем институте, педагогическом, на сцене театра им. Заньковецкой, в клубах заводов им. Баранова, «Металлист», ПРЗ и ДАЗ. С каждой постановкой росла уверенность, мастерство исполнения, успех и известность.

Разумеется, больше других заслуженные лавры пожинали герои, Валентина и Абрам — Диана и Теодоро, наша замечательная пара, которых я от всей души любил и перед игрой которых преклонялся.

Окрыленные первым успехом, драмкружковцы приступили к репетиции и усердной работе над пьесой «Слуга двух господ». Здесь заглавная роль слуги Труффальдино была поручена студенту первого курса Амке Страхову — пройдохе по натуре, чем-то напоминавшему своего героя. Вале досталась роль Беатриче Распони, Абраму — роль Флориндо Арстузи, возлюбленного Беатриче. Мне довелось играть Панталоне де Бизаньоza, венецианского купца, отца Клариче.

В этой пьесе, как и в предыдущей, не обошлось без инициативы и выдумки. Каждый по мере продвижения от репетиции к репетиции, придумывал для своего героя что-нибудь интересное: песню, походку, речь, манеры поведения и другие детали, по возможности лучше характеризующие и подчеркивающие слова и действия героя.

Я, играя Панталоне де Бизаньоza, старался внешним видом, занудным голосом и прихрамывающей походкой подражать деду Поплавскому — преподавателю черчения. Ребята потом говорили, что в своих стараниях я достиг успеха: глядя на венецианского купца, студенты без труда узнавали своего въедливого Польшау.

«Слугу двух господ» мы играл не менее десяти раз. Эта комедия также хорошо принималась, но, что греха таить, с меньшим успехом, чем «Собака на сене», поэтому милая и энергичная Надежда Доценко заставляла нас думать и придумывать, повторять репетицию за репетицией, искать и совершенствовать игру, улучшать саму пьесу.

Надежда Доценко нас многому научила. Сужу по себе. Теперь, посещая театр, я смотрел на игру актеров другими глазами, замечал удачи и неудачи, представлял себя в роли того или иного героя, старался понять его характер и придумать для него какие-либо характерные, достоверные черты.

И все-таки, несмотря на мое увлечение драмкружком и театром, играл я слабовато, а по сравнению с Абрамом Фриманом и Валею Бихтеевой — вообще никудышне. Эта пара была вне конкуренции. Казалось, самым Всевышним им уготовано стать большими актерами. Однако судьба распорядилась совсем по-другому...

Они продолжали страстно любить друг друга. После каждого спектакля и репетиции он провожал ее домой на Южный поселок, а потом возвращался к себе на противоположный конец города на 6-й поселок. Однажды парни Южного поселка выследили «чужака», провожавшего «их девушку», и избили его до полусмерти. Он отлежался в больнице, подлечился и снова упорно продолжал провожать свою избранницу. В ту пору ему было восемнадцать, а ей около двадцати лет. Они решили пожениться, так как уже не могли жить друг без друга. Ее родители были категорически против...

И тут началась война — Великая Отечественная война.

Они в тайне от ее родителей расписались. Вскоре Абрама забрали в армию, а Валя с его родителями, вопреки воле своих, эвакуировалась на Урал. Там в 1942 г. она родила дочь.

В конце 1943 года пришел солдат с фронта: с руками и ногами, но совершенно глухой. Валя продолжала любить его и такого, только еще более самоотверженно и нежно. Вскоре они вернулись в освобожденный город своего детства. О театре не могло быть и речи: Валя родила второго ребенка, нужно было содержать семью. Молодой супруг пошел работать в типографию, а через год поступил на заочное отделение Московского университета, на факультет журналистики. Так он нашел свое призвание журналиста.

Валюшу и Абрама я встретил в 1947 году. У них уже было двое детей, он работал собственным корреспондентом газеты «Индустриальное Запорожье», а она поступила на заочное отделение Машиностроительного института.



Потом — пошло, поехало...

Мы встретились уже в 1965 году, когда он стал известным в городе журналистом, заведующим идеологическим отделом областной газеты. Но время не изменило его характер: Абрам был таким же милым, скромным человеком, как и 26 лет назад. Глухота его не проходила, при встрече он разговаривал с собеседником, все так же прикладывая согнутую в раструб ладонь к уху, и стеснительно, как бы извиняясь, подбадривающе улыбался говорившему.

В 1973 году мы встретились с Абрашей, когда Вали уже не было в живых. Горе неизмеримой утраты выражалось в облике этого человека. Он понимал, что без нее ему долго не протянуть, и торопился поставить памятник своей незабвенной подруге. Я принял горячее участие в его хлопотах, так как памятник изготавливали на одном из подчиненных нашему объединению гранитных карьеров.

На надгробной плите Абрам Фриман написал эпитафию от себя и детей:

Любила ты,  
И так, как ты, любить,  
Нет, никому еще не удавалось.  
О, как смогли мы это пережить  
И сердце на куски не разорвалось?

Это была его последняя, лебединая песня. Вскоре он умер, пережив свою подругу на два года. Они лежат рядом — он и она, Диана и Теодоро. Теперь судьба объединила их навеки.

Около похоронена дочь Стелла — плод их трепетной и нежной любви. Дочь всего на три года пережила своего отца...

...В мае 1941 года занятия драмкружка и наши выступления на сцене пришлось временно приостановить, до следующего учебного года, так как в вузах страны началась горячая пора — пора подготовки к зачетам и летней сессии.

Наступал решающий период для студентов.

## **7. Приглашенный билет**

В двадцатых числах мая я получил второе письмо от Бориса Литинского из Перемышля. Мой друг писал, что его, Давида Заеца и еще целый ряд знакомых товарищей переводят в авиационное училище в г. Оршу. Он был очень горд и доволен, что станет летчиком и, наконец, сможет проявить себя как личность. Читая его письмо, я даже представлял себе Борьку рядом с такими выдающимися летчиками, как Валерий Чкалов и Владимир Коккинаки.

Борис сообщал, что Пину Писаревского родной дядя, полковник по званию, перевел к себе в Киевский военный округ. Я был искренне рад за парня, потому что вблизи от границы переносить постоянные учения и тревоги изнеженному, незакаленному Пине было очень трудно, и он был на грани отчаяния.

В письмо была вложена фотография, с которой на меня глядел молодцеватый девятнадцатилетний боец Красной армии, в буденовке и гимнастерке с петлицами артиллериста. Заканчивая, Борис просил, чтобы я воздержался от ответа до его прибытия по месту назначения, о чем обещал сразу же сообщить и прислать новый адрес.

Это было последнее письмо от товарища, которое я получил в мирное время, накануне грандиозной битвы с фашизмом. До нее оставалось меньше месяца.

Вскоре начались зачеты.

Эта суматошная пора хорошо знакома всем студентам. Обязательно, даже у самых прилежных, в последний момент обнаруживается, что какая-то из лабораторных работ не выполнена, или, того хуже, не сдана задача по начертательной геометрии и т.д. Все носятся, как угорелые, высунув языки, глаза навыкате, по корпусам, коридорам, лабораториям и аудиториям института с зачетками в руках, в поисках нужного преподавателя, как на грех, исчезнувшего куда-то. Чем ближе сессия, тем скорость этой беготни увеличивается и достигает своего апогея к двенадцати часам полуночи перед днем экзаменов. В эту кульминационную ночь даже самый упрямый преподаватель, наконец, сдается и ставит измученному, но счастливому студенту долгожданное и выстраданное «зачтено».

Наступает временное затишье — передышка или штиль перед бурей, именуемой сессией.

В такое сравнительно спокойное время после летних зачетов я и мои бывшие соученики по школе получили билеты следующего содержания:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!

#### ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Уважаемый товарищ Нейштадт М.И.

Дирекция, МК, комсомольская организация и родительский комитет 4-й СШ им. Горького приглашает Вас принять участие в вечере, посвященном 6-му выпуску 10-х классов.

Вечер состоится 21 июня 1941 года, в здании 4-й СШ, Гоголевская, 57, в 9 часов вечера. Дирекция».

Оригинал этого документа уникален. Он отпечатан типографией «Коммунар» тиражом в 350 экземпляров. Случайно я наткнулся на него у моего давнего школьного товарища Николая Куца, который его сохранил.

К девяти часам вечера, надев свой выходной коверкотовый костюм, я прибыл в школу.

Мы, бывшие выпускники, были встречены Любовью Марковной Файзишевской у порога и препровождены в актовый зал, как почетные гости.

Играла музыка. Около сдвинутых и стоявших в два ряда у противоположных стен зала столов суетились с последними приготовлениями родители выпускников. Посередине танцевали празднично одетые десятиклассники — мальчишки и девчонки.

В 9.30, когда все, наконец, расселись по местам, перед собравшимися выступила с торжественной речью директор школы — Любовь Марковна.

Потом были вручены выпускникам и тут же переданы родителям аттестационные свидетельства об окончании десятилетней средней школы.

С ответным словом от имени выпускников выступил комсорг школы Марк Кригер.

Радостно и вместе с тем печально от близкого расставания звучали его слова благодарности своим учителям, которые отдали десять лет своей жизни, чтобы из безропотных, беззащитных семилетних детишек воспитать сильных, выносливых и грамотных граждан Советского Союза.

Перешли к тостам за мир, за дружбу, за любовь, за будущее и т.д.

Как обычно, на таких многолюдных вечерах звенели бокалы, ножи, вилки, и, перекрывая их звон, голоса возбужденных выпускников и приглашенных из 5-го выпуска гостей, таких же молодых, как и хозяйева бала.

Ребята-выпускники, стараясь каким-то образом показать, что они уже вышли из-под контроля старших, пили, не стесняясь учителей, шампанское и выбегали в коридор покурить. Пуская из ноздрей дым, они оглядывались на реакцию девушек и были в своей важности похожи на молодых индючков, которые пока только и умели, что надуваться при виде соперников и индюшек, — не более.

Один из таких выпускников — хулиганистый Шурка Волков, набравшись шампанского и накурившись, вышел во двор школы и затеял ссору с кем-то из товарищей. Назревала драка. Предупрежденная об инциденте Любовь Марковна подскочила к ссорящимся и, растаскивая их в разные стороны, закричала:

— Волков, прекрати! Ты меня десять лет мучаешь! Как тебе не стыдно?

Наш «герой», неисправимый двоечник и забияка, на это замечание бесцеремонно ответил:

— Не кричите, вы мне больше не директор...

Потрясенная Любовь Марковна все-таки доказала Волкову, что она, хотя и перестала быть его директором, но осталась директором школы, и при помощи учеников и родителей выдворила зарвавшегося выпускника за границу своих владений.

Последний тост был провозглашен за здоровье будущих офицеров Красной Армии — Турчина и Туровского, сразу же после бала отбывавших в военное училище. Все вышли проводить их за ворота школы.

Потом, не нарушая сложившейся традиции, мы направились через Дубовую рощу к Днепру — встречать рассвет.

«Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось.  
Кто знал, что между миром и войной  
Всего каких-то пять минут осталось!»  
(С. Щипачев).

Ничего не подозревая и не предчувствуя, мы шли навстречу солнцу, смеялись, вспоминая комичные ситуации из школьной жизни, пели любимые песни.

Было 4 ч. 00 минут, воскресенье, 22 июня 1941 года.

В это время уже падали немецкие снаряды и бомбы на нашу землю, разрушая дома и разрывая на куски мирную жизнь и тела первых жертв внезапного нападения.

В это время в Перемышле, где были Валентин Ушаков и Владимир Педан, в Бирче, где служил Евгений Гаскин, и по всей западной границе, где служили мои школьные товарищи, уже шли упорные бои между вооруженными до зубов фашистскими ордами и войсками Красной Армии.

Лилась людская кровь.

В этот день в 12 ч. 00 мин. я услышал по радио выступление Народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии. До сих пор в памяти звучат заключительные слова его выступления:

— Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

В тот же день, 22 июня, я помчался в институт. Там собрались почти все преподаватели и студенты, находившиеся в воскресенье в городе. После короткого митинга мы стали выносить из аудиторий и лабораторных кабинетов столы и оборудование, клеить крест-накрест окна бумагой.

Так же, как когда-то школа, здание института отдавалось и срочно переоборудовалось под тыловую госпиталь. Институт временно переезжал на 6-й поселок в 30-ю школу. Сессию я сдавал уже в этой средней школе.

Сдавать приходилось в промежутках между рытьем щелей укрытия и тревогами. Часто получалось так: вытянешь билет, сядешь к столу обдумывать вопросы, а в это время начинает звучать тревога. С билетом, карандашом, клочком бумаги и учебниками нужно идти в бомбоубежище или щель и там записывать ответы не без помощи прихваченного подсобного материала...

После отбоя воздушной тревоги снова собирались в аудитории. Экзамен продолжался...

Преподаватели понимали ситуацию, учитывали, что большинству из нас, может быть, уже завтра предстоит взять в руки оружие, поэтому, не будучи формалистами, спрашивали:

— Кого устраивает тройка?

Студентам, от которых получали согласие, ставили оценку в зачетку, не задавая больше вопросов, и отпускали с Богом. Остальных, претендовавших на более высокие оценки, подвергали снисходительному опросу и тоже отпускали без лишней канители.

Лишь один неисправимый педант-математик Козловский расспрашивал от начала и до конца ответы по билету и задавал дополнительные вопросы, чтобы, упаси Боже, студент не получил оценку выше, чем он того заслуживает. Даже воздушные тревоги не нарушали принятого им распорядка. Отсидев до отбоя в бомбоубежище, он заходил в аудиторию такой же аккуратный и прилизанный, как до тревоги, и, как ни в чем не бывало, заставлял тянуть новые билеты, отбирая старые.

Так, в основном на «тройки», я закончил 1-й курс Запорожского машиностроительного института и стал с нетерпением ожидать повестку в Военкомат...

Мирная жизнь, которая была для меня таким же само собой разумеющимся фактом, как и воздух, которого не замечаешь, но без которого не мыслишь существования, — оборвалась.

Наступила новая, кроваво-черная полоса истории, которая дала новую систему отсчета: «ДО ВОЙНЫ» и «ПОСЛЕ ВОЙНЫ».

\* \* \*

В первых числах июля отец на грузовой машине выезжал в командировку от своего учреждения в г. Днепропетровск. Поскольку я маялся в ожидании повестки, мать уговорила отца взять меня с собой и поручила передать письмо и кое-что из вещей своей племяннице Соне.

Так я оказался на окраине г. Днепропетровска в Новых Кайдаках на 5-м этаже в двухкомнатной квартире. Отец отправился по своим делам, а я остался с двоюродной сестрой, к которой относился, как к тетушке, потому что она была на пятнадцать лет меня старше. Соня накормила меня и решила показать город, в котором я до того ни разу не был.

Она вышла со мной из квартиры, дверь захлопнулась, мы пошли вниз по ступенькам. Во дворе сестра вдруг раскрыла сумочку и поспешно начала извлекать из нее содержимое. Добравшись до дна, заявила:

— Так и есть. Я оставила ключи дома! Теперь не попадем в квартиру, пока Семен не придет с работы.

Я посмотрел вверх. До пятого этажа было метров двадцать, а может быть, и больше, так как дом был старой постройки.

— Где твой балкон? — спросил я.

— Вон он, — показала ничего не подозревавшая Соня, указывая вверх.

Дверь на балконе оказалась, к счастью, открытой. Рядом было окно, в полутора метрах от него поднималась пожарная лестница. И еще: на уровне балкона дом опоясывали через каждый этаж узенькие кирпичные карнизы. Прикинув расстояние от лестницы до балкона, я подошел, ухватился за первую перекладину, подтянулся и полез наверх.

Соня не сразу сообразила, что происходит. Чуть позже, когда поняла мой замысел, вскрикнула, схватилась за голову и закрыла глаза. Я бросил ей в ответ что-то вроде «все равно война» и поднимался все выше и выше, уже не глядя вниз на сестру и на землю, чтобы не закружилась голова.

Вот и карниз — узкая лента кирпича шириной не более пятнадцати сантиметров. Передохнув несколько секунд, я слез с пожарной лестницы на карниз и по нему, цепляясь пальцами за щели меж кирпичами, подобрался к балкону...

Когда я, весело насвистывая, с видомэтакого героя-победителя, спустился вниз по лестнице и, вращая ключ от квартиры на пальце, подошел к Соне, сестра под впечатлением только что пережитого дрожащим голосом произнесла:

— Твоя мама, кажется, была права. Ты родился в рубашке.

Я еще раз глянул вверх на балкон и пожарную лестницу и только сейчас понял, что предпринятое мной мероприятие было довольно опасным трюком и могло плохо кончиться.

Муж Сони в тот день пришел поздно, очень поздно. Его завод эвакуировался на Восток. Семен с Соней также на днях уезжали вслед за заводом...

Утром отец отправил меня с груженной машиной домой, а сам остался еще на день в Днепропетровске.

В Запорожье я приехал к 13-ти часам.

На пороге меня встретила мама, ее красивые голубые глаза были полны невыразимой грусти и слез. Мама молча протянула мне небольшую серую бумажку.

Это была —

#### ПОВЕСТКА

Сталинского городского военного комиссариата.

В этой повестке я прочел следующее:

— Нейштадт Марк Израилевич, 1923 года рождения, проживающий по ул. Жуковского №32.

9.07.41 г. предлагаю Вам явиться в Сталинский горвоенкомат во 2-ю часть, ком. №6.

Быть готовым для отправки в Красную Армию, имея на руках теплую одежду, обувь и две пары белья».

Родная моя, храбрая мама!

Она все успела подготовить призывнику заранее. Сборы были недолгими. Прихватив вещмешок с бельем и продуктами, я отправился в горвоенкомат.

Во второй части забрали у меня новенький паспорт — серии 1-ЯЛ №690144, о чем выдали справку. Все ненужные теперь бумаги я отдал маме.

Вскоре объявили построение.

Нас было немного, человек сорок-пятьдесят студентов из Машиностроительного и Педагогического институтов. К нам подошел начальник 2-й части, сделал перекличку и передал списки мобилизованных молодому лейтенанту в летной форме. Лейтенант объявил, что поедем в Мелитопольское летное училище.

Наскоро попрощавшись с родителями, мы отправились на железнодорожный вокзал.

В пассажирском поезде в одном вагоне и в одном купе со мной сидели бывшие соученики по школе, сокурсники по институту, а теперь сослуживцы: Миша Орлов и Ама Лисин.

Паровоз загудел.

Вагоны закрипели, и состав медленно тронулся в путь.

Солнце скрылось за горизонтом. В купе стемнело.

Впереди была полная неизвестность. Под мерный стук колес мы затянули песню:

«В далекий край товарищ улетает,  
За ним родные ветры вслед летят.  
Любимый город в синей дымке тает,  
Знакомый дом,  
зеленый сад  
и нежный взгляд».

Настроение у меня было пасмурное, какой-то ком сжимал горло. Перед глазами стояло все в слезах лицо матери, с которой я так толком и не попрощался. Отец был в Днепропетровске и не предполагал даже, что его сын так скоро, не дождавсь его, отбудет в армию.

А в вагоне продолжала звучать песня:

Пройдет товарищ все бои и войны,  
Не зная сна, не зная тишины.  
Любимый город может спать спокойно,  
И видеть сны,  
и зеленеть  
среди весны...<sup>1</sup>

*Конец первой книги*

---

<sup>1</sup> В. Долматовский

# 4<sup>й</sup> средней школы им. М. Горького



# 5<sup>й</sup> ВПИУК 10<sup>е</sup> класса



1940



## Глава 5. Идет война народная

### 1. Мелитопольское летное

...Поезд с призывниками, останавливаясь чуть ли не у каждого телеграфного столба, медленно катился по рельсам на юг Украины – Таврию.

А на Западе полыхала война...

Мы, – сидевшие в вагоне, – даже на мгновение не могли себе представить, что враг в это время уже топчет землю Житомирщины, рвется к Смоленску и угрожает колыбели революции – городу Ленинграду.

...Не спалось.

В темном, прокуренном, душном вагоне, лежа на полке, я вспоминал слова товарища Сталина, выступавшего накануне по радио:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, – продолжается...

...Товарищи! Наши силы неисчислимы...

...Все силы народа – на разгром врага!

Вперед, за нашу победу!»<sup>1</sup>

Как кадры киноленты, перед затуманенным взором проносились: родной город... дом... образ отца, с которым так и не попрощался, и снова, в который раз, дорогое лицо плачущей матери, которую я, как мог, успокаивал, когда мы шли с повесткой в военкомат. Я уверял маму, что враг скоро будет изгнан с нашей территории и разгромлен; что мы не успеем окончить летную школу, как наступит Победа. Я даже сожалел, что мы не примем участия в войне и не сумеем лично дать по зубам зарвавшимся фашистам. Мама согласно кивала головой и повторяла: «Дай-то бог... дай-то бог...»

Глядя в ее родные голубые глаза, я понимал, что она хочет мне верить, но опыт человека, пережившего три войны, подсказывает ей, что победа придет нескоро и достанется нелегкой ценой...

На рассвете наш состав прибыл, наконец, на станцию Мелитополь, преодолев расстояние чуть больше ста километров за семь часов. В каком-то тупике, как горох, мы высыпались из вагонов на щебенку и стали разминать отекавшие за ночь от неподвижности конечности и заниматься туалетом.

Неподалеку за путями нас ожидали еще около пятисот таких же, как и мы, чуть раньше прибывших ребят, с вещмешками и чемоданами. Да и наш эшелон за ночь оброс большим пополнением. Теперь мобилизованных насчитывалось не менее тысячи человек.

На перроне нас встретило начальство.

Построились...

Большой колонной пошли к аэродрому, где располагалось летное училище. В тот же день, не теряя времени, нас разбили на отделения и взводы, прикрепили к нам младших командиров. На каждое отделение выдали палатки.

К вечеру около летного поля вырос, как в сказке, палаточный городок: с плацем для построения, посыпанными песком дорожками, огороженными учебными цементными бомбами и с прекрасной спортивной площадкой.

На следующее утро, часиков в пять, нас разбудили, накормили в столовой летным пайком – белыми булочками с маслом и какао, – и повзводно начали катать на тяжелых бомбардировщиках типа ТБ-3.

Самолет этот мне не понравился. В нем вдоль фюзеляжа стояли длинные лавки для десантников, выхлопные газы попадали в салон, и скорость самолета была настолько малой, что мы ползли на нем по кругу в границах города, как черепаха.

Многих этот первый полет оттолкнул от авиации, так как в самолете их тошнило. Один парень из Днепропетровского горного института, Витька Гвоздев, – атлет, прекрасный гимнаст, – после путешествия на ТБ-3 заявил:

<sup>1</sup> И.В. Сталин. Выступление по радио 3-го июля 1941 г.

— В гробу я видел эту авиацию! На земле куда лучше. Слышите? Я с этого дня дальтоник, и точка!

Он действительно не прошел состоявшуюся через два дня медицинскую комиссию (повторную) из-за «дальтонизма». Однако мы знали, что Гвоздев прекрасно разбирался в цветах и даже оттенках.

Эта же медкомиссия установила, что я на один сантиметр не подхожу в летчики и годен только в штурманы. Таким образом, отныне я стал называться: штурман-стрелок-бомбардир-наводчик.

А Мишка Орлов — пилот бомбардировочной авиации.

Мои прогнозы на долгую учебу не оправдались. За неделю штурманы освоили стрельбу из ШКАСа (скорострельного пулемета) на земле, потом в воздухе, теорию бомбометания в дневное и ночное время и приступили к практическим занятиям на самолете Р-5.

Вблизи от нашего палаточного городка, по краям летного поля, в вырытых окопах размещались ШКАСы, зенитки и другие службы ПВО. В одном из таких окопов младшие командиры проводили с нами занятия по стрельбе из ШКАСа. Этот пулемет делал, кажется, до 1800 выстрелов в минуту, т. е. по тридцать пуль вылетало из его ствола ежесекундно. Младший лейтенант, грузин Гогия, который учил нас стрелять, с одного нажатия на гашетку мог выпустить одну-две пули. Я же, при первой пробе, выпустил чуть ли не целую ленту. Потом стал стрелять лучше и выпускал по 5-6 пуль, но не меньше. Впрочем, так же стреляли и остальные курсанты.

Ночные полеты для бомбометания совершались на песчаную косу, образованную лиманом Азовского моря. На косе был очерчен круг, в центре которого стоял шест с зажженной красной лампочкой от карманного фонарика. В эту цель необходимо было попасть ночью с высоты триста-четыре метра цементной бомбой весом около 30 кг. Днем на шесте вывешивалось белое полотнище, что тоже служило опознавательным знаком цели.

Наши ночные полеты, как правило, проводились с 22-х до 24-х часов, а дневные — с 4-х или 5-ти до 7-ми часов утра. Остальное время мы отсыпались и занимались теоретическим курсом, стрельбой, строевой подготовкой и погрузочно-разгрузочными работами.

Один раз при разгрузке вагонов с авиабомбами мы обнаружили внутри вагона взрыватель, который чудом не взорвался и не наделал беды во время движения состава. Это было, безусловно, делом вражеской агентуры. После тщательной проверки остальных вагонов удалось обнаружить и обезвредить еще два взрывателя.

А как-то в один из дней, когда после утренних полетов мы только прилегли поспать, нас по тревоге подняли, наскоро вооружили, развернули в цепь и бросили через летное поле аэродрома к окружавшим его садам для вылавливания якобы высадившихся на парашютах в этом районе диверсантов.

Тщательное прочесывание вдоль и поперек местности, засаженной фруктовыми деревьями, окончилось тем, что пазухи и желудки курсантов до отказа наполнились сливами, вишнями, грушами и яблоками всевозможных сортов и вкусов. После этого «успешного» рейда многим курсантам пришлось промывать желудки в санчасти, так как их обратный путь от садов до палаточного городка был усеян, увы, не розами.

Вскоре поступил приказ об эвакуации нашего училища в г. Вольск. Однако там готовили только летчиков, поэтому штурманам предложили, кто желает, ехать в Запорожскую артиллерийскую полковую школу или ждать приказа на перераспределение.

Я и Амка Лисин решили вернуться в родной город.

Отъезжавших в г. Запорожье сразу сняли с летного довольствия. Нас перевели на черный хлеб и ржавую селедку без масла. Запах какао и молока с шоколадом мы ловили только носом. К счастью, это продолжалось не более полутора суток.

В конце июля мы прибыли в г. Запорожье. За свое недолгое пребывание в летном училище в качестве штурмана-стрелка-бомбардира-наводчика я успел трижды пострелять из ШКАСа по наземным и воздушным целям, дважды отбомбиться днем и один раз ночью.

Потом я опустился на землю, закрепился на ней так прочно, что если и взлетал, то только в качестве пассажира гражданской авиации. Да, рожденный ползать — летать не может.

## **2. Артиллерия – бог войны**

Полковая артиллерийская школа размещалась на территории бывшего 90-го Уральского полка, который теперь назывался 52-м запасным.



Едва мы подошли к воротам полковой школы, как раздались громовые звуки трубных басов и барабанов: духовой оркестр заиграл марш «Прощание славянки». Мы сразу же подтянулись и, чеканя шаг, гордо вошли через распахнутые ворота на территорию, вообразив, что это нас встречают с музыкой. К нашему разочарованию, оркестр старался не для нас. Он провожал уходящих на фронт бойцов Красной Армии, наших старших коллег — выпускников артиллерийской полковой школы.

Не мешкая с пополнением, нас тут же отвели в баню, постригли и переобмундировали в защитного цвета гимнастерки, синие диагональные галифе и кирзовые сапоги. На стриженные головы надели пилотки со звездочками. После такой трансформации мы долго приглядывались друг к другу, стараясь опознать, кто есть кто, так как все были на одно лицо.

Утром нас построили на плацу, разбили на роты, взводы и отделения.

Вслед за подполковником — начальником артиллерийской школы — мы произнесли торжественные слова присяги:

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь...»

Потом вручили личное оружие — тяжелые винтовки образца 1891 года.

Спали мы в казармах.

Школы в прямом, привычном понимании этого слова, по сути, не было: ни классов, ни досок, ни парт, ни столов (как и в Мелитопольском летном училище). Через день, на первых же занятиях по строевой подготовке, когда на плацу стоял весь полк, нам объявили, что мы — народ грамотный, каждый из нас получил среднее или начальное высшее образование, которое, к сожалению, большинство из командиров школы не имеет. Поэтому теорией с нами заниматься ни к чему, а практику нам помогут освоить наши командиры — сначала здесь, в полковой школе, а остальное освою в бою.

Разделили нас на артиллеристов противотанковой артиллерии и минометчиков.

Я попал в 45-миллиметровую противотанковую артиллерию, или, попросту, стал вторым номером (замковым) в орудийном расчете «сорокапятки». Первым номером, или наводчиком, в том же расчете назначили Амку Лисина.

Под руководством лейтенанта Дьяченко, старого служаки лет сорока, и сержанта Сомова — парня года на два старше нас, восемнадцатилетних, мы начали на свежем воздухе изучать сначала стрелковое оружие, а вслед за ним и артиллерийское вооружение. Разбирали, смазывали и собирали наган, винтовку и пушечку-«сорокапятку».

«Артиллерия — бог войны», — твердили командиры, однако моя 45-миллиметровая пушечка вовсе не отличалась солидностью и никак не напоминала бога. Во всяком случае, первое впечатление от знакомства с пушкой у меня осталось весьма неважное. Небольшой щит из тонкой брони; снаряды маленькие, как огурцы; пехоту поражает на расстоянии 800 — 1000 метров, а танки — до пятисот метров, и то среднего типа, а не тяжелые; тяга орудий конная.

Такие тактико-технические данные никак не могли вызвать у меня особого уважения, а наоборот.

Единственным преимуществом этой пушечки было то, что для нее не нужно было рыть больших окопов, и она легко перемещалась на огневой позиции силами орудийного расчета. И все же...

За неделю непосредственного общения со своей сорокапяткой — стрельбой, разборкой, сборкой, я успел полюбить ее и, когда удачно поражал цель, подменяя Амку Лисина в качестве наводчика, нежно обнимал и гладил пушечку, как живое существо.

Стреляли мы ежедневно и на стрельбище ходили довольно далеко. Лето стояло жаркое, в самом разгаре, а на нас было навьючено полное снаряжение, вплоть до скаток и противогазов. С непривычки все время хотелось пить, и каждый тянулся к фляге. Однако лейтенант Дьяченко был неумолим и не разрешал нам при ходьбе пить. Перед походом он заставлял воду чуть подсаживать, и употреблять ее давал только во время привала, и то по два-три глотка, не более. Зато перематывать портянки требовал по несколько раз в день, до тошноты. Так что солдаты научились эту операцию делать моментально, с закрытыми глазами.

Поначалу мы обижались на своего строгого командира, зато потом, гораздо позже, благодарили его за тяжелую, но необходимую для каждого солдата науку.

А вот младшего лейтенанта Лapidуса, проводившего с нами строевую подготовку и изучавшего устав РККА, мы не могли терпеть. «Увлечение» было, мне кажется, взаимным. Началось с того, что после первого же занятия на плацу, разгоряченные, усталые и голодные, мы, на-

конец, направились к столовой. И тут Лapidус, увидев издали начальство, решил блеснуть. Последовала команда:

— Ззз-а-ппе-вай!..

Никто не откликнулся на призыв младшего лейтенанта, взвод продолжал молча чеканить шаг. Лapidус снова повторил свое:

— Ззз-а-ппе-вай!..

И снова ни звука, только топот ног. По красному, потному лицу Лapidуса пробежала судорога.

Когда начальство скрылось из вида, он разжал челюсти, гаркнул перекошенным, наполненным железными зубами и злобой, ртом:

— Бе-егом ма-а-арш!

Мы побежали...

Миновали столовую, выбежали за ворота школы и довольно долго то шли, то снова бежали по внешнему периметру полковой школы, голодные и злые, как черти, готовые сожрать своего командира вместе с его «кубарями» младшего лейтенанта.

Лapidус тоже был зол и голоден не меньше нас, но старался не подавать виду.

Потом, очевидно, разум подсказал ему, что мы еще плохо знаем друг друга, что не разучивали строевых песен, что у нас еще нет запевалы и что после изнурительных занятий солдатам совсем ни к чему песни.

До него дошло, наконец, что надо сначала накормить бойцов, а потом от них требовать исполнения вокальных номеров.

Своим гонором этот незадачливый командир добился только того, что солдаты затаили злобу, и многие между собой говорили:

— Этот Лapidус еще попадется нам на фронте! Тогда посмотрим, как он запоеет...

Мне кажется, он сам понял впоследствии свои ошибки, но с большим опозданием.

В полковой школе я не задержался. Здесь все было построено по принципу конвейера. Не более двух недель продолжались интенсивные занятия стрельбой по неподвижным и движущимся целям снарядами различного назначения.

Потом всех артиллеристов выстроили на плацу. В торжественной обстановке лучшим оружейным расчетам перед строем от имени командования объявили благодарность. Из этих отличившихся шести оружейных расчетов сформировали взвод особого назначения. Наш попал в число отличившихся. Мы загордились.

Потом по казарме пронесся слух, что вновь созданную батарею через день направят на фронт. Стало немного тревожно на душе.

К этому времени у Амки Лисина случилось что-то с желудком. Он слег в госпиталь, и я занял его место в оружейном расчете, то есть стал наводчиком, номер один.

Слух об отправке на фронт подтверждался, так как на следующий день нам выдали дополнительное обмундирование и боеприпасы, велели тщательно проверить, смазать и подготовить пушки и личное оружие. На учения не повели.

Каким-то путем этот слух дошел и до моего папани. Ночью дежурный вызвал меня на свидание с отцом к проходной. Комбат отпустил меня до четырех утра.

Я выше за территорию полка. Передо мной стоял отец. Он был очень взволнован, старался скрыть от меня свое состояние, но голос выдавал его.

Мамы к тому времени уже не было в городе. Она уехала с папиными сотрудниками на Урал. Я был последней ниточкой, удерживавшей отца в Запорожье. Теперь эта нить оборвалась — я уходил на фронт.

Мы обошли вокруг каменного забора, окружавшего казармы, и уселись на траву на краю обрыва протяженностью километра два, не меньше. На противоположной стороне его, по насыпи, проходила железная дорога.

Стояла душная, безветренная летняя ночь. Ярко светили звезды. Город был погружен в тревожный сон...

Я едва успел расспросить отца о маме и сестре, как по городу и его окрестностям зазвучали гудки и вой сирен, оповещавших о воздушной тревоге. Тотчас же погасли горевшие кое-где одиночные лампы. Город погрузился во мглу. Лишь призрачный серп нарождающейся луны да звезды смутно очерчивали контуры строений. Слышно было, как в казармах подняли по тревоге солдат и бегом развели по щелям. Со стороны железнодорожной насыпи донесся стук колес и гудок паровоза...

И вдруг оттуда, из крошечной темноты, вспыхнуло громадное зарево, осветив все вокруг, и раздался оглушительный взрыв...

За первым последовал второй, третий... и еще, и еще — один сильнее другого.

Мы с папой сидели, плотно прижавшись друг к другу. Потрясенные, мы смотрели на эту ужасную картину железнодорожной катастрофы, вслушивались в сопровождавшую ее канонаду, не в силах вымолвить ни слова, и только вздрагивая при очередном взрыве.

Ясно было, что эта трагедия не явилась результатом бомбежки, так как мы не слышали до того характерного прерывистого гула немецких самолетов и свиста бомб. Скорее всего, в результате диверсии или преступной халатности столкнулись два шедших навстречу друг другу состава. Один из них был буквально настигнут боеприпасами.

Потом последовал отбой воздушной тревоги и грустное прощание с отцом под продолжавшие доноситься со стороны железнодорожной насыпи взрывы...

На рассвете наш артиллерийский взвод особого назначения подняли по команде, построили, сделали переключку, доукомплектовали боеприпасами и под командованием капитана Зинченко отправили на фронт.

Музыкального сопровождения и торжественных речей не было. Когда мы вышли за ворота и растянулись походным строем, навстречу нам к казармам подошла колонна новобранцев. Это была разношерстная публика, состоявшая в основном из студентов институтов, которые до мобилизации в армию немного поработали в разных колхозах области и на рытье окопов.

В колонне шагали и выпускники десятилеток. Многих я хорошо знал по институту и школе.

— До скорой встречи на фронте! — кричали друг другу ребята из поравнявшихся колонн.

### **3. Боевое крещение**

Направление движения нашей батареи и ее основные задачи как боевой единицы, очевидно, были изложены в запечатанном пакете, который хранился до поры до времени в полевой сумке капитана Зинченко. Мы с этим документом, естественно, знакомы не были. Не знали его содержание пока и уходившие с нами помкомвзвода лейтенант Дьяченко, сержанты Карпенко и Сомов, младшие сержанты Гаркуша, Середа, Горшков и Варакута. Ничего не знала и не подозревала тихонько дремавшая с ездовым на козлах, на плетущейся сзади обозной повозке молоденькая медсестричка Валя. Фронт нам казался абстрактным понятием, находящимся от Запорожья очень далеко, тем более что в газетах в эти дни указывалось, что на юго-западе идут бои местного значения в Белоцерковском направлении.

Так, преодолевая остатки сна, тихо балагурия и похихатывая, мы перешли через два моста реку Днепр и остров Хортица и к восходу солнца оказались на правом берегу.

Вскоре сделали первый привал. Перекусили, сняли сапоги, размотали портянки, дали отдохнуть ногам. Через полчаса снова двинулись в одному Богу известный (только не нам — солдатам) путь. Поднявшееся из-за горизонта солнце осветило неприглядную панораму войны: по краям и на самом шоссе Запорожье — Марганец зияли воронки от бомб. Стали попадаться сгоревшие хаты и убитый скот. А в одном месте мы увидели целое кладбище из свежих могил. Это были захоронены погибшие от налета немецкой авиации учащиеся ремесленного училища. Фашистские стервятники безнаказанно гонялись за каждым человеком и расстреливали с высоты из пулеметов ни в чем не повинных детей, зная наперед, что те не окажут им никакого сопротивления. А может быть, они приняли их черную форму за матросские бушлаты, которых боялись как огня.

Под вечер я встретился в одном из сел, где мы остановились на ночлег, со своими бывшими учителями: физики — Василием Еремеевичем Павелко и зоологии — Петром Алексеевичем Сарбеем. Я уже упоминал ранее об этой встрече и о том, что оба эти школьных учителя были мобилизованы на рытье окопов. Писал я и о дальнейшей судьбе Василия Еремеевича. О Петре Алексеевиче мне ничего не известно.

На рассвете следующего дня мы отправились дальше на запад. Впереди шел лейтенант Дьяченко, за ним каждый со своим отделением, «передком», орудием и двумя зарядными ящиками на конной тяге, сержанты. Замыкала наш особый взвод или батарею особого назначения небольшая телега с запасом провианта, фуражом, медикаментами и походной кухней. Сбоку колонны гарцевал на лошади капитан Зинченко.

Чем дальше мы продвигались на запад, тем больше ощущалось дыхание войны, и уже ни у кого не вызывало сомнения, что вот-вот мы достигнем черты, именуемой линией фронта, и что встреча со смертельным врагом, имя которому — фашизм, совсем близка.

К полудню, едва объявили привал и мы разместились в тени деревьев по обе стороны дороги, пересекавшей живописное село, как на нас обрушилось звено мессершмиттов. С воздуха они не заметили замаскированных в садах орудий. Самолеты обстреляли лишь обозную повозку, которую вынесли в поле перепуганные ревом моторов лошади.

В результате этого случайного налета мы потеряли ездового, двух лошадей и повозку. Это была наша первая встреча с противником и первые жертвы, которые убедили нас, что мы уже у черты.

Ездового похоронили тут же, в колхозном саду, на краю села. На доске, установленной над могилой, по указанию сержанта Сомова я написал, как мог красивее, печатными буквами:

Боец Красной Армии

рядовой

МИРОНЕНКО Н.А.

Родился 8 февраля 1923 г.

Погиб от рук фашистов

16 августа 1941 г.

Бойцы и командиры молча постояли над могилой товарища. Речей никто не произносил, и в воздух не стреляли. И без того всем было все ясно без слов.

Двух лошадей и разбитую повозку по распоряжению капитана Зинченко отдали колхозу в обмен на хлеб и овес. Уцелевший провиант, фураж и медикаменты кое-как собрали и разместили на зарядных ящиках. А перепуганную медсестричку Валю определили в строй и пошли дальше...

За короткое время пребывания в полковой школе солдаты не успели познакомиться друг с другом, тем более что у нас была сводная батарея, состоявшая из шести отделений разных взводов. Я, например, знал ребят только своего отделения, да и то ездовых не очень. Так что ездового Н.А. Мироненко из хозвзвода я и вовсе не знал толком. Но нелепая гибель этого семнадцатилетнего парня на моих глаза потрясла.

После этого случая мы сошли с шоссе, двигаясь уже параллельно ему, метрах в пятистах по профилировке, вдоль посадки. Наша колонна рассредоточилась и украсилась зелеными ветвями маскировки. Со стороны мы напоминали движущийся молодой лесок. Опытный служака, помкомвзвода лейтенант Дьяченко сам проверял маскировку. Вперед по посадке и в сторону шоссе выслали разведку.

Эти меры предосторожности были не напрасны, так как буквально через каждые два-три часа раздавалось тревожное «воздух» и вдоль шоссе пролетали вражеские истребители, обстреливая все живое, попадавшее в их поле зрения.

На следующий день разведка доложила, что впереди — навстречу нам по посадке — движется колонна минометчиков численностью до тридцати человек.

Вскоре мы сошлись.

Нашему взору предстал остаток какой-то разбитой части: усталая, голодная, израненная, едва передвигающаяся группа людей, которая из последних сил пыталась незаметно оторваться от противника.

Капитан Зинченко и лейтенант Дьяченко удалились на беседу со старшим минометчиком, а нам дали команду передохнуть. Мы рады были неожиданно случившемуся привалу и попадали на траву, подмостив под головы скатки, сняв сапоги и портянки с натруженных ног.

Минут через десять-пятнадцать капитан велел накормить и оказать медицинскую помощь минометчикам, сел на коня и рысью поехал вперед.

Часом позже вся наша колонна поднялась и тоже пошла по пути на запад. А минометчики, посоветовав нам лучше повернуть, пока не поздно, назад и пожелав на прощание счастливого пути, двинулись своей дорогой на восток.

Так мы шли молча в подавленном настроении еще несколько часов.

Солнце уже начинало клониться к горизонту. Его большой кроваво-красный диск маячил на западе перед нами, как знамение войны.

В стороне от посадки по шоссе потянулись на восток панически бегущие разрозненные группы и группировки беженцев. Оттуда доносились сплошной гул человеческих голосов и отдельные душераздирающие крики. Мы молча шли дальше, опустив вниз головы и потупив взор, стараясь ничего не замечать и не слышать.

Разведка, контролировавшая шоссе, доложила, что соседнее селение заняли немцы.

Лейтенант Дьяченко, теперь, после отъезда капитана фактический камбат, собрал всех до единого бойцов, построил по отделениям, скомандовал:

— Сми-ир-рно! —

прошелся вдоль строя, туда и обратно, сосредоточенно глядя то на нас, то под ноги, потом остановился посередине и снова пристально посмотрел на нас.

Лицо его было строго и озабочено. Он бросил взгляд зачем-то на свои часы, что-то мысленно подсчитал, потом обратился к нам так, как никогда до этого, с такими словами:

— Сынки мои! Противник занял Чертомлык. Примерно через час немцы будут здесь. В этом приказе, — он указал на полевую сумку, где лежал пакет, — перед нами поставлена задача, которую мы не по своей вине не смогли выполнить. Враг опередил нас... Мы имеем право отступить без боя... Но мы — бойцы доблестной Красной Армии, артиллеристы, и можем хоть на какое-то время задержать противника. Я не приказываю, я спрашиваю вас, сынки мои: готовы ли вы вступить в бой с ненавистным фашистом?!..

На бледном лице комбата выступили капельки холодного пота. Видно было, как нелегко далось ему это решение. Он скомандовал:

— Во-о-ольно! Времени у нас немного. Жду вашего решения...

Дьяченко отошел в сторону, закурил и приготовился ждать.

Мы не знали тогда, что №-я дивизия, кажется, 99-я, на помощь которой шел наш противотанковый взвод особого назначения, разбита; что поэтому поставленную перед нами задачу мы выполнить не могли и что повстречавшиеся нам минометчики — одна из групп уцелевших солдат той дивизии; что капитан Зинченко, поехавший вперед для встречи с командованием дивизии, никого не нашел и чудом сам не угодив в лапы к немцам — бежал; что город Кривой Рог занят противником еще 15-го августа и что наперерез нам к Днепрогэсу движется 1-я танковая группировка под командованием генерал-полковника фон Клейста.

Откуда нам, салагам, было знать все это, если даже командование, посылавшее нас в Кривой Рог на встречу с №-й дивизией, не знало, что он падет, едва мы покроем половину расстояния между городами?

Мы — рядовые бойцы — были лишь капельками в грандиозном океане сражения, совсем не представляли его размеров и не знали даже своих координат в пространстве, название которому — огромный Западный фронт.

У нас даже не появилось чувство страха. Поэтому на откровенные, полные доверия слова командира, обращенные к нам, через минуту мы ответили:

— К бою готовы!

Дьяченко вытер платком лицо и улыбнулся:

— Ничего, орлы! Мы покажем фрицу, где раки зимуют!

И он весело подмигнул, да так, что каждый решил, что комбат именно его имел в виду.

Не теряя времени, лейтенант сам выбрал позиции, расставил каждое орудие и тягу. Велел вырыть индивидуальные окопы и тщательно замаскировать живую силу и технику. Между нашими позициями и шоссе пролегалo поле, засеянное подсолнухом, а позади, за посадкой, до самого горизонта колыхалась кукуруза.

Орудия были расставлены по парам с интервалом в десять метров между каждым и тридцать между парами. Напротив орудий, в кукурузе были сложены пирамидами снаряды. Невдалеке от них установлено по одному зарядному ящику. Коней, запряженных в «передки» и оставшиеся зарядные ящики, Дьяченко увел метров за сто от огневой позиции, оставив при них ездовых и трех младших сержантов. Сержанты Сомов, Карпенко и Середа стали у орудий, по одному на два расчета.

Комбат дважды обошел со всех сторон наши позиции, остался доволен и снова улыбнулся. Орудия были наведены для стрельбы прямой наводкой на опустевшее шоссе, где вот-вот должен был появиться противник.

Наступила зловещая тишина...

На душе стало тревожно, но страха я не испытывал, скорее волнующее любопытство перед неизвестностью. Страх появился потом, когда перед глазами замаячила во всем своем величии смерть товарищей, только что стоявших рядом со мною. Я стоял, чуть пригнувшись, у сорокапяти, как охотник в ожидании дичи. Сердце отчаянно колотилось и готово было выскочить из груди. В голове почему-то все время проносились картины моей детской охоты с хозяйским парнем Шурой Бухариным на крыс.

Они водились в амбаре, где хранилось зерно. Тогда мы прятались с рогатками, заряженными чугуной дробью, в кустах сирени, и подстерегали этих зловредных животных, которые бегали вокруг амбара, наполненного зерном. Жирные, они выползали из нор, становились на задние лапы, приносясь и оглядываясь по сторонам, лезли и лезли в прогрызенные в брев-

нах амбара дыры. Выждав момент, когда крыса становилась на задние лапы и замирала, мы стреляли. Выстрел обычно достигал цели: с распоротым брюхом или пробитой головой крыса подпрыгивала и падала замертво, или, волочась по земле, уползала подышать назад в нору...

Сейчас мы приготовились к встрече двуногих крыс со свастикой на мундирах.

Временно наступившую тишину нарушил отдаленный гул, который, нарастая с каждой минутой, превратился в сплошной металлический грохот. Прошло еще минут пять, и в этом грохоте уже можно было различить шум двигателей и лязг гусениц.

На шоссе из-за поворота выполз первый танк с крестом. Следом за первым появился второй... третий... четвертый... еще и еще...

Не знаю, сколько их было за поворотом. Они шли в колонне по одному, но в этом строю чувствовалась грозная сила, способная нас стереть в порошок.

Комбат, пригнувшись, побежал вдоль орудий. Последовал его приказ:

— первому-второму орудиям бить по третьему танку, третьему-четвертому — по второму, пятому-шестому — по первому! Стрелять одновременно из всех орудий!

В нашу задачу входило: уничтожить или вывести из строя первые танки, чтобы закупорить продвижение колонны по шоссе и хоть на время задержать противника.

Прошло еще две-три минуты дикого напряжения, показавшиеся вечностью...

Наконец, танки поравнялись с нашими позициями. Немцы нас не замечали. Первый танк шел с открытым люком и спокойно стоявшим в нем, высунувшимся по пояс, с биноклем в руках, фашистом.

Я смотрел в оптический прицел третьего орудия, крутил маховики, водя ствол синхронно со вторым танком, ни на секунду не упуская свою добычу, а перед глазами снова и снова мельтешили как мираж, жирные серые крысы из амбара, которых надо было обязательно уничтожить.

— Огонь! — прозвучала команда.

Резкий лающий залп шести сорокапятков прозвучал почти одновременно. Шесть бронебойных снарядов полетели в сторону фашистов.

Со стороны шоссе донеслись взрывы...

Наш артналет для противника оказался полной неожиданностью. Возможно, немцы из-за гула собственных танков даже не слышали первого залпа, пока не почувствовали взрывы у себя под ногами. Но было уже поздно.

Первый танк закрутился на месте, второй загорелся... а третий осел на правую тележку. Наш дикий восторг прервала команда:

— За-аряжай!

— Первому-второму — по третьему, третьему-четвертому — по пятому, пятому-шестому — по первому танку — огонь!

Батарея дала еще по залпу.

Три первых танка были окончательно подавлены, четвертый подошел вплотную к третьему, а пятый, по которому стрелял я и сосед из четвертого орудия, вместо того, чтобы двигаться вперед, как-то неестественно подвинулся назад, развернул башню и выстрелил в нашу сторону.

Его снаряд взорвался в расположении второго орудия, вывел его из строя и ранил двух бойцов и сержанта. Начал разворачивать башню для стрельбы и четвертый танк, но его упредил огонь пятого и шестого орудий.

Однако наша радость была недолгой.

Противник очухался после неожиданного артналета, и немецкие снаряды начали рваться один за другим, впереди и сзади, грозя вот-вот накрыть батарею.

Увлеченные боем и первыми успехами, мы не обратили внимания, как шедшие сзади танки развернулись в сторону посадки и, стреляя на ходу, двинулись по подсолнухам.

Теперь мы стреляли уже без команды «огонь!», стараясь опередить изрыгающих неприцельный огонь чудовищ. Они ползли по подсолнухам, наполовину скрывавшим их, но все же мы их видели, а они нас, укрытых посадкой и подсолнухами, нет. И в этом было наше преимущество.

Еще один танк завертелся на месте.

...Вдруг раздался оглушительный взрыв, на мгновение перекрывший все остальные звуки. Я почувствовал нестерпимую боль в ушах. Рядом упал с развороченной осколком головой Петька Носов — второй номер; третий — Колька Карташов с криком «Ма-амочка!» в окровавленной гимнастерке покатился по траве... Зажав ладонями уши, я осел на сошник, стараясь унять боль и дико озираясь.

На том месте, где минуту назад стоял в кукурузе зарядный ящик, зияла глубокая воронка и шел едкий дым... Я продолжал держаться за уши и водить глазами по сторонам. Рядом стреляли товарищи, а я с ужасом смотрел и не мог оторвать взгляда от своей гимнастерки и сапог, забрызганных окровавленными мозгами Пети Носова...

Теперь роли поменялись: мы стали дичью, а немцы — охотниками. Танки выползли на поле, развернулись дугой и пошли по подсолнухам на батарею, стреляя и охватывая ее с флангов. Темнело...

Наша судьба решалась секундами. В такие же измерения укладывалась и жизнь.

Дьяченко быстро побежал вдоль батарей, давая распоряжения подготовиться к отступлению. — Передки к орудиям! — раздался его голос, который до меня еле дошел.

Ездовые подогнали лошадей. Уцелевшие бойцы быстро прикрепили орудия к передкам, посадили раненых на зарядные ящики с остатками снарядов, вскочили сами и под слепым обстрелом танков помчались галопом вдоль посадки по направлению к Днепру.

За нашими спинами продолжали раздаваться взрывы и гул танков, но они уже не могли причинить нам никакого вреда.

Кони мчались, подгоняемые ездовыми. Зарядные ящики подскакивали на ухабах, причиняя боль. Я сидел еле живой, почти ничего не соображая. Зубы выбивали мелкую дробь. Глаза застилала какая-то красная пелена, из которой все время вставал и падал с разможенной головой Петя Носов, весельчак и балагур откуда-то из Крыма. Рядом стонал, положив голову мне на плечо, младший сержант Середа. Левая рука его была перевязана бинтами.

Наступившие сумерки позволили нам выбраться из огненного ада и сравнительно благополучно в течение ночи добраться до берега реки.

Так мы впервые столкнулись лицом к лицу с гитлеровцами и вплотную почувствовали смертельное дыхание войны.

#### 4. Переправа

Мы оказались после ночного рейда ниже г. Запорожья по течению реки Днепр километров на двадцать, примерно в районе Каневского или Лысой горы.

Только тут, наконец, после бешеной скачки, остановились, перевязали раненых и кое-как привели себя в порядок.

Подсчитали потери...

Шесть человек было убито, восемь ранено. Выведены из строя и брошены два орудия и зарядный ящик.

Противник потерял пять танков и был задержан нами на том поле наверняка до рассвета.

Комбат Дьяченко выстроил нас, поздравил с боевым крещением и, глядя в измученные, усталые лица солдат, просто сказал:

— Спасибо, ребята! Задачу свою перед Родиной вы выполнили... Вечная память тем, кто отдал в бою за нее свои молодые жизни.

И он перечислил поименно всех погибших, в том числе сержанта Карпенко и рядового Носова — замкового моей сорокапятки.

...Потом мы разыскали переправу, где ходил паром. Здесь столкнулись с колоссальным количеством беженцев, подвод и скота, сгрудившихся у берега. В этой сутолоке не было никакого порядка. Того и гляди, могли налететь вражеские самолеты и расстрелять, разбомбить все живое, что кричало, ревели и хаотически двигалось.

Комбат быстро оценил обстановку. Отвел нас в сторону от переправы. Вытащил из кобуры наган, и, размахивая им над головой, стал прокладывать себе путь к парому.

Вскоре Дьяченко вернулся. Он присел на лафет и, почесывая затылок дулом нагана, промолвил:

— Там старики, дети и больные... Их я переправлю первыми. Потом переправим орудия, боеприпасы и раненых. С ними поеду я, медсестра и четверо ездовых. Остальным пройти выше по реке и переправляться на лодках. За себя назначаю старшим сержанта Сомова. Вопросы будут? Нет вопросов... Действуйте!

Вопросов не было. И так все было ясно. Все молчали. Расставаться не хотелось. Общая беда нас породнила. Другого решения быть не могло, и Дьяченко на прощание добавил:

— До встречи в полку! Поторапливайтесь, скоро может появиться авиация противника!

Под командованием сержанта Сомова нас осталось двадцать семь солдат и два младших сержанта. Вновь назначенный командир оказался на редкость проворным парнем. На год или

два старше меня, но уже умудренный житейским опытом и вторым годом службы в армии, он сразу же уверенно начал действовать.

Сомов увел нас подальше от переправы, поинтересовался, есть ли среди нас шофера, и, когда выяснил, что таких двое, повел их выбирать одну из трех грузовых машин, застрявших в песках на подступах к переправе. Сомов заметил эти машины еще на рассвете, когда мы галопом мчались к реке.

Когда выбор был сделан, сержант велел перелить в машину горючее из двух других и вытаскивать ее на твердый грунт. Потом мы перенесли и уложили в кузов доски, ящики и скобы из оставляемых машин, сколотили сиденья, завели двигатель и поехали по дороге против течения Днепра, искать удобную и более тихую переправу.

Солнце поднялось над горизонтом и начало припекать. Немецкие самолеты несколько раз заставляли нас останавливать машину и прятаться в посадках и жнивье. Тем не менее, мы без потерь добрались до Разумовки. Там наш ЗИС-5 окончательно выдохся и заглох в песке по самые оси. Вытаскивать его уже не было смысла. Спешились... Подошли к берегу...

Организованной переправы вблизи не было. Лодок тоже. Перепуганные жители отвечали, что все лодки на той стороне.

Разбившись на две группы, мы пошли искать средства переправы вверх и вниз по течению. Наконец, нашли две лодки, на которых можно было переправить не более 16 человек. Тогда Сомов уточнил, кто не умеет плавать, рассадил их по лодкам и во главе с двумя младшими сержантами отправил на левый берег, велел прислать эти лодки за остальными...

Оставшиеся с сержантом солдаты, в том числе и я, разделись и прилегли на песок у берега, опустив ноги в воду. Пережитое за прошедшие сутки постепенно уходило куда-то в далекое прошлое и уже почти не тревожило душу. Только у меня еще гудело в голове и слегка покалывало в ушных перепонках.

Вдруг по воде прокатился громopodobный грохот. Как будто небо и земля раскололись на части.

Мы вскочили на ноги, ничего не понимая и не соображая... Вдоль реки начали носиться самолеты с крестами, очередями расстреливая переправлявшихся на левый берег Днепра солдат и мирное население. Мы мгновенно попадали в кусты.

Я хорошо запомнил дату. Это было 18-е августа — День авиации!

До боли сжималось сердце за нашу краснороздную авиацию, которую мы любили, которой гордились, потому что привыкли, что наши летчики летают выше, дальше и быстрее всех...

— Где вы, наши соколы? — с горечью повторяли солдаты, глядя в сеющее смерть синее небо.

В День авиации в воздухе над Днепром хозяйничали «фрицы». Наших самолетов не было видно. А мы — четырнадцать артиллеристов, на время оставшиеся без пушек, вынуждены были притаиться в кустах, лежать и пассивно наблюдать за двумя подплывавшими к противоположному берегу лодками с нашими товарищами и кружившим над ними, как ястреб, «мессершмитом». Ребята с лодок открыли по нему беспорядочную стрельбу из винтовок.

Вот одна лодка подплыла к берегу. Солдаты выскочили. Побежали, отстреливаясь, к кустарникам. Вторая лодка, немного не дотянув до берега, неожиданно перевернулась...

Я недосмотрел, что случилось с лодкой и ребятами потом, так как наше внимание привлек один из солдат, закричавший:

— Хлопцы! Вода поднимается!

Я невольно перевел взгляд на берег, на его кромку. Даже без отметин было видно, как скачками прибывает вода и увеличивается течение Днепра.

По всем признакам стало ясно: гордость Запорожья, детище первой пятилетки — Днепрогэс — взорван!

Самолеты на какое-то время скрылись.

То выше, то ниже по течению гроыхали взрывы: это топили оставшиеся у причалов пароходы и баржи, чтобы не достались врагу. По Днепру поплыли, кружась в водоворотах, доски, бревна, ящики и другие предметы, которые способны были держаться на поверхности. Быстро поднимавшаяся вода грозила затопить на левом берегу плавни, отрезав нам пути к отходу. Учитывая это и то, что с левого берега лодок уже не дожидаться (там никого не было, как в пустыне), сержант Сомов распорядился взять доски и скобы с брошенной машины, разобрать кузов и выловить плывущие бревна для сколачивания плотов.

Он разбил нас на звенья по три человека и по мере готовности «десанта» отправлял их на левый берег.



Дошла очередь и до нашей тройки.

Я, Юсупов и Гонтарь быстро разделись, уложили оружие, боеприпасы и одежду на плотик, вошли в воду, ухватились за скобы и поплыли на противоположный берег через Днепр, загребая свободной рукой и ногами, увлекаемые течением и страхом перед непредсказуемостью судьбы. Когда достигли середины реки, в небе на северо-западе появились три «юнкерса». Бомбардировщики летели на юг, возможно, бомбить переправу, но не отказали себе в удовольствии открыть пулеметную стрельбу по нашей «флотилии».

Я, держась одной рукой за скобу, поднырнул под плотик, как делал это еще в школьные годы, когда нырял под перевернутую в воде лодку. Через минуту вынырнул, увидел всплески воды от пуль, ухватил глоток воздуха и снова нырнул под плот, напоминая страуса, прячущего голову. Когда вынырнул второй раз, самолеты были уже далеко, но за плот нас держалось только двое. Я и Юсупов. Третьего — Гонтаря — не было. Он, очевидно, сраженный пулей, мгновенно пошел ко дну. Ни я, ни Юсупов не видели гибели своего товарища по оружию...

На берег выбрались едва живые от усталости и только что пережитого. Стащили на песок пожитки, а сами упали рядом, пренебрегая опасностями...

Однако времени терять было нельзя, так как вода медленно, но продолжала прибывать и затопливать низины, образуя множество островков. Немного передохнув, поднялись, оглянулись: остальных четырех плотиков и ребят вблизи не было видно.

Натянув на себя одежду, подхватив подсумки, вещмешки, противогазы и винтовку погибшего товарища, мы по песку, перпендикулярно реке, стали пробираться к деревне.

Теперь из третьего орудийного расчета нас осталось только двое: я и Юсупов.

По моим подсчетам, нас отнесло километров на пятнадцать ниже Запорожья. Я надеялся еще засветло добраться в 52-й запасный полк, куда наказывал явиться комбат.

Наш путь преградила какая-то небольшая речушка, которая обычно в это время года пересыхала, и которых множество попадалось на пути. Но те были мелкие, по колено и ниже. А эта? Чтобы ее преодолеть, мне и Юсупову пришлось раздеться, и, неся над головой оружие и одежду, идти по горло в воде под присмотром и руководством старой женщины, стоявшей на противоположном берегу. Эта старушка нас обсушила, накормила и вывела на дорогу, по которой мы уверенно зашагали к городу.

Солнце клонилось к закату, когда два бойца, еле волоча ноги, подошли к Южному вокзалу. Навстречу, по направлению к совхозу им. Сталина, на машинах и подводах двигались воинские соединения.

Куда и зачем они ехали, мы не могли понять. На расспросы никто ничего не отвечал, да, наверное, и не знал толком. На нас просто не обращали внимания. До нас никому не было дела. Нашего полка среди этого потока воинских подразделений не было...

Решили двигаться дальше в полк, так как были уверены, что наши, оставшиеся в живых из нашей батареи, делают то же, добираются до 52-го...

Дошли до улицы Октябрьской.

Тут я не выдержал и уговорил Юсупова идти мимо моего дома. Он согласился. Мы свернули, перейдя через мост, направо и вверх по ул. Октябрьской (все равно было по пути) вышли на улицу Жуковского к Большому базару...

Базар и улица были пустынные.

Дошли до 32-го номера, я с трепетом отворил калитку... Зашли во двор... На нас с лаем кинулась Жучка, но, узнав меня в незнакомой военной форме, виновато и радостно завиляла хвостом. На мой голос, обращенный к Жучке, из дома выскочили баба Катя и дед Тимофей. Они набросились на меня одновременно и наперебой начали обнимать и целовать.

Наконец, разобравшись, что я и Юсупов валимся с ног от усталости, баба Катя всплеснула руками, промолвила «Го-осподи-и», потащила нас в дом, обмыла и накормила.

Баба Катя рассказала, что отец мой еще в городе, погнала деда Тимофея за ним в контору Военторга, а нам предложила прилечь отдохнуть хоть на пять минут. Я и Юсупов не возражали. Разморенные едой и усталостью, мы тотчас же уснули на полу как убитые, едва коснувшись головами подушек...

Не знаю, сколько бы мы так проспали, если бы поздно ночью нас не разбудил отец. Он сидел рядом на стуле, смотрел на спящих меня и Юсупова и вытирал рукавом слезы.

Папа дал нам несколько пачек папирос и две пачки галет на дорогу. Больше у него ничего не было. Поцеловал меня на прощанье и ушел среди ночи, так как их организация через час уезжала на восток. Чуть позже и мы оделись, распрощались с хозяевами, которые в детстве казались мне злыми, а на самом деле были добрыми, милыми людьми, и пошли к себе в часть.

Это было мое последнее свидание с отцом во время войны.

Стариков Бухариных, бабу Катю и деда Тимофея, я больше не видел: оба они умерли в оккупации. В 1945 г., на том месте, где жили эти добрые старые люди, я нашел лишь обгоревший полуразрушенный фундамент. Это было все, что осталось от большой семьи и их дома.

## 5. На оборону Запорожья

Летом ночь коротка.

Небо на востоке начало бледнеть, звезды гасли одна за другой, как свечи на ветру, когда я и Юсупов подошли к воротам 52-го запасного полка. Они были распахнуты настежь, а на территории — ни души... Лишь кое-где валялись разбросанные бумаги, солома и поломанный инвентарь. Все это напоминало поспешное бегство.

Душу охватила тревога, засосало под ложечкой. Связь с полком, который стал для нас (теперь мы это остро ощутили) самым родным и близким, по неизвестным причинам оборвалась.

Что здесь произошло? Когда, зачем и в каком направлении передислоцировалась часть?

Мы поспешили с вопросами в ближайшие дворы жилмассива.

Никто ничего не знал. Говорили только, что ночью слышали необычный шум в казармах, а потом все стихло. Кое-как установили, что полк отбыл этой ночью в сторону Екатерининского вокзала.

Помчались на Запорожье-2.

С трудом после долгих выяснений, кто мы и откуда (Юсупов плохо говорил по-русски) удалось установить, что 52-й запасный полк действительно в три часа ночи погрузился в эшелон и поехал на Пологи...

Стрелки вокзальных часов указывали пять. С полком нас разделяли каких-то два часа времени и семьдесят-восемьдесят километров железнодорожного пути.

Меня мучили угрызения совести, что я, оставшись переночевать у Бухариных, подвел себя и Юсупова. Но мой молчаливый напарник меня ни в чем не упрекал. Надо было каким-то образом догонять полк.

В идущий на г. Орехов эшелон с ранеными нас не пустили. Ближайших составов до ст. Пологи сегодня не предвиделось.

Для молодости — преград нет. Даже восемьсот километров — не расстояние.

Мы с Юсуповым взвалили «жечи на плечи» и зашагали по шпалам в сторону Полог, надеясь на счастливый случай и удачу.

Солнце поднялось над горизонтом, становилось жарко. Мы свернули в посадку, идущую параллельно с железнодорожным полотном. Здесь было прохладней и безопасней, так как вдоль железнодорожной насыпи начали повизгивать шальные пули. Они изредка нудно визжали и здесь, в посадке. Встречаясь с деревьями, разрывались и нещадно калечили их стволы и ветви.

Мы успели пройти так по посадке километров семь-восемь, не больше, когда услышали плач ребенка. Юсупов бросился в сторону — к кустарникам и вскоре позвал меня. Я подошел и увидел его сидящим на корточках перед каким-то свертком из тряпок. Это был брошенный ребенок, который посинел от крика.

Я растерялся: в нашем положении не хватало только грудного ребенка.

Проклиная непутевых родителей, мы решили донести находку до первого жилья и там оставить.

И без того навьюченный Юсупов отдал мне только винтовку Гонтаря, осторожно взял сверток и бережно понес, держа впереди себя на вытянутых руках.

Юсупов был добрым, хорошим парнем. Не то башкир, не то татарин по национальности, он плохо говорил по-русски, коверкал слова. Знал этот грех за собой и потому больше помалкивал. В данной ситуации только выразительные добрые глаза выдавали его душевное состояние. Юсупов торжественно шествовал со своей ношей впереди, тихо напевая на незнакомом мне языке, как я догадывался, колыбельную песню. Глаза его выражали нежность и умиление. И сам он был в это время в мыслях далеко от этих мест и войны.

Так мы прошли еще километра два: Юсупов с ребенком и я рядом с винтовками на плечах.

Не знаю, далеко ли мы успели отойти от города, на десять-двенадцать километров или кружили по железнодорожным путям и посадкам по его окраине, но только дорогу нам вскоре преградили пограничники.

Поскольку Юсупов оказался впереди, один из пограничников обратился к нему:

— Кто такие? Куда держите путь? Документы?

Юсупов начал что-то лепетать, кивая в мою сторону, вроде этого:

— Мы бежал через Днепр... Наша полк тоже бежал из казарма... Мать бежал из леса, ребенок остался... — и далее в том же духе.

Я не выдержал, перебил товарища и кое-как объяснил пограничникам ситуацию, в которую мы попали. Выслушав, они направили нас к командиру. Там снова подробно расспросили о наших приключениях, ознакомились с комсомольскими билетами и содержимым медальонов, так как больше никаких документов у нас не было.

Ребенка у нас немедленно забрали для определения в детдом. Когда сверток развернули, оказалось, что в нем была девочка недельного возраста. Интересно, что у Юсупова в руках она лежала молча, а когда взяли ее другие, начала реветь во всю силу своих легких, вызывая страдания у моего доброго сослуживца и смех у окружающих его людей.

— Может быть, ты ее отец, а? Признавайся, ничего не будет, — приставал к Юсупову один из пограничников, на что тот в смущении ответил:

— Что ты? Что ты?.. Шайтан тебя бери! Я еще не делал с шенщинами дети! Я малыш лублу... Он это понял, ты — не понял!..

После некоторой процедуры командир пограничников, наконец, дал указание взять нас на довольствие. Чувствовалось, он был доволен, что к ним прибыло пополнение, «понюхавшее пороху».

Так я и Юсупов стали бойцами частей Управления Госбезопасности НКВД, оставшихся для защиты города от немецко-фашистских захватчиков и задержки дезертиров.

Наши просьбы об отправке в свой 52-й запасный полк или определении в артиллерию, представителями которой мы себя по праву считали, не имели никаких успехов. Мотивация была железная: во-первых, надо защищать город, так как больше никому; во-вторых, для нас пушек не приготовили.

Тут же из нас сделали гранатометчиков: показали, как установить дистанционную трубку на гранате, закреплять приставку на винтовке и как стрелять с упреждением по самолетам. Младший лейтенант объяснил, что такой гранатомет — очень эффективное оружие в борьбе с авиацией противника. Я внимательно выслушал эти хвалебные оды гранатомету, правда, ни до, ни после того не слышал, чтобы кто-нибудь сбил фашистский самолет таким гранатометом. Что тут поделаешь?

Вечером меня и Юсупова с группой солдат посадили на грузовую машину и под командованием того же младшего лейтенанта направили на 6-й поселок города. Машина ехала долго и приблизилась к окраине, когда уже начало темнеть. Мы пробирались в новую часть на 6-й какой-то незнакомой дорогой. Оказалось, что после того, как противник занял о. Хортица, он непрерывно обстреливал левый берег артиллерийским и пулеметным огнем. Постреливали и снайперы. Город с острова был виден как на ладони. Просматривалась почти каждая улица, поэтому продвижение войск осуществлялось преимущественно с наступлением темноты и окружным путем.

Нас высадили у кинотеатра.

Это было огромное, красивое, по тем временам — шикарное, напоминавшее внешне черепаху, здание. Кинотеатр этот отличался прекрасной акустикой и в сороковых годах считался одним из крупнейших в Европе.

Сейчас, когда город перешел на осадное положение, в этом здании разместился штаб обороны со своими службами.

В первую же ночь меня, Юсупова и группу приехавших с нами красноармейцев разместили в караульном помещении, в подвале кинотеатра. Наш младший лейтенант принялся за организацию или усиление охраны штаба.

Отстояв в карауле положенное время, я вернулся в помещение. До войны в этом подвале было фотоателье. От него осталось множество барахла, в том числе и ящички с контрольными и не востребованными снимками. С любопытством я начал рассматривать и перебирать эти ящички. Какова же была моя радость, когда среди вороха фотографий я нашел знакомые по институту лица студентов. В основном это были ребята и девушки, жившие на 6-м поселке и там же окончившие школы, а потом пришедшие в институт.

В караульном помещении было душно. Я вышел, решив прикорнуть до смены на свежем воздухе. Августовская ночь была теплой и звездной. Обвив ремень винтовки вокруг руки, потянув скатку под голову, я растянулся на спине посреди газона, под выступающей, как навес, верхней частью фасада кинотеатра и... тут же захрапел, что называется, без задних ног.

Меня разбудил грохот взорвавшейся рядом бомбы.

Я открыл глаза, увидел нависшую надо мной «стену» и услышал гул удаляющегося самолета... Спросонья мне показалось, что на меня рушится стена кинотеатра.

В то же мгновение сработала реакция самосохранения: я вскочил, как спал, с винтовкой в руке и скаткой через плечо, бросился к решетчатому забору, которым был окаймлен кинотеатр, сходу перемахнул через это препятствие, перебежал на противоположную сторону и остановился... Оглянулся... и — расхохотался: фасад кинотеатра с нависшим карнизом все так же стоял неподвижной громадой, отчетливо выделяясь на фоне бледно-голубого предрассветного неба.

Я снова перешел через дорогу, приблизился к забору и долго оторопело глядел на него, не понимая, каким образом мне удалось одним махом, в обмундировании и при оружии, преодолеть это высокое препятствие.

Теперь, чтобы попасть назад в караульное помещение, мне пришлось идти к ажурным воротам с калиткой. К счастью, моего «героического марш-броска» никто не видел.

От взрыва сброшенной на кинотеатр бомбы откололо угол здания, повредило стоявший рядом легкий танк и убило спавшего около него танкиста.

Первые дни после 18-го августа, когда немцы заняли правый берег и остров Хортица, защите города взяли на себя части НКВД и истребительные батальоны, наскоро сколоченные городскими властями. Регулярные войсковые соединения Запорожье покинули.

Наступило форменное безвластие. Оставшееся в городе население охватила паника. Появились случаи воровства. Мародеры грабили временно оставленные квартиры, магазины и склады, не успевшие еще эвакуировать товары и продовольствие. Штаб принял решение организовать борьбу с мародерством.

Так, на второй день пребывания в частях НКВД меня вместе с Юсуповым направили в наряд для борьбы с грабителями.

Во время очередного патрулирования по 6-му поселку, Юсупов, шедший со мною рядом, вдруг бросился вперед и нырнул через разбитое стекло витрины внутрь какого-то здания. Спустя мгновение, очнувшись от неожиданности, я пустился за своим другом.

Навстречу мне, чертыхаясь на чем свет стоит и оттягивая задранную юбку, из витрины выползла пожилая женщина, которой перебили аппетит по облегчению желудка слишком бдительные патрули-молокососы.

Красный от смущения, я заглянул через разбитые стекла в помещение. Юсупова не было... Тогда я вошел вовнутрь и тут услышал приглушенный призыв Юсупова:

— Марко, скорее сюда... скорее сюда!

Он стоял за перегородкой в подсобке, указывал рукой на лестницу, ведущую в подвал, и испуганно-громко шептал:

— Там... много-много трупов... через много... без рука, без голова... без нога...

Дрожащими пальцами мы зажгли спички и с винтовками наперевес спустились в подвал. Присмотрелись и увидели: на полу валялись как попало разбросанные, один на другом, манекены мужчин и женщин, принятые Юсуповым за трупы людей. Ошибиться было нетрудно при таком тусклом освещении, да еще при таком напряжении нервной системы. Ведь шла война. Противник был рядом — за Днепром...

Думаю, что мы попали в бывший магазин одежды.

Сообразив все это, я схватился за живот и присел на ступеньки, не в силах сдержать рвущегося из меня хохота.

Напряжение сняло как рукой. Рядом со мной плюхнулся с диким воплем Юсупов. Он издавал какие-то нечленораздельные звуки, сгибаясь и разгибаясь, как на молитве, хлопая себя ладошками по животу и груди.

Когда мы отсмеялись и вышли на улицу, Юсупов стал просить, чтобы я никому не рассказывал, как он напугал женщину, приняв за грабителя, и налетел, не дав оправиться, а также о казусе с манекенами, в которых заподозрил трупы людей. Я пообещал другу молчать об этом, в сущности, незначительном эпизоде, показавшемся добряку Юсупову слишком позорным для его «героической» биографии.

Еще через день я стал свидетелем довольно неприятного происшествия, которое на меня произвело сильное, можно сказать, потрясающее, впечатление и запомнилось надолго.

При патрулировании по городу бойцы НКВД задержали на одном из продовольственных складов старшего лейтенанта, занимавшегося грабежом. Он был в военной форме, при оружии, и, пользуясь этим, беспрепятственно обирал склады и магазины. Как оказалось впоследствии, этот мародер дезертировал с фронта в Запорожье к родителям. Награбленные

продукты и промтовары он, пользуясь временным безвластием, тащил и складывал дома в ожидании немцев.

Военно-полевой суд приговорил дезертира и грабителя к расстрелу.

Мы строем вышли во двор с арочными воротами на углу проспекта Ленина и Металлургов. Выстроили нас в две шеренги в конце двора у глухой стены. Туда подвезли арестованного с сорванными петлицами, без пояса, обросшего щетиной, — бывшего старшего лейтенанта РККА, потерявшего честь и совесть человека.

Сначала перед строем нам зачитали приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о героической борьбе и выходе из окружения некоторых соединений Красной Армии, оказавшихся на территории, временно оккупированной врагом, а также о пресечении паники и мародерства. Потом представитель военно-полевого суда зачитал обвинительное заключение, приговор и дела бывшего старшего лейтенанта, мародера К...

Командир взвода стрелков вывел из строя десять красноармейцев, построил их между двумя шеренгами напротив приговоренного и скомандовал:

— По изменнику Родины, дезертиру и мародеру, — пли!

Раздался залп, и я, стоявший неподалеку от осужденного, видел, как пули впиваются в тело, оставляя кровавый след на гимнастерке. Грабитель судорожно поднял руки, несколько секунд постоял в таком положении, лицом к стене, затем молча рухнул на землю.

Подбежала женщина-врач, взяла безжизненную руку, пощупала пульс и что-то сказала майору — представителю суда. Затем труп бросили на подводу и увезли, а нас строем увели к штабу.

Впоследствии, когда война уже давно кончилась, мне продолжал сниться этот расстрел — такое можно видеть нечасто, даже в период войны.

## **6. Разведка**

Вскоре на 6-й поселок прибыли новые подразделения Красной Армии, хорошо обмундированные и оснащенные вооружением. Нас — «стариков» — перевели в окопы за парком Металлургов, поближе к берегу Днепра. Окопы шли вдоль берега реки почти сплошной зигзагообразной линией с боковыми ходами сообщения. Я получил саперную лопатку и занялся благоустройством своего нового жилища. Раньше мой шанцевый инструмент артиллериста хранился на передке у ездового, а теперь болтался сборку на ремне и казался, так же, как и противогаз, лишним грузом, затруднявшим ходьбу. Что ж, пока пушек не было, приходилось с таким положением мириться.

Наши окопы сообщались боковыми ходами с просторными щелями, которые вырыты были в начале войны вместо бомбоубежищ. В их строительстве я тоже принимал активное участие, будучи студентом машиностроительного института. Это время теперь казалось далеким историческим прошлым, а ведь фактически минуло с тех пор не более двух месяцев.

В щели мы приходили поесть, отдохнуть, когда приходила смена. Здесь политрук читал нам свежие сообщения из газет о положении на фронте и в тылу. Тут от политрука я узнал, что наша авиация совершила налет на военные объекты Берлина, что ЦК ВКП(б) принял Постановление о порядке приема в партию особо отличившихся в боях красноармейцев. В этих окопах я впервые услышал от политрука о легендарном оружии «Катюша», которое нанесло под Оршей ошеломляющий удар по самоуверенным немецко-фашистским захватчикам.

В последних числах августа, по окончании одной из таких бесед, политрук отвел меня и Юсупова в сторону, уточнил, комсомольцы ли мы, и попросил подробно рассказать, как мы переправлялись 18-го августа через Днепр.

На следующий день нас вызвали в штаб.

Перед кабинетом начальника разведки собралось еще человек десять таких, как мы, молодых по возрасту красноармейцев. За столом сидел пожилой капитан — начальник разведки, а сбоку наш политрук и еще один смуглый тридцатилетний мужчина в звании лейтенанта. Мы снова рассказали о нашей переправе через Днепр. Капитан, не вдаваясь в детали и излишние объяснения, поставил перед нами задачу: произвести разведку вдоль побережья острова для выявления огневых точек противника.

Потом лейтенант забрал меня, Юсупова и еще одного парня в отдельную комнату, где уже со всеми подробностями стал вместе с нами разбирать способы выполнения поставленной задачи. Остановились на одном, на наш взгляд, самом безопасном.

Надлежало двум бойцам ночью, держась за поваленное дерево, возможно ближе подплыть к о. Хортица и продрейфовать вдоль него. Если представится случай, высадиться на берег и обследовать его сколько возможно. Во время нашего продвижения вдоль острова будет вызван огонь с огневых точек противника, поэтому нам, не обнаруживая своего присутствия, надлежало запомнить эти точки с тем, чтобы по возвращению нанести их на топографическую карту острова.

В течение дня Юсупов, я и Володя (так звали моего будущего напарника по разведке) готовились к предстоящей операции в районе теперешнего Ждановского пляжа. Скрываясь за хатенками, спилили дерево, обрубили лишние ветки, вбили две или три скобы в ствол. Чтобы дерево в воде не переворачивалось и своими ветвями надежно прикрывало нас от глаз врага, пришлось даже подвязать в двух местах железяки весом по тридцать-сорок килограмм. Кроме того, к дереву мы подвязали два каната с петлями на концах для страховки. Все эти меры предосторожности подсказал лейтенант. Думаю, он был опытным разведчиком.

Вечером я и напарник отдали свои документы лейтенанту и вместе с ним и группой прикрытия из четырех человек, в которую входил и Юсупов, направились к установленному месту переправы через реку.

Подошли... Подождали, пока стемнело и луна скрылась за облаками, подтащили к воде наш так называемый плот, разделись, отдали одежду Юсупову, молча попрощались с товарищами и, поеживаясь, вошли в воду.

Хотя нам дали перед этим водку, натерли тело денатуратом и каким-то жиром, все равно было прохладно, и пробирала дрожь.

С правого берега периодически раздавались короткие пулеметные и автоматные очереди. Над рекой взлетали ракеты, на мгновение освещая отдельные участки. Потом снова все вокруг погружалось во тьму.

Заходя в воду, я не стал ждать, пока она достигнет подбородка, и решительно окунулся с головой. Стало вроде теплее. То же сделал и Володя. Мы продели петли каната под мышки, потянули за скобы дерево на глубину, и, призывая на помощь всех святых, поплыли...

Когда мы «отчалили», группа прикрытия тоже пошла вниз по Днепру. В ее задачу входило: вести за нами наблюдение с левого берега, тоже засекать огневые точки и встретить нас между 3-мя и 4-мя часами ночи в назначенном месте прибытия, примерно в районе теперешней гостиницы «Волна».

Странная штука человеческая память. Пишу сейчас, вспоминаю многое с такими подробностями, как будто это было со мной вчера... Память воскрешает события, лица, имена и фамилии людей, которые просто промелькнули мимо и больше не встретились. А имена некоторых товарищей, с которыми довелось пережить самые тяжелые и трагические минуты в жизни, в свое время или не спросил, или не запомнил, одним словом — память не удержала. Очень обидно. Но что поделаешь?

В калейдоскопе событий 1941 года всякое случалось. Особенно в первые месяцы часто менялись люди и ситуации.

Не запомнил я, к сожалению, и фамилию Володи, своего напарника по разведке, — высокого, стройного, спортивного сложения юноши. А ведь провели мы с ним бок о бок больше суток, рискуя жизнью. Мало это или много, судите сами. По-моему, в боевой обстановке это — немало.

...Мы молча продвигались в темноте к противоположному берегу. Разговаривать нельзя... грести сильно руками тоже нельзя во избежание всплесков. Подгребали плавно только свободной рукой, не выбрасывая ее из воды, и помогали себе двигаться ногами по-лягушачьи...

Кажется, совсем недавно я с соучениками по школе плыл по этим местам днем на лодках. Тогда мы смеялись и баловались вовсю, днем, не ведая никаких страхов и сомнений.

Сейчас мы плыли крадучись по родным местам, боясь выдать свое присутствие всплеском воды или случайным громким вздохом.

В воздух взмыла очередная ракета и, падая над нами, осветила плотик... мы замерли...

Однако плывущее дерево не вызвало у противника никакого подозрения, так как на реке это было привычной картиной.

И опять темно. Раздалась короткая очередь. В нашу сторону полетели трассирующие пули, прожужжав, как шмели, над головами. И снова — мрачная, гнетущая тишина...

По Днепру рядом с нами плыли, как обычно, деревья, бочки и другие разбитые о пороги предметы, которые вынесло сюда течение. Ночью было не разглядеть, но, сидя в окопах недалеко от берега, я видел, как иногда со дна поднимались и плыли по реке ранее затонувшие разбухшие трупы людей и животных.

...Вспомнив вдруг виденное ранее днем и то, как я однажды с ребятами в школьные годы, во время игры в ловитки на реке столкнулся с утопленником, вздрогнул всем телом и огляделся, на секунду забыв о цели своего пребывания в воде. Волосы встали дыбом от мысли, что утопленник сейчас, как и тогда, может зацепиться за наше дерево...

Я еще не успел привыкнуть к трупному оскалу войны, и не сознавал, что бояться надо не мертвецов, а живого врага, который подстерегает тебя на правом берегу острова...

Мы приблизились к Хортице примерно напротив того места, где в Днепр впадает Сухая Московка («красная вода»), и поплыли вдоль пологого берега на расстоянии пятидесяти-восьмидесяти метров от суши. Почти в то же время с нашей стороны взвилась ракета, и по острову была открыта пулеметная и редкая артиллерийская стрельба. В ответ с Хортицы полетели, завывая, мины, снаряды и затахатели пулеметы. Небо над нами гудело и вспыхивало, грохотало и будто опускалось, готовое вот-вот опрокинуться раскаленным металлом на наши головы и дерево, за которое мы судорожно продолжали держаться. И все-таки, от сознания, что за нами следят товарищи и что эта стрельба затеяна нам в помощь, на душе стало теплее. Мы стали засекать пулеметные, минометные и оружейные точки. Примерно к часу ночи стрельба прекратилась внезапно, так же, как и началась. В это время мы уже находились в нижней части острова, у входа в Речище. Это была самая пологая часть Хортицы. Однако отсюда почему-то не было видно и слышно интенсивной стрельбы.

Мы подгребли ближе к берегу. Прислушались. Никаких звуков... Приободрились и вместе с Владимиром потащили дерево на мель, скинули петли. Тихо крадучись, вылезли на берег и поползли к кустарникам. Тело покрылось пупырышками, я страшно озяб. Чтобы как-то согреться, Володя стал зарываться в песок. Я тоже. Так, согреваясь в песке, мы молчали и прислушивались несколько минут, потом проползли между кустарниками метров семьдесят... снова затаились.

До нас донесся чей-то приглушенный разговор. Мы осторожно подползли поближе.

На небольшой поляне у костра сидели три немца и о чем-то мирно беседовали. Их автоматы лежали у ног. Пламя угасающего костра, вспыхивая, выхватывало из темноты задранный вверх хобот миномета. Где-то здесь должен был быть и пулемет, так как с этого квадрата летели траассирующие пули во время интенсивной перестрелки правого и левого берегов.

Мы пролежали, прислушиваясь, еще минут пять, однако наши наблюдения других огневых средств и людских голосов не обнаружили. Эти трое у костра курили сигареты и спокойно вели беседу.

Если б мы были опытными разведчиками, то, пользуясь фактором внезапности, напали бы на ничего не подозревавших немецких солдат и взяли бы «языка». Случай для этого был самый подходящий. У нас за поясами торчали даже финки — холодное оружие, выданное с целью самообороны и борьбы с судорогой. Но в нашу задачу входило только вести наблюдение и запоминать увиденное, не выдавая себя.

Поползли назад...

Когда нас отделило от немцев достаточное расстояние и из-за кустов и деревьев их не стало видно, мы приподнялись и, пригнувшись, заторопились к берегу. Вдруг у меня под ногой затрещала сухая ветка. В тишине ночи этот треск прозвучал, как гром (по крайней мере, мне так показалось). Раздалась автоматная очередь. В нашу сторону полетели траассирующие пули. Мы кинулись в разные стороны. Решив, что обнаружены, мы стали то ползком, то в полный рост, прикрываясь деревьями и кустарниками, порознь пробираться к месту, где был оставлен наш «плот».

Сердце колотилось и готово было вот-вот выскочить из груди. А вернее, ушло в пятки.

Вопреки здравому смыслу, вместо того, чтобы залечь, затаиться и прислушаться, я кинулся далеко вправо, рискуя наткнуться на еще какой-нибудь пост. Я таки наткнулся, но не на пост, а на проволочное заграждение. Подался левее — опять проволока! Метнулся еще раз вправо, и почувствовал жгучую боль в голени, но сгоряча продолжал судорожно пробираться к берегу.

Наконец, я выбрался из этой злополучной паутины проволочных ежей и упал в кустах на песок у кромки берега.

Вокруг было темно и спокойно. Колотилось громко только мое сердце.

Чуть отдышавшись, я снова пополз к месту, где должно было быть наше «судно». Прошло еще несколько томительных минут ползаний и поисков: я прикинул к песку, полз, снова прикинул и присматривался к поверхности воды... Наконец, в трех метрах от берега я увидел наше дерево и еле различимый силуэт человека, который, согнувшись, притаился за ним. Это был Владимир...

Встретились. Обнялись, как родные. Прислушались...

Кругом непроглядная тьма, невозмутимая тишина. Стараясь не поднимать шума, мы надели петли через плечо, потянули за собой дерево на глубину и поплыли медленно к левому берегу.

Добираться обратно было радостней, но гораздо трудней, потому что мы очень устали и теперь не подталкивали дерево, а тянули его на себя, защищаясь его кроной от глаз и пуль неприятеля...

Без особых приключений, замерзшие и окончательно выбившиеся из сил, мы кое-как дотянули до левого берега. Наше «судно» пристало примерно в том месте, где сейчас стоит памятник советским воинам, форсировавшим Днепр в ноябре 1943 года, а может быть, и немного дальше.

Это выглядит, конечно же, парадоксально: я форсировал Днепр... дважды! Да, два раза во время войны я вплавь перебирался через реку, но только с правого на левый берег, а потом туда и обратно с запада на восток. А как хотелось, чтобы было наоборот! — один раз и навсегда!

Мне суждено было другое.

Было часа два или три ночи. Небо по-прежнему сплошь затягивали облака. Стал накрапывать дождик.

Меня колотило, как в лихорадке. Напарника тоже. Пробравшись подальше от берега за кустарники, мы начали делать различные упражнения, чтобы разогреться. Но все равно говорить между собой не могли, так как зуб на зуб не попадал... Мы окончательно окоченели, пока нас разыскивали товарищи из группы прикрытия.

Моя правая нога болела. Небольшая дырочка в голени кровоточила. Все тело было покрыто ссадинами и царапинами. Володя выглядел не менее печально и жалко, чем я.

Осушив «Ворошиловский паек» («мерзавчик» водки), отряхнувшись, обтеревшись и одевшись во все сухое, мы пошли к дороге, где ждала машина.

Юсупов не мог на меня наглядеться: все хлопал по плечу, заглядывая в глаза и спрашивая:

— Ну, как?

В его однообразном вопросе звучали одновременно и радость, и тревога...

Направились в штаб.

Там рассказали обо всем, что видели: о количестве и месте расположения огневых точек, а также о проволочном заграждении, разбросанном по берегу между кустарниками. Все это мы нанесли на разложенную у капитана на столе карту острова Хортица.

Нас поблагодарили, хорошо накормили и отпустили каждого в свое отделение.

Я и Владимир похлопали друг друга, пожали руки и... разошлись.

Больше, ни во время войны, ни после, мы с этим замечательным парнем не встречались. Если б довелось, с этим парнем я бы снова, не задумываясь, пошел бы в разведку!

## 7. Госпиталь

К вечеру следующего дня я почувствовал сильное головокружение, жар и озноб во всем теле, боль в голени и особенно в паху. При ходьбе боль настолько усиливалась, что приходилось стискивать зубы, чтобы не закричать.

Мое состояние и жалкий вид не остались незамеченными Юсуповым. Он, несмотря на слабые протесты с моей стороны, разыскал командира отделения и доложил ему. Тот прислал медсестру.

Дальнейшие события я помню довольно смутно. Вижу их, как сквозь матовое стекло. Помню, что меня несли на носилках... Потом я очнулся от духоты и жара в поезде, который грохотал по железной дороге... и этот грохот, как молот, стучал по моей голове. Страшно хотелось пить. Попросил воду и, очевидно, снова провалился в беспамятство. До моего воспаленного мозга и уха доходили отрывки каких-то слов, произносимых то вблизи, то откуда-то издали:

— Сепсис... воспаление... молод... ампутация... легкие... уколы...

...Из тумана возникали и звали меня играть в футбол еще в детские годы погибшие мальчишки с нашей улицы: Коля Хоранич и Гриша Бердичевский. Первого раздавил каток, когда мостили булыжником базарную площадь, а второй умер от менингита, возникшего после удара камнем в голову при драке.

...Я пытался идти ребятам навстречу. Они исчезали, потом снова появлялись, манили пальцами к себе и пятились... Колька казался плоским, как черно-белая фотография, а Гришка —



желто-восковым с перевязанной бинтом головой... Я делал два-три шага за ними. Ноги наступали на горячий песок, который нестерпимо жег пятки, с каждым шагом все сильнее и сильнее...

Останавливался... пятился назад... Колька и Гришка исчезали... потом снова появлялись... снова исчезали... манили... Я опять шел за ними, натыкался ногами на раскаленный, как горячие угли, песок и снова отступал назад... Так продолжалось долго-долго...

Потом вдруг хлынул дождь, песок зашипел и остыл... Колька и Гришка куда-то скрылись. Я спрятался под дерево. Тут меня нашла мама и погнала домой:

— Сколько можно бегать? Давай скорей домой! Все тебя ждут!

Я открыл глаза. Надо мной склонилась пожилая женщина в белом халате. Она прикладывала к голове мокрую салфетку, что-то приговаривая. Я ничего не понимал.

— Где я? — был мой первый вопрос.

— Пришел в себя? Вот радость! А думали, помирает. Ну, молодец! — приговаривала, сияя, добрая женщина, не прерывая возню с холодным компрессом. — Ты, голубок, в госпитале, в Ореховском госпитале. Лежи спокойно. Сейчас позову доктора.

Женщина ушла, а я продолжал лежать и оглядываться по сторонам. Передо мной и по бокам стояли койки с ранеными. На одной из стен висела большая черная ученическая доска. Очевидно, до войны в этом здании была школа или другое учебное заведение, а теперь временно расположился фронтовой госпиталь.

В палату быстрой уверенной походкой вошел полный, выше среднего роста, седой человек с усами, в очках, белом халате и белой шапочке на голове. Он присел на мою койку, приговаривая «ну-тис... ну-тис...», нащупал пульс, потом положил свою большую ладонь мне на голову, переложил ее на грудь и постучал по ней пальцами, улыбнулся и произнес:

— Ну, вот! Теперь все в порядке!

Доктор задрал простыню и начал щупать правую ногу от пятки до паха, нажимать и спрашивать?

— Здесь болит? Здесь болит?

Правая нога моя была толще левой, покрыта пятнами неестественного бурого цвета.

— Доктор, что со мной? — задал я вопрос.

— Теперь ничего, сынок. Был сепсис, то есть заражение крови с двухсторонней пневмонией. Ты счастливо отделался, мой милый мальчик, — улыбнулся доктор в усы. Потом он оглянулся на стоявшие по бокам койки, посерьезнел и добавил:

— Надеюсь, будешь долго жить, солдат!

Фамилия моего Айболита была Сорокин. Он еще пару раз садился на мою койку, осматривал мою ногу, выслушивал и обстукивал грудь. Потом дело пошло, как видно, на поправку, и мною перестали интересоваться. В общем-то, правильно: здесь были более серьезные больные, с тяжелыми ранениями, которым требовалась неотложная помощь.

В первых числах сентября в госпиталь привезли партию раненых из Запорожья. В нашу палату положили одного из вновь прибывших с плечевым ранением. Этот солдат принимал участие в форсировании Днепра и боях за остров Хортица. Он сообщил, что немцев выбили с острова.

Я, конечно, несказанно обрадовался, так как был причастен к этой операции. Начал расспрашивать у него подробности, а также о Юсупове и Володе. Однако, как я ни старался их описывать, он ничего не мог сказать о моих товарищах. Он их не встречал, так как был в другой части и на другом участке.

Примерно в первой декаде сентября меня выписали.

После двухнедельного лежания я чувствовал себя еще слабым. Опираясь на палочку, я пошел на железнодорожный вокзал.

Несколько раз по дороге я останавливался, присаживался на лавочки у чужих калиток, отдышал и топал дальше. Поздно ночью я прибыл на станцию Запорожье-2. Идти в такое время в военную комендатуру — напрасное дело. И я пошел по улице Жуковского, мимо машиностроительного института и по дороге на всякий случай заглянул к своей тете.

Папина родная сестра, тетя Маня с мужем дядей Илюшей, двумя дочерьми десяти и семи лет, жили в маленькой двухкомнатной квартире в одноэтажном кирпичном домике, наполовину вросшем в землю.

...Я постучал, и через минуту из-за двери донесся сонный, перепуганный голос тети:

— Кто там? Это ты, Илюша?

Я ответил. Открылась дверь, и у меня на шее с криком «Марочка пришел!» в ночной сорочке повисла тетя Маня.

Маня была самая маленькая в многочисленной семье невысоких братьев и сестер Нейштадтов. К тому же она была худенькая и весила совсем немного. Был бы я здоров, то удержал бы ее в воздухе на вытянутых руках. Но сейчас обнял, поцеловал и весь напрягся, чтобы удержаться на ногах, которые дрожали и подкашивались от усталости и боли. С большим трудом я поставил свою тетю на пол и вытер холодный пот, обильно выступивший на побледневшем лице.

Тетя Маня сообщила, что дядя Илья в народном ополчении и сейчас на дежурстве; что его не сегодня-завтра заберут в армию; что все родственники эвакуировались и в городе остались только они одни — Дубровские. На мой вопрос, когда же собирается уезжать она с детьми, тетя ответила, что никуда не поедет, тем более что немцев прогнали с острова и скоро вообще попрут из Советского Союза. Она в это свято верила.

Время перевалило за полночь. Мне постелили на полу. Я выпил горячего чаю и под тихое бормотание что-то рассказывавшей тети Мани быстро уснул. Часа через два я проснулся от тяжести в голове и сильного озноба. Во всех мышцах правой ноги и суставах ныло. Я чувствовал, что температура поднялась выше тридцати семи. С открытыми глазами я пролежал до рассвета, стараясь не стонать и, не дай Бог, не разбудить спящих.

Под утро пришел дядя Илья, голодный и усталый. Через два дня ему предстояло явиться на призывной пункт.

Я просил и уговаривал Илью эвакуировать жену с детьми, пока есть возможность и время, пока не выехали на восток все заводы. К моим уговорам и дядя, и тетя отнеслись совершенно равнодушно. Меня даже обидело их пренебрежение к моим словам.

— Поступайте, как знаете! — в конце концов сказал я им на прощанье.

Я не мог предположить тогда, что это последняя фраза, которую я произнес, обращаясь к тете Мане, что я вижу ее и своих младших сестричек в последний раз.

...Их расстреляли на стадионе авиационного завода №29 им. Баранова среди тысяч других евреев и жертв немецко-фашистских оккупантов. На том месте сейчас установлен обелиск, на нем высечены слова:

«Здесь в период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) были расстреляны фашистскими палачами 6600 человек мирных советских граждан. Вечная память вам, дорогие соотечественники».

Недалеко от этого обелиска расположена детская игровая площадка. Иногда я прихожу сюда с внуками, чтобы покатасть их на качелях и поиграть на территории детской крепости. На обратном пути мы обязательно подходим к обелиску, склоняем головы в память о наших земляках, родных и близких.

Из моих рассказов внуки знают о трагедии, постигшей нашу Родину, советский, и, в частности, еврейский народ в период войны.

...Распрощавшись с Дубровскими, я пошел в военную комендатуру, которая помещалась в пассаже, на том месте, где сейчас находится Жовтневое районное отделение милиции. Там меня продержали до полудня, потом передали мне из рук в руки шесть молодых солдат-призывников и предписание. В нем перечислялся состав группы пофамильно и указание о пути следования для дальнейшего прохождения службы, — на Конские раздоры, в 52-й запасный полк!!!

Я получил сухой паек, распределил поровну между ребятами и мы, построившись, покинули двор комендатуры.

## **Глава 6. Фронтовые дороги**

### **1. Конские Раздоры**

Наша группа состояла из восемнадцатилетних ребят, волею судьбы попавших на запорожскую землю, призванных временно под флаги частей НКВД для защиты города. В этой сборной были три артиллериста, два минометчика, один пехотинец и один летчик-технарь. Короче говоря, из вверенного мне отделения я оказался самым опытным красноармейцем, нюхавшим порох. Остальные были, что называется, «салагами» призывного возраста с различными ВУСами, присвоенными военкоматами.

За несколько дней пребывания в частях НКВД они были обмундированы, вооружены и побывали в окопах защитников города, так ни разу и не выстрелив.

Теперь, когда в Запорожье прибыли регулярные войска Красной Армии и враг был выбит с острова Хортица; когда положение на этом участке стабилизировалось и прекратился систематический артиллерийский и пулеметный обстрел города с правого берега; когда заводы почти

спокойно завершали демонтаж и эвакуацию оборудования на восток, в нас, — случайно примкнувших к частям НКВД солдатах, — больше не нуждались. Нас направляли в запасный полк.

Я испытывал двойное чувство: с одной стороны, досаду и горечь за то, что в тяжелую минуту был нужен, а теперь нет, что в городе, может быть, остались Юсупов, Володя и другие товарищи по разведке, с которыми уже успел подружиться и которые, возможно, ждали меня из госпиталя; с другой стороны — радость от того, что предстояла встреча с родным полком и боевыми друзьями и тщеславие от того, что именно мне поручено привести в полк отделение.

С имеющимся предписанием наш маленький отряд удалось посадить на один из эшелонов и по железной дороге довести до ст. Чапаевка. Оттуда мы пехом двинулись на Конские Раздоры. До места назначения надо было пройти еще не менее пятнадцати-шестнадцати километров. Это расстояние с небольшими привалами мы преодолели в течение дня и остановились на небольшом хуторке близ Конских Раздоров. Это хутор был удобен тем, что располагался на бугре, с которого хорошо были видны, как с наблюдательного пункта, сами Раздоры и что там происходило.

Нас приютила на постой старушка, жившая в большой хате на краю хутора. Два ее сына ушли на фронт, мужа мобилизовали на рытье окопов. Одна среди множества голубей, со своими невысказанными тревогами, она рада была нашему внезапному появлению.

В соответствии с предписанием у нас в запасе оставалось еще три дня. Мы решили использовать их для отдыха, тем более что я еще чувствовал себя не совсем здоровым. Хозяйка хлопотала вокруг стола, стараясь получше, поудобнее рассадить дорогих гостей и повкусней и посытнее накормить. Стол, на мой взгляд, по тем временам был шикарным: голубятина подавалась в разных видах. А если добавить, что в качестве приправы были свежие и малосольные огурцы и помидоры, да к тому же чарочка самогонки, то не удивительно, что после трапезы этой не нужно было мыть посуду — солдатики все вылизали.

Пользуясь удобным расположением хутора, хаты и радушием хозяйки, я установил наблюдательный пункт на чердаке среди голубей, за Конскими Раздорами и провел совещание, на котором было принято единогласное решение: поскольку военных действий вблизи не происходит, поскольку мне необходимо долечить раненую ногу, которая еще давала о себе знать, и так как мы прибыли раньше и у нас в запасе есть время, то надо здесь задержаться.

С «НП», где велось круглосуточное дежурство, докладывали о всяких подозрительных передвижениях на территории полка. Однако особо тревожных сигналов не поступало. Мы отсиживались в своей «крепости», приветствуя железнодорожный транспорт, доставивший нас почти до места назначения на трое суток раньше времени. Мне хотелось поскорее попасть в родную часть, но принятое коллективное решение не отменишь, да и нога продолжала болеть в паху.

Чтобы ребята не разленились, я организовал дежурство на кухне и по двору — в помощь хозяйке. Таким образом, вся живность была ухожена, дрова напилены, нарублены и сложены в сарай в образцовом порядке.

На четвертые сутки рано утром мы попрощались со своей милой, доброй старушкой. Она поцеловала и перекрестила каждого из нас по очереди, после чего отпустила «с богом».

Я не запомнил название этого маленького хуторка, его нет на карте области. Возможно, его уже нет вообще, как и многих покинутых жителями деревень, а может быть, он разросся и слился с Конскими Раздорами, став их окраиной. Не запомнил я и имени той прекрасной украинской старой женщины, приютившей и кормившей нас. Но тем, что окончательно поправился после ранения, я обязан трехдневному пребыванию на хуторе и хозяйке голубей.

Я бодро шагал вниз по дороге впереди своего маленького отряда. Настроение было прекрасным от предстоящей встречи с Амкой Лисиным и своими, хоть малознакомыми, но испытанными по первому боевому крещению друзьями; от сознания, что смогу рассказать им о своей первой разведке и ранении.

Кроме того, я был горд, что мне доверили, и я привел в часть пополнение из шести молодых красноармейцев.

В полку меня ждало сильное разочарование. Я не застал там ни Амку, ни знакомых ребят из сводной артиллерийской батареи особого назначения. Они еще до 1-го сентября убыли из полка в разных направлениях в качестве артиллерийского резерва действующих частей и соединений Красной Армии. О Юсупове и его судьбе здесь ничего не было известно. Из знакомых я разыскал в Конских Раздорах только случайно задержавшихся: младшего сержанта Горшкова и ездового Луку Симаченко, который в дальнейшем сыграл значительную роль в моей судьбе. Я встретился с этими ребятами, как с родными, хотя служить с ними пришлось не более трех недель. Зато познакомились мы по-настоящему в сражении под Чертомлыком.

Ребята рассказали, что капитан Зинченко, возглавлявший тогда наш артиллерийский взвод особого назначения и отправившийся вперед на встречу со штабом дивизии, фактически бросил нас на лейтенанта Дьяченко. Этот капитан не стал разыскивать №-ю дивизию, а, едва узнав, что навстречу двигаются танки противника, пустился наутек. В полку, прибыв, он заявил, что батарея разбита, и он один чудом выжил — выручил конь.

Когда же в полк прибыл лейтенант Дьяченко с остатками материальной части, ранеными, медсестрой и ездовыми, Зинченко арестовали. Из Запорожья его вместе с полком с 18-го на 19-е августа под конвоем перевезли в Конские Раздоры. Военно-полевой суд приговорил труса и предателя к расстрелу. Там же, в Конских Раздорах, приговор был приведен в исполнение на виду у полка.

Из группы сержанта Сомова в тот знаменательный день 18-го августа в полк пришло едва четырнадцать человек, из которых трое были ранены во время переправы.

Младший сержант Горшков с восхищением рассказывал, как сержант Сомов прибыл в полк с четырьмя бойцами, в том числе с одним раненым. Этот бывалый служака Сомов, оказываясь, и в той экстремальной ситуации не растерялся: конфисковал у кого-то по дороге повозку, на которой доставил свою группу раньше других, причем торжественно, к самому ужину.

Меня, Юсупова и Гонтаря в полку причислили к пропавшим без вести. Это звучало как-то необычно, по-новому. Но Юсупова здесь не было, и о нем я действительно ничего не знал, а Гонтарь — погиб, бедняга. Таким образом, из нашей тройки «пропавших без вести» только судьба Юсупова оставалась действительно неизвестной.

Два дня я ходил в героях по громадному колхозному двору, где разместился полк.

Позднее младшего сержанта Горшкова и ездового Луку Симаченко с наскоро обученным пополнением отправили на фронт, а меня оставили до особого распоряжения в помощниках у старшего сержанта Рябова, с которым только что довелось познакомиться.

Старший сержант еще до войны служил в армии. В первых же боях был тяжело ранен, и теперь до полного выздоровления его прикомандировали к 52-му запасному полку для обучения новобранцев, которые прибывали почти каждый день. Среди этого пополнения были и молодые, моего возраста, ребята, и пожилые, до сорока лет, мужчины. С этими людьми нужно было заниматься строевой подготовкой, изучением оружия и стрельбой, что мне, наряду с младшим офицерским составом, вменялось в обязанность.

Кроме того, по комсомольской линии, как член редколлегии, я принимал участие в выпуске боевого листка полка «За Родину». В качестве поощрения мне выдали новое обмундирование (мое изрядно потрепалось): офицерскую шинель и наган с кобурой, что полагалось артиллерийскому наводчику, кем я и был в расчете.

Вскоре в полк вернулся из госпиталя младший сержант Середа. Мы оба были очень рады встрече, уговорили Рябова, а тот — старшее начальство, чтобы Середу оставили в нашем взводе.

Заканчивался сентябрь месяц. Полк сформировал, обучил и подготовил для отправки на фронт очередное воинское подразделение артиллеристов.

Я не имел офицерского звания и сам еще недостаточно знал военное дело, но тоже приложил немало усилий, чтобы солдаты постигли искусство воевать.

Помня уроки своих наставников — неважного психолога Лапидуса и прекрасного педагога и старшего товарища Дьяченко, — я старался не допускать промахов и быть для солдат старшим товарищем и другом если не по возрасту, то хотя бы по военному делу.

Тщательно вдавливали в новобранцев знания и мои более опытные сослуживцы: широкоплечий, кряжистый старший сержант Рябов и худой, длинный, чуть сутулый младший сержант Середа.

В последних числах месяца, едва мы успели проводить за ворота своих «подопечных», по тревоге подняли и построили весь полк.

Было раннее утро.

Мы стояли, поеживаясь, в строю вместе с еще не обмундированным, прибывшим только вчера пополнением и слушали подполковника. Он поставил перед нами задачу: разбить по отделениям и повзводно вновь прибывших призывников; выкупать, обмундировать и подготовить их к принятию присяги; через два часа всем быть готовым к выступлению в поход.

## **2. Отступление**

Сразу после принятия присяги, часиков в десять утра, полк развернулся и походным строем направился на северо-восток.

Хоть нам официально не объявляли, куда и в каком направлении мы движемся, но из неофициальных источников просочились сведения, что в районе г. Днепропетровска противник

форсировал р. Днепр и движется на юго-восток, и что под г. Запорожье тоже усилился натиск немцев, и они вот-вот могут прорвать оборону и перейти в наступление.

Учитывая это, чтобы не попасть в окружение, наш полк отходил в направлении г. Сталино — на Донбасс, в шахтерский край.

Это отступление, как я теперь понимаю, было обосновано еще, по крайней мере, двумя не менее важными обстоятельствами. Во-первых, 52-й запасный полк к этому времени состоял из только что прибывших, еще не обученных новобранцев. Во-вторых, был плохо вооружен: винтовок хватало лишь на 2/3 личного состава, минометами был оснащен только наполовину, пушек — только две на восемь батарей, одна 76-мм гаубица и одна сорокапятка; с боеприпасами дело обстояло еще хуже, чем с вооружением.

Мы ждали матчасть и боеприпасы со дня на день, однако они так и не прибыли до получения приказа об отступлении. Единственное, в чем мы не нуждались, были лошадки — наша бесценная тягловая сила, которую регулярно и любезно поставляли полку конные заводы области.

В первый же день отступления мы сделали солидный марш-бросок и к вечеру вышли к границе Донецкой области. Здесь в селе Любимовка остановились на ночевку. Наше войско после первого перехода протяженностью в тридцать — тридцать пять километров, приняло довольно нереспектабельный вид. Особенно пострадало молодое пополнение: многие натерли ноги до кровавых волдырей, несмотря на старания младших командиров и небольшого количества «старослужащих» вроде меня, Рябова и Середы.

На каждом привале, пользуясь случаем, я показывал солдатам, как мотать портянки, вспоминая уроки своего бывшего командира Дьяченко, научившего меня этому искусству. И все равно последние километры обозные повозки переполнились солдатами с истертыми до крови ногами.

Следующий переход до Новоукраинки пришлось проделать в два этапа, до Вишневки — тоже. Между прочим, по время переходов не обошлось без курьезов.

Я уже упоминал, что полк был полностью укомплектован конной тягой. Поскольку многие лошади были свободны от упряжки из-за отсутствия пушек, передков и зарядных ящиков, на битюгах оставили уздечки, спины их покрыли ряднами, одеялами и прочим мягким материалом вместо седел и использовали в качестве средства передвижения.

Так как упитанные битюги предназначались не для верховой езды, а для перевозки тяжелого груза, на их мощных и широких спинах усидеть было совсем не просто. По этой причине верхом на битюге можно было видеть только ездовых, а также офицеров и солдат, с детства умевших и привыкших ездить на лошадях. Если попадались случайные всадники вроде меня, то долго не выдерживали балансировки на крупе лошади и соскакивали на землю, иногда не совсем удачно, под аккомпанемент несущихся из строя подначек острословов.

И я не избежал участи таких незадачливых всадников, но, слава Богу, свидетелей моего позора не оказалось.

А дело было так.

Пройдя до Новоукраинки километров пятнадцать-двадцать, мы остановились в каком-то хуторке на берегу небольшой речушки. Солнце еще не успело зайти за горизонт. Ездовые решили напоить и искупать лошадей.

Вечером и по утрам уже было довольно прохладно, поэтому ездовые захватили ведра, скребки и прочий нехитрый инвентарь, чтобы не загонять лошадей далеко в воду и не лезть туда вместе с ними, а купать у берега. Меня попросили помочь.

Без особой на то охоты, но я согласился.

Искупав и напоив лошадей, поехали назад. Но к речушке или пруду (не помню точно) я вел лошадь под уздцы, чтобы дать ей остыть и отдохнуть, а обратно все ехали верхом. Решился и я. Мне тяжело было держаться верхом на битюге: мои короткие ноги покоились у него где-то между спиной и брюхом, расставленные шире, чем на ширину плеч. Но не вести же лошадь одному в поводу через весь хуторок. Поэтому я все время натягивал уздечку и балансировал, чтобы не соскользнуть на землю, одновременно удерживая лошадь от попыток побежать рысью или галопом после пережитой радости купания.

Так я проехал величественным шагом метров сто или двести, и вдруг...

Вдруг кто-то из ездовых, то ли нарочно, чтобы подшутить, а может быть, и случайно, на полном скаку, поравнявшись со мной, что есть мочи «гикнул» и помчался дальше, оставляя за собой лишь облако пыли.

Мой битюг, по кличке, кажется, Ландыш, рванул с места в карьер галопом вслед удалявшемуся всаднику.

Все это произошло мгновенно и было для меня так неожиданно, что я едва успел инстинктивно ухватиться за гриву и прижаться к холке лошади, развалившись на ее спине, как мешок зерна. Тем самым я удержался от немедленного падения. При каждом скачке меня подбрасывало, я ударялся о хребет, причиняя невероятную боль себе, и, очевидно, столь же неприятные ощущения перепуганному, неуправляемому Ландышу.

Наша необычная «вольтижировка» продолжалась относительно недолго: я свалился в кювет на обочине дороги и больно ушиб бедро наганом. А лошадь, освободившись от неумелого всадника, помчалась мимо конюшен за хутор. Сгоряча я выхватил наган и, путаясь в полах шинели, побежал за Ландышем, готовый убить норовистое, но ни в чем не повинное животное.

Потом мой пыл поулегся, я понял, что, в сущности, лошадь не виновна, ощутил боль в бедре, которую сгоряча не заметил, и заковылял, прихрамывая, к конюшням.

Едва я сообщил старшему ездому, что моя лошадь убежала, как во двор с ржанием вбежал Ландыш, остановился у предназначенного ему стойла и, как ни в чем не бывало, принялся за свою порцию овса. А ездовой, — деревенский парень по имени Васыль, — нежно поглаживая и похлопывая его по холке, с улыбкой стал объяснять мне премудрости верховой езды и повадки лошадей в разных ситуациях.

Васыль очень любил лошадей, с пеленок находился в их окружении, и те, естественно, отвечали ему взаимностью. Он считал, что лошади — добрые, послушные, преданные человеку животные, отвечают добром на доброе отношение, всегда все понимают, только сказать не могут.

Теорию, преподанную мне Васылем, я усвоил, но на практике применить ее мне так и не пришлось.

### **3. Битвы в пути**

В Вишневке или, как значится на современных картах, в Вишневом мы, наконец, остановились и, чувствовалось, надолго, потому что сразу приступили к оборудованию помещений под зимние квартиры. Наряду с заготовкой дров, сена и угля полк начал заниматься своим обычным делом: строевой подготовкой, изучением устава и стрелкового оружия. Рыли щели и окопы.

Вскоре над нами стала появляться немецкая авиация. Наряду со сбрасыванием бомб и пустых бочек, которые действовали на нервы, пожалуй, больше, чем бомбы, с самолетов попутно вылетали листовки. Они кружились над селом и медленно падали на землю, попадая и на территорию полка. По указанию командиров, коммунисты и комсомольцы собирали и уничтожали листовки. Политруки вели разъяснительную работу, подкрепляя ее читкой газет и даже прослушиванием радиопередач из Москвы.

Однако, несмотря на принятые меры, фашистская пропаганда сделала свое нечистое черное дело: она посеяла среди неустойчивых, колеблющихся людей семена недоверия к командирам и неверия в нашу победу. Фашистская пропаганда дала ядовитые всходы, и в этом через некоторое время я смог убедиться в полной мере.

Примерно в середине октября к Вишневке начали подходить части отступающих армий. Сейчас, после сорока четырех прошедших лет, сидя за письменным столом с географическими картами и описанием военных действий тех дней, я понимаю, что наш 52-й запасный полк оказался на стыке отступающих 12-й и 18-й армий. А тогда, — командир без звания и артиллерист без орудия, а по сути лишь освоивший азы военного дела солдат-пехотинец, — я не знал и не интересовался, в какую из армий попал и куда меня судьба забросит завтра. Для меня эти армии были Красными, я верил своим командирам, которые мною непосредственно командовали, и без лишних рассуждений выполнял их команды, стараясь не иметь на все, как говорили, «кочку» зрения. Так было легче выполнять свой воинский долг. Дали команду на окраине села рыть сплошные траншеи и индивидуальные окопы, и я в поте лица, без лишних рассуждений, воплощал в жизнь этот приказ, переданный мне моим непосредственным командиром — старшим сержантом Рябовым.

От Рябова и младшего сержанта Середы, правда, узнал я и кое-какие недобрые вести: немцы в нескольких местах форсировали Днепр, заняли города Днепропетровск и мое родное Запорожье, некоторые другие на левом берегу реки места и предместья, и теперь рвутся к г. Сталино. Выходило, что траншеи и окопы мы роем не в учебных целях, что скоро у нас здесь начнутся горячие денечки.

До получения пушек и минометов нам — артиллеристам противотанковых пушек — выдали специальные сумки с бутылками самовоспламеняющейся жидкости и инструкции по их исполь-

зованию и применению. Кроме того, старший сержант Рябов лично инструктировал, как и куда бросать эти бутылки на танки, объяснял, где наиболее уязвимые места у фашистских танков.

Инструкция инструкцией, а жизнь есть жизнь — она действует по своим законам и часто вносит поправки в самые совершенные инструкции.

Как-то один из молодых бойцов, уж не знаю, каким образом, но ударил винтовкой по сумке с бутылками во время учений и разбил одну из них. Жидкость просочилась на шинель, сапоги, все это охватило пламя. Молодой парень, забыв инструкции, растерялся: сбросил винтовку и сумку и начал кататься по земле, вместо того, чтобы сбросить шинель и сапоги. Своими действиями он еще больше раздул пламя.

Этого красноармейца общими усилиями удалось остановить, накрыть шинелями и заглушить пламя, раздеть и расправиться с его горячей одеждой, которую засыпали землей с песком. Обожженного отправили в санчасть.

После этого случая мы стали очень осмотрительно обращаться с бутылками. Даже несколько позже, когда получили бутылки не с самовоспламеняющейся жидкостью, а с другой жидкостью с длинными спичками и серой для поджога при броске. Мы стали такими осторожными, что и тогда брали бутылки с собой, лишь направляясь в окопы. Там их устанавливали в специально вырытые ниши для боеприпасов.

...Похоже было, что ждали не только наступления пехоты противника, но и танковой атаки. Теперь мне приходилось каждые сутки занимать свой индивидуальный окопчик и воспаленными от недосыпания глазами смотреть на запад. Иногда оттуда прилетали «рамы». Покрутятся, покрутятся, дадут пару очередей в ответ на беспорядочную стрельбу с земли и улетят.

Немцы не заставили себя долго ждать. Это было во второй половине октября. Утром, когда я прыгал и хлопал себя руками, согреваясь в окопчике, далеко на горизонте замаячили силуэты танков. Они выстроились цепочкой вдоль линии горизонта и развернулись по направлению к нашим окопам.

Позабыв о холоде, затаив дыхание, я стал напряженно наблюдать за дальнейшими действиями врага. К танкам подъезжали грузовые машины, высаживали пехоту и скрывались за горизонтом. Маневры с высадкой пехоты продолжались около часа. Это действовало на психику угнетающе.

Напряжение нарастало.

С нашей стороны не было произведено ни одного выстрела — затаились.

Наступила полнейшая зловещая тишина, как перед бурей. Потом ветер донес знакомый характерный гул моторов и скрежет железа. Танки двинулись на Вишневку.

Я поглядывал то на танки, то на лежавшие в нише бутылки. Грозная сила медленно и неотвратимо надвигалась на меня. На душе становилось все тревожнее: и потому, что рядом со мной никого не было, и потому, что я уже один раз испытал, что такое танковая атака.

Мне казалось, что я один в этом мире зла, хоть я и знал, что поблизости, и слева, и справа, сидят и ждут приказы командиров мои товарищи.

Вопреки ожиданию, пехота почему-то за танками не пошла. Я отодвинул карабин в сторону и стал готовиться к бою: положил на бруствер пару бутылок и связку гранат.

Над головой засвистели пули и снаряды. Танки, изредка стреляя, медленно приближались к селу. Они надвигались на наши позиции, уверенные в своей силе и непобедимости.

Несмотря на утренний морозец, спина взмокла от пота и какой-то беззащитности. Бутылки выглядели не внушительно и не серьезно. Все-таки пушка, даже маленькая сорокапятка, это не какие-то бутылки, которые были расставлены в нише, как будто я был не в окопе, а в винном погребе, и предстояло не сражение с танками, а мирная вышивка с друзьями...

Танки были от передовых окопов уже на расстоянии не более двухсот метров. Я весь сжался в комок, ожидая их подхода, чтобы бросить свои бутылки. Гадал, какое из этих чудовищ пойдет на меня и начнет утюжить мой маленький окопчик, мысленно перебирая в памяти всех родных и близких, прощаясь с ними. Потом меня охватило удивительное безразличие и спокойная злость. Я зажал в руке бутылку и стал ждать. Танки прошла еще с полсотни метров и... Вдруг перед ними, как завеса, начала взлетать земля от рвущихся один за другим снарядов крупного калибра.

Через село и головы залегших в окопах красноармейцев, подвывая, летели невидимые болванки, начиненные динамитом. Они образовали перед нами и за танками огненную вилку.

Забыв об опасности, безмерно радуясь неожиданному избавлению от нависшей угрозы, я высунулся из окопа и стал наблюдать, как наши артиллеристы мешали с дерьмом «непобедимые» фашистские танкеры.

Я гордился артиллеристами, так как принадлежал тоже к этому роду войск, и удивлялся, и восторгался одновременно ими, стрелявшими с закрытых позиций, километра за три от села, с завидной точностью. Это были действительно «Боги войны», низвергавшие с небес громы и молнии на врага.

Вероятнее всего, это были 152-х мм гаубицы, которые я видел пару дней назад, когда их тягачами провозили через Вишневку.

...Вот один из танков накрыло взрывом, вон второй горит, а третий с перебитой гусеницей завертелся и свалился в воронку.

У немцев теперь, с моей «кочки зрения», было два выхода: или на большой скорости рваться сквозь огненную полосу к нашим окопам, до которых оставалось метров 150 — 200, или свернуть влево от меня в лощину и по ней обойти село и ударить нам в тыл.

Я рассуждал так, не зная наших и, тем более, вражеских возможностей и планов.

Они выбрали третий вариант: левое крыло танков, увеличивая скорость, по диагонали пошло прямо на мой и соседние окопы, доставив несколько довольно неприятных минут ощущения приближающейся смертельной схватки; потом это крыло развернулось еще левее и, не снижая скорости, скрылось в лощине. Правое крыло танков ушло куда-то вправо (куда именно, я не видел, не до наблюдений было). На поле осталось три или четыре лежащих на боку и два горящих как факелы танка.

Только через несколько минут оцепенение, охватившее меня, прошло, но перед глазами еще маячили прущие на полном газу на мой окоп, извергающие огонь немецкие танки...

Я положил обратно в нишу судорожно зажатую в правой ладони бутылку, еще не веря спасению, поправил на бруствере карабин, убрал приготовленную к бою связку гранат, высунулся из окопа побольше и огляделся.

«Вжик! Вжик!» — просвистели около уха пули. Они летели со стороны одного из подбитых немецких танков. Наверное, там залегли уцелевшие танкисты. Они мешали разглядывать поле сражения, но стреляли не прицельно — наобум.

Ползти к своим фрицы не решались, так как туда было раза в четыре дальше, чем до наших окопов, и их бы моментально подстрелили, как куропаток, в открытом поле. Им оставалось ждать наступления ночи, уповать на бога и надеяться на случай.

В небе появились «юнкеры». Они налетели на наши позиции и начали сбрасывать свой смертельный груз.

Я опустил на дно окопа.

Земля дрожала от взрывов. Стало темно от поднятых вверх комьев земли, гари и пыли. А вой падающих бомб был такой нарастающе-сверлящий, что, казалось, каждая из них падает прямо на тебя. От этого ощущения сердце сжималось, как тисками, мороз пробежал по коже. По каске барабанили комки земли, в висках стучало, уши опять пронизывала нестерпимая боль, впервые возникшая еще во время моего первого боевого крещения. Меня засыпало, а я, сидя на дне окопа, обеими руками сжимал уши и отсчитывал мгновения, отпущенные мне на жизнь.

Сколько продолжался этот кошмар, сказать затрудняюсь. Но разрывы бомб на наших позициях прекратились, и гарь начало относить в сторону. Пять «юнкеров» повернули к селу, в направлении, где дислоцировалась тяжелая артиллерия.

Тут я впервые за время войны увидел вылетевших наперерез фашистским истребителям наши родные советские истребители. Их было всего три тупоносых «ишачка». Тем не менее, краснорозетные смельчаки бросились в атаку.

Они моментально расчленили двигавшиеся строем вражеские бомбардировщики и начали бить их поодиночке. Вот один из крестоносцев загорелся и стал падать.

По бокам в окопах и сзади в траншеях после бомбежки воцарилась гробовая тишина, и казалось, что все вымерло, но вдруг ожило все это, и раздалась ликующие возгласы:

— Ур-ра! Ура-а!

Потом один из наших истребителей устремился за сбросившим на село бомбы и повернувшим восвояси фашистом. И тут, прямо над моей головой, произошло что-то непонятное: «ишачок» в крутом вираже залетел справа от бомбардировщика и врезался ему в брюхо.

В воздухе раздался взрыв, и перемешавшиеся, охваченные пламенем обломки обоих самолетов начали медленно падать, переворачиваясь в воздухе, и, наконец, рухнули на землю за подбитыми немецкими танками.

Оставшиеся в небе три «юнкера» повернули назад, не долетев до расположения батареи. Советские самолеты еще некоторое время преследовали их, потом развернулись и скрылись за селом на востоке...



После бомбежки ждали атаки пехоты. Из траншей даже донеслась команда, повторенная несколько раз:

— Приготовиться к отражению атаки!

Но атаки не последовало. Наступила снова тревожная тишина. Она длилась около получаса. С немецкой стороны загромыхали минометы. Мины начали рваться сначала на линии индивидуальных окопов, потом перенеслись на траншею, где засела пехота, а затем их огонь переместился в село на наши полковые тылы.

Я высунул голову из окопа, чтобы осмотреться. В воронку, метров за пять от меня, вскочил парень с ручным пулеметом и начал быстро окапываться, из воронки торчало только дуло пулемета да летели комки земли. Пулеметчика не было видно. Через некоторое время он, наконец, выглянул, заметил меня и крикнул:

— Эй, истребитель, давай сюда!

Движимый жаждой общения после пережитого напряжения, я пополз к пулеметчику, неловко перевалился через небольшую насыпь и плюхнулся с пулеметчиком рядом на дно воронки.

— Осторожно... Убили моего напарника... Оставайся, будешь вторым номером! Вдвоем сподручнее и веселее!

Я согласился и принялся помогать парню благоустраивать воронку под приличное пулеметное гнездо. Минометный огонь продолжался еще несколько минут, но мины падали далеко за нами и не представляли для нас никакой опасности. За это время мы углубили и укрепили наш окоп, мой напарник успел смотаться и притащить диски и запас, а я — перенести гранаты и злополучные бутылки, несмотря на возражения пулеметчика, который их побаивался и отворачивал как боевое оружие.

Теперь в нашем пулеметном гнезде мне было гораздо уютнее и как-то теплее: все-таки нас теперь было двое.

Несмотря на то, что парня этого с одним треугольником в петлице я видел впервые, он как-то сразу стал для меня родным и близким. Мы успели перекинуться друг с другом лишь двумя-тремя словами: из-за горизонта показалась пехота противника.

Немцы двигались несколькими изломанными линиями в полный рост, на ходу стреляя из автоматов. Над головами засвистели пули, некоторые шлепали в бруствер окопа, откалывая кусочки земли. Огонь не был прицельным. Он был рассчитан больше воздействовать на психику противника, но шальная пуля на излете все же могла поразить, такое часто бывало. Чтобы понапрасну не рисковать, мы опустились пониже, и мой напарник, обращаясь даже не ко мне, а ко всем сразу, закричал:

— Ага... давай!.. давай! Сейчас они нам кланяться будут, гады!

Он лихо подмигнул, улыбнулся и повернул ко мне свое курносое, грязное и оттого еще более милое, приятное лицо. От этого на душе стало как-то спокойнее и даже немного весело.

Мне подумалось, что с этим парнем ничего не страшно — даже умирать.

Мы приладили пулемет, разложили диски, гранаты и стали по очереди наблюдать за немцами, время от времени высывая головы из своего «гнезда». От нашей позиции до наступавших оставалось метров 500, потом 400, потом они так же, во весь рост, почти не сгибаясь, побежали, стреляя, вернее, строча из автоматов. Они не успели добежать до своих подбитых танков, как на их головы опять обрушился сокрушительный огонь наших гаубиц. Теперь в цепях немцев порядок сильно нарушился: они попадали на землю и продолжали ползти на нас. Снаряды тяжело плюхались и взрывались среди повергнутого ниц противника. Каждое удачное попадание мы с напарником сопровождали ликующими комментариями. Однако немцы, даже неся явные потери, продолжали упорно ползти вперед, и передние из них, те, что пересекли линию артогня и попали в мертвую зону, вдруг поднялись метров за двести от нас, и, вопя во всю глотку что-то на чужом языке и стреляя, бросились на наши окопы.

Мой напарник с силой прижал приклад к плечу и процедил сквозь зубы:

— Ну, мать вашу, теперь кланяйтесь!

Он нажал на спусковой крючок.

Парень стрелял, как бог: бежавшая впереди остальных группа немцев вдруг остановилась, осела и повалилась, как подкошенная. Он перенес огонь на следующую поредевшую цепь. Я только успевал подавать диски.

Вдруг пулеметчик, не прекращая стрельбу, толкнул меня в бок и крикнул:

— Гранату влево... быстро!

Я оглянулся. Слева, метрах в двадцати от моего бывшего окопчика, ползли и уже готовы были подняться для последнего броска фашистские серо-зеленые крысы.

Я выхватил из ниши гранату, швырнул по направлению к ползущим гадам одну, потом другую и осел на дно окопа.

Раздались взрывы, послышались крики и стоны.

Но они были заглушены тут же мощным криком «Ур-р-р-а!», возникшим позади нас: из траншей выскакивали красноармейцы с винтовками наперевес, оцетиненными штыками. Они бросились добивать уцелевших фрицев «непобедимого» Вермахта.

Я и мой случайны друг по оружию начали обниматься от радостного возбуждения, хлопать друг друга руками и хохотать, как сумасшедшие.

— Я ж тебе говорил — на хрена таскать бутылки? Если б это был шнапс, тогда совсем другое дело!

Он хлопал меня по плечу и улыбался своим курносым лицом, грязным и мокрым от копоти, пыли и пота.

Ему было лет девятнадцать-двадцать. Он не был красивым, скорее даже наоборот, но в эти минуты он казался мне прекрасным.

За час, который мы пробыли вместе в одном окопе у огненной черты, я даже не успел расспросить, как его зовут и откуда он родом, а может быть, и спросил, но тут же сгоряча и забыл, — не знаю. Только запомнил на всю жизнь этого курносого белобрысого парня и его белозубое со щербинкой и серое от грязи и пота лицо...

С немецкой стороны молчали. Атака не повторилась.

#### **4. Горечь потерь**

...Наступили сумерки.

Младший сержант Середа разыскал меня, привел смену, велел идти есть и отдыхать.

Я горячо распрощался с пулеметчиком и пошел к селу. Только теперь я ощутил, как голоден. Ворошиловский паек разделили между оставшимися в живых и завалились спать в каком-то хлеву на соломе.

...Я не успел еще уснуть, наверное, только задремал, как нас подняли, быстро построили и повели снова в тыл — на восток.

Я шел, пристроившись к ехавшей впереди повозке с ранеными, держась одной рукой за кузовок, с закрытыми глазами. Сквозь дрему слышал стоны раненых и разговоры идущих рядом солдат о том, что немцы с флангов прорвались к нам в тыл. Шли мы так, почти не отдыхая, всю ночь, до рассвета. К утру подошли к селу Авдеевка. Здесь не успели как следует разместиться — налетела авиация противника, и началась такая катавасия, которую трудно описать.

Окопы вырыли только наполовину. Вместо щелей в селе служили погреба, куда тотчас же попрятались местные жители и те из солдат и офицеров, которые успели остановиться на постоя. Я же лежал на краю какого-то огорода, на дне наполовину вырытого окопа, уткнув лицо в землю и ожидая, когда бомба упадет мне на спину. Опять жуткий вой и пронизывающая боль в ушах, спазмы в горле, ощущение полнейшего бессилия и ожидания смерти.

Земля раскалывалась на части от грохота. В голове был какой-то ноющий, ни на минуту не прекращающийся шум...

Потом земля перестала вздрагивать.

Самолеты, очевидно, уже улетели, а я продолжал неподвижно лежать на животе лицом вниз, не понимая, жив я или мертв...

Сколько я так пролежал — не знаю.

Не помню, как я на этот раз вылез из-под земли, в которую был буквально погребен и засыпан. Все тело болело, в носу и ушах запеклась кровь.

Разбросанные повсюду, засыпанные землей шинели зашевелились: уцелевшие после бомбежки солдаты начали подниматься и идти, шатаясь, по направлению к центру.

Прошло еще какое-то время.

Сквозь шум в ушах я начал различать стоны раненых, призывы о помощи. Картина предстала печальная: огороды, сады и улицы были буквально перепаханы. Кругом зияли воронки, горели разрушенные хаты. По улицам носились неуправляемые лошади, ревели уцелевшая скотина. Кое-где на сохранившихся столбах висели клочья одежды и истерзанные останки тел людей и животных. Такую потрясающую кровавую панораму последствий бомбежки я видел впервые.

На все это страшно было смотреть, но глаза сами фотографировали, оставляя в памяти на всю жизнь этот ужасный оскал войны.

На площадь в центр села стекались солдаты и сельские жители. Сюда же свозили и погибших красноармейцев и истерзанные трупы ни в чем не повинного мирного населения: стариков, женщин, детей. Плач, стоны и причитания сплошным потоком людского горя переполнили площадь.

Среди погибших был и мой товарищ, единственный близкий мне человек, с которым связывались воспоминания о начале службы в армии, в 52-м запасном полку, и о войне с того самого момента, как мы ее ощутили, вернее, испытали на собственной шкуре.

Младший сержант Середа лежал на спине с открытыми голубыми глазами на бледно-сером, без кровинки, лице. Всегда худощавый и длинный, он показался мне каким-то маленьким, укороченным оттого, что у него были оторваны выше колена обе ноги. Жуткая, нелепая смерть. Нелепая оттого, что младшему сержанту было не более двадцати одного года — возраст, при котором у людей все еще впереди.

У Середы теперь впереди ничего больше не было — все оборвала война.

«Так же внезапно может оборваться жизнь не сегодня, так завтра, у меня, Рябова или у этих молодых ребят, стоящих рядом с нами, — грязных, запыленных, пахнущих потом и пороховым дымом, в серых солдатских шинелях», — пронеслось в воспаленном мозгу.

В память о погибшем друге я взял его карабин, а свой отдал одному из красноармейцев.

Убитых похоронили в центре села на большой площади, в одной братской могиле, военных и мирных жителей, без различия рангов и званий.

С короткой речью выступил незнакомый мне полковой комиссар. Прогремели выстрелы салюта по погибшим людям — жертвам войны.

Может быть, сейчас, в послевоенное мирное время, колхозники на том месте поставили обелиск в память о погибших воинах и своих односельчанах. А тогда сколотили деревянную пирамиду со звездой и установили ее в центре могилы с надписью:

«Красноармейцам и мирным гражданам села Авдеевка. Вечная память вам — жертвам фашистских варваров».

Имен и фамилий не перечислили. Трудно было их установить сразу.

Надеюсь, что сейчас они все установлены: никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто, в том числе и эта трагедия.

В Авдеевке мы пробыли недолго, приводя себя в порядок и формируя из уцелевших после боев и бомбежки красноармейцев и командиров новые подразделения.

Убитых похоронили, раненых отправили в госпиталь, оставшиеся в живых становились в строй. С рукой, болтавшейся на перевязи, старший сержант Рябов хлопотал, формируя свой взвод, поредевший за последние три недели примерно на сорок процентов.

После гибели Середы у меня никого не осталось из знакомых в нашем взводе, кроме его командира — Рябова. С того времени, как мы ушли из Конских Раздоров, личный состав полка один раз был заменен почти полностью, и еще один раз — больше чем наполовину. Я продолжал себя считать солдатом 52-го запасного полка 99-й дивизии, хоть давно сменилось командование полка, а командиров дивизии я не знал и не видел ни разу.

Теперь, спустя почти сорок пять лет, ознакомившись с материалами по Великой Отечественной войне, я начал сомневаться: в 99-ю ли дивизию влился тогда наш полк в Вишневке? Может быть, другие номера были присвоены нашему полку и дивизии, к которой он принадлежал? Скорее всего, это могла быть 383-я стрелковая дивизия 18-й армии, а я просто не знал этого. Рядовой боец Красной Армии, я знал одно и до сих пор знаю твердо, что тогда я сражался на Юго-Западном фронте.

Кое-как укомплектовавшись, мы начали двигаться с небольшими остановками на северо-восток. Наше соединение было теперь по личному составу чуть больше одного стрелкового батальона, без резервов...

...Мы шли уже несколько дней, часто меняя направление: то на северо-восток, то на юго-восток. Непосредственно с противником мы в пути не встречались и в бой не вступали. Только немецкая авиация не давала покоя. Она пока почти не бомбила нас, в основном забрасывала листовками. Эта геббельсовская отравка действовала на сознание некоторых солдат, да и офицеров, хуже бомб.

В листовках писалось, что Белоруссия и почти вся Украина в руках «Великой Германии», что Ленинград пал, а Москве осталось быть во власти большевиков считанные дни. Фашисты призывали солдат сдаваться в плен немецкому командованию, стрелять и выдавать жидов и комиссаров, расходиться по домам для мирного труда, где давно их ждут матери, жены, дети, сестры...

Я ничем не отличался от остальных красноармейцев, не имел никаких преимуществ, и переносил так же, как и все, тяготы войны. Однако я был евреем и комсомольцем, любил свою Родину, защищал ее от фашистской нечисти, как мог, но никак не знал и не мог даже догадаться, что каждому из рядом со мной идущих пришло в голову и залегло в душу после прочтения немецких листовок.

Рядом со мной шли почти незнакомые мне люди разных возрастов, частично собранные из разных подразделений, а частично из мобилизованных во время отступления призывников. Это был, по сути, сброд пушечного мяса, а не регулярная армия.

## 5. В мешке

Вскоре мы начали перемещаться преимущественно с наступлением сумерек, отсиживаясь днем на небольших хуторах и в посадках.

Часто во время ночных переходов, то спереди, то сзади, то справа, то слева нашу колонну пересекали пулеметные очереди трассирующих пуль, создавая впечатление, что мы со всех сторон окружены противником.

Кроме того, распространились слухи, и в этом повинны, прежде всего, кое-кто из «сверхбдительных» командиров, что немцы сбросили к нам в тыл парашютистов, переодетых в советскую форму. Так как мы плохо знали друг друга, то каждый стал с подозрением относиться к своему рядом идущему соседу. Все это вносило в ряды отступающих нервозность, нередко даже панику и кривотолки.

Появились случаи дезертирства.

Соединение, которое трудно было уже назвать нормальной воинской частью, продвигалось к Хоцепетовке (ныне Углегорск).

Днем, как обычно, мы разместились на отдых в широкой лесозащитной полосе. Подошло время обеда. Прозвучал сигнал. Я с котелком каши едва успел усесться на пенек и отправить первую ложку в рот, как неожиданно налетели непонятно откуда немецкие самолеты. Сжимая котелок в руках, я плюхнулся и какую-то канавку.

Штурмовики обстреляли нас из пулеметов, сбросили бомбы и листовки и скрылись за терриконами так же внезапно, как и появились.

Я поднялся, отряхнулся. Мой котелок пробило осколком, и вывалившаяся из него каша перемешалась с землей.

Метрах в десяти от меня, скорчившись, упираясь руками в землю, на согнутых в коленях ногах, взывал о помощи пожилой солдат:

— Братцы... помогите! По-мо-гите... или добейте!

В том месте, где должны были быть голени и стопы, торчали белые кости, из красного месива струилась кровь.

Я и еще двое солдат подбежали к раненому. Из его разорванной, окровавленной одежды мы сделали жгуты, перетянули в коленях ноги и понесли к палатке, где разместился санпост.

Точно так же был ранен младший сержант Середа. «Если б ему оказали своевременную помощь!» — пронеслась в голове навязчивая мысль. Руки, шинель и сапоги мои были забрызганы кровью раненого. То ли от этого, то ли от голода поташнивало.

Я кое-как обтер руки о кору деревьев, раздобыл свободный котелок и побрел к походной кухне...

На том месте, где она раньше стояла, зияла большая воронка. Перевернутый котел валялся в нескольких метрах от углубления. Около вывалившейся каши сутились голодные солдаты, спеша подобрать уцелевшую, еще съедобную кашу. Я набрал себе из разлившейся «лавы» полный котелок и тут же, чуть в стороне, с аппетитом умолотил гречневую кашу пополам с землей. На зубах скрипело, но стало значительно легче, перестало сосать под ложечкой.

Это была моя последняя горячая солдатская пища, так как с этого дня кухня прекратила свое существование.

Варить было не из чего и не в чем. Нам раздали галеты, какие-то концентраты из пшена и по несколько кусков сахара.

Запасы продовольствия на этом кончились.

Я старался экономить, но есть хотелось сильно, и, надеясь на «авось», я нет-нет, да и залезал в вещмешок и расправлялся с «НЗ», собственно, так же, как и многие другие.

Наше положение становилось с каждым днем все тяжелее и тяжелее.

Рябов, не менее голодный, чем я, распределил свой «НЗ» по дням и строго его расходовал, упрекая нас — бойцов своего взвода — в несдержанности и легкомыслии. Он говорил:

— Учтите, провиант и кухню мы получим не скоро. А голодный солдат — не воин.

...Поредевшие от опавшей листвы лесопосадки больше не укрывали нас от авиации противника. Мы сверху были видны им как на ладони и являлись легкой добычей для обстрела и бомбежек вражеских самолетов.

...Постепенно стало ясно и то, что немцы обошли нас с флангов, и наша часть если еще не окружена, то вскоре ей грозит окружение. Это стало для всех особенно очевидно, когда мы, продвигаясь все время на восток, однажды чуть-чуть не наткнулись на хутор, занятый немцами. Хорошо, что об этом своевременно доложила разведка. Мы изменили направление и двинулись дальше, также на восток.

И опять я шел, как в полусне, улавливая только две команды: «привал» и «подъем», падал и поднимался. Кружилась голова, мучили жажда и голод.

В один из дней очередного перехода по лабиринту свободных от неприятеля хуторов и посадок, мы наткнулись на брошенную пасеку. Солдаты налетели на нее и моментально разобрали по частям все ульи. Замерзших, сонных пчел ударом о колоду стряхивали с сот и ели мед без хлеба, вместе с воском.

После такого пира у меня начались рези в желудке и понос. Этот недуг распространился на всех, кто приложился к меду. Солдаты ходили, запинаясь о кочки, или сидели на корточках с задранными шинелями, придерживая их в руках и боясь испачкать галифе.

Два дня мы не могли сдвинуться с этого, в буквальном смысле насиженного, места из-за треклятой пасеки. Между «дристунами» прошел слух, что трое скончались.

Голодные, холодные, слабо вооруженные, обессиленные желудочным заболеванием, мы теперь представляли собой воинское подразделение, которое уже не могло оказать противнику какое-либо серьезное сопротивление. Тем не менее, мы должны были любой ценой, и это был единственный выход из создавшегося положения, во что бы то ни стало, избегая открытого боя, прорваться к Хоцепетовке, и затем к Ворошиловграду (ныне Луганск).

Я не видел своего лица, мало был знаком с шагавшими рядом солдатами. Но по изменившемуся, заросшему щетиной, изможденному лицу Рябова и таким же усталым лицам окружающих примерно представлял свой портрет.

Все, мешавшее идти, кроме оружия, я выбросил. В сумке, где когда-то покоился противогаз, теперь лежали гранаты, патроны и плоский котелок с ложкой. Последние предметы тоже были ненужным балластом, но выбросить котелок и ложку я все-таки не решался.

## **6. Последняя разведка**

В один из ноябрьских вечеров, после очередных попыток выйти из кольца и соединиться с основными частями Красной Армии, мы остановились своим поредевшим соединением в небольшом лесочке, откуда хорошо просматривалась местность. По всем признакам, остановка лагеря предвиделась долгая. Надо сказать, что в связи с тем, что было уже довольно холодно, а вечерами бывали даже заморозки, для того, чтобы согреться, приходилось разводить костры. Чтобы не обнаружить себя и для удержания тепла, на больших привалах нам давали брезентовые полотна, из которых мы сооружали нечто вроде «палаток» на несколько человек. Внутри мы разводили костры, которые мирно потрескивали, почти не давая дыма, а главное, согревая усталых солдат.

На этот раз нам тоже раздали «брезентуху». Я только успел подумать о том, что мы не продвигаемся дальше, очевидно, из-за отсутствия разведанных, как ко мне подошел командир взвода Рябов. Он отвел меня в сторону и сказал, чтобы я хорошо отдохнул и не отлучался далеко от палатки; что у него есть ко мне дело, и что он, когда начнет темнеть, меня разыщет.

Со мной в палатке было еще пятеро ребят. Из сухих веток мы разложили небольшой костер и расположились вокруг веером, по очереди подкладывая хворостины для поддержания огня. Меня от этих дел освободили.

Я не заметил, как, пригревшись, поплыл в сновидениях далеко-далеко от места, где находился в данную минуту...

Сначала это был наш довоенный бухаринский двор, весь зеленый от травы и цветов. Посередине двора на маленькой скамеечке разместилась мама с чашкой и молила своего сыночка:

— Марочка, иди сюда, попробуй гоголь-моголь! Ну, хоть одну ложечку!

— Мне некогда, мамуля! Потом! — ответил пацан вроде меня и побежал на улицу.

...Однако это оказалась не улица, а кролиководческий совхоз, где я с Женькой Гаскиным и его отцом выбираем кроля для Женькиной крольчихи. Зоотехник подводит нас то к одной, то к другой клетке, показывая самцов различных пород...

Самца мы так и не подобрали — помешал старший сержант. Он разбудил и повел меня к палатке, где разместились разведчики.

Навстречу нам вышел младший лейтенант с двумя людьми: рослым лет тридцати-тридцати пяти сержантом и молодым, примерно моего возраста, солдатом. Рябов, указывая на меня, отрапортовал, что по приказанию привел надежного солдата, который бывал уже в разведке, и что на меня можно положиться.

Младший лейтенант глянул на меня оценивающим взглядом и, очевидно, остался не особенно доволен внешним осмотром, потому что вздохнул и процедил сквозь зубы Рябову:

— Можете быть свободны, старший сержант.

Затем завел нас в палатку, подвел к ящику, в котором горела коптилка, и, расстелив карту, обратился ко мне с вопросами. Его интересовало следующее: моя фамилия, национальность, откуда родом, сколько служу, где бывал в разведке, какое образование. Представил рядом стоящих разведчиков. Фамилию старшего из них я запомнил на всю жизнь, хотя и не совсем четко: не то Баглий, не то Баглей. Второго парня помоложе вроде бы звали Тимохой. Оба они были из здешних мест (как это выяснилось в процессе разведки). Но это потом. А пока...

После короткой церемонии вопросов ко мне и представления друг другу младший лейтенант указал на карту и поставил перед нами задачу: пройти три-четыре села на северо-восток, разведать, заняты ли они немцами или свободны. Если да, то постараться выяснить, какие у неприятеля силы и оснащение. Узнать у населения, какие села и хутора заняты немцами впереди. Еще он добавил:

— Одного выдвигать вперед на подходе к объекту, двоим прикрывать ушедшего. Если ближайший путь свободен, подать сигнал ракетой.

Он вручил ракетницу Баглию, попросил всех выложить документы, спрятал их, выпроводил нас из теплой палатки, провел через посты на дорогу и, проговорив: — Ну, пошли, ребята, — подтолкнул в темноту ночи.

Баглию и Тимохе эти места были хорошо знакомы. Они без карты и компаса быстро зашагали вперед по дороге. Я же едва поспевал за ними, стараясь не отставать, хотя мне и показалось, что они немного меня сторонятся.

Пройдя в таком темпе с полчаса, мои напарники замедлили шаги и стали прислушиваться. Впереди слева, за садами, раздался чуть слышный лай собак.

— Минут через двадцать будет хутор, — сказал Баглий, — я пойду вперед, а вы меня прикройте, поняли?

Втроем, крадучись, мы подошли к селу и укрылись за скирдой сена с тыльной стороны крайней хаты. Баглий пополз по-пластунски через огород к хате.

Раздался залиvistый собачий лай. Ему завторили собаки в соседних дворах. Мы замерли, прислушиваясь, затаив дыхание и держа окоченевшие пальцы на спусковых крючках.

Хлопнула дверь. Из хаты вышли.

В темноте послышался женский голос:

— Сирко, ты чего розгавкался?

Баглий, очевидно, вышел из укрытия, потому что женщина вдруг вскрикнула:

— Ой, нечиста сыла?!

Тут же прозвучал приглушенный голос разведчика:

— Хозяйка, милая, не бойся. Свои...

Его слова прервал отчаянный собачий лай. Минуту спустя женщина, наверное, поняла, что ей никто не угрожает, и принялась умирять собаку. Потом мы услышали:

— Идти до хаты.

Дверь хлопнула, и наступила гробовая тишина. Прошло минут пятнадцать или двадцать, показавшихся вечностью, прежде чем послышался скрип отворяющейся двери и, наконец, показался силуэт Баглия, направившегося в нашу сторону. Мы выбрались из скирды и крадучись пошли ему навстречу.

— Немцев здесь нет! Натё, пожрите, — и развернул сверток с черным хлебом, луком и нарезанным ломтями салом.

Как голодные волки, мы набросились на эту «царскую» еду и тут же ее растерзали.

— Пошли дальше, — распорядился Баглий. — Там тоже немцами вроде не пахнет. Поторпливайтесь! Надо торопиться!

Была морозная безлунная ночь. Баглий вел нас по каким-то проселочным дорогам, которым не было ни конца, ни края. Мы шли уже больше часа, а жилья нигде и в помине не было. Казалось, мы — одни живые существа в этом бесконечном необитаемом темном пространстве. Потом Баглий, а за ним Тимоха и я свернули с дороги и пошли по полю, наверное, через бывшую бахчу, потому что вдали показалось какое-то сооружение, похожее на небольшую пирамиду. Приблизились. Это был обыкновенный куринь — шалаш, в котором на Украине обычно укрываются от непогоды сторожа бахчи. Заглянули внутрь: пусто и сухо. Решили немного передохнуть. Баглий сказал, что он это место хорошо знает, что за бахчой кладбище, а сразу за ним село Еленовка.

Я ждал и был уверен, что он, как самый опытный из нас, пойдет вперед, а мы с Тимохой останемся прикрывать его. Но Баглий дал мне команду идти вперед, оставшись с Тимохой для прикрытия...

Я пошел, как указывал Баглий, к кладбищу. Преодолевая глупый суеверный страх, пересек его и... только хотел сунуться дальше, к селу, как услышал чужую речь. Сразу же приник к земле, притаился за могилами. Вспомнил разведку на острове... Сердце снова заколотилось так, что, казалось, его могут услышать немцы. Дыхание перехватило...

Немцы были далеко от моего укрытия, но в тишине ночи до слуха доносился каждый шорох, помноженный на мои обостренные чувства. Я старался сдерживать дыхание и не шевелиться.

Немцев было вроде двое. По крайней мере, мне так показалось, так как я их не видел. «Фрицы» шли, наверное, опорожнить свои желудки, так как до моего слуха, кроме разговоров и ржания, донеслись и другие, еще более прозаические звуки. Потом эти «музыканты», очевидно, зашли в дом. И снова наступила тишина.

Пробираться к другим хатам было слишком рискованно — можно было наткнуться на караульные посты, которые немцы наверняка расставили.

Я пролежал в своем укрытии еще пару минут, после чего пополз назад, к находившимся где-то за кладбищем на бахче разведчикам.

Там немцы! — выпалил я с ходу, едва увидев Баглия и Тимоху.

## 7. Предательство

Мы вернулись в курень, чтобы обсудить: как быть дальше?

Баглий спросил, много ли в селе немцев. Я объяснил, что не знаю, так как наткнулся на них сразу же за кладбищем у первой же хаты; думаю, что много, иначе бы они не поселились около самого погоста. Вполне возможно, что в центре им не хватило места.

— Вполне возможно... да, возможно... — вслед за мной повторил Баглий и надолго замолчал, что-то обдумывая. Молчал и Тимоха.

— Что делать будем? — спросил я, прерывая это затянувшееся мучительное молчание.

— А вот что! — гаркнул вдруг Баглий и навалился на меня всем телом. — Тимоха! Давай канат!

Баглий перевернул меня на живот, заломил руки за спину и коленом нажал на поясницу. Я ничего не мог понять... Тимоха подал веревку, которой Баглий связал мне сзади руки. Он был опытным разведчиком. Все это произошло так быстро и так неожиданно, что я ничего не мог сообразить, не мог произнести ни слова и не оказал никакого сопротивления предателям.

— Вот так, дорогой жидок. Теперь тебе ясно, что мы будем делать?

Слова Баглия были наполнены злорадством. Они сразу же вывели меня из шокового состояния. Как молния пронзила вдруг догадка о дальнейших действиях этих подонков.

— Что вы делаете, гады? Отпустите меня! Вы же красноармейцы! Я никому не скажу... Идите к немцам, а я пойду к своим! Там ждут!

Что еще говорил я этим двум людям, ставшим для меня сразу смертельными врагами, — не помню.

На Тимоху мои слова, кажется, подействовали, потому что он начал дрожащим голосом уговаривать Баглия отпустить меня.

— Черт с вами, можете сдаваться, предатели! Но отпустите меня к своим! Вы оплатите за мою кровь и за тех, в лесу! — выкрикивал я в горячке.

Баглий ударил меня кулаком по голове и прошипел над ухом:

— Заткни глотку, или я ее законопачу тряпкой! А твоих... мы сейчас пригласим... всех до одного... дай срок...

Он стал шарить в темноте.

— От зараза... потерял... Тимоха, ищи ракетницу, она где-то здесь... выпала.

Баглий тяжело дышал, нависая надо мной, ползая на коленях и одновременно лихорадочно роясь у себя за пазухой. Потом, видно, что-то достал, приподнялся, обращаясь к Тимохе:

— На, держи...

Потом ко мне:

— Вставай, жидок, хватит отлеживаться. Ну-ка, пошли... пошли...

Вдвоем они приподняли меня, вцепились в связанные руки и потащили, несмотря на мое отчаянное сопротивление и уговоры, через кладбище к селу.

В конце погоста Баглий шепнул Тимохе:

— Разверни полотенце, чтоб видно было...

Они повели меня, подталкивая в спину, дальше. У одного в руке развевалось полотенце, а у другого шелестела немецкая листовка.

Я шел, спотыкался, останавливался, падал. Они поднимали и снова толкали в спину, и вели меня в глубь села.

В моей голове лихорадочно работали мысли: безусловно, эти гады заранее готовились сдаваться в плен... по крайней мере, Баглий. Как же они смогли скрыть это от своего командира — младшего лейтенанта? Или он заодно с ними? А я им нужен был для прикрытия?

Вот и конец... Жаль, Рябов не узнает истинную причину моей гибели. И никто не узнает...

Так, держа и подталкивая, предатели вели меня до тех пор, пока в темноте не прозвучал окрик:

— Хальт! Бляйб гир! <sup>\*1</sup>

Мои конвоиры замерли, а я в отчаянии закричал во весь голос:

— Стреляй, гад! Шиссен! <sup>2</sup>

Баглий ударил меня в лицо и зажал рот громадной шершавой ладонью:

— Молчи, жидяра... или я сам тебя прикончу!

С дрожью в голосе, боясь за свою поганую шкуру, он залепетал:

— Герр немец! Сталин капут! Мы пришли сдаваться в плен. Вот белый флаг. Вот ваша листовка... Папир... Не стреляйте!

— Ганс, Курт! Ком маль гир! <sup>3</sup> — закричал часовой, клацая затвором.

— Вас ист лос? <sup>4</sup> — раздался откуда-то из глубины сонный голос.

— Нихт бевеген! Курт, шау вер ист дас? <sup>5</sup> — сказал часовой в темноту.

После этих слов в нашу сторону ударил луч света от мощного карманного фонарика, обшарил сверху донизу снопом света. Последовал не то вопрос, не то приказ:

— Хенде хох! Рус, сдавайтца? <sup>6</sup>

— Сдаваться, сдаваться, герр немец, — вновь затараторил скороговоркой Баглий, поднимая руки, и, пока не прервали, добавил: — С нами юда! Это юда — смотрите! — и предатель толкнул меня вперед под луч прожектора, показывая на меня рукой, в которой была зажата листовка, и заискивая.

— Ду, Юде? — вышел из темноты и уперся в меня автоматом один из немцев. — Хенде цейган! <sup>7</sup>

Он показал на мои, спрятанные за спиной, руки. Я сжался в комок, не обращая внимания на слова фрица и ожидая немедленного выстрела.

— У него в руках ничего никс, герр немец, — предатель повернул меня, показывая связанные за спиной руки.

— Аллес, вайтер штеен! <sup>8</sup>

Немец отступил назад, к тем двоим. Я стоял словно окаменевший. Между фрицами возник какой-то небольшой спор, из которого я кое-что с трудом разобрал:

— Эршиссен — нихт унзере Захе ист... Дас махт нур Зондеркоманде! <sup>9</sup>

Из темноты, наконец, вышли два солдата с автоматами наперевес:

---

\* Здесь и далее транскрипция и перевод даны в авторской редакции.

<sup>1</sup> Стой! Ни с места! (нем.)

<sup>2</sup> Стреляй! (нем.)

<sup>3</sup> Ганс, Курт! Идите сюда! (нем.)

<sup>4</sup> В чем дело? Что случилось? (нем.)

<sup>5</sup> Не двигаться! Курт, посмотри, кто там? (нем.)

<sup>6</sup> Руки вверх! Русские, сдавайтесь? (нем.)

<sup>7</sup> Ты еврей? Показывай руки! (нем.)

<sup>8</sup> Всем продолжать стоять!

<sup>9</sup> Расстреливать — не наше дело. Пусть им занимается спецслужба.



— Ком мит! Шнеллер!<sup>1</sup>

Один из солдат забрал Баглия и Тимоху, а второй ткнул мне в спину дулом и повел по селу.

Я молча шел, все время ожидая выстрела сзади. Мысленно прощался с мамой, отцом и всеми дорогими мне людьми на Земле. Немец молчал тоже, только изредка толкал дулом между лопаток и подгонял:

— Лос, иммер лос, Гунд!<sup>2</sup>

Он подвел меня, наконец, к помещению, похожему на насыпной погреб, и остановился.

— Хальт! Гьергер!<sup>3</sup>

Мой конвоир передал меня часовому, перекинулся с ним двумя-тремя словами и скрылся в темноте. Часовой отпер замок, ухватил меня за ворот шинели и, ни слова не говоря, втолкнул вовнутрь. Я лишь услышал, как за моей спиной захлопнулась дверь и щелкнул замок.

## 8. Послесловие к разделу 7

Эту историю предательства двух «разведчиков» Баглия и Тимохи и своего пленения я подробно рассказывал тотчас же после войны, по прибытию в г. Запорожье, когда меня вызвали в областной КГБ, в 1945 году. Вызывали еще много раз, вплоть до 1948 года.

Мне показалось весьма странным, когда после первой же беседы меня попросили, а точнее, предупредили, чтобы я никому не говорил, что было со мной в действительности; чтобы я постарался забыть об этом, хотя при многочисленных последующих «беседах» неоднократно возвращались к истории моего пленения и уточняли некоторые факты. Мне сказали, чтобы я старался избегать разговоров о плене или говорил, что был контужен, когда попал в плен или что-то в этом роде и духе.

До сих пор не знаю, по какой причине я не должен был называть предателей и говорить неправду. На то, очевидно, у КГБ были свои доводы. В итоге я расписался за то, что не буду разглашать истину и содержание наших многочисленных бесед.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я думаю, что имею право написать о том, как все было тогда, в конце ноября 1941 года, что я и сделал.

На семь лет, с 1949 по 1956 год, по окончании института меня направили на работу в Сибирь. Потом я вернулся в Запорожье. Все это время и еще долго потом меня мучила загадка: почему именно меня послали в разведку, в то время как существовали специальные подразделения для этих целей? Думаю, что это произошло потому, что в последние дни существования нашего соединения, попавшего в окружение, разведчики уходили, и многие не возвращались. Подозреваю, что они переходили к немцам под действием пропаганды противника, обещавшей сохранение жизни и свободу. И, очевидно, на мне был поставлен эксперимент: командование было уверено, что еврей добровольно фашистам не сдастся. Если это так, то они могли бы подобрать более здорового еврея для эксперимента!

Работая с 1956 г. в Запорожье главным механиком треста, а затем объединения, я часто ездил в служебные командировки. И каждый раз, когда я подъезжал к Днепродзержинску, меня, как обухом по голове, било название железнодорожной станции — «Баглей». Оно переворачивало мне душу, напоминая человека, предавшего меня, возвращало память к той безлунной ноябрьской ночи 1941 года, когда Баглий и Тимоха передали меня, связанного, в руки врага.

После войны к побывавшим в плену красноармейцам относились у нас с большим подозрением. Им не доверяли, считали всех подряд предателями. По этой причине, очевидно, меня после окончания института направили в Сибирь.

— Как ты остался жив, — ты, еврей?

Этот вопрос мучил всех, кто узнавал, что я был в плену у немцев.

На такой вопрос я и сам не мог вразумительно ответить, потому что для меня это тоже было загадкой. Одним везением это не объяснишь. Отсюда шли недомолвки и подозрения. Это очень меня угнетало. Особенно первые послевоенные годы я страдал от того, что не могу рассказать правду, как все было. А ведь за свои пять фронтовых месяцев я побывал под пулями, снарядами, минами и бомбами, пожалуй, больше, чем иные украшенные орденами «герои», которые за четыре года войны ни разу даже не выстрелили...

Встречал я и таких «воjak», которые в 1941 году во время отступления, в самую лихую для Родины годину, дезертировали, попрятались по своим домам, затаились, а в 1943 г., когда

<sup>1</sup> За мной! Быстрее!

<sup>2</sup> Давай, быстрее давай, собака!

<sup>3</sup> Стой! Сюда!

Красная Армия перешла в решительное наступление, теснила врага и освобождала Украину, снова пошли в ее ряды и вернулись после войны «заслуженными ветеранами»...

Все было...

С одним из таких, вступивших в 1945 г. в ряды КПСС, глупым, но хитрым мужичком, мне довелось работать в одном учреждении. Как-то в споре со мной он сгоряча бросил:

— Я тебя освобождал! Ты меня должен всю жизнь благодарить, а не спорить со мной!

Да, я благодарен нашей Красной Армии, которая разгромила нацистскую Германию; благодарен Родине, которая, в конце концов, разобралась, простила и приняла меня. Но презираю тех, кто в трудное время предал ее, а потом, — деваться некуда, — побежал вслед за остальными (за их спинами) в атаку с криком:

— За Родину! За Сталина!

И теперь, выставив грудь, бьют себя по ней кулаками и требуют почестей:

— Кланяйтесь мне! Я вас освобождал!

А может быть, я слишком строго осуждаю таких типов? Нет! Их отличительная черта — наглость! Истинные же герои — скромны.

И когда я вижу крикливого псевдогероя, меня охватывает чувство досады и гадливости. В таких случаях передо мной встает тот трудный 1941-й и миллионы молодых, отдавших свои жизни товарищей. Они погибли без наград и почестей...

Что греха таить. Ведь и сейчас, по прошествии 45-ти лет, часто похвалы и награды достаются не тем, кто их заработал своим честным трудом, а тем, кто лишь красиво говорил о труде. Зачастую тех, кто проявил трудовой порыв, инициативу, в лучшем случае не поругают. И на том спасибо. К сожалению, с такими фактами встречаешься сплошь и рядом...

Но хватит об этом. Не награда мне нужна, не в ней суть. Хочу лишь одного: чтобы внуки мои знали суровую правду о войне, о моем в ней участии, и жизни. Поняли, что это не романтические приключения, а тяжелая коллективная работа, в которой смерть шагает все время рядом с человеком.

Я описал все, как видел и воспринимал в то время. И еще...

После подлого предательства Баглия и Тимохи я на долгое время перестал доверять людям: в каждом человеке подозревал что-то недоброе, и здорово ошибался. Вокруг нас есть, было и будет множество хороших честных людей. Их гораздо больше, чем плохих. В этом я вскоре убедился, когда мне довелось идти через пять областей Украины. Однако история, которая произошла со мной, и которую я постарался описать в предыдущем разделе, оставила в душе неизгладимый след и урок на всю жизнь.

После нее слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» и слова бывших фронтовиков «С этим парнем я бы пошел в разведку!» — для меня выразительные слова и фразы. Они полны глубокого значения и смысла. Для меня они звучат как откровение.

Свой путь пройду по своему же следу,  
Ни радости, ни горя не тая.  
Пусть общею была у нас Победа,  
Война была у каждого своя.

*Г. Глазов*

## **Глава 7. Между жизнью и смертью**

### **1. В плену**

В погребе было темно, сыро и на первый взгляд безлюдно. Сделав два шага вперед, я споткнулся и полетел вниз, ударяясь о ступеньки. От неожиданности и боли я вскрикнул и застонал. Откуда-то сбоку послышался шорох и еле разборчивый шепот:

— Давай сюда... здесь свободно...

Я кое-как приподнялся (мешали связанные за спиной, затекшие руки) и двинулся на голос. Прошел несколько шагов, уперся коленом в стену, ноги подкосились, и я осел на солому.

Не в состоянии больше сдерживаться, никого не видя и не слыша вокруг, я затрясся от рыданий. Слезы потекли в три ручья по разбитому лицу. Я плакал, захлебываясь.

Плакал даже не потому, что был уверен, что через полчаса, максимум через час меня расстреляют, а от бессилия что-либо изменить, и еще потому что я был обманут и предан своими же, хоть и незнакомыми, однополчанами, что этот подонок Баглий может пустить ракету, и наши

сами придут к немцам, которые или возьмут их в плен, или перестреляют, как куропаток; что я подвел Рябова, который доверял мне и всегда ко мне хорошо относился, даже советовался.

Мне казалось, что все пропало, что больше некому защищать Родину, что наше соединение было последним препятствием для немцев, которые нахально рвутся на восток...

Я лежал, зарываясь в солому.

Мысли, как птицы, бились в разгоряченном мозгу. Передо мной, как в кадрах короткометражного сборника, проносилась вся моя недолгая жизнь во всех подробностях — день за днем.

Мне совершенно безразлична была моя собственная смерть, так как я подсознательно уже успел себя к ней подготовить. Но нестерпимо жаль было маму, у которой слабое сердце и которая может не перенести известие о гибели сына. Я представлял себе, что старшая сестра, студентка мединститута, должна быть на фронте, отец, очевидно, тоже мобилизован, а мать где-то на Урале или в Сибири одиноко тоскует с моей похоронкой. От этих мыслей сердце рвалось на части.

Прошел час... другой...

Слышно было, как сменился часовой.

Я немного успокоился, стал оглядываться по сторонам. Нестерпимо ныли от ушибов плечи, ноги и связанные за спиной руки. В темноте я начал кое-что различать. В погребе, кроме меня, на соломе лежало еще несколько человек. Рядом со мной полулежал, скорчившись и дрожа всем телом, тоже какой-то пленник. Он был без верхней одежды, похоже, что гражданский. Этот человек, наверное, все время наблюдал за мной, потому что, как только я успокоился и чуть приподнялся, тут же заговорил, шелкая зубами:

— Чего плачешь, пацан? Что, фрицев испугался? Ты же солдат!

По его голосу, полусшепотом произнесшему эти слова, я узнал человека, позвавшего меня в темноте, когда я только переступил порог и свалился в кутузку. Я попросил его развязать мне руки. Он подсел ко мне поближе, выполнил просьбу и так участливо стал расспрашивать, как я попал сюда, что я рассказал ему всю свою небольшую, с трагическим концом, биографию.

Я попросил соседа запомнить мой домашний адрес, и, если он останется жив, то после войны написать обо мне в г. Запорожье родным. Надо, чтобы они узнали о том, как я погиб, и имена предателей, виновных в этом.

Мы проговорили всю ночь, до рассвета.

Мой сосед по тюрьме был белорусом лет двадцати пяти от роду, по фамилии Барабольша (въелась в память).

Этот парень уже один раз попадал в окружение и плен, бежал, переоделся в гражданскую одежду, но вторично попал к немцам в Еленовке, напоровшись на патруль, когда считал, что уже успел пересечь линию фронта. Когда его вторично поймали, то приняли за партизана. Теперь он сидел здесь в погребе рядом со мной и ждал решения своей участи.

На рассвете дверь нашей тюрьмы отворилась. Вошли два солдата в мышиного цвета шинелях, зажгли два фонарика, пошарили их лучами во всех направлениях, спустились по ступенькам вниз и направились в мою сторону. Я решил, что они пришли по мою душу, сжал в своей руке руку соседа и прошептал:

— Ну, друг, прощай... не забудь уговора...

Солдаты подошли к нам вплотную, схватили Барабольшу под руки:

— Ауфштеен! Ком, ком, шнель!<sup>1</sup>

Соседа подняли, поставили на ноги и, подталкивая в спину, вывели из погреба.

Мышеловка снова захлопнулась.

Когда солдаты водили фонариками, я успел разглядеть, что, кроме меня и Барабольши, в погребе находилось еще, по крайней мере, человек пять, из которых четверо — в солдатской форме. Никто не нарушал тревожного молчания. Все ждали возвращения забранного.

Время медленно тянулось. Барабольша все не было, я уже начал жалеть, что рассказал все о себе. Вдруг это был специально подосланный провокатор? Мало ли плохого можно было ожидать от немцев!

...Наконец, в подвале стало чуть-чуть светлей от проникавшего сквозь щели в двери и отдушины в потолке света.

Где-то недалеко прозвучала короткая автоматная очередь.

Барабольша не появлялся...

Неужели эти выстрелы оборвали жизнь моего соседа по темнице?

---

<sup>1</sup> Внимание! Иди, иди, быстро!

Он так и не успел назвать мне своего адреса. Я знал лишь, что у него в Белоруссии осталась старая мать, что отец — машинист паровоза — за день до начала войны повел состав куда-то на восток. В то, что Бараболька погиб, а, тем более, что он провокатор, не хотелось верить...

Прошло еще часа полтора. Снаружи донесся шум, клацанье замка. Дверь отворилась, и с верхней ступеньки раздалась команда, сопровождаемая жестами:

— Аллес Вег! Лос, лос, шнелль!<sup>1</sup>

По одному мы стали подниматься по ступенькам погреба наружу, подгоняемые ударами прикладов.

— Лос, лос! Иммер лос!

Нас, бывших красноармейцев, вытолкали на улицу, и, не дав адаптироваться после темноты погреба, погнали к центру села, а одетого в гражданскую одежду пацана лет четырнадцати, который оказался вместе с нами, стукнули под зад сапогом и отпустили. С криком «ой-ой-ой» он рванулся в первый же проулок и исчез.

Через центр села вели колонну военнопленных. Их было много: человек пятьсот заросших, измученных, голодных людей в солдатских шинелях. Они шли, опустив головы.

Нас, пятерых, подвели к идущим и втолкнули в этот скорее табун, чем строй, который медленно двигался на юг, охраняемый со всех сторон конными немецкими солдатами-конвоирами.

В первые минуты, ошарашенный происходящим, я ничего не замечал вокруг себя: казалось, что все происходит во сне. В висках стучало и отбивало с каждым шагом, отдалявшим меня от села, только одно слово:

— Жив, жив, жив, жив!

Даже сейчас, спустя почти сорок пять лет, я не могу взять в толк, почему дала сбой идеально налаженная немецкая машина истребления противников Рейха. Что помешало немцам расстрелять меня в тот же час, когда Баглий с напарником предал и передал меня в их руки? Или это Рок?

Скорее всего, то были не фашисты, а простые немецкие солдаты, которые уже были достаточно сыты человеческой кровью на полях сражений и не хотели лишний раз проливать ее только из-за того, что этот человек — еврей. Признаюсь, этого я не знаю и не могу объяснить. Но так было...

Нас довели до г. Енакиево.

Там на станции велели взять кайла, лопаты, прочий инструмент дорожника, посадили в вагоны и повезли по железной дороге до станции Иловайск. Состав часто останавливался в пути, нас высаживали, заставляли чинить места повреждения, менять покореженные рельсы и шпалы.

От Иловайска таким же образом, то в вагоне, то пешком по железнодорожному полотну под охраной, занимаясь ремонтом, мы добрались до Волновахи, а оттуда до ст. Розовка.

В Розовке у нас забрали железнодорожный инструмент, окончательно высадили и передали новому конвою.

Дальше нас погнала не то венгерская, не то румынская охрана.

Мы шли через села на юго-запад. В каждом селе нас встречали бабы с узелками вареной картошки, домашнего хлеба и другими продуктами. Несмотря на окрики и стрельбу конвоиров, женщины подбегали и передавали или бросали в строй пищу. Это были, в основном, солдатские матери и жены, у которых родные и близкие сражались на фронте. Они то и дело выкрикивали фамилии и имена своих мужей и сыновей, вопрошая с надеждой, не встречали ли мы их где-нибудь на дорогах войны?

Что мы могли им ответить?

Мы молча подбирали все, что удавалось подобрать на ходу, и поглощали со звериной жадностью, так как в дороге нас почти ничем не кормили, наверняка рассчитывая, что народные подаяния не позволят нам умереть с голоду.

Во время этих бесконечно длинных переходов я, наконец, поверил, что жив и ушел на неизвестное время от гибели.

Теперь, чем дальше, тем больше, во мне начинал срабатывать инстинкт самосохранения. Я стал держаться в середине строя, так как крайним всегда доставались пинки и удары прикладами. В середине строя было легче идти и не подвергаться подозрительным взглядам конвоиров. Зато и меньше перепадало подачек от населения.

В моем положении это был единственный шанс на продление жизни, которую я начинал ценить.

<sup>1</sup> Все вон! Давай, давай, быстро!

## 2. Неожиданная встреча

Кажется, в селе Черниговка мы разместились на ночевку в полуразрушенной церкви. Там прямо на полу развели костры, согревались сами, грели в котелках, у кого сохранились, скудную пищу. Кое-кто даже разделся, несмотря на холод, и выжаривал на огне появившихся в одежде в изобилии вшей.

Забившись в угол, я присел на корточки у небольшого костра и предался размышлениям о минувшей жизни и о нелегкой неясной судьбе, которая ожидала меня впереди.

Измученный физически и еще в большей степени морально, я не заметил, как вздремнул.

Передо мной возник дом физкультуры... соревнования на первенство Украины по классической борьбе... борцы Козни, Шура Полуднев, Деня Литинский (старший брат соученика и друга Борьки)... Борцов сменили боксеры Толя Фомко, Горомос, мой тренер Игорь Бандалетов... Потом, как в калейдоскопе, последовали штангисты Касьяник, Базурин, Гербер, гимнасты Новохатский, Трояк, младший Касьяник... и волейболисты: Вася Рацевич, Янька Курцер и другие спортсмены... Что за непонятный, сладкий сон?

...Вот я оказался на стадионе, где играют между собой вечные городские соперники — «Локомотив» и «Крылья Советов».

Я болею и за тех, и за других, потому что первый раз познакомился с настоящим футболом на стадионе ПРЗ, а заниматься им начал в обществе «Крылья Советов». Я болею просто за красивый удар и обводку, за своих любимцев из той и другой команды: Прядку, Ушкалова, Хмирова, Блюма, Котика, Митю Остапцы, Шурика Проскурникова (Балерину) и других...

В самый ответственный момент атаки вдруг подул сильный ветер, стало холодно, мяч подхватило и понесло вверх, пока он не превратился в точку... Потом оттуда с высоты мяч упал вниз, помчался прямо в ворота мимо вратаря, затрепетал в сетке... Болельщики закричали и затопали: — Давай! Давай! ДАВАЙ!

От крика я проснулся.

— Давай, вставай! Давай, вставай! — тормошили меня соседи.

Был рассвет, костры, разложенные с вечера, давно погасли. В церкви становилось холодно. Полуразрушенное помещение продолжало обогреваться только за счет дыхания наполнявшего его множества людей.

Попытался подняться. Сделать это сразу не сумел: ноги затекли и окоченели от холода и неподвижности. Принялся их растирать.

На паперть вышел переводчик, потребовал внимания и произнес:

— Всем по очереди идти на выход к столу для регистрации. Быстро называть фамилию, звание и часть, в которой служил.

Услышав это, я лихорадочно стал соображать, что делать. Свою фамилию я называть не могу. Переводчик, как видно, из русских немцев или русский. Он меня тут же обнаружит и выдаст немецким конвоирам. А стол регистрации установлен так, что его никак не обойти. Регистрация шла, а я напряженно думал. Вспомнил, что у ученика нашей школы Бориса Максимовича, младше меня на класс, мать армянка, а отец русский. Я решил присвоить его фамилию, и, если возникнет подозрение из-за национальности, сказать, что мать армянка.

Приняв решение называться Максимовичем, я пристроился в очередь для регистрации чуть дальше середины, надеясь, что ко времени, когда я подойду к столу, писари устанут, и бдительность их притупится.

В своих расчетах я не ошибся.

Стараясь придать голосу совершенно безразличный тон, я быстро произнес:

— Максимович... рядовой... — и услышанное от предыдущих солдат: — 106-й стрелковый полк.

Не оглядываясь, я поспешил на улицу, вернее, площадь перед церковью, где смешался с остальными военнопленными, и тут наткнулся на... Луку Симаченко — ездового из 52-го запасного полка, того самого парня, с которым мы были под Чертомлыком, а потом встречались в Конских Раздорах. Это был первый знакомый человек, которого я встретил за время мучительного пребывания в плену у фашистов.

Я обрадовался и в то же время насторожился от этой нежданной встречи. Урок, преподанный мне Баглием и его напарником, запомнился надолго: я перестал доверять людям. С подозрением относился к вопросам и стал тщательно взвешивать слова и следить за своими ответами.

С Лукой Симаченко по этой же причине я старался тоже поменьше разговаривать, больше слушать. Однако и он не стал меня ни о чем подробно расспрашивать. Но не сторонился меня и не подавал виду, что знает обо мне больше, чем остальные пленные.

После встречи Лука пошел со мною в колонне рядом, ободряя и наставляя одновременно, как вести себя, чтобы выжить в этих условиях.

Мы делились случайными продуктами, перепавшими кому-либо из нас при прохождении населенных пунктов. Вдвоем идти стало легче и надежнее. Лука рассказал мне, что он родом из села Беленькое, что в тридцати пяти километрах от Запорожья. Что у него там остались отец-сапожник, мать и младшая сестра.

Еще он мне поведал о том, что у них в селе до войны был детский дом, так называемый патронат, где содержались дети, рано лишившиеся родителей. Особенно много попало туда детей во время голода 1928-го, а также 32-го годов. Среди детдомовцев жил один парень — Марко Билый, очень похожий на меня (Лука даже принял вначале меня за него).

Родители моего тезки, отец-украинец Степан и мать-еврейка Анна, умерли еще в 1928 году, и его определили в детдом. В 1932 г. парень сбежал из детдома в город. Потом, в 1935 году, он на неделю появился в селе и снова исчез. Где он теперь, Лука не знал, но уверял, что Марко был очень похож на меня, и он, Лука, при первой встрече со мной еще в Запорожье в 52-м запасном полку принял меня за беянского беспризорника Марка Билого.

Я мысленно поблагодарил Луку за этот рассказ и принял для себя на вооружение легенду о моем тезке-детдомовце.

Все время я старался представить себе от начала и до конца (до последних дней пребывания Марка в селе) его жизнь с родителями и без них. Я бывал в том селе в том возрасте, что и мой тезка, поэтому вообразить все то, о чем поведал мне Лука, большого труда не составляло. Я даже сам мог безошибочно найти Белянский детский дом.

Я пришел к выводу, что Марко Билый потерял родителей в шесть-семь лет, поэтому мог лишь смутно их помнить. Так же, как я, например, своего деда, умершего тоже в 1928 году. Поэтому было бы неудивительно, если бы я не узнал их на фотографиях, если таковые где-нибудь сохранились.

Чем больше я размышлял о Марке Билом, тем ближе и роднее становился для меня его образ, тем чаще я примерял его жизнь на себя и наоборот.

Поэтому совершенно естественно, что я в мыслях продолжил его биографию после побега из детского дома, или, как его в селе называли, патроната.

Я примерно представлял себе, как в дальнейшем должна была сложиться его судьба. Я пришел к выводу, что он сбежал из села в г. Запорожье, где его, оборванного, вместе с другими беспризорниками, поймали на рынке и определили в детдом по ул. Октябрьской. Эти места я хорошо знал. В 12 лет, т.е. в 1933 году, Марко пошел бы в ремесленное училище на жилмассиве, где учился на слесаря. Это тоже было вполне вероятно, так как многие ребята из детского дома, с которыми я был знаком, учились именно там — в ремесленном.

По окончании училища Марко мог в 1938 году поступить на рабфак и устроиться работать на авиационный завод им. Баранова. В 1941 году, когда началась война, его, Марка Степановича Билого, призвали, как и меня, в Красную Армию. Далее его жизнь, как две капли воды, стала похожей на мою действительную.

Я без конца повторял и прокручивал мысленно придуманную биографию Марка Билого по годам, месяцами и даже отдельным эпизодам, пока мне не стало казаться, что то, что происходило с моим вымышленным героем-тезкой, на самом деле происходило со мной.

Так я стал не Максимовичем, а Марком Степановичем Билым — украинцем 1921 года рождения и бывшим детдомовцем из села Беленькое. Это произошло на пути из села Черниговка в город Мелитополь в конце ноября 1941 года...

Рядом со мной, ничего не подозревая, вышагивал рядовой ездовой 52-го запасного полка, военнопленный Лука Симаченко.

В г. Мелитополе нас загнали на ночевку в какое-то большое здание в центре города. Комната, куда я зашел, была завалена огромным количеством книг, бесценным собранием классиков мировой литературы. Все это валялось под ногами в хаотическом беспорядке. Очевидно, здание это было раньше центральной библиотекой или городским бибколлектором, книги здесь попадались редкостные и даже, можно сказать, уникальные.

Когда я попал в этот мир книг, то на время забыл о голоде и холоде, о том, что нахожусь в плену, и что ежеминутно мне грозит смерть.

Если перед тобой две-три книги, то можно выбрать одну из них, наиболее интересную. Но когда у тебя под ногами и вокруг лежат сотни книг, то немудрено растеряться.

Я хватал книги подряд, читал предисловия, послесловия, аннотации и откладывал рядом, забыв на время, кто я и что происходит за стенами этого храма книг.

Так собралась около меня большая стопка книг, а я осмотрел только малую часть комнаты. И вдруг я опомнился — опустился на грешную землю, с горечью осознавая, что груз этот не ко времени, что мне его не поднять, тем более, не унести, да и к чему он мне теперь?

Лука, принимавший деятельное участие в моих поисках, отнесся к этому, правда, несколько иначе. Он посоветовал ценные книги забрать с собой, чтобы потом их менять на провиант. Но я, отрезвев окончательно от книжного похмелья, сказал Луке:

— Мы и так еле движемся без груза. Будем живы-здоровы, достанем такие книги...

Мы хорошо сделали, что ничего лишнего с собой в дорогу не взяли.

### 3. На грани

После Мелитополя румынский конвой снова сменился немецким. Эти погнали нас на Каховку быстрым шагом. Через села вовсе гнали чуть не бегом, чтобы не дать жителям возможности бросать продукты питания, а военнопленным их подхватывать.

Конвоиры стреляли вдоль колонны, чтобы никто не мог выбежать из строя и схватить протянутый кусок хлеба. Отстающих били в спину прикладами, упавших добивали выстрелами в голову.

Одно спасение было в этом молчаливом напряженном беге, — держаться в середине колонны. Это было отчаянное соревнование между голодными и сытыми, безоружными и вооруженными, загнанными лошадьми и погонщиками...

Сквозь прерывистое дыхание, стук в висках и боль в сердце, сознание отмечало периодические выстрелы, доносившиеся от конца колонны: очередная жертва «сверхчеловеков» оставалась лежать бездыханной на дороге.

Сколькими же трупами эти варвары усеяли путь протяженностью в шестьсот километров от Енакиева до Николаева, из которых я не менее четырехсот прошел пешком? На этот вопрос даже сейчас мне трудно дать ответ!

В плавнях перед Каховкой нашу колонну вдруг остановили. По краям дороги, слева и справа, уходили вдаль до самого горизонта песчаные холмики с воткнутыми в них крестами и одетыми сверху касками со свастикой. Это было громадное кладбище «непобедимых» воjak, пришедших незвано с запада на нашу землю.

Конвоиры по очереди ходили между могилами, разыскивая своих родных и знакомых.

Я видел, как один пожилой немецкий офицер вдруг опустился на колени и припал головой к кресту. Возможно, там, под этим холмиком с крестом, покоился его сын или брат.

— Так тебе и надо, гад! Никто тебя не звал сюда! Всех вас еще настигнет расплата! — шептали мои пересохшие, потрескавшиеся губы. Истерзанный и голодный, я не испытывал к этому одетому в мышиного цвета мундир зверю с человеческим обликом никаких других чувств, кроме ненависти... глухой ненависти...

Видно, Каховский плацдарм достался гитлеровцам дорогой ценой.

Может быть, глядя на эту панораму из крестов, кое-кто из них задумался над обещанным Блицкригом и земным раем для немцев? Во всяком случае, наши конвоиры долго о чем-то громко говорили, бросая взгляды то на нас, то на этот немецкий Фридхоф (кладбище), прежде чем тронулись в путь...

Дорогу от Каховки до Берислава по понтонному мосту через реку Днепр мы преодолели сравнительно спокойно: нас не подгоняли и не заставляли бежать. Может быть, это спасло меня от неминуемой гибели, так как силы мои были уже на исходе. Организм истощился.

После ночи, проведенной в Бериславе под открытым небом за колючей проволокой, где для того, чтобы согреться, пленные сгрудились, как скот, в одну кучу, и топтались на месте всю ночь напролет, я окончательно обессилел и чувствовал, что вот-вот упаду. Падение было равносильно смерти в этой толчее, так как упавший попадал под ноги гревшихся, топчущихся, безостановочно движущихся обессиленных людей. Я и Лука топтались в этой массе, положив руки и головы друг другу на плечи. Такое положение придавало устойчивость и надежду избежать падения на землю, превратившуюся из мерзлой в вязкое месиво.

Возможно, физическая закалка, которую я приобрел еще в школе на уроках физкультуры у Фешота и на улице среди пацанов, позволила мне выдержать и этот изнурительный

марафон, оставивший после себя множество затоптанных в грязь трупов товарищей по несчастью.

Как дар Божий, мы восприняли погрузку в эшелон, который повез нас через Херсон из Берислава на Николаев, в город корабелов.

Там нас выгрузили и погнали к судостроительному заводу им. Марти. Большая территория, куда мы попали, была отгорожена от внешнего мира колючей проволокой и высоким забором. Проволока шла в несколько рядов. По углам и посередине периметра этого громадного прямоугольника были расположены вышки, оснащенные пулеметами и прожекторами. Внутри территории стояли серые двух- и трехэтажные дома барачного типа. В них предстояло нам жить. Сколько?

Здесь, кажется, единственный раз за все время пути нас накормили горячей пищей: варевом из картофельной шелухи. Дерьмо дерьмом, но и этой пище мы были рады. Я сунул было за добавкой, но получил удар по голове, упал, и, если бы меня не оттянули товарищи, то так бы и околел на морозе возле «кухни». Оклемавшись, я кое-как добрался до барака, забился в угол в одной из комнат, присел на пол, вытянул ноги и почти оцепенел от бессилия.

Меня охватило такое безразличие ко всему окружающему и к себе самому, что на ужин я не пошел. Не смог я себя заставить и на следующий день подняться и пойти на завтрак.

Кружилась голова, глаза застилал розовый туман. Я превращался из человека в его подобие, бессильное и безвольное.

В один из дней в нашу комнату зашел и наткнулся на меня Лука. Он еще в состоянии был двигаться, иногда даже ходила на какие-то работы за территорию лагеря, где ему удавалось поест досыта.

Лука сообщил, что будут отпускать жителей правобережной Украины, о чем объявляли при выдаче утренней баланды. Он был бодр и рад, так как село Беленькое, где жили родители Луки, как раз располагалось на правом берегу Днепра. Я тоже был рад за него: пусть хоть он выживет, а мне так или иначе суждено погибнуть.

Через день Лука снова заскочил ко мне. В руках он держал бумагу, в которой значилось, что гр. Симаченко Лука Сергеевич выпущен из лагеря военнопленных в г. Николаеве и следует в с. Беленькое до места жительства. При остановках на ночлег ему надлежит отмечаться в комендатурах.

Лука дал мне на прощание несколько вареных картошек. Я поблагодарил его, пожелал счастливого пути и долгих лет жизни после войны. Мне же, я это чувствовал, оставалось мучиться совсем недолго.

С каждым днем смертность в лагере увеличивалась и приняла такие размеры, что пара лошадей, запряженных в бричку, перекрытую брезентом, не успевала вывозить окоченевшие за ночь трупы.

Последние силы убывали. Я уже еле-еле переставлял ноги, больше лежал в своем углу, чем двигался; тело и мысли стали вялыми-вялыми, мозг, как тinou, окутало безразличной к окружающему сонливостью...

Сейчас не могу точно вспомнить, что мне тогда приснилось и какая внутренняя сила на меня в тот роковой час подействовала, но утром я вдруг поднялся на ноги, цепляясь за стены и кое-как передвигаясь, вышел из барака и побрел к помещению, где выдавали документы жителям правобережной Украины...

Терять мне было нечего. Смерть давно стояла с косой, занесенной над моей шеей. Не все ли равно: умру я сейчас от пули или двумя днями позже от голода?

А может быть, еще не конец?

Допрашивал меня немецкий офицер, сносно говоривший по-русски. Я с ним объяснялся по-украински. Представился как Марко Степанович Билый из села Беленькое.

Он посмотрел на карту Украины, разыскал там «мое» село и сказал:

— Гут! А ты не ешь юде?

Я ждал этого вопроса, поэтому ничуть не смутился и ответил:

— Нет! От обильного харча на вашем курорте мы все стали похожи на юд и на Христа, снятого с креста!

Немец заржал от моего каламбура, еще раз сказал «гут» и выдал справку.

Я сжал в руке спасительную бумажку и, не помня себя от радости, не оглядываясь, направился к пропускному пункту, предъявил документ и вышел на свободу...

Поистине правду гласит поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек»!

Нет! Видно, жизнь не хотела со мной расставаться!



#### 4. Домой – в неизвестность

За спиной была колючая проволока и высокий забор, передо мной расстился Бугский залив, неограниченное пространство, откуда дул зимний морозный ветер. Из-за свинцовых туч на минуту проглядывало солнце и снова пряталось. Оно приятно ласкало мне лучами лицо, но уже не давало тепла.

Застегнув и затянув все, что можно было, из одежды, я медленно направился к хлебозаводу, где, как говорили, можно получить по выданному документу хлеб на дорогу. Она предстояла длинной. В городе Николаеве разрешалось пребывать не более суток.

Выпущенные вместе со мной военнопленные сказали правду: я получил на хлебозаводе горбушку хлеба и тут же ее съел. Расспросил, как идти на Варваровку, подобрал палку для надежной опоры и двинулся в путь к «дому».

Несмотря на то, что я был одет в шинель, и на голове была шапка-ушанка, ослабленный от длительного голодания организм пронизывал холод. Согревала только мысль: я жив и теперь должен, обязан встретиться с партизанами. Ведь должны же они где-нибудь действовать. Ведь не напрасно товарищ Сталин в своем выступлении по радио говорил: «Нужно создавать партизанские отряды в занятых врагом районах», а мы привыкли к тому, что наш вождь слова на ветер не бросает.

Я решил: поскольку по другому маршруту двигаться мне нельзя, то буду идти от села к селу в направлении с. Беленькое, встречаться с людьми, выяснять обстановку, ходить по просекам и лощинам, но партизан разыщу. Иначе жизнь теряла смысл: каждый шаг вперед к «дому» был шагом в неизвестность, а, скорее всего, к концу.

В день своего «освобождения», с многочисленными остановками, опираясь на палку, я кое-как преодолел расстояние в шесть-семь километров и свалился без сил на краю села Варваровка, немного не дотянув до первой хаты. Я не терял сознания, но у меня уже совершенно иссякли и истощились запасы сил. Их не хватало уже ни на то, чтобы подняться с земли, ни, тем более, на то, чтобы продвигаться вперед к намеченной цели: ноги не подчинялись сигналам, исходившим от центральной нервной системы.

Какие-то сердобольные женщины подняли меня и довели до здания местной больницы, где продолжал функционировать открытый в начале войны небольшой госпиталь. Сейчас там лежало несколько раненых солдат, три дистрофика вроде меня и один больной старик.

Главврач, серьезный порядочный человек, задержавшийся здесь в оккупации, очевидно, только из-за раненых, принял меня без лишних расспросов и разговоров, внимательно осмотрел и уложил в палату, где лежали беспомощные доходяги-солдаты, такие же, как и я.

Не знаю, на какие средства содержалась эта больница, состоявшая из главного врача, врача, трех сестер и нянечки, но она функционировала. Кормили не очень сытно, но регулярно, три раза в день.

Конечно, после стольких дней голодания пища эта казалась мне роскошной, но я никак не мог насытиться. Кажется, ел бы день и ночь, не переставая, и съел бы столько, сколько готовили на кухне для всех больных. Однако мне не давали сколько угодно, да и нельзя было много есть во избежание заворота кишок.

Я не наедался, но в этой сельской больнице ел регулярно, отдыхал и чувствовал, как мое измученное тело наливается каждый день здоровьем, а вместе с ним желанием жить и выжить.

Через неделю я смог бы смело двинуться дальше в путь-дорогу. Но в ночь, на третьи или четвертые сутки, возвращаясь из туалета в палату, около манипуляционной я услышал беседу, которая заставила меня остановиться и прислушаться. Разговор вели две женщины.

— А я уверена, что он еврей! — произнес первый голос.

— Если так, то что с нами всеми сделают немцы? — огорченно спросил второй голос.

— Я лично не буду ждать, я не хочу подставлять свою голову из-за какого-то поганого жида, — опять послышался первый голос.

Я понял, что речь идет обо мне, не стал больше ждать, открыл дверь и переступил порог.

— Не беспокойтесь и никуда не уходите. Завтра утром уйду я.

Передо мной стояли две растерявшиеся женщины — дежурная сестра и няня.

— Поймите, у нас дети... мы боимся... за укрывательство евреев немцы расстреливают, — заговорила первой пришедшая в себя после моего вторжения сестра — рослая, красивая женщина лет тридцати.

— Через два дома от больницы живет аптекарь Цейтлин. Он тебя приютит. Пойди к нему, сынок... ей Богу, так будет лучше, — участливо предложила пожилая нянечка.

— Хорошо. Завтра меня здесь не будет, — пообещал я и прикрыл за собой дверь.

Чуть забрезжил рассвет, я собрался, ни с кем не попрощавшись, вышел на улицу и двинулся в сторону Калиновки. До нее я в этот день дойти не смог. Пришлось остановиться в Терновке.

Там постучался в одну хату. Не пустили. Постучался в другую. Дверь открыла молодая женщина, завела в горницу. В подвешенной к потолку люльке плакал ребенок.

Это была обычная украинская хата-мазанка под стрехой из соломы с глиняным полом-доливкою. Из горницы одна дверь вела в спальню, а другая в пристройку, где были куры, гуси и коровы. Как управлялась с хозяйством эта молодая женщина-солдатка — ума не приложу. Но в хате было чисто и уютно. Из угла, напротив входной двери, на званого и незваного входящего гостя смотрели образа.

Зимой рано темнеет...

На дворе скоро стало темно, а ходики на стене показывали только восемь.

От пищи и тепла меня сильно потянула ко сну. Однако хозяйка не спешила стелить. Она села подле меня, разложила на столе фотографии свекра, мужа и брата и принялась расспрашивать: не встречал ли я кого-нибудь из них на фронте или в плену у немцев?

С фотографий на меня глядели жизнерадостные, красивые, полные оптимизма лица. Если я и встречал этих людей, то разве смог бы узнать их в утомленных, полных горя и забот солдатах, которые шли со мною рядом на фронтовых дорогах; тем более, я не опознал бы их среди изможденных, загнанных до предела, голодных военнопленных... Нет... не встречал я ее близких...

Как только хозяйка постелила, я, укрывшись шинелью, моментально уснул на устланном сеном полу. Спать мне довелось недолго: разбудили грубые мужские голоса.

Открыв глаза, я увидел над собой двух венгерских солдат. Один стягивал с меня шинель, служившую мне покрывалом, другой наступал на хозяйку с требованием:

— Яйка... млеко... млеко...

Та, прижимая к груди плачущего ребенка, пыталась объяснить этим мародерам, что у нее маленький, и что продукты эти она сама не ест, а держит для ребенка. Однако уговоры не помогли. Венгр оттолкнул женщину и двинулся в пристройку. Раздалось кудахтанье, гогот, и через пару минут этот паразит вошел в горницу, ругаясь, весь в перьях, неся под мышкой курицу.

Второй стянул с меня шинель и начал примерять. В недоумении я встал, не зная, что принять и как себя вести. Я был настолько слаб, что с трудом передвигался. Справиться с двумя, даже не вооруженными, людьми для меня было немыслимым делом, но защитить молодую хозяйку надо было во что бы то ни стало. И я вступил с этими мародерами в дипломатические переговоры — мирные переговоры между враждующими сторонами.

На украинском и не совсем правильном немецком языках, а в основном жестами, я кое-как объяснил, что иду из плена и остановился здесь на ночлег; что и у них тоже дома остались, наверное, жены, сестры и дети, которые тоже хотят есть. Неужели их там так же грабят, как они, солдаты венгерской армии? Нехорошо и стыдно грабить беззащитную женщину с малым ребенком двум «храбрым» воинам!

В заключение своей сумбурной речи я показал выданный мне документ. Эта бумага, очевидно, возымела определенное действие, особенно немецкая печать с орлом и свастикой. Русский текст они, безусловно, не поняли, но... печать!

Они немного растерялись: венгр, державший курицу, выпустил несущку и спешно начал рассовывать по карманам собранные яйца, а тот, что взял у меня шинель, дал взамен свою едко-горчичного цвета. Моя же офицерская шинель, сработанная из добротного сукна, трещала по всем швам на рослом венгре. Но жадность взяла верх над разумом, и солдат, показав жестами, что он ее подпорет и перешьет, все-таки напялил ее на свою нескладную, долговязую фигуру.

Наконец, после долгих полупонятных объяснений, оба мародера, бормоча что-то под нос, выбрались вон из хаты.

Мы долго не могли прийти в себя после нашествия потомков Аттилы.

— От злидні... от злидні внадились... Чим же я дитину годуватиму взимку? Ей бо, останне заберуть! — возмущалась бедная молодая хозяйка.

Я примерил венгерскую шинель и, жалея свою — теплую, хорошо сидевшую на мне, — со злорадством подумал: «Ничего, ты в ней долго не покрасуешься, — вши заедят!»

Наконец, более или менее успокоившись, мы улеглись спать. В эту ночь нас больше никто не беспокоил, и мы уснули.

Утром молодуха накормила меня нехитрым завтраком, дала кое-что из одежды своих мужиков, выпроводила за калитку и показала дорогу на Калиновку.

Не могу сейчас ручаться за точность, но кажется мне, что от Калиновки и до самой Снегиревки и дальше до Калининдорфа я шел через немецкие колонии, стараясь больше ночевать в поле, в скирдах сена, чем заходить в чужие ухоженные села. Причина для этого была основательная. Лучше, если бы я шел другой дорогой, но это был единственный предписанный мне путь, и сворачивать с него было опасно. Я шел по нему, как по раскаленным углям.

## 5. Горячий снег

В Калиновку я пришел часикам к пяти вечера. Темнело, и я постучал в первый из домов. Меня выслушали и направили в другой, в котором жила русская семья. Во всех остальных домах проживали немцы-колонисты.

В русском доме меня встретили пожилые люди, мужчина и женщина. Они не возражали, чтобы я остановился у них на ночлег, однако попросили, чтобы я сначала сходил отметить в комендатуру со своей бумагой.

В этой немецкой колонии соблюдался строгий порядок по отношению ко всем людям, которые проходили через нее, а, тем более, останавливались на ночлег.

Мне очень не хотелось идти в комендатуру, так как здесь в полиции служили русские немцы — ревностные прислужники фюрера, однако я был настолько голоден и утомлен, что не видел иного выхода, кроме остановки на ночлег именно здесь. Когда я вошел в комендатуру, то увидел сидящих за столом двух полицаев, резавшихся в карты. Оба были рыжей масти, веснушчатые, прыщеватые и настолько схожие между собой, что я остановился на пороге и захлопал глазами, решив, что у меня начинаются галлюцинации. Наверное, на моем лице появилась такая выразительная мимика, что один из полицаев усмехнулся:

— Я, я! Не удивляйся! Заходи! Ха-ха! Нас есть двое... Это мой брат. Ха-ха!

Названный братом полицай, внимательно осмотрев меня со всех сторон, попросил расстегнуть шинель, почмокал языком. Потом подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, и поманил к себе пальцем.

Подозревая что-то неладное, я начал оглядываться по сторонам, ища предмет, которым можно было бы огреть в случае чего двух плюгавых братьев. Заметив, должно быть, мою растерянность, оставшийся сидеть сказал:

— Иди, иди туда, не бойся. Ничего плохого мы тебе не сделаем. Там будет у нас маленький представлений — маскарад.

«Будь что будет, — решил я, — все-таки там против меня будет один из братьев». И я пошел в соседнюю комнату. Там было пусто, не считая двух-трех шкафов у стены и койки.

Полицай приказал мне снимать сапоги и галифе. «Вот ты и попался, голубчик», — быстро соображая, что делать, я стоял и не двигался с места. Я наблюдал, как немец присел на койку и... деловито начал снимать с себя и скручивать обмотки, портянки, ботинки, и, наконец, галифе. Оставшись в одних кальсонах, он нетерпеливо и с раздражением произнес:

— Чего стоишь? Давай, лас, раздевай штаны и сапоги... будет менять... У нас форма — синие галифе и сапоги...

С трудом и некоторым облегчением сообразив, наконец, что ему от меня надо, я трясущимися руками быстро снял галифе и сапоги и отдал этому незадачливому бедолаге полицейскому остатки своей былой артиллерийской одежды.

— Венгры забрали шинель, а ты сапоги и галифе. Так, пожалуй, голым домой доберешься или околечнеешь! — ворчал я, в душе радуясь, что легко отделался. Галифе мое было белым на внутренних швах от бесчисленного множества вшей и отложенных ими яиц...

Выйдя из «костюмерной», я тотчас же получил разрешение на постой. Вид у меня был теперь, после очередной трансформации, ничем не лучше, чем у огороженного пугала.

Хозяева, к которым я несколько минут назад заглядывал, с трудом опознали во мне прошившегося на ночлег и отправленного ими в комендатуру путника. Они долго сочувственно охали и смеялись сквозь слезы, глядя на меня...

За долгое время своего бродяжничества я не ел так сытно, как у этой гостеприимной пары. Здесь же, впервые за долгое время, я услышал радио. С трепетом я стал прислушиваться к репродуктору. К сожалению, вскоре убедился, что говорили хоть и по-русски, но на чужом языке. Это был все тот же ядовитый язык врага. Из репродуктора лились сплошные бахвальства в адрес своего «фюрера», непобедимого «вермахта» и нового «орднунга» (порядка). По-

том сообщили, что перед слушателями выступит сын Молотова — старший лейтенант Виктор Вячеславович Скрябин, который добровольно перешел на сторону немецкого командования.

В репродукторе зазвучал голос заикающегося, точно как Молотов, человека. Он хвалил фашистскую власть и порядок, а также призывал всех следовать его примеру.

Насколько мне было известно, у Молотова никогда не было сына, поэтому я не поверил ни одному слову, сказанному по радио гитлеровскими лгунами. На хозяев же это выступление подействовало удручающе: шутка ли, сын самого МОЛОТОВА выступает против отца. Хозяин, осуждающе покачивая головой, высказал свое возмущение поступком сына вслух. Я не выдержал:

— Та в Молотова нема і ніколи не було ніякого сина! Це брехня!

Муж и жена очень обрадовались моему сообщению.

— Гадаю, все, що вони говорять, — чисті побрехеньки, — заключил хозяин.

— Мені здається так само, — ответил я. — Хоч я і не знаю, яке зараз положення на фронті, але про Москву чомусь уже замовкли. А місяць тому брехали, що вона вже в руках у німецького вермахту!

Меня прорвало.

Длительный период вынужденного молчания прорвало словесным поносом. Я уже не думал об опасности, грозящей мне за каждое произнесенное слово. Я проникся доверием к этим пожилым людям и выкладывал им все, что думал о фашистах, их новом «орднунге» и их бесноватом фюрере, новоявленном Наполеоне...

Несмотря на то, что в документе значилось, что я — Марко Степанович Билый, украинец из с. Бельенское, мои новые знакомые, кажется, догадались, что я еврей, но не подали вида. А утром, едва я проснулся, они ознакомили меня с окружающей обстановкой в их районе.

Хозяева поведали, что в соседнем селе староста-немец — лютый враг Советской власти, ненавидит евреев, коммунистов и комсомольцев. Этот изверг всех оставшихся в селе людей из такого актива побросал в колодец или повесил. Идущих через село незнакомых людей староста самолично допрашивает, подозрительных подвергает пыткам и издевательствам...

Эти добрые люди набили мою противогазную сумку продуктами, рассказали, как идти до самой Снегиревки, и пожелали мне счастливого пути. Я заверил их, что мне нечего бояться, сказал, что пойду через следующее село, и попрощался. Женщина испугалась, стала меня отговаривать и даже перекрестила на дорогу со словами «Бог в помощь» и «не иди туда».

Милая женщина, как я был ей благодарен за материнскую ласку и желание уберечь меня от нагрянувшего «великого лиха»...

Я бодро сказал им, что пойду через соседнее село, закинул противогазную сумку за плечо и зашагал по дороге. Но, как говорится, береженого Бог бережет...

Только я вышел за окраину Калиновки, как тотчас же остановился, осмотрелся и свернул в сторону, чтобы не заходить в соседнее село, не подвергать себя ненужному риску и не играть лишний раз со смертью.

Я шел по знаменитым Херсонским степям и дорогам, где когда-то в годы гражданской войны воевал и погиб легендарный матрос-партизан Железняк. По ассоциации, я ожидал, что здесь, в этих местах, я должен обязательно встретиться с партизанами. Раз староста немецкой колонии жестоко расправляется со всем сочувствующими Советской власти, значит, должны быть недовольные. Эти люди, возможно, где-то здесь скрываются в лесозащитных полосах и балках, группируются в партизанские отряды...

Я ругал себя за то, что не рискнул об этом спросить приютивших меня на ночь в Калиновке пожилых порядочных людей, которые, как мне показалось, были со мной вполне искренни.

Обдуваемый со всех сторон ветрами, я шел, укрываясь в балках и посадках, минуя человеческое жилье, как загнанный волк, ночуя где придется, с одной надеждой, — повстречать партизанский отряд.

Запасы провизии, которые выдали мне на дорогу хорошие, добрые люди в Калиновке и которые я все время экономил, подошли к концу.

За Снегиревкой я заночевал в каком-то брошенном сарае у края глиняного карьера. Похоже, что здесь до войны был кирпичный заводик. Там всюду валялся в беспорядке битый кирпич, черепица, что-то вроде цветочных горшков, глечиков и макитр, а также остатки курая и соломы. Весь этот подножный материал я использовал как постель.

Уничтожив остатки пищи, я улегся, зарывшись в курай и солому, и уснул, по сути, на голодный желудок, но в относительно мягкой и теплой постели...

Утром, когда я вышел, поеживаясь, из сарая, кругом, куда ни глянь, было бело. Выпал первый снег. Он продолжал кружиться и падать на мерзлую землю. А мне нужно было идти дальше, чтобы хоть немного согреться и где-нибудь добыть пищу. От голода ныл желудок, и было такое ощущение, что я весь превратился в окоченевшее чучело.

Я шел по правому берегу Ингульца, не решаясь переходить на левую сторону речки, где скоро должна была появиться еще одна немецкая колония Калининдорф — последняя на моем пути. Снег валил и валил с неба, поскрипывая под ногами, словно Бог решил выдать все свои припасенные на зиму запасы в один день.

От ходьбы я согрелся, мне стало даже немного жарко. Так, продвигаясь все дальше и дальше, я неустанно вглядывался в белое пространство впереди себя и в противоположную сторону Ингульца, стараясь сквозь снежную пелену заранее предугадать село Калининдорф, которое должно было вот-вот появиться. Кроме того, на моем пути, по эту сторону, стоял небольшой украинский хуторок, на расстоянии двух-трех километров от Калининдорфа. В нем я предполагал передохнуть и, наконец, что-нибудь поесть, так как желудок страшно ныл и зывал о помощи.

Прошел еще с километр.

Вдруг ветер донес до моего уха звуки, от которых мороз пробежал по коже. Я не видел еще никакого живого существа из-за снежной пелены, но с каждым шагом все ясней и отчетливей слышал, как по ту сторону Ингульца раздавались характерные лающие окрики немецких солдат из охраны, плач и стоны множества людей...

Страх и любопытство овладели мной почти одновременно. Какой-то животный страх гнал прочь от реки — подальше, а любопытство заставляло искать укрытия, из которого можно было бы выяснить, что происходит на том берегу. Из обрывков фраз, только уже явственно различных и доносившихся с той стороны, я, наконец, понял, что к реке привели на расстрел людей.

— Лос... лос... аускладен аллес!<sup>1</sup>

Когда понял, я заметался, не зная, куда деваться, как превратиться в насекомое или птицу, чтобы не быть обнаруженным. Смотреть на эту трагедию до конца или убежать от нее подальше, куда глаза глядят?

Раздалась пулеметная очередь, стоны, крики, плач мужчин, женщин, детей...

Свист пуль, пронесшихся над моей головой, мгновенно отрезвил меня: я повернулся спиной к реке и побежал в снежное поле, то и дело спотыкаясь о колдобины, падая и поднимаясь, уходя все дальше и дальше от кровавого кошмара.

Сзади продолжали раздаваться одиночные выстрелы. В ушах звенели стоны и проклятия умирающих людей.

Когда выстрелы и стоны затихли, я в изнеможении повалился на землю... Потом снова поднялся и долго кружил по белому полю, казавшемуся мне красным, шатался, словно человек, потерявший рассудок и ориентацию от тоски и горя. Наконец, я вышел на какую-то проселочную дорогу, где повстречал старика, едущего на дряхлой лошаденке, запряженной в сани, груженные сеном. Он ехал в село Давыдов Брод. Нам было по пути. Я попросил подвезти.

Старик оказался весьма осторожным и любознательным. Сначала выяснил, кто я, откуда, куда держу путь, почему дал такой крюк; проверил мои документы. Убедился, что печати на месте. Лишь после такого короткого, но тщательного допроса я был, наконец, допущен в сани.

— Шастають тут усякі люди, так шо ты пробач. — Дед хлестнул лошадь, и мы двинулись в путь.

## **6. А свадьба пела и плясала**

Пока мы ехали, снегопад уменьшился, а вскоре и вовсе прекратил свою карусель. Небо прояснилось. Показалось огромное красное солнце. Оно клонилось к закату, окрашивая снежное поле в кровавый багряный цвет...

Мы молча пересекли Ингулец и въехали в село. И вдруг мое угнетенное состояние души, навеянное событиями дня и мрачными красками природы, как по мановению волшебной палочки, резко переменилось.

Навстречу нам, с перевязанным разноцветными лентами высоко поднятым шестом, бубном и гармошкой, приплясывая и выкрикивая частушки, двигались ряженные и дружки с рушниками через плечо. В центре этой веселой свиты выступали жених и невеста, сзади шли родственники и гости.

---

<sup>1</sup> Давай, давай, раздевайтесь все!

Когда наши сани поравнялись с этой веселой компанией, из ее рядов вышел один мужичок, как выяснилось в дальнейшем, отец невесты, и с возгласом, полным разгульного доброжелательства, — «Служивый! Иди до нас!» — стянул меня с саней и заставил идти рядом с собой вплоть до своего дома, где уже были расставлены столы для гулянья.

По дороге я узнал от своего хмельного, веселого и гостеприимного спутника, что он сам только три месяца назад, как пришел из плена, что жених — «кацап» родом из-под Курска, тоже бывший красноармеец, под Давыдовым Бродом был ранен; в селе его выходили, и теперь он, отличный парень, женится на дочери моего нового друга.

Итак, я попал на свадьбу...

Каким контрастным был мой сегодняшний день! Утром я стал невольным свидетелем трагедии, разыгравшейся под Калининдорфом, а к вечеру выступал в роли свадебного солдата, более похожего на ряженого (в отличие от свадебного генерала) в Давыдовом Броде...

Как ни старались родители невесты, как ни пыжились гости, «весилля» в полном смысле не было: во всем и на всем лежала печать какой-то скованности.

Как обычно, я выбрал наиболее темный угол и там засел, чтобы не быть особо на виду. В своем наряде я был похож не то на ряженого, не то на огородное пугало, хотя и снял шинель и шапку с тряпками, обмотанными вокруг груди. Кроме того, я отдавал себе отчет, что мой облик может вызвать лишние разговоры, подозрения, испортить свадьбу и, в конечном счете, погубить меня, хозяина и жениха с невестой.

Когда я сказал хозяину, что пойду отметить в полиции или комендатуре, он хлопнул меня по плечу и ответил:

— Ти мій гість! Нікуди не ходи! Я сам усе зроблю, коли поліцай сюди потрапить. Він обов'язково тут буде!

На том и порешили.

Я выпил чарку самогона за молодых и стал уплетать за обе щеки закуску. Давно я не ел такого прекрасного сала, разнообразных колбас домашнего приготовления и огурцов с капустой собственного, хозяйского посола.

Много ли голодному, истощенному солдату надо, чтобы захмелеть?

Помню, что я кричал со всем «горько»... Остальное покрыто туманом. Я, кажется, пытался выпить вторую чарку «горилки», но не допил: передо мной все завертелось, закружилось и помчалось кувирком...

Проснулся я под столом, куда свалился с лавки, не выдержав неравной борьбы с уж очень крепким алкогольным напитком. Не знаю, сколько я пролежал в этом «вытрезвителе», но поднялся оттого, что срочно понадобилось выйти «до вітру»...

Во рту пересохло, голова раскалывалась. Я выбрался кое-как из-под стола и, пошатываясь, двинулся к двери, спотыкаясь о ноги и тела спящих за столом и на полу подвыпивших гостей. С трудом, цепляясь за стены, я нащупал выход и оказался во дворе.

Была морозная зимняя ночь. В небе мерцали звезды. Луна освещала двор, сарай и деревья, покрытые пушистым снегом... Все вокруг дышало миром — призрачным миром. Ни дать, ни взять, гоголевская «Ночь перед Рождеством»...

Пока стоял во дворе, голова прояснилась. Я замерз и зашагал назад в избу. В сенях столкнулся с отцом невесты. Остановился... Тот раскурил от огня сигарку, протянула мне кисет с самосадом и кусок газеты для скрутки. Подождал, пока я прикурил, и заговорил, прерывая себя затычками и вздохами:

— Я вчора нічого не набрехав лишнього? І в мене буває... коли вип'ю добряче...

Я молчал, скептически усмехаясь.

— Ти, мабуть, гадаєш, що мені зараз, коли навкруги... люди гинуть... приємне це весілля? Ні, солдате, не думай так...

— Я тебе розумію, хазяїн. Добре розумію...

— Весілля це теж я зробив, відверто кажучи, не тільки заради дочки, а ще й щоб урятувати хлопця... Тепер він наш, селянський, ніхто не причепиться. Крім того, вони люблять одне одного...

Хозяин продолжал свою исповедь, потягивая самокрутку, а я молчал, не перебивая его полупечального, с горькой иронией, монолога.

— Поліцай приходив уночі та розповів, що вчора в кар'єрі під Калініндорфом розстріляли німці коло сотні людей: євреїв, комуністів та комсомольців з сусідніх сел....

Зачем он мне говорит все это? Не пойму. Неужели он на трезвую голову понял, кто я есть? Похоже, что он пытается передо мной оправдаться. А может быть, он таким образом оправ-

дывается перед своей совестью? Все равно, я не священник и не отпущу ему грехи, — думал между тем я, стиснув зубы и с ужасом вспоминая кровавую трагедию того утра...

Мой собеседник затягивался сигаркой, и в отсвете из полутьмы возникало красивое нестарое лицо сорокалетнего мужчины. Это был уже не тот балагур, который стянул меня вчера с саней, а как будто совсем другой, обремененный постоянными непосильными заботами человек.

— Не розумію, чому стріляти жінок та дітей? Вони ж ні в чому не винні! Серед наших, сільських, теж досить сволоти... Деякі кажуть, мовляв, так тим жидам і треба... А про мене — вони такі ж люди, як і ми, як усі, не тварюки з лісу, як ця загарбницька чума, — продолжал он тихо ронять слова.

Я молчал, подавленный рассказом хозяина. Он бросил окурок и замолчал тоже. Потом мы снова закурили, повздыхали каждый о своем, затягиваясь и пуская клубы крепкого дыма в морозное пространство.

Сигарки догорели. Мы вошли в хату.

Сквозь окна уже пробивался рассвет. Кое-кто из более шустрых гостей уже успел приложиться к чарке — на похмелье...

Свадьба продолжалась...

Пользуясь гостеприимством хозяина, я провел в Давыдовом Броде два дня. Потом этот добрый человек выдал мне сухой паек, который сразу оттянул плечо, и посоветовал мне идти напрямик на узловую станцию Апостолово, откуда добираться до села Беленькое поездом вплоть до ст. Канцеровка или Сич.

Я хорошо отдохнул и наелся за эти два дня, но главного так и не узнал. Я ничего не разведal о партизанах. Задать такой вопрос прямо я не решался, а на мои намеки хозяин ничего не отвечал или всячески обходил стороной ответ. Хоть я в душе и чувствовал, что этот симпатичный человек при соответствующем стечении обстоятельств незамедлительно примкнул бы к партизанам...

Так ничего и не добившись, я двинулся дальше, в путь-дорогу.

...Без особых приключений я преодолел еще около семидесяти километров пути пешим порядком с двумя остановками на ночлег и, наконец, с изрядно отощавшим запасом провианта вышел к узловой станции Апостолово.

Народа на вокзале было очень много. Несмотря на разрушительную войну, жизнь продолжалась. Внутри здание вокзала напоминало потревоженный муравейник. Галдеж стоял необыкновенный. Многие ходили с мешками и котомками за плечами. В основном это были пожилые измученные люди, направлявшиеся в поисках мест, где можно было пожить продуктами в обмен на барахло, прокормиться самим и доставить еду оставленным дома детям и старикам.

Здесь я узнал, что на путях стоит и скоро пойдет в сторону Запорожья эшелон.

У выхода на перрон в дверях стоял здоровенный румынский солдат и проверял документы у всех выходящих к поездам. Я понял, что его мне не обойти, долго ходил, присматриваясь к процедуре, происходящей у двери, не решаясь подойти к выходу.

Раздался гудок паровоза.

Товарняк, идущий на Запорожье, должен был вот-вот тронуться. Набрав в легкие побольше воздуха, я, как ныряющий в водоворот пловец, достал свой документ и решительно направился к выходу.

Румын даже не глянул на протянутую бумажку с гербовой печатью. Он ухватил меня за отворот шинели и закричал:

— Стой! Ты — юде?

Решение созрело мгновенно.

Я зыркнул на солдата, на перрон, где толпы людей штурмовали готовый двинуться состав, и что есть силы головой стукнул под дых ретивого фашистского прихвостня, вырвался из здания и кинулся на платформу в людской водоворот. Я пробежал несколько метров вдоль вагонов, ухватился за чью-то протянутую руку и вскочил в уже двинувшийся состав.

Сзади раздались запоздалые свистки и крики полицейских:

— Лови жида! Лови жида!

А поезд набирал скорость, отбивая колесами:

— Жид жив! Жид жив! Жид жив! — унося меня все дальше и дальше от смерти.

## 7. В конце пути к дому

Во избежание новых приключений я не выходил из вагона до ст. Канцеровка. Там покинул состав и двинулся пешком к селу Беленькое — конечному пути и пристанищу.

«Что ждет меня дальше?» — этот сакраментальный вопрос не покидал меня, а становился все грознее и чаще передо мною по мере приближения к пункту назначения.

Теперь, в конце пути, он давил на мою психику, как тяжелый пресс. Надежда на встречу с партизанами рухнула. Я шел дальше, как незадачливый герой из сказки «Туда — не знаю, куда; за тем — не знаю, за чем». Я уже жалел, что воспользовался поездом, а не продолжал идти все время пешком, так как тем самым смог бы хоть немного оттянуть начало конца. Но физическая и моральная усталость и сильные морозы почти не оставляли мне выбора.

В этот день я добрался до ближайшего села Марьевка, где и заночевал.

Между Марьевкой и Беленьким расстояние небольшое. Жители этих сел знали друг друга, некоторые даже были в родстве. Поэтому естественно, что хозяева квартиры, где я остановился, поинтересовались, от каких Билых я веду свой род. Я охотно рассказал им «свою» биографию, заранее зная, что родственников Билого здесь не окажется, потому что все вымерли.

В хате мужского населения не было. Жили только женщины: две сестры-солдатки и дочка-подросток одной из них. Женщины внимательно слушали меня и сокрушались над печальным рассказом. Одна из них так растрогалась, что предложила мне остаться жить у них, потому что в с. Беленьком, по ее мнению, мне все равно негде будет пристать. Ведь родные давно умерли, а хату колхоз кому-нибудь отдал.

Я заверил женщин, что буду у старосты просить, чтобы мне отдали отцовскую хату, а там видно будет.

Эти добрые сестры сообщили мне важные сведения о начальстве в селе Беленьком: кто там при нынешней власти голова управы, колхоза и кто староста. Старостой там назначили русского немца, который сочувствовал и помогал односельчанам. До войны этот Гейдель работал завхозом Белянского пионерлагеря.

Люди о нем хорошо отзывались, он их не обижал, не то, что его брат у них в Марьевке.

— Гадаю, що він тобі допоможе усе влаштувати, — заключила одна из сестер.

Спал я в эту ночь плохо.

Тревожные мысли набегали одна за другой. Хотелось плюнуть на все и остаться жить у этих приветливых женщин. Вместе с тем нельзя было останавливаться у самого порога, не дойдя до «родного села», что, несомненно, вызвало бы законные подозрения.

Я решил: если в Беленьком меня не разоблачат и если я не смогу там задержаться, то вернусь в Марьевку к этим одиноким сестрам, принявшим такое участие и проявившим такое сочувствие к моей судьбе. Это решение укрепилось еще больше, когда, провожая меня, они пожелали на дорогу:

— Усього найкращого! Якщо нічого не вийде з хатою, то повертайся до нас у прийми!

На дворе стоял декабрь. Было снежно и холодно. Но меня согревала теплая меховая поддевка, которую дали хозяйки, а еще больше теплота, с которой они отнеслись ко мне.

Нет, не перевелись добрые люди на свете! Их больше, чем злых! Их надо только не избегать, а иметь терпение и некоторое везение, чтобы находить на пути. Мне пока везло...

Я бодро зашагал по дороге навстречу неизвестности, потому что теперь у меня был обещан тыл, состоявший из двух женщин.

Не прошло и двух часов, как я ступил на белянскую землю, чтобы разыскать среди заснеженных улиц одну — Тихонивку, где жила семья моего единственного знакомого в селе, Луки Симаченко. Я не надеялся у них надолго задержаться. Мне нужен был только толковый совет: как вести себя дальше и где пристроиться?

Симаченки жили в просторной саманной хате. Во дворе стояла клуня, где содержались скотина и мелкая живность. Еще были сад и огород. Отец — Сергей Иванович — занимался сапожным ремеслом, мать — домашним хозяйством, а дети учились. Старший, Лука, окончил десять классов и был мобилизован в начале войны, как и я, в Красную Армию; его сестра Маша перед войной закончила восемь классов и теперь, поскольку школа была закрыта, помогала матери по хозяйству. Вся семья была сейчас в сборе.

Родители Луки встретили меня не очень дружелюбно. Лука тоже растерялся при моем появлении. Только Машенька, круглолицая, миловидная девочка с толстой косой, заплетенной алой лентой, проявила ко мне удивительную предупредительность и вежливость. Она втащи-



ла меня в дом, заставила раздеться, усадила за стол и начала хлопотать около плиты, готовя «сніданок».

Даже тогда, когда ей нечего было делать в этой комнате, где взрослые стали дотошно расспрашивать меня о дальнейших планах, Машенька крутилась около и, словно подбадривая, часто с любопытством поглядывала на меня своими большими, добрыми голубыми глазами.

В этой семье фактически главенствовала мать, и за ней было последнее слово и решение. От ее совета все зависело. Я это понял через пять минут после начала беседы. И теперь, по сути, от нее зависела моя дальнейшая судьба.

Мать Луки сказала, что мне в селе Беленьком оставаться не стоит, а что лучше идти в Запорожье, где я, возможно, встречу кого-либо из знакомых, которые меня пристроят на работу или еще куда-нибудь...

Эта женщина, конечно же, догадывалась (если ей раньше об этом не сказал Лука), что я еврей, и знала, что, советуя мне идти в город, посылает на верную смерть. Но она, как волчица, защищала свое логово от напасти. Я не могу утверждать, что она желала моей гибели, тем более, быть ее свидетельницей. Но, боясь, что меня могут застать чужие люди или что я могу накликать беду, она желала только одного: поскорее от меня избавиться.

На рассвете, когда вся семья еще спала, она постаралась выпроводить меня из своего дома. Я медленно пошел по улице, с трудом преодолевая сугробы и раздумывая, куда идти дальше: назад в Марьевку или еще куда, но только не в Запорожье.

Умирать теперь за здорово живешь, тем более, добровольно бросаться в объятия смерти после того, как столько пережито и перенесено, совсем не хотелось.

Так я медленно шел по занесенным снегом улицам села, поглядывая по сторонам и под ноги, с тяжелой думой на сердце.

Солнце еще не всходило, но небо на востоке просветлело. Предрассветный мороз цепко хватал за щеки, проникал во все части тела сквозь мою нехитрую одежду. Близились рождественские праздники...

Задымили трубы, захлопали двери изб, откуда вместе с дымом и паром потянулись по улицам аппетитные запахи, тепло и уют.

Голодный, как бездомная собака, я, глотая слюну, брел дальше, затуманенным взором фиксируя окружающий мир, не решаясь постучать в какую-нибудь хату. Даже не столько голод, а больше один главный вопрос мучил меня: что делать, куда идти?

Так я вышел на улицу Широкую. У колодца набирала воду старая (теперь я бы сказал — пожилая) женщина. Она окликнула меня, прервав мои грустные раздумья. Я вздрогнул от неожиданности и остановился. Женщина всплеснула руками.

— Солдатику! — она внимательно поглядела на меня изучающим и оценивающим взглядом. — О, господи! Так ти ще й молодий! Як мій Костик! А ну, пішли до хати...

Она ввела меня в небольшую, уютную, чистую хату, усадила, накормила и начала хлопотать, как мать около сына, все время приговаривая:

— Ти як мій Костик, ну наче вилитий мій синок! Де він зараз? Чи не зустрічав ти його де-небудь?

Ее сын Костя был старше меня на год. Забрали его в армию еще в 1940 году и так же, как и моих соучеников 1922 года рождения, направили служить на границу. С самого начала войны связь с сыном прервалась. Мать не находила себе места от тоски и волнения, ждала сына или хотя бы известия о нем. Похоже, в каждом военнопленном она видела своего Костика.

К сожалению, я ничего не мог сказать этой несчастной доброй женщине о ее единственном дорогом сыночке, несмотря на то, что мне очень хотелось как-нибудь облегчить ее горе.

С такими вопросами я уже много раз встречался на своем нелегком пути и даже испытывал перед вопрошавшими какое-то чувство вины, хотя виной всему была война.

Я рассказывал матери солдата все, что знал и видел, о войне, стараясь обойти места, связанные со смертельным исходом, больше со счастливым концом. Рассказал и о себе: что я Марко Билый, сын Степана, родился здесь в селе в 1923 году, мать и отец умерли в Беленьком в 1928 году, когда на Украине свирепствовал голод...

— О, господи! Так я ж разом із Ганною, твоєю матір'ю, народжувала мого Костика! — взволнованно перебила меня женщина.

Возможно, она что-то путала, а может быть, ее сын действительно родился одновременно с моим двойником. По ее словам, ему только три дня назад минуло девятнадцать лет...

Эта задушевная беседа нас еще больше сблизила.

Женщина согрела воду, заставила меня выкупаться и, несмотря на мои протесты, одела во все чистое, оставшееся от сына, и уложила спать, а сама принялась за чистку и стирку моей завшивленной одежды.

Может быть, эти хлопоты доставляли ей радость и удовольствие. Во всяком случае, она делала все это с думой о сыне и со счастливой улыбкой на лице.

Я не знаю, сколько я проспал, но первый раз за много дней спал спокойно, а когда проснулся, услышал за дверью разговор между моей благодетельницей и, как я понял, ее супругом:

— Нехай він поживе в нас. Куди йому зараз іти, такому худенькому?

— Відведи його перш за все до старости, а там побачимо. Ти ж читала наказ? — ответил хрипловатый мужской голос.

Я, не раскрывая веки, прислушался к разговору этих пожилых людей и успокоился: здесь меня не гнали, возможно, даже приютят на время, а там видно будет...

С этой мыслью я снова уснул.

Когда я проснулся окончательно, было утро. Хозяин уже успел уйти на работу, а хозяйка хлопотала у печи. Она обрадовалась, что успела к моему пробуждению все приготовить.

Я проспал почти двадцать часов. На спинке кровати лежала чистая, выглаженная одежда.

Я умылся, оделся, сытно поел, поблагодарил милую женщину, заменившую мне на несколько часов мать, и, по привычке, стал готовиться снова, в который раз, в путь...

Но женщина не пустила меня.

Она предложила пойти с ней вместе к старосте и попросить, чтобы он устроил мою дальнейшую судьбу.

— Він у нас дуже добрий чоловік. Гадаю, що Гейдель тобі допоможе...

Надо сказать, что с. Беленькое имело свои старые традиции, исторически сложившиеся за много поколений, пока заселялось село. Население его делилось на две категории: коренных жителей и приезжих.

К коренному населению относились следующие фамилии, чьи предки основали село: Билые, Черные, Копны, Кныши, Дуплии, Патолахи и еще две-три фамилии, не больше. Все остальные, даже прожившие в селе тридцать-сорок лет, считались приезжими.

Если нужно было узнать, о ком идет речь, то говорили обычно так:

— Та це ж Марко Білий — Степанів син Рюховкі (название улицы), — и так далее в том же духе.

Многие носили очень меткие клички, которые к ним приклеивались крепче, чем банный лист. Владелец носил эту кличку сам в течение жизни и передавал ее по наследству, из поколения в поколение, иногда забывая свою истинную фамилию. «Приезжие» с гордостью носили такие клички, потому что они приближали их к коренному населению. А коренные всеми силами старались избавиться от кличек.

Как бы то ни было, а я относился к коренным «билянам», и это играло в сложившейся ситуации немаловажную роль, если даже не основную: сама фамилия работала на ее владельца. А если добавить, что меня вела к старосте пожилая женщина, чья фамилия была Копна, то мы с ней представляли, по белянским меркам, людей знатного рода, то есть нечто наподобие «думных бояр» времен царствования Ивана Грозного. Все это я понял несколько позже...

Гейдель принял нас хорошо, и, после пространной «вступительной речи» моей покровительницы о голодном времени 1928 года, моей матери и беспризорном детстве, староста написал записку нынешнему председателю колхоза об определении меня на жительство и (после того, как я окрепну) на работу...

Здесь необходимо сделать некоторые пояснения, чтобы понять дальнейшие события.

Колхозы оккупантами не были распущены, и земля не была роздана крестьянам по хозяйствам, как они обещали. Они оставили свои лозунги как приманку. Немцам было гораздо удобнее, оставив нетронутыми колхозы, обложить население налогами и увозить продукты сельского хозяйства непосредственно из амбаров.

В то время, когда я появился в Беленьком, немецких солдат в селе не было. Пока здесь правило избранное под их руководством управление: староста, председатель колхоза и полиция. Сохранился также и созданный в 30-е годы детский дом, или, как его здесь называли, патронат, который существовал на средства, выделяемые колхозом. По сути, порядки пока сохранялись те же, что и были (за редким исключением), а власти переменились, и методы тоже. Так как староста Гейдель был сам по себе покладистым человеком и старался не причинять зла своим землякам, к которым привык за многие годы совместной жизни, то беляне пока не сильно ощущали немецкий «орднунг»...

Мы (я и моя провожатая) вышли от Гейделя довольными собой и старостой.

— Бачиш, як добре усе вийшло. Тепер іди до голови. Я більш тобі не потрібна. Як звільнишся — заходь.

Моя старушка трижды перекрестила меня, поцеловала в лоб и снова попросила:

— Не забувай нас, старих... Заходь хоч інколи, синочку.

...И направился я в правление колхоза. Там, прежде чем войти в помещение, спросил, как фамилия головы.

— «Гаман», — ответил мне какой-то шутник, назвав кличку вместо имени. И, едва переступив порог кабинета председателя колхоза, я выпалил:

— Товарищ... тобто громадянин Гаман, я до вас від старости Гейделя з оцим листом, будь ласка.

В кабинете у председателя сидело несколько человек. Мои слова вызвали ехидные усмешки присутствующих и кривую болезненную улыбку на лице у головы. Шея его при этом приняла багровую окраску.

Я замер с протянутой рукой, не понимая, почему мои слова вызвали такую реакцию.

— Давай суди листа... Я не Гаман, а Патолах! Розумієш? От люди! Ніяк не можуть без жарту! Хай їм грець!

После этих слов присутствовавшие схватились за животы и разразились хохотом, а добродушный голова, похожий на гоголевского Пацюка, подавляя смущение, гаркнул:

— Посміялись, та й годі! Де тут був Циганок? Степан! Де ти? Позвіть його хто-небудь! Швидше!

Из-за спин мужиков, сидевших в кабинете головы вдоль стен, вынырнула тощая фигурка шустрого, кареглазого, белобрысого пацана.

— Степан, відведи цього солдатику до себе у патронат. Хай там поки що поживе.

Я думал, что Патолах сразу же определит меня на работу. Однако он вышел из-за стола, повернул нас обоих лицами к двери и подтолкнул нас в спины:

— Ідїть, ідїть, хлопці. У мене без вас іще роботи вистачить.

Я недоумевал:

— Ви ж мені не дали роботи!

Голова рассмеялся:

— Ну, який із тебе зараз робітник? Подивіться на нього, люди! Станеш гладкіше, тоді прихось — дамо роботу. А зараз — геть звідси, і щоб я не бачив вас тут більше!

И пошел я в свой новый дом, — приют для беспризорных детей. Патронат.

## 8. В детском доме

Пока мы шли, провожатый крутился вокруг меня, как юла, и задавал вопросы. А меня интересовал, вернее, беспокоил, только один вопрос: может ли в патронате жить кто-либо из тех ребят, или, что еще хуже, из обслуживающего персонала, кто знал моего двойника Марка Билого?

По словам Степы, в патронате только два хлопца были моего возраста, и те поселились в нем после 1935 года. Старая повариха умерла, и теперь у них работает новая — Катерина Принь.

Степа забежал то с одной, то с другой стороны. Шутка ли, он вел не простого человека, а солдата, который воевал на фронте. Цыганок выспрашивал у меня: стрелял ли я в немцев и сколько убил фашистов, видел ли немецкие мотоциклы и танки? Когда же узнал, что я артиллерист и стрелял из пушки по танкам, глазенки у него загорелись, и он начал расспрашивать, сколько танков я подбил.

Этот шустряк задал бы мне еще миллион вопросов, и я должен был бы удовлетворять его любопытство, так как сведения, сообщенные Степой, настроили меня на оптимистическую волну. Но наши разговоры, слава Богу, прервались — мы вышли на Медянку и подошли к детскому дому.

Патронат размещался на улице Медянка, в большой одноэтажной глиняной хате-мазанке, крытой черепицей. В хате была одна большая комната, сени и кухня. Полы дощатые, добротные. В большой комнате были расставлены двенадцать кроватей с тумбочками, большой стол и несколько стульев для гостей, так как жильцы, как правило, сидели на кроватях, а ели на тумбочках.

Когда Патолах направил меня в патронат, я решил, что встречу здесь детей в возрасте Цыганка и меньше, поэтому меня сразу смутили мои несколько неподходящие для детского дома

года. Однако, по Степиному описанию обитателей этого учреждения и, как оказалось, в действительности, в патронате нашли приют не такие уж маленькие ребятки: три брата Джоса, два брата Копны, два брата Марченко, Миронов, Поправка, упомянутый Цыганок и Серегин. Всего одиннадцать человек. Семен Копна на год старше меня, Иван Джос моего возраста; Митьке Марченко, Петру Джосу, Василию Миронову и Илье Копне было примерно по шестнадцать; Степе Цыганку, Андрею Поправке и Володе Серегину — двенадцать-четырнадцать, а Яндыку Джосу и Минутке Марченко по восемь-девять лет от роду, не более. Такая это была компания.

Обслуживала патронат женщина тридцати двух — тридцати пяти лет, Екатерина Принь, добросовестная и работающая. Своих детей она не имела. Мужа ее призвали в армию в первые же дни войны, с той поры никаких вестей от него она не получала. Чтобы не сидеть дома без дела в четырех стенах одной и иметь хлеб насущный, Катерина с раннего утра до позднего вечера хлопотала в детдоме: выпекала хлеб, готовила завтраки, обеды, ужины и обстирывала патронатскую братву.

Мое появление Катерину не обрадовало. Двенадцатый член патроната — это лишние хлопоты на ее голову.

— От послав Господь Діда Мороза на Різдво! — возмущалась Катерина, когда Степан меня ей представил, и я объяснил, в чем дело. — Я дивлюсь, що тут вже не дитячий дім став, а санаторій для дорослих! — не могла она успокоиться. Мне пришлось взять эту миссию на себя.

— Не хвилюйтесь, будь ласка. Я житиму в патронаті недовго. Ось тільки трохи оклепаюся та й піду геть.

Катерина надулась и ушла на кухню. Оттуда еще долго доносилось ее ворчание, но наше знакомство уже состоялось.

А пацанва, наоборот, встретила меня очень приветливо, особенно младшие, для которых я, так же, как и для Степы, был солдатом с фронта. Фронт представлялся им не тяжким кровавым сражением, а романтическим приключением, где гибнут только фашисты, а наши красноармейцы всегда остаются живыми и выходят сухими из воды. Это объяснялось, прежде всего, возрастом и еще тем, что бои прошли в стороне от села Беленькое, и им не видно было ужасов, которые несла с собой эта война...

Ребята тотчас окружили меня. Каждый приглашал сесть на свою койку. Вопросов было очень много. Отвечал я на них до тех пор, пока на дворе не стемнело, и нас не прервала Катерина:

— Годі! Напали, як скажені, на чоловіка! Дайте йому поїсти, та й самі сідайте.

От запаха галушек у меня засосало под ложечкой. Я моментально слопал полную тарелку, и Катерина дала добавку, которую я тотчас быстро умолотил. Хлопцы моментально усекли, с какой жадностью я поглощаю пищу, и каждый стал предлагать свою порцию. Сначала я, смущаясь, отказывался, потом голод победил сентиментальность, и я с аппетитом съел еще порций пять, после чего, кажется, насытился. А хлопцы остались довольными, что смогли утолить мой голод. Только Катерина Принь сокрушалась:

— Як же я нагодую таку утробу? Прийдеться у Гамана просити додати харчів...

Ужином хлопцы тоже со мной поделились. То, что я не смог съесть сразу, я оставил на завтрак. Однако до утра не дотерпел и среди ночи встал и все уничтожил.

Обитателей детдома забавляла моя прожорливость, а я, преодолевая чувство стыда, продолжал есть все подряд, не испытывая никакой брезгливости, и мечтая лишь об одном: насытить, наконец, хоть как-нибудь свой истощенный желудок. Удивляюсь, как у меня не случился в тот период заворот кишок.

Нельзя сказать, что Катерина изысканно готовила. Она не была кулинаром, да и продуктов разнообразных в ее распоряжении не было для этого. Сейчас я вряд ли бы съел объемистую порцию такой похлебки. Но тогда грубая детдомовская пища казалась мне верхом совершенства, и, поглощая ее в огромных количествах, я нагуливал мясо и жир на свои кости.

Через месяц я стал есть уже более умеренно, а потом и вовсе нормально, как все остальные хлопцы патроната. И в моей голове появились мысли не только о еде.

С первых же дней пребывания в патронате меня беспокоило то обстоятельство, что меня могут причислить к дармоедам, так как я ничего не делаю, кроме как ем, лежу, читаю книги да рассказываю младшим ребятам различные истории. Потом выяснил, что из одиннадцати детдомовцев только двое, Вася Миронов и Илько Копна, работают молотобойцами в колхозной кузнице, а остальные, так же, как и я, зимой бьют баклуши, а летом и осенью работают на подхвате в колхозе. Это меня немного успокоило.

У братьев Джосов и Копна были свои хаты и приусадебные участки, доставшиеся им по наследству после смерти родителей. Живности в своих владениях эти ребята не держали, так

как ухаживать за ней было некому, а землю на усадьбах обрабатывали, засеивали и к осени снимали урожай, который шел в общий котел патроната.

Показали мне и «мою» хату на Рюховке. Там жила какая-то семья из «приезжих». Хозяева меня хорошо приняли и еще больше обрадовались моему визиту, когда я заявил, что за «свою» хату ничего от них не требую. Так-то, нашелся благодетель!

Хаты хатами, но пока что пятеро братьев, Копна и Джосы, жили и питались в патронате. Поскольку перебираться они не собирались, то ранней весной 1942 года мы, детдомовцы, дружно работали на приусадебных участках этих ребят и засеяли их землю картошкой, капустой и прочими сельскохозяйственными культурами.

В знак благодарности к моей названной матери, я привел детдомовскую ораву на ул. Широкую к старым Копнам, и там мы тоже провели ранние полевые работы на приусадебном участке. Старик Копна кричал от удовольствия, глядя, как мы здорово работаем, запрягаясь вместо лошадей то в борону, то в плуг. Под конец он угостил старших самогоном и наполнил наши кисеты самосадом, а старушка угостила младших узваром и пирожками с мясом, капустой и вишнями.

Но все это было ранней весной. А пока, чтобы не тратить время зря, я решил заняться изготовлением игральных карт. Да-да, простых игральные карты.

Решение это родилось не сразу.

В патронате была старая потрепанная колода, неизвестно кем туда занесенная. Ребята по вечерам любили играть в «дурака». Естественно, некоторые из карт сильно поизносились. Я попробовал их восстановить. Получилось, сверх ожидания, хорошо. Тогда я сделал новую колоду. И так пошло и пошло. Тем более что во время войны гадание, особенно в оккупированных районах, приобрело повальный характер...

Карты в магазинах не продавались, а спрос на них был настолько велик, что мне пришлось в голову поставить работу по изготовлению карт на индустриальную основу.

Идея всем понравилась, даже Катерине.

Я изготовил трафареты и клише. Ребята отовсюду натаскали краски, бумагу, кисти, клей и прочих необходимый материал. Работа закипела.

Дело по продаже и связи с населением взял на себя Митька Марченко, который был рожден для должности коммивояжера или заправского приказчика.

Короче говоря, я сделался главным инженером, а Митька Марченко — «зиппредседателем» этого акционерного общества. Только, в отличие от Фунта, Митька не сидел на месте, а мотался по Бельенкому и окрестным селам. Он даже наладил связь с Запорожьем, куда ходил каждые десять дней к своей двоюродной или троюродной сестре. Кроме того, наша фирма отличалась от конторы «Рога и копыта» еще тем, что последняя имела вывеску, печать и счет в банке и никакого производства. А у нас было производство, но никаких счетов в банке, тем более, печати и вывески.

Катерине особенно понравилось наше «предприятие», когда оно стало приносить доходы, не меньшие, чем колхозная дотация, и пацаны перестали шлаться по селу, так как были при деле. Катерина молча убирала горы мусора, который скапливался к концу каждого рабочего дня, после нашей напряженной работы.

Кладовая патроната пополнилась запасами сливочного и подсолнечного масла, сала, свиных колбас, муки, картофеля, фасоли, гречки и прочих продуктов питания, которые Митька получал в качестве натуральной платы с покупателей.

Однажды он притащил из города целую канистру керосина. Думаю, что номенклатуру продуктов потребления Митька согласовывал с нашей кормилицей Катериной Принь. Тем не менее, никто не вдавался в эти детали, доверяя их целиком и полностью нашему «коммерческому директору».

Мое дело было обеспечить качество и количество товара, то есть производство.

В конце марта месяца как-то вечером меня оторвал от работы Семен Копна. Он был очень взволнован, вывел меня из дома и там рассказал, что его вызвали в Управу, где предложили ехать в какую-то школу в Германию. Он не знал, соглашаться или нет, и просил совета.

— Ты — комсомолец? — спросил я Семена, глядя ему прямо в глаза и не сомневаясь, что он скажет мне правду.

— Да, был им, — ответил тихо Семен.

Я напряженно думал, что ему посоветовать. А вдруг это провокация? На его месте я, скорее всего, сбежал бы, если нельзя было уклониться, но не поехал бы в Германию, в какую-то подозрительную школу к фашистам. Но я ему так открыто сказать не мог, поэтому посоветовал:

— Подумай сам хорошенько. Если ты комсомолец, то пусть тебе подскажет твоя совесть, как поступить. Тут советчики не требуются.

Рано утром, когда было еще темно, Семен Копна собрал свои вещички, попрощался с нами тихо и ушел. Куда он подался? То ли в Германию, то ли куда в бега — не знаю. Только его брат Илько писем от Семена не получал, и мы о нем ничего не слыхали. А я с той поры и по сей день его больше не видел и ничего о нем не слышал.

Жаль, если он погиб. В отличие от недалекого Илька, старший брат был талантливым, красивым парнем, писал неплохие лирические стихи, и часто, лежа в постели, читал их нам, детдомовской публике, по ночам. Это была поэзия о любви, ушедшем коротком детстве и борьбе добра со злом. Мне как-то до сих пор не верится, что такой свободолюбивый парень, как Семен, мог добровольно поехать в Германию...

Катерина Принь долго ко мне приглядывалась. Потом, должно быть, привыкла и даже стала подсаживаться ко мне на кровать, когда я что-нибудь читал или рассказывал пацанве. А то, бывало, советовалась со мной в разных житейских делах, своих и общих.

Со временем ей в голову пришла навязчивая идея: женить меня на какой-нибудь из белянских девчат. Это было в конце января, уже в новом году. К этому времени, благодаря Катерининым стараниям, я обрел уже человеческий вид. Одежда на мне больше не висела, как на вешалке. Катерина кое-что подремонтировала и подогнала на меня из гардероба старшего брата Митьки и Мишутки Марченко, которого забрали в армию еще перед войной, в 1940 году.

Не знаю, как я выглядел теперь со стороны, так как в патронате было только одно маленькое зеркальце, и то нарасхват. А Катерина мой вид одобрила. Она решила, что в женихи я гожусь, и принялась за сватовство основательно. Она приводила девчат к нам в гости и водила меня по хатам.

С мужским полом моего возраста был дефицит, и поэтому я пользовался спросом. Среди претенденток попадались и миловидные девушки, но я еще не чувствовал себя в достаточной «спортивной форме», с одной стороны, а с другой — и это, пожалуй, было главным — я не искал новых приключений. В мои планы совершенно не входила женитьба, которая могла связать меня по рукам и ногам и в таком виде выдать меня полиции. Кроме того, будучи еще не испорченным, честным малым, я не хотел, в конце концов, сделать несчастной ни в чем не повинную девицу, которую бы все равно рано или поздно вынужден был бы бросить.

Каждый раз на вопрос Катерины, понравилась ли мне очередная невеста, я отвечал односложно: «Нет!» Она возмущалась моими отказами и переборчивостью, но настойчиво продолжала действовать. Мне не хотелось ее обижать, но я по-прежнему упорствовал.

Как-то Катерина привела меня к одной вдовушке. Это была пышная молодая деваха лет двадцать, в соку, точь-в-точь мадам Грицацуева из «Двенадцати стульев». Однако я не был Остапом Бендером, и мне от мадам ничего не требовалось, даже не то, что кресло с бриллиантами и золотое ситечко, а простая табуретка.

Жила эта мадам со старенькой матерью и маленьким ребенком в просторной хате. Чем она занималась в колхозе, не знаю. Но квартира была обставлена хорошо и со вкусом, а всяких рукоделий было предостаточно. Думаю, что эта девица была опрятной и старательной, и, самое главное, работающей.

Мать своим женским чутьем, должно быть, сразу смекнула, в чем дело, забрала пацана и ушла в другую комнату, оставив нас втроем.

Вдовушка принялась накрывать стол, а Катерина — расхваливать хозяйку и закуски, наполнявшие комнату в таком темпе и изобилии, что даже я со своей, по выражению Катерины, «ненасытной утробой», не смог бы съесть и половину. Стол украсила бутылка самогона, настоянного на каких-то травах и ягодах.

Мы выпили за знакомство, закусили. Беседа не клеилась. Выпили еще. Потом Катерина начала прощаться. Я тоже приподнялся, чтобы уйти, пока держат ноги и соображает голова, но не тут-то было. Подружки в два голоса начали уговаривать меня остаться.

Я с трудом, но понял, наконец, что за угощение надо расплачиваться...

Особенно это до меня дошло, когда мы остались вдвоем. Уже изрядно опьяневший, я почувствовал жаркие объятия и сладострастный шепот любвеобильной девы у себя над ухом...

...Едва забрезжил рассвет, и едва я услышал храп утомившейся, наконец, психеи, как наскоро оделся и помчался в патронат. Там, на пороге, мне преградила путь торжествующая Катерина Принь:

— А ти, я бачу, козак! Ну, як тобі сподобалась Параска?

— Ідіть ви з своєю Параскою до... такої матері! — взорвался я, поняв, что меня решили окру-  
тить таким способом. — Даремно витрачаєте сили. У мене є наречена — Марія Симаченко!

Я, конечно, выдумал себе невесту для того, чтобы Катерина от меня отцепилась. Она не  
поверила сразу моим словам. Я вынужден был через «не хочу» пойти к Симаченкам. Когда  
Катерина удостоверилась, что я навещаю семейство Симаченко на Тихонивке, только тогда  
ярмарка невест, затеянная ею якобы для моей же пользы, прекратилась.

Правда, Прасковья приходила несколько раз в патронат и настойчиво приглашала меня к  
себе в гости, но я всеми силами отстаивал свое право на свободу. Иногда это не удавалось... Для  
того, чтобы окончательно завоевать независимость, пришлось пойти на уловку и пристроить к  
своей Венере одного сельского хлопца, который часто заходил к нам в гости.

Как-то, играя в карты, он имел неосторожность признаться мне, что ему нужна «бабенка»  
вроде Прасковьи, но сам он ей об этом стеснялся сказать. Я расписал его Прасковье моей с  
наилучшей стороны, потом повел его к ним в дом и познакомил, а далее дело пошло само по  
себе. Так я стал благодетелем: помог найти двум людям друг друга, соединил их судьбы, а себе  
окончательно развязал руки.

К Симаченко я начал изредка наведываться после того, как прочно обосновался в патро-  
нате. И то сказать, я ни за что бы не пошел к ним, помня свой первый визит и прием. Но в  
один из мартовских дней Володя Серегин принес мне записку от Маши Симаченко, в которой  
сообщалось, что их семья знает, где я живу, и приглашает меня в гости.

Возможно, Симаченко чувствовали свою вину передо мной, и, стараясь искупить ее, пригла-  
шали сейчас на день рождения дочери. Я не знал, что у них такой праздник, а все же одевался  
на званый обед долго и тщательно. В моем облачении принимал участие весь личный состав  
патроната, включая Катерину и малышей. Одежду собирали коллективно. Поэтому вышел из  
меня, в конце концов, пестрый молодой человек в интернациональном костюме. Митька Мар-  
ченко, или, как мы его называли за смуглость кожи и черноту волос, Цыган, положила мне в  
карман на всякий случай две колоды карт из фонда, предназначенного для реализации.

— На, візьми про всяк випадок. Може, там згодяться, пограєте.

Когда я вошел в дом к Симаченко, меня не сразу признали, а узнав, открыли рты от изумле-  
ния. В гостиной уже шептались две или три Машины подруги и столько же кавалеров.

Маша очень обрадовалась моему появлению, и я, узнав, по какому поводу приглашен, сна-  
чала смутился, но, вспомнив о картах, бросился в сени к пальто и вручил имениннице вместо  
подарка одну из колод нашей «фирмы» с дарственной надписью, которую тут же и сочинил.

Карты прились кстати. Их тут же распечатали и пустили в ход, наступило некоторое  
оживление. Потом Лука играл на гармошке, и девушки танцевали со своими недозрелыми ка-  
валерами.

Я посидел на этом торжестве недолго и стал собираться. Старый Симаченко дал мне на  
дорогу самосада, а мать проводила до калитки и наказала, чтобы приходил в гости.

О первой нашей встрече никто не упоминал ни словом, как будто ее и не было, но я-то ее  
хорошо запомнил. Мне ее нельзя было забыть. И все же... я побывал в этой семье еще раза  
три или четыре, но ходил туда исключительно для того, чтобы от меня отвязалась Катерина  
со своим надуманным сватовством, и для добычи самосада — уж очень он был хорош, душист  
и крепок, у старого Симаченко.

К нам в гости часто приходили сельские ребята, ровесники детдомовцев. Они с удовольствием  
играли, слушали романы и повести, которые мы по очереди читали вслух или рассказывали.  
Они же помогали нам в производстве карт и т.д. Старшие из них делились с нами сельскими  
новостями, и, что меня особенно интересовало, известиями о положении на фронте.

Постепенно среди своих — детдомовских и некоторых сельских пацанов — я нашел едино-  
мышленников, которые готовы были вместе со мной уйти к партизанам, или, если представится  
случай, пересечь линию фронта, чтобы принять участие в борьбе с фашистами.

От ребят я узнал, что в результате контрнаступления советских войск ударные группиров-  
ки врага, пытавшиеся захватить Москву, в начале января 1942 года были разгромлены и от-  
брошены от столицы далеко на запад. Я понял, что у Родины еще есть силы, и что это только  
начало конца захватчиков.

К весне это стало особенно очевидно, когда в апреле месяце в небе над Беленьким проле-  
тел краснозвездный самолет и сбросил листовки. В них сообщалось, что части Красной Армии  
прорвали оборонительные линии противника и вышли к Лозовой.

Мы ликovali.

Сомнений в том, что гитлеровцам, наконец, пришел «капут», ни у кого не было.

Началась усиленная подготовка к побегу. Я, Иван Джос, Митька Марченко, Степан Цыганок, Вася Миронов и еще трое сельских хлопцев из тех, что к нам ходили, разработали план. Он сводился к тому, чтобы перебраться через реку в плавни и там подождать, пока подойдут наши части. Если в плавнях скрываются партизаны, о чем ходили упорные слухи, то присоединиться к ним для борьбы против оккупантов.

Для осуществления хотя бы первой части плана нужна была надежная лодка, причем такая, чтобы в ней разместилась вся наша компания. Ребята обшарили все побережье и, наконец, среди затопленных плавсредств нашли десятиместную лодку, которая нуждалась в основательном ремонте. Но делать нечего. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Занялись ремонтом.

Чтобы не вызвать подозрений, решили не делать тайны из нашей «верфи». Интересовавшихся уверяли, будто лодка нужна патронату для ловли рыбы и катания пацанов. Кроме того, на ней можно ездить в окрестные села за продуктами.

Лодку, в конце концов, мы прошпаклевали, просмолили и покрасили, то есть отремонтировали на совесть. Назвали ее «ДД-1» и начали у всех на виду катать малышей, плести новые и латать старые сети на берегу Днепра. Мы делали все это, пока к нашим маневрам не привыкло население Беленького, в том числе и полиция.

Срок побега был назначен в ночь с четвертого на пятое мая. Об этом знали только восемь человек его участников. Они же начали тайно стаскивать к берегу продукты, так как мы рассчитывали на самый плохой вариант: что мы никого не встретим в плавнях, и нам придется долго там скрываться до прихода нашей армии.

Итак, все было готово.

Мы тихо вели беседу в доме. Был вечер накануне побега. Прикидывали, всем ли необходимым запаслись, все ли предусмотрели. Окна патроната были распахнуты. Ничто не предвещало беду.

Вдруг к нашему двору подъехала телега, из которой выскочили полицейские в черной форме и окружили плотным кольцом дом.

У меня все оборвалось внутри: это по мою душу, подумалось мгновенно.

Двое с винтовками стали у окон, а остальные ворвались в помещение. Всех ребят, кроме Илька, Петра Джоса, Мишки и Яндыка, повели в Управу. Избежал ареста и Андрей Поправка, которого в это время не было в патронате.

В Управе нас посадили в отдельную каморку для арестантов и начали по одному вызывать на допрос. Задавали одни и те же вопросы: «Для чего робили лодку?», «Куди і коли збиралися бігти?»

К ночи привели остальных пацанов из нашей группы: Ивана Квассия и других. Мы обсуждали и такой вариант — «провала», поэтому упорно продолжали выдвигать свою версию о том, что лодка предназначалась только для рыбной ловли и катания, а о побеге мы и не помышляли.

— Комусь, мабуть, приглянувся наш човник, от він і набрехав на нас, дітдомовців.

Допрашивавший меня полицейский, отпуская назад в камеру, сказал:

— Дякуй Гейделю, дурень! Ти старший за них... чого сам лізеш у петлю і пацанів за собою тягнеш?

Сидя в камере, я долго размышлял над тем, где мы допустили ошибку в осуществлении своего плана, и не мог найти ее. Предательство со стороны членов нашей группы вроде бы исключалось. Может быть, Иван или Митька трепанули об этом своим младшим братьям? Но на мои вопросы, заданные в упор, те отвечали полным отрицанием. Тем не менее, побег — сорвался!!!

Рано утром нас вывели из камеры, заставили быстро помыть полы и убрать Управу. Потом заплаканная Катерина Принь вместе с пацанами притащила наши шмотки и продовольствие. Нас посадили в бричку и повезли под охраной на ближайшую железнодорожную станцию.

По дороге к нашей группе примыкали еще возы и другой гужевой транспорт с молодыми девушками и ребятами, пока не образовался большущий обоз. Но охрана была, как я заметил, только на наших двух бричках.

Я долго ничего не мог понять в этом сплошном потоке людей, лошадей и возов, пока наше недоумение не разрешил один из сидящих на нашем возу полицейских. Он со злорадством изрек:

— Рахуйте, що вам пощастило. Пограли тут? Тепер поїдете догравать до Німеччини!

Так вот оно что!

Неужели эта масса молодых людей едет в Германию? Как же так получилось, что мы об этом не знали? Что делать? Нас везет полиция... Нам деваться некуда. Но зачем же едут они — эти



ребята и девушки? Неужели добровольно?! Ведь вот-вот должно прийти освобождение... И почему плачут их родные, если они едут вроде сами — добровольно, не под охраной, как мы?

С такими думами я трясся на бричке под охраной белянских полицейев.

Потом выяснилось, что и остальных сопровождали полицейи, только по одному на два-три воза, а не как нас: четверо на два воза, да еще с оружием. Нет, эти ребята не были добровольцами. Их тоже угоняли, как скот.

Это я понял, когда всех привезли на станцию и по спискам начали вызывать и загонять в телятники, наполненные сеном для лежания.

На станции увидел я Машу и Луку Симаченко. Их тоже угоняли в Германию. Маша кинулась было ко мне, но ее остановил полицей и толкнул в какой-то вагон. Лука бросился туда же.

Нас — детдомовцев — в окружении полицейев подвели к составу, дважды пересчитали и по одному затолкали в телятник, рядом с которым был прицеплен пассажирский вагон с пьяными немецкими солдатами-отпускниками.

В голове бродили тревожные мысли: «Бежать! Бежать, бежать, как только представится возможность. Только бежать!»

Но пока я не знал, как это можно сделать. Я не решался даже поговорить с кем-либо по этому поводу, настолько был подавлен случившимся: провалом побега и угоном в Германию.

Двери заскрипели на роликах и захлопнулись. Мы остались в темном вагоне, как в мышеловке. Только сверху просачивался через узкие продолговатые оконца-люки дневной свет.

## **Глава 8. Им гевалт дер денкельхайт (во власти тьмы)**

### **1. От Украины до Германии**

Сколько испытаний может выпасть на долю одного человека?

Какие нужно иметь нервы, чтобы это все выдержать и не терять надежды?

Не знаю!

Мало было предательства и плена, голода и лагеря за колючей проволокой?! Бродячей жизни на оккупированной территории и ежеминутного риска быть расстрелянным?

Очевидно, всего этого было мало!

Теперь судьба бросала меня во власть тьмы — в логово к прожорливому зверю.

Может быть, правы были тогда, еще до войны, вербовщики из Одесского секретного училища, остановившие на мне свой выбор? А я, глупый, отказался: решил не искать приключений, захотел прожить еще хотя бы пять лет нормальным студентом, спокойной гражданской профессии и жизни.

Откуда я мог знать, что впереди ждут меня «приключения», пожалуй, похлеще, чем те, о которых нам захлеб рассказывал молодой лейтенант из ОСУ в военкомате.

...Я лежал на соломе рядом со своими товарищами в движущемся со стуком и скрипом вагоне-товарняке и думал... думал... думал... До головной боли думал, как вырваться из-под пресса, который снова начал давить на меня со все возрастающей силой. Я чувствовал, что еще немного — и моя нервная система не выдержит напряжения. И в то же время я боялся сорваться.

На встречу с партизанами я больше не надеялся. Ведь за все время нахождения на оккупированной территории я о них даже не слышал, не то, что видел. Очевидно, это был миф, который был выгоден и гитлеровцам, чтобы безнаказанно творить свои акции на Украине. А может быть, где-то и были партизаны? Но только не здесь!

С каждым часом мы все больше и больше отдалялись от линии фронта, и это меня убивало.

В вагоне лежали не только наши детдомовцы. Здесь были еще люди, наверное, как и мы, чем-то провинившиеся перед рейхом.

Нужно было бежать, только бежать. А выход из вагона был один: через окошко под потолком на крышу, дальше по вагонам до тормозной площадки, и прыжок на пути к свободе или...

Если бы я не был евреем! Если бы я не был евреем, то не раздумывал бы долго и бежал этим или другим путем. Даже раньше, значительно раньше. И не в компании, а в одиночку. А так?! Что я мог сделать без документов, удостоверяющих, что я — Марко Билый, украинец по национальности, уроженец села Беленькое? Без этого своеобразного щита я был «голым королем».

Я даже не знал, у кого из сопровождающих находятся мои документы. При первой же встрече с незнакомыми людьми меня выдадут немцам или своей полиции запуганные жители оккупированных городов или сел Украины. Таким образом, для меня единичный побег отпадал.

Да, бежать надо, но группой — вместе. Вместе мы сможем организовать что-то вроде партизанской диверсионной группы. Хотя укрываться большой группе людей тяжело, зато сражаться гораздо легче и надежней. Если бы поблизости были леса, мечтал я, лежа в вагоне.

Я не выдержал и поделился своими думами с лежавшими рядом Иваном Джосом и Митькой Марченко. Митька, авантюрист по натуре, согласился сразу же, а Иван проявил осторожность и предложил сначала выяснить, какие попутчики населяют наш вагон. Кроме белянских, в вагоне было еще человек двадцать из разных районов Запорожской области. Поговорили с ними. Оказалось, что эти ребята в большинстве своем настроены, как и мы, — бежать. Однако нашлись и не хотевшие рисковать. К сожалению, к ним примкнули двое из наших белянских, с которыми я собирался совсем недавно переходить линию фронта. Не найдя полной поддержки я забеспокоился, чтобы кто-то нас снова не выдал.

На ст. Знаменка двери нашего телятника отворились. Нас выпустили поразмяться и под охраной повели на перрон получать горячую пищу: какую-то жидкую вареную бурду. Потом пересчитали и втокнули в вагон.

Состав двинулся дальше.

Мы ехали уже больше суток, а к твердому решению — когда и как бежать — не пришли.

Наконец, один из парней, ехавших с нами, но не знакомых мне раньше, сказал, что скоро должны пойти лесные массивы.

Мы подъезжали к Козятину. Дальше на пути следования лежала Винница, которую мы должны были проехать ночью. Там есть густые леса.

Я не знал этой местности, но верил словам парня, исходя из информации, полученной в школе на уроках географии, что в этих местах действительно есть большой протяженности смешанные лиственные и сосновые леса.

Ночь и лес — самые благоприятные условия к осуществлению нашего замысла.

Парень, который сказал, что должны начаться леса, хорошо знал эти места и брал на себя обязанности проводника. Он даже заверял, что в этих лесах без проводника можно заблудиться, и что в них водится зверье. А грибов и ягод бывает не счесть. Оказывается, дед парня жил на Винничине и вместе с внуком часто ходил на охоту в этих местах.

На дворе была тихая майская ночь. А в нашем телятнике стояла духота и несло зловонием от стоявшей в углу за перегородкой параша. Луна призрачно мерцала на небе. Ее свет сквозь узкие оконца-щели проникал в вагон.

— Ну, хлопці, була не була. Я, мабуть, полізу вгору...

Отчаянный парень взял конец связанного нами из шарфов и тряпок страховочного каната, перекинул еще петлю, как портупею, через плечо и, посаженный Николаем Петриком и Митькой Марченко, ухватился за окошко, подтянулся и высунул наружу тело. Потом, очевидно, зацепился за крышу вагона одной рукой и вытащил ноги.

В это время поезд замедлил ход и слегка накренился в сторону поворота.

— Зараз моя черга. Підсобіть, хлопці, — сказал Коля Петрик и стал готовиться.

Петрик был здоровым, килограммов на восемьдесят, парнем из Марьевки. Подсаживать его пришлось вчетвером. Он высунул в окошко голову, принял от предыдущего парня страховочный канат, накинул на себя и... только стал вытягиваться через люк из вагона, как резким щелчком прозвучал выстрел...

Что-то тяжелое ударило по крыше...

Раздался душераздирающий крик, и Петрик свалился на наши головы в вагон.

— Убили хлопця гади! Убили! — задыхаясь, сквозь слезы повторял Николай.

Поезд продолжал пыхтеть и двигаться с небольшой скоростью дальше.

Из сбивчивого рассказа Петрика мы поняли, что на повороте беглеца заметили из следовавшего за нами вагона с немцами или с тормозной площадки охранники. Николай точно не мог сказать, откуда последовал выстрел, но он видел, как тело товарища с криком пролетело мимо него на насыпь.

Петрик забился в истерике: гибель товарища, только что стоявшего рядом и говорившего с ним, сломила его. Он забился в угол и больше ничего не говорил, замолк.

Провожатого у нас больше не было.

За нашим вагоном будут теперь следить, это точно. Побег откладывался на неизвестное время.

Утром эшелон прибыл на станцию Проскуров. Дверь отворилась. Пассажиров соседних вагонов погнали кушать горячую баланду. А нас выстроили вдоль пути и стали допрашивать, как фамилия беглеца и кто ему помогал.

Ничего не добившись, конвоиры кончили дело тем, что забили окна вагонов досками крест-накрест. Один охранник особенно свирепствовал:

— Ніхто не втече! Усіх переб'ємо!

Эта скотина, боясь за свою шкуру, готова была перестрелять всех и каждого.

На четвертые сутки наш состав остановился на ст. Перемышль — у западной границы нашей Родины. Хотя теперь это была совсем условная черта, но все равно сердце сжималось до боли от мысли, что через несколько минут мы покинем край, где родились, где сделали первые шаги, где научились любить и ненавидеть.

И если я у этой черты еще чувствовал себя человеком и надеялся на свободу, то за ней становился рабом — покорным исполнителем чужой силы и воли.

Нет, этого они от меня не дождутся! Рабом я не буду! Я должен найти выход и остаться человеком!

Нас вывели из вагонов на свежий воздух. Я смотрел на городок, просматривавшийся за вокзалом, вспоминал ребят, которых проводили сюда, на границу, в 1940 году. Где они теперь, мои соученики по школе? Кто из них остался в живых? Как сложилась их нелегкая военная судьба?

В Перемышле русских полицаев сменили польские. Нас накормили снова какой-то баландой, и состав тронулся дальше. Он пересек речушку Сан и поехал уже по польской земле, — чужой, но тоже находящейся под игом фашизма.

Колеса все так же постукивали на стыках рельсов, но это была уже не родная земля, и все вокруг было чужим.

Я, под воздействием этой окружающей среды, почувствовал себя страшно одиноким. Не хотелось ни с кем говорить. Я зарылся в солому и беззвучно рыдал, вздрагивая всем телом. Видно, подвели нервы — не выдержал напряжения. Такое случилось со мной во второй раз за время пребывания в плену...

Но теперь я плакал без слез: рыдала душа от бессилия и безысходности.

Я был угрюм и одинок,

Грозой оторванный листок...

Голова буквально трещала от поисков какого-либо выхода. И ничего путного не находила. Лишь где-то в тайниках души еще теплилась надежда, что, как говорил товарищ Сталин, «порабощенные гитлеровцами народы Европы и немецкий рабочий класс, представляющие собой тыл Вермахта, это вулкан, который вот-вот взорвется и похоронит гитлеровских авантюристов». Думалось, что ждать этого «взрыва» осталось недолго. Нужно было только немного набраться терпения...

К полудню поезд с восточной рабочей силой прибыл на станцию Краков. Нас высадили из вагонов, построили по четыре в ряд и большой разношерстной колонной повели в сторону города.

Краков — типичный западноевропейский город с большими серыми домами, узкими улочками и переулками, куда почти не проникают солнечные лучи. Человек, попавший на такую улицу после наших городов и особенно сел, начинает физически ощущать давление узкого пространства, закованного в кирпич, гранит и бетон.

Я двигался в колонне, оцепленной со всех сторон полициями, время от времени покрикивавшими «шибче, шибче», почти так же, как полгода назад в колонне военнопленных я слышал немецкое — «лос, лос, иммер лос».

Улица настолько узка, что периодически приходилось сдвигаться влево или вправо, прижимаясь к домам и уступая место гужевому или автомобильному транспорту.

Вот под окнами шикарного особняка с колоннами играют на скрипке, аккордеоне и флейте трое бродячих музыкантов.

Перед ними на мостовой лежит перевернутая шляпа, предназначенная для сбора подаяния. Несмотря на старания артистов, она пуста.

Наша колонна огибает трио менестрелей, и в шляпе, и вокруг нее образуется гора продуктов.

Музыканты опешили, прекратили игру и долго, склонив головы, в изумлении провожали взглядом «загадочных русских», которые даже в лихую годину проявили братскую солидарность и милосердие к братьям-славянам.

Нас загнали в большой, похожий на тюремный, двор, образованный одним многоэтажным четырехугольным корпусом из серого кирпича, с аркой и железными воротами со стороны главного фасада.

Во дворе колонну выстроили и разделили пополам: отдельно мужчин, отдельно женщин.

Потом эти две отдельные колонны, как скот на бойню, погнали по коридорам в помещение, служившее парикмахерской, но скорее напоминавшее загон для стрижки овец.

Здесь осматривали головы и стригли волосы мужчинам, у кого они были длинными, а женщинам остригли косы.

После этой процедуры опять по бесконечным коридорам нас погнали в баню. Смятую одежду побросали в контейнеры и отправили на пропарку, дезинфекцию и сушку.

В бане я почувствовал себя весьма дискомфортно. По известным причинам старался придерживаться пожилых (во всяком случае, более старшего возраста) людей и купаться в местах, где было больше пара и тумана, тщательно мылился, особенно мылил свой фаллос.

Рядом со мной (я их не упускал ни на минуту из виду) мылись патронатские хлопцы.

После тщательного купания и пропаривания нужно было пройти медосмотр, где польские и немецкие врачи и банщики, кроме всего прочего, смазывали места, покрытые волосами в паху, специальным квачом, окунутым в какой-то раствор.

Мое положение становилось критическим...

«Кажется, сейчас мышеловка захлопнется», — подумал я и попятился снова в баню, где домывались последние партии прибывших.

Подвергаться врачебному осмотру не входило в мои планы...

Я снова вышел в переднюю и, после некоторого стояния в очереди, двигавшейся по направлению к комиссии, состоящей из банщиков и врачей, незаметно перешел в очередь, двигавшуюся после медосмотра к выходу, в зал для одевания. Тут нас ждала пропаренная, прошедшая дезинфекцию одежда. Я поторопился поскорее разыскать свое барахло и переодеться.

По одному нас выпроводили снова на мрачный двор. Там стояло несколько грузовых машин, на которые рабочие-поляки тольфором укладывали упакованные в тюки человеческие волосы. Таких тюков было много, и у меня создалось впечатление, что в них содержались волосы не только нашей партии людей.

Во дворе я с трудом узнал среди стриженных, прижимавшихся друг к другу девушек опухшую от слез и сразу подурневшую Машу Симаченко. На ее страдания больно было смотреть. Машу было жаль. Жаль ее толстую косу, которая служила единственным украшением и символом девичьего целомудрия на Машенькиной, ранее беспечной, головушке. Я попытался успокоить девушку и объяснить, как мог, что со временем косы отрастут и будут еще гуще и лучше; что из-за кос не стоит так убиваться, а наоборот, теперь меньше будут приставать мужики; что если уж лить слезы, то из-за того, что у нас всех «отрезали» родину и свободу.

После этих слов Маша положила мне на плечо свою коротко остриженную, повязанную косышкой голову, и зарыдала еще сильнее. Потом замолкла, продолжая тихо всхлипывать.

Я сочувствовал и жалел девушку, но не мог скрыть душевного ликования после только что минувшей опасности.

В том же дворе прибывших накормили каким-то варевом, разбили на десятки и развели по комнатам, напоминавшим тюремные камеры. Толстые стены комнат были сырыми, а окна маленькими и зарешеченными, как амбразуры. В каждой комнате стояло по десять кроватей и тумбочек.

Уставший от смены безрадостных впечатлений и бесконечных переживаний, я, едва успев прилечь на влажную от сырости постель, забылся тяжелым сном...

Я провалился в какую-то влажную, состоящую из длинных, распущенных и сплетенных в сети волос темноту и долго так не то падал, не то летел вниз, пока перед взором моим не появился огонек... Затем движение моего тела стало замедляться и, наконец, совсем прекратилось...

Я оказался на тротуаре около кинотеатра КИМ в Запорожье, который тотчас узнал по светящейся вывеске у входа. Реклама оповещала, что сегодня демонстрируется фильм «Пышка», и что дети до 16-ти лет на него не допускаются. Вокруг никого не было. Вдруг из темноты веселой гурьбой ко мне подошли ребята и девчонки из нашего 7-А класса и потащили в вестибюль кинотеатра.

Борька Литинский взял билеты на всех, раздал, и мы двинулись к входу. Однако не тут-то было: бдительные билетерши пропустили более рослых ребят и девушек, а меня и Иру Цеханскую задержали... стали раздевать и осматривать... дезинфицировать...

А наши счастливые сверстники вошли в зал, боясь оглянуться, чтобы их тоже не выставили. В результате я и Ира остались стоять в вестибюле. Дело было зимой. Нам стало холодно. Мы топтались в валенках, не зная, что предпринять, а потом меня осенила неплохая идея...

Став в валенках на цыпочки, дождавшись, когда прозвенит звонок и публика хлынет сплошным потоком, мы затесались между взрослыми и в общей массе проникли в кинотеатр.

Я с удовольствием смотрел кинофильм «Пышка». Потом оказалось, что идет «Большой вальс», и мы не в зимнем, а в нашем летнем «кинотеатре на крыше» у Раввичей...

На дворе не зима, а лето, и я не в валенках, а в прорезинках и легкой одежде... В самый разгар просмотра на меня и моих товарищей, в который уже раз, обрушивается поток воды из шланга. Его направляет рьяный почитатель порядка... в полицейской форме, — один из занудных соседей Исайки.

...Я вскочил на ноги, чтобы прыгнуть с крыши, слетел с кровати и... проснулся.

Со сна долго не мог понять, где нахожусь... Огляделся. Стены комнаты влажные. С потолка капает вода, по полу ползают мокрицы, простыня, да и вся постель, сырые, хоть выкручивай.

Я, было, подумал, что это продолжение сновидения. Но оно быстро улетучилось. Так вот почему мой сон прервался водяным потоком!..

К счастью, с восходом солнца нас вывели во двор на перекличку и завтрак, во время которого мы окончательно просохли.

Вскоре приехали представители фирм-покупателей живого товара, рабочей силы — «рабовладельцы»...

Постепенно громадный двор начал пустеть.

Меня, Митьку Марченко, Степу Цыганка, Васю Миронова, марьевского Колю Петрика и еще большую группу «прибывших», всего около двухсот человек, «купил» маленький плюгавенький немец — герр Эккерт. Этот господин прибыл на аукцион не один, а в сопровождении нескольких полицейцев.

Отобранных таким образом рабов строем повели на вокзал, усадили в пассажирские вагоны и под охраной полиции повезли через Чехословакию в Германию.

За окнами менялся пейзаж и окружающая обстановка. Там не было привычных, милых сердцу с детства хат-мазанок и просторных полей от горизонта до горизонта. Вместо этого мелькали каменные дома под железной крышей, а за ними разгороженные между собой межами небольшие клочки земли. Изредка встречались остроконечные, в готическом стиле, кирхи. Даже на лугах паслись не «наши» родные буренки, а чужие, белой масти с черными пятнами или, наоборот, дородные немецкие коровы с увесистым выменем.

В городе Дрездене мы пересели на другой поезд и на шестые или седьмые сутки после начала пути прибыли в конечный пункт назначения — город Хемнитц (Карлмаркштадт).

## **2. Хемнитц, Айзенбанверке**

Города Хемнитца я, собственно, не увидел. Он угадывался где-то за заводскими корпусами и многочисленными нитями рельсов. Железнодорожная ветка, на которую загнали наш состав, находилась на территории крупного паровозостроительного, или, как его именовали, железнодорожного завода — Айзенбанверке.

Выгрузились...

Нас построили, пересчитали, повели по асфальтированной дороге, примерно с километр. Затем колонна свернула влево, поднялась на три ступеньки вверх, пересекла железнодорожные пути и опустилась на семь ступенек вниз — в котлован громадной площади.

Перед глазами невольников предстала большая ровно спланированная площадь, со всех сторон огороженная в два ряда колючей проволокой. По углам стояли вышки с прожекторами и охраной, чтобы виден был каждый человек, движущийся на этой территории.

Все это точь-в-точь напоминало мне Николаевский лагерь для военнопленных.

Внутри лагеря стояли пять или шесть деревянных бараков, кухня, туалет, канцелярия с пристроенными к ней четырьмя карцерами и экзекуционной, и пара бараков для рабочих. В них жили прибывшие ранее, месяца два-три назад, люди из г. Мелитополя и его окрестностей.

Едва мы появились, как «мелитопольцы» окружили нас плотным кольцом, предлагая всякую всячину в обмен на хлеб, сало и прочие продукты питания. Глаза их горели знакомым мне нездоровым блеском голодных людей, которых не интересовало ничего, кроме еды.

У меня сразу мелькнула мысль: нет ли среди этих несчастных нашего Семена Копны? Его же примерно в те же сроки должны были направить в Германию «на учебу»... Вот так-так! Поделится своими соображениями с патронатскими. Они тщательно проверили бараки, но Семена в лагере не нашли. «Наверное, тогда не поехал, а сбежал», — констатировал я с облегчением.

Когда вновь прибывших построили возле кухни и наполнили их посуду баландой, в которой было до 99% воды, 1% брюквы, ни одной картофелины и ни следа жира, они отказались от еды. Администрацию это ничуть не смутило, а для «старожилов» отказ «новеньких» от еды стал праздником. Они выпивали порцию за порцией, бегая от одного вновь прибывшего к другому, отталкивая соперников и заглатывая без пережевывания пищу, заботясь лишь об одном: побольше и поскорее наполнить свои истощенные длительным голоданием желудки.

«Новички», с презрением поглядывая на «мелитопольских шакалов» (ходили слухи, что они приехали в Германию добровольно), доедали запасы, привезенные из дома. Я, например, хотя и понимал, как голод преобразует человека, но тоже не делился привезенным со «старожилами», а, энергично жуя хлеб с луком и салом, с благодарностью вспоминал Катерину Принь, которая притащила нам, детдомовцам, перед отправкой провизию и плакала, провожая в дальний путь, как родная мать.

Кое-кто из новичков, отдавая свою порцию баланды «мелитопольцам», пока острил и смеялся над выданной нам «витаминозной» пищей, даже не предполагая, что пройдет еще немного времени, кончатся запасы, прихваченные с собой из дома, организм из-за систематического недоедания истощится, начнет пожирать сам себя, и у них, сегодняшних «героев», тоже появится блуждающий взгляд голодного волка, ищущего вокруг что-нибудь, чем можно было бы наполнить желудок. Только на это будут постоянно устремлены их взоры и помыслы. Но это потом...

А пока в лагерь прибыло несколько грузовых машин. Нас разбили на бригады. Той, в которую попал я, выдали сплетенные из бумажных полосок чехлы под подушки и матрацы, и всех повезли на завод в склад столярного цеха. Несколько бригад занялись погрузкой на машины деталей щитовых барачных корпусов. Наша бригада грузила разобранные двухэтажные нары и набивала подушки и матрацы древесной стружкой.

По прошествии непродолжительного времени бараки были собраны, нары установлены и застелены. Жилье для вновь прибывших было готово к заселению.

Я и сейчас, побывав на множестве наших строительных площадок и привыкший ко всегдашнему беспорядку, который там царит, не перестаю удивляться и восторгаться, с какой продуманностью и порядком все делалось у немцев.

Они ждали прибытия рабочих. И вот, буквально на глазах, за три-четыре часа на почти пустой площади вырос небольшой городок барачного типа. Из деревянных заготовок была выстроена даже небольшая баня, в которой могли одновременно стирать белье и купаться не менее тридцати человек.

В этой скоростной стройке чувствовался немецкий педантизм и аккуратность, благодаря которым предусматривалось все до мелочей: элементы барачных корпусов точно подходили друг к другу без дополнительных усилий на подгонку по месту; каждый болт, шайба, гайка, отверстие для чего-то предназначались и строго подходили по размерам; не было ни лишних, ни недостающих деталей. Такой идеальный порядок и индустриальный метод строительства меня даже несколько шокировал.

Вечером, перед обедом и сном, нас пересчитали, присвоили каждому номер (мой — 8328), распределили по барачным корпусам, состоявшим из двух больших комнат для сорока человек, назначили старост на каждую комнату.

Всей этой церемонией командовал лагерфюрер (начальник лагеря) Шнеллер.

Шнеллер был отвратительным человеком — типичным гитлеровским садистом. Он никогда не появлялся на территории лагеря без овчарки. Ему доставляло удовольствие пугать собакой людей. Она была к этому приучена. И ее хозяин любил травить отстающих в колонне или науськивать собаку на кого-то из не понравившихся этому варвару голодных рабочих. Если человек при этой мерзкой процедуре пугался и беспомощно отбивался от наседавшей, рвущей одежду овчарки, Шнеллер хватался за бока и, брызжа слюной, издавал нечленораздельные вопли, обозначавшие радостный смех. Это означало, что он хохочет от наслаждения, что у него хорошее настроение.

Шнеллера окружала ничуть не лучшая компания полицейских: высокий, высушенный, как вобла, Франц, безжалостный палач по натуре и профессии; маленький, с лисьей мордочкой,

всегда все вынюхивающий Пауль, и среднего роста, тучный, с маленькими глазками, тюремный фельдшер или, как его величали, арцт Гуго.

Были еще полицей и прочая лагерная шваль из немцев, но они несли свою службу, как заведенный механизм, или, точнее, как роботы, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь лагеря и радуясь, что они служат дома, а не на фронте.

Четверка же этих ретивых подонков, возглавляемая Шнеллером, вечно искала приключений и издевалась над людьми под любыми предлогами, как хотела, чувствуя свою безнаказанность.

Казалось, они не спали ночами, изобретая свои садистские выкрутасы, чтобы потом, днем, испробовать их на нас — своих жертвах, стараясь в выдумках превзойти один другого.

Через день после прибытия, рано утром нас подняли по сигналу, построили, пересчитали и повели на завод.

Семь ступенек вверх, три вниз — и мы на асфальтированной дороге, ведущей к заводским корпусам.

Я попал в котельный цех, слесарное отделение. Здесь работали три пожилых немца-жестяника, занимавшиеся облицовкой паровозов.

Немец, к которому меня прикрепили, по фамилии Шульц, оказался сварливым, вздорным старикашкой. Маленький, стриженный под бокс, со всегда торчащим хохолком, он напоминал бойцовского петушка. Шульц не знал и не употреблял другого обращения ко мне, да и ко всем остальным иностранным рабочим, как только «Гунд» — «собака» или «Швайн» — «свинья».

Моя работа заключалась в том, что я должен был вырезать заготовки из жести, размеченные Шульцем, носить вслед за ним ящик со слесарным инструментом, выкройки и шаблоны по всем цехам и пролетам, где стояли паровозы, требующие ремонта. Кроме того, вместе с Шульцем мне приходилось подгонять и устанавливать на них облицовку из жести или тонкого листа.

Работа эта сама по себе не была тяжелой, а наоборот, даже сравнительно легкой и интересной, связанной со знанием геометрии и черчения. Но, во-первых, Шульц мне не доверял, и я его терпеть не мог, во-вторых, сознание того, что эти паровозы повезут на восток снаряды, пушки, танки и солдат Вермахта, заставляло меня трудиться кое-как, а где только можно — попросту филонить.

Шульц не переставая кичился своим сыном, который воевал где-то на Украине, а также зятем, находившимся в Африке.

Получая посылки от сына, этот тип не находил ничего лучшего, как вертеть перед моим носом кусок сала и бахвалиться:

— Шау ду, хунд, вас гат майн зон фон дайне Украине гешикт... (смотри, собака, что мой сын прислал с твоей Украины).

Надо сказать, что через два-три дня пребывания в лагере мои «домашние» запасы закончились, и я начал есть то, что давали на кухне. Сначала неохотно, а потом с жадностью, какая появляется рано или поздно у всех голодных людей.

Это не удивительно, так как утром мы получали на завтрак 150-граммовую пайку черного хлеба, выпеченного из бурака, костяной муки и опилок, с 20-ю граммами маргарина, и кипятка, заваренный на мяте; на обед — один черпак горячей баланды из шпината, крапивы, брюквы или кольраби без картошки, жиров и хлеба; на ужин — то же, что и на обед, только по  $\frac{3}{4}$  черпака.

От такой «обильной» пищи силы мои убывали с каждым днем. Не успев еще как следует окрепнуть после недавно перенесенного голода в плену, я снова возвратился к состоянию дистрофии, из которого вышел всего полгода назад.

Поэтому вполне естественно, что меня, измученного и голодного, выходки старого придурка-мастера доводили до бешенства. Эти его штучки с хвастливыми речами относительно «подвигов» сына и зятя раздражали не только меня, но даже некоторых немцев, работавших рядом, за соседними верстаками.

Я долго думал над тем, как бы досадить Шульцу, и, наконец, нашел способ.

В наших густонаселенных лагерных бараках вскоре завелись клопы. Размножались эти насекомые быстро, и стало их в лагере неисчислимое множество. Кроме того, что из нас пило кровь наше лагерное начальство и заводские вроде зловредного Шульца, так остатки ее выпивали эти прожорливые паразиты.

Не мудрствуя лукаво, я наловил клопов, посадил их в спичечную коробочку, принес на завод, выбрал минуту, когда мастер отошел, и выпустил кровососущих насекомых своему немцу в шкафчик, где висели его домашняя одежда, полотенце и мыло.

Конечно же, я рисковал, но терпение мое переполнилось, и я уже не мог смотреть на своего Шульца беспристрастно и осуществил свою затею, с вожделием ожидая развязки.

На следующее утро мой мучитель напал на Пауля — своего соседа по шкафу и работе. Похожий на петушка, он, как бойцовский петушок, подскакивал и налетал на высокого, седого, степенного, молчаливого Пауля с воплями и обвинениями, что тот завел на заводе клоповник. Молчун, в конце концов, не выдержал и, глядя поверх очков, с пафосом и презрением заявил разбушевавшемуся Шульцу:

— Ду бист зельбст Ванце! Дайне Райе ист Швайнегер!<sup>1</sup>

Несколько месяцев я пребывал в распоряжении Шульца. Потом старший мастер цеха перевел меня работать к газосварщику Зигфриду.

Этот пожилой рабочий, бывший солдат армии кайзера Вильгельма, хорошо помнил Октябрьскую революцию, брался с русскими солдатами в окопах, немного знал русский язык, и между нами с первого дня установились нормальные отношения.

Зигфрид с недоверием относился к гитлеровскому режиму, но скрывал это глубоко в душе. Доверительные беседы со мной на политические темы он вел обычно по ночам, во второй смене, когда был уверен, что нас никто не может подслушать.

Работал Айзенбанверке в две смены, по двенадцать часов каждая. С Шульцем я работал только в первой смене, а с Зигфридом то в первой, то во второй — по графику. Наша работа заключалась в ремонте котлов паровозов и цистерн, выправлении вмятин и замене поврежденных участков. Зачастую эту работу приходилось выполнять одновременно с бригадой клепальщиков.

Так как мы трудились в одной и той же смене, на одном котле или рядом, то вскоре между бригадами сварщиков и клепальщиков завязались хорошие отношения.

Особенно по-приятельски ко мне относились француз Луи Журден и чех Алоиз Полак из бригады клепальщиков. Мы трое в этих бригадах были иностранцами, которых судьба здесь, в Германии, соединила на Айзенбанверке.

Судьба-то соединила, но все же разница в условиях жизни между нами была огромная: Журден был военнопленный, получал помощь через Международный Красный Крест и не голодал; Полак попал в Германию по вербовке, получал зарплату, хлебные карточки и посылки из дома, да и готовили им прилично; а я получал кусок эрзац-хлеба, баланду два раза в день и неучтенное количество подзатыльников от лагерных церберов (когда только они успевали?)

Вообще русские военнопленные и Остарбайтер (восточные рабочие) здесь жили хуже всех, и отношение к русским, белорусам, украинцам и полякам было отвратительное.

Нацисты нас всех считали низшей расой, и потому держали всех в одном лагере за колючей проволокой под дулами автоматов.

Чехи ходили без знаков отличия и охраны, как вольнонаемные. Французы — в своей военной форме с красным треугольником на спине. А мы — с пришитым на груди квадратом белой материи с голубой окантовкой, в середине которой были напечатаны большие буквы «Ост», что означало Остарбайтер — восточный рабочий.

...С Зигфридом мне было очень тяжело работать физически, но зато морально я отдыхал на заводе от всех лагерных неурядиц, преследований и козней Шнеллера и его компании.

Я любил ночные смены, когда после трех часов ночи все начинали бродить, а вернее, ползать, как сонные мухи, по цеху.

В такие часы бдительность надзирателей притуплялась. Зигфрид заводил меня куда-нибудь подальше от посторонних глаз, прятал в котел или цистерну, предварительно подогрев ее горелкой, давал бутерброд и укладывал спать. К пяти часам он приходил меня будить, чтобы я успел привести себя в порядок и не опоздал на утреннюю поверку.

Но еще интереснее проходили ночные смены, когда котел или цистерну удавалось оккупировать втроем: мне, Луи Журдену и Алоису Полаку. Мы затаскивали в нашу конспиративную «квартиру» переноску и там на ломаном немецко-французско-чешско-русском языке вели нескончаемые беседы о международном положении. Луи при этом рисовал мелком на внутренней стенке котла карту и отмечал линию Восточного фронта. Алоис дополнял, а я был в таких случаях лишь внимательным и благодарным слушателем, так как это для меня был единственный доступный источник правдивой информации. Но когда речь заходила о Советском Союзе, о нашем строе, о жизни у нас, — я становился лектором, а Луи и Алоис — слушателями.

О новостях, услышанных ночью в котле, я рассказывал своим патронатам и кое-кому из ребят, которым мог доверять, но имен француза и чеха не упоминал из предосторожности.

<sup>1</sup> Ты сам клоп! Твое хозяйство и есть свинушник!



Вообще, на заводе, да и в лагере, тоже царила атмосфера взаимного недоверия, подозрительности и слежки. Особенно среди немцев. Манией доноительства была окутана вся Германия. Немцы боялись друг друга больше, чем иностранных рабочих. Например, Зигфрид только со мной мог поговорить по душам, и только тогда, когда был уверен, что вокруг за полсотни метров нет никого из немцев.

Систематическое недоедание и тяжелая работа сделали свое дело. Я, как и все мои соотечественники, товарищи по лагерю и работе, превратился скоро в ходячий скелет.

В лагере исключение составляли только повара: Жорка Хрусталеv, Федька «Рязань» и Костя «Боецман», да переводчик Павка Колесников, которые пожирали на кухне все более или менее съедобное, пронесли его мимо котла, предназначенного рабочим, и бросая в свои утробы. Эти паразиты не убавили, а, наоборот, прибавили в весе, и относились к нам, своим землякам, еще хуже, чем иные лагерные церберы.

После работы мы теньями бродили по лагерю в оборванной одежде, обутые в тяжелые, сделанные из пропитанной каким-то раствором плетеной бумажной материи, ботинки на толстой деревянной подошве.

Теперь, двигаясь строем на работу, преодолевать семь ступенек вверх, три вниз и наоборот ежедневно, по четыре раза в день, становилось все трудней и трудней. Часто ноги, обутые в такие ботинки, после рабочей смены на ступеньки приходилось поднимать поочередно руками: правую-левую, правую-левую... При этом перед глазами ходили какие-то расплывчатые круги...

Короче, мы все стали дистрофиками разных степеней.

В лагере появились смертные случаи от недоедания. Страшная старуха с косой в руках пошла косить всех подряд, не спрашивая ни возраста, ни роду, ни племени...

Однажды в описываемое время, когда я работал с Зигфридом в ночную смену, в цех загнули изрядно помятую железнодорожную цистерну. Видно, ей крепко досталось, и не только ей, а всему эшелону, от партизан или на подходе к линии фронта. И вообще, все, что на завод приходило для ремонта, имело на себе отметины войны. Это радовало: значит, все-таки партизаны действуют, значит, и немцам достается от наших!

В наряде поданной в цех цистерны значились правка и клепка.

Зигфрид взял большую горелку, положил ее, шланги и кислородный баллон на одну тележку, а на другую — кувалду, винтовой домкрат, ломик и большой деревянный брус. Все это имущество на двух тележках мы повезли к цистерне.

Около нее уже хлопотала бригада клепальщиков, в которой были Луи Журден и Алоис Полак.

Работа у них шла в темпе: один нагревал электроконтактным способом заклепки, другой вставлял их клещами в отверстия, третий изнутри поддерживая оправку, Луи — клепал, а Алоис вслед за ним чеканил заклепки.

Нам предстояло на этой же цистерне разогревать и вправлять вмятины.

По небольшой стремянке я влез через люк вовнутрь цистерны, где уже работал француз. Зигфрид подал мне поочередно: брус, домкрат, лом. Потом постучал по тому месту, которое собирались разогревать, и куда я должен был упереть домкрат с брусом.

Все свои приспособления я кое-как установил, хотя и с большим трудом, а Зигфрид начал разогревать докрасна поврежденное место. Цистерна наполнилась смрадом.

При тусклом свете 12-вольтовой переноски я, как в тумане, едва различал копошившегося в противоположном конце француза.

По всей вероятности, в этой цистерне перевозили нефтепродукты и в спешке перед ремонтом плохо ее промыли. По мере нагревания помятого места количество газа увеличивалось. Я задыхался...

Кроме того, пулеметная дробь клепального молота снаружи, помноженная на эхо внутри цистерны, доводила до умопомрачения...

Мои силы были на исходе...

Я пытался что-то сделать и не мог. От жары, угара и грохота мои попытки раскрутить ломиком тяжелый домкрат дважды срывались; я терял сознание, падал вместе с ломиком, поднимался и снова падал... так я уже в третий раз упал и не смог подняться. Сколько пролежал — не знаю. Заметил меня француз, что работал с клепальщиками, и передал о случившемся наверх...

Луи, Алоис и Зигфрид вынесли меня наружу и уложили на брезентовой подстилке на свежем воздухе. Там я пришел в себя.

Как бы хорошо Зигфрид ко мне ни относился, но мы оба поняли: после этого случая мы работать вместе не сможем, так как эта работа не под силу мне — дистрофику.

Я очень боялся попасть в лагерный лазарет, где работал врачом худощавый мрачный грузин Вахтанг, а фельдшером — немец Гуго, член свиты лагерфюрера Шнеллера.

О Вахтанге по лагерю ходили разного рода дурные слухи. Все они сводились к тому, что этот врач-садист проводит над своими пациентами какие-то опыты. Попавшие в лазарет люди сами не выходили: их обычно по ночам выносили накрытыми рогожей, укладывали в фургон и увозили в неизвестном направлении. Основная болезнь была — дистрофия. Опухших, больных, не способных самостоятельно передвигаться людей подстерегал мрачный барак, именуемый Кранкенхаус (больница) — последнее пристанище несчастных Остарбайтер.

Когда я окончательно уяснил себе, что долго у Зигфрида не протяну, и что в дальнейшем меня ждет прямой путь в лапы к Вахтангу и Гуго, то рассказал своему шефу о наших вышеописанных порядках в лагере.

Тогда Зигфрид решил спасти меня и попробовать перевести на более легкую работу у того же мастера.

### 3. Эхо Сталинграда

В конце января мой добрый шеф Зигфрид повел меня в трубное отделение котельного цеха, где старые, вынутые из котлов трубы очищали от накипи и нагара, выпрямляли и развальцовывали. Непригодные участки труб отрезали и приваривали новые.

Затем отремонтированные таким образом трубы подвергали испытанию водой под давлением.

В отделении постоянно стоял грохот от непрерывного катания труб по валкам. Но работа эта, особенно на участке труб диаметром до пятидесяти миллиметров, была гораздо легче, чем моя предыдущая у Зигфрида. Я согласился здесь работать, и Зигфрид, не знаю уж каким способом, но договорился о моем переводе на этот участок со старшим мастером.

Так я стал работать на участке жаровых труб диаметром до пятидесяти миллиметров, в паре с французом Жоржем Роденом, прекрасным, веселым малым — сварщиком по профессии и художником-карикатуристом по призванию.

Вместе с Роденом мы закладывали вынутые из котлов трубы в барабанную мельницу для очистки от накипи и нагара, кроме того, подвергали их продувке и пескоструйной обработке. Потом я вырезал на дисковых электроножницах поврежденные участки и развальцовывал концы труб, а Жорж сваривал трубы автогеном на нужную длину и испытывал их под давлением.

Совместная работа сдружила нас. Но особенно наша дружба окрепла, когда я узнал, что Жорж в хороших отношениях с Луи Журденом, и когда в феврале 1943 года по всей Германии вывесили траурные флаги.

Тогда, в этот памятный день, в первых числах февраля, рано утром Жорж, едва я появился на заводе, схватил меня за руку и потащил в туалет. Там было несколько высоких запирающихся черных кабин. Обычно Жорж от нечего делать, ради любви к искусству и развлечения, рисовал на стенках этих кабин мелком карикатуры на различные жизненные ситуации в стиле Херлуфа Бидструпа. Особенно здорово у него получались любовные, эротические сцены. И вообще секс был главной темой его художественных произведений.

После ночной смены Жорж оставлял во всех кабинках такую картинную галерею, которая доставляла удовольствие и развлечение всем без исключения ценителям искусства всех национальностей: французам, голландцам, чехам, русским, западникам, полякам и другим рабочим.

Немцы, мастера первой смены, даже ворчали по этому поводу, мол, иностранные рабочие, приходя на работу, первым делом бегут в туалет. Но когда сами поглядели на рисунки Жоржа, махнули на все рукой и стали ходить в наш туалет вместе с остальными рабочими, несмотря на то, что имели свой отдельный «Аборт нур фюр Дейтшен» (уборная только для немцев).

Когда Жорж работал во второй смене, то работа в первой начиналась после осмотра его картинной галереи. Это стало ежедневным утренним ритуалом, который был узаконен с молчаливого согласия администрации. Думаю, что немцы неспроста смирились с такой растратой рабочего времени. Невинные рисунки Родена вызывали хорошее настроение и улыбки на лицах рабочих, отвлекали их от тяжелых дум о рабстве, доме и сопротивлении. Даже у нас, доходяг, эротические рисунки французского рабочего вызывали положительные эмоции.

Нацисты не догадывались, что этот француз умеет также мастерски рисовать и другие картины, на политические темы...

...Так вот, тогда, в первых числах февраля 1943 года, Жорж завел меня в кабину туалета и начал молча орудовать мелом.

Он в рисунках объяснил мне, как «доблестные вояки» фюрера были окружены и разгромлены под Сталинградом и как Гитлер, в связи с этим, наделал в штаны и вывесил траурные флаги по всей Германии.

Нокдауны, полученные немцами сначала под Москвой, а потом под Сталинградом, несколько отрезвили их головы, развеяли миф о непобедимости фашистского Вермахта.

Один хромо́й старик-немец из котельного цеха, работавший в бригаде подготовки и обеспечения, имел привычку, впрочем, как и многие из нацистов, хвалиться перед каждым русским рабочим своими сыновьями, воевавшими на русском фронте. Он старался по возможности красочнее описать их храбрость, бесстрашие, доблесть и преданность фюреру. Уверял, что очень скоро «Великая Германия» победит Советский Союз, что немцам дадут на Украине земли, и что он вместе с сыновьями будет там жить и командовать нами, как Гроссбауэр (помещик) батраками. Так сказал сам фюрер.

После битвы под Москвой, где сложил голову один сын, этот немец несколько поубавил свой пыл, а после Сталинграда, где в котел попали остальные два сына, хвастливый старик прищандыбал на завод во вторую смену чернее тучи. Угрюмый и на этот раз неразговорчивый, он подал нам с Жоржем в отделение партию вынутых из котла жаровых труб и молча заковылял в свой угол...

— Зайст ду, Марко! Дизер Альтер Путер гойте швайген зих, — сказал мне Жорж. Действительно, «старый индюк сегодня притих».

Старик долго сидел в углу, уперев руки в подбородок. Потом, видно, нервы его подвели — не выдержали: среди ночи, во время пятнадцатиминутного перерыва, он стал в воинственной позе перед вывешенными в механическом отделении цеха портретами Розенберга и Лея и начал их крыть со слезами на глазах на чем свет стоит, всеми отборными немецкими ругательствами, какие знал, завершив эту витиеватую тираду простым русским матом, которому научился у нас.

Наблюдая эту картину, Жорж, Луи, Алоис, я и другие иностранные рабочие испытывали истинное удовлетворение. Слава Богу, что даже до чванливого, одурманенного немца дошло, наконец, что «Дойчланд юбер Аллес» — это мыльный пузырь, раздутый до огромных размеров Гитлером, Геббельсом и их нацистскими приспешниками.

Россию, тем более народы Мира фашистам — не покорить!

После Сталинграда отношение немцев к Остарбайтер заметно изменилось. Когда бешеного пса ударишь хлыстом по морде, он приседает на задние лапы и поджигает хвост. Так и в данном случае — начали уважать силу. На заводе на русских рабочих стали смотреть так же, как и на всех остальных обычных людей, перестали их обзывать «Гунд», «Швайн», «Шайзе» и т.д.

Но отношения претерпели изменения пока только на заводе, но не в лагере. На заводе нас все-таки окружали простые рабочие, такие же, как мы, только разве что немцы. Многие из них сочувствовали нам и до того, некоторых отрезвила Сталинградская битва, а кое-кого, наоборот, ожесточила и озлобила, но таких ярких нацистов оставалось немного.

А в лагере все руководство, начиная со Шнеллера и кончая фельдшером Гуго, было, в основном, ставленниками фашистской жандармерии — Гестапо.

Дрожа за свои шкуры, они выслуживались, как могли, чтобы их деяния ценили в Гестапо и не отправили на Восточный фронт за ненадобностью. Эти изверги как огня боялись фронта, и после Сталинграда начали свирепствовать еще изощреннее. Видно, они верили фюреру, что все скоро переменится в лучшую сторону.

...Был у нас в лагере один парень из мелитопольцев. Из-за косого разреза, в общем-то, больших красивых глаз его прозвали Ванька-китаец. То ли его по-настоящему звали Иваном, то ли у него было другое имя, а это кличка — не знаю, но он охотно на нее отзывался.

Вечно голодный, впрочем, не более и не менее, чем все остальные, Ванька-китаец часами крутился около кухни в ожидании дополнительной порции баланды. Подбирал отбросы, которые выбрасывали повара на помойку. Я не работал с ним в одном цехе, поэтому не видел, но ребята с горечью и возмущением рассказывали, что Ванька-китаец имел привычку стоять около обедавших или завтракавших немцев, чехов, французов, вытаращив свои раскосые глаза, пока кто-то не сжалится и не даст ему подаюния.

Так как завод кишмя кишел всякого рода соглядатаями, Ваньке-китайцу по их доносу часто влетало за этот «гипноз» и другие дела, связанные с добычей пищи. Его в лагере, как правило, наказывали собственноручно Шнеллер, Франц и еще некоторые полицаи. Иногда ему, бедолаге, приходилось проводить ночи в одиночном карцере, стоя навтыжку, иначе не поместишься. Часто его пороли. Для порки провинившихся лучший специалист этого дела

Франц приготавливал и вывешивал около экзекуционной на солнышке, для вытяжки и просушки, толстые бычьи жилы.

Порки такого рода для Ваньки-китайца стали обычным делом. Истерзанный до крови, он отлеживался пару дней в бараке, после чего шел на работу. Потом голод брал свое... и все повторялось сначала.

«ЧП», о котором я хочу рассказать, произошло после трехдневного траура по окруженным и разгромленным под Сталинградом немцам.

За час до обычного подъема, рано утром, нас разбудили, выгнали на утреннее построение и перекличку. Потом цепочкой по одному, затылок в затылок, повели в сопровождении полицаев вокруг кухни и продовольственного склада демонстрировать злодеяние лагерных палачей.

Около склада, скорчившись в луже крови, с простреленной головой лежал Ванька-китаец...

Под мышкой у него была зажата буханка хлеба, а из кармана торчала еще одна пайка.

Шнеллер, держа на привязи одной рукой овчарку, другой деятельно жестикулировал, пуская слюну, и объяснял через переводчика, что Ванька-китаец сломал решетку в окне склада и утащил хлеб у своих же comrades; что Франц застал его на месте преступления и вынужден был убить, так как Ванька пытался сбежать.

Шнеллер показал на подпиленные толстые прутья решетки в высоко расположенном узком окошке, к которому даже нормальному человеку, а не дистрофику, каким был Ванька-китаец, трудно дотянуться. А ведь нужно было еще подпилить прутья ножовкой и отогнуть их. Для выполнения такой сложной работы необходимо было иметь лестницу, ножовку и силы. Ничего подобного у Ваньки-китайца не было. Но Шнеллер решил, что мы, русские, глупы, тупы и его объяснение примем за чистую монету...

Ребята, жившие с Ванькой-китайцем в одном бараке и комнате, рассказывали, что его разбудили среди ночи и увели. Таким образом, вся эта история с воровством была заранее обдуманной и подготовленным фарсом. Только зачем тупому Шнеллеру и его компании надо было так глупо оправдывать себя перед нами и обставлять это явное убийство насквозь фальшивой сценой воровства? Неужели эти изверги думали, что мы в них увидим справедливых судей?

Убийство Ваньки-китайца положило начало террору... За ним последовали жестокие убийства. Жертвами их стали один поляк по кличке «Доктор» и один русский, пожилой, толковый мужик по прозвищу «Горный инженер». «Доктор» тоже шакалил, часто сидел в карцере, был бит неоднократно, да и вел себя так же, как Ванька-китаец. В этом их судьбы сошлись до конца... А вот истинные мотивы убийства «Горного инженера», тихого порядочного человека, остались для нас загадкой.

...Примерно десять-двенадцать человек из наших лагерных ребят работали грузчиками на товарной станции, которая, как я уже писал, примыкала своими путями и пакгаузами непосредственно к заводу.

Грузчики были привилегированной кастой. Попасть в бригаду грузчиков было почти невозможно. Для меня дорога туда вообще была заказана, так как я старался никогда ни в чем не вызывать зависти. А грузчикам завидовали многие, потому что те питались лучше заводских рабочих, обедая на кухне товарной станции. Но несмотря на это, грузчики тоже были всегда голодными. Меньше, чем мы, заводские, но все равно ходили с затянутыми поясами.

На товарной станции приходилось грузить не только промышленные материалы, но попадались и продуктовые вагоны с овощами, крупами, зерном и посылками.

В одну из апрельских ночей двое ребят из бригады грузчиков подкрались к такому продуктовому вагону под носом у охраны, сбили пломбу и набрали в мешки картошку.

Похитители поднесли наполненные мешки к проволочному ограждению, отделявшему лагерь от заводской территории, и только успели проделать лаз, как их обнаружили и поймали полицейские из железнодорожной охраны. Задержанных тут же без промедления отправили в Гестапо.

Этих несчастных через пару месяцев повесили в котловане на территории лагеря...

Повешение это было разыграно тоже как спектакль, по заранее, с немецкой педантичностью, тщательно разработанному сценарию. Находившихся в первой смене людей в обеденный перерыв, как обычно, пересчитали и повели к лагерю. И тут, перед изумленным растерянным взором идущих рабочих предстала грозная картина: по обе стороны асфальтированной дороги до самого лагеря и по периметру котлована, через каждые десять шагов, расставив ноги на ширину плеч, в черных касках с шишками, с бляхами и автоматами на груди, в мышиного цвета мундирах, как пугала, стояли гестаповцы.

О случае, который произошел полтора или два месяца назад с картошкой на железной дороге, я уже успел забыть. Но, зная о коварстве гестаповцев, я шел к лагерю и по дороге мысленно прокручивал свои ночные беседы с Луи, Жоржем, Алоисом, проверяя, не допустил ли я где-то оплошность. Кроме того, я бывал наравне со всеми в местах, где бывают все нормальные люди: в бане, туалете и т. д. Я мог ожидать неприятностей и с этой стороны, хотя купался в оцинкованных корытообразных ваннах в лагерной бане и общественной, когда нас туда водили на дезинфекцию, обычно с Димой Стрельниковым из Мелитополя или Василием Марченко из Харькова. Мы жили в одной комнате, спали на соседних нарах, были одного возраста. Все трое пережили горечь фронтовых будней 1941 года и позор плена. У нас секретов друг от друга не было почти никаких. Я им верил... И все же?

Я шел и думал: не в мою ли честь устроен на сей раз этот спектакль?

Нас выстроили цепочкой вокруг котлована у бровки уступа. Внизу стояли две виселицы, около которых сустились три рослых гестаповца.

Подъехал «черный ворон», из которого вывели двух наших ребят со связанными за спиной руками. Сверху мне было видно, как один из них, выйдя из машины, прошел три шага вперед и влез на помост, а затем на скамейку под виселицу, а второй... выйдя и осмотревшись... попятился назад и упал на колени. Его ухватил, как котенка, дюжий гестаповец, поволок к виселице и поставил на скамейку.

Начальник лагеря Шнеллер прочитал решение гестаповского суда о повешении этих «цвай Дибен» (двух воров) и пригрозил нам, что за каждый проступок будет впредь жестоко наказывать. Павел Колесников старательно перевел слова бесноватого лагерфюрера.

На головы приговоренных одели мешки, поверх них — петли и выбили из-под ног скамейку...

Нас, застывших в оцепенении от этой жуткой картины, заставили дважды обойти вокруг котлована, смотреть на корчившихся в предсмертных судорогах повешенных. Отвернувших от этого зрелища головы били плетью...

После такой «торжественной церемонии» всех повели к кухне на обед.

Спазмы сдавливали горло, есть было трудно, но всеильный голод поборол все остальные чувства, даже тошноту...

...В начале августа при попытке к бегству был пойман и арестован мой патронатский товарищ Степа Цыганок.

Степа старательно скрывал свои намерения бежать и тщательно готовился. Даже я, несмотря на нашу продолжавшуюся и в лагере дружбу, ничего не знал о принятом им решении.

Не представляю себе, как он, совершенно не знавший немецкого, слабо разбиравшийся в географии, собирался тогда в одиночку преодолеть такое громадное расстояние от Германии до Украины? При таких условиях просто невозможно было не попасться к немцам в лапы. У него был шанс не более одного из тысячи! Но Степа рискнул!

Когда его уводили, Степа успел мне сказать, чтобы я забрал себе в бараке его овчинный тулуп, который достался ему тоже по наследству от кого-то из погрузочной бригады.

Я долго носил этот тулуп, с благодарностью вспоминая Цыганка, так как это теплое одеяние не раз выручало и согревало меня в сырую, дождливую и холодную погоду, которой отличалась Саксония в зимнее время года.

Со Степой Цыганком, моим младшим товарищем по патронату и лагерю, я встретился через двадцать лет в г. Запорожье. Он работал на заводе «Днепроспецсталь», был женат, растил сына. Степа был уже не щупленьким белобрысым юношей, а солидным, уверенным в себе мужчиной. К тому времени и я был женат, имел двух дочерей, работал в родном городе главным механиком треста. Степа мне рассказал, как тогда, в августе месяце 1943 года, его за совершение побега отправили в Бухенвальд, и как он чудом выжил в том аду.

После нашей первой послевоенной встречи мы продолжаем поддерживать добрые отношения и по сей день, будучи уже на пенсии.

На тридцатипятилетие со дня Победы Степан с группой бывших узников Бухенвальда посетил Германию. После он мне рассказывал, что, когда ходил по тем знакомым и незнакомым местам, вспоминал все как в тумане, как будто ему все это приснилось в кошмарном сне или происходило вовсе не с ним, а с кем-то другим.

В конце августа я тоже покинул Айзенбанверке и город Хемнитц и с группой ребят из лагеря отбыл в г. Плауэн.

Как мне потом разъяснили, это была вынужденная мера со стороны немцев. После Сталинградской битвы и поражения фашистская Германия уже не в силах была подняться на ноги.

Рейх объявил тотальную мобилизацию. Молодых немцев-ремесленников и прочих специалистов разных профессий и возрастов, способных носить оружие, забрали в армию.

Для пополнения выбывших специалистов разных рабочих профессий администрации пришлось отобрать из Остарбайтер наиболее грамотных и отправить на курсы станочников.

Так я, Остарбайтер «нумэр ахт таузенд, драй гудерт, ахтундцванциг» (№ 8328) оказался в юго-западной части Саксонии, в г. Плауэне.

#### **4. Город Плауэн. Веркцейгшуле**

Плауэн — небольшой живописный саксонский городок, расположенный на берегу речушки Весе-Эльстер, неподалеку от Тюрингенского леса и Рудных гор.

В таких местах рождаются сказки, разного рода поверья и предания.

В отличие от больших и средних городов Германии с их шумом и суетой, здесь текла более или менее тихая провинциальная жизнь. Конечно, и Плауэн поразила война, и здесь по улицам ходили инвалиды без рук, без ног, без глаз, с костылями и с собаками вместо поводырей. Но все же... Это был относительно тихий городок, без помпезности и выкриков «Хальт!» на каждом шагу.

Нас разместили в общежитии, на одной из тихих улочек.

В большой комнате, куда я попал, стояло десять металлических кроватей с панцирными сетками, пуховыми матрацами и такими же подушками. Около каждой кровати стояла тумбочка.

После Хемнитцкого лагеря за колючей проволокой и его деревянных бараков с двухэтажными нарами это жилище показалось раем.

В тот же день прибывших повели в городскую баню с кафельными стенами, одиночными кабинками с душем и зеркалами.

Все это великолепие было мне в диковинку, так как в подобного рода городских банях еще никогда не приходилось бывать ни у себя в городе до войны, ни, тем более, в Германии.

После купания мы получили новую спецодежду, переоделись во все чистое и продезинфицированное, и в сопровождении мастера школы и одного старенького полицейского пошли знакомиться со школой станочников.

Несмотря на то, что нас формально охраняли, я все-таки почувствовал себя намного свободнее, чем в Хемнитцком лагере. Я шел по городу и глядел по сторонам, изучая архитектуру и природные достопримечательности Плауэна.

Городок этот стоял на холмах, в предгорьях Рудных гор, уходивших своими вершинами к Чехословакии. Улицы Плауэна располагались на разных уровнях. Их пересекало бесконечное множество мостиков и каналов. По такому мостику можно было, например, перейти через канал, войти на третий этаж дома и выйти во двор с первого этажа и наоборот. Дома были увиты плющом, и поэтому, серые под красной черепицей, они казались зелеными, салатными и темно-зелеными в зависимости от времени дня и погоды, от солнечных лучей, придававших им особенно привлекательный вид.

В одном из таких трехэтажных зданий и расположилась наша школа — Веркцейгшуле.

Занятия в ней проводились по восьмичасовой программе (что тоже резко отличалось от хемнитцких расписаний с двенадцатичасовым двухсменным режимом): два — теория, шесть — практика. Обучали нас работе на токарных, сверлильных, расточных, строгальных и фрезерных станках. Теоретическими занятиями предусматривалось: черчение, материаловедение, детали машин и несложные математические вычисления. Все это давалось из расчета, что человек имеет примерно наше семилетнее школьное образование. Из окружавших меня ребят все были уверены, что у меня оно не выше. Каково же было удивление мастера-немца, когда я одну за другой буквально расщелкал замысловатые задачи, которые он давал по математике и черчению. Я уже пожалел, что не удержался от соблазна и «выпендрился», когда этот пораженный моими успехами мастер привел своего коллегу, который вел практический курс, и показывал меня, как чудо-вундеркинда из Остарбайтер.

Оба мастера сначала удивленно посмотрели на меня, когда я справился с простыми задачами, потом начали задавать специальные, в пределах средней школы, которые я с успехом тоже решил. После этого они с еще большим удивлением посмотрели на меня, друг на друга, на переводчика, и, перешептываясь, удалились. Им было невдомек, что этот восточный рабочий, простой Остарбайтер, такой худой и замученный, может, по их понятиям, так много знать, а тем более окончить 1-й курс машиностроительного института и быть теоретически подкованным гораздо больше, чем они.

Я понимал, конечно, что в этой игре немного увлекся и переборщил и уже раскаивался, поэтому поторопился, хотя и с опозданием, нажать на тормоза. Нельзя было показывать свои знания выше уровня семиклассника.

Когда заподозривший что-то неладное переводчик дал мне задачу, которую можно было решить, только зная азы высшей математики, я сказал, что мне эта задача не под силу, так как в школе мы этого еще не проходили.

По правде говоря, я с большим удовольствием решил бы и эту задачу, но преодолел в себе этот неразумный тщеславный соблазн.

Благодаря своим «необычайным способностям» по математике и черчению я стал пользоваться уважением у старшего мастера, которого звали Эмиль. Он доверил мне даже кое-что объяснять моим товарищам по школе вместо себя. Это доверие не особенно возвышало и выделяло меня из среды остальных товарищей-учеников и не давало мне привилегий в питании (я постоянно боялся высовываться из остальной массы людей, чтобы не привлекать к себе внимания). Но это доверие и уважение со стороны Эмиля, можно сказать, спасло меня от неминуемой смерти.

А дело было вот как.

В Плауэне, кроме мужской школы, была и женская для восточных рабочих.

Не помню, чему там обучали наших девчонок, какой профессии, кажется, швейной. Но, так же, как и нас, их не выпускали бродить свободно по городу, и встречались мы только на одном из перекрестков, утром и вечером, до и после учебы. За время такого короткого свидания мы успевали только перекинуться двумя-тремя словами, не более. Но и этого хватило, чтобы у каждого парня появилась среди слабого противоположного пола своя симпатия. Молодость брала свое. Вскоре сказать одно слово оказалось недостаточным. Тогда мы прибегли к переписке.

В качестве почтового ящика была выбрана старая водосточная труба такого же старинного двухэтажного дома, стоявшего на перекрестке, где проходили наши встречи. Проходя мимо, наш почтальон (у нас им был парень из Ленинграда — Сашка Майоров) забирал письма девчат и закладывал нашу корреспонденцию.

В октябре месяце заметно похолодало, стало сыро и дождливо. Небо заволокло свинцовыми тучами. Мы стали реже встречаться с девочками на нашем знаменитом перекрестке.

Как-то в такое время дождь лил непрерывно двое суток. Каналы наполнились водой. По улицам и тротуарам широким потоком лились холодные реки. Все вокруг стало серым и неприветливым.

Нас начали водить в школу и обратно в общежитие каким-то кратчайшим путем, почти бегом, минуя наш «почтовый» перекресток, ставший теперь единственной ниточкой, связывавшей нас с девочками.

Двое суток почту забирать не удавалось. Мы стали опасаться, что она промокнет и пропадет в проржавевшей от времени трубе. Ребята начали просить меня, чтобы я уговорил Эмиля отпустить меня в город хоть на полчаса.

Мне не особенно хотелось мокнуть под дождем, к тому же несколько дней не давал покоя правый коренной зуб. В то же время эта зубная боль была прекрасным предлогом.

Я сказал о своем недомогании Эмилю, и мой старый добрый мастер, скрепя сердцем, повел меня к стоматологу, поручив остальных своему коллеге. Расчет был сделан точно: «Цаанартц» жил в старом доме, где находился наш «почтовый ящик». Там, на двери дома, я и заприметил табличку, означавшую кабинет врача и часы приема.

Врач заглянул мне в рот и не стал утруждать себя установкой пломбы. Его ассистентка сделала мне укол в десну, и через минуту здоровенный коренной зуб лежал уже в плевательнице. Облизывая языком остатки крови и место, где недавно стоял зуб, опережая Эмиля, я поспешил на улицу к трубе. Почта лежала на месте, предусмотрительно завернутая в клеенку. Промок я в этом походе до ниточки, но драгоценную ношу доставил. Для меня она была особенно дорога, так как в ней сообщалось, кроме всего прочего, и о том, что 14-го октября от немцев освобожден город Запорожье!

Радость беспредельная! Однако она омрачилась неожиданно-негаданно по собственной вине.

Мой слабый, вечно голодный, истощенный организм не выдержал испытания дождем. Я спас и доставил почту, а себя не уберег. К вечеру поднялась температура — начался сильный плеврит. Дыхание стало затрудненным. Я мог дышать только поверхностно. Утром еле поднялся, пошел на работу в школу, а там, сидя за партой, потерял сознание...

Эмиль подскочил ко мне, привел в чувство и... потащил в город к врачу. Тот долго меня выстукивал, выслушивал, безошибочно поставил диагноз и дал лекарство, сказав при этом, что угощает русского немецким шнапсом. В заключение велел получше питаться (!!!).

Его последние рекомендации показывали, что этот «Арцт» был не лишен чувства юмора...

Несколько дней температура у меня не снижалась и была на уровне 40°C. Я часто терял сознание, а, приходя в себя, дрожал от мысли, что в бреду мог наболтать лишнее.

Усилиями Эмиля и ребят, особенно Сашки Майорова, вскоре я был поднят на ноги. А пока болел, они по согласованию с Эмилем, по очереди оставались каждый день в общежитии и за мной ухаживали.

По вечерам Сашка Майоров, разбитной парень, рассказывал очень забавные приключения из своей жизни и фантастические повести, которых начитался невероятное множество. Мы слушали с удовольствием его увлекательные рассказы, которые заменяли нам и кино, и радио.

Никто из нас, да и сам Саша, не подозревал тогда, что всего через несколько месяцев этого отличного веселого парня не станет.

В Плауэне, кроме ремесла слесаря и станочника, я приучился к чисто немецкой патологической аккуратности в работе. Этому меня научил, а вернее сказать, приучил, другой мастер школы — немец Эрих.

В мастерских школы нам приходилось по очереди дежурить. В обязанности дежурного входила уборка и смазка своего станка, как обычно, кроме того, сбор стружки в тачку около остальных станков, вывоз ее и укладка собранного в ящик, стоявший во дворе. Эта стружка пакетиновалась затем на прессах и отправлялась на переплавку. Дежурный должен был также протирать подоконник и тумбочки, поливать цветы, убирать инструмент и заготовки.

Подошла моя очередь дежурить. Смена закончилась. В голове моей господствовала только одна мысль: прийти поскорее в общежитие, пожрать, завалиться на кровать и уснуть, чтобы не так сильно сосало под ложечкой.

Я наскоро, кое-как убрал и смазал свой станок, подмел цех и вывез стружку, вытер руки и направился в строй...

Но не тут-то было!

Эрих преградил мне дорогу, вернул назад, подвел к каждому рабочему месту, указал на плохо убранный впопыхах мусор и велел сделать уборку заново. Мои мольбы не помогли. Пришлось снова брать метлу, совок, тачку и повторить весь технологический процесс уборки. Я задерживался сам и задерживал всю группу, а это было непростительно. В мой адрес начали раздаваться нарекания со стороны голодных ребят, стоявших в строю.

Едва я закончил, Эрих снова прошелся по цеху и снова заставил меня кое-где подобрать стружку и вытереть подоконники.

Как я ни бесился и как ни слал мысленные проклятия и ругань в адрес Эриха, пришлось заняться уборкой в третий раз. Теперь я вылизал все подряд, ничего не пропуская, подметая и вытирая даже те места, где никакой пыли и мусора не было.

Когда я кончил и поставил «инструмент» дежурного на место, строгий Эрих улыбнулся:

— Нун, Марко, гойте ист эс генугт (Так, Марко, на сегодня хватит).

Усталый, выжатый, как лимон, и голодный, как волк, я встал в строй и поплелся в общежитие. Глядя на меня, ребята больше не стали корить неудачника, тем более, что не меня одного в процессе учебы постигала такая же участь.

С тех пор я никогда не допускал неряшливости в уборке. Со временем привычка тщательно убирать за собой рабочее место вошла в мою плоть и кровь и стала, как говорится, второй натурой.

Заслуга в этом старого немецкого мастера из небольшого саксонского городке Плауэна, — придиры и педанта Эриха.

## **5. Снова Хемнитц**

В последних числах ноября я закончил школу станочников с удостоверением «Токарь-универсал» и вернулся в город Хемнитц.

За это, сравнительно небольшое время, что я отсутствовал, произошло много изменений и в лагере, и на заводе.

В лагере появился новый лагерфюрер Браун, заменивший бесноватого Шнеллера, не стало палача Франца и других ублюдков из их шайки. Этих садистов заменили стариками, способными держать автоматы, но очевидно непригодными для строевой службы.



Остарбайтерам начали платить деньги за работу (высчитывая, разумеется, за питание и содержание) и продавать за марки старенькую, но чистую и пригодную для носки одежду.

По воскресеньям, один раз в две недели, с пришитым на груди значком «Ост», восточных рабочих начали выпускать в город с 10 часов и до 18-ти. И ни минутой больше. Опоздавший к установленному времени человек попадал, в лучшем случае, в карцер лагеря, в худшем — в лапы к гестаповцам.

На заводе из немцев остались только больные и старики, которые к нам попривыкли и стали относиться более или менее лояльно. Молодые же и пропитанные духом нацизма, которые особенно досаждали нам — восточным рабочим (этим отличались ремесленники из гитлер-югенд) куда-то исчезли.

В общем, отношение к иностранным рабочим со стороны немецких мастеров в корне изменилось. Запахло жареным — и исчезла прежняя чванливость и показное превосходство. Даже мой первый мастер Шульц, встречая меня теперь, забегал дорогу и вежливо раскланивался с заискивающей улыбкой...

С великим прискорбием я узнал недобрую весть о том, что в одну из октябрьских ночей гестаповцы забрали прямо на заводе со второй смены Луи Журдена...

Короче, для нас начали делать всякие незначительные поправки, даже в питании. Появились в баланде и морковь, и картошка.

Однако слежка, подслушивание и подозрительность еще больше увеличились.

Кругом, на каждом шагу, появились плакаты с черным силуэтом в шляпе. Надпись под ними гласила: «Т-с-с! Файнд герт мит!» В переводе на русский язык это означало: «Т-с-с! Враг подслушивает!» Что и кому надо было подслушивать здесь, на заводе, где ремонтировались паровозы и цистерны?

...Хоть я и учился почти три месяца на станочника, однако по приходу на завод получил назначение в тот же котельный цех, только в другое отделение, — кислородный участок. Для этого участка в цеху было выделено и выгорожено специальное помещение, где стояли стационарные компрессоры, насосы и ресиверы для получения и хранения кислорода. К нему с другой стороны примыкала за брандмауэрной стеной кислородная рампа и склады для хранения пустых и наполненных кислородом баллонов. Ворота этих складов выходили на платформу, куда по мере необходимости подавался железнодорожный и автомобильный транспорт. Кислородный участок, кроме выработки кислорода, занимался также проверкой и освидетельствованием баллонов и прочих сосудов, работавших под давлением. И еще этот участок обязан был убирать помещение раздевалки немецких рабочих в два этажа с умывальниками, душевыми и шкафчиками, и приносить из Кantine (общественная столовая) обеды, которые выдавали по карточкам для рабочих-немцев котельного цеха.

Кислородный участок обслуживала небольшая интернациональная бригада: три пожилых немца — Вальтер Эдель (бригадир), Генрих Нагель и Бруно Вахер, три украинца — Василь Рыбоконь, Иван Твердохлиб и я, один чех — Карел Типпнер — и один белорус — Геннадий (к сожалению, забыл фамилию этого семнадцатилетнего паренька из Витебска).

Вальтер Эдель с Геной следили за кислородной установкой, проверяли и освидетельствовали на стенде сосуды, работавшие под давлением. Генрих Нагель, Карел, Василь и Иван занимались перекаткой и наполнением баллонов кислородом на рампе, разгрузкой и погрузкой их в железнодорожные вагоны и автомобили.

В обязанности Бруно Вахера и мои входило помогать звеньям Эделя и Нагеля по мере надобности, а также убирать раздевалку и вовремя приносить в специальных носилках обеды для цеха из Кantine.

Работа, за исключением погрузки и разгрузки баллонов, была не тяжелой и меня вполне устраивала.

Кроме того, изредка из кухни столовой мне кое-что доставалось поесть, если мы приходили к концу обеда, когда уже подчищали котлы. Однако мой Бруно всегда торопился, чтобы успеть поесть самому и накормить своих коллег из котельного цеха. Как я ни исхитрялся, из столовой мы обычно уходили раньше, чем начинали чистить котлы. В таких случаях назад в цех я плелся, еле держа рукоятки носилок с ремнем, накинутым на мою опущенную шею. Проклинаю в душе непонятливого и нетерпеливого Вахера, спина которого, ненавистная в эти минуты, маячила и маячила перед моими глазами.

Навязчивая мысль «Что бы поесть?» не переставала сверлить воспаленные мозги. Если бы мне в такие минуты дали хотя бы нечто напоминающее пищу, то я бы ел ее в любом количестве, кажется, без усталости, без сна и покоя, пока не уничтожил бы все без остатка.

Как-то раз такая возможность набить свой желудок до отказа мне представилась.

Остарбайтер и французы ходили обедать в свои лагеря, так как наши территории примыкали к заводской. Чехам же, поскольку они жили в городе, привозили обеды непосредственно в термосах. Ели они обычно на антресолях механического отделения в котельном цехе. Иногда Бруно посылал меня убирать эти антресоли. И вот однажды, когда я пришел из лагеря после обеда, увидел на лестнице, ведущей на антресоли, Карела Типпнера, который отчаянно жестикулировал руками, приглашая меня наверх. Я поднял голову к антресолям и понял, что там обедают чехи...

Мысль голодного волка сработала мгновенно.

Я схватил ведро, метлу, тряпку и помчался вверх по лестнице, предвкушая, что Карел для меня что-нибудь оставил поесть.

Какова же была моя радость, когда я увидел, что чехи все как один, словно сговорившись, стали выливать обратно в термоса полученную на обед манную кашу.

Я еле дождался, пока они ушли, вылил свое помойное ведро и перелил туда из термоса кашу. Потом сбегал в раздевалку, принес еще ведро и котелки, свой, Василя и Ивана, и наполнил всю эту тару.

Кое-как успокоившись, осознав, что это не сон, я сел на табуретку, зажал ведро коленями и с жадностью принялся есть. Я наслаждался до опьянения манной кашей и чувствовал себя в эти мгновения самым богатым и самым счастливым человеком в мире голодных.

По мере того, как пища в ведре убывала, и мой желудок соответственно наполнялся, процесс поглощения каши замедлялся, есть становилось тяжелее. Однако длительный и постоянный голод и выработавшаяся за это время жадность к еде не позволили мне оставить кашу без присмотра. Я вскакивал, ходил по антресолям из конца в конец, как затравленный голодный зверь по клетке. Устав ходить, снова садился и продолжал есть.

Я успокоился только тогда, когда очистил одно ведро емкостью не менее двенадцати литров до самого дна, не оставив на нем даже следов пищи. Чуть отдышавшись, я сходил за Василем и Иваном и, как миллионер-меценат, выдал им ведро и два котелка, наполненные кашей. Свой котелок я принес в лагерь и съел перед тем, как лечь спать...

Да, это был единственный день за два с половиной года, когда я сытый лег спать.

В эту ночь мне не икалось, не мучила изжога. Я храпел, как сытый кот на печи, и видел цветные сны.

В дальнейшем, проходя после обеденного перерыва через механическое отделение, я тщетно поднимал полный вожелания взор на антресоли, даже забегал туда с ведром, метлой и тряпкой якобы для уборки, но увы... у чехов, очевидно, тоже появился аппетит.

Еще одним источником добычи съестного был табак, который с некоторых пор нам начали выдавать в стопятидесятиграммовых пачках один раз в месяц. Табак представлял собой полуфабрикат низкосортной махорки, которую перед употреблением нужно было еще нарезать или хорошенько натолочь.

Среди стариков-немцев было немало заядлых курильщиков. Я нашел одного такого деда и менял с ним каждый месяц пачку махорки на ведро картошки. Не знаю, кто установил такую меновую стоимость на эти продукты человеческого труда, но так было заведено, и я брал за табак столько же картошки, сколько и все — ни больше, ни меньше установившейся раз и навсегда таксы. Сам же курил скрутки, собранные из «бычков» немецких, французских и английских сигарет, поднятых с земли при помощи палицы с заточенным гвоздем на конце. Этот способ сбора сигарет не был моим изобретением. Я подметил его еще в Плауэне у одного немца, который собирал таким образом «бычки», прохаживаясь по улице, как джентльмен, с тростью.

Между прочим, любопытно было наблюдать, как один раз в месяц мой старпер-меняла шагал по заводу на своих кривых ногах кавалериста с рюкзаком, наполненным картошкой, за плечами, как заядлый турист-любитель. Обмен мы производили обычно прямо в раздевалке, где я и Бруно Вахер убирали и хранили свою одежду и инструмент. Там же, в одном из шкафов, я держал свой запас продовольствия, добытый по случаю различными способами. Залеживаться этим продуктам я не давал, так что мой продовольственный отсек в основном пустовал, как и желудок.

Картошку в лагерь я не носил. Варил и жарил, как и все, на листе или в котелке на громадном кузнечном горне в кузнечном отделении, где хозяйничал такой же крупный, как и горн, атлетического телосложения, пожилой, добродушный немец-кессельшмидт (кузнец-котельщик) Гюнтер.

Этот по-своему красивый великан в кожаной фуражке, фартуке и куртке с закатанными рукавами в моем понятии как бы олицетворял немецкий рабочий класс.

Когда Гюнтер работал, можно было, глядя со стороны, залюбоваться им. Он, стоя с молотом в руках на фоне раскаленного угля и железа, выглядел, как бронзовый монумент, олицетворяющий труд. Работая, Гюнтер забывал обо всем вокруг, он был упоен своим трудом, и огромный молот, которым он бил по раскаленному железу и наковальне, казался легкой игрушкой в его сильных мускулистых руках. Это был неутомимый работяга.

Гюнтер плевал на кишевших на заводе гестаповских ищеек и прихвостней нацистов. Он презирал и обычно выгонял их из кузницы, как только кто-либо из этой своры переступал порог его владений. И они, хотя и пыжились перед нами, чтобы не уронить свой авторитет, но, в общем-то, боялись грозного кессельшмидта.

Зато с нами — Остарбайтер — Гюнтер отводил душу. Он любил беседовать с иностранцами о положении на фронте, о том, как жили и живут советские люди со Сталиным во главе.

Искать случая побеседовать с Остарбайтер стали многие немцы. Причем, не от чехов, французов, поляков и других иностранцев они ждали ответа на интересующие их вопросы, а именно от русских рабочих.

Даже такой туповатый, забитый, необразованный немец, как мой Бруно Вахер, и тот, бывало, в свободную минуту затащит меня в раздевалку, оглянет ее со всех сторон, чтобы там, не дай Бог, не было лишних ушей, посадит рядом с собой у шкафчика и начинает все по порядку расспрашивать: какой был Ленин? Как живут рабочие в СССР? Какой на самом деле маршал Сталин? Что будет с немцами, если русские победят? Наверное, последний вопрос его волновал больше, чем все остальные.

Вначале я боялся откровенно разговаривать с Бруно на такие темы, так как он носил на лацкане пиджака маленький эмалированный значок со свастикой, то есть был членом нацистской партии. Вахер долго убеждал меня, что он не фашист и к «наци» имеет лишь чисто символическое отношение. В конце концов, я подумал, что, беседуя со мной на такие скользкие темы, он рискует не меньше, чем я, и стал для Бруно в современном понятии политработником: и агитатором, и пропагандистом советского строя.

В беседах мы касались внутренней и внешней политики государств гитлеровской и анти-гитлеровской коалиции.

Когда я объяснил Бруно, что в СССР живут и пользуются равными правами все люди, в том числе немцы и даже негры, и что задача Красной Армии уничтожить фашистский режим и его главарей и идеологов, а не немецкий народ, туповатый Вахер просиял, приосанился и заявил мне шепотом, воровато оглядываясь по сторонам:

Гитлер КАПУТ!

## **6. Дас Шпиль ин Катце унд Маус (Игра в кошки-мышки)**

Прежде чем я получил допуск к уборке душевых, умывальников, шкафов, раздевалок и прочего, Бруно Вахер ежедневно и методически подвергал меня проверке на честность. Он «случайно» оставлял в раздевалке то кошелек с несколькими пфенningами, то пачку с двумя-тремя сигаретами, то (для меня это было самое страшное испытание) котелок с недоеденной пищей и т. д. Я очень хорошо, с первого момента, понял, что меня проверяют, и поэтому, как бы порой ни было мне тяжело, но все найденное в раздевалке на втором этаже, даже мелочь, я передавал довольному Вахеру. Так постепенно он убедился в моей честности и порядочности.

А после того, как я убедил Бруно, что немцам, если они не нацисты, не следует бояться возмездия русского народа, что Советский Союз несет им освобождение от фашистского режима, я стал для него самым авторитетным и уважаемым человеком если не во всей Германии, то, по крайней мере, в Хемнитце и на территории Айзенбанверке.

Я уже писал, что мне частенько с Бруно приходилось заниматься разгрузкой пустых и погрузкой наполненных кислородом баллонов. Эту работу возглавлял небольшой, сухощавый, крепкий старик Генрих Нагель. Казалось, что он всю свою жизнь только и делал, что катал баллоны, потому что и без них ходил так, будто продолжал перекачивать их: немного пританцовывая, с приподнятым левым плечом и чуть расставленными, полусогнутыми в локтях руками.

В этот день Василя и Ивана отправили работать куда-то в другой цех. Как на грех, пришло три железнодорожных вагона пустых баллонов, которые надо было срочно выгрузить и загрузить полными. В то же время нельзя было упускать из виду и обслуживать кислородную

рампу, где заполнялись баллоны сжатым до давления 150 атмосфер кислородом. Для Нагеля и Карела Типпнера перекачка и укладка баллонов в вагоны, установка их на склад или на кислородную рампу для заполнения было привычной работой, и они делали ее быстро, как заведенные. Для меня и Бруно это было не так легко, потому что погрузочно-разгрузочными работами мы занимались периодически, от случая к случаю, а для перекачивания баллонов в вертикальном положении нужна была еще особая сноровка. Что до меня, — низкорослого, — то я сам еле стоял на ногах, а тут приходилось катать правой рукой, удерживая на приподнятой левой, от рампы на склад, со склада на платформу и в железнодорожные вагоны, тяжелые, весом до 82 кг, высокие, сигарообразные баллоны. Нагель покрикивал на меня и Бруно, чтобы мы быстрее шевелились. Бруно огрызался и пытался защитить меня от нападков. Это помогало слабо, и под конец я совсем обессилел. И вот к чему это привело...

В тот момент, когда Нагель и Вахер готовы были в пылу очередного приступа ругани схватить друг друга за грудки, я, устанавливая очередной баллон на склад, не удержал его в вертикальном положении и уронил на выстроенные, как кегли, плотно один к другому, наполненные кислородом остальные баллоны...

Спорящих Генриха и Бруно, а также находившегося рядом со мной Карела как ветром сдуло. Меня же, наоборот, словно тяжелой цепью с гирями приковало к цементному полу... Я стоял не шевелясь, слышал грохот падающих друг на друга баллонов, чувствуя, как кровь цепенеет в жилах и покидает мозг, отсчитывая секунды в ожидании неминуемого взрыва...

Однако взрыва не последовало.

Столпотворение длилось всего несколько секунд, но за это время я успел о многом пере-думать, многое вспомнить... Я даже жалел, что не произошел этот проклятый взрыв, так как вместе со мной погибло бы и кислородное отделение и разрушился бы котельный цех. А самое главное, прекратились бы мои мучения. Это ли не достойный конец моим мытарствам?

Прошло, по крайней мере, минут пять после того, как воцарилась тишина, нарушенная падением баллонов. Из своих укрытий начали потихоньку выползать перепуганные Генрих, Бруно и Карел. Они застали меня на том же месте на складе, стоящего неподвижно, как статуя, в той же позе, что и раньше, когда они бросились спасаться от взрыва.

Из состояния оцепенения меня вывел Карел Типпнер, который положил мне руку на плечо и спросил участливо:

— Марко, ты сэ не посрал?

На его, еще бледном лице, было нечто похожее на улыбку.

Слова Карела привели меня окончательно в чувство, и я со злостью ответил:

— То вы, герои, сэ посрала и драпанули по норам! А я был тут — едэн!

Нагель, едва беда миновала, снова набросился на Вахера, утверждая теперь, что я специально хотел устроить взрыв, чтобы разнести завод. Он даже сказал, что не мешало бы доложить об этом случае в Гестапо. Однако Бруно взялся страстно защищать меня, чего я никак не ожидал от него, обычно покорного и нерешительного человека. В конце концов, он обозвал Генриха дерьмом и собакой:

— Ду бист Гунд унд Шайзе, Нагель!

Это заявление несколько обескуражило Нагеля. Он утихомирился, подошел своей пританцовывающей походкой ко мне, пощупал у меня то место, где полагается быть бицепсам, тяжело вздохнул и начал молча поднимать и ставить один к другому баллоны из завала.

Бруно, Карел и я присоединились к Нагелю...

Завал был вскоре ликвидирован, и работа по наполнению и погрузке баллонов в железнодорожные вагоны закончилась без происшествий.

С тех пор Бруно и Генрих перестали по утрам приветствовать друг друга поднятием вытянутой правой руки и отрывистым, раздражающим всех иностранных рабочих возгласом, — «хайль». Меня же Бруно в свободное время стал посылать на освидетельствование баллонов и других сосудов, работавших под давлением, в помощь к спокойному Вальтеру Эделю или же в раздевалку, в столовую или еще куда-нибудь под любым предлогом, стараясь уберечь от погрузочно-разгрузочных работ и от Нагеля.

\* \* \*

В начале 1944 года гестаповцы прямо с завода увели Сашу Майорова и братьев Цивирко (Юрку и Петьку) по подозрению в воровстве продуктовых посылок на станции.

Месяца два об арестованных не было ничего слышно. Поговаривали, что их видели в городе в сопровождении одного конвоира развозившими брикетированный уголь по домам. Все были уверены, что эту тройку скоро возвратят в лагерь...

И вот после моего случая с кислородными баллонами, перед обедом, снова завод и дорогу в лагерь наводнили вооруженные по всей форме жандармы. Забыв об арестованных ранее ребятах, я решил, что это наверняка Нагель на меня «наклепал» гестапо и что на этот раз «торжество» подготовлено в честь моей персоны...

Нас подогнали строиться для пересчета и отправки на обед.

Торопили...

Я успел на ходу схватить с какого-то верстака трехгранный шабер, сунуть его в боковой карман спецовки и стать в строй.

«Ты, кажется, хотел гибели? Вот она и пришла. Твоя смерть, только не громкая, с взрывом, а тихая — с виселицей», — думал я, стоя в строю. Я был настолько уверен, что вся эта затея связана со мною, что счастье Нагеля, да и мое тоже, что он не попался мне на пути в это время, иначе я наверняка убил бы Генриха...

Когда нас сквозь строй пригнали в лагерь и выстроили, как обычно, вокруг котлована, внизу стояли три виселицы.

Снова повторилась церемония с повешением: точно так же, как и при Шнеллере, только на этот раз лагерфюрер Браун не стал на нас кричать и не требовал, чтобы мы повернули головы и внимательно следили, как вешают наших товарищей. Он только нудно объяснил нам, что воровать нельзя, что воровать — это позор.

Вешали Сашу Майорова и братьев Цивирко. Петька был маленький и худенький, как былинка. Когда из-под ног у приговоренных выбили скамейки, Петька еще какое-то мгновение корчился в муках. Видя это, один из палачей схватил его за ноги и потянул вниз. Мне показалось даже, что я услышал, как хрустнули кости бедняги.

Эта сцена так подействовала на всех нас, что мы, несмотря на пустые желудки, отказались от обеда.

Придя на завод, голодный и морально подавленный, я под каким-то предлогом отпросился у Бруно, разыскал подходящее ножовочное полотно и изготовил для себя прекрасный нож, который упрятал под стельку ботинка. Нож был плоский, острый, не тер ноги. Я ощущал его постоянно стопой и поэтому чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее.

С этого дня я ходил с ножом всегда и везде, в том числе в баню, оставляя ботинки с ним около двери в удобном месте.

Буквально через неделю после казни Саши Майорова и братьев Цивирко железнодорожная охрана схватила ночью во время воздушной тревоги у вагона с картошкой Ивана Чурилова — пензенского парня, жившего со мной в одном бараке, спавшего на соседних нарах.

Чурилова недолго держали под арестом в Гестапо и через три-четыре дня повесили на территории лагеря.

Для устрашения остальных вывели Ивана Чурилова не накидывая мешок на голову и заставили нас, как и во времена Шнеллера, смотреть на всю эту гнусную процедуру.

Как будто бы это было вчера, перед глазами встает синее лицо с длинным высунутым языком повешенного. Жуткая картина, которая вполне могла бы стать эмблемой для лагерей «Остарбайтер им Дойтшланд», — виселица с жертвой.

\* \* \*

Не припомню сейчас точно, в каком месяце это было, но кажется, весной или в начале лета 1944 г. К нам в лагерь в воскресный день прибыла целая бригада гражданских и военных (русских и немецких) представителей Вермахта.

Нас выстроили на центральной площадке лагеря; посередине поставили стол, покрытый полотном со свастикой, на котором красовался черный гипсовый бюст Гитлера.

Со вступительным словом выступил лагерфюрер Браун, а вслед за ним члены прибывшей делегации. Все они восхваляли доблесть и мужество немецких солдат, а также их прихвостней, предателей власовцев.

В конце концов, нам предложили добровольно вступить в ряды РОА (Русской Освободительной Армии).

В ответ на это предложение в лагере воцарилась гробовая тишина: никто не проронил ни слова и не сделал ни шагу по направлению к столу, где одиноко красовался бюст бесноватого фюрера. На лицах стоявших в строю восточных рабочих можно было прочесть только одно: упорство и ненависть к фюреру, к агитаторам его режима, которые, почувствовав, что земля горит у них под ногами, прибежали к нам — своим голодным, угнетенным рабам, чтобы мы защитили их проклятый «тысячелетний Рейх», помогли их «доблестным» засранцам...

Однако, как и в каждой большой семье, — не без уroda. Нашлись-таки два паразита и в нашем лагере: два на восемьсот человек. Это были, как ни странно, мой однофамилец Иван Билый и его дружок Митька Бережной, которые, долго не раздумывая, записались в банду РОА.

Ванька был родом из Марьевки. Его сестра вроде вышла замуж за немецкого офицера и ежемесячно присылала брату посылки с продуктами. Митька считался его другом, а, по сути, был холуем на побегушках, пасся около и бегал за Ванькой, как собачонка.

К сожалению, эти два подонка жили со мной в одном бараке. Мы объявили им бойкот, потому что не могли простить предательства.

После молчаливого отказа от вступления в РОА нас неделю держали на одной баланде без хлеба и маргарина. Если считать наше питание впроголодь до этого инцидента «нормальным», то последующие семь дней мы голодали так, что многие начали опухать и уже не могли, не в силах были преодолеть те семь ступенек, которые отделяли заводскую территорию от лагеря.

Но воля людей не была сломлена.

Мы голодали, а два записавшихся подонка — Ванька и Митька — да еще четыре лагерных паразита из «русских», — Жорка Хрусталеv, Павка Колесников, Федько «Рязань» и Костя «Боцман», — обжирались до отвала.

В первое же воскресенье после нашего отказа от добровольного вступления в РОА в город никого не пустили, кроме Ваньки и Митьки. Голодные и злые, сидели Остарбайтер по баракам. Надежды поживиться в городе чем-то съестным провалились.

Под вечер Ванька и Митька, пьяные, ввалились с песней в комнату. Митька, едва держась на ногах, дошел до середины комнаты, ухватился руками за металлическую плитку и начал рыгать. Так как я лежал неподалеку на нарах, то предложил Митьке немедленно взять ведро, тряпку, веник и убрать за собой. Тот промывчал что-то нечленораздельное в ответ и замотал головой, демонстрируя свое несогласие. А Иван подскочил ко мне и ухватил за рубашку:

— Ты, жидяра! Вылизывай сам эту баланду! Живо! Слышишь?

Я весь сжался, как пружина, рванулся из его рук и изо всех сил ударил прямой правой, как когда-то меня учили на боксе, в ненавистную рожу противника.

Подскочил Митька, сначала к опрокинутому Ивану, а потом ко мне. Его я тоже легко свалил одним ударом, да прямо в блевотину, так как он и без того еле держался на ногах. Однако Иван все-таки поднялся и заорал:

— А-а! Так жид меня еще бить будет?! Сейчас я доложу куда следует! Ты у меня еще попляшешь в Гестапо!

При этих словах с нар повскакали находившиеся в бараке ребята. Они схватили расходившихся Ивана и Митьку и прижали к стене. Воспользовавшись минутной передышкой, я выскочил в тамбур, мгновенно вынул из ботинка нож и стал ждать, готовый наброситься и зарезать распоясавшегося подонка и предателя.

Из комнаты в темноту тамбура до меня донесся басовитый голос старосты Николая Шарко, обращенный к Ваньке и Митьке:

— Слушайте, вы, сволота! Если хоть один волос упадет с головы Марка, считайте себя мертвецами. Мы вас из-под земли достанем и задушим, как поганных котят! ПОНЯЛИ?

После такой угрозы Ванька и Митька вроде протрезвели. До меня долетел их лепет:

— Хлопцы! Мы пошутили... Он же нас первый ударил... Не будем ссориться... Сейчас мы сами все уберем...

Через пару минут из комнаты вышел Митька с ведром. Незамеченный им, я проследил, куда он пойдет. Когда Митька с полным ведром, шатаясь, вернулся, я следом зашел, прикрыл на крючок дверь и лег на нары.

Никто не спал...

Все были возбуждены и следили, как эти два «героя» из РОА моют полы и убирают комнату после своих «художеств».

Не знаю, каким образом, но этот инцидент дошел все-таки до лагерфюрера Брауна.

Во вторник Браун вызвал меня и через Павку Колесникова стал уточнять, почему мы дрались. Я мысленно прикинул, что если Браун знает о драке, то наверняка знает и о причине ее возникновения. Поэтому ответил:

— Иван Билый оскорбил меня, назвав жидом. За это я его и ударил.

Этот ответ, очевидно, понравился и удовлетворил лагерфюрера. За правдивость он велел мне как потерпевшей стороне, выдать две пачки махорки. Одной пачкой я тотчас поделился со всеми курящими ребятами из нашей комнаты, за исключением Ваньки и Митьки. Эти парази-

ты, когда я явился после визита к лагерфюреру, с облегчением вздохнули, потому что ребята их держали под стражей в комнате, пока я не явился целым и невредимым. Все напряженно ждали результатов моего свидания с Брауном, и поэтому, когда я зашел в комнату и начал раздавать махорку, радовались не меньше меня мирному разрешению конфликта. Улыбались и заискивали передо мной и те два шакала, из-за которых разгорелся весь сыр-бор...

Вообще с тех пор эти подонки обходили меня десятой дорогой и вели себя в лагере тише воды ниже травы, так как их возненавидели все жившие в бараках голодные мои товарищи.

## 7. Битая карта

Я уже упоминал о том, что когда вернулся из Плауэна в Хемнитц, то обнаружил, что в лагерной жизни произошли некоторые перемены в лучшую сторону. В частности, нам начали ежедневно выплачивать деньги, продавать одежду, обувь и прочее барахло, выпускать в город. Через некоторое время после неудачной попытки привлечь нас в РОА нас снова начали по воскресеньям выпускать в город.

Я, как и остальные ребята, тоже подобрал и купил себе рубашку, пуловер, серенький костюм, носки и туфли из кучи тщательно отстиранной, прекрасно заштопанной и отглаженной одежды. Очевидно, все это было конфисковано гитлеровцами у жертв нацистского режима, расстрелянных и запертых в концентрационные лагеря...

В этой одежде я стал похож на полунемецкого, получешского или какого-то другого иностранного фраера. Только пришитый четырехугольник с надписью «ОСТ» говорил о том, что я восточный рабочий. Я даже сфотографировался в таком виде и послал по почте свой запечатленный образ Маше Симаченко. Я забыл упомянуть, что нам также разрешили переписываться с домом и между собой в Германии...

Долго я не решался выйти в город, чтобы не навлечь на себя беду какой-нибудь случайной встречей с земляками-запорожцами, знавшими мое истинное происхождение, или с ретивыми шпионами и слугами Рейха из восточных жителей, которыми была наводнена Германия. Однако любопытство взяло верх над осторожностью. Кроме того, здравый смысл подсказывал, что отсидка в лагере может вызвать не меньшее подозрение, чем риск быть узнанным в городе. После предварительной договоренности с моими товарищами по работе Карелом Типпнером и Алоисом Полаком о встрече я однажды вышел в город. Чехи ожидали меня в условленном месте. Пошли гулять.

Мой знак отличия — ОСТ — ограничивал возможности проезда в общественном транспорте, входа в различные заведения, даже те, где не было написано «Нур фюр Дойтшен». Поэтому при первом моем выходе в город мы гуляли с Карелом и Алоисом только по улицам, площадям и паркам. Ноги мои подкашивались, голова кружилась, я без конца искал точку опоры. Это состояние появилось не только от голода, но и от ощущения мнимой свободы...

В мечтах мерещились крылья, которые позволили бы мне взлететь и умчаться на Родину. Но крылья были подрезаны...

Я лишь дышал этой кажущейся, призрачной свободой и оглядывался по сторонам...

Слева и справа на меня смотрели увитые плющом дома и остроконечные кирхи. Средневековая архитектура давила на психику своим мрачным стилем и производила почему-то угнетающее впечатление. Только голубое небо, сочный полдень и золотое солнце радовали глаза и порождали несбыточные мечты.

После первого смелого шага последовал другой, не менее решительный. На этот раз я пришел свой ОСТ так, чтобы достаточно было потянуть за узелок, нитка выдергивалась, и пришитый квадрат снимался. Иголку с запасом ниток я приколот за отворот пиджака и вышел в город, где меня ожидал Карел. Удалившись на достаточное расстояние от лагеря, я снял свой ОСТ, и мы пошли в кинотеатр смотреть фильм «Девушка моей мечты». Нашумевшая тогда цветная музыкальная комедия с участием Марики Рок произвела на меня огромное впечатление. Но то ли кинозвезда, то ли духота и темень кинозала, то ли голод, а всего вероятнее, это все вместе взятое подействовало на меня так, что я, едва выйдя из кинотеатра, тотчас бы упал от головокружения и подступившей тошноты, если бы не Карел.

Мой чешский приятель завел меня в кафе, напоил черным кофе и пивом, в какой-то подворотне пришел мне ОСТ и довел почти до самых ворот лагеря Остарбайтер.

Когда я стал менять махорку на картошку, подкармливаясь иногда по случаю на антресолях с чешской и в Кantine с немецкой кухни, мои кости понемногу начали обрастать хотя и тонким, но слоем мяса. Это питание от случая к случаю не могло, конечно, утолить постоянный, хронический голод, но все-таки я становился похожим на человека, а не на его остов. Мне уже не так больно было сидеть на жесткой лавке, как при Шнеллере, меньше выпирали мослаки.

Как-то в этот период времени немец-нормировщик из нашего котельного цеха, нестарый, довольно приятной внешности, почему-то симпатизировавший мне и ранее, с разрешения, а возможно, и по рекомендации Бруно Вахера, послал меня с запиской к себе домой для оказания помощи жене на приусадебном участке недалеко от завода.

Несколько позже мне довольно часто приходилось заниматься такой работой. А пока я помог хозяйке, дородной, но довольно подвижной женщине, окучить фруктовые деревья и покрасить их стволы известковым раствором, перекопать огород и полить его удобрениями, и выполнить множество сельскохозяйственных работ.

По окончании работ меня накормили и отпустили в лагерь.

Между прочим, когда я с жадностью поглощал пищу, добрая немка участливо смотрела на меня, покачивая головой и подливая суп. И каждый раз, проделывая эту операцию, задавала один и тот же вопрос:

— Ду бист нох хунгер (ты еще голоден)?

На следующий день ее муж разыскал меня на заводе, отвел в укромное местечко, чтобы никто не видел, и вручил мне хлебную карточку. Это было неслыханной наградой и большой неожиданностью для меня. Я так и застыл с открытым ртом, из которого готовы были сорваться, но так и остались, застряв на полпути, слова благодарности.

Я не стал сам отоваривать карточки из предосторожности, а передал их Карелу Типпнеру, и через день стал обладателем целого батона настоящего хлеба весом в тысячу граммов! Я перенес эту драгоценность в раздевалку, причем нес так, как мать новорожденного дитя. Там разрезал хлеб на пять частей с твердым намерением растянуть удовольствие на неделю. Но не тут-то было.

После того, как во рту исчез первый кусок хлеба, рука сама потянулась ко второму, третьему... и я даже не заметил, как исчез в моей ненасытной утробе весь килограммовый батон.

Сейчас, по прошествии стольких лет сравнительно благополучной жизни, мне самому трудно поверить, что я мог в один присест уничтожить буханку хлеба или большое ведро манной каши. Если б этого не произошло со мной самим, то рассказ о таком обжоре я, пожалуй, подверг бы большому сомнению. Но что было, то было, и от этого никуда не денешься.

...Так вот, когда я стал обрастать мясом, то осмелился посетить с моим чешским товарищем и покровителем цирк и один раз даже бордель, о котором мне часто рассказывал француз Жорж. В этом заведении для иностранцев мне, конечно, нечего было делать, но я пошел туда из чисто спортивного интереса, только в качестве гостя. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Мне хотелось иметь представление об этом любопытном заведении, которое не встретить в Советском Союзе и о котором в свое время прожужжал мне уши Жорж Роден.

Я и Карел заплатили за вход по марке и присели к столику. Заказали по кружке пива и порции салата, которые продавались без карточек. Нас и других посетителей обслуживали девицы в коротеньких плиссированных, как теперь говорят, супер-мини-юбочках и прозрачных кофточках. Покачивая бедрами, развязной заученной походкой они подходили к столикам, подносили пиво и закуски, демонстрируя привлекательность своего молодого, а иногда и не столько молодого, сколько подгримированного под молодость, эротического тела. Некоторые из них садились на колени посетителей, невинно болтали, покуривая сигареты и попивая пиво. Потом эти девицы уводили в номера доведенных до кондиции клиентов, взимая с каждого из таких нетерпеливых и жаждущих по десять марок за сеанс.

Этот второразрядный «дом терпимости» обслуживали в основном француженки и полячки. Были тут и две русские девицы.

Жорж Роден, частый посетитель и специалист по такого рода заведениям, рассказывал мне, что бордель — это самое безобидное и безопасное учреждение, так как все девицы подвергаются в нем частому регулярному осмотру со стороны медиков, и, кроме того, сами проходят курсы по медицине, прежде чем получить разрешение и допуск на такую почетную и ответственную работу.

Перед тем, как пригласить своих клиентов в постель, девицы тщательно осматривают не только кошельки гостей, но и...



Жорж говорил мне еще, что у них во Франции считается само собой разумеющимся делом, если девушка из бедной семьи, для того, чтобы заработать капитал и выгодно выйти замуж, предварительно поступает в бордель, где весьма быстро сколачивает себе более или менее приличное состояние для дальнейшей жизни.

Чего только не бывает на белом свете!

В номера к девицам я не заходил, и попасть туда не пытался, даже из праздного любопытства. Тем более что ходили слухи, будто эти фурии за деньги способны были даже мертвеца воскресить, расшевелить и заставить плясать под их дудку. И еще: не исключено, что за определенную мзду они все находились на службе у Гестапо, были у него платными агентами.

Одна милостивая француженка даже присела ко мне на колени. Но дальше ни к чему не обязывающей болтовни на немецком языке у нас дело не пошло. Моя «Жозефина», кроме кружки пива, от меня ничего не получила, и, поняв, с кем имеет дело, пошла к следующему столику. Вообще же из нашего лагеря регулярно пользовались услугами борделя только повара Федька и Костя по воскресеньям. Потом они всю неделю смаковали свои «героические подвиги».

Остальные смотрели и выслушивали их рассказы о похождениях совершенно равнодушно, мечтая скорее о лишней порции баланды, чем о девицах из борделя, которые не вызывали у большинства Остарбайтер никаких эротических и сексуальных эмоций, кроме разве только грустных сожалений о далекой Родине, мирном времени и покинутых друзьях.

Посещение цирка было для меня большим праздником, который мне подарил Алоис Полак. Море огней, пестрота одежды и парадность, свойственная любому цирку, конечно, произвели на меня большое впечатление. Артисты в нем были разных национальностей, преимущественно немцы, итальянцы, венгры и французы. Но номера их не отличались чем-то оригинальным и сложным. Может быть, из-за скудности питания в программу не были включены силовые и акробатические номера. Не знаю. Тем не менее, я пришел к выводу, что наш Советский цирк гораздо интереснее и сильнее немецкого.

После войны, побывав дома в цирке, я еще раз убедился, что наш цирк и наши артисты самые лучшие в целом мире.

После цирка я опоздал к восемнадцати часам в лагерь, и, естественно, угодил прямо в карцер, попав из света рампы во тьму карцера-одиночки. К счастью, в это время в лагере уже не было Шнеллера и его страшного Франца, и уже не били плетью, а только сажали за небольшие провинности в карцер-одиночку.

«Сажали» — это слишком неточное слово для помещения, куда попадал наказуемый, так как в нем можно было только стоять. Простоявший в таком вертикальном гробу человек утром, когда открывалась дверь, естественно, выпадал, а не выходил. Он падал от усталости, оцепенения конечностей и от слабости. Попробуй несколько часов, считай, всю ночь, простоять неподвижно, только шевеля пальцами рук и ног, в вертикальном положении! Зачастую люди теряли сознание. А еще ко всему провинившимся ребятам приходилось после всего этого идти на работу и проводить на заводе двенадцать часов.

Мне в тот злополучный понедельник повезло, потому что нужно было идти во вторую смену. Таким образом, я отделался сравнительно легким испугом, так как в карцере «просидел» три-четыре часа, не более, после чего пошел на завод. Но даже за эти несколько часов непредвиденного мною отделения цирка я хорошо почувствовал всю иезуитскую изощренность гестаповских пыток, из которых карцер-одиночка, «стоячий гроб», был самой невинной.

На работе я не в состоянии был стоять, не то, что катать баллоны. Я рассказал Бруно Вахеру о своем приключении. Он отправил меня в раздевалку поспать, а сам стал в это время на «шухер». Тело ломило.

Я не смог уснуть и растянулся как можно поудобнее на лавке, вверх животом, периодически шевеля пальцами ног и массируя отекавшие бедра и икры.

Так бесславно закончился мой поход в немецкий цирк и персональное «цирковое представление».

\* \* \*

В 1944 году Хемнитц, да и всю восточную часть Германии, начали усиленно посещать воздушные армады союзников СССР.

Незнакомое дотоле немецкое слово «Аларм» прочно вошло в обиход людей.

Вой сирен почти каждый день заставлял покидать рабочие места и уходить в бомбоубежища.

Я частенько наблюдал, стоя у входа в заводской бункер-бомбоубежище, как над Хемнитцем пролетали эшелон за эшелоном с запада на восток, а после бомбежки и перезаправки в обратном направлении американские и английские воздушные крепости.

Если Аларм случался ночью, когда мы были в лагере, нас будили. Выгоняли из бараков и вели в тесные бомбоубежища — щели, вырытые на территории лагеря.

Пока Хемнитц шадил, а вот Лейпцигу и Дрездену досталось крепко.

Я видел однажды ночью во время тревоги, как полыхало до рассвета зарево над одним из этих городов. До нас доносились лишь отдаленные глухие взрывы да освещающие на мгновение все небо, как зарницы, сполохи, сопровождавшие их.

В душе мы, конечно же, злорадствовали: наконец-то грянул гром, и на немецкие, разгряченные временными успехами, головы, обрушился холодный свинцовый ливень возмездия. Жаль только было таких порядочных немцев, как Зигфрид, Гюнтер, Генрих, дурачок Бруно и других, которые были представителями простого рабочего класса, и для которых фашизм тоже был горем и позором нации.

Наблюдая бомбежки из бомбоубежища, я обратил внимание на то, что немецкая противовоздушная оборона неплохо ведет стрельбу: снаряды зениток взрывались почти у самой цели. Однажды я видел даже, как прямым попаданием были поражены две «воздушные крепости». Они начали разваливаться в воздухе на части и медленно падать на землю. А из их чрева выпадали вслед за обломками самолетов живые комочки, над которыми потом раскрылись купола парашютов.

Вскоре на заводе появились первые пленные английские летчики. В отличие от французов, они вели себя чрезвычайно обособленно, ни с кем из иностранцев не вступая в контакт.

Меня неспроста удивила прицельная стрельба немецких зенитчиков, от которой авиация союзников начала нести большие потери во время налетов на Германию. Оказалось, что немцы к тому времени стали применять радарные установки с автоматической наводкой зениток.

На всякий яд появляется противоядие. Так и в этом случае: немцы против авиации противника применили радарные установки, а те, в свою очередь, тоже придумали защиту.

Как-то утром, после очередной воздушной тревоги и ночного налета авиации, мы обратили внимание на то, что двор лагеря и заводская территория покрыты серебристыми полосками амальгамы, как новогодняя елочка «дождиком». Оказалось, что их сбрасывали бомбардировщики союзников для того, чтобы дезориентировать радарные установки, работающие в автоматическом режиме с зенитками.

Следя за дальнейшими налетам «воздушных крепостей» днем, я видел, как из фюзеляжей бомбардировщиков, закрывавших полнеба, вылетали полоски фольги, и зенитки немцев непрерывно, не прекращая ни на минуту свою трескотню, стреляли в воздух. Но снаряды взрывались гораздо ниже и позади самолетов, которые спокойно проплывали эшелон за эшелоном над распростертым под ними городом.

Хемнитц пока оставался нетронутым. Его разбомбили в 1945 году, когда меня уже не было в этом городе.

Позже ребята из лагеря мне рассказывали, да и сам я, проезжая через Хемнитц, убедился: от Айзенбанверке буквально не осталось камня на камне, а бомбоубежища не задела ни одна бомба. Примыкавшие к заводской территории деревянные бараки лагерей французских военнопленных и русских Остарбайтер совершенно не пострадали, несмотря на то, что на завод было сброшено несколько тонн фугасных и зажигательных бомб. Погиб только один из наших парней, который во время тревоги не удержался и решил в суматохе поживиться продуктами на станции. Он вспыхнул и сгорел, как соломинка, в пламени зажигательных бомб. Об этом мне тоже рассказали ребята, видевшие все своими глазами, находясь в это время в Хемнитце...

В июле было совершено покушение на Гитлера, к сожалению, окончившееся неудачей. Я запомнил этот эпизод, потому что меня тогда разбудили после ночной смены и выгнали во двор, куда согнали всех, кто находился в это время в лагере. Нас выстроили вокруг висевшего в центре лагеря на столбе динамика и заставили слушать выступление своего невзрастеника-фюрера — Адольфа Гитлера. Вслед за ним выступил его послушная марионетка, идеолог и пропагандист Геббельс. Слова этих «деятелей», обращенные к немецкому народу, переводил и комментировал приведенный в лагерь специально для этих целей немец-переводчик.

Конечно, я не запомнил всего, что говорили эти два обреченных фанатика, но некоторые выражения из их речей память удержала.

Так, например, Гитлер говорил характерным лающим голосом истерика о том, что сам Господь Бог и его провидение сохранили его для немецкого народа и что он, как мессия, обязан спасти его от гибели и позора.

Геббельс в унисон своему фюреру подвывал, что Германия находится на лезвии ножа, но у нее в руках имеется секретное оружие невиданной силы, которое спасет немецкий народ от

большевиков и их союзников. «С нами Бог и наш фюрер», — кричал министр пропаганды, призывая к мужеству духа и терпению во имя спасения Рейха. Но, как ни изошрялись главари фашистской шайки в своих речах и призывах, обращенных к немецкому народу, всем было ясно, что «тысячелетний Рейх» лопается по всем швам и разваливается, что ему уже не поможет ни провидение, ни секретное оружие, ни другое чудо, выдуманное людьми, ни даже сам Господь Бог.

\* \* \*

Это лето и осень 1944 года запомнились выдающимися победами советских вооруженных сил и широким размахом национально-освободительной борьбы народов европейских стран против гитлеровских оккупантов. Красная Армия очистила территорию Советского Союза и успешно продолжала освобождать страны Европы от фашистской нечисти.

К этому времени не было на заводе, к сожалению, замечательного француза, моего друга и наставника Луи Журдена, а из ставших редкими встреч с Жоржем Роденом, Алоисом Полаком и Зигфридом я мог узнать только кое-что об отдельных эпизодах происходящих на восточном и западном театрах военных действий.

Правящие круги США и Великобритании видели, что дальше откладывать вторжение в Европу уже небезопасно для их собственных интересов, и, с опозданием на два года, открыли второй фронт.

Общего представления о том, что делается в мире, из куцых сообщений оставшихся иностранных друзей я сложить не мог, как когда-то по нарисованной Журденом карте. К тому же Бруно Вахер, с его кругозором, уровнем политических познаний и слухами, только путал представление об истинном положении вещей. Бруно, например, прибежал в раздевалку, затаскивал меня за загородку, пальцами выворачивал свои губы и говорил, что скоро сюда придут вот такие «Шварце Нигер» и будут насиловать всех немецких женщин, а мужчин жарить на кострах и съедать.

Смешно и горько было выслушивать этот дикий бред из уст Бруно и некоторых других представителей народа, недавно именовавших себя «избранной и самой цивилизованной расой».

Ясно было одно: зажатый с двух сторон в тиски зверь лихорадочно ищет выход из создавшегося положения, запугивая свой народ любыми, даже смехотворными выдумкам.

## 8. Путевой рабочий

В одну из осенних ночей, свободных от воздушных тревог, нас вдруг выгнали из барачных строений, отобрали около сотни человек из общей массы и повели на железнодорожную станцию. Там погрузили в пассажирские вагоны и повезли.

Мы уже привыкли к действиям немецкой администрации, отличавшейся быстротой и внезапностью принятых решений, не терпевших лишних вопросов. Мы ведь были рабочим скотом для них — «высшей расы».

И все же...

Куда? Зачем нас везли? На сколько? Никто ничего не знал.

Особых провинностей мы вроде за собой не чувствовали, но вместе с тем на какое-то снисхождение к нам со стороны фашистов надеяться не приходилось. Успокаивало только то, что в тамбурах и купе вместо проводников сидели старенькие полицейские из Фольксштурма, а не гестаповские жандармы.

Для нас ничего сложного, в общем-то, не составляло сбросить на ходу с поезда такую «грозную» охрану, самим же броситься наутек. Но, как говорится, не зная брода — не суйся в воду. Не зная своих координат в пространстве, убивать ни в чем не повинных старичков и самим подвергаться неоправданному риску было глупо. Я оделся, вышел в тамбур, закурил сигарету и стал выведывать разными путями у полиция, куда мы едем. Он сказал, что везут нас на северо-восток, на стройку. А что, где точно и для чего предстоит строить, он и сам не знал.

К вечеру следующего дня мы остановились на какой-то узловой станции. Переспали в вагонах, а утром нас вывели и пересчитали, что делалось каждый раз по навсегда установленному порядку — Орднунгу.

Наш состав состоял из восьми пассажирских и двух товарных вагонов. Весь этот поезд загнали в тупик. Из одного товарного вагона выгрузили кайла, лопаты, ломы, треноги с маркшейдерским инструментом и чемоданчиками; из другого вагона — три щитовых домика под кухню, баню и туалет.

Первый день ушел на устройство нашего лагеря. Когда построили привезенные атрибуты для жилья, мы поняли, что здесь обосновываемся не на один день, а надолго.

Хемнитцкая группа поместилась в трех пассажирских вагонах. Еще в трех жили ребята из других городов Германии. А в двух последних, которые, как и три предыдущие, подцепили к нам на каком-то полустанке, расквартировались «нечистокровные арийцы», или, как их называли нацисты, «Гальбюде» (полуевреи).

В каком колене эти люди были евреями, неграми или поляками, трудно было подсчитать, но после покушения на Гитлера их всех загнали, впрочем, как и всех остальных «неблагонадежных», за колючую проволоку, в концентрационные лагеря.

Через день после нашего прибытия на станцию подвезли рельсы, чугунные шпалы, стрелочные переводы, накладки, подкладки, костыли и прочие принадлежности для железнодорожного строительства. Одновременно прибыло и несколько мастеров и здоровенный тучный немец, внешне похожий на Геринга, — Отто Штирер, — начальник строительства или, как его почтительно называли немцы, «Герр инженер».

В общем, этот Отто оправдывал свою фамилию, которая в переводе с немецкого на русский язык обозначала «Бык». Особое сходство с этим животным Штиреру придавала маленькая рыжая шляпа с небольшими полями и кисточкой на боку, неизвестно каким образом удерживавшаяся на макушке крупной головы этого борава Отто.

Прибывших рабочих разбили на несколько бригад. Первую послали километров за пятнадцать в лес корчевать пни, пилить деревья и расчищать место под строительную площадку; вторую — развезти рельсы и шпалы вдоль трассы, и, наконец, третью, самую многочисленную, оставили для укладки шпал, рельс и их подштопки балластом.

Несколько человек работало с геодезистами на разбивке трассы и строительной площадки под будущие корпуса и общую территорию будущего неизвестного нам сооружения в лесу. И, кроме того, кажется, еще одна бригада работала на погрузке и разгрузке балласта. Эти работы выполняли Гальбюде. Их вообще держали подальше от нас, на работах, не дающих нам контактировать.

В отличие от ставшей привычной для Остарбайтер жизни за колючей проволокой в лагере Хемнитцкого Айзенбанверке, здесь была создана обстановка кажущейся свободы. Но на самом деле мы все время находились под пристальным вниманием мастеров и полицейских, которые не спускали с нас глаз. Стоило кому-то сойти с трассы или отлучиться по естественным надобностям, как тут же раздавался окрик:

— Хальт! Вогин гейст ду?<sup>1</sup>

Сейчас, вспоминая, как во сне, то тяжелое время, я вижу перед собой согбенные фигуры своих товарищей, обездоленных восточных рабочих, которые уже не надеялись, да практически уже и не могли избежать истощения организма. Их помыслы были направлены только на насыщение своих желудков, пустых, как барокамеры.

Очевидно, среди заправил Рейха, а вернее, у них на службе были неплохие психологи, потому что с первого дня, как только люди попадали на территорию Германии, начиналась их психологическая обработка. Голодом, насилием и безысходностью подавлялись в человеке воля и стремление к свободе. Люди под действием таких мер в большинстве своем превращались в послушное орудие своих хозяев. Если находились смельчаки, которые пытались сохранить и защитить свое человеческое достоинство, то от таких быстро избавлялись: стреляли, вешали, высылали в концентрационные лагеря, где режим был еще невыносимее, или упрятывали в Кранкенхаус для экспериментирования.

Так работала фашистская отлаженная машина, направленная на производство покорных рабов. Все эксперименты с непокорными проводились у остальных на глазах, соответствующим образом рекламировались, чтобы возможно больше давить на психику. Таким образом достигался запланированный эффект.

За время моего пребывания в Хемнитцком лагере шесть или семь человек пытались сбежать. Каждого из них в тот же или на следующий день ловили, привозили в лагерь показать нам, прилюдно избивали и отправляли в Бухенвальд или другой концентрационный лагерь смерти. Лишь одного из совершивших побег мы так и не увидели. Правда это или ложь, но тогда, по заявлению лагерфюрера Шнеллера, беглец был растерзан овчарками, так как при поимке оказал сопротивление. Палачи даже для убедительности показывали кусок якобы его рубахи, залитый кровью.

---

<sup>1</sup> Стоять! Куда идешь?

Практически бежать из глубины страны без знания языка было невозможно. Кроме того, надо было хорошо знать географию и иметь приличный запас продовольствия, а также большое везение и удачу. Но самое главное, что затрудняло побег, было, пожалуй, избежать встречи с населением, так как в такой стране, как Германия того времени, народ был настолько запуган собственным режимом, что каждый немец готов был предать соседа ради своего сиюминутного благополучия, даже друзей и родных, не говоря уж о выдаче властям какого-то Остарбайтер.

Из такой страны с устойчивым тоталитарным режимом удачно бежать мог один из тысячи и то в эшелоне с военными или по воздуху.

А мое положение было вдвое трудней, чем у любого из соседей по нарам, поскольку украинцем Марком Билым я был только здесь, в лагере, где хранились в канцелярии мои документы, являвшиеся своеобразным табу для моей личности.

Во всех случаях проявление мной свободолюбия сверх установленной Орднунгом меры вело меня прямой дорогой к виселице.

С 1942 года окружавшие меня люди за эти два года, проведенные в Германии, были физически и морально так истощены и угнетены, что уже не в состоянии были бежать и не пытались, а лишь иногда оказывали пассивное сопротивление своим палачам в виде отказа от службы в РОА и участия в других массовых мероприятиях.

Когда же дело пошло к поражению Рейха, то все порабощенные иностранные рабочие старались как-то выжить, чтобы дожидаться освобождения, и больше всех этого дня ждали Остарбайтер.

На новом месте сначала я попал в бригаду, которая занималась укладкой шпал, рельсов, их закреплением и подштопкой. На каждой рельсе и корытообразной чугунной или стальной шпале стоял штамп фирмы «Круп».

Работа путеукладчика, надо сказать, довольно нудная и тяжелая: переносить рельсы вдоль трассы, забивать костыли, предварительно установив подкладки и между рельсами накладки, а потом весь день, не разгибая спины, подбивать кайлом через каждый метр щебенку под шпалы, пока не выровняется в две параллельные нити весь железнодорожный путь.

Чтобы эта работа меньше нас выматывала и не приедалась, бригады через определенное время меняли местами. Так, дней через десять я переместился в лес на корчевание пней и расчистку строительной площадки.

В лесу хорошо. Вокруг свежий воздух и благодать. Перебивая стук топора, визг пил, скрежет лопат, до слуха доносилось щебетание птиц и стук дятла, кукование кукушек. В глубине леса встречались белки и даже олени.

Неподалеку от места, где мы работали, стояла небольшая рубленая избушка, возможно, служившая когда-то прибежищем для охотников или лесничего. Вдоль стен внутри этого скажного домика были поставлены лавки, посередине стоял стол из толстых бревен, и, что самое главное, в избе была отличная печь и соль на длинных полках вдоль стен.

Непосредственно к лесу примыкало большое картофельное поле, а в самом лесу, кроме животных, встречались ягоды и множество грибов.

Картошка с поля была уже убрана, но, не знаю для чего именно (ведь немцы очень аккуратные и экономные хозяева), на перепаханной земле было оставлено через не слишком большие промежутки много картофеля и такого же, как он, по размеру булыжника.

В первый же день по прибытию в лес мне выпала очередь дежурить.

Ребята сложили в избушке на полках котелки и пошли пилить деревья и корчевать пни, а мне и напарнику Паше Кухтинову заказали к обеду грибной суп с картошкой и на закуску ягоды.

Что ж, заказ надо выполнять.

Грибы и ягоды мы собрали быстро, причем грибы отличные: боровики и маслята, рыжики и шампиньоны, опята и лисички, и еще множество всяких съедобных грибов, толк в которых знал Кухтинов. Он прекрасно в них разбирался и по ходу дела называл мне наименование гриба и учил отличать полезные грибы от плохих и ядовитых, то есть несъедобных.

С картошкой дело обстояло несколько сложнее. Нам надо было пройти по полю и набрать ее так, чтобы нас не заметили свои мастера и полиция из охраны, и не попасться на глаза какому-нибудь немецкому бауэру.

Я и Пашка вышли на опушку леса и стали, прячась за деревья, обходить картофельное поле со стороны, противоположной той, где работали наши ребята. Поскольку они были в лесу, а мы ушли на несколько сот метров от места их работы, то были уверены, что нас издали на таком расстоянии не только полиция, а и свои не признают.

Картошки было много, поле большое. Мы постепенно увлеклись сбором разбросанной по полю картошки, набили ею полные пазухи и, поддерживая руками рубашки у пояса, почти не разгибались.

Довольные добычей и удачей, мы выпрямились и только тут заметили, что перед нами, как из-под земли, вырос огромный немец с велосипедом и охотничьим ружьем.

— Хальт! Хенде хох, швайн!<sup>1</sup>

Двуствольное ружье было направлено прямо на нас. Своим воинственным решительным видом разъяренный бауэр показывал, что не замедлит пустить в ход оружие, если мы не остановимся, а будем бежать прочь. Но бежать уже было поздно и некуда, да и сил на это не оставалось.

Кухтинов начал медленно поднимать руки, которыми придерживал на поясе картошку, и та, освобожденная, затарахтела, скользя по ногам, о землю. Краем глаза с грустью взирая на крах нашего предприятия, я попытался все же, боясь оторвать руки от картошки, поправить дело:

— Их канн ниht майн Ганд ергебен...

Немец злорадно усмехнулся и потребовал подойти поближе. Мы робко приблизились, подозрительно глядя на его двустволку, которую тот не отводил, держа все время нас на прицеле. Между тем в моей голове мелькали мысли, что скоро война окончится, и глупо так никчемно в конце ее погибнуть. А от этого насупившегося жирного борова ничего хорошего ожидать не приходилось.

«Может быть, поднять руки, как Пашка, и высыпать картошку — пусть ею подавится? Иначе... мы здесь... будем лежать мертвыми на поле, а в лесу даже не узнают об этом и станут ждать с обедом голодные ребята, наши товарищи» — так думал я, в растерянности, с выпиравшей из-за пазухи, с трудом собранной на поле картошкой, с которой расставаться не хотелось.

И тут Пашка Кухтинов, ни слова не понимавший по-немецки, начал, жестикулируя, объяснять бауэру, что здесь картошка валяется под ногами и гниет, а мы — голодные — работаем и едим одну только брюкву и кольраби, от которых лишь дует живот. При этом Кухтинов так выразительно подносил руки к своей заднице и, надувая щеки, произносил: «Пф-ф-ф! Пш-ш-ш!», что был правильно понят жирным борова.

Ошарашенный немец некоторое время молчал, потом надел на плечо ружье, сел на велосипед и поехал прочь. А мы подобрали рассыпанную Пашкой картошку и пошли с этой драгоценной ношей к заветной лесной избушке.

Из вареной картошки и грибов получился прекрасный суп, хотя в нем и не было ни грамма жира. Главное, что ребята остались довольны обедом.

О происшествии мы, разумеется, никому ни слова не сказали, но от последующего исполнения поварских обязанностей отказались единогласно, предупредив ребят, чтобы при сборе картошки выставляли наблюдателей.

Всю неделю, пока я работал на корчевке деревьев, наша лесная бригада шикарно питалась. Я даже умудрялся приносить грибы и картошку на ужин к себе в вагон. Потом начал оставлять кусочек маргарина от завтрака и бросать его за обедом в котелок. Получалась удивительная вкуснятина, в которой грибы заменяли мясо. Смесь баланды из шпината, крапивы, брюквы или кольраби с картофельно-грибной юшкой делала нашу пищу витаминной и почти калорийной. Иногда я даже наедался и некоторое время не чувствовал голода и ноющей боли в желудке. Здесь, работая в путевой бригаде, я начал, наконец, выходить из состояния дистрофии. Если бы в это время мне попало, как когда-то в Хемнитце, ведро манной каши, то я, пожалуй, уже не смог бы одолеть его в один присест...

## **Глава 9. Рожденный заново**

### **1. Мои художества**

Однажды, когда я снова работал в путевой бригаде на линии, к нашей группе вместе с мастером подошел «герр инженер» Отто Штирер. Он ткнул в меня указательным пальцем:

— Ферштеен ду Дейтш?

Не понимая, к чему он клонит, я осторожно ответил:

— Айн бисхен<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Стоять! Руки вверх, свиньи!

<sup>2</sup> Немного.

— Гут, ком мит<sup>1</sup>.

Штирер отвел меня на несколько шагов, сказал, чтобы я выбрал себе напарника и пошел в город к нему домой напилить и нарубить дров.

На станции, где стоял наш состав, я жил в одном купе пассажирского вагона с Василием Охрименко, Иваном Чабаном и Николаем Левченко. Последний был немного выше меня ростом, на год моложе, красивый, смуглый, черноглазый парень с Украины. В путевой бригаде на железной дороге мы с ним почти всегда работали вместе. В этот день тоже. И я, долго не раздумывая, взял его в напарники.

В сопровождении полицейского, с запиской Штирера, мы направились в город.

Город — слишком громкое слово, так как это был маленький пристанционный поселок городского типа. Промышленными предприятиями здесь и не пахло. «Многочисленное» население его, которое не превышало и пяти тысяч человек, занималось в основном сельским хозяйством и обслуживанием железной дороги.

Усадьба, в которую привел нас полицейский, располагалась на тихой улице и состояла из большого фруктового сада, огорода, типичного немецкого двухэтажного кирпичного дома с высокой крышей под черепицей, чердачное отделение которого могло служить одновременно и спальней, и прачечной.

Во дворе были еще строения: большой кирпичный сарай, погреб, баня и туалет с двумя цементными выгребными ямами.

На всем этом хозяйстве лежала какая-то печать запустения и заброшенности.

Мне немного потребовалось времени, чтобы понять, что эта усадьба принадлежала до войны достаточно зажиточным людям. Они умели толково и экономно вести свои дела: все здесь было расположено рационально, весь получаемый от каждого клочка земли продукт, даже отходы, шли в дело и давали прибыль хозяину.

В большом сарае были устроены отсеки для хранения дров и угля. Кроме того, там имелись перегородки, где были стойла для лошадей, коров и прочего домашнего скота. В сарае я даже заметил отделение, в котором стояли: автоклав, нечто вроде механической соковыжималки и приспособление для консервирования фруктов.

Еще меня приятно поразило то, что опавшие с деревьев листья и плоды не сжигались, как у нас, и не пропадали зря. Все это осенью собиралось и сбрасывалось в одну из выгребных ям туалета. Перебродив с экскрементами за зиму, опавшие листья и фрукты становились прекрасным удобрением, которым весной поливали огород, не травя землю химикатами.

В усадьбе жила моложавая, привлекательная, белокурая вдовушка лет тридцати пяти, а может, и меньше. Заниматься и поддерживать все это, некогда цветущее, хозяйство фрау было не под силу, да и незачем. Лошадей, коров и прочую живность она продала. Держала только несколько кур-несушек и сдавала меблированные комнаты первого этажа нуждавшимся в жилье холостякам и одиноким немцам вроде Отто Штирера.

Эта женщина с первого взгляда понравилась мне и своей внешностью, и голосом, наполненным какой-то обреченностью и грустью, и в то же время лаской, сочувствием и пониманием.

Эльза (так звали хозяйку усадьбы) впоследствии рассказала мне, что ее родители умерли еще перед войной в Испании, в 1939 году, муж и брат погибли на восточном фронте, а ее единственного ребенка, восемнадцатилетнего Августа, вместе с прочими гитлер-югенд забрали еще весной в армию, и никаких вестей от него она с тех пор не получала.

Два или три дня мы с Николаем с утра отправлялись к Эльзе. Пилили, рубили и складывали в сарай дрова. Потом она сказала, чтобы я заходил к ней один, и Коле пришлось вернуться назад в бригаду.

Дни, проведенные у Эльзы в усадьбе, хорошо запомнились, так как меня, во-первых, никто не подгонял, во-вторых, я был почти сыт, и, в-третьих, усадьба отдаленно напоминала мне хозяйство Бухариных и мое довоенное житье-бытье: небольшой сад и огород при доме, где постоянная возня с землей, деревьями и цветами всегда доставляла мне удовольствие. Чем старше я становился, тем большее место начинало занимать занятие землей после занятий спортом. Так что сельскохозяйственные работы стали моим хобби.

Эльза была интересной и одновременно работающей бабенкой. Она собирала со мной граблями листья и паданку в кучи. Потом мы грузили все это на тачку и вывозили в выгребную яму. Окучивали и утепляли стволы деревьев, копали картошку и свеклу, убирали морковь, помидоры, огурцы и другие овощи на огороде. Собирали фрукты в саду. Складывали собранный урожай в сарай и погреб.

<sup>1</sup> Хорошо, иди со мной.

Все дни, что я находился у Эльзы, мы дружно, наравне работали и ели. Хозяйка с грустью во время отдыха рассказывала мне о своем безвозвратно ушедшем прошлом. Она без стеснения и боязни проклинала Гитлера, отнявшего у нее младшего брата и мужа, и молила Бога, чтобы он вернул ей единственного сына.

В такие минуты Эльза напоминала мне «Кающуюся Магдалину» Эль Греко.

Я подозревал, что мой благодетель Отто Штирер нескучно проводил вечера и ночи с этой аппетитной вдовушкой, которая днем отмаливала грехи, содеянные в темный период. Я же для нее был кем-то вроде духовника или пастыря.

Как-то во время одной из наших такого рода интимных бесед мне пришла в голову мысль нарисовать портрет Эльзы. Я рисовал неплохо, у меня получались хорошо перерисовки с картин и портретов, но никогда не рисовал я с натуры и не умел этого делать. Поэтому попросил хозяйку дать мне ее фотографию для увеличения. Она нашла такую, размером примерно шесть на девять, и вручила мне.

С фотографии на меня глядело прекрасное юное создание лет шестнадцати-семнадцати от роду, с распушенными светлыми волосами и большими задорными глазами. Оригинал отдаленно напоминал фотографию, только когда-то веселые глаза были теперь столь же выразительны, но уж очень грустны и безнадежно утратили задор молодости. Когда я об этом сказал Эльзе, она посмотрела на меня долгим взглядом, тяжело вздохнула и сказала:

— Аллес фергеен, Марко, аллес фергеен (все прошло, Марко, все прошло).

Это было в последний день нашей совместной работы и душевной беседы.

Мы распрощались с Эльзой как хорошие добрые друзья, и я ушел с ее фотографией в кармане. Мне хотелось сделать для Эльзы что-нибудь приятное за ее доброту и доверие и вместе с тем оставить о себе память.

Дней десять я затратил на искусство, и, поскольку в это время снова работал в путевой бригаде и к Эльзе уже не ходил, то выбрал ближайший выходной день и отправился к хозяйке с готовым портретом в гости.

Надо сказать, что охраняли нас к тому времени довольно условно. Считали только утром и перед сном, а в остальное время и в воскресенье можно было смыться куда угодно с разрешения мастера или полиция-охранника, которые, в свою очередь, передоверяли поддержание порядка старостам вагонов. Учитывая этот принцип распределения ответственности, мы старались обо всем договориться со старостой. Важно было только вовремя попасть на пересчет и меньше мозолить глаза мастерам и полициям, чтобы не подвести своего старосту.

Так в воскресный день с трубочкой под мышкой я предстал перед ясные очи голубоглазой Эльзы, вдовушки-красавицы.

Она встретила меня в замечательном голубом шелковом халате, который очень шел к ее белокурым волосам и подчеркивал голубизну ее больших прекрасных глаз. Эльза в этом наряде была настолько хороша и эффектна (и она знала об этом), что я не в силах был оторвать взгляда от этой, в общем-то, молодой цветущей женщины...

Кого он ждала?

Во всяком случае, не меня.

Тем не менее, Эльза взяла меня за руку и повела к себе в комнату на второй этаж. В доме никого не было. Я развернул ватман и поставил его на туалетный столик так, чтобы полусвет выгодно оттенял портрет. Эльза прихлопнула в ладоши и воскликнула:

— О, Марко, ду бист Вундер!<sup>1</sup>

С этими словами она поцеловала меня в щеку и погладила по голове, как сына...

И надо же было, чтобы в это мгновение в дверном проеме возникла, заслонив собой все пространство, тучная фигура Отто Штирера! Красный, с налитыми кровью глазками, как разъяренный бык, он ворвался в комнату, выхватил из кармана маленький браунинг, направил на меня и стал изрыгать на нас обоих всевозможные проклятия.

Я не в силах сейчас их перечислить, так как за сорок два года успел многое позабыть, да и не все понял из его тирады. Но смысл слов ревнивого постояльца в переводе на русский цензурный язык сводился к следующему: за связь с немкой иностранец, а тем более, русский, по законам Рейха подлежит повешению или расстрелу, а немка-любовница — стрижке волос, осмеянию у позорного столба и отправке в концлагерь. Меня — «ундербар Гунд» (неблагодарную собаку) он собирался тут же пристрелить, уверенный в том, что за это убийство не понесет никакого наказания. Даже, может быть, поощрение...

<sup>1</sup> Чудо!



И в который раз мне подумалось: «Вот и настал глупейший конец моим мытарством «Вечного жида», о котором рассказывал Остап Бендер в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова. Только я погибну не от рук петлюровцев и, что обидно, не потому, что я — «жид», а от руки ревнивого нациста за мнимую связь с арийкой».

Эльза, поняв, что дело принимает серьезный оборот, выскочила вперед, как пантера, загородив меня собой и расставив руки, не давая мне выходить к Отто и тому приблизиться.

Лучший способ защиты — это нападение. Эльза использовала его в полной мере.

Я никогда не видел такой разъяренной бабы!! Халат, ее шикарный халат, распахнулся, обнажив красивые стройные ноги, волосы распустились, лицо покраснелось. Она была прекрасна и страшна в своем гневе. Эльза называла своего жильца «думмкопф, генгст, феттер путер», что значило «глупец, жеребец, жирный индюк», и еще Бог знает кем и чем до тех пор, пока он не упрятал оружие и отступил, выпуская меня из этой злополучной усадьбы, минуту назад казавшейся мне раем и моментально превратившейся в ад.

Я, как ошпаренный, вылетел со второго этажа через сад и калитку на улицу и лишь в конце забора остановился, повернулся лицом к дому и послал в адрес Отто и его прекрасной дамы трехэтажный мат...

Да простит меня за это ни в чем не повинная красавица Эльза!

Немного отдышавшись, я зашагал в сторону железнодорожной станции к своему составу, вагону и купе. На вопросы Николая, Ивана и Василя, почему так быстро пришел и что принес за свои труды, я со злостью вытащил из кармана руку и скрутил большую дулю.

Больше к Эльзе я не ходил. Не пошел и тогда, когда Отто отозвал меня в сторону, вручил пакет бутербродов и вроде виновато попросил, чтобы я снова пришел помочь Эльзе по хозяйству...

По всем признакам война подходила к своему законному концу.

Глупо рисковать жизнью не хотелось. А я, без особых на то причин, уже дважды в течение одного месяца стоял под дулом...

## 2. Концессионеры

Еще во время первых посещений Эльзы я и Николай заметили, что бауэры на своих картофельных полях копают неглубокие, шириной метров десять и длиной не менее тридцати метров рвы, засыпают их картошкой, а потом перекрывают эту искусственную пирамиду соломой вперемешку с конским навозом. Образуется так называемый «кагат» с отдушинами сверху — прекрасный напольный погреб, в котором картофель хранится всю зиму до самой весны. В Германии зимы не суровые, и устройство кагатов, как оказалось, обычное дело.

«Кагаты» никем не охранялись, так как каждый бауэр был уверен в неприкосновенности своей личной собственности... пока русские Остарбайтер не внесли в эту уверенность некоторые поправки.

Я и Николай до поры до времени помалкивали о сделанном нами открытии. Когда же на поле, вдоль которого мы прокладывали железнодорожное полотно, картофельные запасы исчерпались, мы собрали в своем купе Совет вагона.

На Совете присутствовало по представителю из каждого купе. Общую обстановку доложил Николай Левченко. Я предварительно начертил на листе бумаги топографическую карту, на которой обозначил восемь или десять известных нам с Николаем кагатов. Еще семь обозначили остальные ребята из нашего вагона. Эти нанесенные на бумагу «объекты», или «продовольственные запасы», мы обозначили номерами и разыграли между купе как беспроигрышную лотерею.

Слово взял Василь Охрименко — староста нашего вагона, парень из-под Киева. Он хорошо знал немецкий язык, иногда выступал у нас в качестве переводчика, была старше остальных по возрасту и пользовался авторитетом среди товарищей. Василь прежде всего попросил всех присутствовавших предупредить жителей нашего вагона, чтобы тайна источника питания ни при каких условиях не была разглашена по составу; выходить на добычу только вдвоем и строго по графику с часа ночи до четырех утра; после своей «работы» тщательно заделывать отверстия в кагатах, не оставляя никаких следов; стараться держать картошку в тайниках вне вагона.

Нарушители данного соглашения по решению Совета подлежали строгому и немедленному наказанию — снятию с довольствия без выходного пособия до конца сезона.

Хотя наш Совет и напоминал чем-то «конференцию детей лейтенанта Шмидта», но на нем была принята не менее важная конвенция, справедливо распределены меж членами «корпора-

ции» эксплуатационные участки, точно и четко установлен порядок разработки «концессии».

Два кагата, доставшиеся нашему купе, располагались километра за три от станции, на поле, со всех сторон окруженном лесными полосами, одним краем примыкавшем к небольшому хутору. Участок, как участок: не далеко и не близко. Главное, что мы почувствовали себя собственниками «продовольственного склада».

Разбившись на два добычных звена, мы стали по очереди ходить за картошкой: я в паре с Иваном Чабаном, Николай Левченко с Василем Охрименко. Добыча наша хранилась в надежном тайнике, делилась поровну между членами нашей четверки. Запаса от одной «взятки» хватало обычно на неделю-полторы, не больше, потому что аппетиты у нас в то жуткое время были зверские. Так и ходили мы по графику каждые десять дней собирать урожай: то я с Иваном, то Николай с Василем.

Риск был большой, я это понимал, и каждый раз, отправляясь в поход, соблюдал максимум предосторожности, вспоминая свою встречу с вооруженным бауэром. Но то было днем, это — ночью. То мы собирали валявшееся на поле, а это — ворует из кагатов. Попадись мы ночью любому бауэру на месте преступления, он бы, не раздумывая, выпустил бы в нас заряд из двух стволов одновременно. А дальше — поминай, как звали...

Но голод гнал нас на этот огромный, однако оправданный, риск.

Однажды, в очередную вылазку, мы с Иваном поднялись ровно в полночь, оделись потеплее, так как ночь была темная и холодная, осторожно прошли мимо дремавшего в первом купе полицейского и вышли из вагона. Затем достали из тайника два мешка, завязанных веревками по углам наподобие рюкзаков или солдатских вещмешков, одели их на плечи, перешли через многочисленные нити железнодорожных полотен, спустились с насыпи и двинулись по направлению к лесу, за которым простиралось заветное поле с «нашими» кагатами.

Я шел, едва поспевая за Иваном и спотыкаясь о многочисленные кочки.

Еще когда мы вышли из тускло освещенного вагона наружу и погрузились в темноту ночи, я почувствовал что-то неладное со зрением. Надо было предупредить об этом Ивана и вернуться. А я промолчал и пошел, как слепой, за товарищем, вытянув руки вперед, ничего не различая, кроме его спины, и надеясь, что вот-вот наступит адаптация, и я буду снова все хорошо видеть. Но серая пелена все время мешала глазам и не проходила. Я боялся даже всерьез подумать и признаться, что обнаружил у себя признаки «куриной слепоты», и только попросил Ивана идти не так быстро.

В первую совместную экспедицию я вел напарника к заветным кагатам, прекрасно ориентируясь на местности.

В этот раз он шел впереди, а я — за ним следом, боясь потерять из виду маячившую вперед спину товарища, которую определял скорее по звуку шагов и дыханию, чем по силуэту, ощущая его близость.

Выйдя из рощи, мы прилегли на землю: поле было пустым и ровным, кагаты на фоне серого неба не вырисовывались. То, что я их не увидел, меня не удивило, но то, что кагаты не обнаружил Иван, у которого было соколиное зрение, и который прекрасно ориентировался в темноте, — настораживало. Неужели заблудились?

По времени, проведенному в дороге, мы должны были быть около кагатов. Может быть, из лесу мы вышли не на то поле? А я ничего не мог вразумительно сказать, потому что шел слепо за Иваном.

Я предложил постоять и спокойно подумать, разобраться по порядку, как мы двигались после того, как спустились с насыпи, проследив каждый наш шаг по местности.

Так постепенно мы выяснили, что находимся по правую сторону лесосеки, а «наше» поле должно быть слева.

Примерно через час мы подползли к заколдованным буртам картошки, и, лежа на холодной земле, стали наполнять мешки.

«Работу» по добыче картофеля из кагатов легкой не назовешь. Сначала нужно аккуратно по слоям снять укрывавшую картофель «шубу» толщиной не менее сорока сантиметров, причем разрабатывать этот забой полагалось под углом не менее тридцати градусов вверх, чтобы картошка сама сыпалась в подставленный мешок. Добытчику оставалось только время от времени шевелить ее кистью руки. Потом образованное отверстие необходимо было тщательно послойно заделать, чтобы не оставить никаких следов от ночной вылазки. Эта работа, особый вид добычи провианта, — целая наука.

Под прикрытием кагатов, делавших нас незаметными со стороны хутора, нагруженные картофелем, мы по-пластунски отползли к лесу. На опушке поднялись, отряхнулись и с со-

знанием выполненного долга, так как дальше оставались сущие пустяки, зашагали к станции. Когда поднялись на насыпь, было уже, наверное, часа три ночи.

На станции, обычно тихой и пустой в это время, чувствовалось оживление. Пути были забиты воинскими эшелонами.

— Ну, брат, мы, кажется, влипли, — сказал Иван. — Там полно фрицев.

— Давай немного подождем, может быть, разъедутся, — неуверенно предложил я.

— Не похоже. Пошли лучше к туннелю, не то здесь погорим.

Я согласился, и мы пошли к водосбросному туннелю, находившемуся за полкилометра от наших вагончиков, почти около самого здания станции.

Хоть я немного и попривык к темноте, но все же еще плохо различал предметы. Стараясь не упустить из виду товарища, я неуклюже начал сходить по диагонали с насыпи.

Наверное, спускаясь, я наделал много шума, потому что на путях вдруг поднялся переполох. Мы услышали выкрики часовых и выстрелы. Бросились бежать к туннелю.

Что за невезение?

Что за тяжелая ночь сегодня?

То никак не могли найти кагат, а теперь остается потерять добычу, а самим попасть под пули «фрицам»...

Я задышался, в висках стучали молотки, а я летел, стараясь не отстать от напарника...

Мы почти одновременно нырнули в туннель и проползли по нему на противоположную сторону. Там, на выходе, укрыли в канаве, чем только было возможно, наши мешки, кое-как привели себя в порядок, крадучись добрались до сборных домиков — наших подсобок, а от них поднялись к вагону.

На станции продолжалась стрельба и переполох, возникший из-за моей неловкости. Однако у наших вагонов стояла спокойная тишина, не вызвавшая у нас никаких подозрений. Мы быстро разделись, спрятали под матрацы одежду, влажную, грязную и могущую с головой выдать, чем занимались в эту ночь ее хозяева. Тем не менее, проделав эту работу, мы улеглись на полки и притворились спящими...

Между прочим, мы так стремительно ворвались в вагон и промчались мимо дремавшего старика-охранника, что он никак не мог не заметить беглецов-воришек. Тем не менее, он не шелохнулся и не подал виду, что засек нас.

И когда, примерно через час, офицер из железнодорожной охраны учинил ему допрос: «Все ли на месте в вашем вагоне? Не укрываются ли в вашем вагоне среди Остарбайтер диверсанты?» — наш старичок спокойно ответил, что стоит на вахте уже восемь часов, и что за это время никто из вагона не выходил и в вагон не входил: ни из своих, ни из чужих.

Только через ночь, когда страсти поутихли, и воинские эшелоны покинули станцию, мы смогли перенести свою добычу в тайник и возобновили временно отложенные походы.

В ту ночь, когда мы с Иваном уже спокойно перетаскивали картошку, я понял, что стал плохо видеть в темноте и ориентироваться — тоже. При дневном свете зрение оставалось почти таким же, как и прежде, а ночью...

Кто-то из ребят посоветовал есть побольше морковки, и я при каждом удобном случае стал на нее налегать, соперничая с кроликами. Зрение действительно немного улучшилось, я стал более или менее ориентироваться ночью, но все же не так, как раньше.

### **3. Второй фронт**

Наступил 1945 год.

В первых числах февраля над нашей небольшой станцией впервые пролетели краснорозетные самолеты. Они сбросили листовки, оставив в воздухе необычные следы своего полета: густые туманные полосы, как от дымовой завесы.

В листовках сообщалось о состоявшейся в г. Ялте конференции глав правительств трех держав-союзников и изображены сидящие рядом со Сталиным Рузвельт и Черчилль.

Текст листовок был напечатан на нескольких языках: русском, английском, французском и немецком.

С восторгом и гордостью мы взирали на близкие и такие далекие, дорогие и милые, до боли родные сердцу нашему самолеты, и завидовали белой завистью летчикам, сидящим в них за штурвалом.

В эти дни «гальбюден» перестали направлять на железнодорожные работы, а, построив утром одновременно с нами, стали уводить под конвоем в город. У одного из них я узнал, что

«гальбюден» водят в городишко на строительство противотанковых укреплений. Почему именно здесь, в этом маленьком городке, строятся такие укрепления? Все задавали себе этот вопрос, но никто не мог на него ответить.

На станцию начали прибывать эшелон за эшелоном с эвакуирующимися немцами из восточных районов Германии. Нашкодившие бюргеры пытались укрыться от возмездия. Вся фашистская нечисть спешила на запад.

У них, конечно, ничего толком нельзя было узнать об обстановке на восточном и западном фронтах, потому что они нас, Остарбайтер, боялись и шарахались от нас, как от чумы.

И тут, из желания как-то узнать правду, я все-таки воспользовался предложением Отто Штирера посетить его протеже Эльзу. Предварительно покуражившись и выразив якобы недовольство, я все-таки пошел.

Хозяйка встретила меня чуть ли не с распростертыми объятиями. Упрекала, что не реагировал на ее приглашения.

Я помог Эльзе сделать кое-что по хозяйству, но главное, что мне удалось узнать и ради чего я пришел в дом Эльзы, было то, что советские танки прорвали немецкую оборону и вышли в район г. Котбуса. А это было не так уж и далеко от нашего местонахождения...

Это объясняло многое.

Становилось ясным, почему так поспешно немцы принялись за строительство противотанковых укреплений. Они боялись за свои шкуры. Боялись, что русские танки прорвутся к железнодорожному узлу. Боялись справедливого возмездия.

Сказанное мне Эльзой подтвердила и ее подруга, заскочившая к ней поболтать.

Эта экзальтированная дамочка спросила у меня: «Правда ли, что русские солдаты насилуют немок по семь-десять человек одновременно?» Оказывается, ей так сказала бежавшая из Восточной Пруссии родственница. Я заверил, конечно, моих любопытных дам, что это неправда, что такие дела могли себе позволить только их молодчики из СС с нашими женщинами на оккупированной территории Советского Союза. Успокаивая их, я не в силах был сдержать радость и даже злорадство от только что услышанного сообщения: «Наши близко!» Эльза и ее подруга поняли мое настроение и наперебой стали меня упрекать:

— Тебе хорошо. Тебя твои русские не тронут, а нас будут насиловать. Если б еще по двое или по трое. А если по десять?

— О, майн Готт, дас ист унмеглих! Эс канн их ниht баштеен!<sup>1</sup>

«Ничего, — думал я, — что-что, а это вы еще как выдержите, как миленькие выдержите и вспоминать будете с удовольствием!»

В середине февраля, в один из обычных дней, мы кончили работу чуть раньше, чем обычно, еще засветло. На прибывшую из-под балласта платформу нас заставили уложить весь инструмент (раньше мы оставляли его всегда в сторожке), сесть на эти платформы с ним и ехать на станцию. Мы ничего не могли понять, наш и другие охранники тоже. Решили, что кто-то из бауэров пожаловался на разграбление кагатов, и предстоит очередной шмон. Такое уже бывало. Но обычно в этих случаях наш добряк-охранник предупреждал нас как бы случайно, между прочим, чтобы попрятали картошку и другие вещи, которые не полагалось держать в вагонах.

На этот раз наш старый добрый немец не мог ничего сказать. На всякий случай мы подготавливали свой вагон к обыску и другим случайностям. Мы долго ждали, но тщетно.

Так, ничего не дождавшись, мы улеглись спать. Предполагаемого шмона не случилось, и спали мы спокойно с радужными надеждами на скорое освобождение от рабства...

Часа в три ночи я проснулся от сильного толчка в бок и хриплого шепота Васи Охрименко:

— Марко, вставай! Нас куда-то везут!

Действительно, наш вагон слегка покачивало, колеса характерно постукивали по рельсам. Я прильнул к стеклу: за окном мелькали столбы и деревья, уносясь назад в глухую тьму ночи. Сомнений не могло быть: мы движемся.

Вскоре весь вагон был на ногах.

Когда состав тронулся?

Сколько времени мы в пути?

Куда мы едем?

Никто ничего не знал. Василь пошел выяснять все это у полицейского, но тот только моргал спросонья глазами и ничего не мог сказать, кроме одного:

— Аллес гут, реген зи зих дохт ниht ауф! Аллес гут!<sup>2</sup>

<sup>1</sup> О Боже! Это невозможно! Я этого не выдержу!

<sup>2</sup> Все хорошо, не волнуйтесь, все хорошо!

Когда рассвело, на здании вокзала, у которого мы остановились, мы прочитали название: «Глоухау». Наш охранник пояснил: «Похоже, что нас везут на запад».

К составу подошла железнодорожная полиция. Выстроившись у каждого вагона по два человека, они открыли двери и выпустили нас вместе с нашим недоумевающим старым охранником под осточертевшие окрики:

— Лос, лос! Иммер лос!

Прибывших рабочих построили, тщательно пересчитали, накормили из термосов баландой, выдали по пайке хлеба и маргарина.

В Глоухау на станции мы простояли около часа. Закончив процедуру кормления, нас снова загнали в вагоны, заперли, и состав тронулся дальше...

К полудню мы добрались до Цвикау. Здесь нас загнали в небольшой тупик. Опять выставили чужую охрану и под страхом расстрела не разрешили никуда ни на миг отлучаться.

В Цвикау я обратил внимание, что наш состав вроде бы стал укороченным. Присмотрелся: оказалось, что в нем отсутствовали три вагона с «гальбюден» и прицепленные к ним платформы. Эти вагоны пригнали вечером, прицепили к нам, и весь теперь уже полный состав двинулся дальше.

Позже я узнал, что людей из последних трех вагонов задержали для разборки и погрузки оставшихся щитовых домиков, рельсов и шпал.

Часто останавливаясь в пути, мы медленно продвигались на юго-запад.

Как-то утром я проснулся от необычайной тишины и свежести воздуха. Вагоны не двигались, колеса не стучали. В окна купе и коридора по обе стороны состава заглядывали стройные сосны и ели.

Мы стояли в тупике, на небольшой станции, в Тюрингенском лесу.

И пошло... поехало...

Опять пошло то, что в поговорке звучит следующим образом: «Эта сказка хороша, — начинай сначала».

Мы снова, едва разгрузившись, принялись за прокладку железнодорожного полотна в глубь леса и расчистку площадки в его недрах, под неизвестно зачем понадобившийся немцам котлован. Через пару недель наше железнодорожное полотно углубилось в лес примерно на пару километров. Там был сооружен тупик, в который загнали наш состав из восьми пассажирских вагонов, а рядом были возведены наши подсобки и снова, как и прежде, началась «привычная» осточертевшая жизнь бесправных бродяг.

Нужно было и на новом месте решать продовольственную проблему. Снова мы собрали совет, на котором решили послать наиболее расторопных «детей лейтенанта Шмидта» на разведку с определенным заданием: обнаружить и нанести на топографическую карту все имеющиеся на пять километров в округе кагаты.

После выполнения поставленной задачи разработка «концессий» пошла своим чередом.

Прятать картошку нам здесь было гораздо легче. Да мы ее почти и не прятали, потому что жили в глубине леса, как лешие. Ни один бауэр не решился бы сунуться к нам со своими претензиями. Они нас просто боялись.

Отто Штирер и на новом месте не оставил меня без внимания. Видно, этот барин уже не мог обойтись без моей помощи.

Не прошло и десятка дней после приезда, как Отто Штирер повел меня на свою новую квартиру по лесной тропинке, которая вывела нас на окраину маленького городка под названием Штаат, что значит в переводе на русский «государство».

Этот городок и был карликовым государством, окруженным зеленью Тюрингенского леса.

После войны я тщательно искал его на картах ГДР и ФРГ масштаба 1:200000 и не смог найти. Поэтому мне трудно назвать его координаты. Тем не менее, я уверен, что Штаат находится на юго-западе Восточной Германии, примерно в ста двадцати километрах от Хемнитца, на границе Саксонии и Тюрингии, на одной из живописных опушек Тюрингенского леса.

Через лес и городок, в складках местности, протекала маленькая речушка, которую скорее можно было назвать ручейком или родником, так как в лесу она часто терялась среди зеленых сосен и елей и только непрерывным журчанием в этой строгой тишине напоминала о своем присутствии.

Квартира Штирера находилась на втором этаже большого двухэтажного коттеджа под черепицей, где чердак служил хозяевам, как обычно, третьим этажом.

Дом этот был поменьше и поскромнее Эльзиных хором. Он стоял в центре усадьбы больших размеров. Его занимали пожилые, овдовевшие брат и сестра по фамилии Гальбауэр, у

которых из бывших членов семьи остались только две дочери — двоюродные сестры Руть и Велля.

На этот раз Отто Штирер привез с собой новую, не первой молодости фрау, худую и длинную, как жердь, пани Ядвигу. Не знаю, может быть, эта дама сердца была истинной женой любвеобильного Отто, но внешне она была полной противоположностью быка Штирера. Он со мной по этому поводу не делился, и все-таки мне думается, что Ядвига в это смутное время пристроилась к герру инженеру в качестве очередной Либлингсмедхен ауф фрюйяр (любовницы на сезон), но Эльзе она и в подметки не годилась.

Отто показал мне усадьбу, познакомил с фрау Ядвигой, попросил выполнить все ее указания, кроме импровизаций на художественные темы. При этих словах он так заговорщически-лукаво на меня глянул, что ничего не понявшая Ядвига потом долго пыталась выведать, о чем мы договаривались с герром инженером. А он, между прочим, просил меня заодно и помалкивать о незабываемой фрау Эльзе.

Глупый «бугай» Отто, он даже не мог себе представить, что до его любовных походов мне нет никакого дела, что его очередная пассия Ядвига как женщина для меня не представляет никакой ценности (на меня к этому времени уже начал влиять женский пол), тем более, что на ее фоне, из-за занавесок первого этажа коттеджа на меня глядели две пары любопытных лукавых глаз молоденьких сестричек: Руть Франке и Велли Гальбауэр.

Ядвига не отличалась оригинальностью. Прежде всего, она попросила напилить и нарубить дрова из шпал и бревен, которые Отто прислал с нашей стройки. Я пообещал выполнить эту работу на следующий день вместе с напарником. Ядвига согласилась. На завтра я пришел в усадьбу вместе с Николаем Левченко. Кстати, мастера, видя, что Штирер ко мне благоволит, отпускали меня в любое время, и когда я сказал, что мне нужен в помощь Николай, то тоже возражений не последовало.

Накануне Ядвига успела меня представить семьям Гальбауэр и Франке, поэтому, когда Велля и Руть вынесли из кладовой пилу и топоры, я тут же представил им Николая. Сестрицы назвали свои имена, дружно сделали книксен, рассмеялись и удалились. Но... по шевелящимся занавесам мы угадывали их присутствие за окнами и ощущали на себе их любопытные взгляды.

Невольно мы подтянулись, стараясь в своих робах выглядеть как можно изысканней и молодцеватей. Не знаю, насколько это нам удалось, но девушки явно повлияли на рост производительности труда. Работа закипела, и поленница начала расти как на дрожжах.

К концу дня Руть и Велля набрали из колодца воду и по завершении работы стали попеременно поливать студеной водой наши разгоряченные тела и натруженные руки. Это занятие, видимо, доставляло им удовольствие, так как сестрички звонко хохотали, подзадоривая нас и друг дружку.

На дворе было еще довольно прохладно, и мне было не до смеха от холодной воды из колодца, льющейся на меня со всех сторон. Но я терпеливо переносил шалости Велли и готов был мыться таким образом до посинения, сохраняя улыбку на лице, лишь бы эта девчонка с темно-синими лукавыми глазками не уходила.

После водной процедуры мы с Николаем натерлись докрасна махровыми полотенцами, и фрау Ядвига повела нас в дом кормить.

Хорошо, что девушки не зашли вместе с нами на кухню и не могли видеть, как мы, как голодные волки, расправляемся с едой за обедом. Ядвига тоже, наверное, впервые столкнулась с тем, что два человека за один раз смогли так много и быстро уничтожить. Она едва успевала подносить к столу, как пища исчезала в наших утробах. Мне думается, что Отто Штирер в эту ночь лег спать голодным, потому что я и Николай уничтожили в один присест все запасы съестного, которые приготовила Ядвига.

А ведь это все было приготовлено не только для нас, но и ему и на обед, и на ужин, а, возможно, еще и на завтрак следующего дня.

#### **4. Разбойники из Тюрингенского леса**

В начале марта работы по строительству железной дороги сократились до минимума, а в середине месяца и вовсе прекратились.

Станцию запрудили эшелоны с эвакуированными немецкими семьями, торопившимися навстречу «второму фронту», то есть бежавшими подальше на запад, в американскую или английскую зону предполагаемой оккупации. Каждый день теперь приносил новости одну интереснее другой.

В один из мартовских дней мы проснулись без охраны. Старички-полицейские с удовольствием побросали свое оружие и отправились куда глаза глядят. Заодно с ними смылись мастера. Следом приготовились уходить Гальбюден. Один из них, Вилли Бильдер (возможно, «Бильдер» было его кличкой), художник-профессионал, у которого я брал карандаши, ластик и ватман во время своих художеств, сказал, что они разъезжаются пока по родственникам на запад Германии, а потом, после войны, когда все это кончится, вернуться к своим домашним очагам и семьям. Идти сейчас на восток Гальбюден не рисковали, так как там скопилось множество немецких войск, особенно СС, стрелявших и вешавших каждого, подозреваемого в измене Фюреру. А на запад отсюда можно было пройти и даже проехать почти беспрепятственно, потому что фронта на западе, по сути, уже, как такового, не существовало.

Вилли Бильдер был, конечно, прав, и мне оставалось только пожелать ему и его спутникам, друзьям-бедолагам, счастливого пути.

Нам, советским гражданам, на западе нечего было делать. Оставалось лишь ждать удачного случая, чтобы обрести полную свободу. Пока же мы, поскольку остались без охраны и хотя бы слабой защиты, а это было небезопасно в столь смутное время, решили организовать защиту собственными силами. Восемь автоматов и небольшой запас обойм с патронами остались нам от старичков-полицейских. На первый случай этого было достаточно. Но только на первый...

Жил с нами в вагончиках один парень, сорвиголова Толька Дудник.

Когда сбежала охрана, он у кого-то из полицаев «одолжил» парабеллум и начал рыскать с ним где попало. Молодой, красивый, здоровый Толька, как застоявшийся в стойле жеребец, бросился расходовать свою неумную энергию на все, что взбрело в его буйную и безрассудную голову, пользуясь безвластием. Некоторые ребята, особенно юнцы, восторгались его бесчисленными «подвигами», и это будоражило еще больше его и без того большое воображение. Толька Дудник мнил себя героем и вышел из всяческого подчинения — стал неуправляемым. Он воображал себя Робин Гудом Тюрингенского леса.

Как-то Дудник прибыл в лагерь на собственном выезде — похищенном у какого-то незадачливого немца велосипеде.

Дурной пример заразителен: в нашем лагере на колесах чуть ли не каждый день начали появляться новые велосипедисты.

Взять чужой велосипед не составляло труда, так как у немцев почти каждый член семьи, от мала до велика, имел колеса и, по общепринятым нормам, заходя в магазин или еще куда по своим делам, оставлял свой велосипед без присмотра.

У меня тоже был велосипед, но не ворованный, а подаренный Рутью Франке, сестрой Велли. Это была замечательная двухколесная машина ее покойного отца Рудольфа.

Однако не всем велосипеды достались честным способом, поэтому конфискация и похищение их продолжались до тех пор, пока в нашем жилом лагере на колесах не осталось ни одного человека без личного двухколесного транспорта. И все равно случаи мародерства и грабежей со стороны нашей публики по отношению к местному населению не прекращались. Теперь отчаянные головы под руководством Тольки Дудника совершали крупномасштабные операции.

И надо же было такому случиться, чтобы в этот «горячий» период Тольке встретился в лесу на тропинке мой «благодетель» Отто Штирер, неизвестно что там делавший и куда направившийся.

Дудник, конечно же, не собирался выяснять у него никаких подробностей. Он был доволен уже тем, что перед ним стоял сам живой «герр инженер». Толька со своей оравой притащил «представителя Рейха» в наш лагерь, учинил над ним показательный суд, на котором под бурные аплодисменты таких же головорезов, как сам, приговорил бедного Отто к смертной казни через повешение.

Меня, к несчастью для Штирера, в это время в лагере не было. Я с Николаем, Веллей и Рутью с утра поехали куда-то на велосипедах по делам девчонок. Об этом случае мы узнали позже. Смеясь и перебивая друг друга, об этом нам рассказали Василь Охрименко и Иван Чабан.

В вагонах подходящей веревки не было. Толькины «шестерки» где-то нашли и принесли какой-то прогнивший канат, который, конечно, не смог выдержать такого борова, каким был Штирер. А он все просил, стоя с веревкой на шее, чтобы его мучители позвали меня на «суд» (должно быть, в качестве свидетеля защиты).

Меня, разумеется, не нашли, но к месту казни пришли мои сожители по купе Василь и Иван, которые буквально вытащили Отто из петли, и, к неудовольствию Тольки Дудника, отпустили «герра инженера» на все четыре стороны.

На мой вопрос, почему они не вывели у Отто, что мы строили в Саксонии и здесь в Тюрингии, Василь ответил:

— На хрена оно тебе надо? К твоему Штиреру невозможно было подойти, перед нами стоял не человек, а бочка с дерьмом, от которой несло за версту...

Как-то вечером Толька Дудник притащил из лесу два или три немецких автомата и обоймы с патронами. На наши расспросы он ответил, что наткнулся в лесу на группу немецких солдат, вступил с ними в бой, троих уложил, а остальные бежали с поля боя.

Мы его поругали за глупый риск и решили проверить, правду ли он говорит. На рассвете Василь, Иван, Николай и я пошли на разведку в лес.

Толька был, конечно, смелым парнем, но это не мешало ему быть изрядным вруном. Никаких убитых немцев в лесу мы не нашли. Не нашли мы и гильз на месте воображаемого «сражения».

Зато на обратном пути мы столкнулись с солдатиком из гитлер-югенд, который торопливо сбрасывал с себя солдатскую форму и натягивал гражданскую одежду. Мы прервали его занятие, когда он вдевал ногу в брючину. Юнец от неожиданности споткнулся и упал, перепуганный внезапным появлением вооруженных «рус партизанен». На наши вопросы, кто он и где его оружие, этот «храбрый заяц», не поднимаясь с колен, завопил:

— Габ нихт гешосен! Габ кайн гетотен!<sup>1</sup>

Этот пацан напомнил мне нас с Кухтиновым, когда мы просили прощения у разъяренного бауэра, стоя против направленного на нас ружья, объясняя, что мы берем его картофель только потому, что голодны. Думая об этом, я невольно пожалел молодого неповинного мальчишку-«вояку» и сказал ребятам, чтобы отпустили пацана. Когда этот цыпленок понял, что мы не собираемся его убивать, он пришел в себя, переоделся и охотно показал нам, где спрятал в лесу автомат. Кроме того, он сказал, что в лесу много дезертиров, что все они бегут на запад, чтобы сдаться в плен.

После этой вылазки в глубь леса мы поняли, что Толька наврал о своем воинском подвиге, и развенчали «героя». Но дело было даже не в этом, а в том, что лес стал прибежищем дезертиров, а это было чревато всякими неожиданностями.

Решили собрать Совет, теперь уже не продовольственный, а военный, и не одного вагона, а всей колонии.

Собрали, обсудили создавшееся положение, составили график круглосуточного дежурства по охране лагеря, так как убедились еще через день, что Тюрингенским лесом пробираются на запад вооруженные немецкие соединения и небольшие группы дезертиров.

Лес стал для гитлеровцев убежищем, и они были опасны, как смертельно раненный зверь. Не исключалось, что из мести эти недобитые гады могли напасть на нашу колонию на колесах и перестрелять всех до единого.

Исходя из этого здравого заключения, на Совете было также принято решение, кроме охраны, организовать группу разведки, в обязанности которой входило, кроме разведанных, самим предпринимать операции по выслеживанию и разоружению солдат-одиночек и небольших группок, не вступая в перестрелку. Все это делалось для того, чтобы пополнить свой арсенал необходимым количеством оружия и боеприпасов.

В нашем лагере-на-колесах жило около двухсот восточных рабочих, из которых не более пятидесяти владело огнестрельным оружием. Поэтому на Совете договорились об обучении всех стрельбе из немецких автоматов. Каждый вагон стал взводом из четырех отделений. А весь состав превратился в Восточный батальон. Назначили командиров отделений и взводов из бывших военнослужащих. Командиром батальона стал Вася Охрименко. Мне была поручена штабная работа и возложена ответственность за организацию обучения стрельбе и строевой подготовке.

Все было решено и зафиксировано на бумаге, подписано командирами взводов от каждого вагона. Вроде получалось хорошо, но на деле наше воинское подразделение, наш сборный батальон скорее напоминал лагерь анархистов! Я больше всего боялся, чтобы наши горе-бойцы в какой-нибудь случайной ссоре не перестреляли друг друга.

Стрелять в глубь леса ходили с большой охотой все до одного и скоро научились.

Со строевой подготовкой дело не ладилось: каждый тянул волынку, считая строевую лишней обузой, хоть я и включил в нее элементарные понятия о знании и исполнении некоторых необходимых команд. Убеждения плохо действовали, дисциплина хромала на обе ноги. Так тянулось до тех пор, пока не произошло ЧП. Разведка наткнулась в лесу на труп Тольки Дудника. Он был буквально изрешечен пулями и разодран на части.

<sup>1</sup> Я не стрелял! Я никого не убивал!



Похоронили Анатолия около лагеря.

Его дикая бесславная смерть послужила предостережением для слишком горячих, бесшабашных и легкомысленных голов. Люди, наконец, поняли, что без организованности и дисциплины мы не доживем до Победы.

Тут же, у Толькиной могилы, тем, кто с предложенным порядком поведения был не согласен, а таких оказалось всего четырнадцать человек, приказали покинуть вагоны и идти на все четыре стороны.

Утром «махновцы» ушли, и жизнь потекла у нас, как в военном лагере на полевых учениях. Так, на военном положении, мы пробыли до 16 апреля 1945 года, задерживая в лесу немецких солдат и офицеров, пополняя свой арсенал. Оказывавших сопротивление подавляли силой оружия, но это случалось очень редко. В основном нам охотно сдавались, так как пленных мы не держали, а тотчас же отпускали. Состояли эти разрозненные группы солдат, как правило, из фольксштурмовиков, т.е. ополченцев. А эти, с позволения сказать, защитники Рейха являлись стариками и детьми.

Лишь один раз пришлось вступить в настоящее сражение всему Восточному батальону. Наша разведка натолкнулась в лесу на вооруженный отряд в количестве около пятидесяти человек. Немцы заметили наших людей и сначала пошли к ним навстречу, приняв за своих. Потом, разобравшись, что столкнулись с русскими, открыли по ним стрельбу. Нашим Робин Гудам повезло, потому что они ориентировались на этом участке Тюрингенского леса гораздо лучше, чем противник. Разведчики едва унесли ноги, а, примчавшись в лагерь, подняли тревогу.

У страха глаза велики: наши следопыты кричали, перебивая друг друга, что немцев до сотни и что они идут сюда, к лагерю.

И без них, услышав стрельбу в глубине леса, мы повыскакивали с оружием из вагонов, выстроились цепочкой и по команде углубились в лес.

Из нашего войска удалось образовать дугу длиной километра на полтора и начать организованное прочесывание леса в северо-западном направлении, как при облаве на зверя. На одном из флангов удалось наступить на хвост противнику. Навязали бой, чтобы как-то задержать врага и зайти другим флангом с тыла. Однако неприятель настолько устал от войны, что не захотел сражаться и улепетывал своей дорогой, лишь бы его оставили в покое.

Помотавшись еще некоторое время по лесу, вдоволь настрелявшись, мы вернулись восвояси, довольные уже тем, что фрицы нас боятся.

## 5. Освобождение

16 апреля 1945 года в десять часов утра, после непродолжительной артиллерийской канонады, направленной скорее на извещение о своем прибытии, нежели на подавление несопротивлявшегося противника, на дорогах, ведущих к Штаату, появились первые колонны американских мотоциклов, виллисов, доджей и студебеккеров с вооруженными до зубов солдатами. Моментально (здесь не откажешь немцам в дисциплинированности) на всех домах, учреждениях и еще где только можно, заколыхались простыни, наволочки, пододеяльники и прочие постельные принадлежности белого цвета, так как флагов у немцев для капитуляции никаких не было предусмотрено: до последнего момента они верили и надеялись на «чудо», обещанное им доктором Геббельсом.

Свое освобождение мы встретили бешеной стрельбой в воздух, на которую израсходовали половину запаса имевшихся патронов.

Между нами и американскими солдатами мгновенно завязались дружеские беседы на русско-английско-немецком языке, подкрепляемые взаимными улыбками и невероятной жестикуляцией. Тем не менее, все друг друга понимали.

Мы выразили соболезнование американцам по поводу кончины Президента Америки Франклина Рузвельта, который умер за два дня до нашей встречи.

Один из солдат, в знак дружбы между нашими народами и признательности, подарил нашей делегации портрет Рузвельта в черной, только что сделанной вручную рамке.

Мы не могли ответить равноценным подарком, так как портрета Сталина не было ни у кого из нас, и смешно было даже об этом подумать. Нам оставалось только сердечно поблагодарить наших освободителей...

Таким образом, для меня война закончилась 16-го апреля 1945 года, а на востоке еще шла жесточайшая битва с фашизмом.

В этот день началась Берлинская операция, а 25-го апреля войска 1-го Украинского фронта вышли в район города Торгау к реке Эльба, где встретились с передовыми подразделениями американской армии.

Великая Отечественная война подходила к победоносному завершению!

20-го апреля по поручению Совета Василь Охрименко и я отправились к американскому командованию с просьбой о включении нашего Восточного батальона в свои войска для совместной борьбы с фашизмом.

Офицер, которому нас представили, внимательно выслушал просьбу, поинтересовался, сколько нас, где мы дислоцируемся, как вооружены. Обещал доложить о нашей просьбе вышшему по инстанции командованию.

Этот офицер потребовал пока самостоятельно ничего не предпринимать, не активничать и ждать дальнейших указаний от его начальства.

После освобождения мы почувствовали себя хозяевами положения и перестали ходить тайком к кагатам за картошкой, а обложили продовольственным налогом бауэров из окрестных сел и хуторов. Их объезжали наши сборщики податей на велосипедах с прицепными тележками, собирали продукты и сдавали на кухню.

У нас в купе, например, стоял большой графин с молоком, на дне которого сидела лягушка. Запас молока пополнялся постоянно, и я с удовольствием употреблял вместо воды это прекрасное, в меру охлажденное молоко, похожее на наши сливки повышенной жирности.

В каком-то из складов наши усердные интенданты добыли прованское масло, муку, крупу, и наша голодная жизнь стала сытой и праздной. Потянуло на мясо. Интенданты и тут не ударили в грязь лицом: на кухню начали поступать кролики и поросята. Позже к мясу, маслу, муке, крупе и картошке, как бесплатное приложение, добавилась и пайка спирта.

Чтобы наше вольное житье-бытье не превратилось в сплошную пьянку и обжираловку, Василь Охрименко и весь Совет из всех сил старались поддерживать дисциплину. Но теперь это уже почти невозможно было сделать.

Ключи от кладовки со спиртом Василь никому не доверял и хранил постоянно у себя.

Я, Николай и Иван, жившие с ним в одном купе, и то не знали, где он держит и куда прячет «проклятые» ключи от спиртного. Кладовка охранялась, и ломать замок никто не решался.

Что говорить, даже когда Руть и Велля попросили у меня и Николая достать спирт, чтобы приготовить для нашего купе шоколадный и яичный ликеры, то и тогда Василь ответил отказом:

— Получим свои пайки завтра при раздаче, тогда их и отдадите. Все! Больше с этим вопросом не приставайте!

...Водителями в американской армии почему-то служили в основном негры.

Сейчас я уже не помню, как это случилось. Но мне кажется, что это Иван Чабан принес в наш лагерь-на-колесах приятную новость: в Цвикау большой лагерь русских девушек. Вполне естественно, что мы решили их навестить.

На рассвете, прихватив оружие, мы сели на велосипеды и направились всей четверкой в Цвикау.

Когда выехали на трассу и, выстроившись гуськом, покатали по гладкой бетонке, позади раздался рев клаксона. Мы подались вправо к бровке. Мимо нас проезжал, подняв руку для приветствия и улыбаясь во весь рот ослепительно-белыми на черном лице зубами, американский негр из «милитари-полис».

Проехав чуть вперед, он остановился и, выяснив, что русские друзья держат путь на Цвикау, предложил свои услуги.

Мы с радостью побросали свои велосипеды в кузов виллиса, сели сами, и шофер включил газ...

Автострада, опоясывающая всю Германию, была первоклассным сооружением того времени. Да и по сегодняшним меркам она не уступает нашим лучшим дорогам.

Немецкая автострада состояла из двух параллельных, нигде не пересекающихся встречных линий, каждая из которых могла поместить на себе до десяти рядом идущих машин. Между этими линиями дорог проходила зона зеленых насаждений, часть которых составляли фруктовые деревья. Таким образом, деревья как бы отделяли одну полосу дороги от другой так, что ночью было ехать совсем безопасно, так как свет от машин, идущих по встречной полосе, был не виден и не ослеплял.

Скорость на трассе практически не ограничивалась. Нужно было только следить, чтобы не напороться на впереди идущий транспорт, если ты двигался чересчур прытко, или не подставить свой зад, если ты полз, как черепаха.

Итак, мы сели в машину, и наш «Том» показал нам, на что способен он и его машина. Водитель слился со своим виллисом и повел его на такой бешеной скорости, что только дух захватывало. Я за всю свою жизнь никогда еще так не ездил.

А когда этот парень умудрился вытащить из кармана губную гармошку, вставить в белозубый рот, поставить на сиденье ноги, зажав руль коленями, и, продолжая мчаться во весь дух, наигрывать какую-то дикую мелодию, я с сожалением подумал, что мы не смогли раньше отдать свои молодые жизни с какой-либо пользой для общего блага или, по крайней мере, выбрать смерть гораздо достойней и эффективней, чем эта, между Штаатом и Цвикау — на дороге!

Машина еще некоторое время мчалась на всех парах по бетонке, как самолет в воздухе. Потом наш лихой водитель, очевидно, по выражению лица отгадав мои невеселые мысли, сбавил скорость и, продолжая удерживать баранку между колен, заиграл знакомую с детства мелодию. Услышав ее, я не удержался и с радостью подхватил и запел по-русски:

Джон Пат — шкипер  
С английской шхуны  
Плавал пятнадцать лет.  
Знал моря, проливы, лагуны  
Старый и новый Свет.  
Но однажды  
Порой вечерней  
...и так далее.

«Том» сверкнул зубами, похлопал меня по плечу, показал большой палец, сказал «Гуд», и, торжественно взревев клаксоном, въехал стремительно в город. Мы горячо распрощались со своим добрым лихим водителем, поблагодарили его за сервис, по очереди тряхнули его крепкие черные руки, довольные, что доехали благополучно.

«Том» толковал нам, отчаянно жестикулируя и говоря на всех языках, которые знал, что на этом же месте в семь вечера будет нас ждать, чтобы ехать обратно. Но мы решили больше не искушать судьбу, не рисковать и отказались, сопровождая свой отказ вежливыми раскланиваниями. Потом, наконец, распрощавшись, мы сели на велосипеды и поехали по городу в поисках своих «медхен-гредхен».

Нам недолго пришлось исполнять роль сыщиков. Такой профессиональный опыт, как у Шерлока Холмса, комиссара Мегрэ и прочих детективов нам не понадобился.

Цвикау — город не очень большой, и вскоре мы наткнулись на группы расфуфыренных девчонок, идущих по тротуару и горлающих во все горло нашу украинскую песню:

Ой, ти Галю, Галю молодая,  
Підманули Галю,  
Забрали з собою!

Если бы они с такой выразительностью не пели на чистом украинском языке песню, то их трудно было бы принять за родных хохлушек. На напомаженных и завитых «фрау» были надеты короткие меховые шубки не по сезону (был конец апреля), из-под которых выглядывали разноцветные шелковые, кружевные длинные платья, замысловатые шляпки на голове, серьги и туфли на высоком каблучке.

Впоследствии от Велли я узнал, что эти красивые «модные платья» не что иное, как ночные сорочки и пеньюары. А когда узнал, то понял, почему немки, еще издали заметив наших дев, с ужасом в глазах поспешно отворачивались и, прикрывая ладонью рот, шепотом призывали в помощь Бога и всех святых:

— О, мейн Готт, бегильфст унд вегунст мих...<sup>1</sup>

Но прозрение наступило позже, а в этот день девушки показались нам сказочными принцессами, которых послал нам с небес Бог.

Некоронованные особы женского пола после освобождения обосновались в одном из брошенных особняков и вели, по сути, такой же, как и мы, паразитический образ жизни. Приняли они нас в своем «дворце» поистине, как королевы. Во всяком случае, не хуже, чем молодые девы хазарского хана Ратмира.

Прелестные, полунагие,  
В заботе нежной и немой  
Вкруг хана девы молодые  
Теснились резвою толпой.

---

<sup>1</sup> Боже, помоги и помилуй меня...

Забыв обо всем на свете, так же, как и Ратмир о Людмиле, я с ребятами остался на ночлег у заботливых хозяйшек. Вечером они пригласили нас в танцевальный зал, где под патефон с немецкими пластинками кружились пары любителей танцев.

Оказалось, что мы не первопроходцы, что здесь уже пристроилось несколько кавалеров. Они, эти счастливы, были нарасхват и едва успевали менять своих партнерш.

На ночевку меня повел, как старожил, один из этих парней — земляк из Балабино по имени Демьян. Он завел меня в будуар к двум девушкам, Нине и Миле, шепнув по дороге:

— К Нине не заигрывать, занята...

Демьян был уже здесь своим человеком, пользовался правами примака, был влюблен в Нину и не скрывал этого...

Мы сели за стол, выпили за освобождение, за встречу, за дружбу и за любовь. Дальше все пошло как в сказке, покрытой туманом. Помню, что обнимался и целовался с Милой. А как оказался в ее постели — не помню...

От лебяжьего пуха подушек и перин и близости огнедышащей Милы в спальном комнате было душно, как в парной... Я, как в пучину, погрузился в объятия и, кажется, не спал всю ночь...

Утром, заспанный и разбитый, разыскал своих товарищей по купе и приключениям и предложил возвращаться.

Василь и Николай с радостью приняли предложение, а Иван заупрямился:

— Хлопцы, вы как хотите, а я задержусь.

Уговоры не помогли. Иван твердо стоял на своем. Мы же, распрощавшись со своими обольстительницами, поблагодарили их за теплый прием, сели на велосипеды и укатили восвояси, оставив в залог своего пройдоху-товарища.

Через неделю Чабан приковылял еле живой в лагерь-на-колесах, изрядно осунувшийся, с синяками под глазами. Зато с его плеч мы стянули рюкзак пуда на четыре, наполненный подарками, которые он честно заработал в гареме. Это была также память о нашем совместном пребывании в Цвикау.

Из этого «дедморозовского» рюкзака мне достались два темно-серых свитера из тонкой шерсти и что-то наподобие парадной формы рядового матроса: черные брюки клеш и темно-синяя суконная рубаша с отложным воротником. Эти вещи я привез потом в Запорожье и еще долго носил у себя на родине.

## **6. Любовь и Победа**

Много воды утекло с тех пор, но иногда память меня возвращает в то далекое время — весну 1945 года.

Перед взором моим возникает не война — нет, а то улыбающееся, то охваченное грустью личико стройной, милой девушки Велли.

Как сейчас вижу ее красивые темно-синие глаза. Тонкие черные брови, маленький чуть вздернутый носик, пухлые алые губки и каштановые, мягкие, длинные, до плеч волосы, аккуратно уложенные в модную по тем временам прическу.

Я стараюсь, но никак не могу себе представить эту молодую восемнадцатилетнюю девушку Веллю пожилой женщиной. Она навсегда для меня осталась такой же юной, в таком же возрасте, как я ее видел последний раз, когда мы расстались.

Я уже более 37-ми лет женат. У меня прекрасная жена — любимый друг и товарищ, двое детей и четверо внуков. Да простят все они меня за эту слабость и сентиментальность, но когда я смотрел в театре им. Щорса спектакль «Варшавская мелодия», и сначала прочел роман, а потом увидел в кино фильм «Берег» по мотивам романа Юрия Бондарева, то каждый раз сердце ныло от воспоминаний и томительной грусти по первой сильной любви. Это была легкая, как весенний ветерок, печаль по прошедшей молодости и первому сильному чувству любви к иностранной девушке, имя которой в переводе на русский язык обозначает Волна.

Еще тогда, когда я в первый раз пришел в особняк Гальбауэров, мне понравилась Велля. Она была спокойнее и рассудительней своей двоюродной сестры. Руть отличалась от нее легкостью характера, ветреностью, одним словом, беспечностью. В отличие от Рути, Велля была какой-то мягкой, доходившей до самопожертвования, и удивительно женственной. Руть была вся в действии, а Велля — источником скрытой энергии, который готов был вот-вот разрядиться.

Ни отец Велли, ни мать Рути не принадлежали к нацистам. Девушек тоже минул тлетворный дух нацистской идеологии. И это было приятно.

Шла весна.

В воздухе уже звенели фанфары, предвещая конец долгой, тяжелой, кровопролитной войны.

Молодость есть молодость!

Юные сердца потянулись друг к другу, не глядя на анкетные данные, тем более что сама природа способствовала их сближению. Кроме того, ни у меня, ни у Николая среди немецкой молодежи мужского пола конкурентов в пределах Саксонии и Тюрингии не было.

Мы часто встречались с Веллей у нее дома. Ходили вместе в Тюрингенский лес собирать грибы, много беседовали. Велля рассказывала мне абсолютно все о себе, показывала семейные альбомы с фотографиями ее предков и о каждом поведала то, что знала.

Как-то в один из весенних дней, это было уже после освобождения (наверное, в конце апреля), Велля попросила поехать с ней на могилу матери. Мы сели на велосипеды и покатались за город на немецкое кладбище. Там положили корзину живых садовых и веночек из полевых цветов, который старательно сплела Велля. Мы с минуту помолчали, потом она смущенно попросила меня отойти подальше от могилы, опустилась на скамью и долго о чем-то шептала, наклоняясь к небольшому мраморному памятнику...

В один из апрельских дней кто-то из ребят сообщил, что на запасном пути, километрах в трех от станции, среди пустых цистерн наши следопыты обнаружили одну со спиртом!

Эта новость облетела мгновенно весь лагерь-на-колесах!

Захватив посуду, я вскочил на велосипед и помчался к цистерне.

Там уже орудовали десятка три наших ребят. Были среди них и еле стоявшие на ногах, успевшие к тому времени подзаправиться.

Я набрал пару котелков и укатил назад к вагонам с мыслью о том, что теперь Велля и Руть приготовят нам первоклассный ликер. Ребят по купе не было. За обедом я, не дождавшись своих соседей, выпил около стопки спирта, опьянел, и после сытной еды уснул, как убитый...

Проснулся вечером, открыл глаза и... ничего не увидел: в глазах у меня стояла густая мелкая решетка. Протер глаза — и снова та же картина: густая мелкая черная решетка.

Я перепугался и закричал:

— Хлопцы! Кто тут есть?

— Чего орешь? — отозвался с верхней полки Василь Охрименко.

— Я ничего не вижу!

— Кто тебя заставлял, твою мать, пить это дерьмо?!

И Василь, ругаясь и возмущаясь, рассказал мне о последствиях спиртовой эпопеи: трое дали дуба прямо там, около цистерны; четвертый умер, будучи уже в лагере; более двадцати человек потеряли зрение, и я, дурак, в их числе. Мои два котелка со спиртом Вася безжалостно опорожнил в помойку, чтобы эту гадость никто не выпил.

Николай тут же помчался и рассказал о моей беде Велле, и она, пренебрегая опасностью, по собственной инициативе пришла к нам в лагерь, забрала меня к себе домой и целую неделю выхаживала различными травами и примочками, пока не вернула мне прежнее зрение. Постепенно, но гораздо позже меня, прозрели и другие «алкоголики», но видели многие уже не так, как прежде. Кое-кто потерял зрение наполовину.

С тех пор к спирту и незнакомым случайными напиткам мы стали относиться с осторожностью.

...Велля, Велля — Волна... нежная, прозрачная волна, прихлынувшая ко мне на чужом берегу. Мой милый добрый Арцт, вернувшие мне зрение. Я не мог быть с ней таким же честным и откровенным, как она со мной. Хоть Велля и шептала мне часто на ухо «Майн Либлинг» (мой любимый), я говорил ей о себе только в пределах возможного, — по «легенде». И оставался для нее, как и для всех вокруг, только украинским парнем Марком Билым.

...Вспоминается, как тогда — 2-го мая, мы сидели в обнимку вчетвером на диванчике в комнате у Руты, когда из приемника вдруг на чистейшем русском языке, а потом и на немецком, раздалось:

— Внимание, внимание! Говорит Берлин! Красное знамя реет над поверженным рейхстагом!

Далее сообщалось, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, и его обгоревший труп обнаружен около входа в бункер (последнее убежище маньяка-нациста).

Это сообщение было для нас большой радостью и поводом для празднества.

Велля и Руть удалились на кухню для приготовления ликеров и быстрой закуски — бутербродов со шпиком.

Мы пили за скорую большую и долгожданную Победу, за Любовь и Мир во всем мире. Устроили танцы, пели, танцевали, целовались и сходили с ума, выражая свою радость как могут это люди нашего молодого возраста.

Когда поздно ночью я и Николай, наконец, добрались до лагеря, чтобы сообщить услышанную вечером по радио радостную весть товарищам, Василь и Иван спросонок заворчали на нас, сказав, что все уже знают и по Гитлеру справлять поминки не собираются. А еще добавили, чтобы мы шли ко всем чертям, если нам не спится, и не тревожили их до утра.

Нам ничего не оставалось, как только тихо лечь спать и сожалеть, что мы не остались на ночлег у сестричек на антресолях.

9 мая 1945 года я и Николай Левченко, как и все эти дни, были в особняке у Гальбауэров и слушали радио.

На этот раз мы услышали, что немецким командованием 8-го мая в восточном предместье Берлина — Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Итак, Великая Отечественная война завершилась победой Советских вооруженных сил и их союзников!!!

Мы чувствовали ее приближение, ждали с нетерпением, и все-таки услышанное по радио восприняли как неожиданно нагрянувшее, ни с чем не сравнимое счастье.

Я готов был обнять и расцеловать весь мир. Со мной и Николаем стояли рядом Велля и Руть, но мы инстинктивно бросились, прежде всего, друг другу в объятия, а потом расцеловали своих подруг, вскочили на велосипеды и помчались в лагерь-на-колесах.

На этот раз мы были первыми, принесшими радостную весть о Победе!

Из всего состава повыскакивали ребята. Они чуть не разорвали нас: каждый хотел из первых уст узнать точно, слово в слово, как были произнесены слова о Победе диктором радиостанции им. Коминтерна из Москвы.

Потом нас начали качать и стрелять из всех видов оружия, какое у кого было. Я даже опасался, как бы меня или Николая, паривших в воздухе, на радостях не подстрелили. Однако все кончилось благополучно.

Когда я приземлился, то услышал четко, как к нашим беспорядочным очередям присоединились артиллерийские залпы. То отмечали Победу стоявшие за станцией и на окраине Штаата американские части.

Многие немцы разделяли вместе с нами, Остарбайтер, радость Победы над фашистским режимом. Но большинство из них растерялось и не знало, как себя вести и что их ждет впереди. Они укрылись, как кроты в своих норах, в собственных домах и не вылезали оттуда до поры до времени, принохиваясь и присматриваясь, что будет дальше, что принесли союзники.

Одна старуха, когда я шел с Веллей по улице Штаата, вскоре после 9-го Мая обругала девушку за то, что ходит с русским, и все плакалась, что без Гитлера не будет в Германии порядка.

Я не выдержал, подошел к старухе и в упор спросил:

— Чем вам так дорог Гитлер?

Без особого страха и смущения она ответила:

— Ан венигстенс, вир Дойтшен арбайт унд Гоффнунг безитцен!<sup>1</sup>

«Ах ты, зараза», — подумал я и бросил в лицо этой самоуверенной старой ведьме, как мне казалось, убедительно и обидно:

— Я, абер ауф ди Ташен андерен Меншен лиген!<sup>2</sup>

Велля не дала мне больше пререкаться, схватила за руку и увела подальше.

Успокоившись немного, я подумал: «На кой черт я развел дискуссию с этой шваброй? Ведь она и так одной ногой в могиле. Ее уже не переубедишь и перевоспитаешь. Но вон от нее все же будет много...»

Через пять минут я забыл о паршивой старухе, потому что рядом со мной по весенней улице города шагала такая милая улыбающаяся девушка, что от взгляда на нее кружилась голова, хотелось петь и делать глупости.

Что было, то было: я и пел, и плясал, и делал множество глупостей.

Иногда вечером приходила в гости к Велле и Рути их младшая пятнадцатилетняя родственница сестричка Гизелла. Это было прелестное создание, обещавшее в недалеком будущем превратиться в красавицу. Мы с Николаем, глядя на Гизеллу, в шутку часто говорили:

— Ходит же где-то по земле счастливчик, которому достанется этот бутон...

<sup>1</sup> По крайней мере, мы, немцы, имели работу и надежду!

<sup>2</sup> Да, но за счет других людей!

Весной 1945 года у меня вдруг прорезался голос, неплохой мягкий баритон. Часто по вечерам, сидя с Николаем и сестричками во дворе особняка, я пел украинские, русские и неаполитанские песни и арии из классических опер, которых наслушался вдоволь до войны. Велля аккомпанировала мне на гитаре, Николай иногда вторил, а я заливался соловьем:

— В сиянье ночи лунной  
Тебя я увидал  
И арфой многострунной  
Чудный голос прозвучал...

В такие минуты, когда я, глядя на звезды, упоенно выводил мелодию, ко мне незаметно подсаживалась сбоку, прижималась и преданно смотрела в рот и глаза, как завороченная, Гизелла, стараясь больше своим сердечком, чем умом, понять смысл слов.

Иногда, не выдержав, в знак благодарности она начинала хлопать в ладоши, прыгать и просить:

— Бите, нох айн маль... Нур фюр мир, нох айн маль, Марко!<sup>1</sup>

\* \* \*

...В середине мая я пришел после полудня в лагерь и застал там следующую картину: на площадке перед составом стоял Додж ¾, куда пятеро американских солдат укладывали наше оружие и боеприпасы. Поодаль офицер через переводчика разговаривал с Василием Охрименко. Американцы требовали, чтобы в течение двух дней было сдано все оставшееся у наших людей огнестрельное оружие. В дальнейшем владельцев, не подчинившихся данному приказу, грозили подвергнуть строгому наказанию.

Офицер разрешил нам в целях самообороны оставить для охраны два автомата, и, если пожелаем, то личное холодное оружие: ножи, финки, кортики, клинки и тому подобное добро, из которого можно было при желании устроить музей.

Когда мы спросили офицера, не знает ли он о нашей дальнейшей судьбе, то получили ответ, что об этом нам должны сообщить в ближайшие пять дней...

Действительно, вскоре нам объявили, чтобы мы подготовились к отъезду, который состоится через день...

Все имеет начало и конец.

Когда я сообщил об отъезде Велле, она посмотрела на меня долгим-долгим взглядом, обняла, прижалась всем телом и сказала со слезами на глазах:

— Фергис ду ниht мих, Марко!<sup>2</sup>

— Ниемальс, Велля! Ниемальс, майне либе Мэдэль!<sup>3</sup>

На следующее утро к лагерю подкатили студебекеры. Мы погрузились и тронулись в путь — обратный путь на Восток!

Ребята шутили, смеялись. А у меня на душе скребли кошки. Я терял что-то дорогое. С одной стороны, душу переполняла радость скорого возвращения домой, с другой... Я с грустью смотрел по сторонам, разыскивая глазами Веллю. Мы распрощались с ней вечером накануне, и я сам просил не приходить меня провожать, а теперь все-таки с надеждой оглядывал то одну, то другую сторону дороги...

И вдруг я увидел ее между деревьями, недалеко от переезда.

Велля стояла в своем белом в синий горошек платьице, которое я так любил, держа в одной руке велосипед, а в другой платочек. Она медленно махала нам вслед и вытирала глаза.

Такой я запомнил на всю жизнь свою первую, настоящую, но безнадежную любовь.

А машины тем временем пересекли шлагбаум и железнодорожные пути, выехали на автостраду и, увеличивая скорость, помчались на восток — к городу Хемнитцу.

Мы ехали на встречу со своими освободителями. На встречу с теми родными русскими ребятами, которые ценой своих жизней завоевали для всех народов Европы и мира Победу и Мир.

Земля немецкая в дыму,  
А яблоня стоит нетленна,  
Открыто радуясь всему,  
Как будто вырвалась из плена.  
...Отчизна милая видна,  
Простор ее весенних пашен.

---

<sup>1</sup> Пожалуйста, еще раз! Только для меня, еще раз, Марко!

<sup>2</sup> Не забывай меня, Марко!

<sup>3</sup> Никогда, Велля! Никогда, моя любимая!

На всей земле весна одна,  
Она — весна Победы нашей.  
*Е. Шевелева*

## **7. Заре навстречу**

В г. Хемнитце американцы передали нас русскому командованию.

Я с нескрываемым любопытством разглядывал советских солдат и офицеров, одетых в новую, непривычную для моих глаз форму. На них были гимнастерки и кители со стоячими воротничками, на плечах погоны. У многих на груди позвякивали, сверкая на солнце, медали. А это для солдата образца 1941 года было в диковинку.

В моем, еще довоенном представлении, орден Красной Звезды был наградой за проявленный чудо-героизм, а тут, к моему удивлению, его носил чуть ли не каждый третий воин. К тому же среди взрослых солдат во дворе комендатуры крутился в военной форме шкет лет четырнадцати, очевидно, сын полка. Он тоже был с двумя медалями и перед нами особенно выпендривался, стараясь подчеркнуть свою удаль солдата-освободителя.

До боли в глазах я приглядывался к каждому военному, стараясь опознать в ком-нибудь из них знакомого по армии, школе, институту, городу. Увы...

К сожалению, солдат и офицеров моего возраста 1922–23-го годов рождения среди них не попадалось. В основном это были незнакомые люди старше или моложе меня.

...Писари взяли у нас документы для составления общих списков. Спросили мое местожительство до войны и в каком направлении собираюсь ехать. Дали талоны на двухдневное питание и ночлег в тот самый лагерь около Айзенбанверке, где я прожил почти три года.

В комендатуре нас предупредили, чтобы долго в Хемнитце не задерживались, а выезжали домой любым товарным составом, который идет на восток с демонтированным оборудованием.

После этой церемонии, длившейся два-три часа, я направился с ребятами в город — к вокзалу.

Хемнитц тоже не минула судьба остальных городов восточной Германии, подвергшихся бомбардировке американской и английской авиации. Многие улицы, по которым я когда-то ходил с Карелом Типпнером и Алоисом Полаком, представляли собой ручейки, по берегам которых лежали развалины. В этой гряде мусора копошились немцы, выискивая в своем бывшем жилье что-то им одним ведомое. Они молча разгребали битый кирпич, не обращая никакого внимания на проходивших мимо людей.

Здание вокзала мало пострадало от бомбежки. Движение поездов было частично восстановлено. Эшелон в восточном направлении готовился к отправке на следующий день. Времени в запасе было много, и мы своей неизменной четверкой медленно побрели в направлении Айзенбанверке и лагеря для восточных рабочих — Остарбайтер...

На том месте, где когда-то возвышались корпуса паровозостроительного завода, простирался лунный пейзаж из груды бетона, железа, кирпича и пепла с цирками от разорвавшихся фугасных бомб.

А дальше — за всеми этими развалинами, как оазис в пустыне, стояли лагеря русских и французских рабочих, построенные из сборных деревянных одноэтажных бараков. Стояли, как ни в чем не бывало. Их не зацепила ни одна фугасная и ни одна зажигательная бомба, от которых эти бараки могли сгореть, как спички.

В бывшем лагере для Остарбайтер жизнь была ключом. Как муравьи, одни тянули чемоданы и тюки награбленного барахла в барак, другие вытаскивали свои оттуда. И как в настоящем муравейнике, здесь, в этом хаосе, был свой порядок.

И опять среди сновавших на территории лагеря людей я тщетно пытался найти знакомых. Здесь жил временный народец, по два-три дня, в ожидании попутного транспорта.

В моем бывшем бараке, на моих нарах спал какой-то парень из Каменец-Подольска. Когда я потянул его за ногу, он приподнялся, опершись на локоть, и, растягивая слова, почти пропел бабьим голосом:

— Не тримай мене за очкурі... я ще маю час вертюхатись...

Кое-как нам удалось вывести у него, что из бывшего населения лагеря здесь живет только один парень, — помощник начальника лагеря Петр Иванович Пелипенко.

Петьку я хорошо знал, да и мои спутники его помнили. Это был никогда не наедавшийся, вечно голодный, впрочем, как и мы все в то время, верзила из с. Беленькое — Петр Пелипенко. Я с ним никогда не дружил, но вместе мы ехали в Германию, жили в одном бараке и работали в одном цехе.



Не произнеся больше ни слова, оставив удивленного, с открытым ртом подольчанина и дальше «вертучаться», мы устремились к помощнику лагерфюрера по хозяйственной части.

В солидном мордастом здоровяке, сидящем за письменным столом в сером костюме, при галстукке, я не сразу признал бывшего «шакала» Петьку. Он вначале тоже принял нас за чужих, зато потом, когда узнал, рот его расплылся до ушей, а глаза сузились, превратившись в щелочки. Петька усадил нас на диван, подставил свой стул и начал расспрашивать и рассказывать обо всех и обо всем, перескакивая от одного эпизода к другому. От Петьки мы узнали, как бомбили Хемнитц и разрушили Айзенбанверке.

Во всех подробностях он рассказал, как за два дня до освобождения бежало лагерное начальство. В период этого безвластия повара Федька «Рязань» и Костя «Боцман» раскрыли все кладовые и раздали продукты по баракам, чем спасли свои шкуры от возмездия и после прихода наших были отпущены на все четыре стороны. Но не всем лагерным прихвостням сошло с рук их отношение к своим братьям по лагерю. Павку Колесникова, подхалима и лагерного переводчика, ребята «накрыли» спящим у себя на кровати. Судили, приговорили к смертной казни и утопили в общественной уборной посреди лагеря. Жорку Хрусталева, одного из приближенных лагерфюрера Шнеллера, заочно приговорили к смертной казни, но он успел улизнуть до освобождения. Однако и этот паразит недолго гулял на свободе. Приговор привел в исполнение один парень из Мелитополя, Жоркин земляк Витька Махно. Говорили, что он выследил Жорку на вокзале, вытянул из вагона перед самым отправлением поезда, там же на путях избил его от всей души и бросил под колеса тронувшегося состава.

Ивана Билого и Митьку Бережного за месяц до освобождения отправили как добровольцев с остальными власовцами. Думаю, что эти два гада тоже получили по заслугам, — не ушли от справедливого возмездия.

После прихода наших ребята в течение недели разъехались из лагеря по домам, а Петька Пелипенко остался пока помогать начальнику лагеря, назначенному советским командованием. Безусловно, Петька, известный «шакал», неспроста задержался в Германии в качестве помощника. Он надеялся пока «прибарахлиться», и это ему удавалось, так как бывшие Остарбайтер каждый день прибывали в лагерь с полными чемоданами. Все они проходили через липкие руки Петра Ивановича Пелипенко.

Петька определил нас на довольствие и ночлег по первому разряду. Кроме того, он снабдил каждого из нашей четверки с чисто королевской щедростью отрезом материи чуть ли не в рулон величиной.

На следующее утро, несмотря на уговоры Петра задержаться и пожить в довольстве хоть пару дней, мы отправились на вокзал, где уже стоял сформированный эшелон с демонтированным оборудованием.

...Поезд тяжело тронулся с места и, медленно набирая скорость, двинулся на восток, на встречу поднимавшемуся над горизонтом яркому солнцу. Прощай, город Хемнитц!

Прощай навсегда лагерь и колючая проволока!

Прощай, осточертевшая Германия!

В воспоминаниях о тебе на всю жизнь остались голод, карцеры, виселицы и только одно светлое пятнышко — Велля.

И да здравствует движущаяся навстречу нам заря и, в непрерывном мелькании телеграфных столбов и равномерном постукивании колес, — приближающаяся Отчизна!

Я не могу назвать сейчас станции, через которые мы проезжали, двигаясь зигзагами то на юго-восток, то на северо-восток, петляя и объезжая разрушенные города и железнодорожные узловые станции. Да в этом и нет необходимости.

Память сохранила только те места, где приходилось задерживаться подолгу.

Первым был тупик на железнодорожной станции Легница. Нас загнали туда, чтобы пропустить воинские эшелоны, идущие на восток по «зеленому свету». Мы уступали им дорогу и позже, когда ехали по польской и по советской землям, завистливым взглядом провожая веселых молодых парней, которые во всю глотку орали под аккомпанемент аккордеона залихватские довоенные и незнакомые мне новые песни военного времени.

Никто тогда не знал, даже солдаты, обгоняющие нас, что в соответствии с решением, принятым главами союзных держав на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, эти грозные эшелоны едут на Дальний Восток, чтобы окончательно разгромить и принудить к безоговорочной капитуляции Японию — одного из основных союзников фашистской Германии.

...Город Легница или Легниц стоит на берегу какой-то речушки, одним из притоков реки Одер, протекающей тут же в сотне шагов от придорожного тупика.

Состав еще не успел остановиться, как люди бросились к воде, не особенно церемонясь в выборе туалета, а в большинстве своем и без него, в костюме Адама и Евы, на ходу разбиваясь на женские и мужские группы.

Накупавшись вдоволь, чуть охладившись и отдохнув после длительного пребывания в душных теплушках, отправились поесть и узнать о времени отправления нашего состава.

Речушка, на которой стоял г. Легница, являлась одновременно границей между Германией и Польшей. Жители города говорили поэтому на смешанном польско-немецком языке. Мы понимали этих людей превосходно, поэтому быстро узнали и добились всего, что нам было нужно: сытно поели, наполнили котелок для оставшегося сторожить барахло Ивана и выяснили, что двинемся в путь не ранее полуночи.

...Через несколько суток наш состав подъехал к городу Ченстохову, и снова его загнали в такой глухой тупик, что у нас исчезла надежда скоро оттуда выбраться. Но одно было приятно. Стоянка была хороша уже тем, что неподалеку с одной стороны железной дороги находился хутор, где можно было пожить провизией и прочим, а с другой — протекала речка Варта, за ней сосновый лес и в глубине его небольшое озеро, кишевшее рыбой.

Но это мы узнали попозже, а пока разношерстная публика состава разбрелась кто куда: одни купаться на реку, другие в лес, третьи на хутор, а четвертые на вокзал с надеждой прицепиться и уехать на каком-нибудь попутном транспорте.

Мы вчетвером решили пока не покидать нашего жилья на колесах. Необходимо было получить достаточно разведанных, чтобы без суеты принять оптимальное решение для дальнейших действий наверняка.

Позже, когда наш неторопливый эшелон с оборудованием обогнал многих нетерпеливых земляков, устремившихся вперед на восток на случайных попутных поездах, мы убедились в правильности своего выбора.

Пошли на хутор. Здесь повстречались с одним «любопытным паном», которые в обмен на кое-какое барахло угостил нас отличным молоком, дал хлеба и картошки. Потом этот сквалыга, укладывая выменянный товар в скриню, расхвастался силой польского панства и войска:

— Войска Польского замало, але воно моцне, холера!

Так говорил он, поправляя на затылке конфедератку. Войдя в раж, он высказал предположение, что если б не поляки, то русские не смогли бы взять Берлин. И, наконец, закончил свой монолог, подогрев себя патриотическим пылом:

— Мы з россиянами, пэвне, войовать будем!

Последних слов зарвавшегося «пана» мы уже не стали слушать и вскочили из-за стола, как по команде.

— Подавись ты своей жратвой, дерьмо вонючее! — в сердцах сказал обычно спокойный и рассудительный Василь Охрименко. — Эта гнида еще воевать собралась! Да я тебя одним ударом прикончу!

И он так огрел болтливого хвастуна в ухо, что я не успел даже глазом моргнуть, как «пан» лежал, распластавшись у своей скрини. Вытирая красные сопли, он завопил:

— Матка Боска, забойство!

На крик в дом вбежала встревоженная пани. Заголосил дуэт.

Не обращая внимания на крики пана и его пани, мы оставили в доме выменянные на барахло продукты и поскорей дали деру из хутора пока не собрался на шум народ, и пока наш небольшой инцидент не превратился в международное, межнациональное большое сражение.

Однако все обошлось благополучно. Погони не последовало.

Хуторские поляки быстро усекли, что от стоявшего в тупике эшелона можно кое-чем пожить, и начали к нему паломничество для обмена товара на товар, как при первобытно-общинном строе.

К нашему вагону с бидоном молока подошла молодая, красивая полячка Зося. Она так и осталась на эти несколько дней нашим монопольным поставщиком продуктов питания: молока, масла, творога, сметаны, хлеба и картошки. Мы в свою очередь, постепенно спустили Зосе все отрезы, которыми нас снабдил Петька Пелипенко. Что ж, как они к нам пришли, так и ушли. Даже чары Ивана Чабана, употребленные им с таким рвением по отношению к привлекательной полячке, на этот раз не имели никакого успеха: рулоны пришлось отдать без остатка.

Итак, мы остались почти без промтоваров, а запасы продтоваров не накопили, и были они у нас весьма ограничены. К счастью, Коля Левченко, отправившийся с группой ребят на разведку в лес, доложил, что обнаружил там озеро, богатое рыбой.

Прихватив нижнее белье вместо сетей, мы отправились к озеру. Возможно, это было даже не озеро, а лиман, образованный речкой Варта. Когда я вошел в него по пояс, то почувствовал, что рыба бьет меня по ногам — так ее было много. Удивляло одно: почему эту рыбу не ловили, и почему нам не попался на глаза ни один рыбак из местных жителей? Может быть, немцам было не до рыбалки, а местные жители не любили рыбу? Не знаю. Так или иначе, мы завязали рукава рубашек и штанины кальсон. Залезли в воду и стали этими импровизированными сетями ловить бьющуюся под ногами рыбу.

Сначала брали все подряд, а потом начали перебирать и выбрасывать мелкоту.

Уха из улова получилась такая наваристая, какой я не ел никогда, ни до, ни после этой удивительной рыбной ловли. Но и память она оставила по себе тоже неизгладимую.

Молоко и рыба — две вещи несовместные. Забыв об этой истине, не требующей доказательств, я после сытного ужина из ухи выпил с удовольствием холодного сырого молока, услужливо преподнесенного Зосей.

И пошло, поехало...

В эту ночь я не подходил к вагону. С опущенными до колен штанами, на трясущихся ногах, я бродил по лесу, передвигаясь и присаживаясь на корточки у каждого дерева. Я вспоминал эпопею с пчелиной пасекой во время войны, которая многих привела к весьма печальному концу...

На рассвете меня, бледного и несчастного, по «следам» разыскали товарищи. Обозвав «дурнем и дристуном» и еще прибавив множество эпитетов, они притащили меня в вагон. Поджарили на листе железа дочерна хлеб, сварили из него напоминавшую кофе похлебку, отделили и этим пойлом поили меня целый день, не давая ничего больше.

Обессиленный, я неподвижно лежал на соломе. Даже мысль о еде теперь вызывала тошноту. Вылечили ребята меня вовремя. На следующий день пребывания в Ченстохове, не помню уже, какой это был день по счету, к нашему составу прицепили паровоз и потащили на станцию.

Через пару дней мы прибыли в город Демблин, где в течение нескольких часов меняли тележки во всех вагонах с узкой европейской на широкую колею.

Еще через несколько дней наш состав пересек реку Буг и подкатил к пограничному городу-крепости Бресту...

Здравствуй, родная земля!

Прощай, постылая граница, мы твои «прелести» и свою горькую чашу испили до самого дна.

## **8. Дым Отечества**

Мы, да и не только мы, а почти вся страна, еще ничего не знали о том героическом подвиге, который совершили защитники Брестской крепости ровно четыре года назад.

Молчали развалины бастионов, где под руководством майора П.М. Гаврилова, капитана И.Н. Зубачева и полкового комиссара Е.М. Фомина в течение месяца красноармейцы отстояли небольшой участок родной земли, ставший символом нестигаемой стойкости и мужества советских воинов.

Значительно позже, в память об этом немеркнущем подвиге, Брестской крепости и городу Бресту было присвоено почетное звание Героев.

...Мы повыскакивали из вагонов.

Под ногами была как будто такая же, как и по ту сторону Буга, но не чужая, а своя — родная, любимая Земля. От осознания этого факта сердце восторженно колотилось в груди. Хотелось смеяться, плакать и петь. Душа ликовала, потому что «все вокруг было — МОЕ!!!»

Пограничники построили нас в колонну и отвели в лагерь для перемещенных, угнанных в Германию лиц.

После проверки документов, предварительных бесед и составления протоколов нас распределили по направлениям дальнейшего следования, в соответствующие бараки.

Поскольку я должен был ехать на Запорожье — в днепропетровском направлении, Василь и Николай — в киевском, а Иван — в черниговском или полтавском, мы попали в три разных барака, по трем направлениям. Вокруг были незнакомые люди. Рядом со мной на нарах разместился какой-то фраер. Он долго присматривался к моему модному немецкому чемодану. Потом предложил менять его на рюкзак, буханку хлеба, галеты и банку американской тушенки в придачу.

Чемодан был хоть и кожаный, и модный, но громоздкий, почти пустой и связывал руки. Рюкзак за спиной, да еще с запасом провизии, был весьма кстати. Обмен состоялся.

Ночью наш барак подняли пограничники, как по тревоге. Построили, сделали перекличку, отдали документы и повели на вокзал, где разместили в теплушках, прицепленных к товарному составу с демонтированным оборудованием, следовавшему на Днепропетровск.

Все это произошло с большой поспешностью и среди ночи. Я сидел уже в вагоне и только тогда спохватился, что не успел попрощаться со своими друзьями, с которыми съел наверняка больше, чем пуд соли: Василем Охрименко, Николаем Левченко и Иваном Чабаном.

И вот снова заскрипели тормоза, залязгали буфера вагонов, и состав тронулся.

«Будьте здоровы, верные друзья мои... Не поминайте лихом, когда проснетесь... Не моя вина, что я не пожал вам на прощанье руки... Все равно нам предстояло расстаться. Жаль только, что это расставание произошло так внезапно и совсем не торжественно, как хотелось бы. Может быть, когда-нибудь еще доведется нам встретиться!» — шептал я про себя, засыпая под мерный стук колес.

Проснулся, когда уже совсем рассвело. Подошел к раскрытой двери вагона, где сидели, свесив ноги, вдыхая полной грудью свежий воздух, молодые ребята. Перед глазами простирались бескрайние просторы Родины, по которым прошла страшная война. На всем, куда ни глянь, она оставила кровоточащие раны, следы разрухи.

Мы проезжали мимо обгоревших телеграфных столбов, сожженных деревень, разрушенных станций и полустанков, пересекали реки и речушки по временно наведенным или наскоро восстановленным мостам.

Коварный злобный враг с чисто немецкой педантичностью и аккуратностью, отступая с временно оккупированной территории, разрушал все подряд, оставляя за собой выжженное пространство. Только изредка попадались места, избежавшие разрухи. Это были счастливые города и села, из которых противник был выбит внезапным ударом и с такой быстротой, что едва унес ноги, не успев нанести существенных повреждений. На таких станциях былолюдно. Все куда-то спешили, перемещались, переезжали с вещмешками, рюкзаками, котомками и корзинами.

То в одном, то в другом месте раздавался знакомый с детских лет душераздирающий вопль:

— Держи вора! Лови его!..

На перроне можно было увидеть голодных, нищих людей, просящих милостыню.

По вагонам ходили калеки и полуслепые люди в грязных, выдавших виды, пропахших потом и табаком гимнастерках: без рук, без ног, на костылях и досках-тележках.

Вдоль вагонов надрывно звучали их протяжные, берущие за душу песни:

Умру, в чужой земле заре-о-оют,  
Заплачет вся моя семья,  
Жена найдет себе другого,  
А мать сыночка — никогда.

Или другие, военного времени:

22 июня,  
Ровно в четыре часа,  
Киев бомбили,  
Нам объявили.  
Что началась война...

Картины, которые я увидел, передвигаясь по стране в товарном вагоне, окончательно выветрились из моей головы Германию и сладкие воспоминания о Велле.

Душу захлестывали досада и злоба оттого, что фашистам мало досталось за причиненные горе и злодеяния.

Раздавая просящим налево и направо подавания, я скоро прикончил свои продовольственные запасы, и, чтобы не так сильно ощущать голод, остаток пути старался по возможности преодолевать во сне (благо был большой опыт, полученный за войну).

Вот и станция Синельниково, — последняя большая узловая станция перед городом моего детства, Запорожьем. Здесь предстояла пересадка.

Я закинул за плечи рюкзак и спрыгнул на платформу.

Была ночь...

Тускло светили большие окна в полуразрушенном здании вокзала, куда я направился, чтобы выяснить время отправления ближайшего поезда на Запорожье.

Поезд должен был пойти в четыре утра.

Я стал ходить по вокзалу, всматриваясь в лица спящих, лежащих и снующих по залу пассажиров, стараясь увидеть и узнать хоть одно знакомое лицо...

И вдруг я заметил неторопливо двигавшихся взад и вперед по платформе двоих пожилых мужчин. Я выскочил из зала и стал прохаживаться около. Их лица всколыхнули в душе воспоминания о мирном времени и о чем-то далеком, оставшемся в прошлом. Я ходил за этими двумя тенью, в надежде, что если я не ошибся, то и они меня узнают.

Мне показалось, я был даже уверен, что хорошо знаю одного из них: это был отец девочки из нашей школы — Тамары Бовенко. Другого — я готов был дать голову на отсечение, что он тоже из Запорожья, — я знал в лицо по городу, а фамилии и кто он не мог вспомнить.

Несколько лет спустя мы жили с этим человеком и его семьей в одном дворе и с улыбкой вспоминали эту случайную встречу на станции Синельниково. Но это потом. А пока...

Сердце сжималось, трудно было дышать, я волновался, смотрел на лица этих знакомых людей и мучился: подойти к ним или нет? Узнать у этих людей о своих близких или пока не нужно? Во-первых, я не был уверен, знают ли эти мужчины моих родных, во-вторых, я боялся услышать раньше времени самые страшные вести от этих «пришельцев из моего прошлого», так как был уверен, что отец и сестра были мобилизованы и отправлены на фронт, а мать... моя больная мать где-то голодала одна, среди чужих людей в далеких краях за Уралом.

Живы ли они сейчас?!

На войне как на войне: она ни с кем не считается, ни с молодыми, ни со старыми.

Что с ними стало, с моими родителями, с моей сестрой?

Так ничего и не узнав и не осмелившись заговорить с двумя «знакомыми», я сел в вагон, ничего не выяснив о моих родных.

Паровоз бодро гудел, колеса отстукивали последние километры моего бесконечно длинного и утомительного пути. В такт им стучало сердце:

— И дым  
Отечества  
Нам сладок  
И приятен...

Как воспоминания из далекого детства, возникали названия: Софиевка... Янцево... Мокрая... и, наконец, поезд замедлил ход и остановился у знакомого до боли Екатерининского вокзала — станции Запорожье-2.

Было не более шести часов утра.

Расторопные пассажиры с мешками, бидонами, корзинами повыскакивали из вагонов и, ни минуты не задерживаясь, потянулись цепочкой к рынку. А я медленно сошел на перрон, оглядываясь по сторонам, внимательно, по приобретенной за эти годы привычке, всматриваясь в лица людей, пересек зал ожидания, вышел из здания к скверу и опустился на ступеньки напротив центрального входа. Сердце колотилось так, что идти дальше не хватило сил.

Я не заметил, как по лицу потекли слезы.

Я плакал...

Хотелось тут же упасть на колени и целовать родные камни родного города.

Сколько раз до того и после мне приходилось бывать здесь, на этом самом месте, но такого сильного чувства сыновней любви и преданности к родным местам я никогда не испытывал.

Бросала меня судьба после: ненадолго на Запад и надолго на Восток. Но я снова и снова с радостью возвращался к родительскому дому, городу, где родился и вырос. Но то первое возвращение, в 1945 году, после четырех лет разлуки, — никогда не забуду.

...Слезы катились по щекам.

Я не вытирал их и не стеснялся. Я плакал, не скрывая слез, первый раз за три с половиной года, теперь уже от радости возвращения.

Сколько времени я так просидел на ступеньках, не знаю. Потом поднялся, прошел мимо развалин Машиностроительного института и зашагал по ул. Жуковского к своему довоенному дому.

Пройдя полтора квартала, я остановился у знакомой калитки, где жила папина сестра, тетя Маня, о которой я упоминал вначале.

Что и кто ждет меня за этим забором? Какие вести? Радостными или печальными они будут?

Минуту я постоял в нерешительности, затем нажал на щеколду. Калитка заскрипела и отворилась... Я робко вошел во двор.

Слева, на деревянной крышке, прикрывавшей яму водопроводного крана, сидел пожилой человек, опустив свою седую голову на согнутые руки, упиравшиеся в колени.

Он не то спал, не то о чем-то глубоко задумался. От скрипа калитки он вздрогнул, приподнял голову и вопросительно посмотрел в мою сторону.

Я мгновенно узнал его. Это был старик Черный, сосед Мани.

Я заговорил с ним:

— Здравствуйте! Вы меня не узнаете? Я Мара, Мара Нейштадт!

Я с трудом произнес свою фамилию, которая несколько лет находилась под замком, в плену у памяти, и теперь, ну, вылетела наружу, словно чужая для моего слуха и сознания.

Старик Черный не успел еще произнести ни слова, как на мой голос из распахнувшейся двери выскочила его дочь Аня и бросилась ко мне с криком:

— Марочка! Мара! Папа, это же Мара Нейштадт — Анин и Израиля сын!

А из-за спины дочери уже выглядывала ее мать и тоже причитала:

— Мара, Марочка, живой!

С этими словами женщины затащили меня в дом. Я боялся задавать вопросы, однако спрашивать не пришлось: из Ани, как из рога изобилия, посыпались на меня потоком новости.

Я узнал, что мама, папа и Беллочка живы, а это было самое главное; что маму Аня вчера видела на базаре и разговаривала с ней. Я также узнал и печальную новость о том, что моя тетя Маня вместе со своими двумя девочками и сотнями других евреев города расстреляны немецко-фашистскими оккупантами на стадионе «Крылья Советов», где я часто играл в футбол.

Пока мать Ани усаживала меня за стол и потчевала завтраком, дочь побежала с радостной вестью к моим родителям. Вдогонку ей я очень просил, чтобы она не выкладывала все сразу маме, а подготовила ее постепенно, так как знал и всегда помнил о мамином больном сердце.

Но Аня была врачом, ее не нужно было предупреждать, она лучше меня знала, как поступать в подобных случаях.

Томительное ожидание...

И вот я услышал из кухни шум за окнами, бросил еду и в растерянности спрятался за дверь спальни.

Трудно описать мое состояние, когда через долгие четыре года снова услышал родной мамин голос:

— Где он? Где мой сынок?

Не в силах больше сдерживаться, я выскочил с распростертыми руками навстречу маме. А она, обливаясь слезами, бросилась в мои объятия, целовала, гладила мое лицо, голову плечи, руки и шептала, шептала в упоении:

— Марочка, Марочка, мой Марочка жив! Я знала, я верила, что мой сынок жив!

Боже мой, сколько пережила эта женщина! Должно быть, это ее материнская вера и любовь хранили и спасали меня от смерти и в бою, и в плену, и вырвали живым из лап гитлеровских палачей в лагерях Остарбайтер.

Какая же сила заложена в тебе природой и Богом, женщина-Мать?

Низкий поклон тебе от всех сыновей, внуков и грядущих поколений твоих во всех веках! Мы все в неоплатном долгу перед тобой, наша дорогая и единственная мама.

Пока живу, ты будешь для меня всегда символом святой женщины, — МАМА!

*Конец второй книги*

## Глава 10. Дома

...Как хорошо, что я завернул к Чарным, а не пошел прямо к своему дому.

На том месте, где жили до войны большие и дружные семьи двух братьев и сестры Бухариных, наша и Шустеров, вместо двух кирпичных домов громоздились груды обгоревшего кирпича, да кое-где из этого мусора, успевшего прорасти бурьяном, выглядывал фундамент. Вот и все, что оставила неумолимая война от моего безмятежного детства.

Что бы я сделал, как бы себя повел, как поступил, если бы сразу по пути не завернул в Манин двор, а с вокзала пошел на эти развалины? Мне трудно дать сейчас однозначный ответ. Как получилось, так и получилось...

Мама повела меня по ул. Жуковского мимо нашего старого дома.

Там, у его руин, я задержался на несколько минут. Склонив голову, как у могилы близкого человека, я попрощался со своим детством и отрочеством, со всем светлым, что связывало меня до войны с домом, где я родился, откуда пошел в школу, потом в институт и на фронт...

Мама шла, ни на минуту не отпуская меня, держа за руку, как в детстве, заглядывая счастливыми глазами мне в лицо, и, очевидно, не совсем отдавая себе отчет, видит ли она все это во сне или наяву.

...По ул. Октябрьской мы спустились вниз и свернули в Военкоматский переулок. Здесь, в двадцать втором номере, у знакомых временно поселились мои родители. Здесь предстояло жить и мне, — их затерявшемуся в огне Второй мировой и найденному сыну. Наше временное жилище состояло из двух крошечных смежных комнатушек, одна из которых была проходной. Пол глиняный, потолки низкие, окно в одной комнате с видом на дворовые сараи.

Едва мы вошли в дом, как прибежал с работы отец. Он принес маме радостную весть, правда, с небольшим опозданием, о моем «неожиданном» возвращении. Оказалось, что отцу на работе об этом доложили те два пожилых человека, которые встретились мне на станции Синельниково.

В Военкоматском переулке, буквально через пару дней, я наткнулся на свою бывшую соученицу по школе — Любочку Баш. Я бросился ей навстречу. А Любочка, уверенная, что я погиб, посмотрела на меня отрешенно, очевидно, приняв за двойника, а потом — за привидение. Зрачки ее серо-голубых глаз расширились, она сделала два шага назад, уперлась спиной в дерево и стала по нему оседать. Я подхватил ее под руки, приподнял, и лишь тогда, когда закричал: «Любочка, это же я! неужели не узнаешь?!», — она повисла у меня на шее, начала осыпать поцелуями и еле внятно, словно только что очнулась, произнесла:

— Марочка, милый, неужели это ты? Ты жив?!

Весть о моем «воскрешении из мертвых» и возвращении в родное отечество быстро облетела весь город. Начались паломничества родственников, вернувшихся из эвакуации, знакомых и незнакомых, но просто любопытных. К нам начали приходить люди, у которых пропали без вести и не вернулись с фронта мужья, отцы, сыновья и братья. Всех интересовал один вопрос: не встречал ли я их близких?

...Со своими немецкими документами и справками, сохранившимися у родителей, я пошел в милицию получать паспорт. Начальник районного отделения милиции и особенно начальник паспортного стола настоятельно рекомендовали мне записать фамилию и национальность, которые указаны в моих немецких документах. То есть я должен был остаться Марком Степановичем Билым, украинцем, уроженцем села Беленькое. Я категорически отказался от такого, на мой взгляд, кощунства. За три с половиной года мне основательно надоела «чужая шкура», в которую я достаточно прочно влез. Настала пора рядиться в свою, хоть и не совсем надежную при царившей в то время окружающей атмосфере, но зато собственную, кровную, родную шкуру.

Так, в повседневных заботах, хлопотах и радостях бытия, незаметно пролетели первые десять дней в Запорожье.

«Но не долги были радости, воротился сын больнехонек», — эти строки из некрасовского стихотворения «Орина — мать солдатская» могут послужить эпиграфом к моему последующему повествованию. С диагнозом «брюшной тиф» положили меня на двенадцатый день пребывания в городе в инфекционную больницу, где я пролежал между жизнью и смертью полтора месяца. Досадно было: четыре напряженнейших года прошло — остался жив, а тут? Тиф! Неужели

«черная старуха с косой» все-таки меня подстерегла? И это в то время, когда начинается новая, светлая, мирная жизнь?

Врешь! Буду бороться за жизнь!

И я боролся вместе с врачами Ушаковым и Подзолкиным, медсестрами Барабаш и Костенко, добрыми нянечками, фамилии которых, к сожалению, не удержала память...

Температура на градуснике порой показывала сорок с хвостиком. Я терял сознание, бредил, нес какую-то околесицу... Передо мной в помутневшем разуме проносились прожитые четыре военных года: взрывы снарядов и бомб, куски кровавых человеческих тел, повисших на проводах и ветвях деревьев, грохот танков и орудийных залпов... Меня расстреливали и вешали... я бежал... меня ловили, вязали и снова расстреливали и вешали...

Война и плен не давали покоя. Все, что было, и что видел я за то время, кусками проносилось в воспаленной памяти. Я метался в бреду на больничной койке. А когда температура падала, вскакивал мокрый, в поту, на постели и, ничего не понимая, оглядывался по сторонам.

Вокруг было чисто и тихо. Мирно спали больные. Тускло светила одинокая ночная лампочка, на моей койке сидела дежурная сестра, меняя компрессы на голове. Обессиленный, я падал на кровать, засыпал, и опять передо мной вставали, как слайды, картины войны, одна ужаснее другой.

Человека осаждают сны —  
Смутные видения войны.  
Он хрипит, ругается и плачет  
В мире абсолютной тишины...

Эти строки из стихотворения Сергея Орлова точно отражают мое состояние того времени.

Удивительно (не знаю, чем это объяснить), но за четыре года войны мне ни разу не приснились ни война, ни плен. Не снилась и Германия трех цветов времени: ни тогда, когда она играла торжественные марши и вывешивала красные знамена с белым кругом, внутри которого красовался черный паук-свастика, ни тогда, после Сталинграда, когда она вывесила черные флаги; ни тогда, когда вывесили белые флаги (вернее, полотнища), возвестившие о мире и безоговорочной капитуляции...

Сны о войне, плене и Германии начали посещать и давить на меня по ночам после приезда в Запорожье. Тогда началось и продолжает до сих пор сниться военное время... Уже более сорока лет! Похоже, так будет до конца дней моих...

Но теперь это бывает не каждую ночь. Иногда во сне я уже не играю роль участника, а только постороннего наблюдателя. Лица товарищей своих, погибших и живых, вижу не так часто, как раньше, а расплывчато в тумане, причем себя старым, теперешним, а их — молодыми, какими они были тогда, в восемнадцать-девятнадцать лет...

Истощенный, бледный, бритый наголо и голодный, вернулся я домой из инфекционной больницы. Не представляю, как в то тяжелое время умудрялись кормить меня родители. Я ел и ел, даже по ночам жадно пожирал пищу и никак не мог утолить свой зверский аппетит.

Это был, уж не знаю, какой по счету голод (теперь вынужденный и добровольный), который я пережил за последние четыре года...

И мой разрушенный город, и дом, и тиф, и бесконечные кошмарные сны, от которых я вскакивал в холодном поту по ночам, — все это были последствия войны, самой жестокой и кровавой войны за все время существования человечества.

## 1. Снова учеба

Когда я очухался, то заговорил с родителями о том, что пойду устраиваться на работу слесарем или токарем на завод. Однако отец и мать в один голос запротестовали:

— Ты пойдешь заканчивать институт! Все остальное выкинь из головы. Ведь не напрасно мы всю войну хранили твои документы.

Мама достала мой аттестат за 10 классов средней школы, справку о том, что я в 1941 году окончил I курс ЗМИ и выбыл из института в связи с уходом в РККА; справки о том, что я мобилизован в армию и на призывном пункте военкомата 9 июля сдал свой первый паспорт серии 1-ЯЯ №690144, выданный гражданину СССР Нейштадту Марку Израилевичу в 1939 году, то есть всего два года тому назад.

Признаться, мне очень хотелось учиться после такого промежутка времени, когда я был оторван от книг и учебников, поэтому я не сильно стал возражать родителям, у которых было страстное желание вырастить сына инженером.



Вечернего и заочного отделения тогда в институте еще не было, потому что даже дневные еле комплектовались абитуриентами. У нас, например, на втором курсе было всего три факультета, состоявшие из четырех групп.

Короче говоря, документы, сохраненные мамой, позволили мне стать студентом II курса дневного отделения, теперь уже не Машиностроительного, а Автомеханического института. Факультет я выбрал тот же, что и начинал до войны: технология машиностроения, специальность — станки и инструменты.

Институт был основательно разрушен, и поэтому до начала учебного года и потом всю осень по воскресеньям мне вместе с остальными студентами приходилось, что называется, вкалывать на его восстановлении. Очень сильно был поврежден главный корпус с актовым залом, сгорели лаборатории, превращен в груды развалин прекрасный спортивный зал, некогда гордость учебных заведений. Мы разбирали завалы, сортировали и складывали в пирамиды кирпичи. Под руководством опытного прораба-строителя готовили раствор и вели кладку стен. Здесь, на этой студенческой стройке, за лето и осень я овладел нелегкой профессией каменщика, а потом и штукатура.

На восстановлении института, кроме нас, студентов, работали еще военнопленные немцы. У нас были свои бригады, у них свои. У нас был свой мастер, у них — свой, и, кроме того, охрана. А ведь совсем недавно я был в их положении. Теперь роли поменялись.

На перекур мы собирались иногда вместе с пленными, и ребята ради спортивного интереса просили, чтобы я поговорил с пленными на немецком языке. Моим товарищам почему-то нравился мой саксонский диалект, они считали, что я говорю по-немецки идеально, и с открытыми ртами наблюдали, как я бегло разговариваю. Фактически же мои разговоры с немцами сводились к элементарным вопросам и ответам: «Откуда родом? Что делал до войны? В каком роде войск служил? На каком фронте довелось побывать? Где и как попал в плен?» Из наших нехитрых бесед ребята кое-что понимали, и это, очевидно, им особенно импонировало. Мне же эти диалоги доставляли мало удовольствия, тем более что не все военнопленные немцы соглашались разговаривать на темы, ничего им не дающие, лишь теребящие их души. Но однажды ко мне подошел средних лет немец и первым заговорил, употребляя в окончаниях слов характерные для саксонцев диалектизмы «иш», «миш» и т.д. Да, это был чистокровнейший саксонец из г. Хемнитца! Бедолага до войны работал на том же заводе, что и я — Айзенбанверке. Какое совпадение! Только мы поменялись ролями в прямом и переносном смысле. Он все выпрашивал у меня о заводе, о своем доме: «Цел ли он? Видел ли я Хемнитц после бомбежки? Что с заводом?» Я рассказал этому пленному, что от завода остались руины. Потом, щадя этого, как теперь мне казалось, беззащитного и невинного немца, сказал, будто его улица и дом совсем не пострадали, что город почти не разрушен.

— Аллес ГАБТ зайн Анфанг унд Энде (Все имеет свое начало и конец), — поставили мы точку в нашем разговоре.

Потом, до самой отправки «нах Гаус» немецких военнопленных, я никак не мог отделаться от этого немца: он подкарауливал меня перед входом в корпус института, чтобы еще и еще что-нибудь узнать о своем городе и доме. Я понимал его как человека, потому что не так давно сам находился в его положении. И вместе с тем, это был поверженный враг, и не я, а он и ему подобные принесли беду в наш и свой дом. Пусть же он выпьет хоть половину той горькой чаши, которую мне пришлось испить сполна по вине его соплеменников.

\* \* \*

Учебный процесс начался с 1 октября в недостроенном полуразрушенном здании. Аудиториями служили в основном бывшие коридоры главного корпуса да одноэтажные большие коттеджи в глубине двора, где до войны были гаражи и жилища преподавателей.

В одном из таких зданий разместилась столовая, в которой можно было по талонам кое-что поесть из горячего. Талоны, которые получали студенты, в том числе и я, назывались «УДП» (дополнительное питание). Мы это название расшифровали по-своему и, думается, точнее: «Умрем днем позже». В то тяжелое время это было почти верно, так как пища была довольно скудная, и мы в основном ходили полуголодные, а те из ребят, что жили в общежитии, и вовсе голодными. Но что-то, а голод я научился переносить молча и не жаловаться.

Уходя из дома в институт, я пил чай с кусочком хлеба, в обед получал еду по талонам УДП и дома вечером ужинал тем, что Бог пошлет и приготовит мама. Пустой желудок нисколько не влиял на мою тягу к учебе. Ей не мешали ни отсутствие электричества, ни теснота в моей конурке дома. Четырехлетний перерыв в учебе как будто подменил меня. Я с таким азартом

набросился на учебу, что занимался до глубокой ночи при керосиновой лампе и свечах до тех пор, пока глаза не закрывались от боли. Учебников было мало, в магазинах они не продавались. В институтской библиотеке учебники выдавались из расчета один на пятерых, в лучшем случае на троих. Весь второй курс я тщательно вел конспекты на тетрадах, изготовленных самими студентами из газет или оберточной бумаги. На третьем курсе уже появились тетради, и конспекты приобрели приличный вид.

В эту пору мне странно было наблюдать, как на лекциях некоторые студенты (в основном те, что пришли в институт сразу же после десятилетки) не слушали преподавателей, не конспектировали, баловались, читали художественную литературу и вообще вели себя, как дети.

«Зачем они ходят в институт?» — не переставал я удивляться, глядя на таких студентов.

Мое рвение в учебе не замедлило сказаться. Скоро я догнал по успеваемости лучших студентов курса, потом выдвинулся в число самых-самых и стал получать повышенную стипендию. Ко мне в Военкоматский переулок №22, в маленькую комнатку с земляным полом и керосиновым освещением, начали приходить на консультацию по математике, сопротивлению материалов, теоретической механике и т.д.

...Я с удовольствием, как со старыми хорошими и близкими друзьями, встретился в институте с довоенными преподавателями, которые у меня на I курсе читали и даже не читали лекции: Ильяшенко — «Батей», легендарным Говоровым и занимавшим более скромное место в сердцах и умах студентов Мартыненко.

Почему-то страшный для студентов предмет «Сопротивление материалов», который читал Георгий Аввакумович Ованесов, маленький симпатичный армянин, я полюбил с первых лекций и знал досконально.

Вообще же я, да и не только я, а в основном все студенты-«переростки», прошедшие войну, были в хороших отношениях, почти на короткой ноге, с преподавателями. И не удивительно, ведь последние для нас были старшими товарищами, а некоторые, например, Борис Ильич Лещинский, можно сказать, просто друзьями. Это происходило не только потому, что мы были «переростками», имели жизненный опыт, накопленный и удесятеренный в горниле войны, но и потому, что были старше по возрасту, серьезней своих сокурсников и пришли в институт сознательно, с целью получить знания, и жертвовали ради этого возможным заработком. Это понимали наши преподаватели и ценили в нас тягу к науке, не в пример некоторым молодым студентам, которых кормили обеспеченные родители и которые учились кое-как, ради престижного в то время диплома инженера.

Встретился я в институте с ребятами второго, третьего и четвертого довоенных курсов ЗМИ. Из них укомплектовали по одной группе третий и четвертый курсы и довели кое-как до дипломирования: ведь не комплектовались не только группы и курсы, но и профессорско-преподавательский состав института.

Большим праздником для института стал I выпуск дипломированных инженеров.

В течение осени и зимы 1945 — 46 гг. институт пополнился кадрами за счет демобилизованных воинов, бывших студентов, приезжали также из эвакуации уволившиеся с заводов и вернувшиеся в город ребята и девушки.

Не у всех довоенных студентов сохранились документы о том, что их учеба была прервана, как у меня, в связи с призывом в армию или эвакуацией и устройством на заводы. В связи с этим нам, «старым» студентам, разрешалось по запросу деканата давать подтверждения, что такой-то или такая-то учились с нами и закончили I или другой курс ЗМИ.

На основании наших справок-подтверждений деканат выдавал документы, заверенные печатью, подтверждавшие принадлежность человека к бывшим студентам, по которым последние имели право продолжить учебу в любом техническом вузе страны, даже право на демобилизацию из рядов Вооруженных сил согласно постановлению правительства. Были случаи, когда мы, пользуясь абсолютным доверием деканата, демобилизовывали таким образом просто знакомых хороших ребят, не учившихся ранее в институте.

Не помню сейчас, по чьей рекомендации, я написал заявление в деканат, что со мной учился на I курсе до войны Виктор Сергеевич Слинченко. Это заявление подписали еще двое «старых» студентов. Справку выдали незамедлительно. Через некоторое время этот «артист» — Витька Слинченко — демобилизовался и вместо того, чтобы пойти на подготовительное отделение (его только открыли при институте) или на первый курс, поступил к нам — на второй курс.

Как оказалось, Витька в начале войны только-только успел закончить фельдшерскую школу. Этот чудака даже не представлял себе, что, придя сразу на второй курс, он останется без знания базовых предметов, таких, как физика, химия, математика, начерталка и т.д., и что ему

придется все-таки осваивать их самостоятельно, параллельно с текущими предметами. Но я не пожалел ни тогда, ни позже, что выбивал для Витьки документы, так как парнем он оказался замечательным, хоть и нахальным.

Мы подружились с Витькой Слинченко, и он не один вечер просидел со мной у керосиновой лампы, пока осилил азы высшей математики, начертательную геометрию и другие предметы, которые поначалу и для меня, закончившего I курс четыре года назад, казались весьма туманными и трудно постижимыми дисциплинами...

В настоящее время Виктор Сергеевич Слинченко — солидный пожилой мужчина, защитил докторскую диссертацию, является одним из известных сотрудников Киевского научно-исследовательского института МО.

## **2. Еще раз про любовь**

...Все шло хорошо.

Я был поглощен учебой и не замечал, что из-за меня не спит по ночам, переживает и вздыхает Розочка Гелькина — семнадцатилетняя дочь хозяйки и сотрудника моего отца, у которых мы временно снимали квартиру.

А я хоть бы хны. Мне даже больше нравилась ее подруга Дина — светловолосая, стройненькая девушка, снимавшая у Гелькиных угол и учившаяся вместе с Розочкой в медтехникуме на фармацевтическом отделении. Однако и к той, и к другой я относился, как к славненьким девочкам, младшим сестричкам, не более. Они хоть и были в самом соку — конфетками шоколадными, но все же диетическими.

Я сравнивал мысленно всех особ женского пола с Веллей, которая продолжала оставаться в моем сердце вне конкуренции и полностью владела им и душой.

И надо же было такому случиться, чтобы однажды, когда мы шли после лекции из института вдвоем с сокурсницей Анной Киселевой, я усмотрел в ее голосе, прическе и цвете волос до боли знакомые и родные, снившиеся мне по ночам черты моей Велли. От неожиданности я даже опешил и остановился. Сердце учащенно забилося. К немалому удивлению спутницы, я стал смотреть на нее в упор и не мог оторвать удивленного открытием взгляда. И я уверен, что он еще источал и нежность, и растерянность, и пробуждение нового чувства — невостреченной любви.

Аня была обыкновенной девчонкой, как все остальные окружавшие ее подруги, скорее даже не очень красивой, с чертами лица, далекими от классических. Однако я что-то нашел в ней такое, что все остальное ушло на второй план. В ней я видел только то, что мне напоминал Веллю, только ее. Поэтому в Анне я замечал только достоинства, а недостатки не замечал.

«Любовь слепа», — гласит поговорка.

Понемногу я до такой степени влюбился в Анну, что ее образ затмил все остальное. Все, что не было связано с ней, ушло из моего поля зрения и помыслов. «Только быть рядом с этой девушкой, дышать с ней одним воздухом», — я не желал для себя большего счастья. Анна жила в пяти минутах ходьбы от меня, на параллельной улице. Так же близко от нас находился дом еще одного парня из нашей группы по институту — Иосифа Кравцова. И вот, чтобы почаще быть рядом с Аней, я отказался от самостоятельных занятий у себя дома и приемов студентов на Военкоматской 22, а стал ходить заниматься к Ане на ул. Гоголя 21 или вместе с ней и другими ребятами к Кравцовым в Ломаный переулок 5.

И у Киселевых, и у Кравцовых были собственные хорошие, светлые и благоустроенные по тем временам и меркам квартиры.

Собиралось в этих квартирах нас — студентов — ежедневно по шесть-семь человек. При общей нехватке учебников наши групповые занятия вполне себя оправдывали, так как книг в нашей компании получалось практически даже в излишке, а некоторые даже в двух-трех экземплярах, и, кроме того, мы использовали наиболее удачные конспекты, что тоже немало важный фактор.

На этих двух квартирах мы успевали и позаниматься, и побалагурить. Особенно это можно было себе позволить у Кравцовых, где занятия сопровождалась игрой на пианино, шахматными партиями и даже пением под аккомпанемент хозяина. Иосиф неплохо играл на инструменте, часто по слуху, но больше всего он любил игру в шахматы, за что получил прозвище «Гроссмейстер». Многие студенты даже не знали его настоящего имени и называли по кличке.

Когда у Кравцовых бывала Аня, я весь преображался: старался блеснуть остроумием, во-

кальным искусством и становился чуть ли не на уши, только бы выделиться, быть замеченным, привлечь внимание и понравиться предмету своих постоянных воздыханий.

В общем, благодаря совместным занятиям я добился-таки, что мое небесное создание, мою богиню Анну мог видеть по несколько лишних часов в день. Но и этого мне казалось мало. Я жаждал видеть ее постоянно...

Воскресенья и праздники, каникулы между сессиями, короче, все свободные от занятий дни вне института стали для меня мукой.

Такие дни тянулись для меня так уныло и медленно, что я не мог найти себе места в четырех стенах нашей маленькой комнатухи. Я выходил из дома, шел по улицам города, выбирая вероятные маршруты предмета моей любви, и смотрел настороженно по сторонам: не мелькнет ли где ее красный берет.

С Веллей у меня все было гораздо проще. Началось со взаимных заигрываний. Мы долго не объяснялись, но, как только почувствовали взаимное влечение, тут же бросились друг дружке в объятия и уже не расставались до самого моего отъезда на Родину.

С Анной с самого начала все сложилось значительно трудней и запутанней.

Она мне мило улыбалась, ей приятны были мои ухаживания, но не больше. Я это чувствовал, но ничего не мог поделать. Иногда она приближала меня к себе настолько, что, казалось, стоит захотеть, дать себе волю, и она будет навсегда моей. Но иногда держала меня на таком расстоянии, что я начинал понимать, что нахожусь на положении «запасного игрока». Я сердился на Аню и вместе с тем берег: не хотел обидеть сам и никому не хотел отдавать.

Часто на этой почве мы ссорились и вместе с тем друг без друга долго быть не могли и томительно искали предлог для примирения. В такой период я ходил хмурый, как туча осенняя, никого и ничего не замечая вокруг, ничем и никем не интересуясь.

Я, конечно, старался скрыть от окружающих свои мысли и чувства, но мать не проведешь. Она все видела и догадывалась об истинной причине страданий своего сыночка. Мама дипломатически начинала переводить мое внимание на других девушек:

— Марочка, неужели ты не замечаешь, как нравишься Розочке? Ты бы пошел с ней хоть один раз в кино...

Или:

— Сколько можно сидеть над книгами? Сходил бы с Ниночкой на танцы. Смотри, какая красавица рядом у Лиды растет!

Моя дорогая, бедная, милая мамочка! Она даже не могла себе представить, что ее сын, кроме Ани, ничего вокруг себя не видел: ни чужих горестей, ни радостей.

\* \* \*

Между прочим, в институте я буквально лоб в лоб неожиданно столкнулся со студентом третьего курса Шуркой Шумейко, с которым еще до войны занимался боксом в спортивном кружке у студента старшего курса — Сергея Бандалетова. Сашка Шумейко уже имел первый разряд и готовил группу студентов к предстоящим областным соревнованиям по боксу среди учащейся молодежи.

Я был рад этой встрече, так как увидел еще одного живого довоенного знакомого человека, а он обрадовался вдвойне: что увидел знакомого из далеких и забытых студенческих лет, и, мне кажется, еще больше потому, что в моем лице увидел бывшего боксера наилегчайшего веса. Не теряя времени, он стал меня обрабатывать, чтобы я выступил за институт в предстоящих соревнованиях. На мои возражения, что я четыре года не надевал перчатки и не тренировался, что переболел тифом, ослаб и потерял спортивную форму, мой приятель выдвинул не меньше контраргументов и предложений, как поправить дело. Все заботы, связанные с этим, он брал на себя.

Я решил попробовать.

Сашка ликовал.

Он выставил против меня для тренировки парня среднего веса второго разряда. Так как до начала соревнований оставался всего один месяц, тренировки шли ежедневно и выматывали меня до умопомрачения. Я ходил весь в синяках, избитый моим опытным напарником и измученный моим тренером Сашкой, но зато хоть немного отвлеченный от коварных чар любви и грызения гранита науки. Я был почти доволен.

Как-то я пригласил с собой на тренировку Витьку Слинченко. Я очень рассчитывал, что его можно будет потренировать, и так как он способный парень, почти равного со мной веса и спортивный, то сделать из него, на всякий случай, моего дублера, то есть боксера наилегчайшего

веса. Мне хотелось, чтобы Витька принял участие в соревнованиях вместо меня. Правда, Виктор до этого никогда не боксировал, а просто хорошо дрался. Кроме того, у него были передо мной свои преимущества: он был моложе меня, обладал отличной реакцией, схватывал объяснения на лету и отличался большим упрямством и работоспособностью. В общем, этот парень не подвел меня. Он быстро освоил основные приемы, и уже через неделю упорных тренировок с ним можно было сражаться почти на равных. Окрыленный такими успехами товарища, я начал просить Шурку Шумейко, чтобы он на соревнования выставил вместо меня Витьку. Но мой упрямый тренер и слушать не хотел. Он безапелляционно заявил:

— Не для того я в тебя столько сил и времени вкладывал, чтобы сейчас менять! У тебя опыт! Отработай, а там видно будет. А из Слинченко боксер получится, в этом я уверен.

Настал день соревнований. Они проводились в спортивном зале общества «Трудовые резервы». Возглавлял судейскую коллегия, между прочим, мой школьный преподаватель физкультуры — Алексей Фердинандович Фешотт.

Собрались, как водится, болельщики от всех команд, из института тоже.

Среди боксеров были ребята разных возрастов, от 18 до 25 лет, и разных весовых категорий.

Мне было тогда 23 года. Возраст вроде бы небольшой, но я уже успел пройти войну, огонь, воду и медные трубы, и, что больше всего меня смущало, начал преждевременно лысеть. После перенесенного тифа у меня катастрофически стали выпадать волосы. В некогда волнистом чубе образовались проплешины, лоб заметно увеличился. В бане после купания я старался не протирать, а промокать голову. Несмотря на эти предосторожности, все равно на полотенце оставалось полно волос. Они лезли в розницу и оптом. Это был какой-то кошмар. Тогда, отчаявшись, я решил побрить голову наголо. Но ходить одному с бритой головой, как белая ворона, — некрасиво. И я начал проводить агитацию ребят своей группы в институте за организацию клуба «Бритоголовых». Меня поддерживали, тем более что выпадали волосы у многих, в том числе у Витьки Слинченко, Оськи Каневского, Кости Кулакова, Гроссмейстера и других ребят. Вскоре нашему примеру последовали студенты из других групп и курсов. Теперь ходить с бритой головой стало модно. Однако и по стриженной голове было видно, у кого густые волосы, а у кого редкие. И это было моим горем. Но вернемся к боксу.

Так вот, моими противниками выступали, в основном, волосатые юнцы в возрасте до 19 лет. Опыта у меня, конечно, было больше, чем у них, меньше горячности и суеты, поэтому расправлялся я с ними сравнительно легко, тем более что мой тренер Саша Шумейко почти до последнего дня на тренировках выпускал против меня средневесовиков-второразрядников, у которых удары были куда более увесистыми, чем у этих «мушек».

Зато «мушки» имели одно немаловажное преимущество — моральное, потому что у них было очень много болельщиков. А у меня — несколько своих студентов из клуба бритоголовых, в том числе мой дублер Витька Слинченко. И с ним пришел самый мой желанный и вместе с тем самый опасный болельщик в юбке, — Анна Киселева. Это чертов Витька постарался и пригласил ее на финал.

Мне страшно было выходить на ринг, потому что я был старше на четыре-пять лет своего противника и выглядел против худощавого длинного юнца не лучшим образом, как бритоголовый «старикашка». Это меня очень смущало. Но отступать было уже некуда и невозможно. Слава Богу, это была финальная встреча.

Мы вышли на ринг, пожали судьбе и друг другу руки и разошлись каждый в свой угол. Раздался удар гонга, и доносившиеся из зала шум, оживление и реплики прекратились.

С возгласом судьи «бокс» я пошел в атаку.

Худощавый длинный юнец не растерялся и своими длинными рычагами встретил меня на хорошей дистанции. Зал притих и насторожился. А я понял, что мне трудно будет пробиваться для нанесения удара без обманных движений и всяческих ложных, отвлекающих ударов.

И тут началось...

Когда мне доставался даже незначительный удар, в зале раздавался смех, аплодисменты и крики болельщиков противника:

— Давай, давай! Так его!

А когда я доставал прямо, справа и слева, в скулу или переносицу противника, да так, что он закатывал глаза, как полоумный, и глотал поспешно воздух, словно рыба, выброшенная на сушу, в нокдауне, из зала неслись многочисленные вопли:

— Эй, папаша! Не смей бить ребенка! Пожалуемся в милицию — заберет!

Это была уже психическая атака на меня. Опытные боксеры обычно не реагируют на реплики, доносящиеся из зала. Они попросту их не слышат, кроме голоса судьи и тренера,

сосредоточив все свое внимание на противнике, стараясь вовремя разгадать его маневры, в сотые доли секунды уйти корпусом или защититься перчаткой от удара или же нанести в образовавшуюся брешь встречный удар... А я все слышал, на все болезненно реагировал, тем более что в зале сидела зазноба... Разумеется, благодаря этому внимание мое рассеивалось, я злился и пропустил несколько непростительных ударов.

Тренер в перерыве меня за это крепко «накачивал», но я и без его наставлений понимал, что если так дело пойдет дальше, то я «продую». Хорошо еще, что выступал против меня менее опытный партнер, не то лежать бы мне на ринге в нокауте вместе с моими переживаниями.

В третьем раунде я все же собрался и показал все, на что был способен.

С грамотой победителя, красный как рак, под жидкие аплодисменты болельщиков из института я побежал в раздевалку, отдал награду Сашке Шумейко и в отчаянии выпалил:

— На, получи! Больше на ринг для посмешища ты меня не заманишь!

Так быстро и внезапно оборвалась моя успешно начатая карьера боксера. Видно, стар я уже стал для этого вида спорта. Кроме того, мне показалось, что Аня после соревнования стала меня будто сторониться, даже избегать.

Эта дьявольская девчонка не давала мне покоя. Я не понимал, что ей нужно, что она хочет. Я даже не мог предвидеть, какой фортель она выкинет в следующее мгновение. Я ее не трогал, только защищался, и это было для меня, пожалуй, сложнее, чем на ринге. С ней я почти всегда находился в нокдауне.

Мне было приятно и больно, радостно и горько от ее чар, которые опутали меня с ног до головы. Разум диктовал мне, что от этих пут необходимо раз и навсегда срочно избавиться. Но как это сделать, я не знал и в душе все-таки не особенно стремился.

Утопающий хватается за соломинку. Я попытался искать в Анне отрицательные черты. Но она мне все больше и больше напоминала мою Веллю, чей образ как бы растворился в Анне. Спасти меня от этого наваждения смогла бы, пожалуй, только она сама — живая Велля. Если бы она в то время вдруг появилась передо мной, то я сразу бы прозрел, увидел разницу. Ни на минуту не сомневаюсь, что в этом соревновании на звание «дамы моего сердца» победа досталась бы Велле. А пока...

Пока я страдал.

Смешной, безутешный, нерешительный воздыхатель, современный Дон Кихот — рыцарь печального образа.

### **3. Отвлекающие маневры**

Летом 1946 года все студенты ЗАМИ по очереди работали на восстановлении Днепрогэса, завода «Запорожсталь» и своего родного института.

В это же лето я встретился в городе с Шурочкой Айзиковой, которая приехала из г. Омска к своим родителям. С этой девушкой мы учились до войны в 4-й СШ и часто гуляли в одной компании. Последний раз я видел ее до войны в ночь с 21 на 22 июня 1941 года на выпускном балу среди десятиклассников. Это было пять лет назад.

Во время войны Шура была эвакуирована в Омск, где работала лаборантом на авиационном заводе, а потом в 1945 году поступила в мединститут на педиатрический факультет — мечту всей своей жизни. И вот теперь она приехала к родителям, чтобы по переводу продолжить учебу в Днепропетровском мединституте.

Мы обрадовались встрече. Вспомнили былые, проведенные вместе, вечеринки, живых и погибших друзей. Поговорили с полчасика о том, о сем — и разошлись.

Мог ли кто-нибудь из нас двоих тогда предположить, что встретил в тот момент на углу улиц Ленина и Чекистов, у забора, за которым восстанавливался бывший дом Лещинского, своего суженого? Что через три года наши судьбы сольются в одну неразрывную, прочную судьбу? Что дружба наша перерастет в сильное чувство, которое с годами станет еще крепче? Что перед моей избранницей, наконец, померкнет образ далекой Велли и тем более капризной Ани?

\* \* \*

Еще с весны 1946 года моя мама, в качестве отвлекающего от Аниных чар маневра, решила отправить меня на две недели в город Харьков к своей сестре Хене. Там же жила и ее двоюродная сестра Мария — директор бактериологического института. Сестры хотели лицезреть в живом виде своего вернувшегося с того света племянника, и, как я потом понял, обещали маме оказать содействие в ее маневрировании по излечению любовного недуга сыночка.

С деньгами, как я уже упоминал выше, у нас в семье всегда было туго, а в послевоенные годы тем более. Каждая копейка была на учете. Поэтому для организации поездки сына к родственникам пришлось кое в чем себе отказать, взять в долг у знакомых и запорожских родственников. Моя повышенная стипендия тоже была учтена в общей смете предполагаемых затрат.

Однако судьбе было угодно (с моей активной помощью) распорядиться моим капиталом по своему усмотрению.

Здесь я должен немного отвлечься, чтобы пояснить вышесказанное.

В то, тяжелое для страны время, особенно в первый послевоенный год, город был буквально наводнен всякого рода барыгами, спекулянтами крупного и мелкого пошиба, карточными шулерами, наперсточниками и обыкновенным жульем. Все это дерьмо, в годы разрухи и неустроенности всплывшее на поверхность жизненного водоворота, опутало город, выслеживало и ловило неопытных доверчивых простачков и выманивало у них деньги, вещи и другие ценности под любым соусом: шантажом, обманом, игрой на сострадании и прямым надувательством при помощи трех карт и наперстков. Такого рода компании шулеров орудовали обычно на железнодорожных станциях, базарах, а в дни получения стипендии пристраивались у входа в педагогический или автомеханический институты. Эти институты находились близко друг от друга и от станции Запорожье-2. Пройдоха-банкомет садился в центр окружения, выворачивал веки и, сверкая белками, как слепой, разбрасывал карты и выкрикивал:

— Красная выиграет, черная проиграет! Навались, навались, у кого деньги завелись!

Три-четыре человека из «темной компании» банкромета становились вокруг мнимого слепого, хвалились, что выиграли, а случайно угадавшему карту и выигравшему прохожему заговаривали зубы и не давали возможности уйти, пока он не спускал всех денег и даже вещи.

Вокруг этой компании всегда собиралось множество неискушенных ротозеев.

В тот злополучный день я получил свою повышенную стипендию и вместе с Гроссмейстером направился домой.

За калиткой института мы увидели кружок зевак, о чем-то оживленно спорящих. Решили посмотреть.

В середине круга один незадачливый мужичок просил, чтобы у него не забирали последние сапоги. Тут же один из мнимых болельщиков отыграл бедолаге сапоги и еще «выиграл» около трехсот рублей, которые положил себе в карман. Наблюдая со стороны за раскладкой трех карт и ловкими движениями рук банкромета, я несколько раз угадывал, где ложилась красная карта. Видя это, Гроссмейстер шепнул мне на ухо:

— Мара, у тебя, наверное, легкая рука. Сыграй, ты наверняка выиграешь.

Я подумал о том, что не мешало бы мне к стипендии прибавить еще столько же. Несмотря на то, что к этому времени у меня уже был достаточный жизненный опыт, я продолжал быть наивным и про себя мечтал, что поиграю с этими пройдохами, добавлю, даже удвою свой капитал и тогда родителям не нужно будет одалживать денег у знакомых на мою поездку в Харьков... Подумав так, я решился и... как в омут, окунулся с головой в игру...

Риск — благородное дело! Но надо к нему еще иметь трезвую голову на плечах. А я?

Поставил на кон сотню рублей и... выиграл!

Поставил еще сотню — снова выиграл!

Как известно, аппетит приходит во время еды, а азарт — во время игры. Подзадориваемый Гроссмейстером, я поставил на кон двести рублей и... снова выиграл! Руки мои дрожали, когда я пересчитывал и укладывал деньги в карман. Бумажные купюры хрустели плотной аппетитной пачкой, и это радовало душу. Я был доволен, решил больше судьбу не испытывать и тотчас уйти. Но не тут-то было. Компания «болельщиков» сомкнулась вокруг меня и начала обрабатывать:

— Играй дальше, тебе везет!

— Давай, парень, ты их быстро облапошишь! У тебя легкая рука!

— Играй, играй! Вишь, как банкромета корежит!

«Слепой» действительно как-то странно начал подергивать бельмами глаз, нервничать. А Иосиф вместе с остальными принялся убеждать меня продолжить игру. Я согласился и выиграл еще сто рублей! Голова закружилась, и я поставил еще на 400.

Продул...

Поставил еще на 300!

Опять продул...

Проверил содержимое кармана, оставалось еще 270 рублей. Угар азарта начал спадать. Я понял, что полоса везения прошла, отрезвел и хотел уйти. Но Гроссмейстер вдруг завопил:

— Что ты делаешь? Разве можно бросать? Играй еще, я одолжу тебе деньги!

...Короче, продул я свою повышенную стипендию в четыреста семьдесят рублей и двести рублей, одолженные Гроссмейстером.

Проклинаая себя на чем свет стоит, чернее тучи, с пустыми карманами я вернулся домой. Задуманная мамой и уже взлелеянная мною в мечтах харьковская поездка лопалась, как мыльный пузырь.

О своем позорном проигрыше стипендии и долге я не мог заикнуться не только друзьям, которые бы подняли меня на смех, но в первую очередь родителями, совесть не позволяла (к сожалению, заговорила она очень поздно). И вот я мучительно решал задачу: где и как можно быстрее заработать семьсот-восемьсот рублей? Я проклинал себя за доверчивость и глупость, за то, что потянуло дурака на легкий заработок. Но, как говорится, «хорошая мысль приходит опосля». Я ограничился лишь тем, что потребовал от Гроссмейстера держать язык за зубами.

А мама? Как же она?

Она ничего не подозревала и отнесла мое плохое настроение на счет того, что ее сын опять повздорил с Аней, и в душе порадовалась, что приближается время, когда отправит, наконец, своего «бедного сыночка» в Харьков на «лечение»...

Преодолевая множество препятствий, пересадок и приключений, знакомясь и расставаясь со все новыми и новыми попутчиками и попутчицами, на вторые сутки я прибыл, наконец, по железной дороге на самом дешевом — «пятьсот-веселом» поезде в город Харьков.

Тетя Хена в то время отдыхала с дочкой и десятилетней внучкой в селе около Чугуева, а в Харькове оставался только ее зять. У него я и приземлился в громадной, временно опустевшей квартире. Квартира эта состояла из одной, как футбольное поле, комнаты и кухни, и была частью флигеля, принадлежавшего до революции какому-то богатому меценату.

Квартира не имела современных коммунальных удобств, зато располагалась в центре города, во дворе театра оперетты. Флигель же меценат в свое время сдавал приезжим знаменитостям из театральной богемы. Вот где я поселился, — гастролер из Запорожья.

Из этой штаб-квартиры я совершил вылазку в Чугуев на пару дней к тете Хене, после чего вернулся в Харьков, посетил в бактериологическом институте тетю Марию, а потом занялся разноской запорожских писем и посылок к харьковским родственникам и знакомым.

Не зная содержания своего почтового багажа, я никак не мог предположить, что в одном письме из доставленной мною корреспонденции речь идет об устройстве судьбы самого дипкурьера. Я даже не подозревал, что вокруг меня, как вокруг «перспективной партии» для засидевшихся невест, кумушки плетут паутину интриг. В эту орбиту, как я несколько позже узнал, была втянута жена нашего преподавателя Ильяшенко, незабвенного Бати.

Фаня Владимировна была прекрасной женщиной, и, очевидно, из самых добрых побуждений, не знаю, каким образом проведав, что я еду в Харьков, попросила передать письмо своим знакомым. Оказалось, что у этих знакомых есть двадцатилетняя дочь — студентка второго курса ХПИ.

Вера оказалась симпатичной, смуглой, черноглазой, умненькой девушкой.

Как-то мы с ней пошли гулять в парк. Она не сразу согласилась, а когда пошла, то тоже почему-то поглядела на меня с вызовом и без конца мне перечила. Я никак не мог понять, в чем дело, чем я успел за два дня провиниться перед этой славненькой девушкой? Но так долго продолжаться не могло, и между нами возникла размолвка, из которой я узнал, что Вера прочла письмо Фани Владимировны, где меня всячески рекомендовали в качестве жениха для любимой ими Вероники.

Я, конечно же, был возмущен таким кощунством, и сказал Вере, что после всего, что произошло, нам, очевидно, как ни печально, не стоит больше встречаться.

Так было разрушено насильно навязанное сватовство.

Как знать, возможно, если бы не такие «рекомендации», у меня и Веры пошло бы все по другому сценарию. В общем-то, у нас было много сходного во взглядах и вкусах с этой милой девушкой. Во всяком случае, если б не эта медвежья услуга, мы бы весело провели вдвоем часть летних каникул.

\* \* \*

Осенью 1946 года наша семья переехала на новое местожительство по ул. Дзержинского, 32. Отец получил, как большую награду за долгую и безупречную работу в Военторге, эту



маленькую (порядка десяти квадратных метров) комнатку в коммунальной квартире старого двухэтажного дома с общей кухней без всяких удобств. Водопровод и туалет находились во дворе. Там же был расположен старый сарай с погребом, где хранились уголь, дрова и скоропортящиеся продукты. Конечно, нам троим было тесно, но зато у нас было теперь свое жилье. Кроме того, окно из нашей комнатки смотрело прямо на мою бывшую школу. И это все вместе взятое радовало.

В сегодняшнее время такое убогое жилище показалось бы мне дикой пещерой первобытного человека, потому что за прошедший период меня успела избаловать цивилизация. А тогда это казалось нормой и не вызывало никаких эмоций. Мы надеялись на лучшее, оно было не за горами. Пока же терпеливо ждали это счастливое время, как и тысячи других людей.

Рядом с нами в большой комнате жили Соколовы, и в двух комнатах — семья Кремежных. Под нами — Пучковы и Вайнштейны. Кстати, в старшем Вайнштейне я узнал того второго человека, которого встретил на станции Синельниково, на пути из Германии в родной город.

...А «старые» запорожцы продолжали прибывать и прибывать в свои насиженные гнезда. Среди них встречалось много знакомых. Демобилизовались из армии и возвращались на Родину с Запада и Востока солдаты-фронтовики. Как и я, вернулся из плена мой соученик по школе Шура Мозенсон. Появились в городе, закончив службу в армии, бывшие школьники-соученики: Рудик Рискин, Амка Лисин, Валик Ушаков; прибыли из госпиталей, став инвалидами войны, Мона Карпель, Вова Хмаров, Юра Ребенко и многие другие ребята. Возвращались и эвакуированные с заводами. Каждый день 1946 года был наполнен радостью новых встреч.

Шел декабрь месяц. Приближался Новый 1947 год!

Накануне зашел ко мне Шурка Мозенсон, пригласил в гости на встречу Нового года. Предупредил, чтобы я пришел в маске.

Не помню, кого я изображал, но явился на встречу, как договорились, в маске.

Четыре года войны нас изменили здорово. Мы возмужали. Было много неожиданных встреч, мы с трудом узнавали своих довоенных знакомых, даже самых близких. Это напоминало увлекательную детскую игру в «маски». Было очень весело, и чувствовали мы себя непринужденно, несмотря на то, что закуска состояла в основном из различных винегретов и вареной картошки. Танцевали, как говорится, до упаду.

Когда, наконец, натащивались, и я повалился без сил на диван, то оказался рядом с маской в голубом, которая голосом Шурочки Айзиковой вдруг задала вопрос, поставивший меня в тупик:

— Марка! Что ты делал сегодня в нашем дворе?

— Я сегодня никуда не выходил из дома!

— Нет, выходил! В телогрейке с ведром и корзиной! — настаивала маска.

— Да я тебе говорю, что никуда не выходил, только разве что в сарай за углем и дровами.

— А где ты живешь?

— По улице Дзержинского, 32, — сердито ответил я, возмущенный допросом и недоверием Шурочки.

— Это я там живу! — захохотала Шурочка и сняла маску.

Немудрено, что мы не знали, что живем в одном дворе, потому что Шурочка училась в Днепропетровске и только утром 31 декабря примчалась на праздники к родителям. А я переехал на ул. Дзержинского недавно и не успел еще познакомиться со всеми соседями по двору, старыми и недавно поселившимися, к которым принадлежали и Шурочкины родители.

В тот день Шурочка увидела меня через окно и решила, что я в ее дворе случайный и неожиданный гость. То, что я был в поношенной телогрейке, ее не удивило, так как телогрейка в то время являлась основным видом одежды граждан. Шура просто решила, что я пришел к кому-то в гости, потому что не заметила, как я входил и выходил из сарая.

Так, под утро Нового 1947 года, мы, наконец, разобрались, что живем в одном дворе!

Утром, по зимним, запорошенным снегом улицами, мы шли вдвоем и от души хохотали над вопросом, кто кого провожает «до дому, до хаты».

#### **4. Студент бывает весел**

После зимней сессии наступили каникулы, которые мы проводили вместе с Шурочкой, в одной компании друзей.

Это было полуголодное и неустроенное, полное надежд и свершений, прекрасное и неповторимое, веселое студенческое время. У нас было все впереди, мы были молоды и потому ничего не боялись.

Все было впереди!

Кончились зимние каникулы. Приезжие студенты разъехались по институтам, местные разбрелись по аудиториям своих учебных заведений.

В холодных, слабо натопленных коридорах-классах, пуская изо рта пар, я с восторгом слушал и конспектировал лекции Говорова по деталям машин, время от времени поглядывая на сидевшую неподалеку с подружками и улыбающуюся в ответ Аню. Ее ответные взгляды согревали меня, проникали в душу, и я даже не замечал холода. А воздух в помещении достигал довольно низких температур. Когда мы заходили утром на лекции, столы и стулья зачастую были покрыты инеем.

Однажды на первую пару по теоретической механике опоздала Галочка Страхова. Запыхавшись, она вскочила в аудиторию и остановилась робко у порога. Мартыненко, преподаватель теормеха, посмотрел на студентку и указал ей на свободное место. Галочка мило улыбнулась и быстрым шагом победителя направилась в указанном направлении. Она бросила на стол портфель, привычным движением откинула пальто, потом чуть задрала юбочку, присела и... тут же вскочила, словно ужаленная, с криком «Ах, ах!», оглядываясь на стул. На покрытом инеем сидении остался пучок ниток от примерзших к нему трусиков пострадавшей. Озадаченный Мартыненко, оторвавшись от доски, подняв на лоб очки, в недоумении принялся оглядывать то себя, то аудиторию, не понимая, чем вызван вдруг прорвавшийся гомерический хохот.

...Холодное время года сменила весна с новыми заботами и подготовкой к сессии. Собравшись группой в шесть человек, мы до глубокой ночи, а то и до утра, готовились у Киселевых на квартире к предстоящим испытаниям. К таким хоровым занятиям мы уже привыкли.

Летнюю сессию я сдал довольно успешно, пару предметов даже досрочно.

Потом я занялся халтурой, то есть побочным заработком, чтобы как-то погасить долги, висевшие на мне еще с поездки в Харьков. Часть из них я покрыл, выплачивая ежемесячно из стипендии, но большая часть оставалась пока не оплаченной. Это меня угнетало.

Вместе с однокурсниками Мишкой Фришем и Толиком Улановым я подрядился разрабатывать приспособления для механического цеха завода «Коммунар». Мы заключили трудовое соглашение и за две недели справились с работой. Я был доволен. Втайне от родителей рассчитавшись с долгами, я на остаток денег решил таким Крезом явиться в село Беленькое.

Лето 1947 года, так же, как и предыдущее, было засушливым и неурожайным. Многие крестьяне любыми путями, кто как мог, бросали насиженные места и уходили в город, надеясь таким образом спастись от беды, заработать себе на пропитание и поддержать родственников, оставшихся в сельской местности.

Шло бурное восстановление разрушенного войной народного хозяйства, особенно промышленности. В городах повсюду висели объявления о том, что срочно требуются рабочие руки, особенно молодежь. Приехавших из сел охотно принимали на заводы, селили в общежития, обучали, выдавали паспорта, продовольственные карточки. Семейные через некоторое время получали квартиры.

В селах же резали последнюю скотину, наглухо забивали крест-накрест окна и двери домов и уходили от нагрянувшей нужды, покидая истинную кормилицу — землю.

Неудивительно поэтому, что в селе Беленькое я почти никого из знакомых своего возраста не застал. Патронат был пуст и закрыт. Из ребят, оставшихся неутюженными в Германию, никого не было.

Я пошел на улицу Широкую проведать моих спасителей, стариков Копна. Во дворе копался на огороде согнутый пополам старик Копна. Он не признал меня, да и я его едва опознал. После долгих расспросов мне удалось выяснить, что его старушка тихо скончалась, так и не дождавшись сына с фронта. Уже не ждал его возвращения и старый Копна. Видно, их Костик погиб.

Наша общая патронатовская мать-кормилица Катерина Прынь сразу же после войны заболела чем-то вроде тифа и умерла.

Моя «соблазнительница» Прасковья погибла в 1943 году. Ее убили немцы во время отступления за то, что не хотела бросить мать и ребенка и, когда ее угоняли в Германию, убежала. Убили за побег...

На Тихонивке я встретил мать, отца и сестру Луки Симаченко. Самого Луки дома не было: он отбывал где-то в Молотовской области наказание за какие-то грехи, о которых в семье предпочитали умалчивать.

Маша повзрослела, расцвела, налилась как спелое яблочко, но немного подурнела. Косы — ее краса и гордость — отрасли, но не достигли толщины и длины образца 1942 года.

Отец и мать Симаченко постарели, похудели, но держались, и бежать из села не собирались. По моей просьбе они дали мне адрес Луки. По возвращении домой я вместе с мамой написал письмо двоюродной сестре Соне, которая жила в Молотовской области, о судьбе Луки Симаченко. Соня его разыскала и помогла с продуктами, посылала ему посылочки. Впоследствии я встретился с Лукой. Тот рассказал мне, за что попал в советский лагерь. Он с благодарностью вспоминал о Сониной поддержке и ее посылочках.

Так, по сути, никого не встретив и мало узнав, я вернулся домой.

Гораздо позже я встретился в городе с угнанными в Германию одновременно со мной Степой Цыганком, Петром Пилипенко, Иваном Земляным, Федором Мисочкой и еще несколькими ребятами из села Беленькое и г. Мелитополя. Они мне многое рассказали о судьбах — своих и наших общих знакомых.

В ту поездку я здорово расстроился от увиденного и услышанного и решил больше не терять душу возвращением в прошлое. Но не тут-то было, не все от меня зависело.

Во-первых, как и прежде, сны не давали мне покоя и постоянно возвращали к пережитому. Во-вторых, по прошествии десяти лет работа и сопутствовавшие ей командировки снова привели меня на места былых боев, плена, мытарств и скитаний...

\* \* \*

В июле 1947 года, в разгар лета, на Днепре собрались все студенты, кто в это время был в Запорожье в гостях на каникулах или закорился в городе.

Школьный и студенческий пляжи по обе стороны реки стали самыми популярными местами сбора студентов и школьников старой части город. Где можно было встретить друг друга? Только на пляже! Где узнать последние новости? Только на пляже! Наконец, где можно было подкрепиться? Только на этом пляже!!!

Здесь мы отдыхали духовно и физически, пополняли свой, пока еще довольно скудный багаж знаний путем дискуссий.

Не то Женька Гендзели, который учился в Харьковском ветинституте, оправдывая тем самым свою школьную кличку Слон, не то Юрка Ребенко — студент Московского института нефти и газа, притащили на пляж потрепанную книгу издания 1931 г. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова.

Собрались в кружок и по очереди читали ее, под общий хохот и реплики слушателей. В перерывах между чтением купались, играли в карты, шахматы, волейбол. Часто разыгрывали надуманные сценки и снимали их на фото пленку для истории. И сейчас некоторые из тех давнишних снимков хранятся у меня в семейном альбоме.

Веселое было время, несмотря ни на что, — СТУДЕНЧЕСКОЕ!

В то лето я особенно сдружился с Юрой Ребенко. Он часто приходил ко мне в гости. И, поскольку я жил с Шурочкой Айзиковой в одном дворе, а к ней приходила подруга по институту и совместному проживанию в Днепропетровске, славненькая девушка с большими серыми глазами, Беллочка Тонконог, — наша четверка стала неразлучной. Юрка знал массу модных песенок, которые распевала тогда студенческая молодежь. Слабым, но довольно приятным баритоном он тихо выпевал по вечерам эти привезенные из столицы «шедевры». Мы их мгновенно заучивали и с удовольствием вторили Юрке:

Нашел я чудный кабачок:  
Вино там стоит пятачок...

Мы ворвемся ночью в дом  
И красотку украдем...

Когда на легком корабле  
Уходим вдаль мы...

Пошел купаться Даверлей, Даверлей,  
Оставив дома Доротею...

Мы летим, ковыляя во мгле,  
Мы летим на последнем крыле...

Когда запас бензина маловат,  
Тогда любой бессилён аппарат...

Некоторые из этих песен стали нашими студенческими позывными. Мы пели эти песни, возвращаясь ночью из городского сада после танцев, и горланили днем, шагая пешком на пляж.

На летний сезон с большой концертной программой в Запорожье приехал Государственный симфонический оркестр УССР под управлением Натана Рахлина. Разумеется, наша четверка заняла одно из ведущих мест среди поклонников этого удивительного музыкального коллектива. Оркестр давал концерты в театре «Металлист» завода «Коммунар», в ДК им. Шевченко, на эстраде в Дубовой роще и других местах (театр им. Щорса и концертный зал им. Глинки только начали строить и восстанавливать), где только имелись залы и сцены. Небольшие, зачастую убогие помещения с плохой акустикой не были помехой. Мы всюду попевали за оркестром и с наслаждением слушали волшебную музыку Глинки и Бородина, Чайковского и Римского-Корсакова, Гайдна и Грига, Россини и Мендельсона, и многих других — всех не перечислишь — замечательных известных композиторов. Я внимательно слушал и впитывал в себя, как губка, вступительные лекции искусствоведов перед началом концертов и сам пробовал распознавать замысел композитора, переложенный на нотную бумагу и воплощенный в удивительные, западающие в душу звуки.

Тогда же я побывал на двух концертах симфонического оркестра, которым руководил не Рахлин, а другой дирижер. После этого понял, что роль руководителя оркестра не сводится только к размахиванию палочкой. Оказалось, что одну и ту же вещь можно толковать и исполнять по-разному. А уяснив это, по достоинству оценил талант и мастерство Натана Рахлина.

Меня раньше удивляло, почему некоторые любители симфонической музыки (среди них многие — профессионалы), слушая, откидываются на спинки кресел и закрывают глаза. Впоследствии я понял эту их привычку, потому что и меня начало носить на волнах музыки. Она задевала самые тонкие струны души. Я плыл в сказочном полете вместе со звуками в неведомые страны, куда звал меня и всех сидящих в зале гениальный композитор, то поднимаясь, то опускаясь по мановению волшебной палочки дирижера.

Я еще в раннем детстве полюбил музыку, когда слушал игру деда на скрипке. Не совсем удачно начал заниматься по классу скрипки сам, но слушал игру других и пластинки с записями симфонической музыки с превеликим удовольствием.

И все-таки именно в это лето я действительно по-настоящему понял, оценил и полюбил симфоническую музыку. Тут вкусы нашей неразлучной четверки сошлись безоговорочно.

\* \* \*

Отдых отдыхом, однако, я не забывал и о работе, и о зарплате.

В один из летних дней я пошел на завод «Коммунар» сдавать очередную халтуру, договорившись предварительно с Юркой, Шурочкой и Беллочкой, что они меня будут ждать на нашем всегдашнем месте на пляже.

Я задержался на заводе, и когда пришел к установленному месту на Днепр, было уже за полдень. Компания расположилась у самой воды. Лежа на животах, подставив спины беспощадным лучам палящего солнца, Юрка, Шурка и Белка со Слоном вели непринужденную беседу с остальными сопляжниками.

Потный и пыльный после марш-броска с завода через огороды и Дубовую рощу к реке, я быстренько скинул одежду, швырнул ее к куче вещей под кусты и бросился в спасительную прохладную воду. Побарахтался, понырял и охладился с дороги. После водной процедуры выбрался на берег и почувствовал, как подтянуло желудок. Я знал, что у девочек должна быть провизия в запасе.

— Слушайте, — обратился я к своим друзьям, если вы меня тотчас же не накормите, то принесете домой труп. Я неимоверно хочу жрать!

— Возьми еду под кустом в корзинке, — любезно предложила Шурочка, продолжая болтать с подружкой.

Я пополз к кустам.

Перерыл все «под» и «за» в кустах и вокруг них. Корзинки нигде не было. А мои друзья, нажарившись, полезли плескаться в воду.

— Слушайте, вы, камрады! Здесь нет никакой корзинки!

— Вечно ты хочешь жрать, — рассердилась Шурочка. — Сейчас я тебя накормлю!

Она вылезла из воды, прошла с недовольной не вовремя прерванным водным моционом миной мимо меня и скрылась за кустом.

Через минуту Шура выскочила из-за укрытия. Лицо ее вытянулось от удивления, тревоги, смущения и растерянности:

— Бэка! Скорей сюда! У нас исчезла не только еда, но и вещи!

После тщательного, всестороннего осмотра и опроса окружающих мы поняли, что корзина с провизией и вещами похищена тремя неизвестными лицами. Что ж, пришлось немного погоревать: мне — потому что я остался голодным; Шурочке — потому что она лишилась нового, недавно сшитого летнего платья, а Беллочке — потому что воры украли у нее корзину с лежавшими в ней босоножками.

Наша неунывающая компания тут же принялась за разработку плана перехода «Днепр — дом» в раздетом виде и, самое главное, как предупредить и предотвратить гнев родителей Шуры за пропажу нового платья.

Во имя дружбы и солидарности решили идти с пляжа всей компанией раздетыми до улицы Кирова. Дальше в таком же виде бежать гуськом, один за другим, до самого дома, как на кроссе. Кому-то поручили нести одежду. Перед Шуриным домом планировалось выслать вперед двух дипломатов, которые должны были подготовить маму к встрече раздетой дочери.

Договорились... пошли...

Когда подходили к городу, с нами поравнялась девушка. Она вмешалась в бурное обсуждение нашего стратегического плана.

— Я вас знаю, — сказала она мне и, повернувшись к Шуре, добавила: — Идемте со мной, девушка. Я помогу вашей беде.

Она повела Шурочку на 1-ю Московскую улицу и одела в приличный сарафан, пришедший потерпевшей как раз впору.

А девушка-спасительница оказалась студенткой 1-го курса ЗАМИ.

Мы сердечно поблагодарили ее за то, что избавила нас от нелегкого марафона через город, оделись и теперь уже только на босу ногу продолжили свой путь.

Предстояла еще дипломатическая миссия по поводу украденного платья. В качестве послов направили меня и Беллочку. Мы зашли во двор, оставив остальных ждать на улице до сигнала. Торжественно направились к Шуриному дому. На пороге нас встретила ее мама. Увидев нас вдвоем, без Шурочки, она насторожилась, тем более что лица у нас были достаточно постными от возложенной на нас ответственной миссии...

— Где Шура? — кинулась к нам мама. — Что с ней? Что вы молчите?

— Ничего с ней не случилось, не волнуйтесь, Циля Львовна, сейчас мы вам все объясним, — постарался я успокоить взволнованную маму.

— Она цела и невредима. Нет только ее платья, — спокойно уточнила Беллочка.

Циля Львовна (Шурочкина мама и моя будущая теща) не обратила никакого внимания на последнюю фразу, произнесенную подругой дочери; ей достаточно было услышать, что дочь жива.

— Где же она? — воскликнула бедная, перепуганная нами мать.

— Сейчас мы ее приведем, — ответили хором я и Беллочка, довольные удачно исполненной ролью дипломатов.

Мы побежали за Шурой и торжественно, в сопровождении остальных сопляжников, ввели во двор и передали из рук в руки озадаченной матери «провинившуюся» дочь.

\* \* \*

Это было трудное, но замечательное студенческое лето. Его невозможно забыть, потому что оно было насыщено до предела увлекательными встречами на берегу Днепра днем и гуляньями и посещением концертов симфонического оркестра по вечерам. Как будто специально для нас была написана и звучала тогда песенка:

— Студент бывает весел  
От сессий и до сессий,  
А сессии всего два раза в год!

## **5. Производственная практика**

### **Первые впечатления**

Студенты 4-го курса ЗАМИ готовились к производственной практике. Часть из них ехала в город Горький на НАЗ, часть — в Москву на ЗИС. В Москву ехали только те, у кого было где остановиться, так как общежитие в столице практикантам не предоставлялось.

Мои родители связались с сыном тети Хены, который жил с семьей в Москве. Лева согласился меня приютить, хотя и сам жил в классической московской коммунальной квартире,

где проживало обычно с одной кухней, туалетом и одной ванной по три — пять семей. Таким образом я попал в московскую группу, которую возглавил руководитель производственной практики, тогда еще сравнительно молодой преподаватель по сварке и технике безопасности Борис Лещинский.

Поездка в Москву намечалась на длительный период: с начала декабря 1947 года по март месяц 1948 года. Готовиться к этой поездке на практику пришлось тщательно, тем более что Новый год предстояло встретить в Москве.

Это был завершающий период восстановления разрушенного войной народного хозяйства и начало его развития. Страна готовилась к денежной реформе.

Толстосумы, стараясь сохранить нажитые нечестным путем деньги, метались в панике, не зная, куда и как их выгодно поместить, скупали все, что попадало под руку, клали деньги в сберкассы на подставных лиц.

Как водится в таких случаях, распространялись различные, порой противоречивые слухи, правдоподобные, а в большинстве своем неправдоподобные, по поводу реформы.

Студенты — бедный народ. Им терять нечего. Единственное, что они имели, это — некоторый запас знаний и «хвосты» по некоторым предметам. Но, как известно, багаж знаний — самый легкий, и девальвация на него не распространяется, а «хвосты» — это условная единица, которую не купишь, не продашь и не поменяешь на что-либо существенное.

Во время моей подготовки к практике один из папиных сослуживцев, проведая, что я направляюсь в Москву, уговорил отца, чтобы я положил на аккредитив его три тысячи рублей. Этот подпольный хранитель денежных знаков принес мне запечатанный пакет. Когда я его раскрыл, чтобы пересчитать, в нос ударил такой заплесневелый запах, как будто деньги эти долго прятали в подземельях. Отказаться от обещанной отцом услуги было поздно. Испытывая неимоверный стыд, краснея до корней волос, проклиная бессовестного Шейлока и оглядываясь по сторонам, чтобы не встретить кого-либо из знакомых, я сдал эти деньги в банк, получив вместо них свежий, пахнущий типографской краской, листок аккредитива.

Морозным декабрьским утром поезд с практикантами прибыл на Курский вокзал, в столицу нашей Родины — город-герой Москву.

Здесь, в начале Ленинградского проспекта, рядом со 2-м Государственным часовым заводом, в девятиэтажном доме на седьмом этаже, в трехкомнатной коммунальной квартире, в одной из комнат жил мой брат Лева с женой и пятилетним сыном.

Приехавших студентов быстро разобрали родственники и повезли по своим углам. Меня встретил Лева и повез на метро к Белорусскому вокзалу, от которого в пяти минутах ходьбы возвышался дом, где мне предстояло жить.

Брат служил в штабе МВО (Московского военного округа), имел тогда чин майора. Его жена Екатерина, несмотря на высшее образование, не работала, была домашней хозяйкой. Жившие рядом в коммуналке соседки работали в Министерстве финансов.

Кажется, мой приезд совпал с воскресеньем; в этот день никто не работал, и все три женщины хлопотали на общей кухне. Я тоже слонялся тут, так как после принятого душа пришел познакомиться с соседями на кухню.

Как водилось в коммунальных квартирах, кухни служили тогда местом сбора и обмена информацией между всеми жильцами квартиры. Там велись всякого рода обсуждения глобальных проблем союзного и международного масштаба. На этот раз, как и по всему Союзу, на повестке стоял и обсуждался вопрос инфляции, девальвации рубля и предстоявшей денежной реформы.

Я не вмешивался в их разговор, так как был в глазах дискутировавших провинциалом, не разбиравшимся в финансовых вопросах. Я курил и прислушивался, стараясь почерпнуть из их трепотни полезные сведения.

— Я думаю, — заметила одна из дам, сухопарая блондинка лет сорока пяти с папиросой в зубах, чем-то напомнившая мне штиреровскую Ядвигу, — что деньги, хранящиеся у населения на книжках в сберкассах, не должны пропасть.

— Я вполне с вами согласна, Степанида Феофановна. Мой шеф, Николай Михайлович, уверен, что государство не пойдет на ликвидацию частных сбережений. Ведь эти деньги находятся в обороте, и невыгодно отпугивать народ от вложения капиталов в сбербанки, — поддержала соседку невысокая блондинка приятной полноты, помешивая ложкой свое незатейливое варево.

Вечером того же дня я вышел пройтись по проспекту. Небольшой морозец приятно щеко-тал ноздри. Было тихо. Крупными хлопьями падал снег. Я медленно направился в сторону станции метро «Сокол». Прошел мимо бывшего «Яра», где до революции пел знаменитый

«Соколовский хор». Там, за громадными стеклами нынешнего ресторана «Советский», сверкал хрустальными люстрами ярко освещенный зал, гремела музыка в исполнении какого-то джаза, веселилась публика.

Пройдя еще несколько шагов, я вдруг вспомнил, что не отправил домой телеграмму о благополучном приезде в Москву, как условился с родителями. Спросил, где ближайший телеграф. Меня направили за угол на ул. Правды. Прошел метров двести, и там, в здании газеты «Правда», на первом этаже нашел почтовое отделение с телеграфом и сберкассой. Заполнил телеграфный бланк, полез за кошельком, раскрыл его и обнаружил, что захватил с собой только мелочь. Зато боковой карман пиджака оттопыривал паспорт с вложенным в него аккредитивом.

Мозги мои лихорадочно заработали: «Как быть? Что делать?»

В памяти с фотографической точностью всплыла кухня коммуналки и беседа двух соседок Левы, обсуждающих финансовые проблемы. Я снова почувствовал себя в роли игрока, где «красная выиграет — черная проиграет...» «И на книжке, и на аккредитиве деньги находятся в обороте у государства, — думалось мне, — но на сберкнижке все-таки надежнее. Надо рискнуть. Тем более что денег на телеграмму у меня нет, а бежать домой за ними не хочется, и сберкасса вот-вот закроют».

Я стоял в нерешительности у окошка сберкассы и гадал: «Да? Нет? Да? Нет? Да? Нет?», когда в окошке послышался голос кассирши:

— Что вы хотели, молодой человек?

Этот вопрос разрешил мои сомнения. Я снял все деньги с аккредитива, отправил домой телеграмму о благополучном прибытии к брату и остаток суммы положил на книжку.

Это был мой первый выигрышный вклад, на котором я честно заработал две тысячи шестьсот девяносто шесть рублей с копейками (учитывая триста рублей, подлежащих возврату).

После опубликования Постановления по денежной реформе я преподнес по букету цветов всем трем женщинам коммунальной квартиры. Ничего не подозревавшие соседки Екатерины были потрясены неслыханной вежливостью и расточительностью ее деверя. Они, конечно, никак не могли предположить, что благодаря их болтовне я за несколько часов стал обладателем громадного (на мой взгляд) состояния размером почти в три тысячи рублей! Из бедного студента я превратился в «капиталиста» нашего местного масштаба!

Но реформа и все связанное с ней произошли примерно через неделю, а пока я знакомился со столицей. Справившись с телеграммой и уладив денежные дела, я дотопал в тот вечер до стадиона «Динамо» и вернулся на метро к Белорусскому вокзалу. Дальше пошел по ул. Горького в сторону центра, рассматривая нарядные витрины, площади и памятники.

В понедельник предстояло явиться на автозавод им. Сталина. Я решил привести себя в порядок: зашел в парикмахерскую, постригся, побрился. Когда брал пальто, швейцар услужливо надел его мне на плечи, выхватил на спине какую-то не видимую моим невооруженным глазом пушинку, сдул ее со своих пальцев перед моим носом и в таком виде и положении замер с вытянутой рукой и вопросительным взглядом, как будто я ему очень задолжал. Не чувствуя за собой никакого греха, я, сама невинность и святость, поблагодарил швейцара за любезность и независимой походкой направился к выходу. За моей спиной раздался леденящий голос «милого» швейцара, не получившего чаевых:

— Молодой человек, милости просим! Приходите еще, будем ждать!

Мое приподнятое, прекрасное настроение было несколько подпорчено этим первым знакомством со столичной сферой обслуживания. Однако ко всему можно привыкнуть. Постепенно привык и я к хамству столичных швейцаров, дворников, продавцов и прочего так называемого МОП (младшего обслуживающего персонала). Эти люди, считая себя ущемленными по должности и зарплате, старались всячески возместить эту «социальную несправедливость», унижая и оскорбляя своих клиентов, выжимая из них подачки, обвешивая и вымогая тут же благодарность за «культурное» обслуживание. Особенно в таком неприкрытом хамстве изощрялись уборщицы немногочисленных общественных клозетов. Человека, счастливого уже от того, что, наконец, нашел место, где можно отвести душу и облегчить тело, встречал вдруг у самой цели грозный голос тети с метлой:

— Куда прешь? Ослеп, что ли? Закрыто!!!

— Родненькая, — с робкой надеждой обращался клиент к женщине, — вы скоро откроетесь?

— Я не скорая помощь! Там видно будет!

— А где здесь ближайший туалет? — вопрошает озадаченный посетитель, переступая с ноги на ногу и держа скрещенные руки ниже пояса.

— Я не справочное бюро! Проваливай! — добивала ведьма несчастного.

Не советую вам и не желаю попадать в положение такого просителя и иметь дело с подобными ведьмами с метлой в руках. Мне даже кажется, что по ночам они на этих метлах вылетают на шабаш.

### Завод

В понедельник утром мы собрались, как и было договорено, у главной проходной автозавода им. Сталина.

Нас сфотографировали и выдали временные пропуска. Потом повели на экскурсию по цехам завода. Посетили мы и главный конвейер, где в течение часа сходило по тринадцать грузовиков марки ЗИС-5.

Во время этой экскурсии по заводу я стал свидетелем довольно-таки забавного случая. Мы разбились на две группы: конструкторы пошли с одним экскурсоводом, технологи с другим. Группа технологов уже заканчивала ознакомление со старым, темным зданием кузнечного цеха, когда внимание экскурсантов привлекла мчавшаяся к ним навстречу с противоположного конца цеха с широко раскрытыми от ужаса глазами студентка конструкторского факультета Женя Аврах. Она бежала вдоль пролета, а в темной вышине над ней по воздуху неслась раскаленная болванка весом не менее двух тонн. Мостового крана, несущего этот горящий металл, не было видно. Он двигался где-то во тьме вверху под перекрытием. Издавая оглушительный прерывистый звон, кран преследовал бегущую в панике и потому ничего не соображающую в данный момент отбившуюся от группы студентку. Если бы в этот момент в цеху появился фотограф или художник, то зафиксированная им с натуры картина могла бы послужить иллюстрацией к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» в современной интерпретации.

Но это к слову, отступление.

А если серьезно?

Мы попали на автозавод в тот период, когда он переходил, точнее, перестраивался на выпуск автомашин ЗИЛ-150 вместо ЗИС-5. Одновременно с нами проходили практику студенты автодорожных и автомеханических институтов еще из нескольких городов Союза. Для предварительной беседы прибывших практикантов собрали в зале заседаний, куда были приглашены также некоторые начальники цехов и отделов заводоуправления. Директор завода товарищ Лихачев выступил перед собравшимися с небольшим докладом. Он, в частности, сказал, что завод переходит на выпуск новых, более мощных машин ЗИЛ-150 и ведет разработку автосамосвалов нового типа на базе этой машины, а также других спецмашин, крайне необходимых нашей стране. Далее директор нам сообщил, что сам товарищ Сталин поставил перед коллективом завода задачу: в ближайшее время без остановки конвейера перейти на выпуск автомашин типа ЗИЛ-150. Последние слова директора потонули в буре аплодисментов. Шутка ли: задание исходило от самого товарища Сталина!

От нас, будущих инженеров, требовалось, чтобы каждый на своем рабочем месте, в цехах и отделах, добросовестно подключился к выполнению задачи, поставленной перед коллективом завода.

В качестве представителя отдела главного технолога завода я был направлен в механический цех, в отделение, где изготавливали шестерни заднего моста, и предварительно велась его сборка в целом. Моя конкретная задача состояла в разработке технологии изготовления косозубой шестерни заднего моста, рассчитанной на большую мощность и моторесурс, чем цилиндрическая в машине ЗИС-5, которая шла на потоке под номером 14-72. Нужно было сохранить поток с минимальной заменой и перестановкой оборудования и оснастки.

Пока я изучал досконально технологию производства шестерни №14-72 и находился в цехе, я оперативно подчинялся мастеру пролета. Это была энергичная, выдавшая виды женщина, которая прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Она была рождена руководить и не уступала любому, самому тертому и крутому заводскому мужику.

Алевтина Федоровна, так, кажется, звали моего мастера, не стеснялась в выражениях, если дело касалось производства и чья-то нерадивость могла повлиять отрицательно на ритмичность потока. Ее уважали и побаивались подчиненные и мастера смежных цехов, которые поставляли отделению задних мостов литье и заготовки.

— Задний мост у машины — это штуки нежная и требует деликатного отношения и подхода. Даже более внимательного, чем передний у женщин, — говорила красневшим от смущения студентам-практикантам Алевтина вместо инструктажа в первый же день нашего знакомства. Она была грубовата, однако, когда я приступил к разработке технологии, Алевтина Федоровна каждый день забегала ко мне на пару минут за стеклянную загородку со словами:



— Ну, показывай, что ты тут натворил? — и склонялась над столом, рассматривала расстановку оборудования, режимы резания, давала ценные дельные советы и энергично следовала дальше по своим многочисленным делам.

О, этой женщине не было цены!

Семнадцатью годами позже я встретил в Запорожье еще одну интересную, очень женственную и вместе с тем такую же энергичную, как Алевтина Федоровна, женщину — начальника буровзрывных работ. Звали ее Баландина Анастасия Павловна. Но больше на моем пути такие умные, по-настоящему деловые и решительные женщины с мужскими повадками не попадались...

Мы уезжали домой после производственной практики в начале марта 1948 года, когда последняя машина марки ЗИС-5 сошла с конвейера, и вслед за ней через четыре минуты из ворот сборочного цеха под гром аплодисментов и звуки оркестра выехала под номером один первая грузовая машина ЗИЛ-150. В заднем мосте этой машины вращалась шестерня, изготовленная по моей технологии. Ну, не совсем по моей, но все-таки я тоже принимал участие в разработке технологических карт, перестановке оборудования, то есть в производстве автомобиля. И законно гордился, видя наяву самостоятельно двигавшееся наше коллективное детище, плод общего труда.

### Реформа

Этот вечер в декабре 1947 года, притаившись у репродукторов, с замиранием сердца настороженно ожидала вся страна.

Через неделю после моего приезда в Москву, ровно в 18-00 по московскому времени, по радио прозвучал голос диктора, сообщавшего содержание Постановления правительства по вопросу проведения денежной реформы... Курс рубля менялся в соотношении один к десяти. Вклады населения в сберегательных кассах в сумме до трех тысяч рублей сохранялись неизменными. Деньги свыше названной суммы подлежали пересчету, как и наличные капиталы, — десять к одному.

Бумажные денежные знаки достоинством от одного рубля до ста подлежали замене на новые. Мелкие металлические деньги до двадцати копеек не теряли своего номинального значения. Обмен старых денег на новые и оборот старых по курсу 10:1 допускался в течение месяца.

Едва прослушав информацию диктора, мы с братом, прихватив наличные купюры, бросились вон из дома и подскочили к ресторану «Советский».

Зал был заполнен до отказа. Туда после правительственного сообщения больше никого не пускали, заперли входные двери, а счастливые, сидевшие внутри за столиками, кутили от души, на полную катушку, продувая дотла все, что находилось в их кошельках. С них брали еще по старым ценам — один к одному.

Улицу Горького запрудили толпы народа. Неорганизованные люди, как на демонстрации, шли сплошным потоком по тротуару и мостовой, обгоняя друг друга. Движение автотранспорта прекратилось. Озадаченная публика металась с расширенными зрачками от магазина к магазину, пытаясь что-либо купить по старым ценам. Однако везде как сговорились: все отделы промтоварных магазинов были закрыты на переучет. Даже в аптеках не так-то просто было купить клизму или утку. В гастрономах в течение часа выставили на продуктах ярлыки с новыми ценами, а самих продуктов появилось такое количество и разнообразие, каких давно не видели покупатели нашей страны.

Около Белорусского вокзала я заметил бабку с корзиной апельсинов. Узнал у нее цену и, не торгуясь, стал запихивать их себе и брату в карманы. Бабка, очевидно, была не особенно опытной торговкой, не слыхала радио и правительственного сообщения, поэтому ее товар показался мне сказочно дешевым. Я не успел с ней рассчитаться, как старуху окружила толпа, а меня с протянутыми в руках деньгами оттеснили в сторону. Сквозь массу окруживших бедную бабку людей я услышал лишь ее писклявый голос:

— Отдайте корзину, антихристы! Откуда вы свалились на мою голову, черти окаянные! Прости меня, Господи!

Лева схватил меня за руку, помог выбраться из этой толчеи и поволок в метро, так как расплатиться с бабкой было немисливо.

В метро я купил билеты на целый год вперед, для себя, брата, его жены и ребенка (в надежде, что они ему в течение ближайших лет могут понадобиться).

Мы не сели в вагоны метро, а пошли дальше к центру.

Улица Горького по-прежнему лилась и переливалась, запруженная толпами народа, как во время всеобщего гуляния. Не хватало лишь фейерверка, иллюминаций и масок...

На следующий день, встретившись на заводе, мы со смехом бурно делились впечатлениями о фуроре, произведенном реформой, и ее последствиях. Их было хоть отбавляй.

Появилось моментально множество новых анекдотов о тех, кто потерял в результате реформы большое количество нечестно нажитых денег. Таких людей стали называть «погорельцами» или «декабристами 1947 года».

Борис Лецинский, наш руководитель практики, дал телеграмму в ЗАМИ о нашем бедственном положении и буквально через пару дней без каких-либо проволочек мы получили командировочные в новой валюте, за вычетом расходов, которые мы, по расчетам, понесли до дня реформы.

У наших сокурсников-«горьковчан» вопрос с получением денег почему-то затянулся, и ребята впоследствии рассказывали, что они несколько дней вынуждены были сидеть буквально на хлебе и воде.

Мы — «москвичи» — отделались сравнительно счастливо, потому что нам, студентам, терять особенно было нечего, а приобрели мы «новые деньги» даже быстрее, чем многие коренные жители.

### Зрелища

Как только мы получили командировочные в пересчете на новые деньги, я пошел к кассе Большого театра и на остаток старых денег купил билеты на оперу «Князь Игорь» и балет «Дон Кихот».

В сберкассе редакции «Правды», чтоб получить деньги, положенные на книжку (мой законный капитал), нужно было затратить не менее чем полдня из-за громадных очередей. Поэтому я решил с этим кладом повременить, а пока тратил без оглядки свои командировочные на зрелища.

Я надеялся, что в Москве мы с Анной будем проводить вдвоем все свободное время. Но, еще не доезжая до Москвы, между Орлом и Курском, мы поссорились из-за какого-то пустяка, и я принципиально даже не пытался наладить наши пошатнувшиеся отношения.

Каждый день и вечер, проведенные в столице, были весьма разнообразны. Скучать и вздыхать по Анне было некогда. И это — главное.

В Москве, в районе пл. Маяковского, жили родственники моей двоюродной сестры: мать и две дочери арестованного в 1937 году и впоследствии реабилитированного командарма Красной Армии, некоего Берестецкого. У них снимала угол подружка сестры Ася. Эта девушка подавала большие надежды на музыкальном поприще, была трудолюбивой и талантливой пианисткой, училась у Гнесиных по классу фортепиано.

Мне пришлось по приезду в Москву навестить вышеуказанных родственников сестры, чтобы передать кое-какую корреспонденцию Берестецким и посылочку Асе от родителей.

Поскольку в квартире было три невесты, а женихи отсутствовали, я стал желанным гостем, предметом всестороннего внимания и забот. Дело шло к концу декабря, и, само собой разумеется, я был приглашен в эту семью для встречи Нового 1948 года.

Не буду описывать вечер встречи Нового года в квартире Берестецких, так как он ничем особенно не отличался от обычных веселий. Но после полночи!

Когда я с одной из девушек вырвался на свежий воздух и мы пошли по новогодним нарядным улицам и площадям города, столица предстала передо мной в совершенно необыкновенном виде. Витрины магазинов сверкали неоновыми лампами, улицы тоже; на площадях стояли громадные иллюминированные елки, окруженные замысловатыми избушками и героями сказок. Играли духовые оркестры. Медленно падал пушистый крупный снег, искрясь и переливаясь в неоновом свете. В темное небо то и дело взмывали ракеты и там, в черной дали, взрывались и рассыпались многочисленными разноцветными искрами фейерверка. Все пело и танцевало вокруг, как будто сама Москва вышла среди ночи на свои площади для встречи Нового года.

На площади Революции, где была установлена самая высокая елка, нас подхватили под руки какие-то незнакомые веселые люди, втащили в круг и начали отплясывать такую кадрили, что захватывало дух.

В плясавшей рядом со мной, державшей меня за руку женщине я узнал знакомую по театру актрису, но не посмел сказать ей об этом. Здесь в этот час все были равны. Лица у всех были такие задорные и счастливые, что казались прекрасными.

Счастье лилось через край. Этим счастьем один заражал другого. А я был счастлив и потому, что был молод, и все было впереди, и меня, наконец, покинуло гнетущее чувство нераз-

деленной любви. Здесь на площади я любил всех подряд, и меня любили точно так же все без исключения.

Это было всенародное единение и ликование.

Непонятно, кто и где с треском раскупоривал бутылки с шампанским, раздавал бумажные стаканчики, наливал всем подряд, кто попадался под руку, искрящееся и пенящееся вино и провозглашал тост за общее здоровье и счастье. В такой многочисленной, незнакомой, многоголосой и радушной компании Новый год я встречал впервые.

Это зрелище забыть невозможно. Описанию оно тоже не поддается. Разве только незатейливая песенка, появившаяся на сорок лет позже, как-то может отразить настроение людей и ту необыкновенную, неповторимую новогоднюю ночь:

Мы желаем счастья вам,  
Счастья в этом мире большом!  
Когда ты счастлив сам,  
Счастьем поделись с другим!

\* \* \*

В первых числах января Ася повела меня на квартиру к сестрам Гнесиным, которые давали обед для своих наиболее талантливых учеников по случаю Нового года.

В просторном зале, куда нас пригласили, на почетном месте стоял белый рояль, у стен были расставлены кресла, и с одной из сторон — длинный стол с различными, не виданными мной дотоле яствами.

По натертому до блеска паркету ходили с озабоченными физиономиями ученики и ученицы, их партнеры и партнерши, не знавшие, куда себя девать, в ожидании приглашения к аппетитному столу.

Наконец, в зал вошла старшая из сестер Гнесиных и попросила всех к столу.

Стоя, она провозгласила тост за своих учеников, за их светлое будущее, с которым она связывает большие надежды, так как их будущее, их успех — это продолжение ее творчества.

Все было хорошо здесь, только я не совсем понимал, как пользоваться многочисленными приборами, лежавшими на столе, и не мог отличить основные блюда от приправ, так как был на таком приеме впервые.

Я вынужден был зорко следить, как едят остальные, а потом, как обезьяна, повторять действия опытных гурманов. Запахи обильной пищи приятно щекотали обоняние и вызвали во рту усиленную работу слюнных желез. Мне здорово хотелось есть, но из-за своего невежества (в смысле умения пользоваться одновременно несколькими видами ножей, вилок и ложек) я отказался от еды и предпочел, скрипя сердцем, лучше остаться голодным, чем показаться смешным.

Прекрасный концерт я почти весь пропустил мимо ушей, так как прислушивался к урчанию своего пустого желудка.

Едва вырвавшись от Гнесиных, я поспешил проводить Асю и, не заглядывая к Берестецким, ринулся поспешно в первый попавшийся третьеразрядный кабак, чтобы утолить не на шутку разыгравшийся волчий аппетит. Благо близорукая Ася не заметила, как я «кутил» у Гнесиных и каким жадным взглядом взирал на обильные недостижимые блюда.

\* \* \*

В дальнейшем моим неизменным гидом, напарником и консультантом почти во всех московских похождениях стал Юрка Ребенко, который настолько освоился со столичной жизнью, что чувствовал себя здесь, как рыба в воде (невольный, но точный каламбур).

Для начала он спровоцировал меня на съемки в студии Мосфильма, где снимался в то время кинофильм «Русский вопрос».

Юрка уже имел опыт в таком виде промысла: он принимал как-то участие в качестве статиста при съемках фильма «Сказание о земле Сибирской».

Студенты института Нефти и Газа им. Губкина охотно шли на съемки в массовых сценах, чтобы подзаработать. В вестибюлях института и общежития всегда красовались объявления о приглашении студентов на подобные заработки, в том числе и от киностудии о предстоящих съемках и таксе. Некоторые ребята даже были постоянными клиентами Мосфильма. Я, поскольку стал «богатым», поехал с Юркой на студию не столько ради денег, сколько из-за спортивного интереса.

Между прочим, ни в одной из двух сцен, в которых мне довелось сниматься, я себя так и не нашел. Очевидно, вырезали.

Нет, не везло мне в моих «творческих» попытках выйти на широкий экран кино.

Когда я получил в сберкассе деньги, мы с Юркой решили по этому поводу посетить ресторан «Метрополь». Не больше, не меньше.

С первого захода мы не попали, так как были без галстуков. Зато вторично вошли беспрепятственно, за что пришлось изрядно раскошелиться. Шик и блеск этого заведения дорого мне обошлись. Впрочем, я не жалел истраченных денег, так как имел удовольствие лицезреть, как проводят время иностранные дипломаты, высокопоставленные лица, спекулянты и высокооплачиваемые дамы легкого поведения.

О том, чтобы мы остерегались этих хищниц, нас предупредил один из официантов, который был одет (как, впрочем, все они), в строгую безупречную униформу на английский манер. От его опытного глаза, конечно же, не ускользнуло, как мы ни старались пыжиться, изображая светских львов, что мы представляем собой всего лишь любопытствующих провинциалов, которых может облапошить любая из сидящих в этом зале «акул». Но нам повезло — нас пожалели...

Как-то в зал Чайковского на концерт Краснознаменного ансамбля песни и пляски Александрова я пригласил студентку-сокурсницу Адочку Зайцеву. Эта девчонка была прекрасно сложена, недурна собой, но очень слабохарактерна в вопросах секса и никому из студентов более или менее настойчиво предлагавших свои услуги, не отказывала. Мы ее за это считали «хорошим своим парнем», курили вместе с ней и особо не стеснялись в выражениях в ее присутствии.

На этот раз Юрка Ребенко не мог пойти на концерт — готовился к госэкзаменам. С Анной я еще не помирился, и в отместку ей пошел с Адочкой на концерт.

Моя дама надела темно-синее панбархатное платье, едва закрывавшее колени. Покатые женственные плечи ее покрывала белая пуховая шаль. Изящная фигурка и красивые стройные ноги никого не оставляли равнодушными, тем более, что на концерте было очень много военных. Когда мы расположились на своих местах, я обратил внимание, что впереди сидящие мужчины, пришедшие с дамами и без оных, часто поворачиваются и смотрят больше в нашу сторону, чем на сцену. Не знаю, то ли это было женской хитростью Адочки, то ли в этом повинны архитекторы, но круглые соблазнительные коленки и полненькие стройные ножки моей дамы многих сидящих впереди нас военных лишили возможности спокойно и сосредоточенно прослушать и, тем более, увидеть песни и пляски всемирно известного ансамбля.

В антракте нам не давали нормально гулять в фойе, предупредительно раскланивались, уступая дорогу и пытаясь познакомиться. Едва я отлучился покурить, как Адочку окружили офицеры и уже не подпускали меня к ней до самого звонка.

Впоследствии одного из этих пылких ухажеров она все-таки подцепила: бедолага женился на Адочке и увез ее из Запорожья в Москву, где она продолжила и завершила свою учебу.

В эту зиму с 1947 на 1948 год я досконально узнал и изучил театральную Москву. Не было ни одного сколь-нибудь известного спектакля или концерта, которого я бы не посетил. Я даже побывал со своим сокурсником Саввой Барановым в Еврейском театре на спектакле «Блуждающие звезды» по Шолом Алейхему, хотя мы оба ни бельмеса не понимали по-еврейски. Но этот недостаток нисколько не мешал нам понимать все, о чем шла речь на сцене. Это было возможно еще и потому, что мы оба читали эту вещь на русском языке, и, кроме того, впереди нас сидела молодая, славненькая еврейская девушка, которая любезно согласилась и бойко переводила нам — «гломпам» — некоторые моменты из пьесы.

Между прочим, в зале было много людей различных национальностей. Сомневаюсь, чтобы они знали еврейский язык. Наверняка девяносто процентов его не знали. Но они внимательно слушали, а игра известных актеров — Михоэлса и Зускина — не нуждалась в переводе.

А концерт Александровича в консерватории им. Чайковского?!

Мы были там с Юркой и то, что мы услышали и увидели там, трудно передать словами. В зале была в основном молодежь, которая любила певца и не хотела покидать стены консерватории даже после окончания концерта, опьяненная божественным голосом тенора, непрерывно вызывая его на бис.

Александрович пел и пел, а зрители его не отпускали. Наконец, уставший, засыпанный цветами и аплодисментами певец удалился. Однако мы не унимались, продолжали идти к сцене и аплодировать, выкрикивая «бис, бис!». И вдруг для столпившихся у самой сцены рьяных почитателей, среди которых оказались и я с Юркой, Александрович вышел к самой кромке сцены и чуть наклонившись, спел «Тиритомбу». Больше насиловать певца мы не осмелились, так как он с мольбой показала нам на свое горло и, низко раскланявшись, удалился.

Не знаю, то ли потому что это была первая не только услышанная, но и увиденная мною опера в Большом театре, но самое сильное и неизгладимое впечатление на меня произвела опера Бородина «Князь Игорь». Там не так уж и много мелодичных арий, больше речитатива, но героическая музыка увертюры, дикая и торжественная мелодия половецких плясок, арии Игоря, Кончака, Галицкого потрясли до глубины души своей достоверностью эпохи, масштабностью и неповторимостью красоты. Тогда, сидя в зале, я будто побывал в степи среди диких орд половцев.

Из массовых сцен просмотренных мною позже опер и балетов на меня произвела такое же и все же меньшее впечатление пляска ведьм из «Вальпургиевой ночи» «Фауста» Гуно. Понравились ария и ариозо Демона из одноименной оперы Рубинштейна в исполнении Народного артиста СССР Бурлака:

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил...

И еще:

Я тот, которому внимала  
Ты в полуночной тишине...

Я запомнил эти слова от начала и до конца, мне хотелось все это петь Анне, но...

Много еще прекрасных мелодий звучало в моем плененном силой искусства мозгу. Это время забыть невозможно!

В моей душе этот период остался на всю жизнь, как сладкий, упоительный сон-откровение.

### В обратный путь

Домой мы ехали в новом, проходящем испытания поезде, состоявшем из цельнометаллических вагонов производства ГДР, украшенных зеркалами и застеленных коврами.

Со мной вместе в купе находился Савва Баранов и молодая супружеская пара: Женя Аврах и Рахмиль Бакалор. Под вечер Женя достала из корзины громадный торт, заявив, что он подлежит уничтожению, так как долго лежать не может, ибо изготовлен на креме. Торт без чая есть не принято, поэтому Рахмиль взял у проводника чайник и на ближайшей остановке побежал за кипятком (титаны в новых вагонах почему-то еще не работали).

За разговорами мы не заметили, как состав тронулся. Когда он набрал скорость и вагон начало покачивать, мы спохватились, что нет Рахмиля. Заволновались... Бросились в одну сторону состава, в другую. Однако не все вагоны сообщались между собой, и двери некоторых были закрыты наглухо. Пришлось ждать очередной остановки.

Лицо бедной Женечки покрылось пунцовыми пятнами. От волнения она машинально стала заталкивать в свой ротик, судорожно жевать и проглатывать один за другим куски торта.

Прошло не менее часа, показавшегося вечностью, прежде чем поезд остановился на очередной остановке, станции Подольск. Мы повыскакивали из купе для поисков пропавшего молодожена, готовые просить начальника станции задержать состав до приезда Рахмиля, а он спокойно, как ни в чем не бывало, подошел к нашему вагону и, ухватившись одной рукой за поручни, поднялся нам навстречу. В другой руке он держал чайник с давно остывшим кипятком. Оказалось, Рахмиль подцепился в один из последних вагонов тронувшегося состава.

Что тут поделаешь?

Мы рады были, что хоть муж нашелся, и пошли есть злополучный торт к счастливой жене в купе. Но торта, к сожалению, тоже не было: его, незаметно для себя и окружающих, в волнении от начала и до последней крошки уничтожила молодая супруга...

Долго потом мы вспоминали этот, слава Богу, благополучно окончившийся эпизод. Мы требовали у смущавшейся Жени угостить нас, наконец, долгожданным вожделенным тортом.

На станции Запорожье-1 меня не встречали, да я и не ждал оркестра с цветами.

Из Москвы я приехал с небольшим чемоданом. Родным ничего не привез, и это до сих пор мучает мою совесть и душу. Какой я был эгоист! В моем чемодане лежали только чертежи и схемы для курсового проекта.

Зато голова была полна впечатлений от проведенной в Москве производственной практики на заводе ЗИС...

## 6. Путь к финишу

### Весна

После непродолжительных зимних каникул снова потекли обычные повседневные занятия. По увиденным и изученным материалам и добытым на ЗИСе чертежам я сделал неплохой курсовой проект, которым остались довольны Говоров Николай Александрович и Ильяшенко Всеволод Петрович, он же Батя.

Появились новые дисциплины: «Допуски и посадки», «Электросварка», «Экономика производства» и так далее.

Новые предметы, новые преподаватели, новые имена: Бодзич, Лещинский, Яблуновский, Клепиков, Кичаев и другие.

Многие из этих преподавателей превосходно знали и умело преподносили свои дисциплины. Лещинский, например, читал «Сварку» и «Технику безопасности». Студенты с удовольствием слушали его лекции, которые он разбавлял веселыми анекдотами, если видел, что студенты устали слушать.

Клепиков с большим знанием дела и увлеченностью читал «Металлорежущие станки» и, несмотря на сухость предмета, студенты внимательно слушали и конспектировали его лекции.

А вот с «Допусками и посадками» нам явно не повезло. Их читал ректор института Бодзич.

К сожалению, у этого тучного тяжеловеса не было никаких педагогических способностей. Вдобавок ко всему он слабо знал свою дисциплину, а может быть, и знал, но имел плохую память, часто путался сам и путал нас. Поэтому, объясняя, он боялся отойти от стола, где лежал конспект, больше чем на пять секунд и дальше, чем на один метр.

Слушать нудные лекции Бодзича было мукой, а не посещать лекции самого ректора не полагалось, так как считалось верхом вольнодумства. Поэтому я приспособился учить самостоятельно и вперед, а на лекциях по «Допускам» садился на задние ряды и играл всю пару часов напролет в морской бой с такими же «умниками», как сам.

Я честно готовился загодя к лекциям, так как «Допуски» мне, как будущему технологу по холодной обработке металлов, нужно было превосходно знать. И я их знал, не слушая замысловатое словоблудие Бодзича, чтобы не запутаться. Однако болезненно самолюбивый лектор скоро засек «непутевого» студента и вызвал меня к доске, как провинившегося школьника.

Я ответил все по порядку. Многие студенты были мне благодарны, так как на этот раз в моем изложении поняли, чем отличается система «вала» от системы «отверстий» и «тугая» посадка от «напряженной».

Когда я с триумфом продвигался между рядами от доски к своему месту, ребята демонстративно пожимали мне руки, как герою.

С тех пор Бодзич невзлюбил меня и почти на каждой лекции вызывал к доске повторять то, что он пытался невнятно объяснить слушателям. А студенты, мои сокурсники, были довольны тем, что я разъяснял «непонятные» «Допуски».

В результате ректор вынудил меня систематически учить «Допуски» вперед на два раздела, и как ни старался поймать на чем-нибудь или запутать, не мог. В конце концов, он вынужден был поставить мне в зачетку «отл.», но последствия этой молчаливой борьбы сказались потом, так как Бодзич в душе затаил на «всезнайку» мстительную злобу.

Я не понимал, чем это грозит мне впоследствии, и до поры до времени ходил в «героях». А когда понял, было уже поздно.

Бодзич был тупым, коварным человеком. Бог обделил его талантом, а сатана наделил мстительностью и коварством. Наш ректор, знал, как и когда можно насолить незадачливому студенту. Он подобрал-таки для этого самый подходящий момент — распределение по местам самостоятельной работы...

Но это было позже, через год. А пока все шло своим чередом...

Ранней весной демобилизовался из Армии и появился в Запорожье Миша Левин.

Вскоре мы отгуляли его свадьбу. Мишка женился на яркой, интересной брюнетке — Тамаре Каплун. После Мишки в брак вступил второй мой одноклассник — Валик Ушаков. К этому тихоне мы, бывшие соученики, явились целой группой, чтобы отметить столь смелый шаг на жизненном пути несмелого товарища. Женился Валька на Алевтине Шевченко — студентке мединститута, дочери врача инфекционной больницы, лечившей меня, когда я болел брюшным тифом. Вот такая карусель.

Абрам Мордухович, Амка Лисин, Рудик Рискин, Нюсик Гальперин и я устроили Вальке и Але повторную свадьбу-смотрины.

Мы были незваными гостями, но делать нечего, надо накрывать на стол и садиться вместе с нами жениху, невесте и их родителям.

Как ни смущались молодожены, нахальные «гости» заставили их продемонстрировать ритуальные поцелуи под дикие крики соучеников-холостяков «Горько, горько, горько!»

...Итак, в 1948 году было положено начало конца сравнительно беззаботной холостяцкой жизни моих сверстников.

К этому времени и меня начало тяготить мое одинокое холостяцкое существование. Почти все ребята уже имели своих постоянных подруг, на которых один за другим женились, а я все никак не мог найти надежного друга для совместной жизни. Довольствуясь случайными непродолжительными встречами, я все же надеялся, что в конце концов у нас с Аней наладятся нормальные отношения.

Какой я был наивный глупец!

Истинный друг ходил рядышком. Нужно было, как говорится, только взять глаза в руки, посмотреть вокруг себя. Однако глаза мои все еще застилал туман Аниных чар. Действие их постоянно ослабевало, но не настолько, чтобы я, наконец, по-новому посмотрел на свою соседку Шурочку, с которой столько времени дружил и ходил рядом, бок о бок, в одной компании. Надо было лишь сравнить трезвым взглядом Аню и Шурочку... Только и всего...

До этого знаменательного вечера ни уговоры Юрки Ребенко «Марка, женись на Шурочке, а то я ее уведу», ни наставления мамы «Марочка, посмотри, какая хорошая девочка Шурочка, вот бы мне такую невесточку» не действовали. А тут, июньским вечером, когда мы вдвоем с Шурочкой были в гостях у ее подружки детства Веры по случаю проводов младшего брата в армию, я вдруг посмотрел на свою соседку взглядом стороннего наблюдателя.

У меня как-то засосало под ложечкой, сердце екнуло, потому что Шурочка показалась мне вдруг такой милой, что я не стерпел и запел как будто специально для этого случая написанную неаполитанскую песенку:

Помнишь, впервые встретил  
Тебя в саду вечернею порой?  
Ты ласково взглянула на меня  
И робко кивнула головой...

Светила луна, аромат цветов наполнял воздух. Не только я, но и природа вокруг пела гимн любви.

Глядя в лучистые глаза Шурочки, я продолжал петь, стараясь вложить всю душу и сердце в слова песни, чтобы их смысл дошел до девушки, задел самые тонкие струны ее души и вызвал ответную реакцию на мое музыкальное объяснение в любви:

...О, не забудь меня,  
Поверь, ты мне счастье дала!  
Мне не забыть твои  
Янтарно чистые глаза...

Это было 17 июня 1948 года.

Мы вернулись от подруги в свой двор за полночь и до рассвета просидели в обнимку у порога Шурочкиного дома.

Слов друг другу мы уже больше не говорили. Их заменили долгие поцелуи, от которых перехватывало дыхание, и то замирало, а то бешено колотилось молодое сердце.

Ровно через три года, 17 июня 1951 года, у нас появилось на свет первое маленькое беспомощное создание — доченька Маринка.

А пока?..

Пока, после бессонной ночи, я пошел рано утром сдавать первый летний экзамен по «Сварке», не подготовившись и наполовину по пройденному материалу.

По заведенной привычке идти сдавать экзамены в числе первой тройки, я подошел к столу преподавателя Бориса Лещинского, вытащил билет и сел обдумывать ответы на вопросы.

А чего было, собственно, думать?

Из пяти вопросов я твердо знал только два, в двух «плавал», а в одном вообще ни черта не кумекал, хоть тресни.

Семь бед — один ответ.

Понадеявшись на авось, я избрал следующую тактику: ответить получше на один из вопросов, которые знаю; потом на вопрос, который знаю похуже; если удастся, то вопрос, который

не знаю — опустить; поговорить вокруг да около того вопроса, который знаю посредственно и, наконец, закончить с блеском на том вопросе, который я действительно хорошо знаю.

Обычно благополучная концовка под занавес создавала благоприятное впечатление и обеспечивала хорошую оценку.

Я надеялся, что мой маневр пройдет, и Боря Лещинский поставит мне «пятерку», хоть тянул я, если быть до конца честным, едва на скромный «тройак».

Однако случилось непредвиденное.

Боря, уверенный в моих знаниях больше, чем я, взял у меня билет и стал по порядку зачитывать вопросы.

Тот, который я знал слабо, стоял первым, и я кое-как с ним справился... Вторым был вопрос, ответ на который я совсем не знал. И, окончательно теряя почву под ногами и самообладание, я плюнул на все и, даже не взяв зачетку, встал из-за стола и направился к двери.

На недоумевающий вопрос преподавателя: «Что с Вами? Вернитесь!», на возгласы студентов, привыкших к тому, что я всегда неплохо отвечал и считался успевающим студентом «Марка, куда ты? Что с тобой?», я не обернулся, втянул в плечи голову, ускорил шаг и с досадой и злостью на все и вся, и в первую очередь на себя, постарался поскорее выскочить из помещения на свежий воздух...

Едва я вышел из корпуса во двор, как навстречу мне с огромным букетом цветов устремилась Шурочка, чтобы поздравить с очередной «пятеркой». Это было так противоестественно...

С досадой я отстранил протянутый букет и, опустив голову, пошел вон из института...

Шурочка была добрым, наивным, но сообразительным человеком. По моему злому, растерянному взгляду и весьма не торжественной походке Шурочка чутко уловила что-то неладное, не стала утешать, а молча последовала за мной.

Мне было стыдно перед Борисом Лещинским, с которым я всегда поддерживал прекрасные отношения, перед сокурсниками и Шурочкой, которых я подвел, и обидно за себя, за этот досадный, а по сути закономерный провал.

Так первый экзамен, как ушат холодной воды, выплеснулся на мою разгоряченную голову, которую охватил угар любви.

От этого нокдауна через пару дней я окончательно отрезвел, и дальше со сдачей экзаменов у меня пошло куда серьезней и лучше.

А со «Сваркой» было так: Борис Лещинский уговорил меня через сокурсников прийти на следующее утро в институт (пока он не сдал ведомости с результатами экзаменов в деканат) и пересдать или просто побеседовать на тему о сварке. Утром мы побеседовали обо всем понемногу, но только не о предмете. Борис все пытался выяснить, что со мной случилось во время экзамена, но я постарался перевести разговор на другую тему. Конечно, он не поставил мне «отл.», да я и не смел претендовать, но твердое «хор.» в зачетку все-таки выставил, после чего мы оба облегченно вздохнули.

## Лето

Лето входило в свои права. Буйно цвела растительность, наполняя воздух ароматом и кружа головы влюбленным. Кое-как «добив» последние экзамены, утомленные студенты освобождали свои перегруженные головы от груза науки.

Приехал из Москвы Юрка Ребенко. Это было последнее «свободное» лет, после которого он должен был отправиться по назначению на завод нефтяного оборудования на Донбасс.

Снова съехались из разных городов к родному Днепру утомленные и беззаботные студенты.

Мы всерьез уже встречались с Шурочкой, и Шурка с Белкой как-то ради хохмы устроили нам «смотрины». Шурочкины родители были на работе, их квартира осталась в нашем распоряжении. Девочки приготовили винегрет, Шурочка достала из буфета приготовленные отцовские запасы вина и водки и разлила по рюмкам.

Это была импровизированная тайная помолвка раба божьего Марка с девицей Александрой, где в качестве свидетелей выступали со стороны жениха — Юрий Ребенко, со стороны невесты — Белочка Тонконог. Свидетели провозглашали тосты, кричали нам «горько», а мы не заставляли себя уговаривать и целовались, безропотно выполняя требования свидетелей, так как получали от этого обязательного обряда только удовольствие. Эти смотрины удались на славу.

...В ту пору в моде были еще танцы под духовой оркестр на танцевальных площадках. По вечерам во всех парках города собиралась молодежь для совместного времяпрепровождения, которое теперь называют «тусовками». Местом встречи обычно назначались танцплощадки.



Наша компания повелась также собираться по вечерам в городском саду, или «горсаду» (так называли свой парк старожила-запорожца).

Городской парк был по периметру огорожен высоким ажурным металлическим забором. За вход на танцплощадку, к эстраде, а то и в сам парк, если на его территории проводилось какое-либо мероприятие (фейерверк или цирковое представление), надо было платить и брать билет. Учитывая, что студенты народ бедный (скидок на студенческий билет тогда не делали), на территорию парка мы пробирались не всегда через главный вход. Чаше приходилось со всякой шпаной лазать через ограду, опираясь на орнамент, выполненный в виде звезды или серпа и молота, приваренных к прутьям забора. К 24 часам ворота горсада запирались, и жизнь здесь замирала до следующего вечера.

Одноногий инвалид-сторож, выпустив массу нагулявшейся и натавцевавшей публики, вешал замок и отправлялся спать в сторожку, считая свою миссию законченной.

А жизнь в парке замирала только условно. Обычно некоторые пары, познакомившись на танцплощадке и натавцевавшись до возбуждения, расходились по темным аллеям, стараясь занять места на скамеечках, расположенных в тени деревьев, чтобы до конца выяснить отношения. О том, как выбраться из запертого парка, в такие минуты они не задумывались. Для них не существовало ни времени, ни пространства.

Студенты, как и влюбленные, часов не наблюдают...

Мы после официального закрытия, даже тогда, когда сторож уходил на покой, продолжали под собственный аккомпанемент танцевать на бетонированной площадке, отполированной до блеска, или кататься на детских качелях-каруселях. А иногда сдвигали скамьи и рассказывали по очереди анекдоты и веселые студенческие истории разных времен, произошедшие якобы в институте рассказчика. На самом же деле это был чистой воды студенческий фольклор, и установить его первоисточник, тем более автора, не смог бы даже знаменитый Владимир Даль.

После вышеописанных затянувшихся гульбищ мы выбирались из горсада далеко за полночь, преодолевая решетчатые преграды. То же случилось и на этот раз. Но в нашей загулявшейся компании студентов-холостяков оказалась пара «женатиков»: Левин и его жена Томочка, которая готовилась стать мамашей. Ей, бедняге, было не до смеха, когда мы обнаружили, что калитки и ворота городского парка наглухо закрыты.

Надо было видеть, как мы из живых тел выстроили пирамиду, по которой полненькая Томочка, выставив вперед животик, хохоча, ойкая и повизгивая, преодолевая страх и смущение, перебралась через частокот забора на тротуар и бросилась в объятия своего мужа.

Остальные легко и просто справились с привычным препятствием.

\* \* \*

В один из летних дней ко мне в гости пришел сокурсник по институту Мишка Фриш со своим товарищем, тоже студентом, но Ленинградского кораблестроительного института.

Эти ребята предложили мне вступить в их «кооператив», чтобы совместно провести паспортизацию металлорежущих станков на одном из заводов в Гуляйполе. Эта работа сулила хорошие заработки, и я согласился.

Через день наша троица отбывала со станции Запорожье-2 в Гуляйполе, на родину Махно. На вокзал нас пришли провожать Мишкина жена и моя Шурочка.

Не помню, по какой причине я накануне повздорил со своей зазнобой, но Шура была очень грустной. Не знаю, то ли ссора, то ли мой внезапный отъезд были тому причиной, но когда поезд тронулся, прекрасные, всегда лучистые глаза Шурочки наполнились слезами.

Я до сих пор по прошествии стольких лет не могу забыть сквозивший в них упрек. Он не давал мне покоя все дни, пока я находился в Гуляйполе. И я успокоился только тогда, когда мы встретились и объяснились.

В Гуляйполе наша «фирма» заключила трудовое соглашение с каким-то небольшим заводом на предмет паспортизации полученных из Германии по репарации металлорежущих станков. Я был рад подвернувшейся халтуре, так как, во-первых, знал немецкие металлорежущие станки (мне пришлось на них работать и учиться в Плауэне); во-вторых, я в то время еще хорошо помнил немецкий язык и мог свободно переводить по сохранившимся документам с немецкого на русский; в-третьих, за эту работу каждому из нас по безлюдному фонду перепало по пять тысяч рублей (по моим понятиям, сказочные деньги).

Из выданного аванса мы расплатились вперед за гостиницу, купили фотоматериалы, тушь, краски, чистую бумагу и заказали бланки паспортов в типографии.

Работать пришлось много. Я и Мишка разбирали станки, составляли кинематические схемы, раскрашивали их, а ленинградский парень фотографировал станки, их узлы и заполнял каллиграфическим почерком текстовый материал в бланках... Чтобы поскорей закончить, мы трудились в две смены на заводе и прихватывали еще время в гостинице. В результате мы выполнили паспортизацию в недельный срок, расплатились со своими субподрядчиками и, пожив в карманы примерно по три тысячи рублей, укатили в Запорожье.

К нам поступали еще предложения на паспортизацию от различных мелких предприятий, МТС, мехмастерских и т.д., все это было замечательно, но мы отказались — тянуло домой.

Надо сказать, что в то время вышло Постановление правительства об инвентаризации и оценке всех основных фондов, в том числе и полученных по репарации из Германии, Японии, Италии и т.д. Самое время было заработать, однако мы с Мишкой затосковали по дому, а наш ленинградский коллега, фотограф и банкир, заторопился в институт. Мы даже обрадовались, когда ленинградец предложил сворачивать «фирму» и ехать восвояси, так как нас с Мишкой сильно потянуло к домашнему очагу, к любимым девочкам.

Сетуя на то, что столь поздно взялись за такое доходное дело, акционерное общество «Фриш, Нейштадт и Ко» распалось, просуществовав всего десять дней, пустив на ветер и распылив на личные нужды свой основной и оборотный капитал в девять тысяч рублей.

### Осень

А время летело куда-то вперед и по спирали. Опять наступила осень. Разъехались по институтам студенты. Все вернулось на круги своя. Начался новый цикл очередного студенческого учебного года.

Шурочка и Беллочка уехали в Днепропетровск, Юрка по назначению — на Донбасс, а я перешагнул порог пятого, завершающего курса ЗАМИ...

Я не успел оглянуться, как промчались два месяца учебы, пришел ноябрь и зимняя сессия, после которой предстояло ехать на преддипломную практику, делать дипломную работу, защитить ее и покинуть навсегда уже ставшие дорогими стены института.

К зимней сессии мы готовились, как всегда, коллективно, у Кравцовых.

Кажется, тогда я успел сдать один предмет. Во время подготовки к следующему экзамену я, помню, напился холодной воды из-под медного крана на кухне у Кравцовых (даже сейчас, вспоминая это, ощущаю медный привкус воды), и примерно через час у меня начались боли в области печени и дикая резь. Дело подходило к обеденному перерыву. Я распрощался с ребятами и пошел домой.

Идти было тяжело из-за боли. Когда же добрался до дома, боль стала совсем невыносимой.

От обеда я отказался. Прикладывал к животу грелки, приготовленные мамой, и все равно боль не спадала, а наоборот, усиливалась...

Я то ходил по дому, то ложился на кровать, то на кушетку, но никак не мог найти положение, при котором стало бы чуть-чуть легче. От нестерпимой боли холодный пот покрыл тело и каплями выступил на лице. Мама, не зная, что еще предпринять, чтобы как-то облегчить мои страдания, вызвала «скорую помощь». Врач «скорой» пощупал живот, сделал укол и, не теряя времени, усадил меня в машину и повез в больницу.

Там пожилые врачи, Букин и Чернов, долго надо мной колдовали, щупали со всех сторон мой несчастный живот. Потом поставили диагноз «острый холецистит» и назначили лечение. После уколов и принятого лекарства боли в животе прекратились, и я, окончательно обессиленный, уснул, наконец, как после тяжелой каторжной работы, сном праведника.

...Я спал долго-долго, как убитый, на больничной койке в предродовом отделении бывшего роддома, где двадцать пять лет назад соизволил появиться на свет божий.

Залег я в больницу основательно, и сессию мне разрешили сдавать после выздоровления. Пока я лечил свой холецистит, ко мне в больницу приходила Шурочка, которая специально ради меня приехала из Днепропетровска, а сама она стала еще роднее и дороже, оттеснив предмет моих предыдущих воздыханий далеко на второй план. Об Ане я перестал вспоминать. Я лежал и думал. Думал о Шурочке, ждал ее с нетерпением, и стихи для нее сами по себе слетали с губ и ложились на бумагу:

Пусть мы с тобою часто  
видеться не можем,  
Зато день встречи  
краше прочих дней.

Ты с каждой встречею  
становишься дороже,  
Я с каждою из них  
люблю тебя сильнее!

И еще отрывок из «больничного цикла»:

...Сказать, друзья, вам, кто она?  
Кем так душа моя полна?  
Я ставлю вензель «А» и «А».  
Теперь уж догадайтесь сами,  
А не смекнете, так Бог с вами.

Это, переполненное объяснениями в любви к таинственной «А.А.» стихотворение, я закончил следующими словами, пришедшими в мою страдающую от любви голову:

За сим поставлю росчерк свой, —  
Марк Нейштадт, печенью больной.

Я лежал пластом на больничной койке, а за это время произошло следующее. Во-первых, наш Запорожский автомеханический институт ЗАМИ переименовали в институт сельскохозяйственного машиностроения, или, как окрестили его острословы, ЗИСХам. Во-вторых, мои сокурсники успели сдать зимнюю сессию и готовились к поездке на преддипломную практику в г. Харьков на завод сельхозмашин.

Перед отъездом ребята пришли ко мне в больницу попрощаться. Среди отъезжавших были: Гроссмейстер Иосиф Кравцов, Витя Слинченко, Фимка Краснопольский, Аня Киселева, Валя Осипова, Галочка Страхова. Все они очень сожалели, что я выбыл из их компании и не еду вместе с ними в Харьков. Особенно грустила, как мне показалось, по поводу моей болезни и того, что я остаюсь, Анна. Она даже предложила уговорить врачей, чтобы меня выписали и отпустили долечиться в Харькове. Но Анины поздние «вспышка и зажигание» на меня уже не действовали с такой магической силой, как когда-то. Наверное, предложи она мне такой вариант год, даже полгода назад, — я, не задумываясь, вскочил бы в одном нижнем белье с больничной койки и помчался за нею хоть на край света. А теперь?

Теперь мои отношения с Шурочкой стали надежной вакциной против «губительной перегревшей любви».

Когда меня выписали, все студенты пятого курса уже успели разъехаться на практику по разным городам и заводам, а я остался сидеть в своем городе с несданными экзаменами. Что делать? Не оставаться же на финише на второй год с половины пятого курса!

Как тяжело мне ни было, я подготовился и сдал оставшиеся предметы, получив направление на преддипломную практику на Запорожский завод «Коммунар».

Помнится, в дипломном задании было сказано: «Запроектировать завод по выпуску запчастей к комбайнам «Сталинец-6» в количестве 500 000 шт., механический цех для обработки этих запчастей к молотилке комбайна, а в цеху разработать поточную линию для изготовления одной из наиболее сложных деталей». Дипломное задание было более или менее ясным, я представлял себе отчетливо как его начать и окончить. Недолго раздумывая, я приступил к расчетам.

На «Коммунаре», кроме меня, проходили практику еще несколько человек из института, по тем или иным причинам оставшиеся в городе. Поэтому ход движения дипломной работы я мог сверять не только по составленному моим консультантом совместно со мной графику, но и со своими коллегами.

Я знал и был лично знаком со многими работниками завода «Коммунар» еще с довоенных и даже послевоенных времен, потому что хронически страдал от безденежья и неоднократно брал на заводе халтуру: разрабатывал оснастку и приспособления. К примеру, я был прекрасно знаком с бывшим главным инженером, а теперь главным технологом завода Эдуардом Блюмом. Там же, в механическом цехе, работали Золоторевский и Левитин, в литейном — Красюк и Гуржий, в сборочном — Гармаш. С ними я был в хороших отношениях, так как нас связывала опять же так называемая халтура и довоенное знакомство по ЗМИ.

Пользуясь такими мощными знакомствами и блатом, я быстро собрал необходимый материал для работы над дипломом, опередил график подготовки и стал себе позволять частые вояжи в город Днепропетровск на свидания к Шурочке. Иногда меня сопровождали товарищи — Русик Аптекман или Валик Ушаков, которые тоже навещали время от времени своих подруг-медичек.

Бывая в Днепропетровске, я удосуживался посещать лекции таких светил медицины, как Мильман, Гнилорыбов, Миртовский и другие. Многие студенты мединститута привыкли меня

часто видеть, здоровались и запросто обращались ко мне с вопросами на медицинские темы, принимая меня за своего брата-медика. Моя физиономия в мединституте, очевидно, настолько примелькалась, что даже по прошествии нескольких десятков лет, когда мы с Шурочкой приезжали в Днепропетровск на юбилейные встречи по случаю окончания мединститута, бывшие студенты, теперь солидные врачи, продолжали принимать меня за одного из своих коллег-выпускников. Единственное, что они при встрече со мной уточняли, так это какой же факультет я закончил — лечебный, педиатрический или санитарно-гигиенический?

### Горячая зима

Из города Запорожья в город Днепропетровск и обратно курсировали в первые послевоенные годы маленькие 18-местные старенькие автобусы Горьковского автозавода ГАЗ. Эти автобусы не отапливались, трещали по всем швам на каждой колдобине узкой, выложенной булыжником, трассе. Сквозь множество щелей в автобус задувал ветер, проникали снежинки и капли дождя. В общем, к такому автобусу как нельзя лучше подходила поговорка «Наша горница с Богом не спорится».

В таком «ящике на колесах» я часто курсировал к Шурочке в гости. В одной из поездок в ноябре месяце после трех- или четырехчасовой тряски я изрядно продрог.

Явившись еле живой на квартиру, где снимали комнату Шура, Белла и Мира, я почувствовал сильный озноб и недомогание. После визга, сопровождавшего появление нежданного гостя, я неосторожно попросил у девочек горячего чая, чтобы хоть немного отогреться с дороги. Мгновенно поднялась суета. Я на минуту забыл, что попал к медикам, и это было моей роковой ошибкой...

На меня, еле живого, хором набросились, не спрашивая на то согласия, рьяные студентки-медички. Они раздели меня до трусов и ко всем свободным местам на теле приложили фонендоскопы. Торопливо начали заглядывать в свои конспекты и учебники. Затем в ход было пущено малиновое варенье, горчичники и согревающие компрессы.

Через полчаса после интенсивной экзекуции я лежал на мягкой постели в длинной ночной рубашке кого-то из девиц, укрытый чуть ли не с головой пуховым одеялом, мокрый как мышь. А вокруг «жертвы» сидели заботливые медички: Шура, Белла, Мира и присоединившаяся к ним дочь хозяев Рита. Собрав анамнез, заглянув в конспекты и учебники, эти врачи-недоучки поставили диагноз и стали обсуждать вопрос, как меня лечить дальше и какими потчевать лекарствами. За этим занятием их и меня, лежащего в кровати, застала пришедшая в гости еще одна медичка Галочка Гитина, откуда-то проведавшая о моем приезде. Окоченевшая, едва переступив через порог, она сбросила с себя верхнюю одежду, и, недолго думая, юркнула ко мне под одеяло погреться. Девчонки хохотали, удивляясь ее смелому поступку, а мне ничего не оставалось, как только подвинуться и поддержать общее веселое настроение.

Я рассказал на ушко лежащей рядом Галочке какой-то сальный анекдот, и она, выслушав его внимательно, вдруг словно очнулась, подпрыгнула на кровати и завопила вовсю:

— Ой, Марка, не могу больше! У меня полный живот удовольствия!

После такого возгласа у подружек, сидевших в комнате рядом с нами, отвисли челюсти. Они переглянулись и внимательно и подозрительно уставились на кровать и меня. А я поскорее высунул руки из-под одеяла и скорчил невинную физиономию больного человека, чтобы девочки, и в первую очередь Шурочка, не подумали Бог знает что.

Галку, во избежание неприятностей, пришлось удалить из постели «больного».

С тех пор, когда у свидетелей этой сцены случалось что-нибудь приятное и веселое, то они восклицали: «Ой, у меня полный живот удовольствия!»

\* \* \*

За неделю до Нового 1949 года в Запорожье из Харькова приехала погостить на два дня праздников Аня и некоторые другие ребята. Через Гроссмейстера она назначила мне свидание на нейтральной полосе. Мы встретились...

Аня была ласкова, как никогда раньше. Оживленно болтала, не давая прерывать себя и вставить мне слово. Она, очевидно, кое о чем догадывалась и затягивала время, чтобы как можно позже услышать от меня роковые слова, а может, надеялась и вовсе их не услышать...

В конце концов, Аннушка произнесла то, ради чего назначила свидание:

— Приходи ко мне 31-го встречать Новый год. Мы будем вдвоем... вместе...

Ее голос дрожал. Эти слова прозвучали как откровенное признание. Мне было не по себе. Ком подступил к горлу. Я стоял, потупившись, опустив голову, как провинившийся мальчишка. Чуть слышно, выдавливая из себя слова, я с досадой произнес:

— Аннушка, милая! Поздно... очень поздно... Я слишком долго ждал от тебя такие слова. Все перегорело... — и, набрав побольше воздуха в легкие, я продолжал: — Я женюсь на Шуре Айзиковой... Я буду встречать Новый год с ней в Днепропетровске среди медиков.

Аня как-то странно посмотрела на меня:

— Значит, не судьба... А я не верила слухам. Что ж, будь счастлив...

Она приблизилась ко мне вплотную:

— Поцелуй меня. В последний раз, на прощание...

Мы стояли на перекрестке улиц Гоголя и Октябрьской. Была темная, холодная декабрьская ночь. Небо покрывали тучи. Тусклый фонарик на хлебной будке едва освещал наши лица. Я должен был ликовать хоть немного, так как, наконец, одержал победу над своенравной девчонкой. Но радости не было, была досадная грусть.

Я обнял и поцеловал Аню в холодные губы...

На секунду она замерла в моих объятиях. Потом вдруг стремительно вырвалась и почти прокричала:

— Провожать не надо! Я сама... дойду домой... Прощай!

Ее одинокая фигурка скрылась вскоре в темноте ночи, а я стоял и смотрел вслед исчезнувшему силуэту и не мог сойти с места. На душе было очень скверно.

\* \* \*

Новый 1949 год я встречал вместе с Шурочкой и Беллочкой в Днепропетровске на квартире у Риты Фишман, где жили девочки.

Празднество это не отличалось само по себе ничем особенным от традиционных новогодних праздников и поэтому почти не задержалось в памяти. Одно могу сказать, что там была студенческая молодежь, и было весело. Но хорошо запомнилось только сугубо личное: на рассвете 1 января 1949 года мы с Шурочкой условились, что в ближайшее время поженимся, и что об этом я должен переговорить со своими и ее родителями. Короче, как говорили в старину, на меня была возложена миссия «просить благословения у родителей».

На словах я был храбрым хоть куда. Однако стоило мне вернуться в Запорожье, и смелость моя моментально улетучилась. Время шло, а я, что называется, тянул резину, откладывая со дня на день этот щекотливый разговор. А время шло...

Я подводил Шурочку, которая там, в Днепропетровске, ждала от меня условленного сигнала и была в полном неведении. Наконец, 13 января, когда тянуть уже было невозможно, я набрался храбрости, вырядился этаким фраером и вечером заявился к Шурочкиным родителям.

Со своими я переговорил днем раньше. Мама, конечно, всплакнула, но была рада, что свой выбор я остановил на Шуре, которая ей очень нравилась. Отец мой в таких вопросах никогда не перечил супруге, всецело полагаясь на ее материнское чутье.

С ее мамой я был в отличных отношениях. Я даже думаю, что она сразу догадалась о цели моего визита, и отнеслась к моему вечернему вторжению весьма доброжелательно. А вот с отцом...

С отцом моей нареченной я был мало знаком, почему-то его немного побаивался и потому, уже переступив порог, растерялся и не знал, как стану просить, чтобы он отдал за меня дочь.

Циля Львовна пригласила меня к столу, поставила чай, варенье и села рядом с мужем. Она сложила руки на груди и приготовилась слушать. А я пил горячий чай, обжигался, однако боялся оторваться от чашки, так как не ведал, с чего начать. Те слова, что придумал загодя, начисто вылетели из головы...

Разговор не клеился. Циля Львовна на меня ободряюще поглядывала, и глаза ее словно говорили «ну-ну, смелее, дорогой». Ефим Михайлович тоже смотрел на меня, но, как мне показалось, как-то безразлично, не понимая, что нужно в их квартире в такое позднее время этому незваному гостю-соседу.

Молчаливое чаепитие угрожающе затягивалось. А во рту у меня от волнения все пересохло...

Ну, я допил вторую или третью чашку, во избежание конфуза отставил ее в сторону, набрал побольше воздуха в легкие и, ни на кого не глядя, произнес:

— Ефим Михайлович, Циля Львовна! Я и Шурочка любим друг друга... От себя и ее имени прошу вас дать согласие на... нашу женитьбу!

Запас воздуха у меня иссяк.

Я снова глубоко вздохнул, уже с некоторым облегчением, так как самые трудные слова были произнесены, и стал ждать. Даже поднял голову и уставился на родителей невесты.

Циля Львовна, моя будущая теща, молча вытирала слезы и поглядывала на мужа, предоставляя ему, как главе семьи, первое слово. А он... медленно допил чай, отодвинул чашку, розетку с вареньем, посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом и, наконец, изрек:

— Циля! А ну поставь бутылку и закусу. Для такого разговора чай ни к чему...

Когда заказ был исполнен, Ефим Михайлович продолжил:

— Что же, если вы любите друг друга, это неплохо... можно жениться. Но я всю жизнь мечтал, чтобы моя дочь получила высшее образование и стала врачом. Боюсь, что ваша женитьба и дети помешают этому. А ведь ей остался только год учебы.

Тут я не выдержал, и, как ученик, хорошо выучивший урок, вскочил с места:

— Ефим Михайлович, Циля Львовна! В этом году я заканчиваю институт... Куда меня направят — не знаю. Мы будем разлучены с Шурочкой, и неизвестно, как сложатся в такой обстановке наши судьбы, если мы не соединим их в одну. А в отношении дальнейшей учебы вашей дочери можете не беспокоиться: пока она не получит диплом, детей у нас не будет. В этом могу вам поклясться!

Циля Львовна, выслушав внимательно и до конца мою пространную речь, залилась слезами:

— Муня, — обратилась она, употребив ласковое прозвище, к мужу, — не мешай счастью детей!

И Ефим Михайлович, казавшийся мне всегда сухим, черствым и непреклонным человеком, не выдержал двойного натиска, еще немного покуражился для вида, затем растаял, прослезился и окончательно сдался.

Он раскупорил бутылку, разлил водку по рюмкам, чокнулся со мной и супругой:

— Береги Шурочку! За ваше счастье!

Обнял меня, поцеловал и добавил:

— За нашего сына, Циля!

На следующий день я отправил в Днепропетровск депешу с отчетом об успешном завершении моей миссии.

А еще через пару дней состоялась деловая беседа моих и Шурочкиных родителей о дальнейшей судьбе жениха и невесты и их свадьбе.

Так как финансовое состояние будущей супружеской пары имело отрицательный баланс, родители решили поддерживать нас материально вплоть до получения нами дипломов и устройства на работу. Жениху после регистрации брака надлежало перебраться под крышу к молодой жене, то есть в «приимы».

23 января 1949 года мы расписались. В то утро было довольно холодно, мела поземка. Мы шли по пустынным улицам города в сопровождении единственного свидетеля — двоюродной сестры невесты Фирочки Айзиковой.

Ни кортежа из легковых машин, ни разноцветных лент и переплетенных колец, украшающих машины, ни дворца для бракосочетаний с его торжественными ритуалами, которыми обставляют современные браки, где, благословляя новобрачных с фасада, расторгают браки с тыльной стороны, — ничего этого не было.

ЗАГС помещался в стареньком одноэтажном некогда (до войны) жилом доме, сразу же после войны приспособленном под учреждение. Этот немой свидетель нашего гражданского акта до сих пор стоит на улице Кирова. Он продолжает, как может, служить людям, только в другом качестве: в нем снова, как ему и предназначалось, поселились люди и увеличивают народонаселение страны. Одновременно с нами регистрировали еще пару новобрачных, причем жених все время поддерживал невесту, чтобы та не рассыпалась на двух человек, так как ее живот почти доставал до подбородка.

Тут же в комнате за соседним столом выдавались свидетельства о рождении и смерти, то есть соседствовали два полюса жизни: начало и конец, белая и черная сторона.

Однако ни убогость помещения ЗАГСа, ни затрапезный вид представительницы Советской власти, скрепившей наш брак гербовой печатью и прочитавшей как «Отче наш» заученные слова о том, что мы отныне являемся мужем и женой, ни холодный зимний ветер, дувший из всех щелей старого дома и пронизывавший тела сочетающихся, — ничто это не могло испортить веселое настроение влюбленных.

На наших лицах сияли улыбки. Мы были счастливы!

Дома нас ожидали цветы, поздравления, шампанское и взволнованные родители...

Через неделю, 29 января 1949 года, состоялась свадьба. Свадьба, как и все свадьбы в то нелегкое время, была не богатая, но и не бедная. Мне для этого торжества пошили темно-синий

шевиотовый костюм, невесте — белое креп-жоржетовое платье. Собрались гости из разных городов. Среди них — родственники, друзья-студенты с обеих сторон, хорошие знакомые и соседи по двору.

Все были веселы, пили, ели от души и до одурения. Сосед Зяма Лобком даже танцевал на столе «фрейлехс», а остальные хлопали в ладоши и пританцовывали на полу. Без конца нам кричали «горько», и мы целовались, не успевая выпивать и закусывать.

В общем, все прошло хорошо, если не считать одного небольшого курьеза (на других свадьбах бывает и побольше, и посерьезнее).

Вот как это было.

Гуляли мы на квартире у невесты, а верхнюю одежду складывали на квартире у жениха. Поскольку дело было зимой, а квартира моя, как уже упоминалось выше, состояла из одной комнатухи, то пальто, шапки, шерстяные кофты, свитера и прочие принадлежности зимнего туалета, гости слоями, одно на другое, складывали на кровать и кушетку.

На нашу свадьбу в качестве почетного гостя прибыла из Кременчуга старшая сестра отца моего, всегда не по годам молодящаяся тетя Соня. Свою котиковую шубу она бережно уложила на кровать после всех остальных гостей, расправила ее поверх всей остальной одежды и заперла дверь на ключ, чтобы, не дай Бог, не помялась ее драгоценная шуба...

Можете себе представить, в какой ужас пришла тетя Соня и что было с ней, когда она под утро увидела поверх своей котиковой шубы свернувшегося в клубок, пьяного в дрезину, мирно спящего с блаженной улыбкой Готьку Ильяшевича, — сокурсника Шурочки по медицинскому институту!

Тетя была, как теперь выражаются, в трансе, и ее пришлось приводить в чувство валерьянкой, а подгулявшего и перебравшего «на дурняк» студента — нашатырным спиртом.

#### Храбрый заяц

Здесь я никак не могу снова удержаться от лирического отступления, и не рассказать о приключении, случившемся с вышеупомянутым Готлибом Ильяшевичем и Шурочкой в конце октября незабываемого 1949 года.

Я в это время находился далеко в Сибири и не мог, разумеется, быть очевидцем, но из подробного письма-отчета молодой супруги и последующих рассказов ее подруг так живо представил себе все происшедшее, что без особого труда берусь описать события, ярко характеризующие тревожное послевоенное время, для которого этот случай типичен.

В описываемый вечер моя Шурочка, Рита (дочь хозяев квартиры, где раньше жили Шура с девочками) и Готька отправились в кино.

Не знаю, какой фильм они смотрели, но по окончании сеанса молодой человек, как истинный рыцарь, пошел провожать девушек домой. Сначала решили отвести Риту, с которой Готлиб встречался и которая жила подальше, а затем направиться на Комсомольскую улицу к центру, куда переселилась Шура вместе с подружками после четвертого курса.

На Готлибе было новое, только что пошитое драповое пальто, которым он дорожил, как тетя Соня своей котиковой шубой. Он гордо вышагивал, задрав нос, по темной улице, ведя под руку двух девушек, рассказывая им были и небылицы, которыми тогда был наводнен город. Это были распространявшиеся слухи о разного рода шайках, якобы грабивших квартиры, раздевавших и убивавших прохожих.

Готька, насколько я его знал, был не из храброго десятка и рассказывал эти страсти спутницам, чтобы они как можно выше оценили его самоотверженный поступок — ночные проводы. Делая это, он одновременно стимулировал в себе отвагу, как храбрый заяц, суливший съесть волка.

Риту довели до дома благополучно.

Когда же наша оставшаяся пара свернула на Пушкинскую и направилась по аллее к Комсомольской, дорогу им преградили двое неизвестных. На плечах у одного из подошедших поверх одежды была накинута шинель, а у второго поблескивал пистолет.

Это были разбойники!!!

— Тихо, ни звука, — процедил сквозь зубы один из них, — раздевайтесь!

— А-а-а-а-а! — вдруг что есть мочи завопила Шурочка и бросилась бежать по аллее вдоль улицы.

На следующем квартале ее едва остановила группа прохожих. На их расспросы беглянка кое-как рассказала, что их с молодым человеком раздевали. Она указала рукой назад, где это происходило:

— Там... бандиты... с оружием!

Вдали на аллее, освещенной тусклым светом фонаря, едва различались фигуры троих мужчин, один из которых свое пальто подавал другому, а третий держал подававшего за руку. Это Готька отдавал свое новое пальто.

— Быстрее за мой,— скомандовал один их прохожих Шурочке. — Быстро за милиционером.

— А вы меня не тронете? — выбивая дробь зубами, спросила Шурочка. — Я боюсь.

— Не бойся, девушка, не обижу, — пообещал ей прохожий и взял за руку.

Он быстро зашагал по улице, ведя Шуру как на привязи за руку. Затем свернул в какой-то темный двор, постучал в окно полуподвального помещения. Ни живая, ни мертвая Шурочка стояла рядом и молча дрожала.

— Вася! Скорее вставай! Рядом грабят! — закричал Шурин спутник, продолжая барабанить по стеклу.

Чиркнула спичка, в комнате зажглась керосиновая лампа. Она осветила кровать, стол и стул, на спинке которого висела милицейская одежда. Буквально через минуту, затягиваясь на ходу ремнем, выбежал Вася.

Подхватив Шурочку, двое мужчин помчались ловить преступников. Но, когда они прибежали на место происшествия, грабителей и след простыл.

Готька, очевидно, почувствовав себя на холоде не совсем уютно, припустил домой налегке рысью или галопом.

Продолжать преследование преступников-грабителей было бессмысленно. Тогда Шурочка уцепилась за руки своих защитников и не отпускала до тех пор, пока они не доставили ее до самого порога и не передали из рук в руки изумленным подругам.

Бедную Шурочку после этого случая еще неоднократно вызывали следователи на допросы и опознание. Она даже стала знаменитостью и предметом всеобщего внимания и восхищения среди студентов медицинского института. Благодаря этому случаю Готлиб тоже стал известен. Он взалхел и с удовольствием рассказывал об этой истории, каждый раз прибавляя все новые и новые подробности, расписывая свою стойкость и мужество, тем самым хоть морально компенсируя свои материальные потери — драповое пальто и часы.

## **7. Дальняя дорога, или финиш**

Но все это было позже.

А пока?..

Пока: отгуляли свадьбу, отшумели зимние каникулы, моя молодая жена уехала продолжать учебу в Днепропетровск.

Я перебрался на квартиру к Шурочке, вернее, к ее родителям. Туда же в маленькую комнату, которую нам с женой выделили, перетащил свои конспекты, учебники, чертежные принадлежности и еще кой-какие шмотки, и принялся за работу над дипломом.

Тесть и теща в течение дня были на работе, меня никто не отвлекал, дело успешно продвигалось. Я старался опередить график и за счет сэкономленного времени мотался в Днепропетровск к Шурочке.

После таких вояжей дня для наверстывания потраченного времени уже не хватало, и приходилось мне наверстывать его по ночам, по поговорке: «Любишь кататься — люби и саночки возить».

Дипломная работа подходила к завершению. Из графических работ нужно было выполнить еще одну из самых хлопотливых и трудоемких: на большом листе ватмана нулевого формата начертить поточную линию с расстановкой металлорежущих станков.

Сложность заключалась в том, что подобранное по расчетам и технологическому процессу оборудование требовалось установить в таком порядке, чтобы деталь в процессе обработки последовательно двигалась в одном заданном направлении от станка к станку, от первой операции до последней, не возвращаясь и не пересекая поток, вплоть до поступления в готовом виде на промежуточный склад или сборку в узел.

Я рассчитал по трудоемкости каждую операцию и подобрал по типам, маркам и количеству необходимое технологическое оборудование. Потом вычертил каждый станок в масштабе на ватмане и вырезал ножницами эти проекции. Следующим делом было, соблюдая необходимые технические требования, расставить проекции станков на приколотом к доске большом листе ватмана по потоку.



Стол, на котором я работал, стоял у самого окна той самой маленькой комнатухи, где мы с Шурочкой провели наши медовые две недели...

Пришла весна.

Солнце уже чувствительно пригревало. Теплый воздух врывается в открытое окно, будоражил и бодрил обоняние ароматными запахами трав и первых цветов.

Я раскладывал на ватмане вырезанные модели станков вдоль поточной линии, делал шаг назад, чтобы лучше охватить взглядом весь технологический процесс и еще раз проверить правильность расчетов. Где расстановка станков не вызывала сомнений, я прикалывал макеты булавок.

Я так увлекся этой работой, что ничего не замечал вокруг. Не заметил я и того, как за моей спиной появилась Цили Львовна и с любопытством начала наблюдать над колдовством зятя перед доской. Когда все станки были расставлены по местам, я, наконец, разогнул спину, с удовольствием до хруста потянулся и в очередной раз сделал шаг назад, чтобы полюбоваться проделанной работой...

В этот момент из-за спины вдруг выскочила моя любимая теща и, как коршун, набросилась на несчастную муху, имевшую неосторожность сесть на ватман посреди моей поточной линии... Последовал молниеносный взмах и удар газетой по ватману, и, о ужас! От инстинктивного благородного порыва в воздух взлетели и назойливая муха, и вместе с ней — расставленные с такой кропотливостью макеты станков...

Этого потрясения я не выдержал.

Схватившись за голову руками, я со стоном попятился назад к противоположной стене и плюхнулся на кровать. А рядом со мной в полубоморочном состоянии и с возгласом «Что я наделала!» упала теща.

Разрушения, нанесенные заботливой рукой Цили Львовны, для меня были равносильны взрыву атомной бомбы над Нагасаки.

Весь вечер и всю ночь напролет я вел восстановительные работы, которые закончил только к полудню следующего дня.

И все-таки, какое это было счастливое время — время творческой работы над дипломом! Это было время бесконечных свиданий и разлук в личной жизни. Время творческих подъемов у чертежной доски и душевного подъема при встрече с любимой.

Мы с Шурочкой не могли надолго оставаться друг без друга, и даже не представляли себе, что впереди нас ждет длительная разлука. А судьба наша была уже предreshена. Немаловажную роль сыграл в ней мой незабвенный ректор — Бодзич.

Весной началось распределение молодых специалистов, будущих инженеров, по местам предстоящей работы.

Меня вызвали на комиссию среди первых, так как очередность соблюдалась в порядке успеваемости.

Когда я зашел в аудиторию, где заседала комиссия, то знал, что еще есть три места в Запорожье, два в Днепропетровск, десять в Калугу, два в подмосковный город Подольск и много мест на Алтай, Сибирь и Дальний Восток.

Я не претендовал на Запорожье, потому что у нас среди студентов были две беременные девчонки и один инвалид ВОВ и Сталинский стипендиат Витька Кошеваров, которые по праву должны были остаться работать в городе. Однако я все же надеялся на Днепропетровск, так как там училась моя жена. Комиссия должна была это учесть и по логике, — не следовало разлучать молодую семью.

Но Бодзич пренебрег предоставленными мною документами (может быть, и не посмотрел в них) и настоял, чтобы меня направили во Владивосток.

Вероломство ректора настолько поразило меня, что я категорически отказался расписываться под назначением и вышел из аудитории, нагрубив членам комиссии...

Следом за мной, взволнованный и растерянный, выскочил мой декан факультета Клепиков. Он отвел меня в сторону, попросил успокоиться и взять любое место, где нет медицинского института, чтобы потом перед Министерством высшего образования иметь мотивировку для отказа от назначения. Я долго не соглашался. Под конец Клепиков меня все же уговорил и пообещал составить для меня соответствующее письмо в Министерство. Мы с ним написали...

Но какое дело Министерству высшего образования и Министерству строительства, куда я получил направление, до одного из миллионной армии молодых специалистов, если даже «родной» институт не пошел ему навстречу? Наша переписка в конце концов привела к тому, что мне предложили поехать в Хабаровск или Красноярск, где есть мединституты, в которых жена могла бы продолжить учебу.

Так судьба меня связала с Сибирью.

Впоследствии по тому же пути, но добровольно, пошла моя младшая дочь. К слову сказать, ни я, ни моя дочь никогда об этом не жалели.

После распределения, уже в начале лета была успешная защита дипломного проекта (тут Бодзич ничего не мог поделать и предпринять). После защиты, в которую я вложил много энергии, как духовной, так и физической, я почувствовал себя как выжатый лимон — совершенно опустошенным.

После защиты меня поздравили декан факультета Клепиков, преподаватель технологии «Батя» и преподаватель-куратор Борис Лещинский. Они же предложили мне сдать начерталку и химию хотя бы на «хор.» (по этим предметам у меня стояли просто зачеты, так как я их проходил до войны), чтобы получить престижный «Красный диплом». Но мне после защиты и назначения было все совершенно безразлично, и для меня не имело значения, какой я получу диплом: красный, синий или серо-буро-малиновый.

Из всех поздравлений дороже всего для меня были поцелуи и цветы (преподнесенные теперь кстати) моей Шурочки.

Потом был выпускной бал и необыкновенное лето: мое и Шурочкино прощальное лето. Нам никто не был нужен. Мы были вдвоем, рядом, вместе. И это — главное.

Каждые сутки, проведенные вместе, доставляли радость. Наше счастье омрачалось лишь надвигающейся разлукой, о которой каждый из нас думал, но старался не подавать вида и не говорить другому, чтобы не испортить праздничной атмосферы продолжавшегося «медового» месяца, в которой мы — молодожены — пребывали.

Но всему есть начало и конец. Даже самому хорошему. Промчалось лето, и наступил день разлуки.

31 августа 1949 года я сел со своей молодой женой в автобус, следовавший из Запорожья в Днепропетровск. Доехал я с ней до 6-го поселка. Около плотины Днепрогэса мы последний раз, прижавшись друг к другу, горячо распрощались...

Автобус, набирая скорость, двинулся через плотину, а я стоял как вкопанный посреди асфальта и смотрел вслед...

В автобусе, прикинув к заднему стеклу лицом и обливаясь слезами, уезжала моя Шурочка, и вместе с ней обрывалась часть жизни на «Тропе», которую мы прошли вдвоем...

Через несколько дней я упаковал вещи и с дипломом инженера-механика направился в центр Сибири — Красноярск, начинать новую самостоятельную жизнь...

## Прошло семь лет

# Глава 12. Любимый город

## 1. Дома

Итак, мы возвращаемся, наконец, в Запорожье. Едем в город, где родился мой прадед, дед и отец, где родились я, жена и две мои девочки. Мы едем в мой самый любимый город на земном шаре. В дальнейшем мне предоставлялась возможность работать и жить в других городах, в том числе Киеве и Москве, но я не тщеславен, я однолюб и не хотел изменять своему городу.

Честно говоря, я не совсем понимаю тех людей, которым безразлично, где жить, которые без необходимых на то причин, ради карьеры, бросают и забывают свои родные города, переезжают туда, где можно побольше отхватить, обеспечить свое личное материальное благополучие. Мне кажется, если человек по-настоящему любит свой город, и он ему дорог, то должен беречь и отдавать своему городу всего себя, делать для него все, чтобы любимый город твой был богаче и краше. Только тогда тебе самому и живущим рядом с тобой людям будет в нем так хорошо и уютно, как нигде в другом месте.

Очень больно, больно и обидно за любимый город, когда я вижу, как его застраивают некрасивыми домами по безвкусным планам бездарных архитекторов, как его загрязняют по преступной халатности бессовестных руководителей. Как хочется защитить его от тупых и угодливых временщиков, думающих только о сегодняшнем дне и о себе, мнимых отцов, а, по сути, бездушных отчимов города, дорвавшихся до власти.

У каждого города должно быть свое лицо. Было оно и у Запорожья, свое, неповторимое. Ни в одном городе не было главной улицы — Соборной, похожей на нашу. С красивой, покрытой позолотой пятиглавой церковью. Не видел нигде я такой прекрасной дубовой рощи, как у нас в Запорожье. Ни один город не имеет под боком такого удивительного острова на реке, как наша Хортица, покрытая озерами и буйной реликтовой растительностью.

Повезло городу, что он стоит на Днепре, что имеет Днепрогэс. Живи, пользуйся!

Но не тут-то было.

Даже имевшиеся в городе памятные места постарались ликвидировать высокопоставленные «умельцы» из партийных лидеров.

Город стал безликим, как и все новостройки. Близнецом таких же уродливых, как и он, «детей хрущоб».

Был на главной улице в старой части города домик, в котором народоволец Желябов готовил покушения на царя. Это же исторический факт. Воспользуйтесь, сделайте в нем музей народовольцев. Ан нет! Этот домик в глубине двора разрушили, чтобы вместо него поставить овощной ларек! А недалеко от него, на построенном после войны трехэтажном доме на углу улиц Ленина и Тургенева, прикрепили мемориальную доску, напоминающую о том историческом событии. Фальсификация, да и только! Заровняли бульдозерами и заасфальтировали наши, протянувшиеся на несколько километров по главной улице города, несравненные зеленые аллеи, на которых по вечерам собиралась школьная и студенческая молодежь. Днем там, на скамейках в тени деревьев, отдыхали усталые путники, а по ночам ворковали влюбленные пары.

В прошедшем времени можно говорить теперь и о Дубовой, именно дубовой, а не тополиной и липовой, роще, которую омывал поросший плакучими ивами по берегам приток Днепра — речка Московка. Нашлись же горе-мелиораторы, которые по указанию отцов города ликвидировали один из ее рукавов, и вот результат: вода притока начала дренировать в почву, выступать на поверхность в непредвиденных местах, подтапливать роскошные столетние дубы, которые сгнили и повалились, а в погребах одноэтажных домиков, расположенных ранее вблизи Дубовой рощи на берегу Московки, появилась вода. Сама Московка превратилась в болото. Упал вместе с остальными дубами высоченный и знаменитый «Дуб Махно», на котором со времен Гражданской войны оставались вбитые в дерево колья, и где на вершине дуба располагался наблюдательный пункт.

И все-таки, к счастью, в Запорожье осталось еще много памятных мест из истории города.

Известные поэты, писатели, революционеры и другие выдающиеся личности посещали город и трудились в нем. Но наши власти не поставили им ни одного памятника. Опасаюсь, что пройдет какой-то отрезок времени и их имена забудут потомки. Страшно становится за город, у которого забыто и не чтится историческое прошлое. Такой город обречен на бесславное будущее. Став безликим, он лишится способности, не сможет воспитать патриотов Отечества своего.

И пусть простят меня уважаемые и почитаемые мною с раннего детства и по сей день вожди мирового пролетариата, — они совершенно не виноваты, — но их невежественные подбострастные последователи поставили памятники В.И. Ленину в городе на каждом шагу, а в сквере у кинотеатра им. Ленина воздвигли колоссальный гранитный монумент «железному Феликсу», хотя Дзержинский никогда в Запорожье не был...

На 6-м поселке установлен замечательный памятник В.И. Ленину. Он прекрасно вписывается в площадь и панораму Днепрогэса, названного именем вождя. Стоит один раз увидеть его, и этот памятник запомнится на всю жизнь, сплетаясь в сознании с детищем 1-й пятилетки. К чему же в городе ставить еще десятки худших памятников Ленину? Непонятно и безвкусно!

Раньше в сквере около Жовтневого РОВД на скромном постаменте стоял скромный, искусно выполненный талантливым скульптором бронзовый бюст Дзержинского. Его сохранили с довоенных времен. Зачем его сняли на улице Дзержинского и поставили на центральной улице вместо него рядом с кинотеатром им. Ленина огромный монумент, который плохо вписывается в окружающий интерьер? Объяснить невозможно! А ведь в кинотеатре им. Ленина выступал Владимир Маяковский, а в бывшем городском саду — Максим Горький... На этих и ближайших к ним местах нет даже бюстов поэта и писателя.

Нет в нашем городе достойных памятников Дробязко и Лепику. Нет и памятника рабочим, поднявшим в 1905 году восстание железнодорожников Южных мастерских. Нет многого такого, о чем мое поколение не знает, так как это замалчивалось. А ведь это наша история, история нашего города, которому уже более двухсот лет.

Многое уже навсегда погибло для потомков, но надо приложить немало усилий, а главное, вложить душу и сердце, чтобы сохранить то, что осталось, уберечь от забвения и разрушения,

если возможно — восстановить, чтобы Запорожье сделать красивым местом жизни, работы и отдыха тружеников.

И, может быть, тогда, по городу шагая,  
Дню, Солнцу снова буду радоваться я,  
И Улицам, что с детства знаю,  
И всем прохожим, встретившим меня!

Однако и теперь, при всех недостатках, я люблю свой город, как мать любит свое не совсем удачное, болезненное дитя: преданно и нежно, с болью в сердце.

\* \* \*

...Итак, мы едем в город Запорожье, до которого ровно 5.225 км пути и шесть суток тряски по железной дороге с пересадкой в Москве. Мы едем с детьми в купированном вагоне через Новосибирск — Омск — Свердловск — Челябинск — Москву — Курск — Харьков. В Омске, Москве и Харькове нас должны встречать родственники. За пятнадцать-двадцать минут стоянки поезда они успеют порассказать нам кучу новостей, потискать деток наших и нагрузить провизией до конца пути. В свою очередь, мы будем до самой Москвы одаривать встречающих красноярскими сувенирами, а дальше, до Запорожья, — московскими. Знакомая ситуация, потому что он повторялась несколько лет подряд, пока мы курсировали по маршруту Запорожье-Красноярск и обратно: вдвоем, втроем, и, наконец, вчетвером.

Надеюсь, что это наш последний, торжественный рейс из Сибири. Поэтому он кажется особенно значительным и приятным.

Мы едем домой, а за окнами вагона:

...Бегут, бегут пути-дороги,  
В полях зеленых цветут цветы,  
Река блестит, шумят пороги,  
Мелькают рощи, плывут сады.  
Бегут, бегут пути-дороги,  
На юг, на север, во все края.  
Несут, несут колеса-ноги,  
И всюду, всюду страна моя.

*С. Алымов «Пути-дороги».*

Москва нас встретила строго, торжественно. На зданиях висели траурные флаги. Столица прощалась со славным сыном польского народа, секретарем ПОРП Болеславом Берутом. Это печальное событие полутороговала Лялька при переезде в такси с Ярославского на Курский вокзал отметила по-своему. Она стучала кулачком в окошко машины и кричала изо всех сил:

— Ура! Ура! Ка-си-во!

Молодой шофер смущенно оглядывался, потом с улыбкой заметил:

— Деточка, не доводи нас до греха. Как бы мы с твоим «ура» не попали на Лубянку.

...Дорога от Москвы до Запорожья казалась особенно длинной. Считали каждую станцию и полустанок, каждый уходящий километр пути: Харьков, Лозовая, Павлоград, Синельниково, Софиевка... Я посадил в купе на столик Мариночку и Ляльку, сам с Шурочкой тоже прилип к стеклу... Поезд остановился у последнего семафора... пару минут постоял, испытывая наше терпение... и, пыхтя и отдуваясь, наконец, подкатил к первой платформе вокзала Запорожье-1.

Выйдя из вагона, наши дети прямо со ступенек попали в объятия бабушки Цили, тети Бэллы и двух дедушек...

Наскоро, кое-как перехватив с дороги, я помчался на ул. Жуковского, где жили родители с сестрой.

Бедная моя мама!

Она неподвижно лежала на кровати, и только глаза ее оставались такими же выразительными, лучистыми и быстрыми, как когда-то была она сама. Мама ждала меня.

Я никогда не видел ее такой беспомощной, похудевшей. Только сейчас я заметил, как она постарела и изменилась за те полтора года, что я не был в городе.

Я стал перед ее кроватью на колени, положил голову на постель и зарыдал. Мама гладила мою голову левой рукой, как могла, успокаивала. Я слушал ее не совсем еще внятную речь и еще больше расстраивался. Спазмы сжимали горло. Только сейчас с новой силой я почувствовал, как дорога для меня была самая родная, моя самая лучшая на свете Мама.

Сколько своего здоровья она отдала ради того, чтобы был жив-здоров я — ее сын?

Все познается в сравнении.

Этого не замечаешь, пока сам не становишься отцом семейства. Забота родителей до этого периода воспринимается как нечто само собой разумеющееся, должное, пока сам не ощутишь отцовский долг перед своим собственным подрастающим поколением. И все равно, каждое поколение остается в неоплатном долгу (за редким исключением) перед своими родителями.

К этой мысли я возвращаюсь бесконечно, причем с годами все чаще и чаще, особенно с тех пор, как стал дедом.

Кажется, случись такое чудо, чтобы жизнь повторилась сначала, я бы по отношению к родителям вел бы себя иначе: был бы во всем послушен им, забегал бы все пути-дороги, чтобы предупредить их желания и заботы.

Родная моя. Мамочка!

Чем я мог помочь тебе в то время, Мама?

Мама лежала худая, неподвижная, но счастливая, потому что ее сын, любимая невестка и внуки приехали, наконец, домой и уже никуда от нее не уедут...

А на дворе стояла весна.

Она врывалась в мамину комнату, вливая в ее ослабевшее тело надежду, радость и счастье. Больная с помощью сестры, отца и меня приподнималась, садилась на постели, даже пыталась ходить. Она очень старательно это делала, но без посторонней помощи ей это не удавалось. Мы ее приподнимали и потихоньку водили. Она изо всех сил старалась, но быстро уставала и обессилено падала на кровать.

Чем я мог помочь тебе, Мама?

Я задаю себе этот вопрос по сей день, несмотря на то, что уже больше двадцати лет прошло, как нет моей мамы, и я сам достиг возраста, в котором была она, когда мы вернулись из Сибири и застали ее парализованной.

Задаю вопрос и не нахожу ответа. Очевидно, не найду его никогда.

Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Скольких же нервных клеток стоили маме разлуки со мной: четыре года Великой Отечественной войны без переписки и семь лет моей работы в Сибири. А мои бесконечные болезни в детстве, а по окончании войны — брюшной тиф? Странно, я считал себя уже взрослым мужчиной, а для нее я был по-прежнему ребенком: ее Марочкой, Маросей.

Я написал здесь, что если бы все повторилось сначала, то был бы во всем послушен родителям. Это не совсем так. Думаю, что все равно бы ушел на фронт по призыву и уехал бы хоть на край света по направлению, так как не привык увиливать и хитрить. Не позволяли дисциплина и совесть, привитые мне с пеленок родителями. Я всегда поступал по велению совести, и не уверен, был бы я так дорог маме и отцу, если бы поступил иначе.

Родная, чем я мог тебе тогда помочь? Неужели я чего-то тогда не сделал или сделал не так, как надо было?

Чем я мог помочь тебе, Мама?

Кто мне может дать на это ответ?

Душа болит, а ответа не находит...

## **2. Мытарства первых месяцев**

Вначале я чувствовал себя отпускников и гостем Запорожья. Потом ощутил беспокойство, так как отпуск непомерно затянулся...

Шуру моментально приняли на работу, с радостью, в детское поликлиническое объединение, где уже работали Белла Тонконог и Лиля Рискина. Я же не мог устроиться без трудовой книжки.

Началась мучительная переписка с Красноярском. Сытников мне не отвечал, а Абовский Владимир Петрович (к тому времени уже главный инженер треста) слал мне телеграммы, чтобы я не дурил и немедленно возвращался. Мои письма и хорошие отношения с Абовским мало действовали. Я отчаялся, так как сидел дармоедом на шее у своей жены и Шуриных родителей. Не знал, как выйти из этого дикого положения. Мне было стыдно: работали жена, теща, а я — здоровый — бездельничал. Даже дети ходили в садик, были при деле, а я без трудовой книжки ел, спал, писал письма, слал телеграммы в Красноярск, ждал ответы и читал «Роман-газеты».

Бесконечные необоснованные отказы мне настолько надоели, что я не выдержал и, будь что будет, собрал пачку копий своих писем, заявлений, отказов и резолюций на них и нап्रा-

вился в юридическую консультацию. Попал к молодому симпатичному человеку по фамилии Харченко. Он взял мою пачку документов, тщательно изучил эти бумаги, снял необходимые копии, написал к ним сопроводительное письмо и отправил в Стройтрест №47. Мне же сказал, чтобы я не беспокоился, так как в своих действиях я абсолютно прав, законы не нарушил и трудовую книжку получу, безусловно.

Надо же такому случиться: письмо Харченко, очевидно, было еще в пути, когда вышел Указ Верховного Совета СССР о предоставлении права трудящимся на увольнение с предприятия в течение двух недель после подачи заявления.

Вскоре я получил телеграмму из Красноярска о том, что трудовая книжка в мой адрес отправлена ценным письмом. Неделью спустя прибыла и сама долгожданная книжка.

Наконец мои руки были развязаны, я мог действовать дальше.

Между прочим, любопытная деталь.

За юриста Харченко я в том же году с удовольствием отдал свой голос, когда его выбрали в Народные судьи Жовтневого района города. И еще. Примерно через год мы с Харченко встретились и окончательно познакомились на вечере в детской поликлинике по случаю празднования Международного женского дня 8 Марта. Оказалось, что жена Харченко Электрина Францевна Акулова работает вместе с моей Шурочкой в поликлинике.

Теперь в принципе, имея на руках трудовую книжку, я мог быстро найти работу. Но мне нужна была еще и квартира, так как на площади в двадцать пять квадратных метров четверем взрослым с двумя детьми было тесновато.

Я не представлял себе, что в Запорожье жилищную проблему решить очень трудно и сложно. Поэтому был в отношении работы и жилья настроен весьма оптимистично. Прежде всего составил для себя список предприятий города, для которых строятся дома и которые более или менее хорошо удовлетворяют своих работников жилплощадью. Таких было несколько, не так много.

Между прочим, в 1956 году начали возвращаться в город, после выхода в свет «Указа», многие ребята, окончившие со мной одновременно или несколько позже институт сельхозмашиностроения, подхваченные в свое время волной хрущевской сельхозэпопеи и попавшие в МТСы области. Вернулся в Запорожье из Караганды после долгих странствий Шурочкин соученик-одноклассник по 4-й школе Леня Фукс. Так, волею судеб, сошлись в поисках работы и квартир три искателя счастья: Леня Фукс, Жора Иванюта и я. Мы не были между собой конкурирующими «фирмами», так как имели разные специальности: Леня — строитель-конструктор; Жорка — литейщик. Я — технолог по холодной обработке металлов, а на практике механик по строительным машинам и оборудованию.

Наша троица обычно с вечера намечала место встречи и очередность маршрутов, а утром сходилась и начинала действовать.

Мы побывали на многих заводах, в том числе на трансформаторном и титаномagneином, где жилищная проблема решалась наиболее благополучно. С каждым днем в нашем списке оставалось все меньше и меньше невычеркнутых предприятий, а положительных результатов и предложений мы не получали. Нигде нас не ждали, поскольку город буквально наводнился за непродолжительное время после «Указа» прибывающими кадрами специалистов-ИТРовцев любых специальностей. Речь пошла уже не о работе с квартирой, а просто о нормальной приличной работе...

Наше звено распалось.

Решили искать работу самостоятельно, одновременно зондируя почву для двоих других.

В моем списке из предприятий, обеспеченных жильем, осталось два: абразивный комбинат, заканчивающий строительство большого пятиэтажного дома около театра им. Щорса, и строящийся кирпично-черепичный завод, для которого вот-вот строители должны были сдать дом на углу улиц Дзержинского и Красногвардейской. Поехал на абразивный завод.

Мой одноклассник по школе — Шура Мозенсон, работавший на этом заводе и живший в заводском доме, характеризовал мне абразивный и его директора Петра Мартыновича Решетняка с самой отрицательной стороны. По описанию Шурки, директор был деспотичным самодуром, державшим инженерные кадры в ежовых рукавицах и менявшим их, как перчатки. Напрашивался вывод, что с Решетняком сработаться почти невозможно. Но куда мне было деваться в сложившейся ситуации? Я решил рискнуть.

И вот я стою в огромном кабинете, на ковре перед грозным директором. Стараюсь держаться независимо, смотрю ему прямо в глаза. Говорю коротко, четко формулируя мысли.

Кстати, я пришел к выводу во время поисков работы, что ни в коем случае в разговоре с начальством нельзя допускать многословие, заискивание и просьбы о сочувствии. Главное, вести себя с достоинством, но не нахально.

Решетняк взял мою трудовую книжку. Рассматривая ее, удовлетворенно замурлыкал, задал несколько вопросов (в том числе о жилье), потом вызвал главного инженера Вуколова, а меня попросил подождать в приемной. О чем у них шла беседа — не знаю, но, когда минут через пятнадцать меня вызвали, директор спросил: согласен ли я работать у них в качестве заместителя главного механика комбината. Спокойно, без каких-либо эмоций я ответил, что не возражаю, если получу двухкомнатную квартиру.

Привыкший к безропотной покорности подчиненных, Петр Мартынович зыркнул на меня зверем, но сдержался и спокойно прорычал:

— В октябре строители сдадут нам дом около театра им. Щорса. Там получишь квартиру.

Решетняк оставил у себя трудовую книжку, дал мне провожатого для ознакомления с заводом, после чего велел снова зайти.

Дипломатические переговоры на высшем уровне закончились. Надо сказать, они меня утомили. Я с нескрываемым облегчением покинул кабинет «волка на троне» и пошел на территорию завода. Последовательно прошел по всей технологической цепи производства абразивного порошка и изделий, посетил ремонтно-механический цех и другие вспомогательные службы. В общем, завод мне понравился, но смущало то обстоятельство, что износ технологического оборудования здесь был колоссальным. Мехцех не успевал делать ремонт своими силами, запасных частей не хватало. Простой технологических частей захлестывали, план не выполнялся. Механиков ругали все, кому не лень, а помочь им никто не мог и не хотел.

Об этом мне чистосердечно в процессе ознакомления рассказал провожатый, который оказался заместителем главного механика завода. Этот не старый еще, симпатичный человек болезненного вида уходил с завода по инвалидности, так как за время продолжительной работы в абразивной промышленности успел приобрести силикоз. Он не видел во мне конкурента, отнесся ко мне очень доброжелательно, и я поверил всем словам, заключениям и характеристикам сопровождающего.

Ознакомившись с заводом, я зашел, как договорились, к директору. Решетняк спросил:

— Ну, как?

На его вопрос я, не кривя душой, ответил:

— Завод мне понравился, но для механика здесь очень тяжелый участок работы.

— Тогда садись, пиши заявление. Я уже дал команду подготовить проект приказа о твоём назначении.

Скоропалительные действия директора меня насторожили. Я взял свою трудовую книжку и попросил Петра Мартыновича подождать пару дней, не подписывать приказ.

— Хорошо, приходи через два дня, не позже. Без твоего заявления я приказ не подпишу.

Мои опасения относительно поспешности действий грозного директора, как я впоследствии убедился, были не напрасными. Ровно через пару недель (я уже работал в другом месте) ко мне пришел устраиваться на работу главный механик абразивного завода Дулепов, окончательно рассорившийся с Решетняком.

Думаю, что уважаемый Петр Мартынович предвидел заранее такой исход, и, очевидно, моей персоной хотел хоть как-то закрыть временно образовавшуюся брешь.

Но есть Бог на свете!

Оставив приказ в проекте, я поехал на строящийся кирпично-черепичный завод, — последнее числившееся в моем списке предприятие, которое могло бы обеспечить жильем своих работников.

Директор был занят — не принимал. Я решил зайти к главному инженеру.

За столом сидел пожилой человек, показавшийся мне с первого взгляда знакомым. Он жестом предложил мне сесть, продолжая с кем-то говорить по телефону. Чем больше я смотрел на этого сидящего человека, тем больше убеждался, что я его уже когда-то знал, причем довольно близко.

— Я вас слушаю, — услышал я, напряженно разглядывая главного, а он положил трубку на рычаг и тоже в свою очередь начал в меня вглядываться.

Я сказал, что пришел устраиваться на работу. Когда упомянул, что прибыл из Красноярска, где трудился в Стройтресте №47, он подскочил в кресле, губы его расплылись в улыбке:

— То-то я смотрю, что мы с вами где-то встречались!

Он по-приятельски пожал мне руку.

Разговор с темы о трудоустройстве мгновенно переключился на воспоминания о совместных знакомых. Мы могли так проговорить до бесконечности, так как мне дороги были эти воспоминания как начало, первые шаги трудовой деятельности, а главный прожил там тяжелейшие годы войны, налаживая производство кирпича в Сибири. Наши воспоминания прервал вызов Аношкина к директору... Да, это был Николай Егорович Аношкин, — умница, толковый человек, выпивоха и балагур, оставивший о себе легенды и многочисленные рассказы в Стройтресте № 47. Он выехал из Красноярска через пару месяцев после моего прибытия туда.

Эта встреча для меня была подарком судьбы после многочисленных мытарств.

Николай Егорович попросил подождать в кабинете, взял мою трудовую книжку и направился к директору. Через полчаса Аношкин появился. С огорчением он сообщил, что место главного механика завода уже забронировано для молодого специалиста, которого ждут на днях из Киева. Остальные должности механиков тоже заняты. Николай Егорович явно хотел мне помочь. Он почесал затылок, задумался, потом сказал:

— Давайте вот что сделаем, — и он изложил мне только что созревший в его голове план действий.

В дом кирпично-черепичного завода, который на днях будет полностью принят, должен переехать из Киева трест «Укрнерудпром». По приказу Министра стройматериалов УССР кирпично-черепичный завод (КЧЗ) обязан предоставить этому тресту первый этаж дома для временного размещения Управления и четыре квартиры для будущих его работников. Завтра должен прибыть в Запорожье для решения организационных вопросов управляющий трестом «Укрнерудпром» Савченко Иван Иванович. С ним Аношкин предложил меня познакомить.

— Это, к сожалению, все, что я могу для вас сделать, — закончил он.

Но и это было немало.

На следующий день я встретился в назначенное время с Аношкиным и Савченко. Наши переговоры были недолгими. Через полчаса мы с Савченко пожали друг другу руки, и я пошел докладывать родным, что принят на работу в трест «Укрнерудпром» на должность главного механика и что мне обещана двухкомнатная квартира в доме, отстоящем от дома Шурочкиных родителей не более чем на два квартала.

Что собой представляет трест «Укрнерудпром» я догадывался, но смутно. По описанию Аношкина понял, что эта организация, объединившая 20 или 22 больших и малых горных предприятий восточной Украины, занимается добычей и переработкой песка, каолина, пегматита, гранита и других нерудных полезных ископаемых. С подобными карьерами и заводами мне приходилось иметь дело в Красноярске...

Позже состоялось мое второе свидание с управляющим трестом.

Иван Иванович Савченко торопился в Киев. Он должен был подписать акт приемки дел и вместе с начальником отдела кадров перевезти из Киева библиотеку, техдокументацию и архив Киевского треста «Укрнерудпром» в Запорожье.

Через неделю предполагалось заселение дома КЧЗ (его второй половины), поэтому Савченко перед отъездом представил меня директору подчиненного тресту Передаточнинского карьероуправления Трифонову Виктору Николаевичу и просил нас проследить за тем, чтобы никто не занял предназначенные для треста четыре квартиры. Кроме того, поручил мне побережь от самозахвата (в то время это практиковалось сплошь и рядом) его квартиру под №67. Он также добавил, что я могу занимать любую из трех оставшихся квартир на свое усмотрение.

Так я облюбовал себе на втором этаже двухкомнатную квартиру и 5 августа 1956 года с помощью Трифонова Виктора Николаевича врезал замок в дверь квартиры №80.

А 6 августа в день рождения Шурочки преподнес милой женушке вместо подарка ключи от квартиры, в которой, увы, ни мебели, ни денег не было и в помине.

История с моим устройством на работу и получением квартиры моментально облетела всех знакомых города и на какое-то время стала сенсацией. Я же не видел в этом ничего необычного и воспринимал как естественную дань за мои терпеливые ожидания и мытарства.

Вскоре устроились и тоже получили квартиры мои друзья из троицы по поискам работы и жилья. Леня Фукс поступил в проектный институт «Промстройпроект», а Жора Иванюта пошел в научно-исследовательский отдел Титаномagneйного комбината.

Так я окончательно обосновался в своем родном городе...



### 3. Республиканский трест «Укрнерудпром»

Итак, управляющий трестом Савченко Иван Иванович и начальник отдела кадров Секретарев Иван Тихонович уехали в Киев, оставив меня и секретаря-машинистку Таисию Подлесную на хозяйстве. Виктор Николаевич Трифонов завез мебель, провел телефон, снабдил меня и Тасю машинкой и канцпринадлежностями.

Первым делом я съездил к Виктору Николаевичу ознакомиться с Передаточнинским карьероуправлением.

Труд на предприятии был мало механизирован. Бутовый камень добывался вручную. По карьеру, опутанному сетью узкоколейных линий, из конца в конец туда и обратно сновали небольшие составы коппелевских вагонеток, наполненных камнем, которые тащили послушные лошади. Там, в котловане, с кувалдами в руках трудились здоровые, раздетые до пояса, загорелые, сверкающие на солнце потными телами атлеты — бутоломы.

В общем, предприятие, которое я увидел, — ни дать, ни взять каменоломни, копи, сохранившиеся со времен Римской империи.

И только на добыче горной массы для щебенки можно было убедиться, что мы находимся на предприятии середины XX века. Здесь в забоях работали скальные экскаваторы, которые грузили взорванную горную массу на самосвалы. Масса поступала на дробильно-сортировочные заводы, где дробилась, рассеивалась по фракциям и опять же более мелкими экскаваторами или транспортерами грузилась в железнодорожные вагоны. На производстве щебня была задействована техника. Хотя и маломощная, но все-таки это была техника на уровне того послевоенного времени.

За Трифоновым была закреплена легковая машина «Победа». На ней я поехал знакомиться с более отдаленной группой запорожских карьеров. Все они располагались друг за другом по течению реки Мокрая Московка и назывались поэтому Мокрянскими. Гранит здесь залегал неглубоко, в некоторых местах даже выходил на поверхность.

Предприятий, добывающих гранит, в Запорожской области было много. В основном это были мелкие, мало механизированные, подчиненные различным министерствам и ведомствам, занимавшимся строительством, карьеры. Теперь, в связи с созданием Министерства Стройматериалов УССР, все эти малые хозяйства объединялись под одной эгидой в Республиканский трест «Укрнерудпром». Кроме Запорожской области, в подчинение треста поступали такого же рода предприятия всех областей восточной Украины.

Даже самые передовые из этих предприятий необходимо было развивать и реконструировать, доводить до современного индустриального уровня. Когда я объезжал их для ознакомления, некоторые технологические линии по различным причинам стояли, а мастера в это время вместе с рабочими около буфетов и столовых точили лясы, хлестали водку и пиво, должно быть, по привычке потеряв надежду, что до конца смены завод будет пущен в работу.

Мое возмущение таким положением дел вызывало удивление у местных руководителей. Оказывается, такие целодневные простои и сопровождавшие их пьянки были обычным явлением. К этому привыкли, как к само собой разумеющемуся и неизбежному факту.

Начал разбираться в причинах остановок. Основной причиной колоссальных простоев была слабая энергетическая база с неустойчивым электроснабжением. Затем следовало: маломощное оборудование, не соответствовавшее условиям работы на горных предприятиях; отсутствие ремонтной базы и никудышнее, стихийное самоснабжение запчастями и материалами.

Поголовная пьянка — это было следствие. Ее можно было устранить и полностью ликвидировать только после устранения вышеперечисленных основных причин простоя.

Вот какие выводы я для себя сделал и доложил о них управляющему трестом Савченко Ивану Ивановичу, когда он вернулся из Киева.

Еще до его приезда я решил собрать сведения о техническом оснащении предприятий. Для этого у Трифонова взял адреса предприятий, написал всем письма, а Тася отпечатала и отправила их. В письмах предлагалось по определенной схеме составить перечень имеющихся механизмов и машин, их состояние и краткую техническую характеристику. Получив ответы, я хотя бы приблизительно представил себе, чем располагают предприятия, какой техникой, на что можно опереться и с чего начинать в дальнейшем деятельность треста вообще и мою, как главного механика и энергетика, в частности.

Из Киева Савченко приехал не один. С ним прибыл представитель ЦК КПУ для оказания помощи в организации треста.

Через некоторое время начали поступать кадры управления. Кроме меня, Таси и Секретарева, появились: главный инженер — Супотницкий Михаил Семенович; начальник производственно-технического отдела Шак Алексей Федорович; начальник отдела снабжения Козиев Сергей Васильевич; начальник планового отдела Божко Степан Титович; главный бухгалтер Беспятый Анатолий Федорович; инженер ПТО Недобывайло Евгения Федоровна и другие товарищи.

Коллектив образовался в основном молодой, особенно в ПОТ, куда входили инженеры по труду и зарплате, по маркшейдерии, по технике безопасности, по новой технике и рационализации и т.д. Кстати, первое время главный механик (он же главный энергетик) тоже входил в состав ПТО.

Самым пожилым в тресте был Божко Степан Титович, но наш плановик стариком себя не считал, старался не ударить лицом в грязь, занимался спортом, небезуспешно ухаживал за девицами. На одной из них, особе на сорок лет моложе себя, впоследствии женился и показал себя мужчиной и джентльменом.

Штатное расписание управленческого аппарата треста было весьма ограничено, оклады тоже. Даже по тем временам они были низкими. Так, например, у управляющего трестом без персональной надбавки оклад по штатному расписанию составлял 1200 рублей. Но, несмотря на эти недостатки, коллектив в тресте собрался дружный, веселый и работоспособный.

Нас не стесняли ни оклады, ни неудобства во временном полуподвальном помещении, ни отсутствие красивых столов и телефонных аппаратов, ни то, что в тресте не было своего автотранспорта. У нас было главное: здоровье, молодость, опыт, знания, много энергии и место ее приложения. На работу я ходил, как на праздник. Каждый день приносил радость победы над трудностями.

Мне шел в ту пору тридцать четвертый год, а нашему управляющему едва исполнилось сорок. Я уже поднабрался производственного опыта, цель и программа действий были ясны. По крайней мере, по запорожской группе предприятий я твердо знал что нужно и в какой последовательности делать и с благословения Савченко И.И. приступил к осуществлению своих планов.

#### **4. Кругосветное путешествие республиканского масштаба**

Я уже писал ранее, что в состав треста «Укрнерудпром» вошли предприятия из нескольких областей юго-восточной и восточной Украины: Запорожской, Днепропетровской, Ворошиловградской, Донецкой, Херсонской и Николаевской. С предприятиями Запорожской области и их проблемами я на первых порах уже успел ознакомиться. Поэтому, когда Савченко приехал в период организации треста из Киева, я доложил ему свои впечатления и выводы по этой группе предприятий и... отправился в длительное путешествие по остальным областям.

Начал я свой маршрут с *Днепропетровской области*.

Первым на моем пути лежал Токовский КДЗ. Этот завод, как и Янцевский КДЗ в Запорожье, занимался в основном изготовлением гранитных изделий: катков, валов, жерновов, бордюров, облицовочных плит, подов травильных ванн, памятников и т.д. Гранит на Токовском КДЗ, в отличие от светло- и темно-серого янцевского, был розового и темно-красного цвета с черными вкраплениями и прожилками. После полировки его трудно было отличить от красивейших образцов мрамора. Множество известнейших памятников архитектуры украшает токовский гранит, в том числе Московский метрополитен на станциях «Площадь Революции», «Маяковского» и т.д.

Едва я успел ознакомиться с этим карьером, обойти все службы и записать в блокнот вопросы для последующего решения, как меня позвали в контору. Звонил Иван Иванович Савченко из Запорожья. Он дал указание мне покинуть Ток и немедленно выехать на Просяновский каолиновый комбинат, где вышла из строя паровая турбина.

Для каолинового комбината остановка турбины была равносильна крупнейшей катастрофе, так как она являлась основным и единственным источником электроснабжения комбината и его жилого поселка.

Имелся, правда, на Просяной небольшой движок с генератором, но на нем можно было только поддерживать аварийное освещение, не больше.

Я направлялся для оказания помощи в ликвидации аварии, — ни больше, ни меньше.

Ну и нелегкую задачу поставил передо мной управляющий трестом, если учесть, что с турбинами, тем более с паровыми, я никогда не имел дела! Но разве мог я ему об этом сказать на первом этапе совместной работы? Я даже не знал устройства паровых турбин, поэтому по-

просил у главного инженера Токовского КДЗ Панича какую-нибудь техническую литературу по электро- и теплоснабжению. Ничего специального по теплотехнике на карьере не оказалось. Пришлось воспользоваться энциклопедическим справочником «Машиностроение», где в XIII томе я нашел раздел о конструировании паровых турбин.

Проштудировав за ночь все, что можно было, об устройстве паровых турбин отечественного производства, я утром взял железнодорожный билет от станции Апостолово до станции Чаплино и отбыл прямым сообщением мимо ст. Запорожье-2 на Просяную ликвидировать аварию.

Я приехал на комбинат одновременно с представителем Ленинградского завода ЛМЗ — изготовителем турбин. Не заходя в гостиницу, мы направились на электростанцию.

Это было большое здание, состоящее из нескольких разделенных брандмауэрными стенами помещений. В первом, самом высоком и обширном, находилась котельная с двумя паровыми котлами английской фирмы «Фостер-Уилер», во втором была установлена турбина (сначала английская, впоследствии замененная отечественной), генератор и аварийный движок; в третьем помещалась трансформаторная подстанция с распределительным устройством. Между прочим, Просяновский каолиновый комбинат получил от фирмы «Фостер-Уилер» котлы вместе с турбиной и генератором сразу же после войны. Однако из-за отсутствия необходимых смазочных материалов и должного ухода турбина через десять лет эксплуатации вышла из строя и была заменена на отечественную — ленинградскую.

С новым турбогенератором что-то не заладилось с первых же дней, несмотря на то, что монтировали и пускали его наладчики завода-изготовителя. То заклинивало подшипники, то приходилось менять диски с лопатками.

Начальник электростанции, старый и опытный специалист Степан Сергеевич Олейник (отчим нашего управляющего), рассказал мне, что турбина английской фирмы была меньше по размерам, изящнее, но более мощной, чем ленинградская. Я не застал этот отработавший образец, увезли куда-то на ЛМЗ, возможно, для изучения. Но, судя по котлам зарубежной фирмы, равным по мощности нашим ДКВР-6,5/13, можно было судить и о габаритах английского турбогенератора.

С котлами мне приходилось иметь дело еще в Сибири. Я их неплохо знал, поэтому котлы фирмы «Фостер-Уилер» очаровали меня своей безупречностью в работе и миниатюрностью в габаритах. Они были игрушечными по сравнению с нашими ДКВР, изготовленными как будто из-под топора Таганрогским котельно-механическим заводом.

Между прочим, в инструкции фирмы, приложенной к электростанции, я прочел любопытную запись: «...Начальником котельной может быть человек без высшего или среднего образования, но обязательно любящий технику и неукоснительно соблюдающий дисциплину эксплуатации котлов».

Прочитав эти слова несколько раз, я подумал: «Действительно, сколько аварий возникает у нас из-за нарушений технологической дисциплины и расхлябанности безответственных разгильдяев, независимо от того, имеют или не имеют они диплом инженера!»

Трое суток провозился я вместе с представителем из Ленинграда, начальником электростанции и рабочими около турбины, пока удалось ее запустить на полную мощность.

За это время я многому научился: менять лопатки, балансировать ротор, прослушивать стетоскопом и определять правильность работы подшипников турбины и т.д.

Правда, надо признаться, что в первый день я не различал многих тонкостей. У меня получалось, как у молодого врача-интерна, который, в отличие от опытного, старательно прикладывает к груди больного фонендоскоп, но слышит только характерные грубые хрипы, а крепитацию еще не различает.

Пробыв еще неделю на комбинате, ознакомившись с технологией производства каолина, взяв на заметку кое-какие вопросы и заодно убедившись, что электростанция начала устойчиво давать электроэнергию, я буквально обскакал остальные предприятия Днепропетровской области и вернулся в Запорожье.

После небольшого перерыва я вновь отправился продолжать прерванное путешествие по нашим южным «владениям». Маршрут пролегал через Кировоград — Херсон — Николаев.

Особенно меня интересовала *Николаевская область*, где издавна добывали гранит. Так называемая Украинская гранитная гряда, протянувшаяся с востока на запад через всю область, породила здесь множество карьеров, промышленная разработка которых относится к екатерининским временам.

Добычу гранита для мощения дорог, изготовления катков и мельничных жерновов в Николаевской области начали вести английская и прочие концессии в начале XVIII века. Особый

толчок развитию каменоломен дало строительство Одессы. Тогда наместник царя на юге Украины граф Воронцов организовал промышленную добычу гранита в селе Александровка Вознесенского района. Это преобразило жизнь и судьбу села, породило новый класс — мастеровых-каменотесов. Гранитные блоки и тщательно обработанная брусчатка грузились в Александровке на баржи и по Южному Бугу сплавлялись к Черному морю, а оттуда попадали в г. Одессу и ложились навеки в ступени Потемкинской лестницы, гранитную набережную, мостовые города. Некоторые из каменоломен Николаевщины с тех давних времен дожили до наших дней. Переходя из рук в руки, от одних хозяев к другим, из одной организации в другую, некоторые карьеры были закрыты, другие объединились в кооперативы и при Советской власти стали механизированными, специализировались на добыче и производстве бута и щебня. Эти сохранившиеся предприятия после войны вошли в состав нерудной промышленности республиканского подчинения, стали ее костью.

На *Кировоградщине* я столкнулся с еще одним разнообразием гранита, — розовым Капустянским гранитом необычайной красоты. Господи! Сколько же цветов и оттенков имеет гранит! Как богата природа! Какие сказочные дворцы можно построить из созданного ею материала!

Пребывая здесь, я ознакомился с Ново-Даниловским КДЗ, откуда прибыл наш главный инженер, Александровским КДЗ и направился в город Первомайск. Этот небольшой провинциальный городок с населением в 80 тысяч человек стоит на слиянии рек Синюха и Южный Буг. Он разделен этими реками как бы на три части: казачью, польскую и турецкую. Так исторически сложилась судьба этого городка. Его жители мне рассказывали, что их предки когда-то в месте слияния рек построили башенку, на которой установили флюгер в виде петуха, певшего якобы на три губернии.

При Советской власти три поселка из разных губерний на торжественном собрании, которое проводил Михаил Иванович Калинин, были объединены в один городок, названный Первомайском. Названия бывших поселков и по сей день сохранились и напоминают, что Орлик — казачья сторона, Болеславчик — польская, а Голта — турецкая.

В Первомайске велись разработки гранита на трех карьерах, расположенных в Орлике, Болеславчике и Голте. Ни один из них ничем не отличался от таких же мелких собратьев, какими были карьеры на Николаевщине, Кировоградщине и Херсонщине.

Посещение многочисленных карьеров упомянутых областей не доставило мне никакого удовольствия, так как над ними, их реконструкцией и усовершенствованием предстояло работать и работать. Я получил разве что эстетическое наслаждение от разнообразия и пестроты цветов природы и гранита. В остальном здесь была такая же картина, как и на запорожских предприятиях, даже кое-где значительно хуже. Я с трудом представлял себе, как можно будет в ближайшее время привести их в порядок при наличных у треста ресурсах. Да, для этого требовались большие затраты средств и времени. А где добыть такие средства? Кто пожертвует их, и нужно ли развивать такие предприятия вообще? Деньги для развития нерудной промышленности могут выделить только в том случае, если гранит этих предприятий понадобится для большихстроек в близлежащих районах. Таковых здесь пока не предвиделось. Поэтому я пришел к выводу, что мелкие предприятия надо или объединить в более крупные, или ликвидировать. Объединение мелких необходимо было произвести хотя бы для того, чтобы сконцентрировать, а не распылять имеющиеся скудные ресурсы.

С таким мнением я прибыл в трест после поездки по южным «владениям».

*Донецкая область.* И на этот раз я недолго просидел в Запорожье. Привел в порядок свои заметки, впечатления о поездке, уточнил имеющийся перечень основных средств, схемы технологических линий, энергоресурсы и отбыл в очередное ознакомительное путешествие. Теперь предстояло посетить восточные области Украины: Донецкую и Луганскую (Ворошиловградскую). Там у нас размещались Каранское, Кальчикское, Еленовское и Бугаевское карьероуправления: небольшие, но более или менее механизированные предприятия, производившие щебень и бутовый камень.

В этом регионе Украины, в отличие от остальных, особенно южного, за счет развития угольной промышленности быстро набирала темпы строительная индустрия. Для вырастающих как грибы шахт, заводов и жилых поселков Донецкому бассейну требовался гранитный щебень. Поэтому на базе мелких карьеров и установок проектировались новые и уже строились в поселках Бугаевка и Еленовка дробильно-сортировочные заводы мощностью по 400 — 500 тыс. кубометров щебня и 150 — 200 тыс. кубометров бута в год. По тем временам эти заводы для нерудной промышленности считались крупными. Однако Министерство промстройматериалов УССР было слабым заказчиком. Ресурсы, которыми оно располагало, в первую очередь шли

на комплектацию и развитие цементных и стекольных заводов. На карьеры попадали лишь крохи с министерского стола, не более...

Прибыв в Еленовское карьероуправление я обнаружил неутешительную картину: с грехом пополам достраивающийся КДЗ не укомплектован металлом, кабельно-проводниковой и резино-технической продукцией, не хватает грохотов и конвейеров для завершения технологической линии и самосвалов для перевозки горной массы из забоя на завод. Донбассэнерго не дает разрешение на подключение трансформаторной подстанции (ТП) без статических конденсаторов. Все это было только у богатых соседей — Министерства угольной промышленности. Однако своя рубашка ближе к телу, поэтому все упиралось в железобетонный ведомственный барьер. Угольщики из своих запасов ничего не давали, — вдруг когда-то понадобится самим...

Много неувязок было и с проектантами. Накопившиеся нерешенные вопросы заставили меня надолго застрять в Еленовке...

Кроме всего прочего, здесь были памятные для меня места, которые я прошел в годы Великой Отечественной войны...

Как из тумана, воспоминания из далекого 1941 года нахлынули с такой силой, что я физически не мог удержаться, чтобы не пройти вторично по тем дорогам, где каждый куст в моей памяти пропах порохом и дымом. Кое-что я узнавал, но в основном кругом были новые постройки, преобразившие запомнившиеся пейзажи шахтерского края 15-летней давности...

С директором Еленовского карьероуправления Павленко и главным инженером Закотновым мы долго ломали головы над вопросом: как укомплектовать и пустить завод? Мы знали, что у «богатого соседа» все есть, да не про нашу честь, и прекрасно понимали, что без Министерства угольной промышленности нам не обойтись. Поэтому стали искать пути и подступы, ведущие к ее министру — Засядько. Только он мог помочь в наших бедах. Но как убедить его помочь?!

Начальник Управления работ, старый донецкий пройдоха, который строил Еленовский КДЗ, подсказал нам, что Засядько заядлый болельщик футбола, что ездит на стадион в любую погоду со своим референтом, таким же фанатом команды «Шахтер», как и он сам. Кроме того, начальник УНР заверил нас, что референт этот имеет на Засядько влияние, и если мы хотим чего-то добиться, то надо действовать только через референта министра.

Директор Еленовского карьероуправления был пожилым, больным, нервным человеком, бывшим работником КГБ, и для дипломатической миссии, которая нам предстояла, не годился. Поэтому всю нагрузку по осуществлению наших далеко идущих планов пришлось взять на себя мне и главному инженеру Закотнову.

В разработанном сценарии мне с Закотновым отводились роли Паниковского и Шуры Балаганова, представителей фирмы «Рога и копыта», шантажировавших гражданина Корейко с тем, чтобы получить от него миллион на блюдечке с голубой каемочкой. Однако Засядько хотя и был миллионером, даже миллиардером, но отнюдь не подпольным. Это обстоятельство осложняло дело: министр, в отличие от Корейко, никого и ничего не боялся, был в отличных отношениях с Хрущевым.

На первых порах мы съездили в Донецк, зашли в Министерство угольной промышленности, нашли и познакомились с одним из троих референтов Засядько, который был страстным поклонником футбола и имел влияние на министра.

...Предстоял матч между командами «Шахтер» и московским «Локомотивом», поэтому, подавая референту свои письма-заявки и прошения на имя Засядько, мы пустились в рассуждения о предстоящей встрече по футболу. Мнение было, разумеется, единодушным: «Шахтер», безусловно, должен выиграть. Разногласия возникли только в прогнозе забитых и пропущенных голов. Найдя в нашем лице горячих поклонников донецкого «Шахтера», референт тут же отложил дела, позвонил в канцелярию Министерства, где через десять минут без всяких очередей мы приобрели два билета на стадион — место единения всего Донбасса.

На следующий день, взяв про запас четыре бутылки водки и закуски, усевшись в легковую машину директора, мы с Закотновым выехали в Донецк.

Весь Донбасс представляет собой громадный угольный район, где города беспрерывно сменяются поселками и подчас не поймешь, выехал ли ты из одного и въехал в другой или продолжаешь катить по первому. Все они связаны между собой дорогами и автотранспортным сообщением.

В день ФУТБОЛА транспорт всего Донбасса по этим дорогам движется только в одном направлении, — к эпицентру футбольного взрыва, в Донецк.

К одной из таких автоколонн, направлявшихся по маршруту Енакиево — Донецк, пристроилась темно-коричневая «Победа», в которой два «джентльмена удачи», в отличие от остальных

болельщиков, обсуждали не столько предстоящую встречу между «Шахтером» и «Локомотивом», сколько дипломатический раут с референтом Засядько и тонкости обоюдного поведения.

С толстым портфелем, трещащим от содержимого, в необозримом людском потоке мы были буквально внесены на стадион, представляющий собой огромную чашу почти в центре города, окруженную терриконами.

Кругом все гудело от напряжения. Болельщики, не доставшие билеты, разместились на терриконе. Туда тоже не так-то легко и просто было попасть на хорошее место. Для фанатов с террикона существовали свои, особые правила.

Я и Закотнов с трудом добрались до своих законных мест, находившихся под трибуной высшего начальства, среди которого выделялся своей колоритной фигурой Засядько. Рядом с нами разместился его референт, молодой здоровый мужик лет тридцати пяти, успевший закончить горный институт, поработать на шахте и стать ближайшим помощником министра.

Я сам когда-то играл в футбол, любил запорожскую команду «Металлург», выступавшую тогда в классе «Б», ходил на стадион и болел за наших ребят. Делил, можно сказать, радости побед и горести поражений с командой. Но с таким футбольным шоу, какое наблюдал на стадионе «Шахтер», встретился впервые.

Мы с моим напарником изучили по имени и кличкам всех игроков «Шахтера» и договорились орать и поддерживать их в угоду референту как только возможно, не жалея глоток. Это легко было сделать, так как орал весь стадион, и равнодушных не было.

Матч начался...

После каждого удачного удара и гола мы распечатывали очередную бутылку, наливали в стаканы и выпивали с референтом за «Шахтер». Едва успевая закусить, орали, стараясь перекричать друг друга и остальных болельщиков:

— Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Бабошко, да-вай! На-го-ра, «Шахтер»!

Я, зараженный общим ликованием, вошел в азарт и орал уже не подыгрывая, а настоящему болея, Закотнов — тоже.

Хриплые и довольные победой дончан, едва держась на ногах, мы после матча добрались вместе с помощником министра до нашей «Победы», завезли его тепленьким домой и договорились, что он свяжет нас с Засядько.

Расстались друзьями-болельщиками...

Не прошло и трех дней, как раздался телефонный звонок из Донецка. Референт сообщал: на следующее утро, ровно в 10-00, мы должны быть в приемной у министра.

Бывший шахтер Засядько не оставил своих привычек, заняв пост министра. В душе он по-прежнему оставался грубоватым шахтером, бесцеремонным матерщинником. Мат стал его неотъемлемой частицей, и без него министр не был бы Засядько, а кем-то другим.

— А, пришли, засранцы? Садитесь туда, вашу мать, за стол! Выкладывайте, с чем явились, слушаю!

Мы были подготовлены референтом к своеобразным обычаям министра, но такого приветствия незнакомым людям не ожидали и остановились у раскрытой двери на пороге, не зная, что лучше: войти и сесть, как предложил хозяин кабинета, или ретироваться, пока не поздно. Потоптавшись с минуту на месте, мы все-таки робко двинулись к столу. Сели...

— Мы вам писали... — неуверенно начал я.

— Читал, читал вашу цидулу... Что? Ни хрена без шахтеров не можете поделать?

— Нет, не можем! — ответили мы хором вместе с Закотновым.

— Ладненько! — Засядько нажал кнопку селектора. — Ксаньч, слушай! К тебе зайдут зараз два хлопца с бумагами. Дай им, мать ихнюю так, все, что я отметил. Понял? Ну, вот, — он снова перевел взгляд на нас, — все, бывайте!

Аудиенция, длившаяся не более пяти минут, закончилась. Засядько вышел из-за стола, пожал наши протянутые для пожатия руки и, слегка подталкивая в спины, выпроводил из кабинета.

По горячим следами мы помчались к начальнику Главного управления по снабжению Министерства угольной промышленности. Там в соответствующих отделах получили наряды на материалы и оборудование.

Наши заявки были удовлетворены примерно на 90%!!! Это — огромное состояние для нашего предприятия, а если еще учесть, что мы завысили нашу потребность... Я даже рассчитывал уделить кое-что и другим предприятиям.

Счастливые, поздравляя друг друга с победой и с благодарностью вспоминая Засядько, его референта, а заодно и донецкую команду «Шахтер», мы с Закотновым возвращались в Енакиев в Еленовское карьероуправление.

Директор Павленко, увидев пачку нарядов на металл, транспортную ленту, кабель, конвейеры, грохота, десять МАЗов и статические конденсаторы, не поверил своим глазам. Он крутил наряды и так, и сяк, даже рассматривал их на свет и чуть ли не пробовал на зуб. Когда я позвонил по телефону в Запорожье и поделился радостью с Савченко, тот не поверил и решил, что я его разыгрываю. Я даже засомневался в реальности нарядов. И все-таки наряды были быстро реализованы по принципу «Куй железо, пока горячо». Не получили только самосвалы, так как МАЗы-205 должны были прийти лишь в 3-ем квартале, а шел только 2-й. Но они нам до завершения строительства и прокрутки КДЗ не требовались.

С начальником строительного управления и субподрядчиками договорились об аккордной оплате. Работа закипела. В июне началась прокрутка и наладка отдельных цепочек завода. Плохо работал бетоноотбор, главный и возвратный конвейеры. Вызвали проектантов и вместе с ними по ходу монтажа и прокрутки исправляли и ликвидировали узкие места. За все это время я побывал раза три по паре дней дома и тут же мотал обратно. Дети от меня начали отвыкать. Зато в Енакиеве и Еленовке я стал своим человеком. Между прочим, ради чисто спортивного интереса — и познавательного, конечно, — один раз даже спустился в старую шахту им. Карла Маркса.

...И вот, в конце июля завод был полностью прокручен и пущен вхолостую, опробован под нагрузкой, и мы с Павленко дали телеграмму в трест о полной готовности завода к вводу в эксплуатацию. Затем стали ждать комиссию для подписания акта приемки Еленовского камнедробильного завода МПСМ УССР.

Я облегченно вздохнул. Моя миссия, кажется, успешно завершилась. Теперь, после подписания акта, можно будет с чистой совестью уехать в Запорожье, оставив Еленовку в своем сердце, как дорогое дитя. Я надеялся попасть домой ко дню рождения жены, а именно 6 августа.

Что ж, долгожданная комиссия прибыла в составе: управляющий трестом «Укрнерудпром» Савченко, зав. отделом нерудных при Госплане УССР Писарев и зав. промышленным отделом Донецкого отдела КПУ.

Они прибыли для приемки дробильно-сортировочного завода от строителей и нашего треста с одновременной передачей его только что образованному Донецкому Совнархозу. Начальника управления стройматериалов СНУ только утвердили, и он должен был подъехать.

Я стоял перед этими людьми и хлопал глазами, как оплеванный, а представитель Донецкого обкома и Писарев мне мило улыбались и хвалили за усердие.

Что я мог им ответить?

Что, если бы я наперед знал, чем это кончится, то не тратил бы столько сил и энергии на Донецкий Совнархоз, — на «чужого дядю»?

Теперь мне становилась ясной и понятной «бескорыстная» щедрость министра Засядько. Подписывая наши прошения, он наверняка знал о предстоящем образовании совнархозов и о том, что в ближайшем будущем он сам станет заместителем Председателя Совета Министров СССР и переберется в Москву. Подписывая нам документы, он уже смотрел на все происходящее с высоты и более широким взглядом.

...Я ехал машиной на железнодорожный вокзал в Донецк. По дороге из Еленовки в Енакиев навстречу мне шла автоколонна, состоящая из десяти автосамосвалов МАЗ-205. Она приветствовала меня зажженными фарами и завесой пыли, которая сопровождала меня до самого въезда в город Енакиев, не давая возможности водителю опустить в машине боковое стекло.

Что ж, Засядько оказался твердым хозяином своего слова: он выдал все до гвоздика из того, что обещал Еленовскому КДЗ. Даже самосвалы, хотя мне это теперь было почти безразлично, пришли вовремя...

В душе у меня была пустота.

В конце августа я взял отпуск и к 1 сентября, оставив детей на попечение родителей, мы с Шурочкой отчалили в Крым.

## **5. Бархатный сезон**

### **В Крыму**

Комфортабельный автобус «Запорожье — Ялта» просигналил свой мощный клич и тронулся с места, набирая скорость.

Пассажиры удобно откинулись на спинки кресел и занялись каждый своим делом. Я прикрыл веки и задремал под Шурочкино восторженное щебетание и равномерный монотонный гул двигателя.

Все хлопоты последних дней и досада за впустую потраченные на Еленовку силы отошли куда-то на задний план, уступив место радужным надеждам на предстоящий хороший отдых на побережье Черного моря.

Крым... Крым... Крым..., — жужжал мотор.

Крым... Крым... Крым..., — шуршали колеса автобуса и шумел, врываясь в окна, теплый ветерок. Я столько слышал о Крыме, об омывавшем его побережье Черном море, о его жемчужине Ялте, но за всю свою жизнь ни разу не смог там побывать.

В детские годы я читал о Черном море и Крыме в книгах и слышал рассказы от соученика Жени Гаскина, который ежегодно проводил летние каникулы с родителями на Черном море в Крыму или на Кавказе, и возвращался оттуда в школу с выцветшими под южным солнцем белесыми ресницами и покрытым шоколадным загаром телом...

Итак, я первый раз еду на юг — к морю. Мне тридцать четыре года...

Мы с Шурочкой «дикари», и это делает наше путешествие еще интереснее, потому что мы вольные, ни с кем не связанные, ни от кого не зависящие птицы. В Ялте нас ждет Беллочка Тонконог, забронированная ею квартира, ласковое море и изумительный, свежий, напоенный ароматами и фитонцидами воздух.

Часам к четырем дня мы прибыли в Симферополь. Вышли поразмяться.

В Запорожье, когда уезжали, давала о себе знать уже приближающаяся осень, а здесь чувствовался юг и близость моря, его ласковое дыхание, хотя до Черного моря было добрых сорок с гаком километров и горный хребет, который предстояло преодолеть.

Перекурив и поразмяв свои отекавшие конечности, пассажиры заняли места в автобусе и поехали дальше на юг.

Примерно в километре пути от города по Алуштинскому шоссе сбоку велись раскопки Неаполя Скифского — столицы Малой Скифии, государства III — IV веков до нашей эры.

Еще дальше от города с левой стороны открывалось большое водное пространство, по которому сновали весельные, парусные и моторные лодки. Это было Симферопольское море — искусственное водохранилище с оборудованными пляжами, причалами и лодочными станциями.

Чем больше мы удалялись от Симферополя, тем чаще слышали удивленные возгласы: «Смотрите, смотрите!» и едва успевали вращать головы то влево, то вправо.

Водитель автобуса, видя наше восхищенное любопытство и поняв, что больше половины пассажиров — начинающие путешественники, с чувством гордости за свой край включил микрофон и взял на себя миссию штатного гида.

— Посмотрите налево, — услышали мы — видите в отдалении белый замок? В нем снимался эпизод из фильма «Веселые ребята», когда Утесов пришел на званый обед со своим стадом. А вон дуб, сидя на котором Костя (Утесов) пел Анюте (Орловой) песню «Как много девушек хороших»...

С быстро движущегося автобуса трудно было разглядеть утопающий в зелени замок, а тем более затерявшийся среди буйной растительности дуб, но, тем не менее, все восторгались, крутили головы, удивлялись, ойкали и были счастливы, точно сами стали участниками фильма «Веселые ребята»...

Между прочим, гораздо позже, когда мы, будучи уже опытными курортниками, совершали туристическую поездку из Сочи на озеро Рица, экскурсовод через окна автобуса нам тоже показывал на берегу речушки Бзыби замок и дуб, где снимался фильм «Веселые ребята»...

В свое время этот фильм пользовался огромной популярностью, и тому, что Крым и Кавказ соперничали, причисляя себя одновременно к его соучастникам, не стоило удивляться. Что ж, пусть будет так. Я не стал выяснять, кто из этих любителей кино и патриотов своего края прав.

Чуть погода наш автобус, замедлив ход, стал подниматься в горы.

В те годы Симферополь и Ялту не связывало еще широкое асфальтированное шоссе, и, тем более, троллейбусная линия. Все это было только в проекте. А сейчас дорога была узкой и извилистой. Автобус то и дело, почти приостанавливаясь, круто поворачивал то влево, то вправо, а то и назад, рискуя свалиться в пропасть, и медленно продвигался к морю. Опытный водитель предложил пассажирам как лучшее средство от головокружения петь песни, а сам умолк, сосредоточив взгляд на крутой и опасной дороге.

С каждым километром пути мы ощущали все больше и больше, что поднимаемся вверх: уши заложило, словно ватой, как у пассажира, летящего в реактивном самолете на большой высоте. Путешественники старались не смотреть по сторонам и орали во всю глотку песни, а



моя Шурочка усерднее всех. Вспомнили и «Легко на сердце», и модные тогда «Черемшину», «Маричку», «Иеньку» и еще много, очень много русских и украинских песен, которые сменялись и переходили одна в другую без перерыва...

Вот и «Перевал» — самая высокая точка над уровнем моря по трассе.

Автобус остановился у фонтана-памятника М.И. Кутузову, воздвигнутому на том месте, где в 1774 году знаменитый полководец был ранен в сражении с турками.

Небольшая остановка. Перекур. Вышли. Напились родниковой водицы, размяли затекшие ноги и руки. Попрыгали. Подышали удивительно свежим и ароматным воздухом.

— Все по местам! — раздалась команда водителя, едва я успел докурить вторую сигарету. Зашли, расселись по местам. Проверили: все ли соседи на месте?

Тронулись дальше...

Теперь автобус бежал несколько резвее, притормаживая на поворотах, но неуклонно спускаясь все ниже и ниже. Вскоре слева, далеко в горах, освещенное клонящимся к закату солнцем, показалось «Кресло Екатерины». Эта скала, и впрямь напоминавшая кресло с сидящей в нем женщиной в платье со стоячим воротником, долго сопровождала нас. Время от времени мы поглядывали из окон автобуса на «Кресло», до тех пор, пока не показался и тут же исчез кусочек моря. Теперь уже все наше внимание сосредоточилось на южных склонах хребта в ожидании голубого призрака.

Еще два-три поворота, и пред моим взором открылся необъятный морской простор, не имеющий границ, никак не обозначенный линией горизонта. Все впереди было голубым, переходящим в синее марево, и только одиночные тучки, парящие там вдали, давали понять, что это пространство уже не море, а небо.

Вот и Алушта.

После Алушты автобус снова начал подъем в горы. Потом, виляя направо и налево, пошел на высоте примерно восьмьсот-тысяча метров вдоль по хребтам и яйлам. Слева видна была панорама моря, справа — уходящие вверх, скрывающиеся в облаках горы.

На нашем пути изредка попадались указатели со знакомыми по справочникам названиями: «Малый Маяк», «Гурзуф», «Никита», «Массандра» и т.д. Наконец, наш автобус, преодолев последние крутые повороты, въехал в Ялту.

На автовокзале нас уже ждала вместе с группой хозяек, предлагавших квартирные услуги, Беллочка Тонконог.

Благодаря ее стараниям мы остановились в центре Ялты на улице Морской в 2-этажном особняке бывшей балерины императорского театра Санкт-Петербурга, племянницы поэта и художника Максимилиана Волошина, — Тамары Владимировны Шмелевой.

Заняли мы одну из комнат, входить в которую нужно было почему-то через окно. Для нас в то время эта несурязица не имела никакого значения, тем более в тот вечер после длительного и утомительного пути. Солнце уже коснулось горизонта, его косые лучи освещали только крышу особняка. Усталые от необычного автобусного путешествия и обилия свежего воздуха, мы прилегли на минутку передохнуть, а поднялись только утром, разбуженные Беллочкой.

— Хватит дрыхнуть! Здесь не принято поздно вставать! Пошли, я уже заняла место на пляже!

Мы наскоро перекусили, схватили купальные принадлежности, вылезли через окно-дверь во двор и... замерли в изумлении.

Накануне вечером, уставшие, мы даже не обратили внимания на райский уголок, в который попали. Стройные кипарисы и пальмы, разнообразная тропическая растительность наполняли ароматом небольшой дворик и создавали своеобразный микроклимат. Это был Никитский ботанический сад в миниатюре.

Тамара Владимировна, наша хозяйка, после того, как оставила по болезни балет, переехала в Ялту и поступила работать переводчицей в ботанический сад. Она прекрасно владела несколькими иностранными языками и вела переписку с различными ботаническими фирмами мира для НИИ растениеводства. Это было международное сотрудничество по обмену семенами, черенками и опытом выращивания тропических и субтропических растений в различных условиях, в том числе и на нашей крымской земле.

В то время, когда мы жили у Тамары Владимировны, она уже не работала. Страшная болезнь лишила ее слуха. У нее лопались, как стекло, кровеносные сосуды, терялось зрение. Тамара Владимировна передвигалась по дому, держась за ножки перевернутой перемещаемой впереди себя табуретки. При таком тяжком недуге это был полный оптимизма и юмора, героический, неунывающий человек. Она была в курсе всех событий. Сама прекрасный рассказчик, она была

к тому же необыкновенно внимательным слушателем с замечательной памятью. Почти ничего не слыша, Тамара Владимировна, тем не менее, разбирала слова, глядя на губы собеседника, иногда приставляя к уху рожок. Она очень любила по вечерам сидеть на веранде, пить чай и поддерживать беседы с отдыхающими.

Кто хоть один раз побывал и пожил у Тамары Владимировны Шмелевой, тот, бывая в Ялте, стремился попасть только к этой удивительной женщине. А к ней не так-то просто было попасть: нужно было заранее списаться и получить «добро». Круг знакомых у Тамары Владимировны был большой, и переписку она вела соответствующую. Благодаря ее стараниям дворик, в котором размещался особняк, приобрел действительно сказочный вид. Здесь было так пряноароматно, прохладно, уютно и красиво, так звонко разливались трели птиц, что из дворика больше никуда не хотелось уходить. Охватывало одно желание: улечься в гамак меж двух кипарисов, покачиваясь, вдыхать полной грудью изумительной свежести воздух и, закрыв глаза, слушать пение птиц и далекий шум моря. Или тихо лежать и читать какой-нибудь увлекательный незамысловатый роман. Осуществление этой мечты сей же час, сию же минуту казалось мне верхом блаженства.

Однако Беллочка, уже успевшая привыкнуть к местным прелестям, не дала нам долго любоваться природой. Ее окрик:

— Нечего глазеть! Еще посмотритесь! Пошли! — быстро отрезвил нас и вернул на грешную землю.

Я и Шураська строевым шагом последовали за нашим командиром вниз к морю.

Город, несмотря на ранний час, давно проснулся и гудел, как потревоженный улей. В разноцветной и разношерстной одежде, в спортивных костюмах и шортах, в шляпах и без оных, в сандалиях и вьетнамках на босу ногу, с сумочками и свертками спешили, обгоняя друг друга, отдыхающие к морю, чтобы занять свое место под солнцем у воды.

Солнца было много, моря тоже, но полоска пляжа была узкой, грибков и тентов, дающих тень, не хватало, поэтому каждый спешил прийти пораньше, выбрать себе место по вкусу и здоровью да занять еще для знакомых.

Сентябрь месяц — бархатный сезон.

К этому времени учащаяся молодежь успевает уже покинуть южное побережье, уступив место более солидной публике. А эти граждане любят комфорт. Сидеть или лежать на солнце-пеке им противопоказано. Они предпочитают солярию радарий, то есть сидя или лежа в тени, пользоваться отраженными от зеркальной поверхности моря лучами щедрого солнца.

В сентябре дни короче. Солнце уже не так горячо и нещадно палит. Зато море отдает свое тепло более охотно. Его знойное дыхание по вечерам чувствуется особенно сильно, бережит душу. О море, как и о любви, человечество сложило много легенд и песен. Тяга человека к морю идет с глубокой древности, это общеизвестно. На море хочется глядеть и глядеть, не отрываясь. Это своего рода магнит. То оно тихо лежит и не шевелится, как большой послушный зверь, у твоих ног, а ты сидишь и наблюдаешь, как цвет его меняется по мере удаления от берега, переходя от светлых белесых тонов к светло-зеленым, лазурным, синим, темно-синим и, наконец, черным у самого горизонта.

А иногда цвета его носят другие оттенки и на горизонте сливаются с небесным цветом. А то, когда море бушует и шторм достигает шести-семи баллов, цвет его становится свинцовым у берега, а дальше черным с белыми гребешками на вершинах свирепых волн. Море ревет и катит валы свои к гранитной набережной, вздымая громадные фонтаны и тучи брызг. Воздух наполняется тогда запахами йода, водорослей и морских животных. В такие минуты лучше сидеть на высоком берегу в парке и слушать шум прибоя, наблюдать за изменчивым морем, а еще дышать, дышать, полной грудью дышать, впитывая в легкие целебный воздух бушующей стихии...

...Но вернемся скорее на пологий берег, покрытый галькой, пока море спокойно и пока никто не занял наше место на пляже. Нет, место не занято. Для этого достаточно было Беллочке положить под грибок три лежака, а на них газеты, прижатые крупной галькой. Публика здесь солидная, и никто не займет чужого места, так как здесь уважают неписанные законы «дикого» пляжа. Наоборот, по прошествии часа все окружающие знакомятся и к обеду расходятся друзьями, договариваясь на следующий день сойтись там же и занять друг для друга места.

Наконец, уложив вещь на лежак, надев плавки, я впервые в жизни захожу в море.

Я иду, погружаясь все глубже и глубже, и ясно вижу под водой свои ноги и каждый камешек. С утра море совершенно спокойно и гладко, как зеркало. Оно только чуть-чуть колыхается, дышит, ласкает и манит в лазурную даль... вот вода дошла уже до пояса. Нагретое на

солнце тело покрылось пупырышками. Я не выдерживаю и ныряю с головой в пучину. Под водой открываю глаза, плыву. Дно уходит вниз полого, крупная галька постепенно мельчает и переходит в песок. Дальше пошло темное дно, покрытое растительностью. Я вынырнул, как пробка, к свету. Солнце заискрилось и начало переливаться всеми цветами радуги в капельках воды, задержавшихся на ресницах. А тело, удивительно легкое, как бы повисло в невесомости на теплой поверхности моря.

К берегу плыть не хотелось.

Я сделал несколько взмахов в сторону буев, лег на спину и стал глядеть в небо, заложив руки за голову.

Странно, на Днепре я, лежа на спине, обычно погружался в воду почти целиком, только голова оставалась на поверхности. А здесь тело было погружено только наполовину.

Меня охватило непередаваемое чувство блаженства. Было легко и свободно. Я наблюдал за парящими в небе чайками, и мне казалось, что я лечу вместе с ними. В эти мгновения я чувствовал себя неотделимой частицей природы.

Из этого состояния эйфории меня вывел окрик, раздавшийся над головой из спасательной шлюпки:

— Гражданин! Вернитесь к берегу! За буй заплывать запрещено!

Я перевернулся на живот, пофыркал от удовольствия и поплыл к берегу, ругая в душе возмутителей моего спокойствия.

Выйдя из воды, лег на лежак и закрыл глаза, пытаюсь восстановить нахлынувшие на меня минутой ранее ощущения. Казалось, будто тело еще продолжали укачивать волны.

Так вот почему люди так упорно стремятся к морю, а однажды побывав, бросают на прощание, как дань Нептуну, монетку! Все это делается с одной лишь целью — чтобы снова вернуться к морю!

Мы с женой резко отличались от остальных курортников своими белыми телесами и старались хоть к концу лета наверстать упущенное.

Часиков до десяти мы смело обгорали на солнце в промежутках между морскими ваннами, а после лежали в тени, принимали воздушные ванны и пользовались лучами, отраженными морем.

В первый же день по настоянию Шурочки, жаждавшей, чтобы я не только хорошо отдохнул, но и поправился, мы взвесились. Наша команда оказалась в разных весовых категориях:

Я представлял наилегчайший вес — 52 кг.

Беллочка средний — 62 кг.

Шурочка полутяжелый — 72 кг.

Опережая события, скажу, что стремление женушки перевести меня в более высокую весовую категорию не увенчалось успехом. За время отдыха каждый из нас набрал по 200 граммов, несмотря на то, что мои дамы усиленно пичкали своего подопечного манными и рисовыми кашками на молоке, а сами поглощали легкую малокалорийную вегетарианско-витаминозную пищу.

Из сказанного, однако, нельзя делать вывод, что мы занимались в Крыму только морскими купаниями и чревоугодничеством. Нет. Не менее трети времени мы посвятили духовной пище, которую поглощали с большим интересом.

В Крыму очень много памятных мест, с познавательной точки зрения интересных и живописных. Все одновременно, как ни крути, не посетишь и не посмотришь. Поэтому мы составили для себя список объектов, обязательных для посещения, потом первоочередных и второстепенных или попутных, если они располагались в районе первоочередных. Затем нами был составлен распорядок на каждый день по часам: время подъема, купания, обеда, отдыха и культурных мероприятий, куда входили музеи, театры, кино, а также обязательные экскурсионные прогулки.

Расписание было напряженным, но зато мы побывали во многих незабываемых местах, включая богатое достопримечательностями Крымское побережье. Так мы побывали в Никитском ботаническом саду, основанном еще в 1812 году. Здесь, на площади в 280 га, собрано около семи тысяч растений со всех континентов мира.

Посетили дом-музей А.П. Чехова, где он жил и лечился с 1899 по 1904 г. и написал «Три сестры», «Вишневый сад», «Даму с собачкой» и другие произведения. Когда мы были в этом доме впервые, еще жива была и жила там в одной из комнат сестра Антона Павловича. Мария Павловна занимала одну из комнат музея, почти не выходила к посетителям, но неустанно продолжала хранить и поддерживать традиции чеховского дома.

Мы были на «Поляне сказок» — интересном уголке в окрестностях Ялты, где выставлены работы народного умельца П. Безрукова.

Любопытную и поучительную историю самого мастера, резчика по дереву, который здесь лечился и творил, услышал я от местных жителей при посещении «Поляны» через несколько лет. А состояла она вот в чем. Используя идею умельца, — бесплатную выставку работ его самого и других народных талантов — местные власти сделали из «Поляны сказок» доходную статью для городского бюджета, а самого зачинателя П. Безрукова из этого земельного участка, в конце концов, выжили. Не знаю, сколько рублей выручили от этой операции ялтинские городские власти, но в том, что сказочность и искусство многое потеряли, я уверен.

Наша троица совершила множество морских прогулок на теплоходах в сторону Алушты и Алупки. Мы побывали в «Ласточкином гнезде» — изящном сказочном замке, приютившемся у обрыва скалы и повисшем над морем у мыса Айтодор. Огибали Медведь-гору и Артек — всемирно известный пионерский лагерь, расположенный на побережье от Гурзуфа до подножия Аю-Дага. В голову назойливо лезли незатейливые слова из довоенной пионерской песенки:

У Медведя на носу  
Разместился Суюк-Су...

Были в Мисхоре, Ливадийском дворце, и, наконец, в Воронцовском, или Алупкинском.

Это чудо архитектуры XIX века построено в стиле английской готики в сочетании с зодчеством мусульманского Востока. Со стороны моря это владения султана, с севера — замок английского лорда, ярко выделяющийся на фоне отрогов Ай-Петринской яйлы.

Маленький теплоход «Мухолатка», покачиваясь на волнах, медленно развернулся и повез нас к Ялте, а мы, как зачарованные, продолжали смотреть на Воронцовский дворец, на спускающуюся к морю лестницу со спящими и пробуждающимися мраморными львами. А вверху над всей этой красотой возвышался грозный Ай-Петри, удерживая своей могучей грудью нависшие черные тучи, словно защищая творение человеческого гения от посягательств стихии.

После, в другие годы, мы с Шурочкой часто бывали в Крыму, бросали монеты в воду и возвращались к морю, но все уже стало привычным и не производило такого впечатления, как в тот первый раз в сентябре 1957 года. Тогда каждый шаг в Крыму был открытием нового мира.

Дорога в Ялту теперь почти прямая, без крутых поворотов, троллейбусная. Цивилизация настолько проникла на побережье Крыма, что из-за курортников местным жителям приходится жить, а точнее, ютиться, ради наживы, чуть ли не в своих благоустроенных ваннах и туалетах. А сами отдыхающие теснятся в уголках за перегородками, как звери в клетках, и загорают на пляжах, лежа чуть ли не друг на друге. Глядя на эту картину, невольно вспоминаешь письмо одного незадачливого курортника к своей жене из юмористического рассказа А. Арканова: «В общем, отдыхаю я хорошо, только устаю очень».

Нашей первой хозяйки уже нет в живых. Нет и старенького теплохода «Мухолатка», поразившего меня в то давно прошедшее время своим необычным названием. На нем мы совершали свои первые рейсы по морю...

Его заменил другой, новый теплоход, которому дали то же имя.

История делает второй виток...

#### На Кавказе

Я убежден, что все, случившееся с человеком впервые, оставляет в памяти глубокий, долго не стирающийся след, зачастую — на всю жизнь.

Через пять лет после вышеописанных событий, в середине сентября 1962 года, мне посчастливилось получить бесплатную путевку в Крым, в дом отдыха «Запорожье».

Месячная путевка состояла из двух двухнедельных, поэтому я поехал в Ялту вместе с женой, надеясь провести вместе полсрока, на этот раз в качестве организованного курортника. По наивности я никому не давал никаких взяток, или попросту «на лапу». В результате ничего не получилось. Жене мы купили курсовку, и поселилась она тут же на территории дома отдыха «Запорожье» в особняке одной из работниц ДО. Так мы прожили (Шурочка в особняке, а я в благоустроенном корпусе) дней десять, встречаясь трижды за столом и назначая свидания на вечер и утро. Моя «невеста» всегда аккуратно приходила на свидания в назначенное время, несмотря на то, что хозяйка особняка, старая сводня, не знаю уж за какую мзду, без конца сватала ее постояльцам.

В конце сентября погода в Крыму испортилась, резко похолодало, температура моря снизилась до 16 — 18°C. Мы с женушкой посоветовались, купили билеты на теплоход «Феликс Дзержинский», быстро сложили вещички и укатили на Кавказ в Сочи.

Великолепный лайнер, на котором мы ехали, возвращался на родину после круиза по Средиземному морю. В Союзе он первым делом зашел в Одессу и далее следовал по маршруту Ялта — Сочи — Батуми. На его борту ехали репатриированные из Греции армяне. Среди них молодой красивый священник с супругой, собирающийся во всеармянской церкви повысить свою квалификацию.

Отшвартовались, когда стемнело.

Море штормило. Небо заволокло свинцовыми тучами. Однако, несмотря на ненастье, люди столпились у борта теплохода, прощаясь со сверкающими огнями, многоярусной подковообразной панорамой Ялты и подмигивающим на море маяком.

После полуночи я проснулся от непрерывных сигнальных гудков теплохода, нарушивших равномерный, привычный для слуха, шум работающих дизелей в чреве корабля. В каюте было душно. Я вышел на палубу подышать свежим воздухом и... удивился резкой перемене погоды. Наш «Феликс Дзержинский» как будто попал в другую климатическую зону: густой туман окутывал корабль, локаторы вертелись на полной нагрузке. Из трубы неслись тревожные сигнальные гудки. Моря не было видно, но его дыхание чувствовалось и обволакивало теплой влагой.

Утром 27 сентября, когда теплоход подходил к Сочинскому порту, ярко светило солнце. С борта «Феликса Дзержинского» мы поздравили нашу доченьку Ляпушку с днем рождения, потом срочно побежали в каюту менять осенние одежды на летние, чтобы не слишком отличаться от стоявшей у причала отдыхающей публики.

Квартирный вопрос мы решили довольно просто и быстро. Нашими домовладельцами стала симпатичная армянская семья, состоявшая из деда Акопа, внука Бориса и его молодой красивой жены Янины.

Дом стоял в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала, в глубине опутанного зеленью двора.

Еще в юности я с немим восторгом слушал и с упоением танцевал под вертящуюся на патефоне пластинку танго «Сочи»:

Сочи! Те дни и ночи,  
Мне не забыть их никогда.  
Ты помнишь, на Ривьере  
Стоял я, в счастье веря?

Паточно-сладкий голос певца Козина, как дурман, звучал загадочно и звал куда-то в незнакомое, неведомое далеко...

И вот я с Шурочкой на сочинской земле! Мы обошли здесь все вдоль и поперек. Побывали на знаменитой Ривьере. Увидели,

...И ночи голубые,  
И пальмы золотые...,

утолили свое любопытство, ничего загадочного не обнаружили, но дни, проведенные в этом курортном городе на Кавказе, запомнились надолго, на всю жизнь.

Особенно запомнилась двухдневная экскурсия на озеро Рица и в Сухуми.

О! Эти заключительные два дня, проведенные на Кавказе, оттеснили на задний план и Ялту, и Сочи, вместе взятые.

...Многочисленную группу курортников, состоявшую примерно из 120 человек, распределили на пять автобусов, на каждый из которых был выделен экскурсовод.

Рано утром эта кавалькада, с интервалом в полчаса, направилась на юго-восток, вдоль побережья Черного моря к Сухуми.

Там предстояла ночевка, а на следующий день возвращение на катере в Сочи с заездом в Пицунду.

Вторая, по численности такая же группа, параллельно нашей прибывала в Сухуми на катере. Там мы менялись видами транспорта и возвращались в Сочи по морскому маршруту. Конвейер здесь работал четко и безотказно. Все в нем было рассчитано по минутам.

В первый день мы побывали в Леселидзе, Гаграх, Новом Афоне и на озере Рица. На озере катались на катере-глиссере. А еще под дороге останавливались у очень глубокого зеркально-чистого озера, расположенного рядом с быстро текущей прозрачной речушкой Бзыбь.

У этого маленького озера каждый надеялся, согласно преданию, при помощи омоложения в его водах, как делали предки, сгладить морщинки и помолодеть. Особенно тщательно проделывали эту процедуру наши женщины.

К вечеру мы прибыли в Сухуми. Расквартировались под руководством нашего гида.

Когда стемнело, направились к фонтану «Грот». Ночью в темноте этот искусно подсвеченный фонтан представлял собой сказочное зрелище, какого нам с Шурочкой еще не приходилось видеть... Утром, несмотря на предупреждения экскурсовода не делать этого, мы подошли все-таки к «Гроту» и были совершенно разочарованы: так плачевно выглядел фонтан при дневном свете, — струи воды, вытекающие из густой сочной зелени, обвившей вертикальную стену.

В Сухуми мы посетили дендрарий, который после Никитского ботанического сада в Крыму показался нам бедным. Он был меньше по площади, правда, здесь было много видов субтропических растений.

Зато обезьяний питомник произвел ошеломляющее впечатление, причем наши далекие предки привели всех в неописуемый восторг. Это был питомник всесоюзного значения. Здесь проводились научно-исследовательские работы, и мы многое узнали об обезьянах от нашего экскурсовода, — милой женщины, и ветеринара — работника этого питомника. Чувствовалось, что она любит свою работу и своих подопечных: они ее узнавали и с удовольствием шли к ней на руки.

Потом нам дали пару часов свободного времени на личное усмотрение. К 13-00 наша группа должна была собраться у причала № 7 для отплытия в обратный путь.

Женщины, конечно, стремглав бросились к магазинам за покупками.

Я не люблю такие походы, для меня это — «хождение по мукам». Но, подхваченный общим ажиотажем барахольщиков, тоже пустился за своей супругой к прилавкам.

Сделав кое-какие покупки, на наш взгляд ценные, мы направились к причалу.

И надо же было такому случиться, чтобы на нашем пути попала громадная вывеска, оповещающая и зовущая прохожих по-абхазски:

— АПАРИКМАХЕРСКАЯ.

Я инстинктивно передал в руки жены авоську, потрогал свои щеки, ощутил выросшую за ночь щетину. Глянул на часы и решил зайти в это богоугодное заведение.

Это был роковой шаг, благодаря которому нам на всю жизнь запомнился Сухуми и двухдневная экскурсия, после которой я стал известной личностью, по крайней мере, среди тех, кто ехал вместе с нами на пяти автобусах.

...Итак, в моем распоряжении оставалось 25 минут, чего вполне хватило бы на то, чтобы прибыть на катер побритым и пахнущим одеколоном. Отправив Шурочку с попутчицами к причалу, я решительно отворил дверь цирюльни.

Парикмахер встретил меня у входа с обворожительной, во весь рот, улыбкой, с развернутой, как у тореадора, салфеткой, будто я был быком, а он укротителем, ожидавшим именно моего появления. Сказав, что от него требуется и выделив ему на всю процедуру 15 минут, я сел в кресло. Парикмахер согласно кивнул головой и предложил засечь время на висевших на стене «ходиках». Его устаревшая техника отставала от моих непромокаемых и противоударных примерно на десять минут. Однако на мое замечание о неточности его часов этот Фигаро ответил:

— Закынь свои часы. Тоже нашел точное время. Ты смотри на мои. Это же луче кремлевских!

Не успел я моргнуть глазом, как был опутан простыней и салфетками, намылен так, как можно видеть только на клоунаде в цирке, и уже не мог произнести ни одного слова протеста. А надо мной порхал усердный «апарикмахер», что-то мурлыча себе под нос и поворачивая мою покорную голову то влево, то вправо, не давая даже взглянуть на его «кремлевские» часы-ходики. Наконец, этот кудесник помазка и бритвы в последний раз взмахнул передо мной простыней, сказал «салам», и я вылетел, как пуля, из парикмахерской, бросив на стол не торгуясь запрошенную кругленькую сумму. Все равно противоречить было бесполезно, к тому же мои часы показывали 13-00, а его «кремлевские» — почти столько же, сколь тогда, когда я сел в кресло. Чертыхаясь на чем свет стоит, я помчался к пирсу. Отыскал причал № 7, выбежал на него и увидел: метрах в пятидесяти от берега, плавно покачиваясь на волнах, разворачивался наш отходящий катер.

Я метался по причалу, махал руками, кричал — бесполезно. Не подействовала и моя, купленная здесь же, в Сухуми, ярко-оранжевая шведка и уверенность, что в таком наряде я смогу остановить любой вид транспорта, не говоря уж о сухопутном. Однако на капитана моя жестикуляция не произвела никакого впечатления. Он невозмутимо продолжал свой рейс.

Отчаявшись, поняв бесполезность своих усилий, я притих и задумался.

Теперь меня волновало не столько даже то, что я отстал, сколько неизвестность судьбы Шурочки. Я оставил ее без денег и документов, и не знал: пустилась ли она в поиски меня

по Сухуми или уехала вместе со всеми на катере. Мелькнула идея догнать катер или хотя бы обогнать его на моторной лодке на подводных крыльях, чтобы убедиться, что Шурочка находится на катере. С надеждой бросился к стоянке моторок, предлагая любые деньги за эту десятиминутную операцию. Однако хозяева лодок, словно сговорившись, отворачивали от меня свои безразличные морды, бросая небрежно:

— У мэня свой графык!

Уговаривать было бесполезно. Это выглядело точно так же, как у того «апарикмахера», который ориентировал меня на свои «крэмлевские» часы.

В поисках Шурочки я побежал назад в парикмахерскую. У встретившего меня с той же масляной улыбкой цирюльника справился о ней.

— Слушай, у мэня женщин нэ бывает. Я их нэ брэю!

Получив такой «вразумительный» ответ, я сгоряча выматерил парикмахера с головы до пят и помчался на квартиру, где мы ночевали. Хозяйка удивилась моему появлению, сказала, что никого не было, и посоветовала добираться до Сочи вечерней электричкой.

Мне нужно было убедиться, что Шурочка уехала на катере, тогда бы я хоть немного успокоился и знал, что делать дальше.

Но как узнать о ее судьбе в чужом городе? У кого?!

Деньги у меня были. Вместе с ними в кошельке лежали два железнодорожных билета до Запорожья. Назавтра нам предстояло уезжать домой. Что делать?!

От тревоги за Шурочкину участь мысли мои смешались. Я никак не решался покинуть ставший для меня теперь отвратительным город Сухуми. В который раз я бросился к причалу. Просидел там на кабестане около часа в безмолвном ожидании. Наконец, решил добираться до Сочи на такси с заездом в Пицунду и Гагры, надеясь там перехватить злополучный катер.

Пока нашел машину и договорился с водителем, прошло много времени, поэтому я направился прямо в Гагры. Там меня снова постигло разочарование: мне сказали, что наш катер недавно отчалил на Сочи. Любезный диспетчер посоветовал ехать следом на отходящем через несколько минут теплоходе по имеющемуся у меня билету. Я воспользовался этим советом, так как не видел иного сколько-нибудь разумного выхода. К тому же я успел потратить порядочно денег на бесполезную погоню на такси.

Но самое главное, — это то, что я не знал, где Шурочка и что ждет меня впереди.

Окончательно выбитый из колеи, измученный физически и морально, я приютился в углу трюма на какой-то банке и предался грустным размышлениям.

Меня не интересовали прелести моря и сопровождавшие нас стаи чаек и дельфинов, а теплоходик медленно «чапал» в сторону Сочи, пропуская вперед современные, летящие по волнам корабли на подводных крыльях.

Где же ты, моя женушка?

...А она, впорхнув на катер, тотчас же вместе с остальными попутчицами начала рассматривать приобретения чужие и разворачивать и показывать свои...

Когда спохватилась, что меня нет рядом, катер уже отделяла от причала примерно десятиметровая полоса воды. Взмолвленная не на шутку, Шура бросила свои покупки и устремилась к нашему экскурсоводу. Напрасно... От него к капитану с мольбой остановить корабль. Тот был неумолим и с усмешкой ответил:

— Не плачьте, дамочка. Он от вас нарочно отстал. Видимо, хотел отделаться.

Шурочка, обливаясь слезами, показывала на причал, где метался я в оранжевой шведке, и продолжала просить:

— Видите? Это он на пирсе. Поверните за ним скорее. Ради бога!

Какое там... Капитан, не сморгнув глазом, скомандовал:

— Полный вперед!

И катер быстро начал удаляться от берега. На его борту веселилась публика, делясь впечатлениями об увиденном и с нетерпением ожидая предстоящую остановку в Пицунде. А моя супруга в стороне от ликующих путешественников, сидя на своих покупках, тихо лила слезы. Ее уже не интересовали ни увлекательное морское путешествие и сопровождавшая катер стая дельфинов, ни прекрасная Пицунда с ее великолепным пляжем, где все до одного бросились в теплое море, а потом загорали на теплом пологом песчаном берегу.

Шурочка безмолвно сидела на камне, опустив ноги в воду и устремив взгляд к горизонту: не появится ли там ее Марка?

Но чудес в мире не бывает. А если бывают, то очень, очень редко. Не произошло оно и на этот раз.

Катер с экскурсантами уже успел вернуться в Сочи, а я все еще продолжал свой нудный путь по морю, качаясь на волнах.

Шурочка прибежала домой к молодым хозяевам. Рыдая, рассказала им о случившемся. Те, как могли, старались ее успокоить. Потом Борис повел ее на железнодорожный вокзал к электричке, которая должна была прибыть в полночь из Сухуми.

Они были на вокзале, когда я, наконец, прибыл в Сочи. У причала нашел наш экскурсионный катер, который пристал на час раньше. Покинутый людьми, с потушенными огнями, он покачивался на волнах, как послушная дворняга на привязи.

Я бросился на квартиру. Молодая хозяйка Яна накинулась на меня со словами:

— Что вы наделали! Бегите скорее на вокзал! Она там с Борисом!

Не чувствуя под собою ног от радости, что Шурочка здесь, в Сочи, я чмокнул Яну в щеку и, стараясь опередить приход электрички, побежал на вокзал.

Запыхавшись, выскочил на перрон и увидел на одной из платформ взволнованную Шурочку и шагавшего рядом с ней Бориса. Еще мгновение — и эту пару заслонила от меня ворвавшаяся на станцию электричка. Я выждал, пока она остановится, и как можно спокойнее, негромко крикнул:

— Шурочка! Я здесь!

Я боялся кричать раньше и громче, потому что хорошо знал импульсивность и эмоциональность своей супруги и не был уверен, что молодой парень, сопровождавший ее, сможет удержать и предостеречь Шурочку от рывка навстречу мчавшемуся составу, если она услышит мой зов.

Наконец, мы встретились на глазах у смущенного Бориса. Мое плечо моментально промокло. Но это были уже слезы радости, а не горя.

Потом, по пути к дому, последовали упреки, на которые я никак не реагировал, потому что был счастлив, что наше путешествие закончилось.

Все хорошо, что хорошо кончается.

## **6. Период Ренессанса**

### **Новая вывеска и порядок**

«Что день грядущий мне готовит? — думал я, шагая на работу после отпуска. — Что за штука Совнархоз? Что даст он нашему тресту?»

Я не успел больше ни о чем подумать, так как уже подошел к подъезду, где размещался трест. Новая вывеска на стене дома привлекла мое внимание. На ней вместо привычного «Республиканский трест...» значилось: «Трест «Запорожнерудпром». Так, вывеску уже заменили, — отметил я про себя, входя в помещение переименованного треста.

— Ты вовремя явился, — встретил меня управляющий, когда я зашел доложить, что прибыл из отпуска и готов приступить к работе. — Собирайся. Сейчас поедem принимать шлаковый карьер.

В кабинете у Савченко сидели представители Управления строительства и стройматериалов Запорожского Совнархоза, которым я был тут же представлен. С одним из них, Никитиным Владимиром Михайловичем, главным механиком Управления, мы быстро сошлись и поддерживали прочные дружеские связи даже после ликвидации Совнархозов.

Шлаковый карьер, куда мы прибыли на двух или трех легковых машинах, представлял собой громадных размеров образованный природой котлован, куда завод «Запорожсталь» со времени своего основания, то есть с 1932 года, сливал доменные шлаки. За двадцать пять лет их накопилось несколько миллионов кубометров.

Наполненные раскаленными огненно-жидкими шлаками ковши составами круглосуточно подавались по передвижной железнодорожной ветке к краю котлована, где опрокидывались. Текучая лава, как при извержении вулкана, ползла по насыпи вниз, заполняя свободное пространство, пока не достигала уровня железнодорожного полотна. Потом ветка сдвигалась на новое место, и слив продолжался.

После Великой Отечественной войны ученые нашли применение доменным шлакам в качестве легких наполнителей при изготовлении железобетонных плит перекрытия и перегородок.

Строительные тресты «Запорожстрой» и «Алюминстрой» установили на шлаковых отвалах экскаваторы и начали примитивную разработку. Строителям это давало большую экономию, так как шлаки заменяли относительно дорогой и тяжелый гранитный щебень. Заводу «Запо-



рождсталь» это тоже было выгодно, так как в выработанном пространстве высвобождалось место для слива ковшей со шлаком.

Мы приехали принимать, по сути, котлован, заполненный остывшим шлаком, два экскаватора и два бульдозера, обслуживающий эти механизмы персонал и двух мастеров.

Нам же предстояло тут построить установки по дроблению и сортировке шлаков по фракциям, а также извлекать из дробленого шлака металл для Вторчермета.

Все это мы сделали в сравнительно короткие сроки. В этом нам помогли Запорожский Совнархоз и заинтересованные организации: тресты «Запорожстрой» «Алюминстрой», завод «Запорожсталь» и Вторчермет.

Любопытна одна деталь: пока шлаковый карьер находился в ведении строителей, шлаков хватало и по количеству, и по качественному составу, но как только карьер передали нам в подчинение и за шлаки пришлось платить денежки, шлаков сразу же стало не хватать, посыпались жалобы, и потребность в доменных шлаках возросла чуть ли не втрое.

Что тут поделаешь?

Невероятно большой спрос на шлак заставил нас вести его добычу в три смены и таким же способом, как мы это делали на гранитных карьерах, то есть с применением буро-взрывных работ. Это была нелегкая работа, которую все же пришлось наладить.

Дело в том, что спрессованный в течение десятилетий шлак бурился станками КУБ (канатно-ударного бурения) сравнительно легко, но на глубине 20 – 30 метров температура шлака достигала 100 – 120°C. Во избежание самопроизвольного взрыва пришлось пробуренные скважины перед зарядкой охлаждать, заливая водой, а взрывчатку укутывать в целлофановую «рубашку». Эта технология предварительного охлаждения скважин вполне себя оправдала. Случаев самовзрыва ни разу не было, а производительность в выработке шлаков после применения взрывов неимоверно возросла.

Упоенные первыми крупными успехами, руководители карьера (нам пришлось сделать его самостоятельным предприятием) потеряли бдительность, и это не замедлило сказаться. ЧП произошло там, где его меньше всего ожидали.

Во время опробования одной из дробильно-сортировочных установок грохотовщица, никого не предупредив, полезла в бункер крупных фракций, чтобы отбросить от стенок его образовавшиеся навесы шлака. Оператор пульта управления подал, как положено, сигнал, и через две минуты включил установку. Крупные куски шлака величиной от 70 до 120 мм посыпались на голову находившейся в бункере женщины. Бедняга соскользнула на дно бункера, присела, закрыла голову руками и стала кричать, вызывая о помощи. Ее счастье, что под бункер в это время подошла машина, и шофер, услышав крик, подал сигнал оператору. Перепуганную насмерть пострадавшую грохотовщицу пришлось извлекать, а вернее, высыпать вместе со шлаком через течку в самосвал.

После этого случая мы поставили на бункер решетки, которые заблокировали с пультом управления. А для ликвидации навесов установили вибраторы. Позже заблокировали грохот и конвейеры тросиками с конечными выключателями.

Внедрив в технологию переработки доменных шлаков буро-взрывные работы, две ДСУ и более мощные экскаваторы, мы довели вскоре производство фракционированного шлакового щебня до 1,5 млн. куб. метров в год и удовлетворили потребность не только запорожских строителей, но стали отправлять его по железной дороге за пределы Запорожской области...

С созданием Запорожского Совнархоза количество подчиненных нашему тресту предприятий резко уменьшилось. Теперь больше внимания можно было уделить оставшимся. Время, которое раньше у меня расходовалось на длительные поездки по заводам и карьерам, я теперь употребил на решение вопросов, давно волновавших трест, Передаточнинское карьероуправление и Мокрянский КДЗ-2, в том числе и энергетической проблемы.

В эти бурные дни ко мне в отдел зашел по вопросу трудоустройства высокий, широкоплечий молодой человек с открытым симпатичным лицом. По специальности он был инженером-механиком. Окончил институт пищевой промышленности и работал по направлению главным механиком на комбинате «Масложир». По семейным обстоятельствам он там рассчитался и искал работу по душе.

Этот парень мне почему-то сразу понравился. Меня несколько не смущало то, что он не был знаком с горным делом, а также с горнодобывающим и обогащательным оборудованием; даже то, что он перед увольнением с «Масложира» был исключен из партии по причине разрыва с женой. После непродолжительной беседы я понял, что передо мной сидит толковый мужик, которого не стоит упускать. К тому же на Мокрянском каменном карьере открывалась

вакансия, так как главный механик его отбывал на учебу в Киев. На этом карьере не было образованных кадров механиков, а для осуществления наших грандиозных планов требовались грамотные люди. Поэтому я предложил своему гостю освобождавшуюся должность и, недолго размышляя, увез его с собой на карьер. Я очень надеялся, что этот парень внесет в работу новую струю.

С небольшим нажимом мне удалось преодолеть сомнения руководителей-перестраховщиков, и с моей легкой руки Всеволод Филиппович Голубков проработал на Мокрянском каменном карьере главным механиком свыше двадцати лет. Со временем мы с Голубковым подружились, и он стал одним из самых деловых и любимых мною главных механиков. Однако я не делал для Всеволода никаких скидок, и за нарушение технологической дисциплины ему влетало от меня так же, как и остальным.

Всеволод мне нравился еще и тем, что был скромным парнем, никогда не кичился своими фронтовыми заслугами, хотя и носил звание Героя Советского Союза. Кстати, о том, что он Герой, я узнал только через два года совместной работы на праздновании 15-летней годовщины Победы над гитлеровской Германией.

Мы отмечали этот праздник на Янцевском гранитном карьере. Для коллектива карьера 9 мая 1960 года было двойным праздником: накануне поселок «Каменный» этого карьера соединился асфальтированной дорогой с трассой Запорожье-Донецк. Кроме того, к этой замечательной дате в поселке построили и сдали в эксплуатацию прекрасный клуб, линию электропередач и телефонную станцию.

До этого времени Янцевский гранкарьер был в прямом смысле оторван от города и цивилизации. Дождливая погода и снежные заносы надолго прерывали сообщение поселка с внешним миром. Для подвоза хлеба и других продуктов из Вольнянского райцентра в такие дни машину до трассы тащил трактор по раскисшей профилировке примерно десять километров и там ждал, пока она вернется, чтобы отбуксировать обратно в поселок. Это было настоящей бедой: в ненастный день поселок оставался без пищи и связи. И это происходило всего лишь в 35 километрах от областного и в 18 километрах от районного центров. По этой причине на Янцевском гранкарьере кадры инженерно-технических работников не задерживались, а тот, кто оставался, начинал выпивать. Простои и безделье порождали пьянку. Так продолжалось до тех пор, пока Савченко не назначил на карьер двух энергичных молодых руководителей — директором Шайдука и главным инженером Рвачева. Эти двое сплотили вокруг себя коллектив, наметили перспективу, люди им поверили и поддержали. Поддержали инициативу молодых руководителей также в тресте и Совнархозе. И, как результат: мы ехали праздновать День победы советского народа в Великой Отечественной войне и победу коллектива на трудовом фронте на Янцевский гранкарьер.

Сюда съехался актив со всех предприятий нашего треста. Приехали на торжества и высокие гости из Обкома КПУ, Вольнянского райкома и райисполкома. Прибыл также зам. председателя Совнархоза тов. Королев А.В.

На этот праздник мой друг Всеволод Голубков явился впервые со звездочкой Героя Советского Союза на груди.

#### В столицу за «песнями»

Много различных загадочных учреждений расплодилось у нас в Союзе.

Чем они занимались? Каковы были их функции?

Пожалуй, и сами работники четко их себе не представляли. Однако такие распределительные учреждения существовали и, что любопытно, из года в год процветали на радость их создателям и трутням, в них обитавшим.

Они даже не допускали, что они — лишнее звено.

Будучи как-то в командировке в столице, столкнулся я с подобными учреждениями и после долго думал над вопросом: зачем они созданы и чего они больше приносят — вреда или пользы?

Через пару лет после создания Запорожского Совнархоза мы приняли в свое подчинение Управление буро-взрывных работ, до того входившее в состав треста Харьковвзрывпром. Почему в Харькове находился такой трест, когда там не велись ни разработки угля, ни руды, ни гранита, и взрывать было нечего, для меня так и осталось загадкой. Тем не менее, в результате перехода из Харькова в Запорожье вышеупомянутое Управление БВР осталось без бурового инструмента и других необходимых для работы фондов. Обобрали его прежние хозяева как липку, а работать до конца года оставалось еще не менее четырех месяцев. Уж не знаю, как

мог подписать акт приемки наш управляющий Савченко (возможно, его подвел некомпетентный начальник ОС Козиев) без передачи фондов, но факт остается фактом: долот буровых не было, бурение прекратилось; запасы подготовленных скважин и взорванной горной массы иссякали — их хватало только на месяц работы. А что дальше? Стоять?

Пока шла между нашим и харьковским трестами, Запорожским и Харьковским Совнархозами грызня из-за «зажиленных» фондов, Иван Иванович Савченко уговорил меня поехать в Москву выбить долота.

Вообще такие вопросы входят в функции отдела снабжения, но мне нужно было еще решить в Москве вопросы по линии главного механика. Поэтому я без особых возражений взял командировочное удостоверение и выехал, теща свое тщеславие высоким доверием управляющего.

Нарядами и перепоставками бурового инструмента занимался созданный специально для этих целей трест «Нефтебурмашремонт». Он ничего не производил, ремонтом не занимался, зато помещался в приличном здании в центре Москвы на Таганке. Многочисленный аппарат этого треста шелестел бумагами, как в газетном издательстве, занимаясь типичным ростовщичеством в государственном масштабе. Перед грозным руководителем этого дутого треста, неким Наржиевым, я и предстал в первые же часы своего появления в столице. Наржиев взял мое командировочное удостоверение, и, вертя его перед своими маленькими, хищными, заплывшими жиром глазками на круглом, как луна, лице, смакуя каждое слово, произнес:

— Командировку я вам не подпишу — я вас сюда не приглашал.

— Но мы не можем вести буро-взрывные работы без долот!

— А мы не можем нарушать распоряжение товарища Лалаянца, где прямо сказано: не принимать «толкачей»!

— Я не толкач, я — механик! Можете не заверять командировку, только помогите долотами, иначе трест провалит план.

— Валите, это меня не касается. Долот я вам все равно не дам.

Наржиев вернул мне командировочное удостоверение, и, нажав пухлым пальцем на кнопку селектора, распорядился:

— Рая! Командировку гражданину из Запорожья не отмечать. Все, я вас не держу, можете ехать домой!

Я вышел из кабинета Наржиева как оплеванный. Черт бы побрал эту командировку. Как я допустил такую глупость, зная о распоряжении заместителя председателя Укрсовнархоза Лалаянца? Ведь я же мог взять командировку не в трест «Нефтебурмашремонт», а в институт НИПИСтром или на Московский камнеобрабатывающий завод, или другое родственное предприятие.

Положение складывалось пренеприятное: я не только не добился долот, но потерял право на возмещение затрат, связанных с этой поездкой.

В критических ситуациях у меня, как, впрочем, очевидно, у большинства людей, мозг мобилизуется и начинает работать с удвоенной энергией, ища выход. Я напряг свой мыслительный аппарат, и тут... вдруг... из какого-то уголка памяти выплыла фраза, однажды мимоходом оброненная главным механиком Управления строительства и стройматериалов Совнархоза Никитиным: «Мне в Москве однажды крепко помогло по работе украинское Постпредство».

Как утопающий за соломинку, ухватился я за пронзившую мой мозг мысль: «Может быть, и мне Постпредство поможет? Ведь все равно помощи больше ждать не от кого!»

С этими мыслями я сорвался с места и помчался в ближайшее справочное бюро выяснять адрес Постпредства Украинской ССР.

Постоянное представительство Украинской Советской Социалистической республики в столице нашей родины Москве размещалось в центре города, в переулке Станиславского.

По соседству с ним было несколько посольств и постпредств республик. Не зная этого и ничего не подозревая, я случайно попал сначала в посольство Нидерландов, находившееся рядом, откуда был под руку препровожден нашим милиционером, предварительно поинтересовавшимся моими документами, в Украинское постпредство.

За чугунным узорчатым забором, внутри тихого зеленого дворика, охраняемого постовым милиционером, под украинским национальным флагом стоял большой красивый особняк.

Я направился к нему по посыпанной цветным песком дорожке с надеждой и замирающим от волнения сердцем.

Швейцар открыл передо мной массивную дубовую дверь, и я оказался в просторном вестибюле, украшенном старинной мебелью и традиционной пальмой в кадке. Еще в вестибюле было несколько дверей. Куда они вели — трудно было догадаться, так как никаких табличек

на них не висело. Через несколько минут одна из дверей отворилась и оттуда вышел одетый с иголочки молодой человек:

— Яке у вас питання? — обратился он ко мне по-украински.

Я коротко рассказал суть дела. Он кое-что записал в блокнот, как официант в ресторане, принимающий заказ, кивнул головой и удалился. Прошло еще немного времени, и меня пригласили на прием к руководителю этого сказочного, в чем-то бутафорского учреждения.

«Гетьману» постпредства СССР я был представлен в просторном, дорогом, напоминавшем музей кабинете. Постпред почти возлежал за громадным, уставленным современной аппаратурой связи, столом и, утопая в кожаном кресле, наблюдал за поведением рыб в аквариуме. Взор его был умиленно сосредоточен на скаляриях, меченосцах и вуалехвостах, и мне пришлось выждать какое-то время, прежде чем этот современный Тарас Бульба в темном костюме английского покроя и вышитой украинской сорочке обратился ко мне:

— Я вас слухаю.

Он был массивен и вместе с тем довольно гибок, говорил со мной на чистом украинском языке, хотя и прекрасно владел русским. Это я усек потом, когда «гетьман» своим густым басом начал обращаться в разные московские организации по моему вопросу.

Больше интуитивно, чем из чисто дипломатических соображений, я продолжал поддерживать беседу с постпредом только по-украински.

Через полчаса хозяин кабинета и особняка жестом пригласил меня пересесть за небольшой столик, стоявший в углу, неподалеку от телевизора. Стол тотчас же был накрыт на две персоны, и торжественно внесен самовар, сахар, лимон и бисквит, все для чая.

Обильное чаепитие уже напоминало не украинское, а скорее русское гостеприимство.

По затянувшемуся ленчу и неторопливым расспросам хозяина о Запорожье, о тресте «Запорожнерудпром», о жизни и моих личных делах, я понял, что «гетьман» и его учреждение не особенно обременены работой, и что я, являясь, очевидно, одним из немногих посетителей Постпредства, своим появлением в особняке внес некоторое оживление в его жизнь.

Мой благодетель дал работу своим подчиненным и сам лично поговорил с Госпланом, Госнабом и управляющим трестом «Нефтебурмашремонт». Все мои проблемы были решены здесь самым наилучшим образом, пока я пил чай, закусывал печеньем и вел светскую беседу. Мне даже принесли талон на поселение в гостиницу «Москва».

— Ось так, дорогий земляче з Запоріжжя. Ми своїм не дамо загинути.

Я покидал Украинское постпредство с чувством невероятной благодарности за неожиданную, словно с неба свалившуюся, помощь.

В Госнабе мне выдали фондовое извещение на выделение из резерва СССР для треста «Запорожнерудпром» ста долот. Копию такого извещения мне дали для треста «Нефтебурмашремонт», куда я его повез, и еще одну копию направили Госнабу СССР.

Благополучно переночевав в гостинице, я утром по горячим следам снова пошел на прием к Наржиеву. На этот раз он принял меня с распростертыми объятиями, как старого приятеля. Вчерашнее надменное выражение лица сегодня сменила масляная улыбка. Передо мной предстал совершенно другой человек.

Без волокиты мне выдали наряд с красной полосой на срочное получение долот вне очереди и отметили командировочное удостоверение.

Возвращался я домой в Запорожье, удовлетворенный выполненным с честью заданием. Все неурядицы остались позади. Но вместе с тем мне не давала покоя одна навязчивая мысль и вопросы:

Зачем нужно было меня посылать в командировку выбивать долота, если их выпускают на заводах с избытком, в том числе и на Украине?

Почему нельзя без посредников, таких, как трест «Нефтебурмашремонт», поставлять долота и другой буровой инструмент непосредственно потребителям?

Зачем государству держать таких нахлебников, как трест «Нефтебурмашремонт», или бутафорские организации, вроде республиканских постпредств с огромным штатом бездельников?

В одной из них мне оказали замечательный прием, за что я им весьма признателен. И все же: кому это все нужно?!

## 7. Восторги и разочарования

### РМЗ и Госплан УССР

Как-то на одном из совещаний механиков предприятия Совнархоза в докладе я высказал мысль о создании центрального специализированного РМЗ с выездными ремонтными бригадами для обслуживания предприятий треста «Запорожнерудпром» на местах по графику ППР. Такой завод, построенный в Запорожье, по моим расчетам мог со временем обеспечить плановым ремонтом все горное, дробильно-размольное и обоганительное оборудование Совнархоза. На том совещании присутствовали два заместителя председателя Совнархоза: А.В. Королев и А.С. Поздняков.

Алексей Степанович Поздняков поддержал мою идею. Он взял мои расчеты и вскоре подготовил докладную записку в Укрсовнархоз и Госплан УССР о необходимости строительства в г. Запорожье специализированного ремонтно-механического завода для нерудников. С этой и другими бумагами я выехал в Киев.

Пока ходил по кабинетам Укрсовнархоза, собирал подписи с соответствующими визами, предложение запорожского Совнархоза начало, как снежный ком, несущийся под гору, обрастать различными поправками и дополнениями. Я уже стал бояться, что они погубят задуманное прогрессивное дело. Однако, в конце концов, родился-таки на свет божий проект Постановления, в котором было предусмотрено выделение средств на проектирование и строительство в течение 1960 — 1964 гг. для нерудной промышленности четырех специализированных ремонтно-механических заводов в Запорожском, Днепропетровском, Донецком и Киевском (в г. Житомире) Совнархозах.

Вскоре вышло и само Постановление за подписью Председателя Совета Министров УССР тов. Щербицкого В.В., которое явилось подарком для моих коллег в Днепропетровске, Донецке и Житомире.

Поскольку я длительное время обивал пороги с бумагами Запорожского Совнархоза по поводу РМЗ во всех кабинетах Укрсовнархоза и Госплана УССР, то сделал для себя множество открытий. Так, например, я не могу не коснуться стиля работы этих вышестоящих организаций, к которому мне, скрепя душу и сердце, пришлось волей-неволей приноравливаться. Работу там и другая организации начинали одновременно в 9-30. До десяти стоящие у многочисленных подъездов огромного, облицованного серым гранитом здания по ул. Кирова милиционеры никого не пускали. В 10-00, развернув пропуска, посетители прорывались внутрь. Среди них и я, перескакивая через две ступеньки, устремился на третий этаж.

Оказалось, напрасно я спешил: в нужном мне кабинете никого не было. Хозяева его разбрелись кто куда: одни стояли у буфета — завтракали, другие вели беседу и курили на лестничной площадке. Между одиннадцатью и двенадцатью часами опять все выходили из кабинетов для их проветривания, а около 13-00 «перетрудившиеся» чиновники шли занимать очередь в буфет или столовую. До 14-00 они обедали и прогуливались в парке им. Ватутина, что напротив здания Госплана УССР. Там покуривали и вели светские беседы под успокаивающе-мерное журчание фонтана. Примерно между шестнадцатью и семнадцатью часами снова устраивался пятнадцатиминутный перерыв, а к 18-00 начиналась уже лихорадочная подготовка к окончанию рабочего дня: рыбалке, даче, преферансу и другим подобным развлечениям.

Такой или почти такой распорядок дня установился в Укрсовнархозе и в Госплане, и сохранился он в заново созданных Министерствах.

Я пришел к выводу, что из двух организаций, Укрсовнархоза и Госплана, более деятельным был все-таки первый. Укрсовнархоз был исполнительной ветвью власти, и его непосредственный контакт с Совнархозами республики повышал ответственность за их деятельность, обязывая чиновников из Укрсовнархоза шевелиться быстрее, чем госплановцев.

Возможно, в Госплане УССР руководство действительно трудилось в поте лица. Но отделы его были очень громоздки и неповоротливы. Армия чиновников вела размеренную, ленивую деятельность, которая скорее напоминала не работу, а существование на работе. Служащие Госплана жили своей, отдельной от внешнего мира, жизнью. Скорее всего, такими их делала боязнь того, что каждая измененная ими цифра может разрушить утвержденный баланс, а стало быть, их личный покой. Поэтому, в отличие от укрсовнархозовских «шустриков», госплановцы были «мямликами».

Заходил я, например, с утра к уже упоминавшемуся выше начальнику отдела нерудных при Госплане УССР Писареву Евгению Оверьяновичу. Тот встречал меня радушно, приглашал

садиться рядом за стол и начинал расспрашивать, прежде всего, кто как поживает и обо всех новостях и сплетнях в Запорожье.

Я рассказывал охотно. После этой процедуры Писарев, поворачивая перед собой с деловым видом так и сяк лежащий на столе чистый лист бумаги, без особого интереса узнавал, что меня привело к нему в кабинет. Поданное мною письмо он брал двумя пальцами и как-то по-особому, отставив почти на вытянутую руку, снисходительно рассматривал. Иногда изучение поданного документа сопровождалось вопросами следующего содержания:

— Я подпишу это, а что потом? Вы вместе с Савченко будете мне сухари носить или откажетесь?

Или:

— А ты был с этой бумагой у Анатолия Николаевича? Что Даниленко думает по этому вопросу? Я что-то не вижу его визы!

Я забирал письмо, шел к А.Н. Даниленко — начальнику такого же отдела нерудных материалов в Укрсовнархозе, получал визу и снова возвращался на этаж ниже к Писареву. Однако на этом мои мытарства не заканчивались.

Любой бумаге, как говорится, нужно «придаться ноги». Письмо Запорожского Совнархоза по поводу строительства РМЗ не было исключением. Необходимо было, прежде всего, подготовить соответствующее предложение от Госплана. Его должен был подписать Евгений Оверьянович. Но для этого надо думать... писать... ходить собирать визы в отделах, которые каким-то образом затрагивало строительство РМЗ, а потом идти к начальству на подпись. Готовый, то есть уже подписанный документ тоже предстояло регистрировать у секретаря в канцелярии и ставить на копиях печати. Эта своего рода «черновая работа» требовала, по-Писаревски, затрат определенной энергии, а Евгений Оверьянович свою личную энергию старался экономить. Поэтому, чтобы бумаге дать ход и ускорить события, мне приходилось все от начала и до конца делать самому. Иначе могли пройти месяцы, пока эта деловая бумага попадет на стол к высшему начальству. И я из кожи вон лез, чтобы поторопить события.

Писарев доверил мне всю черновую работу, кроме получения подписи у начальника Госплана СССР. Да и кто я такой по сравнению с этим олимпийским богом. В кабинет к Председателю Госплана Евгений Оверьянович, — типичный представитель образцового работника аппарата, — приосанившись, вливался сам, торжественно неся впереди себя папку с «созревшей» бумагой и подставлял ее на подпись. Этот ритуал он всегда оставлял за собой лично. Все остальное Писарев считал работой ниже своего достоинства и предоставлял делать помощникам или таким, как я, — нетерпеливым.

Для страховки, создания видимости кипучей деятельности, перед ним на столе всегда лежал чистый лист бумаги и самопишущая ручка с золотым пером. К концу дня иногда на этом дежурном листе появлялось заглавие, в лучшем случае пара строк — не более. Этот так называемый «дневной труд» и ручка аккуратно укладывались в ящик стола, чтобы на следующий день вновь появиться на прежнем месте.

Я могу так категорически утверждать, потому что неоднократно наблюдал, как лист, положенный перед Писаревым Е.О. в первый день моего визита, лежал перед хозяином на «созревании», по крайней мере, дней пять.

Такую же точно картину можно было наблюдать и в других отделах Госплана. Это было типичное явление, порожденное бюрократической машиной того времени.

#### Курневская трагедия

Когда готовился документ по созданию РМЗ, в одном из районов Киева, на Курневке, случилась трагедия. Прорвала дамбу отстаивавшаяся в огромном искусственном бассейне кирпичного завода пульпа и хлынула на Подол.

Вал разжиженной глины, сорвавшейся с 70-метровой высоты, сбил на своем пути двигавшиеся по маршруту трамвай и троллейбус и устремился к стоящим внизу домам.

Поскольку авария произошла между 7 и 8 часами утра, работавшие в первой смене люди уже ушли, а с третьей смены еще не успели вернуться домой. И все равно жертв было много...

Для спасения пострадавших направили людей с окрестных заводов и воинские части с бронетранспортерами и вертолетами.

Я должен был как раз в это утро поехать в находящийся на Подоле «Институт твердых сплавов», которым тогда руководил не особенно известный доктор технических наук Бакуль. Под его руководством здесь впоследствии получили впервые в мире искусственный алмаз. Итак, я должен был ехать с утра на Подол, однако мне назначили свидание на 10-00

в Госплане. Я боялся опоздать на прием, и поэтому, позавтракав, побежал в Госплан, отложив поездку в институт на вторую очередь. Когда к десяти часам я появился в Госплане, работникам его было не до меня. В связи с событиями на Куреневке разговоры перешли из кабинетов в коридоры, а кресла и стулья сиротливо стояли в пустых комнатах, ожидая своих хозяев-чиновников.

В общем, люди были «при деле».

Для пострадавших случаев на Куреневке стал невосполнимой трагедией, а для работников Госплана, да и Укрсовнархоза, — новой темой для разговоров, причем на длительное время.

Уж не знаю каким путем, но Евгений Оверьянович Писарев вошел в состав Правительственной комиссии по расследованию куреневской аварии и этим был чрезвычайно горд. Все начальники отделов теперь ходили к нему, чтобы узнать подробности, посплетничать и выслушать его «особое мнение» по поводу случившегося.

...А случилось то, что рано или поздно должно было случиться, просто-напросто из-за всегдашней нашей расхлябанности и укоренившейся привычки работать «на авось».

Вода сквозь дамбу сочилась давно, попадала в подвалы и нижние этажи зданий, подтапливала и фундаменты промышленных сооружений, расположенных ниже дамбы. Жильцы обращались к председателю горисполкома Давыдову с жалобами и просьбами о принятии необходимых мер для ликвидации этого безобразия. Надо было тут же дать распоряжение о прекращении намыва пульпы в бассейн и укрепить дамбу. Однако мэр города не торопился, он понадеялся на бога и авось.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — гласит народная пословица. Сочившаяся длительное время вода подмыла основание дамбы, и последняя, под напором огромного количества пульпы, рухнула, снося и заливая все на своем пути...

К двенадцати часам я все-таки вырвался из Госплана и поехал в Институт твердых сплавов. Прошло около пяти часов со времени аварии. Верхняя дорога на Подол была закрыта. Я спустился к Подолу на фуникулере, там сел на автобус, идущий мимо Куреневки к институту по нижней дороге. В районе трампарка автобус замедлил движение. Здесь стояло плотное живое оцепление из людей, собранных и добровольно пришедших со всех близлежащих предприятий. Трамвайный путь и асфальтированная дорога, по которой мы ехали, были залиты жидкой грязью бурого цвета. Из раскрытого окна медленно едущего автобуса я видел, как вдалеке сновали бронетранспортеры и летали вертолеты, которым пришлось снимать с деревьев и крыш домов многих спасшихся таким образом людей. У края дороги, весь в грязи, на бордюре сидел какой-то человек. Он со стоном бил себя кулаками по голове, по его грязному, испачканному глиной лицу текли слезы. Очевидно, это был один из тех, кто перед аварией ушел на работу и чья семья была погребена под зловещей пульпой...

За оцепление никого не пускали.

В Институте твердых сплавов я быстро договорился о поставках твердосплавного инструмента для обработки гранитных изделий. К вечеру вернулся в Госплан, однако никто со мной ни в этот, ни на следующий день не стал решать вопросы. Все работники Госплана были поглощены разговорами о Куреневке, тем более что об этой трагедии уже успел сообщить «голос из-за бугра».

После прозвучавшего в эфире «голоса» по местному радио трижды в день начали вещать о ходе работ по спасению пострадавших и о количестве жертв, которые повлекла за собой катастрофа. Это была первая послевоенная трагедия, постигшая жителей Киева после Бабьего Яра. Тогда от рук фашистских оккупантов пали жертвами в основном евреи, но и другие советские люди. А здесь они стали жертвами нашего отечественного головотяпства и расхлябанности. Это не укладывалось в голове...

#### В МПСМ СССР

Разобщенность между однотипными отраслями, особенно такими, как черная и цветная металлургия, машиностроение и другие, давали о себе знать, так как Совнархозы замкнули их деятельность внутри одной, в лучшем случае двух-трех областей, то есть внутри сфер своего влияния. Бурно начавшееся развитие промышленности, особенно местной, вскрыв и используя все резервы, начало пробуксовывать, а потом и угасать.

Для исправления создавшегося положения пришлось сначала создать республиканские Совнархозы и укрупнить существующие, а затем и вовсе этот карточный домик, как сыгравший на некотором этапе свою определенную положительную роль, ликвидировать и вновь воссоздавать Министерства.

Для треста «Запорожнерудпром» период Ренессанса окончился. Начался период «Бури и натиска».

Итак, после очередного витка наш трест снова пришвартовался в порту, именуемом Министерством промышленности строительных материалов. Причем Министерством промстройматериалов УССР, или МПСМ УССР — то есть мы оказались там, откуда в 1957 году начался наш семилетний экспериментальный маршрут от одного ведомства к другому, но только в несколько ином качестве. Короче говоря, мы оказались в союзно-республиканском Министерстве, в Главном управлении нерудных, или в Главнерудпроме.

\* \* \*

С целью ликвидации барьеров в отрасли, естественно возникших при деятельности Совнархозов, Укрглавнерудпром начал широко внедрять республиканские партхозактивы, которые проводились не в Киеве, а непосредственно на местах, где размещались тресты и крупные предприятия: в Запорожье, Днепропетровске, Донецке, Житомире и т.д. Эти совещания сопровождались массовыми выездами на подведомственные трестам предприятия для ознакомления с их работой и обмена опытом.

Наряду с партийно-хозяйственными активами отрасли, проводимыми Укрнерудпромом, главный механик Главка Ковнеристый начал тоже ежегодно проводить семинары механиков.

На эти семинары главные механики трестов, будучи главами делегаций, привозили по 10 — 12 человек, в основном механиков, для обмена опытом. Я, например, включал в состав делегации двух главных механиков предприятий, двух-трех механиков цехов, двух-трех бригадир-ремонтников и передовых рабочих основных профессий (экскаваторщиков, дробильщиков, машинистов пилорам и т.д.). Старался брать с собой таких людей, в которых был уверен, что не подведут, что подметят все новое, передовое и внедрят на своих участках, рабочих местах. После возвращения от делегатов, как из рога изобилия, начинал сыпаться поток рационализаторских предложений.

Я был щепетилен в вопросах авторства рационализаций и изобретений. Те новинки, которые где-либо видел или о которых читал в технической литературе, заставлял внедрять, не требуя за это никакого для себя вознаграждения, так как считал, что внедрение всего нового и передового входит в обязанности главного механика треста и предприятия. Мои же подчиненные, такие, как, к примеру, Голубков, Бойм, Збарский, Гудков и некоторые другие ребята, часто, увидев новинку, спешили ее оформить на своем предприятии как свое рацпредложение.

Особенно в этом преуспели Яков Михайлович Бойм и Всеволод Филиппович Голубков. Между ними даже возникло своеобразное негласное соревнование: кто больше подаст и внедрит «рацух». Вначале это меня возмущало: как это можно чужую идею выдавать за свою? Впоследствии, поскольку от таких состязаний в конечном итоге выигрывало производство, побочные доходы этих ребят перестали меня интересовать, а совесть — мучить. Я начал смотреть на присвоение чужих идей сквозь пальцы, тем более что истинного автора разыскивать было бесполезно. Важно стало только одно: хорошая идея должна быть немедленно внедрена и приносить пользу.

Мой друг Всеволод был толковым парнем. Он не только пользовался чужими идеями, у него была масса своих, зачастую довольно оригинальных. Я симпатизировал Всеволоду, из-за этого, бывало, попустительствовал, а то и помогал его увлечению рационализациями. У него была тут и еще одна немаловажная причина, о которой я знал: вознаграждения за «рацухи» хоть частично компенсировали вычитаемые из его зарплаты алименты на двоих детей.

Однако не всегда рационализации Голубкова приносили экономический эффект. Иногда они опережали время, а однажды нанесли ущерб, привели к аварии, в чем я себя тоже винил за недосмотр. Как это было?

В качестве передающего колебания звена в щековых дробилках установлена распорная плита, служащая одновременно и предохранительным устройством. Плита эта отливается из чугуна СЧ 20-40 определенной толщины с критическим сечением. В данном случае, в критическом сечении ее толщина не должна была превышать 70 мм. При расчете учитывается, что распорная плита в критическом сечении должна лопнуть при попадании недробимого материала, тем самым предохранив корпус дробилки и другие ее узлы от поломки.

На Мокрянском каменном карьере, где работал Голубков, гранит был относительно тверже, чем на других предприятиях треста, поэтому случаи поломок и замен распорных плит происходили чаще. И вот Всеволод, которому надоело без конца менять лопнувшие плиты на новые (тяжелая по трудоемкости и дорогостоящая операция) без предварительного расчета, даже не



посоветовавшись и не сказав мне ни слова, подал на предприятии рацуху: утолстил на 15 мм критическое сечение распорной плиты. Благо, что мы ввели должности модельщика на Мокрянке и Передаточнинском карьере. По новой модели он отлил на Днепровском механическом заводе по кооперации сотни таких плит и начал их применять. Технологическая линия проработала благополучно с этой «рацухой» полгода. Всеволод получил вознаграждение, простой дробилки из-за поломок распорных плит были ликвидированы, все были довольны...

И вдруг авария. Да еще какая!

Такого в тресте еще не бывало!

На карьере паника...

Но о том, что увеличено критическое сечение у распорной плиты — молчат. Или забыли, или не знали... Всеволод никому не говорит ни слова. Я не стал созывать комиссию, а взял расследование на себя.

Я установил, прежде всего, что вместе с горной массой в зев дробилки ночью попал зуб экскаватора ЭКГ из марганцовистой стали ГРЗЛ. Естественно, утолщенная распорная плита выдержала резко подскочившую динамическую нагрузку, а корпус дробилки — нет. О загадке с плитой я сразу же догадался и замерил ее толщину, обнаружив отклонение в сторону увеличения сечения на 15 мм.

Спорившего со мной Всеволода, пытавшегося доказать, что такое незначительное увеличение толщины плиты не могло сыграть никакой роли, пришлось вести в Машиностроительный институт, где на кафедре у доктора технических наук, профессора Абрамова подтвердились мои расчеты.

И еще мне пришлось обращаться на другую кафедру — к доктору технических наук, профессору Попову, с тем, чтобы кафедра сварки помогла восстановить лопнувшую станину щековой дробилки.

Благодаря активной помощи науки мы быстро отремонтировали дробилку, и она благополучно работала более двух десятков лет, по крайней мере, до моего ухода на пенсию.

После расследования этого случая я подготовил приказ по тресту, в котором было запрещено кому-либо самостоятельно вносить конструктивные изменения в любое технологическое оборудование без предварительного рассмотрения на техническом совете в тресте. В этом же приказе Всеволод Филиппович был по заслугам наказан за самодеятельность и самонадеянность.

А однажды Всеволод занялся внедрением телевидения на карьере. Он доказывал всем, и мне в том числе, что если оператор будет видеть, что делается на полотне питателя и загрузочном бункере, в зеве дробилки и на экскаваторах, то можно будет избежать многих простоев.

Идея вроде бы заманчивая. Мне она тоже нравилась. Но... на наших карьерах, и особенно на Мокрянском каменном, экскаваторы в горных цехах простаивали (по записям в журналах) зачастую из-за отсутствия горной массы или поломок, а на ДСЗ (опять же по регистрации в журналах) дробилки простаивали из-за просыпей на конвейерах или попадания негабарита в зев дробилки. Тут телевидение не поможет.

В конце концов, Голубков уговорил меня, руководство своего карьера, и затратил много средств (благо, выдержала себестоимость) на внедрение телевидения.

Однако Всеволод, кроме всего прочего, не учел низкую культуру наших тружеников: телекамеры и телевизоры пришлось держать за железными сварными решетками от воровства. Они так стояли на рабочих местах до тех пор, пока ни запылились настолько, что на их экранах ничего уже не было видно.

Затеял эта, как я и предполагал, простоев не уменьшила, а ее автор В.Ф. Голубков наигрался и бросил, в конечном счете, свою бредовую «рацуху», как надоевшую игрушку.

После этого я получил соответствующее внушение от управляющего трестом за попустительство, бесконтрольность и разбазаривание средств на осуществление заведомо непригодных рационализаторских предложений. Я, в свою очередь, дал нагоняй Голубкову и больше не допускал своеволия механиков, теперь уже в вопросах внедрения новой техники.

По линии НТО трест организовал экскурсии на передовые предприятия, в том числе на Кременчугский ДСЗ Министерства обороны. На этом небольшом, но культурном предприятии мы почерпнули много полезного. По их почину мы организовали у себя сварочные посты во всех корпусах по этажам и на скальных экскаваторах, чтобы не перетаскивать аппараты с места на место, а подключаться к постам. Как и кременчугцы, мы внедрили централизованную смазку грохотов, что увеличило срок службы подшипников, уменьшило остановки и исключило случаи травматизма на этих участках.

Еще мы увидели у кременчугцев довольно интересную «хитрость». У нас этот вопрос все время оставался открытым, и на этом участке никак не удавалось ликвидировать ручной труд. У них же, чтобы избежать неминуемого падения горной массы около приемного бункера при выгрузке ее из самосвалов, сместили забойный брус на один метр вовнутрь от задней кромки бункера. Эффект получился поразительный! Задние колеса самосвала при разгрузке заклинивались в щели между отбойным брусом и задней стенкой бункера, а горная, даже слипшаяся масса скользила только в приемный бункер. Ни один камушек не падал под колеса самосвала или на разгрузочную площадку. Просто до гениальности!

Однако меня продолжал мучить один и тот же вопрос: как создать запас необходимых укрупненных узлов для горно-добычного, дробильно-размольного и обогащательного оборудования, чтобы ремонт их свести к минимальным затратам времени и увеличить надежность?

Время и усилия должны идти только на замену изношенных узлов, ремонт которых можно будет делать потом если не в РМЗ, то в мехмастерских. Зато насколько улучшится ремонт и увеличится время для выпуска продукции!

Игра эта стоит свеч!

Я хорошо знал завод «Сибтяжмаш» в Красноярске и его возможности. Поэтому для осуществления намеченного плана действий я предварительно связался с братом, работавшим на «Сибтяжмаше» главным технологом. К своему неофициальному письму я приложил эскизы необходимых нам узлов и их технические характеристики.

Через некоторое время получил ответ, что завод не возражает принять заказ по всей номенклатуре, только в большем объеме.

Тогда я обратился в Главк с предложением заказать узлы для всех трестов Укрглавнерудпрома, чем очень обрадовал главного механика Главка Ковнеристого. Он взялся протолкнуть мою командировку за счет Главного управления.

Так я, с общим заказом и командировкой Главка вылетел в Красноярск, — в город, который девять лет назад покинул, где оставил много друзей, веселых и горьких воспоминаний.

Я удобно устроился в мягком кресле с откидной спинкой, закрыл глаза, и... понеслись одна за другой картины...

Здравствуй, земля сибирская!

Печальные события прошлых лет не лезли в голову, больше вспоминались милые шалости и веселые приключения молодости.

Об одном из них я сейчас и повею рассказ. Но прежде познакомлю вас со своими братьями-сибиряками.

Летел я на этот раз к одному из них, который работал главным технологом на заводе «Сибтяжмаш» и жил рядом с заводом. Звали его Давид, и познакомился я с ним после войны совершенно случайно. Его свела со мной одна из моих сокурсниц по институту, получившая назначение в Краматорск, где на заводе тяжелого машиностроения работал раньше Давид, а теперь его обрат. Там ей дали адрес Давида, который я и получил, живя и работая в Красноярске. Так я разыскал и познакомился с одним из незнакомых мне ранее братьев Нейштадтов.

Собственно, Давид был мне не братом, а двоюродным дядей, но так как разница между нами не превышала четырех лет, то я считал его и относился к нему как к брату, но никак не как к дяде. Это даже смешно звучит, — «дядя» по отношению к нему. Родных братьев у меня не было, только сестра, поэтому я был рад двоюродному.

Вот у отца моего было целых четыре брата и четыре сестры. И у каждого своя интересная история.

Один из братьев в поисках лучшей жизни уехал в 1912 году в Америку.

Двое решили заняться торговлей здесь, на Украине.

Третий пошел на завод работать слесарем. Там он вступил в РСДРП и решил добиваться лучшей жизни у себя на родине, причем не только для личного блага, но и для других простых людей. За революционную деятельность этот брат (дядя Абрам) был сослан царским самодержавием в Сибирь на каторгу, где отбывал ссылку вместе с И.В. Сталиным в Туруханском крае. Вести от дяди Абрама не приходили, все считали его погибшим, в том числе и мой отец.

В начале 1941 года через адресный стол мы вдруг получили письмо из Сибири. Оно было написано на ученической тетради двумя братьями-сибиряками Николаем и Борисом Нейштадтами. Мальчики сообщали, что отец их Абрам Моисеевич умер еще в 1925 году от тифа, что оба остались сиротами, живут сейчас с малограмотной матерью Ефросиньей Андреевной, ходят в школу. Из рассказов матери они узнали, что где-то на Украине в Запорожье живет их родной дядя, две тети и есть еще родственники. Они решили этих ближайших родственников разыскать.

На конверте значился обратный адрес: «Красноярский край, Манский район, полустанок Таежный, братья Нейштат Николай и Борис».

Их фамилия была несколько искажена, однако это не имело значения. Это письмо долго шло к нам, отлежавшись определенное время в адресном столе города, но, тем не менее, дошло до адресата, и я узнал, что оказался не единственным наследником фамилии (два брата отца погибли еще во время империалистической войны). Оказалось, что у меня где-то в далекой Сибири есть два брата — Николай и Борис!

Жаль, что об этом так и не узнал при жизни наш незабвенный дед Моисей, так ревностно относившийся к наследникам фамилии!

Наш ответ в Сибирь, вероятно, еще не успел дойти до адресата, как началась Великая Отечественная война... Я, Николай и Борис оказались на фронте, мои родители эвакуировались на Урал, и связь между нами прервалась. Только после войны, примерно в 1947 году, демобилизовался и приехал в Запорожье мой старший брат Николай. Здесь он устроился на работу, женился, получил квартиру и начал самостоятельную жизнь. Несколько позже приехал в Запорожье второй брат — Борис Нейштат. Он прибыл в город с женой и двумя детьми, в чине майора-артиллериста. Их мать Ефросинья Андреевна, или баба Прося (так вместо «Фрося» называли ее мои дети, живя до двух и пяти лет в Красноярске) продолжала оставаться в своей «усадьбе» в Таежном.

Лет десять-двенадцать назад, когда мы жили еще в Сибири, я несколько раз ездил на грузовой машине ГАЗ-51 навещать бабу Фросю. Первый раз поехал зимой после работы и чуть не заблудился в тайге. Мела поземка, быстро стемнело, следы машины покрыло снегом. Когда решили ехать обратно, их не обнаружили. Помогли выбраться на дорогу только чуть слышимые отдаленные гудки паровозов. Со второй попытки я добрался-таки до полустанка Таежный.

Стояла еще зима. Светило солнце. Мы выехали ранним воскресным утром и благополучно добрались до полустанка. Дальше дорога повела нас круто в гору — в тайгу. Через полчаса мы остановились. Приехали...

«Усадьба», в которой жила баба Фрося со своим вторым мужем, старичком Михайловичем, стояла в тайге посреди искусно расчищенной поляны. Это был старый домишко, почти вросший в землю, но срубленный из крепких хвойных пород дерева. Глядя на этот дом, казалось, что он сам по себе вырос из земли. И трудно было определить: сколько лет он тут стоит и сколько поколений ему еще суждено пережить.

Баба Фрося и дед Михалыч вели натуральное хозяйство. Питались охотой, дарами тайги, с огорода и некоторыми продуктами, приобретенными на полустанке. Из живности они держали в пристройке козу, поросят, гусей, кур да кошку с собакой. В домике было относительно чисто и уютно. На почетном месте, рядом с образами, висела двустволка и прочие охотничьи принадлежности деда.

Дед Михалыч ради знакомства и в честь новоявленного родича решил растопить баньку. Он наказал бабе Фросе готовить харч, а сам взял три березовых веника, полотенца, пару ведер и удалился. Через некоторое время зашел в избу и пригласил меня и моего водителя следовать за собой.

Михалыч, как и все таежные люди, был молчалив и больше действовал жестами. Обменивались словами только мы с шофером Павликом. Я заметил это занесенное снегом строение, именуемое баней, не сразу, а только когда приблизились к нему метров на пять и то по выходящему через крышу и окно дыму.

Я не решался лезть в этот коптильник, но дед смело шагнул через порог и потащил нас.

Внутри, в крохотном предбаннике, стояла кадка с подтаявшим льдом, а дальше, за вторым порогом, была сложенная из бутового камня печь, на которой разогревалась бадья с водой. Рядом с печью стояла еще одна лавка с корытом.

Раздевшись в предбаннике, мы нагишом, почти касаясь друг друга, вошли вовнутрь так называемой баньки.

В печи трещали дрова, издавая смоляной запах хвои, помещение быстро наполнялось паром и копотью, которая, однако, скоро улетучилась.

Михалыч поставил на раскаленный камень рядом с бадьей два ведра, наполненных снегом, из бадьи налил в корыто горячую воду, намылился и, хлеща себя веником, начал мыться, жестами приглашая следовать его примеру.

Я начал мылиться, а Михалыч в это время схватил одно ведро, потом второе, и воду из растаявшего снега по очереди плеснул на раскаленные камни.

Небольшое помещение, до этого только жарко натопленное, моментально превратилось в

сплошной сухопарник. Я потерял из виду Михалыча и Павлика. У меня создалось впечатление, что я попал во чрево парового котла: дыхание сперло, глаза как будто вылезли из орбит. В висках застучали молотки, уши заложило ватой. Словно откуда-то издалека до меня донесся веселый голос Михалыча:

— Хлещись веничком, Израилич! Хлещись шибче! Ай, занятно! Ай, ядрено!

Через некоторое время, когда пар малость поредел и я стал кое-что различать, Михалыч отворил дверь в предбанник, потом наружную, и с разбойничьим криком и присвистом:

— Бз-з-з-дане-о-ом? —

бросился в сугроб и давай кататься по пушистом снегу.

Светило солнце. Кругом царило тихое безмолвие тайги. Мороз доходил до 30°C ниже нуля. Из открытой двери в предбанник и баньку ворвался холодный воздух и за клубился паром. Мы с Павликом переглянулись, и я, мысленно перекрестившись, «была не была», бросился вслед за водителем в снег к Михалычу.

Павлик — коренной сибиряк, и для него слово «бзданем» и такая термообработка были почти привычным делом, а мне — новичку — минута барахтанья в снегу показалась вечностью. Я вернулся в баньку, едва переставляя ноги. Дед Михалыч подбросил дровец, снова плеснул на раскаленные камни воду, снял с помощью Павлика корыто, молча уложил меня на лавку и давай поливать водой и хлестать веником по всем частям тела. Руки мои обвисли, как плети. Я лежал и не чувствовал ни удары веника, ни своей плоти, будто стал неодушевленным предметом...

Потом Михалыч последний раз облил меня с ног до головы теплой водой из талого снега и вытолкнул в предбанник...

Из бани я шел, как будто скинул с себя весь собственный вес и теперь, имея отрицательную массу, парил в пространстве. Морозный чистый воздух и молчаливая тайга с окутанными снегом мохнатыми ветвями елей еще больше усиливали это ощущение. Мне даже показалось, что ноги мои не оставляют следов на снегу...

В избе нас ждала отменная закуска из жаренной на сале яичницы, пельменей с медвежатинкой и грибов в разных вариантах, а также настоящий на неведомых мне травах, приготовленный дедом Михалычем по спецрецепту самогон-первач.

...Через несколько месяцев я еще раз наведался в Таежный. Тогда я привез изготовленную по заказу деда Михалыча сварную металлическую печь. Потом Ефросинья Андреевна несколько раз приезжала к нам в гости в поселок строителей Каменный.

Мои двоюродные братья-сибиряки, сыновья тети Фроси Николай и Борис, в то время окончательно обжились в Запорожье, обзавелись детьми, благоустроенными квартирами и пригласили к себе старенькую мать. Она погостила с месяц, но жить у сыновей категорически отказалась. Не понравились бабе Фросе хождения за продуктами в магазин, шум и суeta города, а главное, — не было здесь привычного чистого свежего воздуха и красавицы-тайги!

Так и уехала она на свой полустанок Таежный к деду Михалычу, где вскоре оба в привычной обстановке тихо и мирно отдали Богу души...

В 80-е годы в Запорожье повсеместно начали строить так называемые «финские бани» и «сауны». Зять ходит каждую неделю в такую сауну, даже приобрел абонемент. Ему нравится сухой пар, которым там потчуют, нравится закалка в холодной воде. Но никакие «финские бани» и сауны не могут дать того ощущения, какое испытал я после настоящей сибирской бани, которая топилась «по-черному» и для которой бассейном служил натуральный, таежный, белый до боли в глазах снег...

...Итак, я снова на Сибирской земле!

Я вышел из самолета и с первых же шагов начал удивляться.

Я узнавал и не узнавал Красноярск!

Оказывается, за эти девять лет изменился не только город Запорожье. Во-первых, вместо исторической «мотани» меня повез на правый берег комфортабельный трамвай, и не по металлическому железнодорожному, а по железобетонному широкому арочному мосту, перекинутому недавно через Енисей.

Во-вторых, переехав через мост, на правом берегу я попал в окружение больших и красивых многоэтажных домов, которые перед отъездом видел у главного архитектора лишь в макетах и в ПТО Стройтреста № 47 у Мелешко на ватмане.

Девять лет назад только поселки «Енисей», «Ворошилова», «Сибтяжмаш», «Райтец», «Бумстрой» и «Каменный» имели кирпичные дома в два-три этажа. Между этими жилыми массивами стояли пустыри и деревянные одно- и двухэтажные рубленые, а в основном барачного типа домики довоенного и военного времени.

Сейчас левый и правый берега реки составляли единое целое — один прекрасный индустриальный город на Енисее, как и Запорожье на Днепре. Даже (я должен себе в этом признаться) Красноярск выглядел несколько цельнее, суровее и величественнее...

Остановился я у брата в поселке «Сибтяжмаш», прилегающем к территории завода. Утром брат Давид повел меня на «Сибтяжмаш».

Директора и главного инженера завода я знал. Несмотря на порядочный промежуток времени, истекший после нашего последнего свидания, я был узнан и хорошо принят. Конечно, брат, наверное, предварительно сказал им обо мне пару добрых слов. Главный инженер взял привезенные мною чертежи и бумаги, обсудил с главными специалистами возможность изготовления и сроки поставки моего заказа по всей номенклатуре. Когда это небольшое совещание окончилось, главный обратился ко мне:

— Я знаю, что у вас тут много друзей. Командировку отметьте какой угодно датой, договор тоже. Пока вы свободны. Желаю хорошо провести время!

С какой-то неведомой ранее грустью я подошел к дому на улице Песчаной в поселке Каменном, где прожил семь лет молодым специалистом.

Дом и поселок показались мне какими-то маленькими, неуютными, незащитными. Сердце затрепетало и сжалось от этой случайной непродолжительной встречи со своим прошлым.

Девять лет — сравнительно короткий срок, а сколько изменений произошло за это незначительное время в городе Красноярске, в Стройтресте № 47 и в моей личной жизни. Выходит, люди правы: за это время утекло много воды.

Я созвонился с Наумовым. Тот заехал за мной и повез к себе на квартиру. Там я встретился с его женой Анной, сыном Сашей и незнакомой мне дочуркой Женечкой. Вспомнили нашу молодость, работу и совместные выезды семьями с маленькими детьми на лоно природы в Березовую рощу. Сейчас, с расстояния девяти прожитых лет, то время казалось таким радужным и беззаботным. А на самом деле забот, горестей, хлопот и тогда хватало — хоть отбавляй. Но плохое человеческая память обычно держит недолго.

Когда мои старые знакомые узнали, что я появился в Красноярске, посыпались бесконечные приглашения. Я знал и помнил, что в Сибири если уж приглашают в гости, то от всей души, и немотивированный отказ повлечет за собой большую обиду. Поэтому в меру возможности посещал по порядку с утра до вечера друзей, пока не почувствовал, что больше не в состоянии ни пить, ни закусывать...

В аэропорт с билетом в кармане я ехал на «Волге» начальника территориального управления Красноярского края...

Самолет оторвался от земли и, ввинчиваясь в небо, стремительно набирал высоту. Потом выровнялся и взял курс на запад.

Я освободился от ремней и прильнул к иллюминатору. Далеко внизу «под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...»

Прощай, земля Сибирская!

Бог весть, придется ли с тобой еще встретиться когда-нибудь?

Тогда я никак не мог предположить, что примерно через два десятка лет нам с Шурочкой, деду и бабе, еще четырежды придется пересечь сотый меридиан, чтобы с высоты десяти тысяч метров полюбоваться этим чудесным краем, и, приземлившись в городе Братске, встретиться со своими внуками...

## **8. Встреча с молодостью**

Шел 1965 год.

В середине апреля месяца меня оторвал от вечернего чая телефонный звонок из Днепропетровска. В трубке раздался родной голос давнего школьного товарища Фридриха Шаффрана (Фрица):

— Марочка, привет, дорогой! Ты не забыл, что в этом году исполняется 25 лет, как мы окончили школу? Что вы — запорожцы — думаете по этому поводу?

Голос оборвался. В трубке было слышно только прерывистое дыхание. На противоположном конце провода терпеливо ждали ответа.

Я молча соображал, что сказать товарищу.

Что мы думали?

Да нет, не думали...

Я твердо знал, что не думали и не говорили по этому поводу!

С тех пор, как мы окончили 10 классов 4-й СШ им. Горького, я виделся только с несколькими соучениками, живущими в Запорожье. Где остальные?

Кто из них уцелел после четырехлетней кровавой битвы с фашизмом и четвертьвековой разлуки ровесников?

Этот внезапный звонок соученика пробудил в памяти вечер в конце июня 1940 года, когда мы — выпускники 10-А класса — на своем мальчишнике давали клятву встречаться каждые пять лет после окончания школы.

В 1945 году нашей встрече помешала только что пронесшаяся над страной буря Великой Отечественной войны.

Но теперь, хоть и с опозданием на четверть века, мы, оставшиеся в живых, должны выполнить свою клятву.

Во имя памяти о погибших! Во имя всех тех ровесников наших, кто не дожил до этих юбилейных лет!

Эти мысли нахлынули на меня, как лавина. Не сказав ни слова, я продолжал держать трубку, думать и думать...

— Ну, так как? Что ты молчишь? — снова раздался голос из Днепропетровска.

— Фриденька! Милый! Спасибо, что напомнил. Встречу обязательно организуем!!! Обещаю!

Последние слова вылетели из моих уст сами, как бы непроизвольно, без моего участия. Но на душе вместе с тем стало гораздо легче.

Что ж, взялся за гуж — не говори, что не дюж. И решил я взять на себя инициативу по подготовке встречи одноклассников.

Идея встречи запорожцам очень понравилась и вызвала взрыв энтузиазма. Это должна была быть не просто встреча бывших соучеников, а юбилейная встреча, посвященная 25-летию со времени окончания средней школы.

Задача предстояла довольно трудная: собрать оставшихся в живых выпускников 4-й СШ 1940 года и, по возможности, наших стареньких учителей, живущих в Запорожье.

Я созвонился с наиболее активными одноклассниками-запорожцами и пригласил их к себе на квартиру для решения организационных вопросов по встрече.

Учитывая, что в нашем 5-м выпуске было два десятых класса, «А» и «Б», я созвал представителей обоих. Так родился Оргкомитет. В его состав вошли, кроме меня, еще восемь человек: Люба Баш, Михаил Левин, Рудольф Рискин, Валентин Ушаков и Фридрих Шафран из 10-А и Илья Бериславич и Иван Осадчий из 10-Б. Фридрих Шафран, несмотря на то, что жил и был прописан в Днепропетровске, как истинный патриот своего класса, школы и города Запорожья, приехал в этот раз и потом бывал почти на каждом заседании Оргкомитета.

Остальные члены комитета, хотя и жили в одном городе, но за 25 лет почти не виделись, тем более с Фридрихом.

У каждого за это время сложился свой определенный круг друзей, с которыми вместе работали, имели общие интересы, с которыми проводили свое свободное время, свой отпуск.

Впервые встретившись у меня на квартире вместе, бывшие соученики вдруг почувствовали, что все эти годы им не хватало друг друга, что у них много общего, что каждый из них только школьному товарищу может сказать самое сокровенное, накопившееся в душе, что только соученик может понять или посочувствовать и тем согреть душу.

Мы собрались, и тут членов Оргкомитета прорвало: заговорили все разом. На всех нахлынули воспоминания. Перебивая друг друга, каждый старался рассказать какой-нибудь наиболее ярко запомнившийся эпизод из школьной жизни. Так, проговорив с 18 до 22-х часов, мы разошлись, ничего не решив. Единственное, до чего нам удалось кое-как все же договориться, это что мы через недельку должны снова встретиться. При этом каждый должен принести с собой:

Список адресов или телефонные номера бывших соучеников и учителей.

Предложения по дате и месту встречи.

Проект плана-мероприятия на предстоящие два юбилейных дня.

Следующее совещание Оргкомитета прошло более или менее организованно.

Мы узнали адреса и номера телефонов 32 учеников и пятерых учителей. Я подготовил и зачитал текст проекта воззвания к выпускникам 4-й СШ 1940 года, в котором от имени Оргкомитета просил откликнуться, прислать адреса или сообщить о судьбах остальных соучеников, а также перевод на 10 рублей, который будет служить подтверждением, что приславший деньги примет участие в юбилейной встрече. Предлагалось приехать на встречу с женой или мужем, в таких случаях выслать 20 рублей, привезти с собой имеющиеся фотографии школьных лет

и другие дорогие всем нам довоенные сувениры для организации двухдневной передвижной выставки.

С некоторыми поправками это воззвание было принято единогласно.

Пользуясь некоторыми имеющимися сведениями, мы разослали в десятки адресных столов письма следующего содержания:

*«Уважаемые работники адресного стола!*

*В этом году исполняется 25 лет, как мы окончили 4-ю СШ им. Горького в г. Запорожье. Мы хотим собраться в городе своей юности, чтобы отпраздновать 25-летний юбилей окончания школы и 20-летие Победы.*

*Нас осталось мало в живых, так как в 1940 году ребята были призваны в армию и приняли участие в Великой Отечественной войне. Каждый, кто остался в живых, будет дорогим и желанным гостем на этой встрече. В Вашем городе, по неполным данным, проживает наш бывший соученик (соученица) \_\_\_\_\_ 1922/23 года рождения. Убедительно просим Вас помочь нам разыскать товарища и сообщить его адрес на имя представителя Оргкомитета \_\_\_\_\_ (фамилия и адрес). С уважением и благодарностью, Оргкомитет ветеранов 4-й СШ им. Горького, г. Запорожье, 1965 год».*

Через определенный промежуток времени на имя членов Оргкомитета начали поступать переводы, открытки, письма, адреса и даже фотографии соучеников, снятые в школьные, военные и послевоенные годы.

Хочется привести хоть по несколько строк из этих трогательных писем, хранящихся в моем архиве.

Передо мной письмо Юлочки Пашковой-Фридман из Ярославля:

*«Дорогие друзья! Очень была растрогана, что через столько лет вы разыскали меня.*

*Война, оккупация, а где-то сохранилась еще моя школьная фотография. Была бы рада видеть вас всех, но... некому работать. Желаю вам счастья!»*

А вот письмо от Ази Зильбера из Биробиджана, который там работал в это время в чине подполковника КГБ:

*«Дорогие земляки-оргкомитетчики! Весьма благодарен вам за внимание, что не забыли меня. К величайшему сожалению, лично присутствовать не смогу. Но надеюсь, что при возгласах «А помнишь?» кто-то вспомнит и обо мне и передаст счастливым участникам мои наилучшие пожелания: здоровья, успехов в труде, большого человеческого счастья и всех земных благ!»*

Пришли и сухие стандартные ответы из адресных столов. Например, такого содержания:

*«По КАБ г. Донецка прописанным не значится. Рекомендуем обратиться в КАБ городов Донецкой области Жданова, Макеевки, Енакиево, Артемовска, Славянска, Горловки, Тореза, Краматорска, Константиновки... и т.д.»*

Что делать? Мы писали в указанные КАБ. Поиски соучеников продолжались...

В 5-м выпуске 10-х классов было 76 учеников. Причем половина мальчиков, половина девочек. Но в моем классе «А» было больше хлопцев, а в «Б» — наоборот: почти полный матриархат.

Оргкомитету было известно, что девятнадцать ребят погибли на фронте, что пятеро бывших соучеников умерли в тылу и оккупации, что три ученицы покинули город вместе с оккупантами. Из оставшихся по нашим сведениям сорока девяти человек Оргкомитет узнал адреса тридцати двух, из которых получил согласие на участие во встрече от двадцати пяти человек. Остальные не смогли приехать по уважительным причинам.

Из наших стареньких учителей мы нашли в городе и пригласили пятерых:

Петрову Раису Захаровну — учительницу русского языка и литературы, классного руководителя 10-Б.

Когана Григория Евсеевича — учителя математики, классного руководителя нашего 10-А.

Носик Анну Антоновну — учительницу украинского языка и литературы.

Вайнгарт Марию Львовну — учительницу пения.

Жигалова Алексея Кузьмича — учителя истории от Ромула до наших дней.

Встреча была назначена на 6 — 7 июня. Оставалось меньше месяца, а судьбы семнадцати из сорока девяти выпускников Оргкомитету не были известны.

Со временем, гораздо позже, при последующих юбилейных, ставших традиционными каждые 5 лет, сборах мы узнали почти все обо всех. Никто не был забыт или пропущен...

Трудно описать мое душевное состояние в последние дни, накануне нашей первой встречи, особенно в пятницу, 5 июня, перед той памятной субботой, когда в 17-00 мы должны были все собраться на пл. Советской у памятника танкистам-освободителям города.

Утром в пятницу, как обычно, к 8-ми часам я пошел на работу. Однако ничего не шло в голову: я был рассеян, пробовал отвлечься, что-то писать, звонить на предприятия и т.д. Все напрасно: письма получались нелогичными, переговоры по телефону бессвязными. Время тянулось мучительно медленно. Я поминутно вздрагивал от каждого телефонного звонка. Прислушивался к голосам в трубке. Словом, был как-то наэлектризован.

Едва дождавшись обеденного перерыва, как вихрь, я взлетел к себе на 5-й этаж (к этому времени мы поменяли свою двухкомнатную квартиру на трехкомнатную в том же доме), наскоро перекусил и просил Шурочку, если будет звонить кто из наших, чтобы сообщила мне на работу.

Моя нервозность передалась и ей, и детям. Благо у Шуры в этот день был утренний прием. Она уже успела обслужить вызовы и теперь стала на вахту у телефонного аппарата.

Я спускался, вернее, сбегал по ступенькам вниз (мне нужно было хоть таким способом разрядить свою нервную систему) и вдруг... передо мной на лестничной площадке 2-го этажа, словно из-под земли, вырос друг детства — Борис Литинский. Я знал, что он должен прийти с супругой, и все-таки его появление тут, на лестничной площадке, было для меня очень неожиданным.

Борька тотчас же освободил свою руку от жены Нины и бросился навстречу. Последовали объятия и поцелуи, сопровождаемые многочисленными восклицаниями.

Поднялись ко мне на пятый.

Я передал своих дорогих гостей в распоряжение Шурочки, а сам побежал на работу предупредить, чтобы меня сегодня не ждали и не тревожили.

Наш сумбурный разговор с Борькой прерывался телефонными звонками и радостными возгласами: «Ленка приехала! Муха появился! Ирка прибыла!» — и так далее, до поздней ночи.

А утром?!

Во двор ко мне въехала белая «Волга», и из нее вышел Фридрих с женой. Эти типы внесли на пятый этаж корзинку с коньяками и закусками. Потом появилась Любочка Баш с мужем и вяленой рыбой в портфеле.

Шурочка с Ниной и Дусей, женой Фридриха, удалились на кухню готовить завтрак, а Борька, Фридрих, Любочка и я уселись на диван, как именинники, и предались воспоминаниям.

И снова нетерпеливый звонок телефона прервал беседу:

— Братцы! Ничего не лезет в горло. Подождите меня с завтраком! Умоляю!

Это просился Муська Колтунов. Он прибыл накануне ночью из Львова.

Пока накрывался стол, прискакали еще Исайка Раввич и Гришка Майзлин, прилетевшие соответственно из Минска и Ташкента.

В общем, за стол уселось не менее четырнадцати человек, не считая наших детей, которые перекусили и убежали с «Фуксикам» (так они называли Беллу и Леню Фукс, которых считали своими родными дядей и тетей).

Судя по выпивке, закускам и тостам, завтрак был генеральной репетицией перед предстоящим банкетом. За завтраком не заметили, как быстро пролетело время...

К 17-00 поднялись и пошли на площадь Советскую к танку Т-34.

Здесь уже были Леня Фукс и Беллочка, Миша Левин с Томочкой и Раиса Захаровна, которую они привезли, Григорий Евсеевич с супругой и еще несколько человек из Оргкомитета. Здесь же в сторонке, в тени деревьев, стояли любопытной стайкой наши дети: Мариночка, Лялечка и Леночка Фукс.

Меня, Шурочку и всю нашу компанию, весело и не спеша двигавшуюся к площади, встретили возгласами лестного и не особенно лестного (за задержку) характера, но все-таки с объятиями и поцелуями, упреками и прощениями.

Интересно было наблюдать со стороны, как каждый из пришедших раньше старался первым узнать и произнести имя или кличку еще только показавшегося вдалеке и направлявшегося к месту встречи соученика.

Наши признанные хохмачи, охочие до розыгрышей, особенно Абрамчик Мордухович и Муська Колтунов, увидев движущегося к танку случайного прохожего, тут же выкрикивали кличку кого-либо из бывших соучеников и делали шаг вперед... и наиболее наивные бросались навстречу к этому прохожему с раскрытыми объятиями под дружный хохот остальных, забывших в этот миг, что им уже не по 18 и что они уже не десятиклассники.



На скамейке, в почетном окружении бывших питомцев, сидели старенькие учителя: Раиса Захаровна, Мария Львовна, Анна Антоновна, Григорий Евсеевич и Алексей Кузьмич.

Леня Фукс, желанный гость на нашей юбилейной встрече, вместе со своей супругой и ассистенткой Беллочкой фиксировал все происходящее на фото- и киноплёнки.

С этого исторического дня он стал кино-фото-летописцем этой и всех последующих встреч 5-го довоенного выпуска 10-х классов 4-й СШ им. Горького.

Бывшим одноклассникам исполнилось по сорок два — сорок три года, и немудрено, что теперь, после столь длительной разлуки, не все узнавали друг друга с первого взгляда, а узнав, обнимались, похлопывали один другого по плечу, целовались, радовались и даже плакали. Да, мы в эти мгновения действительно превратились в прежних мальчишек и девчонок.

Стоявшие в сторонке наши дети смеялись и радовались вместе с нами: такими своих пап и мама они, очевидно, видели впервые.

Нарадовавшись, наобнимавшись и наудивлявшись, взрослые дети подходили к скамье, где сидели учителя. И тем, и другим приходилось снова напрячь свою память.

Любопытно, что Григорий Евсеевич узнавал всех и с математической точностью называл по фамилии и на «Вы», как в былые школьные годы. Не помню, на ком, но на ком-то из бывших он споткнулся, задумался, попросил произнести хоть слово и тут же безошибочно назвал фамилию изменившегося за годы ученика.

Остальные учителя узнавали и не узнавали своих воспитанников, а узнав, называли с радостью по имени и так ласково, как никогда не называли в школе. Бывшие ученики буквально таяли, сдували пылинки со своих дорогих стареньких наставников и, по смолоду укоренившейся привычке, немного робели при этом.

В 18 часов 00 минут мы направились в свою альма-матер — бывшую 4-ю СШ им. Горького, где над входной дверью висел лозунг «Добро пожаловать, выпускники 1940 года!»

Нашей школе по чьему-то неразумному и недоброму указанию после войны присвоили №5 вместо бывшего №4. За прошедшие годы школу немного реконструировали и достроили. И все же мы нашли во дворе тот старый тополь, у которого играли в чехарду, и внутри старого корпуса, — комнату, в которой помещался наш 10-А класс.

Старенькая уборщица, как в былые годы тетя Маруся, вышла с повязанным красным бантом звонком на порог...

Знакомый до боли звук призвал нас на урок. Григорий Евсеевич и Раиса Захаровна, наши классные руководители, попарно построили в поредевшие ряды своих питомцев и повели в помещение. По «классным журналам» устроили перекличку. Старосты отвечали за отсутствующих:

- Пал смертью героя в борьбе за свободу и независимость Родины!
- Умер в тяжкие годы Великой Отечественной войны...
- Отсутствует по уважительной причине...
- Адрес и судьба неизвестны...

Когда закончилась наша торжественная и вместе с тем грустная, необычная перекличка, перед собравшимися выступила директор школы — Яковлева. Эта скромная пожилая женщина, оказавшая нам тёплый прием, сказала:

— Я понимаю, вам, конечно, было бы гораздо приятнее, если бы сейчас вас приветствовала бывший директор школы №4 — незабвенная Любовь Марковна. Но что теперь поделаешь, не всех пощадила война. Любовь Марковна Файнишевская погибла... Я не могу ее заменить, но постараюсь, чтобы вы чувствовали себя в нашей 5-й школе, как в своей родной — 4-й. Я немного завидую Любови Марковне в том, что она и ваши присутствующие здесь наставники смогли воспитать преданных друг другу и школе, а значит — Родине, учеников. Я очень хочу, чтобы наши теперешние ученики-выпускники тоже были такими, как вы. Спасибо вам за то, что не забываете свою школу!

Потом наши добрые милые учителя провели уроки по 5 — 10 минут. Это было очень трогательное зрелище: преподаватели задавали вопросы, а бывшие ученики с таким азартом тянули руки вверх и с таким удовольствием отвечали, что можно было подумать, будто в классе собрались только отличники.

Потом снова прозвенел звонок, возвестивший об окончании уроков.

Возбужденные и довольные друг другом, учителя и ученики вышли из школы.

Оживленная и многочисленная группа людей невольно привлекла к себе взоры прохожих. Забыв на время о возрасте, называя друг друга школьными кличками, двинулись к месту, где нас ждали торжественно накрытые столы и предстоящий банкет.

С первым тостом выступил бывший комсорг школы, наш соученик Михаил Левин. Он провозгласил свой тост в память о павших в Великой Отечественной войне наших товарищах, которые навсегда остались для нас 19-летними. Потом пошли более веселые тосты, танцы и любимые школьные песни довоенных лет.

Поднимали бокалы за наших учителей, за Оргкомитет, который собрал выпускников 1940 года и помог им встретиться с юностью.

Ночью мы с Борькой почти не спали, воспоминания захлестывали через край наши возбужденные головы...

Утром на площади Советской нас ждали два автобуса, на которых мы поехали по городу показать приезжим, как он вырос и изменился за 25 лет. Побывали у памятника Ленину, на Днепрогэсе, у старого 800-летнего дуба на Хортице, по пути показали дворец спорта «Юность» и другие достопримечательности, и, наконец, остановились у главного входа в Дубовую рощу, у места, с которым у каждого было связано множество воспоминаний о прошлом...

Солнце клонилось к закату.

Два дня промелькнули как одно мгновение. Веселая юбилейная встреча теперь казалась сказочным сном, который сменили наполненные грустью проводы: бывшие соученики разъезжались по своим городам и весям.

И все же оптимизм не покидал членов Оргкомитета. Теперь мы имели адреса почти всех оставшихся в живых соучеников и были уверены, что через 5 лет встретимся в полном составе и что предстоящая встреча будет еще интереснее прошедшей.

Наша жизнь была в полном расцвете. Мы были в таком возрасте, когда человек достигает своего творческого апогея, имея достаточно для этого знаний и жизненного опыта. Наш учитель-историк Жигалов, произнося тост, даже заметил: «Вы сейчас в таком счастливом возрасте, что на своих плечах держите государство!»

У нас все еще было впереди...



Забегая наперед, скажу: мы встречались еще несколько раз — в 1970, 75, 80 и 85 годах. В 1975 году собирались дважды: в июне — только своим выпуском, а в декабре — всеми довоенными выпусками 4-й СШ им. Горького на 75-летнем юбилее у Григория Евсеевича Когана, о котором я уже писал выше.

Обо всех встречах остались неизгладимые впечатления и память: выполненные нашим товарищем, неутомимым кино-фото-летописцем Леонидом Фуксом фильмы и фотографии.

Каждые пять лет, встречаясь на очередном традиционном сборе, мы просматриваем предыдущие фильмы-отчеты. С грустью замечаем, как стареют ровесники и редуют наши ряды...

Через три года исполнится полвека, как мы окончили школу. Предстоит золотой юбилей 5-го выпуска 4-й СШ им. Горького. И снова сердце сжимается от непередаваемого чувства гордости и грусти, радости и печали. Гордости и радости — от того, что мы все еще дороги друг другу и не забыли традиции; грусти и печали — потому что нас остается все меньше и меньше, и эта встреча, очевидно, будет заключительной. И все-таки почти все (правда, это было четверть века назад) на вопрос анкеты «Желаешь ли ты войти в Оргкомитет по подготовке 50-летнего юбилея?» ответили положительно. В том числе и я с оптимизмом заявил тогда в четверостишии:

Я очень хотел бы попасть в Комитет,  
Но, так как мне будет порядочно лет,  
Прошу вас за труд мою просьбу не счесть:  
Коль сам не войду, то туда меня внести!

Нет, я не теряю надежды, что мечта об этой последней земной юбилейной встрече осуществится.

Хотелось бы, чтобы мы явились на свой золотой праздник с внуками, ибо им предстоит нести на плечах своих заботы XXI века и продолжать наши лучшие школьные традиции...

Однако я смотрю на сегодняшних молодых школьных учителей, на их отношение к детям и к своему труду, на уровень их знаний, и меня начинают одолевать сомнения и беспокойство:

— Будут ли они, мои внуки, любить свою школу так, как мы любили свою?

— Будут ли они, — мои внуки, — стремиться овладевать знаниями, которые накопило человечество за прошлые века?

— Будут ли дружить и дорожить дружбой своих школьных товарищей-ровесников, как мы, и пронесут ли они эти светлые чувства через всю свою жизнь?

Я и жена воспитали своих детей и внуков так, чтобы они чтили память о школе и понесли, как эстафету, школьные традиции своих предков дальше.

Вы слышите, дорогие мои ровесники и внуки?

**Я НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ!**

Я знаю, вы заняты вечно  
И жизнь бурлит, как в котле.  
Но все-таки школьные встречи  
Нужны нам на этой Земле!  
Связали со школой нас нити  
В едином и прочном узле.  
Молю вас, родные: живите,  
Чтоб видеться нам на Земле!  
Вы память о тех сохраните,  
Кого среди нас уже нет.  
Во имя погибших живите,  
Чтоб мир утверждать на Земле!  
Вы дороги все мне, — поймите,  
Живые дороже вдвойне.  
Ровесники, не уходите:  
Нужны вы еще на Земле.  
Когда же пробьет час разлуки, —  
Уйдем мы... Но хочется мне,  
Чтоб наши традиции внуки  
Все так же несли по Земле!

## Содержание

<b>Об авторе</b> .....	3	4. Горечь потерь .....	138
<b>Предисловие</b> .....	4	5. В мешке .....	140
Книга первая. 1923 – 1941 гг. ....	5	6. Последняя разведка .....	141
<b>Глава 1. Начало</b> .....	5	7. Предательство .....	143
1. Мой город и дом .....	5	8. Послесловие к разделу 7 .....	145
2. Первые шаги .....	5	<b>Глава 7. Между жизнью и смертью</b> ..	146
3. Родители .....	7	1. В плену .....	146
4. Первые радости и первая любовь .....	8	2. Неожиданная встреча .....	149
5. Базар и улица .....	9	3. На грани .....	151
6. Творческий зуд .....	11	4. Домой – в неизвестность .....	153
7. Я – не вундеркинд .....	12	5. Горячий снег .....	155
8. Шкодливыи гость .....	14	6. А свадьба пела и плясала .....	157
<b>Глава 2. Школьные годы (I)</b> .....	16	7. В конце пути к дому .....	160
1. Первые дни .....	16	8. В детском доме .....	163
2. Первые друзья .....	17	<b>Глава 8. Им гевалт дер денкельхайт</b> <b>(во власти тьмы)</b> .....	169
3. Мы – «великие деятели» .....	20	1. От Украины до Германии .....	169
4. Алексей Фердинандович Фешотт .....	23	2. Хемниц, Айзенбанверке .....	173
5. Мои спартакиады .....	25	3. Эхо Сталинграда .....	178
6. Утро красит нежным светом... ..	27	4. Город Плауэн. Веркейгшуле .....	182
7. Если хочешь быть здоров – закаляйся! .....	28	5. Снова Хемниц .....	184
8. Во власти Орфея .....	32	6. Дас Шпиль ин Катце унд Маус (Игра в кошки-мышки) .....	187
<b>Глава 3. Школьные годы (II)</b> .....	36	7. Битая карта .....	191
1. Варвара Дмитриевна Барабаш .....	36	8. Путевой рабочий .....	195
2. Раиса Захаровна Петрова .....	39	<b>Глава 9. Рожденный заново</b> .....	198
3. Григорий Евсеевич Коган .....	43	1. Мои художества .....	198
4. Одноклассники .....	50	2. Концессионеры .....	201
5. Одноклассницы .....	60	3. Второй фронт .....	203
6. Преподаватели .....	67	4. Разбойники из Тюрингенского леса .....	206
7. Верхние ступеньки .....	74	5. Освобождение .....	209
8. В воздухе пахнет грозой .....	77	6. Любовь и Победа .....	212
9. Заключительный аккорд .....	82	7. Заре навстречу .....	216
<b>Глава 4. Накануне</b> .....	91	8. Дым Отечества .....	219
1. ЗМИ. Первые впечатления .....	91		
2. Дела общественные. Time is money .....	94		
3. Праздничный концерт .....	96		
4. Одно из приключений кандидата в майоры Пронины .....	98		
5. Безнадежная «надежда» ЗМИ .....	101		
6. На студенческой сцене .....	102		
7. Пригласительный билет .....	105		
Книга вторая. 1941 – 1945 гг. ....	111	Книга третья. 1945 – 1965 гг. ....	223
<b>Глава 5. Идет война народная</b> .....	111	<b>Глава 10. Дома</b> .....	223
1. Мелитопольское летное .....	111	1. Снова учеба .....	224
2. Артиллерия – бог войны .....	112	2. Еще раз про любовь .....	227
3. Боевое крещение .....	115	3. Отвлекающие маневры .....	230
4. Переправа .....	119	4. Студент бывает весел .....	233
5. На оборону Запорожья .....	122	5. Производственная практика .....	237
6. Разведка .....	125	6. Путь к финишу .....	246
7. Госпиталь .....	128	7. Дальняя дорога, или финиш .....	256
<b>Глава 6. Фронтовые дороги</b> .....	130	<b>Глава 12. Любимый город</b> .....	258
1. Конские Раздоры .....	130	1. Дома .....	258
2. Отступление .....	132	2. Мытарства первых месяцев .....	261
3. Битвы в пути .....	134	3. Республиканский трест «Укрнерудпром» .....	265
		4. Кругосветное путешествие республиканского масштаба .....	266
		5. Бархатный сезон .....	271
		6. Период Ренессанса .....	280
		7. Восторги и разочарования .....	285
		8. Встреча с молодостью .....	293